

Рассылается по специальному списку

№ 00069

ИСТОРИЯ МАРКСИЗМА

Том третий

МАРКСИЗМ В ЭПОХУ III ИНТЕРНАЦИОНАЛА

Часть вторая

ОТ КРИЗИСА 1929 ГОДА ДО XX СЪЕЗДА КПСС

Выпуск первый

Москва

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС»

1984

ИСТОРИЯ МАРКСИЗМА

Том третий

МАРКСИЗМ
В ЭПОХУ III ИНТЕРНАЦИОНАЛА

Часть вторая

ОТ КРИЗИСА 1929 ГОДА
ДО XX СЪЕЗДА КПСС

Выпуск первый

STORIA DEL MARXISMO

Volume terzo

IL MARXIZMO NELL'ETÀ DELLA TERZA INTERNAZIONALE

2

**DALLA CRISI DEL'29
AL XX CONGRESSO**

Giulio einaudi editore

Torino — 1981

ИСТОРИЯ МАРКСИЗМА

Том третий

МАРКСИЗМ В ЭПОХУ III ИНТЕРНАЦИОНАЛА

Часть вторая

ОТ КРИЗИСА 1929 ГОДА
ДО XX СЪЕЗДА КПСС

Перевод с итальянского

Выпуск первый

Москва

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС»

1984

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПРОГРЕСС» 9

МОШЕ ЛЕВИН

Борьба со сталинизмом 15

1. Загадка 15
2. Понять царскую Россию 19
3. Догадки Ленина и Троцкого 25
4. Гражданская война и крупный социальный переворот 28
5. Еще раз мужик против государства 34
6. Одна или четыре идеологии? 39
7. Социальная структура, порождающая авторитаризм 46

РОБЕРТ МАКНИЛ

Общественное устройство России
сталинских времен 52

1. Партия 52
2. Общественный строй 60
3. Полицейская система — ГУЛаг 72
4. Культ личности Сталина 76

ФРАНЦ МАРЕК

О складе ума Сталина 81

МАССИМО Л. САЛЬВАДОРИ

Марксистская критика сталинизма 91

1. Различные толкования одного вопроса 94
2. Каутский: сталинизм — необходимый выход для большевизма 95

3. Гильфердинг: примат экономической политики и утверждение тоталитаризма	101
4. Бауэр: сталинизм как «болезнь роста» социалистического общества	104
5. Троцкий: сталинизм как измена делу революции	112
6. Серж: тоталитарное перерождение	124
7. Первые историографические трактовки: Розенберг и Суварин	128
8. Рицци, Бернхэм, Шахтман: сталинское общество как бюрократическое, не социалистическое и не капиталистическое общество	134
9. Корш, Пиннекук, Рюле: большевизм — вариант капиталистического развития	136

АНДРЕ ЛИБИХ

Отношение меньшевиков к созданию СССР 139

1. Меньшевистская партия в изгнании	140
2. Дискуссия о нэпе и бонапартизме	146
3. Сталинская «генеральная линия»	153
4. Конституция 1936 года, антифашистский фронт и война	163
5. Возврат к принципам	173

ВАЛЕНТИНО ДЖЕРРАТАНА

Сталин, Ленин и марксизм-ленинизм 175

1. Poleмика о работе «Что делать?»	177
2. Разногласия и согласие	187
3. Ленинская политика и теоретический сталинизм	196

ВИТТОРИО СТРАДА

От «социалистического реализма» до ждановщины 204

1. «Разрушительная» и «созидательная сторона» сталинизма	204
2. Что такое «социалистический реализм»?	209
3. Воронский, или искусство как видение	212
4. Переверзев, или искусство как игра	218
5. Арватов, или искусство как производство	225
6. РАПП, или искусство как власть	231
7. «Социалистический реализм» и «марксистско-ленинская эстетика»	238
8. «Мировоззрение» и «метод»	249
9. Ждановский эпилог	261

НИКОЛА БАДАЛОНИ

Грамши: философия практики как предвидение

264

1. Начальное предвидение и его корректировка	267
2. Новый производитель	269
3. Провал предвидения	275
4. Определение новой области предвидения	280
5. Проект и структура «Тюремных тетрадей»	286
6. Марксизм Грамши и философия его времени	294
7. Анализ «исторического блока» и критика экономического ав- томатизма	308
8. Столкновение с Кроче и приход Грамши к философии практики	320
9. Проблема государства	332
10. Организованный капитализм и социализм	342
11. Молекулярные движения и «диафрагма» лоранизма	350
12. За смену гегемонии	363

ЭЛЬМАР АЛЬТФАТЕР

Кризис 1929 года и дискуссия среди марксистов о теории кризиса

370

1. «Мировой кризис» и «мировой поворот»	370
2. Марксово понятие кризиса	373
3. Типология теорий кризиса	385
4. Теории диспропорции	386
5. Теории недопотребления	389
6. Теории сверхнакопления	404
7. Динамика кризиса	415

МАРИО ТЕЛО

Теория и политика планирования в европейском социалистическом движении от Гильфердинга до Кейнса

422

1. Кризис 1929 года и кризис социалистической мысли	422
2. Рабочее движение и управление экономикой	429
3. Конъюнктурная политика и плановая экономика в последние годы Веймарской республики	435
4. Идеология и политика в бельгийском и французском планизме	453
5. Политика программирования в Швеции	470

Интеллигенция и антифашизм

484

1. Проникновение марксизма в среду интеллигенции	484
2. Угроза фашизма и защита мира	490
3. Социальное положение левой интеллигенции	499
4. «Прогресс» и «революция»	506
5. Знакомство с марксизмом	511
6. Гражданская функция антифашизма	525

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПРОГРЕСС»

Вторая книга третьего тома «Истории марксизма» выходит в переводе на русский язык в двух выпусках. В Италии именно эта книга «Истории марксизма» вызвала наиболее широкий политический резонанс — она была предметом обсуждения на специальном симпозиуме и за «круглым столом», проведенных редакцией газеты «Унита» в 1981 году в Турине.

В центре повествования — историческая фигура И. В. Сталина и так называемый сталинизм. В связи с выходом в свет настоящей книги издательство «Эйнауди» заявило представителям печати, что «историографическая проблема Сталина и сталинизма только-только созрела для обсуждения» («Рестодель Карлино», 19 сентября 1981 года).

В соответствии со «сталиноцентристской» концепцией вне поля зрения авторов книги оказалась конструктивная идейно-теоретическая и социально-политическая деятельность КПСС в соответствующий период, повседневная жизнь и творчество советского народа и, в частности, некоторые основополагающие социально-исторические феномены — бурное развитие советского рабочего класса в результате индустриализации, культурная революция, формирование новой, социалистической интеллигенции, формы решения проблемы социальной справедливости. Авторы игнорируют важный документ — Постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий», его положение о том, что, хотя культ личности Сталина и нанес серьезный ущерб развитию социалистического демократизма, этот культ не мог изменить и не изменил природы советского общественного строя, решающей движущей силой которого являются многомиллионные массы трудящихся во главе с марксистско-ленинской партией.

«Сталиноцентризм», идущий от буржуазной историографии советского общества, ориентирован на противопоставление Советского Союза «европейской цивилизации», исходит из посылки об их исторической непримиримости и несовместимости. В последние годы в буржуазной, преимущественно консервативной историографии выявляется даже что-то вроде своеобразной апологии Сталина, которому приписываются

все заслуги в превращении ранее отсталой России в мощную сверхдержаву. Примером здесь могут быть получившие на Западе широкую известность монографии американского историка Р. Таккера, и не случайно на концептуальную связь отдельных глав «Истории марксизма» с воззрениями Таккера указывали некоторые ее итальянские рецензенты. Ход рассуждений у консервативных идеологов примерно таков: коль скоро «сталинизм» — расцениваемый как худшая форма тоталитаризма — остается идейно-политической основой Советского Союза, Запад не может и не должен идти на мирное сосуществование с ним; он обязан вести с ним лишь непримиримую борьбу. Так выявляется связь между «сталиноцентризмом» западной историографии и печально известными инвективами Р. Рейгана против СССР как «империи зла». Характерно, что орган христианско-демократической партии Италии начал свою проникнутую антисоветским духом рецензию на настоящий том «Истории марксизма» со ссылки на утверждения старейшего американского советолога Р. Пайпса, тогдашнего советника Рейгана по восточноевропейским вопросам, о прямой преемственности между внешней политикой царской России и Советского Союза («Пополо», 10 октября 1981 года).

Конечно, эти ультрареакционные рассуждения в такой прямолинейной, махрово антикоммунистической форме не выступают в «Истории марксизма», написанной в основном левыми авторами, нередко — деятелями компартий и соцпартий Запада. И все же известное влияние на некоторых авторов книги они оказали, хотя среди них нет единомыслия на этот счет, более того, между ними идет полемика. Обратимся к содержанию отдельных глав, составляющих настоящий выпуск.

Открывающий книгу очерк принадлежит Моше Левину, советологу сравнительно молодого поколения. На Западе Левин стал известен своими монографиями о советском крестьянстве в период коллективизации и о последнем этапе деятельности В. И. Ленина, написанными с либерально-реформистских позиций. В публикуемом очерке Левин признает значительность идейно-теоретических достижений В. И. Ленина, подчеркивает его антидогматизм и отвергает расхожую идею консервативной историографии о прямой преемственности Сталина по отношению к Ленину, что и вызвало критику этой главы справа. Связывая «сталинизм» с социально-экономической отсталостью России, что придает его умозаключениям налет фаталистичности, неотвратимости, Левин в то же время впадает в алогичные крайности, объявляя регрессом не только анализируемое явление, но и результаты Октябрьской революции и гражданской войны, в частности неравномерное перераспределение земли среди крестьянства

после Октября, перечеркнувшее столыпинскую реформу. Ограниченность Левина и в том, что крестьянство он, по существу, считает реакционной массой.

Левин уже в самом начале объявляет «сталинизм» некоей мистической «загадкой». Это слово было одобрительно подхвачено рецензентами в итальянских буржуазных газетах («Република» от 17 сентября 1981 года, «Стампа» от 19 сентября, «Джорнале нуово» от 7 ноября того же года).

Впечатление поверхностного и некомпетентного производит очерк английского историка Роберта Макнила. Он проявляет полное непонимание таких явлений, как стахановское движение, не говоря уже о роли большевистской партии и задачах, которые она перед собой ставила в те годы. Исторический фатализм выступает у Макнила в обнаженной и довольно-таки примитивной форме.

Бывший член Политбюро Компартии Австрии (ныне покойный) Франц Марек, исключенный из КПА за ревизионизм, сосредоточив все внимание на «складе ума Сталина», полностью игнорировал деятельность И. В. Сталина как политика.

Статья итальянского историка М. Сальвадори (ныне — активный деятель правящей социалистической партии) содержит обширный фактический материал, позволяющий выявить идейные и исторические корни основных линий развития современной советологии. Вместе с тем Сальвадори грубо извращает характер критики XX съездом КПСС последствий культа личности Сталина, в частности нарушений законности, утверждая, будто они не противоречили сути социализма, а точно отражали «методологию» политического управления, присущего советской системе.

Развивая эту концепцию «имманентности сталинизма» реальному социализму, Сальвадори в своем выступлении в ходе дискуссии за «круглым столом» в Турине подверг критике проводимую Левином трактовку «сталинизма» как «отклонения» от ленинского пути развития. Это поддержал другой известный буржуазный историк, Джузеппе Галассо. Дискуссия приняла бурный характер. Как сообщала газета «Манифесто» 19 сентября 1981 года, один активист-коммунист крикнул с места: «Если бы не Сталин, Сальвадори не выступал бы здесь сегодня!»

В том же ключе, что и Сальвадори, написал свою статью о воззрениях меньшевиков А. Либих, профессор политических наук Квебекского университета (Монреаль). При этом он «забыл» указать, что к началу 20-х годов они были на голову разгромлены в политическом отношении и полностью утратили какое бы то ни было влияние в стране. Приводимые Либихом факты демонстрируют примитивное начетничество меньшевистской критики по адресу нэпа, который они

считали «буржуазной» политикой, полное непонимание ими ленинского плана построения социализма.

В. Джерратана, итальянский историк-коммунист, делает в своей главе упор на различиях в подходе В. И. Ленина и И. В. Сталина к пониманию характера партийно-политического руководства и власти. В то же время автор явно увлекается своей «религиозной трактовкой» марксизма-ленинизма, игнорируя его научную сущность. Ни Джерратана, ни авторы других глав даже не ставят вопроса об организующей силе марксизма-ленинизма как идеологии.

Обширное исследование об эстетико-социологических корнях социалистического реализма в СССР и некоторых дискуссиях в этой связи опубликовал профессор Венецианского университета В. Страда, известный у нас своими выступлениями ревизионистского толка. Статья Страды, отошедшего в последнее время от ИКП и сблизившегося с соцпартией, хотя и опирается на определенные факты, в целом проникнута враждебностью к советскому строю и образу жизни. В результате Страда впадает в противоречия: признавая в начале очерка активное и продуктивное развитие советской культуры в 30-е и последующие годы, он затем фактически отказывает военной и послевоенной истории СССР в каком-либо конструктивном культурном значении и сводит всю ее содержательность к известному докладу А. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград».

«Деструктивность» рассуждений Страды в отношении социалистического реализма подтолкнула социолога и литературоведа Азора Розу (который пришел в ИКП из католического движения) к выводу о том, что «сталинизмом» чревата всякая партийная политика в области культуры. Возражая ему, тогдашний заведующий отделом культуры ЦК ИКП и член ее Руководства А. Торторелла указал на опасность не только чрезмерного «дирижизма» в этой сфере, но и эклектицизма и безответственности. А «Унита» в специальной статье 22 сентября 1981 года подвергла критике — правда, сдержанной — утолические взгляды Азора Розы как объективно препятствующие необходимому сплочению прогрессивной интеллигенции с коммунистическим движением.

Статья профессора философии, коммуниста Н. Бадалони, возглавляющего Институт Грамши, посвящена некоторым аспектам философского наследия А. Грамши. Именно в нем видит Бадалони «лучшего марксиста нашей эпохи». Между тем из самой же статьи явствует, насколько большую роль в формировании Грамши как политического мыслителя сыграли философы-идеалисты, особенно Бергсон, Кроче, Сорель. В то же время Бадалони лишь походя говорит об определяющем влиянии Ленина на Грамши, хотя это ясно видно из произведений и практики последнего. Значимость зрелых ра-

бот и методологии Грамши неоспорима; однако идейное его влияние на тогдашнюю политическую жизнь, в том числе и в ИКП, вряд ли можно считать таким уж существенным прежде всего потому, что главное его произведение «Тюремные тетради» не только не было тогда опубликовано, но и почти никому не было в то время известно. Основательным представляется и упрек Галассо в адрес Бадалони, что нельзя формирование взглядов такого крупного мыслителя, как Грамши, выводить из его борьбы против «лорианизма» («Коррьере делла сера», 5 января 1982 года).

Как и статья Бадалони, работа западногерманского левого социал-демократа Э. Альтфатера (профессор Свободного университета в Западном Берлине) о развитии марксизмом теории кризисов отличается усложненно абстрактной манерой изложения. Исследование Альтфатера также не свободно от ошибок. Он безосновательно утверждает, будто у Маркса и марксистов не было экономико-политической теории кризисов, хотя документы ВКП(б) и Коминтерна 20-х—30-х годов свидетельствуют об обратном. Альтфатеру неизвестны капитальные исследования по этой проблематике советского профессора Л. А. Мендельсона, удостоенные Ленинской премии 1934 года, в частности его трехтомная «Теория и история экономических кризисов и циклов». И все же статья Альтфатера может представить интерес для специалистов по истории рабочего движения и экономических учений соответствующего периода.

Малоизученная тема исследуется в статье итальянского левого социалиста М. Телó (он является одним из руководителей основанного Л. Бассо журнала «Проблемы дель социализмо» и Фонда Бассо-Иссоко, финансирующего исследования по истории рабочего движения с левых позиций) о проблематике планирования в тогдашней марксистской литературе, к которой он относит, в соответствии с концепцией издания, и социал-демократические публикации. В статье разбираются идеи бельгийского социалиста А. Де Мана, дается анализ предвоенного правительственного опыта СДП Швеции. Автор показывает, что как государственно-монополистическое регулирование экономики в Западной Европе до и после второй мировой войны, так и провозглашенная П. Тольятти в 1956 году концепция структурных реформ (и даже сам этот термин) идут от социал-демократической мысли 20—30-х годов. Впрочем, на симпозиуме в Турине это прямо подчеркнул член Руководства ИКП Дж. Наполитано.

Видя связь между проблемой политических преобразований и реальным планированием экономики, М. Телó не решает, однако, сделать четкий вывод о том, что ни в одной стране структурные реформы при определенных позитивных результатах не привели к коренным изменениям обществен-

ного строя, на что рассчитывали столь высоко ценимые автором социалисты-«планисты».

Маститый английский историк-коммунист Э. Хобсбом, один из зачинателей и руководителей всей работы, написал очерк об антифашистской западной интеллигенции 30-х годов. Он выявил социальные и политические причины обращения ее к марксизму, искренних симпатий к Советскому Союзу, подметил социально-психологические особенности, влекущие ее в социалистическом направлении. При явной «разочарованности» автора практикой современного марксизма впечатляет заключительное замечание о том, что антифашизм 30—40-х годов — «единственная часть» политического прошлого его современников, на которую они оглядываются «с безоговорочным удовлетворением».

Издательство «Прогресс» в целях информации направляет перевод второй книги третьего тома «Истории марксизма» (первый выпуск).

Моше Левин

БОРЬБА СО СТАЛИНИЗМОМ

1. Загадка

Этот очерк не претендует на исчерпывающее исследование феномена сталинизма. Он, скорее, ставит целью дополнить некоторыми — не обязательно оригинальными — деталями изыскания и дискуссии, ведущиеся в связи с этой системой и этим периодом российской истории. Речь идет о деталях, которые до сих пор еще не были в полной мере использованы в поисках верного объяснения того, что в значительной степени продолжает оставаться загадкой. Факты и идеи, вытекающие из изучения российской общественной истории, побуждают нас размышлять о России с более «исторических» позиций, вводить в анализ факторы прошлого, которые, как мы установим далее, еще не исчерпали себя. Они действовали весьма активно на начальных стадиях режима, но им пока не придавали должного значения как движущим силам, формировавшим события и структуры будущего.

Подобное утверждение может показаться отнюдь не оригинальным. Тем не менее остается очевидным, что большинство исследователей России обращалось лишь к наиболее привлекательным социологическим концепциям, а также политическим и идеологическим факторам, оставляя в стороне исторический анализ. Отдельные концепции и положения превратились в весьма спорные навязчивые идеи или оказались попросту ошибочными. Одна из наиболее распространенных теорий усматривает корни сталинизма и феномен Сталина в ленинизме и в ленинской концепции партии. Так, может показаться, что одно содержит в себе другое, заключая в себе черты того, что должно стать следующей фазой. Таким образом, ленинизм — политическая идеология — изображается главным «виновником», первопричиной специфического поворота послереволюционной российской истории, демиургом, высвобождающим собственную энергию, дающим всему свое толкование и творящим историю без малейшего участия социальных или исторических факторов. От многих наблюдателей ускользнуло действие в до- и послереволюционный период мощных факторов, которые порождали собы-

тия, наиболее видных деятелей и саму идеологию и могли также по-разному повлиять на ленинизм и сталинизм и на взаимодействие обоих феноменов. Престиж (или для тех, кто был против нее, позор) победоносной революции способствовал возникновению более чем необычайного явления: суть его состояла в том, чтобы выделить исключительное по своей невероятной значимости и эффективности событие и назвать его переломным в историческом развитии, то есть таким, в результате которого были в корне уничтожены всякие связи с прошлым, — не это ли было целью, которую революция ставила перед собой? — и которое отныне и впредь несло бы всю полноту ответственности за все последующие главы истории. Впрочем, в глазах некоторых ее участников революция была ответственна лишь за то хорошее, что за ней последовало, а менее приятные ее последствия они относили за счет «отклонений» или «пережитков прошлого», которым предстояло исчезнуть без следа. Эрик Хобсбэм уже писал о заблуждениях, к которым может привести чрезмерное сочувствие к революциям и подобным им событиям¹. Мы могли бы добавить к ним множество других заблуждений, вызванных злоупотреблением таким годным на все времена приемом, как ссылки на «пережитки прошлого», который так любят применять до сих пор отдельные советские авторы. Революция, стремление к материальному благополучию, преступления — вот примеры пресловутых «пережитков», за которые режим не желает брать ответственность на себя.

Западные ученые редко «попадались на удочку» объяснений такого рода; однако они часто видели в факте революции момент почти полного разрыва со всем предшествующим, увековечивали его результаты, подразделяя и группируя их и ограничивая, таким образом, возможности иного их истолкования.

Другой весьма распространенный способ постановки вопроса заключается в перенесении акцента главным образом на личность политического руководителя. Это привело к ряду односторонних выводов, тем более очевидных, когда предметом исторического исследования становятся личные амбиции и борьба за власть на верху социальной и политической лестницы. Притягательность феномена личной власти, то, что она приковывает к себе внимание, делает неизбежно менее интересным глубокое исследование общественных отношений и экономических тенденций, развитие которых происходит в течение длительного периода времени, или в лучшем случае отодвигает его на задний план.

Чрезмерное доверие к определенным типам классового

¹ См.: Essays in Social History, edited by M. W. Flinn and T. S. Smout. Oxford, 1974.

анализа, характерное для большевиков, для продолжателей их дела и для некоторых иностранных ученых, также стало источником значительных политических и концептуальных трудностей, в особенности для участников и вдохновителей событий в России. Слишком ревностное «применение» классового анализа, извлеченного из арсенала, созданного в условиях довольно развитого капиталистического общества и лишь для него, к обществу, делавшему в переходный или очень неустойчивый период, когда сосуществовали и сливались друг с другом различные формы, лишь первые шаги в некоем гипотетическом, историческом процессе, легко могло привести к потере цели. Царская Россия соответствовала именно такому описанию, а новые советские руководители продолжали использовать те же аналитические средства в отчаянной попытке выделить в своем послереволюционном обществе различные классы в полном смысле этого слова или по крайней мере отличительные признаки чего-то в этом роде, что позволило бы им предугадать долгожданное будущее или, напротив, резко отбросило бы всю систему назад, в прошлое.

Их целью было разобраться в историческом процессе, и это должно было стать основой политических установок. Однако остается фактом, что руководители послереволюционной России, сделав вид, будто ничего не замечают, допустили немало ошибок, и на следующем этапе — например, во время «великих чисток» — в конечном счете скомпрометировали аналитический метод, встав на путь грубых злоупотреблений им.

И в этом случае анализ был подорван тем, что после гражданской войны общество было слишком мало дифференцированным, слишком однородным, слишком архаичным или же переживало, как было в начале 30-х годов, период неустойчивости, характерной для крупных переворотов.

Э. Х. Карр * также считает, что марксистский классовый анализ не годится для советских условий, хотя и по иным причинам: во главе советского общества не было руководящего класса; превалирующую роль в нем играло прежде всего государство, строившее или разрушавшее социальную структуру. Впрочем, оно не отвечало понятиям ни господства, ни классового анализа. Рассуждение Карра было отражением действительности; оно по праву легло в основу изучения режимов Восточной Европы, включая царский и советский. Всевозраставшая роль государства в капиталистических и демократических системах впоследствии подтверди-

* Э. Х. Карр — профессор Кембриджского университета (Англия), считается крупнейшим на Западе историком социалистической революции и советского общества, автор многотомных работ на эту тему. — *Прим. ред.*

ла оправданность такого интереса к нему при изучении развивающихся стран.

Естественно, мы не собираемся заявлять, будто концепции, о которых шла речь до сих пор, несерьезны или недостойны внимания. Мы выступаем против преувеличений в любой форме, настаивая в то же время на том, что нужно совершенствовать метод анализа или вводить новые, необходимые, дополнительные данные и факторы. Даже когда речь идет о государстве, мы против чрезмерного концентрирования внимания на его проблемах, ибо это приводит к односторонней трактовке, делает государство феноменом гораздо более автономным, чем это есть на самом деле, то есть формой, которая ничего не породила, первопричиной, которая развивается и изменяется по своей воле. Нет сомнения, что государство может быть сверхмощным и доминировать над общественной системой преимущественно в особые, переломные периоды. Не раз имели место ситуации, когда государство, выйдя из привычных рамок, выступало и как мощная разрушительная сила в процессе развития общества, и как главный движитель и составляющая развития. Однако, абсолютизируя такое толкование, мы рискуем сделать анализ слишком политическим и не показать при этом, насколько перспектива на длительный период может оказаться ложной или по крайней мере весьма спорной. Временный, кажущийся выход государства за запретные рамки вовсе не означает в действительности его полной свободы действий. Можно утверждать, что социальные и экономические изменения, которые направляет и которым содействует государство, завершатся внесением изменений в государственные институты и во всю государственную систему. Запреты не только существуют, но и представляют собой систему, внутри которой государство никогда не свободно и которая лимитирует, связывает или, иначе говоря, ограничивает его действия. Даже если предметом исследования является сильная и основанная на произволе деспотия, следует ввести в анализ экономические, социальные и культурные факторы. Действие этих исторических условий и тенденций, если их рассматривать в исторической перспективе, не прекращается из-за того, что права человека попраны, или из-за того, что бюрократия, осуществляющая функцию подавления, занимает все ключевые позиции.

В нашем исследовании мы не проводим всестороннего анализа, который мог бы исправить все перечисленные выше недостатки. Однако стоит подчеркнуть, насколько необходимо его было провести. Исторические исследования могут способствовать восстановлению истины, используя адекватные приемы, дать более приемлемые истолкования. Они могут рассказать о развитии событий, выделив при этом

тенденции; проанализировать идеологии, не изолируя их от учреждений и социальных структур; рассмотреть деятельность наиболее выдающихся лиц, не забыв при этом, помимо их ближайшего окружения, и о широких массах, даже если отдельные вожди относились к ним с презрением; изучить государства как важные элементы социальных систем, изменяющиеся вместе с этими системами и внутри них.

2. Понять царскую Россию

Чем большую дозу «истории» мы будем обсуждать, тем более сложной, но и более богатой красками окажется перед нами картина. Нам придется задать себе вопрос: ощущались ли даже в послереволюционной России последствия незавершенной или провалившейся реформы 1861 года? То, что последовавшее за 1861 годом развитие привело к двум революциям, — факт общеизвестный; может быть, меньше учитывается то, что кризисные явления, сформировавшиеся в этот период, продолжали иметь место и в России Ленина, если не позднее. Сложные и тяжелые потрясения, которыми явились последовавшие друг за другом первая мировая война, революция и гражданская война, естественно, встряхнули старую структуру. Но предстоит еще подробно изучить тот строй, в который она действительно была преобразована, чтобы попытаться выявить, какие именно пережитки того периода продолжали отражаться на режиме в последующей фазе развития, еще более усложняя картину. И наконец, следует поставить те же вопросы применительно к последующему периоду русской истории, периоду сталинского «большого рывка», подумать о взаимодействии старых и новых элементов системы, которым в тот момент был дан мощный толчок к другому направлению развития, быть может, первый и, бесспорно, чрезвычайно мощный толчок такого рода за всю историю страны. Если мы будем исследовать характер этого нового направления развития, нам придется принять в расчет социальные преобразования и возникшие перед первой мировой войной кризисные зоны, последствия периода 1914—1921 годов и итоги развития 20-х и начала 30-х годов: это нечто вроде трехступенчатой ракеты, каждая ступень которой либо сообщает ей движущую силу, действующую в течение длительного времени, либо к уже нарушенному равновесию добавляет новые критические моменты. Наконец, сочетание этих трех элементов совершенно необходимо для объяснения сталинского периода и отчасти того, что произошло после его завершения.

Если все это верно, то мы сможем найти побудительные причины в концепциях главных действующих лиц и теоре-

тиков каждого периода, стремившихся дать объяснение исторической ситуации в России и понять тенденции ее развития. Мировоззрение главных действующих лиц того времени — которые, естественно, не занимались чистой наукой — вызывает особый интерес, поскольку продолжает влиять на мировоззрение советских ученых и в некотором смысле и на наше. Плеханов, Ленин и Троцкий, например, сражались со сложными проблемами прошлого, настоящего и будущего России, хотя может показаться, что будущее представлялось им наименее проблематичным. Их смущало настоящее. Им было необходимо срочно поставить диагноз настоящему, дабы сообразовать с ним свои действия в грядущих революциях. Проблемы, с которыми они сталкивались, возникли отчасти из аналитической тенденции, опиравшейся на четко разработанные категории общественных формаций и классов. Но происходило это в период, когда предмет изучения более чем когда-либо представлялся неясным, переживал переходную стадию и являл собой «клубок» компонентов, которые было непросто распутать. Нетерпение политических деятелей, стремившихся к действию и срочно нуждавшихся в концепциях и открытиях, которые можно было бы сразу поставить на службу политике, нисколько не облегчало дела. Напротив, оно «помогло» им «увидеть» больше того, что было в действительности, или искать то, чего не существовало. Естественно, индивидуальный темперамент этих людей и способность интуитивно схватывать суть ситуации, вопреки некоторым теориям, иногда могли привести их действия к успешному результату. Казалось, что период перехода, изменения обстановки, появления новых признаков нарушения равновесия и симптомов кризиса, продолжающих порождать непредвиденные ситуации, более того, абсолютно непредсказуемую реальность, трудно втиснуть в рамки чисто теоретических упорядоченных построений. Однако на деле оказалось возможным значительно легче отнести этот период к тому или иному направлению, чем это вытекало из теорий.

Плеханов, готовый в посленароднический период пожать плоды ожидавшегося ускорения капиталистического развития, тем не менее довольно часто использовал концепцию «азиатского деспотизма» для характеристики системы прошлого, а также обстановки, в которой происходило проникновение капитализма в экономику и разрушение этого деспотизма². Старые структуры легко не сдавались, но Плеханов предвидел и твердо верил, что будущие успехи экономического развития преобразуют общественную структуру так, что

² Прекрасное представление об исторических и политических оценках России Плехановым дает: *S. H. Baron. Plekhanov, the Father of Russian Marxism. Stanford, 1963, p. 295—307.*

в ней появятся движущие силы, о которых говорилось в теории: класс капиталистов, заинтересованный в демократизации страны, и пролетариат, который, преследуя свои цели и выполняя свою историческую миссию, выступит с теми же требованиями, но в то же время противопоставит себя сначала капиталистам, а затем капитализму как таковому. Так возникла модель двух фаз, воспринятая русской социал-демократией как исторический прогноз и послужившая ей подержкой в политических действиях.

Однако трудность заключалась в том, что, хотя новые классы продолжали, как и предполагалось, появляться, взаимодействие старых и новых социальных образований было несообразно с теорией; картина все более усложнялась и сбивалась с толку теоретиков и политических деятелей. Простое противостояние классов, предсказанное теорией, — буржуазия против пролетариата — оказалось не единственной и не главной движущей силой (хотя оно и сыграло совершенно определенную роль), и предсказанные фазы оказались чем-то совершенно туманным. Крах двухфазной модели, предложенной Плехановым, свидетельствовал либо об изъянах в анализе, либо о неправильном его применении в отношении революционных прогнозов.

Ленин столкнулся с теми же проблемами — с той же действительностью, с теми же концепциями, — и поначалу влияние Плеханова на его мировоззрение было весьма значительным. До революции 1905 года он как будто полностью соглашался с прогнозом двух фаз, но позднее взял на вооружение множество разных других положений, которые в конце концов — скорее в практической деятельности, чем в области теории — заставили его отказаться от первой фазы и с помощью силы сразу перейти ко второй, захватив власть. Однако пока остается открытым вопрос, была ли эта победа победой Ленина — аналитика общества, а также имели ли его предсказания и ожидания — за исключением положения о захвате власти — больший успех, чем предсказания Плеханова. Во всяком случае, каков бы ни был ответ на эти вопросы, позиция Ленина по отношению к царскому режиму и его различные теоретические построения, как бы изменчивы они ни были, в той обстановке являлись настоящим подвигом, в интеллектуальном плане куда более значительным, чем иной раз думают. До сих пор нет хорошего исследования, посвященного этой части его учения, и было бы интересно понять — почему. Может быть, из-за полемического характера многих его деклараций? Или из-за падения престижа Октябрьской революции, по мере того как становились очевидными ее истинные результаты? Или это происходит оттого, что чересчур приблизительны наши знания о царском режиме и послереволюционном обществе?

Во всяком случае, остается фактом, что влияние Ленина, особенно на советскую теоретическую мысль, гораздо менее деспотично и догматично, чем это кажется на первый взгляд. Все зависит от того, каким образом используются тексты, содержание которых может удовлетворять самым разным вкусам. Безусловно, Ленин видел факты и итоги капиталистического развития, но он разглядел также прочность паутины предшествовавших общественных отношений — серьезное препятствие, которому почти удалось задушить это развитие. Стремясь дать объяснение подобному симбиозу, Ленин, однако, колебался, каким аспектам — старым или новым — придать большее значение. Нетерпение молодого революционера заставило его провозгласить «превалирующей тенденцией» капитализм еще до того, как он действительно победил; это убедительно сформулировано в его ранней работе «Развитие капитализма в России»³. В этот период, в конце XIX века, ему казалось, что Россия твердо встала на путь капитализма. Во время и после революции 1905 года он внес в рассуждения ряд поправок и признал, что увидел больше, чем на самом деле⁴, особенно в отношении деревни. Кроме того, он внес некоторые интересные изменения в стратегию, в частности в концепцию «революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства». Таким образом, получил отражение факт, имевший место во время революционных событий, а именно: в противоположность ожиданиям крестьянство в тот момент не раскололось на четко разграниченные антагонистические классы и в своей борьбе за землю единодушно выступило против помещиков и государства. Ленин полагал, что в ту пору этот класс, или социальная прослойка, был способен на единые политические действия, включая союз с рабочим классом, даже если никогда не исчезала внушавшая беспокойство возможность потенциального столкновения с союзником. Итак, в разные периоды жизни Ленин то выступал за союз со всем крестьянством, то за союз лишь с его беднейшей прослойкой, а позднее и с крестьянином-середняком. Отчасти это было вызвано изменением ситуации, а отчасти тем, что Ленин в своем чрезвычайно проницательном анализе все же никогда не поднимался до точного понимания того, что представляло собой на деле русское крестьянство.

Рабочий класс, полагал Ленин, политически был гораздо более развит, чем крестьянство или буржуазия, но все же

³ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 3.

⁴ Изменение мнения о степени проникновения капитализма в Россию можно заметить, например, в работе 1907 года «Аграрная программа социал-демократии в русской революции» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 17, с. 148—173).

ощущал на себе влияние этих двух классов, и было совсем нетрудно навязать ему мелкобуржуазную неустойчивость. Крупная буржуазия, Ленин был в этом твердо убежден, не могла играть революционной роли, и данную роль пришлось бы исполнять кому-то другому. Словом, картина была весьма сложной, и в конечном счете каждый из названных классов мог перейти на противоположную позицию, поступив вопреки логике.

Все эти выводы довольно точно отражали сложившуюся обстановку, в которой капиталистические тенденции и отношения тесно переплелись с «пережитками» прошлого, создавая зыбкие и гибридные формы. И эти пережитки вовсе нельзя было отнести к разряду мелочей: среди них были такие мощные факторы, как царское государство, которое не было ни буржуазным, ни чисто «феодальным»; прослойка помещиков-землевладельцев, сопротивлявшаяся модернизации, но не отказывавшаяся от государственных субсидий и ипотеки, широко опосредствовавших сохранению докапиталистических форм ведения сельского хозяйства; бюрократия, на которую сверху давила аристократия, представлявшая собой еще одну, с трудом поддающуюся определению «смешанную» социальную прослойку. И наконец, крестьяне, которых никак нельзя было заключить в рамки привычных категорий (для этого требовались новые категории), являли собой «наиболее докапиталистическую», чем другие, прослойку.

На главный вопрос — какова на самом деле социальная система дореволюционной России? — Ленин не дал исчерпывающего ответа. Капитализм господствует, но имеются стойкие пережитки прошлого — вот главная, но далеко не точная его формулировка. Ленин завещал эту проблему своим советским преемникам, нашим современникам, которые, лавируя между формулировками Ленина, продолжают выделять то «пережитки», то «капиталистическое развитие». Однако и в том, и в другом случае открытия чреватые для ученого серьезными сложностями. Подчеркнув важность капиталистического развития, он окажется на политически прочных позициях, но в затруднительном положении перед лицом огромного количества хорошо известных фактов, а также многочисленных сетований самого Ленина на засилье в стране примитивной «азиатчины». Если же ученый сделает упор на «пережитках», то рискует впасть в идеологическую ересь. Стоит привести пример того, как обращение к социологическим проблемам дореволюционных времен может в современном Советском Союзе получить опасную политическую окраску.

Во время дискуссии, развернувшейся в 1960 году, советский ученый А. М. Анфимов выступил с критикой другого

ученого — М. А. Рубача (который преувеличил степень развития капитализма в сельском хозяйстве, и в частности число кулаков в деревне), поставив следующий вопрос: Если в деревне осуществлялся переход от крепостничества к капитализму и если даже на Украине капиталистические отношения не являлись господствующей системой, каковы же тогда отношения в деревне? И как характеризовать такую систему?⁵ И далее Анфимов продолжал: конечно, согласно Ленину, капитализм в деревне развивался так же, как в городе, но чисто капиталистические отношения в значительной степени подавлялись феодальными отношениями. И он вновь задал вопрос: каким образом «господствующие» отношения могли в то же время «подавляться»?

Консервативный идеолог чует ересь за версту. Рубач, как и следовало ожидать, возразил: вы говорите о феодальных отношениях в период развития империализма в России. Как же в таких условиях можно говорить о предпосылках социалистической революции?

Вот именно. Анфимов здесь не стал высказывать возражения. Он ограничился повторением мысли о том, что, если даже в развитой Украине капитализм был слаб, он должен был быть еще слабее в остальной части России. Можно предположить, что он предоставлял Рубачу самостоятельно ответить на его собственный вопрос. Что это был за тип формации, сочетавший развитой, может быть перзрелый, капитализм с прочными и повсеместными, особенно в деревне, феодальными отношениями?⁶ Как можно говорить об условиях для социалистической революции, если «нормальный» торговый капитализм с трудом пробивал себе дорогу, чтобы утвердиться?

Вопрос этот постоянно поднимается в работах советских ученых. Через десять лет после дискуссии В. В. Адамов, редактор превосходного коллективного труда, вновь вернулся к тем же проблемам, подтвердив, что все то, что не было выяснено прежде, в том числе и во время дискуссии 1929 года, еще и сегодня подлежит «выяснению»⁷. Мы могли бы добавить, что, до тех пор пока все останется неизменным, сам характер советского режима будет также нуждаться в выяснении, анализе с ленинских позиций. Выдвигать проблемы такого рода в Советском Союзе — это то же, что делать по-

⁵ А. М. Анфимов. Особенности аграрной истории России. М., 1960, с. 327—328.

⁶ Анфимов излагает работу В. И. Ленина «Аграрный вопрос в России к концу XIX века» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 17, с. 57—137). В этой статье прекрасно изложена точка зрения Ленина по данному вопросу накануне первой мировой войны.

⁷ Вопросы истории капитализма в России; проблема многоукладности. Под ред. В. В. Адамова. Свердловск, 1970, с. 98—99.

литику; вмешиваться в политическую экономию и социологию времен царизма означает бросать вызов режиму и его идеологическим табу.

3. Догадки Ленина и Троцкого

У Ленина мы находим мысль (выраженную скорее описательно, чем аналитически), до сих пор чрезвычайно плодотворную. С некоторых пор, уже в советский период, он утверждал, что в стране имеется пять различных общественных укладов, возникших в ходе исторического развития и сосуществующих, подобно составным частям сложной мозаики⁸. Речь шла о патриархальной, самой примитивной форме экономики в сельском хозяйстве, не ориентированной на рынок и существующей главным образом на советском Востоке; о мелком рыночном производстве (главным образом крестьянском, но также и ремесленном); о частнокапиталистическом секторе в городе и деревне; о государственном капитализме и о социалистическом секторе. Отмечая наличие многоукладности⁹ в дореволюционный период, мы не обнаружим там социалистического сектора. Зато огромное значение имел полуфеодальный сектор (охватывавший главным образом крупных земельных собственников, которые эксплуатировали рабочую силу и орудия труда крестьянства), а также куда более развитой, чем во времена нэпа, капиталистический сектор. Эта плодотворная мысль могла бы найти наилучшее применение в соединении с идеями и догадками Троцкого по поводу последствий отсталости¹⁰. Помимо указаний, которые можно извлечь из его (и Парвуса) идей о «перманентной революции», Троцкий в кратком, но блестящем предисловии к «Истории русской революции» исследовал «закон комбинированного развития» (как он его сам назвал). Это был его вклад как первооткрывателя в ответ на вопрос о том, какими результатами чревато для менее развитых стран, включая Россию, стремление догнать промышленно развитые страны. Троцкий показал, что такое стремление требует от этих стран напряжения сил для свершения скачка к новой, более высокой ступени организации и технологии, когда они отталкиваются от отсталой, если не вовсе архаичной, ступени развития. Для этого требуется и ускорять ход развития, и постоянно опираться на государственную власть как ключевой

⁸ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 36, с. 296; т. 45, с. 279.

⁹ В основе книги под редакцией Адамова лежит идея многоукладности; в ней изучаются ее результаты и потенциальные возможности в царской России.

¹⁰ См.: „Storia del marxismo“, vol. 3/1, p. 131—165; В. Кней-Паз. Троцкий: rivoluzione permanente e rivoluzione dell'arretratezza.

фактор в восстановлении равновесия, и перепрыгивать через отдельные фазы. Все это в свою очередь оказывает огромное влияние на общественную структуру. Одним из основных последствий этого является не столько неприятное сосуществование пяти перечисленных Лениным укладов, сколько общая для всех этих стран черта: сосуществование и неизбежные столкновения передовых укладов с «шлейфом» отсталых укладов. Все это являет собой единую систему и касается любого аспекта жизни ¹¹.

Эта важная мысль в равной степени (хотя и с некоторыми нюансами) применима и к царской России, и к советской системе Ленина, и к периоду правления Сталина. Однако до сих пор не объяснены специфические социальные механизмы, которые в каждый из этих периодов способствовали затяжному существованию переходных форм, блокированию современных укладов, сохранению весьма неустойчивого равновесия (его легко нарушали военные кризисы), депрессии или ускорению развития, направляли это развитие по новым путям, результаты чего нельзя было ни вычислить, ни предсказать. «Механизм» такого рода можно отыскать в царской России, где капиталисты и купцы побуждали отсталых крестьян *больше производить для рынка* еще до того, как они научились просто *больше производить*. Вот в чем причина роста товарного производства в застойном сельском хозяйстве с очень низким ростом продукции. Неудивительно, что последствиями этого для деревни были все возраставшее обнищание крестьян и появление избытка людских ресурсов и рабочей силы. По мнению Анфимова, можно считать, что в 1913 году 30% сельского населения (в начале века — 27%) представляли собой «излишек» ¹².

Общее обнищание и сопутствовавшая ему «избыточность» населения и рабочей силы вызвали ломку социально-экономического развития сельского общества и сельского хозяйства, а экономическое и финансовое давление, особенно на зажиточных крестьян, во многих областях приостановило или извратило (как об этом часто предупреждали авторы-народники) столь желательную социально-экономическую дифференциацию, одновременно уменьшив число и бедных, и зажиточных хозяйств.

Эти явления имели огромные последствия для всей системы. Во-первых, крупные и средние помещики были «развращены» этим и настроены на использование старой исполь-

¹¹ «История русской революции» Троцкого (в двух томах) не раз переиздавалась и переводилась. Его первые размышления по этим вопросам — результат изучения работ Ключевского и других историков, изложены в книге «Итоги и перспективы», опубликованной в 1906 году.

¹² А. М. Анфимов. Крупное помещичье хозяйство в европейской России. М., 1969, с. 371.

ной системы отработок, а не на ее модернизацию, хозяйствование с применением наемной рабочей силы. Экономическое развитие крестьян как земельных собственников в связи с этим было чрезвычайно затруднено, что привело к сохранению в обществе статус-кво в течение ряда пореформенных лет со всеми его «средневековыми пережитками». Это весьма сказалось также на развитии промышленности страны, так как наряду с прочими факторами огромный избыток населения приводил к снижению заработной платы и не позволял рабочим достигнуть уровня жизни и общественного положения, отвечавших уровню современной промышленности.

Еще одним «коренным противоречием» было увековечение консервативного и малопродуктивного класса землевладельцев, а с ним и государственной системы, поддерживаемой этим классом и также его поддерживавшей. Государство, предоставлявшее средства под закладные непродуктивным хозяйствам, не говоря уже о том, что оно всеми силами препятствовало идее распределения этих земель среди обезземеленных крестьян, было, безусловно, тем фактором, который мешал — вместо того чтобы содействовать — развитию современного товарного хозяйства в деревне, и не только в ней.

Здесь мы можем обратиться к некоторым формулировкам, разработанным Баррингтоном Муром¹³, чтобы продолжить затем исследование того, что произошло впоследствии и по какой причине. Живучесть некоего традиционного типа крестьянина, считает Мур, связана с живучестью государственной системы докапиталистического склада. Он определяет такие системы (относя к ним, например, Китай и Россию) как «аграрные бюрократии». В них затруднена модернизация государства, крестьянства и аристократии, и даже тот незначительный капиталистический сектор, который возникает в рамках этой системы, испытывает большие ограничения. При этом политика такого рода препятствует всякому демократическому развитию. Далее Мур задает себе вопрос: каковы же должны быть необходимые условия для демократического развития, если страна, которую мы изучаем, не располагала ими в достаточной мере и альтернативы не существовало? Русское крестьянство продолжало платить дорогой ценой за любой тип развития. Кроме того, оно было прочно опутано целой сетью давно уже изживших себя отношений с государством и помещиками, а зачастую и с предпринимателями-промышленниками. Теперь мы можем понять, почему термин «пережиток» применительно к отношениям этого типа кажется неадекватным: в самом деле, в нем не

¹³ *Barrington Moore. Le origini sociali della dittatura e della democrazia. Torino, 1971.*

отражен тот факт, что именно совокупность этих отношений, их механизм закрепил нестабильность обстановки и возможность ее критического развития.

Здесь самое время сказать о еще одной советской работе — все того же Адамова, — которая (хотя ее автору и пришлось избегать имен вроде Троцкого и Баррингтона Мюра) представляет собой интересную методологическую разработку, совершенно оригинальную на фоне советских исторических исследований. «В центре анализа следует ставить не только отсталость, но и ее необычную связь с ускоренным развитием; не только обострение социальных конфликтов, но и новый тип связей во взаимопереходах этих конфликтов; вместо того, чтобы говорить о более общих антиномиях, например в рамках противопоставления «средневекового» и «современного», следует рассматривать конфликт более жизненно, т. е. рассматривать самые разные формы и средства объединения в „современном”»¹⁴.

Вероятно, Адамов согласился бы с Баррингтоном Муром в том, что в системе, где докапиталистическое по характеру общество и политика испытывают давление модернизации, наивысшая плата за которую — выраженная в деньгах, нищете, в конечном счете в исторической некомпетентности — перекладывается на плечи крестьян, вся структура находится под угрозой крестьянской революции. А нередко и под угрозой коммунистической диктатуры, даже если бы нам и захотелось оспорить саму логику соединения терминов «диктатура» и «коммунистическая».

Однако, когда революция завершена и пришел к власти новый режим — в нашем случае это социалистический режим, — появляются новые препятствия, часто весьма коварные и значительно более серьезные, чем прежние. Они мешают любому последующему развитию и поддерживают нестабильность и тенденцию к кризису системы.

4. Гражданская война и крупный социальный переворот

Именно в подобной напряженной и нестабильной обстановке, характеризующейся все более острыми кризисами и конфликтами, которые с трудом удается удерживать под контролем, попытки ускоренного развития и прочие непредвиденные встряски, вроде войн, могут вызвать революцию. Бурное экономическое развитие в 90-е годы XIX века и промышленное развитие предшествовавшего революции 1917 года десятилетия — оба эти явления совпали с войнами — привели соответственно к революционным взрывам 1905 и

¹⁴ «Вопросы истории капитализма в России; проблема многоукладности». Под ред. В. В. Адамова. Свердловск, 1970, с. 98.

1917 годов. Позднее Октябрь и последовавшая за ним гражданская война вызвали совсем иные по характеру потрясения, а именно явления торможения и регресса. Ускоренный же экономический рост в начале 30-х годов, который следует отнести к перечисленным выше встряскам (совсем недавним и не до конца усвоенным), привел к возникновению особого явления — сталинизма. Следует напомнить, что для истории общества период времени, которым мы занимаемся (едва охватывающий сорокалетие), чрезвычайно короток и что именно он был периодом глубокой перестройки и ряда дестабилизирующих явлений, возникших до решения некоторых неотложных проблем и усиливших и без того существовавшую напряженность. Таким образом, объяснение интересующих нас явлений следует искать именно в событиях того периода. Более того, оказалась бы оправданной необходимость возвращения к предшествующей истории начиная с 1861 года.

Гражданская война 1918—1920 годов спровоцировала драматический переворот в развитии страны. К началу периода новой экономической политики, в 1921 году, во власти хаоса находилась не только экономика: обезлюдели города, буржуазия была уничтожена, а вместе с нею исчезли профессиональные, административные, культурные и интеллектуальные богатства нации. Еще более серьезным с точки зрения режима было значительное ослабление рабочего класса, если учесть, что смерть, мобилизации, перевод на другую службу и деклассирование поглотили почти половину квалифицированной рабочей силы, которая была занята в промышленности. Ученые еще до сих пор не оценили в полной мере результатов разрушительных потрясений тех лет. Казалось, будто значительная часть результатов социально-экономического развития России с 1861 года и до изучаемого периода была уничтожена, а ее культура — духовная и политическая — отброшена назад, на одну из более низких ступеней, которую трудно определить и датировать. И все же этот отход назад мы должны учесть в нашем исследовании и изучить его самые разнообразные последствия и варианты.

Безусловно правильно, что революция, устранив привилегированные прослойки прежнего режима, открыла путь к продвижению наверх, к образованию и к власти тем слоям народа, которые прежде находились на низших ступеньках социальной лестницы. Однако вначале, в первое двадцатилетие, школы и государственные учреждения были наводнены неподготовленными, полуграмотными людьми, главным образом крестьянского происхождения. И самой партии, несмотря на то что она претендовала на роль авангарда и считала себя средоточием всего самого лучшего и выдающегося, пришлось довольствоваться тем, что ей могла дать

страна. Организация, которая в начале революции в феврале 1917 года насчитывала в своих рядах 24 тысячи человек, 250 тысяч сразу после Октября 1917 года и 1 миллион в 1927 году, могла, конечно, считать эти цифры своей большой победой. Однако в основе ее весьма сложное социальное явление: в партию нахлынула политически безграмотная масса, а опытная, политически и идеологически подготовленная элита, в значительной степени ослабленная уже в ходе революции и гражданской войны, развращенная властью, была смята грубой массой, о чем не раз во всеуслышание говорилось. Уровень образования, культуры во всех сферах административной деятельности, включая партийную работу, не мог не свидетельствовать об общем упадке страны. Результатом этого драматического факта был ее отход на более низкую ступень развития.

Несомненно, утрата социального престижа, энергии и навыков частью населения, игравшей ведущую роль в эпоху промышленного развития (если не говорить об эпохе социализма), была большим ударом для страны. Вопреки официальному мнению, к потерям следует отнести и уничтожение или утрату руководителей и кадров различных политических партий, возникших в России главным образом в XX веке. Можно понять, что большевики не скорбели об утрате какого-нибудь Милюкова — безусловно серьезной, с нашей точки зрения, — но прекрасно понимали, что Мартов и ему подобные могли бы очень им пригодиться. Из свидетельства Луначарского мы знаем, что Ленин да и сам Луначарский не раз сожалели о потере Мартова, который мог бы стать крупным руководителем правого крыла партии, если бы таковое возникло¹⁵. Я привел имена, которые служат лишь иллюстрацией проблемы того периода, которым мы занимаемся. Разгон других партий и их руководителей облегчил создание однопартийного правительства. Зато, вне всякого сомнения, в стране пришла в упадок политическая культура, за что платилась и сама партия, стоявшая у власти.

Это относится к последствиям гражданской войны для города. Чтобы понять, во что превратилась с социально-политической точки зрения Советская Россия в тот период, когда наступивший мир позволил новому режиму приступить к восстановлению хозяйства, необходимо остановиться также на тенденциях, которые наметились в деревне.

В то время как городской и промышленный секторы страны переживали упадок, сельское хозяйство и крестьянство (как ни отстали они были, даже напротив, именно в силу своей отсталости) не в пример лучше переносили полосу невзгод, и это неизбежно должно было привести к увеличе-

¹⁵ А. Луначарский. Революционные силуэты. Киев, 1924.

нию их вклада в экономическое и социальное развитие страны. Этот совершенно очевидный и замеченный уже тогдашними наблюдателями процесс без особого труда можно квалифицировать как процесс «окрестьянивания», или «аграризации», России. Как и в давние времена, сельскохозяйственное производство стало главной, если не единственной, статьёй бюджета страны. Доля крестьян в общем числе населения страны стала выше, чем в царской России. Поскольку солдаты были в основном выходцами из деревни, крестьянство сыграло решающую роль в развитии революционных событий в обеих столицах и на фронтах гражданской войны. Оно оказалось также решающей революционной силой и в более глубоком значении этого слова, поскольку осуществило собственную революцию в собственных интересах, даже если власть, как это всегда бывает, осталась сосредоточенной в городах. Во всяком случае, то, каким образом развивалась аграрная революция, глубоко повлияло на сам характер системы и на установление нового режима — именно вследствие прямых и косвенных действий крестьянства. Захватив помещичьи земли, они изгнали старый привилегированный класс и положили конец старой официальной России и ее политической системе. Не менее важным с точки зрения появления или отсутствия перспектив на будущее был факт уничтожения крестьянами всех результатов столыпинских реформ: земля была перераспределена на основе принципа равенства, соответствия интересам и чувству справедливости крестьян, были уничтожены последствия социального расслоения, то есть более эффективные формы ведения хозяйства и производства в расширенном масштабе. Сельская община, которая переживала период заката и считалась почти изжившей себя, вдруг вновь пышно расцвела и на первых порах не претерпела никаких изменений или ограничений в силу того, что правительство не навязало ей никаких новых функций. Советский режим, таким образом, унаследовал или, лучше сказать, взвалил на себя ответственность за крестьянское сословие, освободившееся от каких-либо элементов опыта капиталистического ведения хозяйства, имевшего место в прошлом. Это сословие в значительной степени сгладило существовавшее внутри него неравенство, в массе своей встало на позиции средних слоев, повысило в определенном смысле свой уровень жизни и свой социальный престиж (особенно в собственных глазах) и возродило к жизни старую традиционную систему семейного ведения хозяйства — двор.

Но это было еще не все. По сравнению с царскими временами крестьяне значительно сократили часть поставляемого на рынок продукта и восстановили «натуральное» хозяйство; это явление захватило гораздо более широкие сферы, чем сфера чистой экономики. Будучи еще в царскую эпоху

вещью в себе, *мир* [слово, обозначающее сельскую общину, а также мир (антоним войны) и вселенную] еще больше замкнулся в собственной скорлупе, изолировался от гражданского, городского и культурного общества в собственной деревне, с традиционным правом и религиозностью в форме древнего сельского христианства с его чертами и ведьмами. Словом, крестьяне стали — и в период нэпа продолжали оставаться — более традиционными, даже архаичными, больше «мужиками», чем были раньше. На некоторое время произошло возвращение не только к докапиталистической, а даже к добуржуазной, точнее, к дотоварной форме ведения хозяйства: слабое товарное производство, соха, трехпольное земледелие, а главным образом общинное распределение земли и коллективное семейное владение средствами производства (но не землей). Возникает вопрос, подходит ли термин «мелкая буржуазия» для социологического определения этого сословия? Во всяком случае, это определение (и в еще большей степени продолжающее бытовать до сих пор мнение, будто крестьяне — законченная и бесспорная модель капиталистического класса) повлияло на официальную и даже неофициальную точки зрения, став одной из грубейших ошибок научного анализа, и не раз наносило неизмеримый ущерб как самим крестьянам, так и системе в целом. Но об этом речь пойдет ниже.

Подводя итоги революции и гражданской войны, мы можем утверждать, что, хотя вожди революции хорошо знали, что их страна не созрела для социализма (и потому часто питали надежду на революцию на Западе), они не отдавали себе отчета в том, что в конце концов столкнутся с еще большей отсталостью, чем это было в России при царизме. Как уже говорилось, многие важные для развития современного общества результаты, достигнутые царской Россией, были уничтожены во время революционных событий. Новому режиму пришлось действовать, опираясь на социальную базу, которую даже при очень смелом воображении нельзя было считать социалистически ориентированной. В то время как городской и сельскохозяйственный секторы, каждый на свой лад, сдавали позиции и меняли свое социальное и политическое лицо, русское общество отнюдь не переживало подъема. Напротив, оно также сдавало позиции по двум направлениям, что, лишая его возможности выбора, ставило перед ним трудные альтернативы и ограничения. Большая часть нации — крестьяне — не была динамичной силой, и было трудно ожидать, что они помогут стране найти выход из положения. Единственной динамичной силой на этой стадии было новое государство. Старое государство в России также было значительной силой, но оно рухнуло под натиском социальных сил, которые не сумело сдержать. Хотя в царской России

уровень развития «гражданского общества» был недостаточным, им все же нельзя было пренебречь.

Социальные факторы свидетельствовали о все возрастающих возможностях для проведения реформ и усовершенствования системы. Но поскольку этого не произошло, события, о которых мы говорили, содействовали утрате этого потенциала и чрезвычайному ослаблению «гражданского общества». Оставшись лицом к лицу с менее четкой социальной структурой, новое государство изменило свою роль: оно стало все больше полагаться на организации — партию, бюрократический аппарат, армию, — до тех пор пока со временем этот метод не стал единственным. Хотя государственный механизм испытывал острую нехватку кадров из-за отстранения образованных людей и притока социально надежных, но профессионально плохо подготовленных элементов, он был, по крайней мере в верхах, где формировались идеи, продуктом XX века.

Государство имело идеологию, было исполнено доброй воли, располагало монополией на все технические средства, обладало необходимыми средствами контроля, чтобы вести страну по пути дальнейшего развития. Но это движение не могло стать движением вперед. То, что мы определили как «продукт XX века» (само по себе воплощение отнюдь не только прогрессивного), имело дело с нацией, в значительной степени состоявшей из одного, почти однородного социального класса, бедного, сформированного веками истории, застывшего — судя по его технике ведения хозяйства, образу жизни, культуре, верованиям и институтам — на некой, не совсем точно поддающейся определению точке развития прошлого. Словом, остается фактом, что друг другу противостояли две несовместимые эпохи. Более того, амортизатор, который должен был способствовать компромиссу и смягчить возможное столкновение, был слишком непрочным. Многие предсказывали, что рано или поздно столкновение этих двух сил решит будущее страны. И действительно, несмотря на надежды одних и некоторые здравые советы, высказанные по этому поводу самим Лениным, несмотря на усилия, которые были приложены в период нэпа, столкновению государства с народными массами суждено было произойти. Это случилось на следующем этапе, когда была сделана новая беспрецедентная попытка ускорить развитие, вызвавшая очередное потрясение, новую насильственную перестройку и целый ряд последствий, которые серьезно отразились на обществе и самом характере политического выбора. По сравнению с тем, что должно было произойти, нэп с его элементами «общественного договора» с крестьянами, с классом специалистов, частью буржуазии и культурной элитой мог в скором времени показаться золотым веком свободы и плюрализма. Зарож-

далось государство-Левиафан, появления которого многие опасались, но которое никем не было предсказано; оно должно было обрушиться на страну волнами террора и пароксизмами иррационализма. Предстояли родовые схватки возрождения самодержавия; оно, естественно, не было той целью, за которую многие отдали свои жизни во время революций и гражданских войн. Иные же много заплатили бы, чтобы их не сочли соучастниками того, что произошло, или слепо приняли стремительно надвигавшиеся на них события.

5. Еще раз мужик против государства

К концу 20-х годов время сведения счетов, казалось, было уже не за горами. Дебаты о стратегии развития, неизбежно связанные с борьбой за власть, и идеологические битвы, в основе которых был вопрос о самом существовании режима, сосредоточились на трех основных платформах: а) каким образом должна проходить индустриализация? б) не провоцируя возмущения крестьян? и в) как при этом не выпустить из рук государственного и партийного строительства? Последний пункт касался характера системы и ставшей уже очевидной тенденции к превращению ее в тираническое супергосударство. Как правые, так и левые скрыто или явно опасались такой возможности, тогда как сталинская группировка и ее вождь не проявляли в этом плане признаков особой озабоченности. Они обнаружат, чего стоило им это упущение, семь-восемь лет спустя. А пока именно силы, организованные государством, и все средства, которыми оно располагает, будут брошены на то, чтобы подготовить и обеспечить руководство новым «большим рывком».

Еще раз мужик станет центральной фигурой всех этих планов и стратегий будущего. Что с ним делать? Действительно ли он был источником возможной реставрации капитализма? Поддержит ли мужик режим в его попытке преодолеть кризис, который, как полагали, был спровоцирован самим режимом? Поддержит ли он новый процесс накопления, за который ему приходится платить высокой ценой?

В последовавших затем событиях, известных как «скачок к коллективизации» (термин «коллективизация», несомненно, неточен), не удалось избежать столкновения крупных сил, которые находились тогда на арене русской истории. Государство повело ожесточенное наступление на крестьянство — пример «социальной перестройки», по размерам, дерзости и жестокости оставившей далеко позади столыпинскую «реформу сверху», — последствия которого самым серьезным образом сказались и на крестьянстве, и на режиме.

Если бы это столкновение было единственным, пусть и самым крупным, можно было бы управлять процессом с меньшими потерями. Но коллективизация крестьянства была лишь частью более широкого и недостаточно спланированного «наступления». Одновременно с борьбой против мужицкой психологии, с тем чтобы навязать мужику новые формы жизни и труда, режим предпринял ускоренную индустриализацию, запланировал создание новых городов и расширение старых, начал готовить новые, значительные кадры специалистов, необходимые для этого, — техников, ученых, квалифицированных рабочих, администраторов — и принялся за дальнейшее усиление государственного механизма, бюрократии и учреждений. Левнафан начал обретать форму, превзойдя самые худшие ожидания его критиков на предшествовавших фазах развития. В истории России уже встречались подобные явления, но на этот раз были побиты все рекорды как по масштабам проводимой государством акции и универсальности применения террора, так и по основательности достигнутых результатов. В ходе процесса, целью которого было дисциплинировать массы новых рабочих, подтолкнуть в колхозы упрямившихся крестьян, охватить идеологией, обучить, терроризировать и силой навязать принятые решения, тот же аппарат, все более разрастающийся, прошел через аналогичные испытания: лекарство, которое он прописывал другим, было прописано и ему самому, включая и кровавую баню в таких дозах, что могло показаться, будто в системе в целом есть нечто патологическое. Так называемая «вторая Октябрьская революция» вызвала такую серию кризисов и такую нестабильность, что способность режима действовать разумно и противостоять ситуации, казалось, была на пределе. Целая лавина обязанностей, все более и более сложных, обрушилась на плечи аппарата, который численно рос, но был неспособен итти в ногу со временем (в самом деле, его уровень еще более снизился из-за притока неподготовленных новичков), а взаимодействие всех этих факторов способствовало трансформации политической жизни в систему насилия с капризным самодержцем на ее вершине.

На официальном языке того времени крестьяне считались союзниками рабочего класса, тем более что они теперь превратились в «колхозное крестьянство». В то же время они рассматривались как главная причина всех трудностей, с которыми столкнулся режим. По этой причине крестьянство представляли как мелкобуржуазную прослойку, и никому не было позволено раскрывать, что речь шла все о той же крестьянской массе, воображаемой носителнице новой, социалистической идеи, а заодно и в корне противоположного сознания, которое разъедало рабочий класс, государственные институты и даже партию.

Внутри крестьянской массы был выделен особый слой «сверхмужиков», больше известных как «кулаки». Это был еще один перегиб, допущенный в классовом анализе, и подобных примеров можно было бы привести множество¹⁶. Речь шла о немногочисленной верхушке зажиточных крестьян, которые в советских условиях вели хозяйство, опираясь в основном на труд членов собственных семей; они имели в среднем до десяти гектаров обрабатываемой земли, две-три коровы, две-три лошади, не более одного-двух батраков, работавших по найму, и все это на семью, состоявшую из восьми — десяти человек. Хотя их враждебность к колхозам не вызывает сомнения, все же, исходя из упомянутой выше материальной базы, видеть в них «капиталистический» или даже «полукапиталистический» класс — означало опираться на концепции из области фантазии. Однако в действительности было официально заявлено, что только после ликвидации этого кулачества «как класса» — последнего оплота капитализма — страна сможет прийти к социализму. Следовательно, основы социализма были заложены не в октябре 1917 года, когда был ликвидирован истинный враг, а в результате «большого рывка», осуществленного Сталиным. Но разве к социализму можно прийти с помощью подобных идеологических манипуляций?

Лучший способ представить себе масштабы проблемы — это вспомнить, что, по официальным данным, в ходе экспроприации этих «сельских капиталистов» стоимость конфискованной собственности составила 400 миллионов рублей. Позднее цифра была увеличена, но скромность ее, в общем, показательна. Одно крупное промышленное предприятие стоило намного больше, а между тем вред, нанесенный экономике в результате экспроприации и изгнания миллионов лучших земледельцев, оказался непоправимым. Стоит остановиться на аспекте, характерном для большинства мероприятий, проводившихся в тот период: это быстрота и поспешность, с какими они проводились в широких, а иногда и гигантских масштабах и к которым страна не была готова. Проводимая преждевременно национализация производственных мощностей может нанести серьезный социальный и политический ущерб. Во всяком случае, имеется существенное различие между национализацией крупной промышленной компании, организованной на бюрократических началах, где достаточно замены административного совета, и национализацией хижин, коров и плугов. Во втором случае, как мы хорошо знаем, диктат государства уничтожил целый класс производителей.

¹⁶ По этому вопросу см. мое исследование: „Who was the Soviet Kulak?“ — In: „Soviet Studies“, XVIII, October 1966, n. 2.

Это замечание касается не только экспроприации кулаков, но и всего процесса коллективизации. Ошибочность советской коллективизации состояла в навязывании крестьянам, привыкшим к малым формам хозяйствования, форм и методов ведения крупномасштабного хозяйства при отсутствии технических средств и соответствующих кадров и при том, что они не прошли через соответствующие переходные фазы. Большинство крестьян имели небольшие семейные хозяйства, входившие в систему общинного владения землей. Итогом развития множества поколений крестьянства стали выработанные ими психология, культура и этика, которые были следствием их образа жизни и труда, а также религиозная система верований — особая форма «сельского» христианства, густо замешанная на знахарстве и суевериях. Скачок от знахарства к высшей математике (воспользуемся терминами, которые часто применялись в 20-е годы) требовал чего угодно, только не «употребления» голой власти государства. Многие полагали, что, поскольку общинные формы вырабатывались веками и были нацелены на удовлетворение нужд примитивной и перенаселенной деревни, их можно было использовать как отправную точку, чтобы на следующей фазе развития прийти к более совершенной форме. Однако бурный характер тех лет не позволил встать на этот путь. Некоторое время панацеей считалось форсированное ускорение развития; цена за это была все та же: новый и еще больший упадок сельского хозяйства, сопровождавшийся параллельными явлениями в других областях экономической, социальной и культурной жизни.

Напомним, что крестьянская психология затрудняла не только управление колхозами. В связи с большим промышленным строительством — об этом факторе не следует забывать — миллионы крестьян хлынули в город. Большую часть нового рабочего класса, значительную часть служащих, **студентства** и представителей новых групп специалистов приходилось вербовать из крестьянского сословия. Крестьянство послужило тем человеческим материалом, из которого формировались классы развивавшегося индустриального общества. Могло ли хватить короткого периода обучения, чтобы заставить их расстаться с образом мышления, который вырабатывался веками? Особенно в обстановке бурно развивавшихся городов в 20-е годы или строительных площадок и переполненных трудовых лагерей 30-х годов? Кратковременное массовое проявление социальной мобильности должно было привести к не менее массовой дезориентации, а это наихудшее условие для быстрого и окончательного разрыва со старыми привычками. Рассматриваемые нами феномены ускоренной перестройки и их последствия были «кратковременными», и это же может быть сказано и о центральной теме

настоящего исследования. Результаты таких быстрых социальных изменений всегда противоречивы, и лишь при взгляде на вещи на определенном удалении во времени можно отделить продолжительные последствия от более кратковременных в этом процессе перестройки. Не следует путать новую, поверхностную «окраску», которую легко приобрести, с теми глубокими изменениями в культуре и психологии, для которых требуется гораздо больше времени.

Только за период 1928—1935 годов почти 17 миллионов крестьян перебрались в города (не говоря о миллионах, которые в тот же период и в последующие годы то приезжали в города, то уезжали), и их население за такой невероятно короткий срок удвоилось. Вероятно, эта часть населения начала «раскрестьяниваться»; однако, как мне приходилось уже указывать¹⁷, она «окрестьянивала» города, и главным образом фабрики. К ошибкам планирования, вызванным в свою очередь бешеными темпами развития процесса, следует отнести его размах и исключительно бурный характер. Речь идет, таким образом, не о простой миграции населения в города, которую обычно считают признаком прогресса и социального продвижения. Заметим еще раз, что все это могло бы дать положительный эффект в случае «длительного развития». А пока города и центры заполнили потоки иммигрантов (зачастую это были доведенные до отчаяния люди, отвергавшие колхозы и раскулачивание). Это привело к перенаселенности городов, вывело из равновесия городские институты и подорвало их материальную базу. Вновь прибывшие столкнулись с суровой и негостеприимной обстановкой, с экономическими трудностями, с нехваткой жилья, не говоря уже о том, что сложная промышленная и городская советская система, переживавшая бурное развитие, не была адекватна людям с деревенской психологией. Следствием этого явилась утрата корней массами крестьян, культурный и психологический шок, которые в свою очередь стали причиной широко распространившейся дезориентации и кризиса прежних ценностей и развившихся в результате этого преступности, хулиганства и фашизма, взятого на вооружение иррациональной контркультурой.

Если мы хотим понять период 30-х годов, нам необходимо учитывать эти явления. Хотя мы занимаемся в некотором роде хрестоматийным случаем ускоренной индустриализации и урбанизации, который мог иметь место где угодно, тем не менее их размах, ограниченность во времени и политическая обстановка, в которых они происходили в России, имели со-

¹⁷ См. мою статью: *Moshe Lewin. Society, State and Ideology during the First Five-year Plan.* — In: „Cultural Revolution in Russia“, ed. by S. Fitzpatrick. Bloomington—London, 1978, p. 52—55.

вершенно особый характер. И народ, и политическая система всей страны были подвергнуты невероятным испытаниям. В связи с этим, чтобы понять суть сделанного страной политического выбора, необходимо представить себе то, что пережили массы людей. Как уже говорилось, большая часть населения происходила из деревни и была вынуждена, чтобы хоть как-то приспособиться, перестроить свои этические и культурные представления, чтобы снова стать хозяевами собственной жизни и обрести душевное здоровье. Для этого все, что было под рукой — и опыт прошлого, и опыт настоящего, — было пущено в ход, но по-разному. Дело в том, что очень немногое из багажа прошлого могло оказаться полезным, а новая обстановка не могла предложить достаточного количества удовлетворительных ценностей. Все бремя поиска ответов и решений ложилось на плечи государства, которое, мало сказать, лихорадило, оно было напряжено до предела, ибо чересчур полагалось на эффект крайне грубого принуждения и примитивной пропаганды. Продолжалась подготовка кадров и строительство, обучение и продвижение вперед, но культурный процесс отчасти затормозился. Дало о себе знать свойственное тому времени явление, для которого определение «обескультуривание» было бы неточным. Этот термин может означать и утрату корней массой крестьян, которые лишились старых ценностей и культурной модели, не приобретя новых, и последствия политического и «культурного» террора, грубой пропаганды. Он включал в себя наплевательство, конформизм, пошлые лозунги, примитивный язык и грубую манеру поведения на всех уровнях, опасную контркультуру, пьянство и преступность.

Стоит повторить, что государство, действуя в этом культурном вакууме (в значительной степени им самим созданном), испытывало последствия этих тенденций на всех уровнях своих учреждений и аппарата. Оно мобилизовало все свои ресурсы для осуществления контроля за результатами этого процесса и возможности продолжать управлять им, что потребовало серьезных усилий. И в этом нашел обобщенное выражение последний этап строительства сталинского государства.

6. Одна или четыре идеологии?

Одной из форм стратегии в области общественного контроля было создание (а затем распространение на всю систему) прочного института руководителей, называвшихся «начальством» как в народе, так и ими самими, то есть термином, пришедшим из языка и политической практики царской России. Они стали главной опорой и основной чертой новой системы. Во всяком случае, для того чтобы противостоять

последствиям «обескультуривания» в городах и аналогичным явлениям в деревне, требовалась более тонкая политика. Режим должен был создать и насадить новые ценности, вырвать с корнем одну веру и создать другую, узаконить собственный выбор пути и обрести престиж в глазах народа в момент, когда в одно и то же время и росло, и падало общественное положение миллионов людей. Добиться успеха в такой обстановке было нелегко: нужны были и нажим и компромиссы на идеологическом и культурном фронтах, дальнейшие изменения характера политических установок.

Сравнение с историей христианства и других великих религий на первых этапах их существования может подсказать нужную аналогию той задаче, выполнение которой взяла на себя Советская Россия, а именно устранения последствий «выплесков мелкобуржуазности» и деморализующих итогов утраты массами нравственных устоев и кризиса ценностей. «Ни пророк, ни священник, — пишет Р. Бендикс в своей книге о Максе Вебере, — не могут позволить себе отказаться от каких бы то ни было компромиссов с традиционными верованиями масс»¹⁸. То же самое относится и к режимам (какими бы радикальными они ни были), пытающимся перестроить общественные отношения. Свою многовековую борьбу с разными формами язычества или, более обобщенно, против всех видов народных верований церковь завершила тем, что приспособила свои обряды к народным, и в результате ассимилировала многие элементы народной религии; чтобы победить в главном, она пошла на некоторые тактические уступки. Список примеров ассимилирования можно было бы продолжить, но нас интересуют параллели с ситуацией в Советской России в 30-е годы. Естественно, речь идет о XX веке, а не о средних веках, да и события происходили на протяжении не нескольких веков, а нескольких лет. Кроме того, вступившие в действие силы противопоставляли не крестьян-язычников церкви и христианскому миру, а верующих христиан-крестьян атеистическому правительству, которое не хотело вводить какой-то религии, а лишь использовать в своих целях методы и структуры, подобные тем, которые использовались в религиозной и церковной практике. И все же аналогия была поразительной.

Другая параллель с историей церкви, на которой мы не будем останавливаться, связана с превращением сект в церкви и зарождением сект внутри официальной церкви, что периодически повторяется во всех религиях. Это явление может пролить свет на превращение революционной большевистской партии из сети подпольных комитетов в бюрократическую организацию с разветвленной иерархией, с одной стороны, и

¹⁸ R. Bendix. Max Weber, An intellectual portrait, London, 1962, p. 92.

«мирянами», лишенными прав, — с другой, с привилегиями для верхушки и катехизисом, спущенным сверху, для нижних чинов, и, наконец, со светскими версиями греха, ереси и инквизиции.

Первой видимой попыткой конкуренции с религией (или с религиями вообще), исповедуемой жителями деревень и городов, осуществленной таким образом, что наша аналогия выглядит вполне оправданно, было возведение Мавзолея Ленина и поощрение паломничества к набальзамированному его телу, положившее начало почти не осознанной тогда стратегии. И это несмотря на то, что этот акт вызвал протест и возмущение вдовы Ленина и других старых большевиков (а также невзирая на презрение официальных властей к культу мощей святых, который существует в православной церкви).

В 20-е годы в интересной дискуссии, начатой в «Красной нови» писателем Вересаевым¹⁹, была поставлена проблема: как заменить религиозные церемонии, связанные главным образом с ритуалами жизненного цикла, занимавшими исключительно важное место в основном в деревне; чем-то современным, овеянным гражданскими традициями и при этом разработанным специально с такой целью. В бурной дискуссии прозвучали предупреждения против принудительных и искусственных методов, против нанесения культурного и психологического ущерба в случае, если народ будет лишен древней, ощущаемой им как насущная необходимость, символики или если она не будет заменена (с соответствующими предосторожностями) чем-то приемлемым для масс. Один из выступивших посоветовал не заменять совокупность догматических и авторитарных ритуалов другой системой ритуалов, в равной степени и авторитарной, и догматической. Чтобы остаться в пределах здравого смысла, по его мнению, вся операция должна была ограничиться заменой устаревших и навязанных народу ценностей другими ценностями, способными отразить раскрепощение человеческой личности, поднятой на большую высоту.

К мнению, высказанному в ходе этой интересной дискуссии, не прислушались. В общественной жизни, особенно в 30-е годы, все более утверждались стиль и ритуалы, заставлявшие с недоумением думать о возвращении к прошлому: процессии с «иконами» живых и умерших вождей, общественные ритуализованные церемониалы, торжественные митинги, своего рода гражданские литургии, все более широкое использование тяжеловесной лексики религиозного и полурелигиозного характера. Границы страны стали «священными»; правительственные декреты, например постановления о зерновых культурах, стали «заповедями». Это были скромные,

¹⁹ В. Вересаев. Об обрядах. — «Красная Новь», 1926, № 11.

но все более решительные шаги в направлении стратегии, целью которой было заменить старую систему и ритуал религиозных и народных верований культом светского государства. Все это пышно расцвело уже к концу 30-х годов, когда ставшее впоследствии ключевым моментом сталинизма и его наиболее важным итогом достигло своего апогея: бурное строительство супергосударства, на котором лежит тяжелый отпечаток поспешности, с которой оно строилось.

Не нужно больших усилий, чтобы отнести к этой более широкой стратегии «освящения» государства так называемый «культ Сталина». Он был центральным ядром этой вспышки гражданской ортодоксии. Проповеди, клятвы, лесть и панегирики придали новому самодержавию явно «византийский» привкус. Помимо того, что эта стратегия была серьезным отступлением от марксистско-ленинской идеологии, не оставлявшим возможности для ее дальнейшего развития, она не казалась ни доказательной, ни достаточно убедительной в борьбе за овладение умами и легитимацию режима. Марксизм-ленинизм нельзя было использовать для освящения нового культа, а кроме того, он был (или казалось, что был) неспособен представить желаемым и приемлемым супергосударство, жесткую бюрократическую иерархию, занимавшуюся искоренением любых остаточных проявлений самостоятельности народа, появление привилегированных слоев в обществе и верхних ступеней бюрократической лестницы. В этих тенденциях, которые были видны сразу же после революции, многие усматривали измену. В самом деле, с точки зрения первоначальной официальной позиции проявления такого рода были возмутительны. Чтобы поправить создавшееся положение, была разработана и осуществлена идеологическая перестройка. Прежде всего были приняты меры к тому, чтобы ослабить критический характер самого официального кредо, придав ему форму строго контролируемого катехизиса, применяемого в четко установленных пределах с одобрения высшей власти.

Затем отыскивали дополнительные аргументы в прошлом империи, беря оттуда и факты, которые наилучшим образом соответствовали новой обстановке и представлению нового вождя о себе. Великие цари, творцы и деспоты Иван Грозный и Петр Великий, прекрасно отвечали этой цели. Из прошлого было почерпнуто все, что оно могло дать полезного для благополучного завершения объединения крестьян, построения промышленности и создания мощного государства во главе с деспотом, в обстановке, не слишком отличавшейся от тех славных времен, с их царской роскошью и их тайной полицией (опричниной), созданной для безжалостного уничтожения врагов и критиков.

Обращение к имперскому прошлому было вызвано не

только стремлением извлечь из него почти религиозные доказательства, необходимые для поддержания современного самодержавия, но и потому, что оно открывало возможность укрепления духа «народности»²⁰, нужного для создания великодержавного шовинизма, дополненного песнями во славу «Великой Руси», как в нынешнем советском государственном гимне. В руководящей группе была очевидной жажда такого рода символов и вспомогательных идеологий; и, вероятно, поэтому она приписывала массам те же чаяния. Это не была просто расчетливая стратегия: ощущалась глубокая психологическая потребность в ней вождя, который, если и думал о какой-то общности со своими великими предшественниками, был, безусловно, убежден в своем превосходстве над ними.

В таком случае ясно, что на службе великой перестройки состояла не одна, а несколько идеологий, в действительности несовместимых между собой и, следовательно, периодически нуждавшихся в интеграции. Любой внимательный наблюдатель мог быстро обнаружить появление новой идеологической продукции, где были смешаны элементы из арсенала марксизма-ленинизма и имперско-национальной (националистической) традиции в соединении с другими оригинальными элементами, все это с целью выразить интересы и мировоззрение все более разрастающейся бюрократии. Такой оборот дела могла предвидеть прежде всего верхушка иерархической лестницы, даже если он и не получил немедленно всеобщей огласки. Опустошающие же чистки, которые обрушились на аппарат, мешая ему спокойно управлять и пользоваться собственными привилегиями, не позволили в тот момент новой идеологии заявить о себе открыто и в полной мере.

Несмотря на непрочность рядов аппарата, вызванную переменчивостью времен и чистками, одной официальной идеологии было недостаточно, чтобы отразить деятельность бюрократии, ее чаяния и интересы, как она их понимала. «Государственность» становилась центральной темой, выражаем подлинных целей и гарантией внутренней сплоченности тех, кто был истинным носителем этой государственности. Во всяком случае, у основоположников теории можно было позаниматься в качестве главного элемента национализацию орудий производства, названную ими отличительным признаком социализма. А то, что в действительности он не является главным положением социализма, не имело большого значения. Формула прекрасно отвечала интересам бюрократии, поскольку в ней был отражен источник государственной вла-

²⁰ «Православие, самодержавие, народность» — официальный лозунг идеологии царизма времен Николая I, который по ряду аспектов напоминает нам новую ситуацию.

сти, а также позиция тех, кто состоял у нее на службе, — хранителей национального достояния. Это было прекрасное основание для защиты особых функций, а следовательно, и особых привилегий; для оправдания все более раздуваемой роли новых «мандаринов» государства и их важности: *партаппаратчика, ответработника, крупного государственного деятеля*²¹. Эта идеология возникла в начале 20-х годов, когда партийному аппарату пришлось защищаться от нападков оппозиции; она продолжала существовать в 30-е годы, в период борьбы с «уравниловкой»; расцвела же в период насаждения и прославления «единоначалия» и, наконец, была закреплена в тезисе Сталина, согласно которому в будущем государство должно отмереть, но после того, как на данном этапе его мощь достигнет своего апогея. Верховная власть бюрократии находилась под таким слабым прикрытием, какими были славословия о важности руководства и управления, — простая вариация на тему о главенствующей роли партии. Социалистический характер этих принципов вызывал сомнения, равно как и принципа государственной собственности на средства производства. Такой тип собственности (особенно что касается земли) существовал еще на ранних стадиях исторического развития и мог лежать, и действительно лежал, в основе режима любого типа, включая режимы времен первых московских князей и царей.

Бюрократической идеологии присущи такие малоизвестные и до сих пор не изученные черты, которые проявились еще в 30-е годы и закрепились в наши дни без принуждения. Речь идет об оправдании материальных и иных, явных и скрытых привилегий бюрократии, об оправдании ее образа жизни и карьеры, о необходимости подчинения властям и начальству, о том, как они представляют свое положение в государстве по сравнению с положением других классов, и о прочих элементах, о которых не говорится в учебниках и официальной истории, но которые представляют собой идеологическую систему.

Одной из загадок сталинизма является то, что яростные чистки обрушились на бюрократию — этот воображаемый, а зачастую действительно краеугольный камень режима. Возможно, в среде бюрократии было много перебежчиков из других партий или оставшихся в живых членов старой ленинской партии, главных участников и победителей в гражданской войне, которые прекрасно помнили роль каждого в те славные дни. Многие из них были вправе считаться основопо-

²¹ *Аппаратчик* — оплачиваемый партийный работник; *ответработник* — категория служащих, облеченных определенной ответственностью; *крупный государственный деятель* — звание, которым наделяются крупные правительственные чиновники и партийные работники на уровне министров.

ложниками режима и претендовать на право голоса на собрании правящего капитула, а также на прочность собственного положения. Кроме того, возможно, что, если бы новой и неупорядоченной администрации было дозволено закрепиться и чувствовать себя уверенной в своем положении и приобретенных привычках, это могло бы побудить ее к попытке урезать власть самой верхушки и единоначалие «вождя»; вероятно, эта реальная перспектива менее всего нравилась параноику Сталину. В другом месте я уже излагал общую гипотезу о том, что современная бюрократия хочет иметь уверенность в прочности своих позиций и на самом деле имеет ее и пользуется ее результатами. Самодержец же отказывал ей в этом самым жестоким образом. Но автократия не сумела надолго остановить развитие социологической тенденции, которая в конце концов возобладала в России при Хрущеве²².

А пока в разгар жестокой битвы с крестьянами, настойчивых усилий, направленных на укрепление дисциплины среди трудящихся, в период, когда чистки в партии и правительственном аппарате достигли своего апогея, пришлось прибегнуть к еще одной идеологии. Это было необходимо не только для оправдания супергосударства, но и тех средств, которые применялись для его строительства: террора и массовых репрессий. Это было погружение в самые мрачные и иррациональные сферы индивидуальной и социальной психологии — с целью привести необходимые доводы в оправдание обстановки истерпимости, немыслимой идеологической бурды и ужасного контрреволюционного наступления на народ и принципы революции. Приемы употреблялись поистине шаманские, процессы-фарсы были лишь внешним отражением этих фабрикаций. Мифы о «врагах народа», казалось, стали реальностью: люди из плоти и крови, в основном соратники Ленина и главные участники революции, признавались в совершении самых невероятных преступлений. Казалось, будто судебные процессы оживили мифологию, тогда как на деле они были предназначены для сокрытия истины. Так как ни одно обвинение не имело реальной основы, то только признание могло служить доказательством, в котором не было ни аналитического, ни юридического обоснования. В 1938 году Бухарин на процессе над ним самым назвал такое судопроизводство «средневековым»²³. И был прав, потому что тот же принцип лежал в основе процессов над ведьмами и преследований инквизацией еретиков и раскольников. Па-

²² См. мою работу: "Social Background of Stalinism". — In: "Stalinism". Essays in Historical Interpretation", edited by R. C. Tucker. New York, 1977, и, естественно, другие работы из этой книги.

²³ "The Great Purge Trial", edited by S. T. Cohen, R. C. Tucker. New York, 1965, p. 635—667.

раллель с этими процессами была совершенно точной. Жертвы представлялись грешниками, которые продали душу дьяволу, совершив самое подлое из предательств. Перед процессом применялись пытки, были и массовые преследования без процессов, после чего в 1937 году Сталин лично санкционировал применение к изменникам «физического воздействия».

В этой связи стоит напомнить, что достаточно было выразить сомнение по поводу линии партии или мудрости вождя, чтобы быть заподозренным в измене, которая неизбежно связывалась с работой на иностранные секретные службы. Следовало избегать актов измены даже в мыслях. Прощать сомнения другим, не донося об этом властям, считалось достойным осуждения преступлением, подлежащим наказанию.

Все это хорошо известно и отражено в документах. Гораздо труднее, однако, понять то, что вся эта деятельность (включая отмену самой возможности сомневаться, поиски козлов отпущения ради сохранения чистоты режима и выдумывание мифических врагов) была составной частью независимой и прекрасно отработанной четвертой идеологии, которая предлагала дезориентированным пережитыми в те годы ударами массам дуалистическую концепцию манихейства*: с одной стороны, силы прогресса, руководимые обожаемым вождем, а с другой — вся гамма сил зла, нечистых духов и демонов, которые нужны были для объяснения неудач или страданий, а также для мобилизации нации под знаменем проводимого режимом строительства и разрушения.

7. Социальная структура, порождающая авторитаризм

Как было сказано вначале, мы ставили своей задачей лишь внести посильную лепту в изучение явления сталинизма. Мы главным образом стремились выявить в этом исследовании тенденции, действовавшие в русской истории в течение весьма длительного периода времени, механизмы, которые вызвали разрушение предшествовавшей системы, но — и в этом состоит наш тезис — продолжали, однако, влиять и на новый режим. Затем мы хотели изучить последствия революции и гражданской войны, которые не ограничились ликвидацией прежних господствующих классов и появлением на исторической арене новых социальных слоев, ставших у

* В основе этой концепции, идущей от персидского мыслителя III в. Мани, лежит абсолютное противопоставление добра и зла, света и тьмы, которым проникнута вся история человечества. Манихейство было по существу эгалитаристским религиозным движением еретиков — павликиан, богомилов, катаров, альбигойцев и т. п., распространившимся в народных низах в эпоху средневековья. — *Прим. ред.*

руля управления государством, и нового типа главенствующей организации — партии, но и привели к отступлению целой социально-экономической, а во многом и политической системы на более низкую, докапиталистическую ступень развития. Такое положение вещей повлияло соответственно на положение государства и общества. Новое государство поставило себя над социально однородной и единой крестьянской прослойкой, и противопоставило себя ей. И можно считать, что их взаимоотношения в значительной степени определяют и заключают в себе возможные и подлинные события будущих фаз развития. Когда разразился очередной кризис (а суть вопроса состоит в том, что обстановка в целом была нестабильной и имела тенденцию к кризисам), то последующее наращивание темпов было ответным ударом, который вызвал к жизни третий комплекс факторов и тенденций, преградивших путь одним и, бесспорно, способствовавших другим потенциальным возможностям развития. В конце концов все это, а также результаты многих других предшествовавших фаз, привело к волне террора, созданию бюрократического государства и самодержавному правлению, что получило название «сталинизм». Таким образом, сталинизм с его огосударствлением, истреблением кадров, насильственной коллективизацией, концлагерями и массовым использованием рабского труда зародился в относительно «примитивизированном» обществе. Его закреплению способствовала ускоренная индустриализация. Впоследствии же его развитие стимулировали такие характерные и противоречивые явления, как культурная революция, сопровождавшаяся сильнейшим разрушением культуры; подъем промышленности, серьезным противовесом которому был застой в сельском хозяйстве; массовая мобильность одних людей, сопровождавшаяся не менее массовой утратой статуса другими людьми; рост грамотности, сопровождавшийся полной потерей индивидуальных прав. При жизни одного поколения режим превратился в полицейское государство, зиждившееся на принуждении.

В подобный результат внесли свою лепту все исторические структуры на всех уровнях. В царской России существовал динамичный капиталистический сектор, который был еще слишком слаб, чтобы вовлечь крестьянство и преобразовать систему в товарное капиталистическое общество в полном смысле этого слова. Как указывал Ленин, достаточно развитой и современный промышленный и финансовый сектор был опутан плотной сетью ограничений, созданных государством и порожденных экономической отсталостью деревни, где наличие излишков дешевой крестьянской рабочей силы являлось препятствием для обновления. Революция разрушила обе части уравнения: и капиталистический сектор,

и те «полуфеодалные» отношения, которые ему мешали. Но она заменила их результатами двух кривых развития, унаследованными новым режимом: крестьянской прослойкой, освободившейся от каких бы то ни было обязательств, но сформированной по еще более «сельской», чем раньше, модели, и городским обществом, лишенным множества своих наиболее опытных и подготовленных групп населения.

Словом, сложилась весьма благоприятная обстановка для усиления роли государства и введения более авторитарных его форм, чем было до революции. И именно такую форму вынашивало в себе это социальное образование. Особенно если учесть специфическую обстановку, сложившуюся в однородном по составу, неграмотном и полуграмотном обществе, и его «упрощенную» социальную структуру, которые противостояли разнomaстной бюрократической системе, внутри которой было немало перебежчиков из прежней социальной системы, а также новоприбывших из низших классов. Государственный механизм, отмеченный рядом признаков социально-экономического упадка, был способен осуществить то, чего не удавалось большинству обществ: использовать для управления средства, которые давал ему XX век. При этом он рассматривал собственное положение и стоящие перед ним цели с современных, часто передовых позиций. Это, как уже говорилось, почти непреднамеренным и естественным образом связывало две части бинома, опиравшегося на власть. Исследования о возникновении административного аппарата после Октября во всех сферах государственной деятельности свидетельствуют об этом исчерпывающим образом. Командный тон (чему способствовал опыт гражданской войны) и чувство бюрократического превосходства давались функционерам легко и естественно. Как ни парадоксально, хотя социалистическая идеология побуждала одних противиться этой тенденции, другие отыскивали в ней самой оправдание для жесткой, подчас жестокой, не допускающей возражений манеры поведения, свойственной тем, кто знал, что есть благо для народных масс, не посвященных в сложности исторического развития.

То, каким образом считавшие себя посвященными в эти сложности анализировали обстановку (мы не должны забывать, что с самого начала существовали значительные различия и между ними), — вопрос, которым занимаются исследователи режима. В связи с ослаблением социальной базы государство сочло необходимым монопольно занять ключевые позиции. Но такое положение порождало у верхушки — именно в силу идеологии, устремленной в будущее и ставившей целью обновление общества, — ощущение уязвимости, и наконец, параноический страх перед подчиненными массами. Словом, перегнули палку — для этого были основания,—

поскольку по привычке использовались средства классового анализа, применявшегося по отношению к развитому капиталистическому обществу. Ошибочное использование средств классового анализа на деле явилось одной из причин утраты самоконтроля и рационального подхода к действительности, что в течение длительного времени довело над страной.

Вряд ли возможно, чтобы эта социальная реальность, эти трудности начального периода не оказали глубокого воздействия на последующие фазы. Структурная модель не может ни предопределить политического выбора, ни помешать ему, но, безусловно, может его ограничить или по меньшей мере исключить возможность другой, более желательной альтернативы. Для того периода не просматривается никакой возможности демократического решения вопроса, даже если Ленин и стремился его отыскать²⁴. Более того, возможности решения вопроса социалистическим путем мы также не усматриваем. Чтобы прийти к социализму (а это признавалось и официально), был необходим переходный период, проблема же «решалась» декретированием главного признака социализма — всеобщей и полной национализации. В действительности все свелось к передаче всех функций государству, то есть к одному из факторов, лежащих в основе некоего специфического типа бюрократизации, неотделимого от усиления власти и регламентации всех сторон жизни народа.

В таком случае возникает вопрос, был ли провал большевиков вызван тем, что они отступились от идеалов Октября (а мы хорошо знаем, что многие из них боролись и дорого заплатили за то, чтобы помешать происшедшему), или же он был вызван их неспособностью управлять авторитарным государством и помешать его трансформации в нечто еще худшее. Поступив так, они на неопределенный период времени закрыли всякую возможность для социальной демократии в России.

Результаты этого поражения дали о себе знать в полной мере тогда, когда было принято решение о быстром наращивании темпов экономического развития в обществе, не готовом к этому. Напряжение сил, потребовавшееся для свершения рывка вперед в обстановке, отличавшейся, как мы видели, «нестабильностью», явилось причиной глубоких изменений и кризисов, которые мы попытались охарактеризовать.

²⁴ Этим утверждением мы вовсе не собираемся «объяснять» внутреннюю организацию партии (как, например, упразднение фракций, предложенное Лениным) тем, что будто она была обусловлена некими особыми отличительными чертами социальной структуры. Ограниченность возможностей выбора относится к политической линии и социальной системе вообще, а не к политике и выбору, которые определяют правила игры в рамках данного, охарактеризованного в общих чертах правления.

Последовавшая за этим нестабильность заставила сдвинуть стрелку весов в сторону большего использования «административных методов», что привело к злоупотреблениям, более того, к предпочтительному использованию средств принуждения. Если представить себе картину все возраставшего напряжения, усиления противоречий и нестабильности всей системы, первые признаки которых угадывались еще до 1928 года, но достигли своего апогея в годы «большого рывка», то усиление роли государства, бюрократизация, принуждение, возникновение личного деспотизма чисто архаического склада покажутся нам ответом на весьма благоприятные условия для развития таких тенденций. Целью опустошительной коллективизации была организация крестьян в крупные и более продуктивные объединения с целью уничтожить зависимость страны от мужика. В результате возникла система, ориентированная скорее на изъятие, чем на производство. Крестьяне отказывались усердно обрабатывать колхозные поля, занимаясь в основном лишь своими крохотными личными участками. Таким образом, мужик утвердился как социальный класс, еще более архаичный по характеру, чем прежде. Его экономическая база составляла всего 3,8% от общего количества посевных площадей, и от этих 3,8% крестьянство и вся нация находились в до смешного прочной зависимости еще в 50-е годы. Насильственное принуждение к бесплатному труду и метод оплаты «из остатков» (в конце года и в размерах, которые трудно было предположить заранее, и то лишь после того, как государство, кредиторы и колхоз забирали свою часть) вызывали глубокую неудовлетворенность крестьян, заставляя их с тоской вспоминать о нэпе. С их точки зрения, коллективизация способствовала заметному социальному регрессу и снижению уровня жизни. Вся система социальных, экономических и законодательных ограничений привела к ликвидации завоеваний крестьянства в период трех предшествовавших революций. В то время как интерес крестьянина к земле и сельскому хозяйству атрофировался, становилось неясным его положение в государстве и социальный статус. Крестьяне не были сельскохозяйственными рабочими (которых система официально рассматривала как свою главную опору в деревне), они не работали артельно (все контролировалось и предписывалось сверху, а выборы служащих колхоза были пустой формальностью) и не были больше свободными производителями, как во времена нэпа. Результатом этого насильственно проведенного опыта социальной стратегии было выведение некоего гибрида, некоего карикатурного мини-мужика, глубоко ощущавшего свою обезличенность и потерю классовой принадлежности. В то же время закрепилось и просуществовало до времен Хрущева положение, которое было в

некотором роде аналогично положению, имевшему место в царствование Петра Великого. Подобно тому как этот царь проводил (и не мог поступить иначе) начинания в области промышленности, используя рабский труд, так и Сталин осуществлял свою индустриализацию, особенно в области сельского хозяйства, за счет изымавшихся «излишков» и предоставляя колхозникам возмещение за труд из «остатков», что никоим образом не могло быть принято добровольно. Подобные принудительные формы труда закрепились в деревне, а также — в меньшей степени и в ином виде — в промышленности. Принудительный режим труда (или многие его аспекты) был в целом взят на вооружение системой; он дополнялся использованием большого количества подневольной рабочей силы трудовых лагерей.

Весь этот комплекс явлений относится к регрессивным, подлежащим осуждению элементам советского индустриального и социального развития. Сталинизм был воплощением этих явлений; без них он не смог бы существовать. Когда исчез его главный символ и были разоблачены многие элементы сталинской системы, Россия почувствовала себя сильной и процветающей. Но и сегодня полностью не исчезли следы первоначального социального регресса 1917—1921 годов, они до сих пор вызывают в развитии СССР и его социальных отношениях все новые снижения темпов, отклонения и общую консервативную инертность.

Роберт Макнил

ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ СТАЛИНСКИХ ВРЕМЕН

Включение сталинизма в историю марксизма в значительной степени определяется теми политическими и социальными институтами, которые возникли в 30-е годы: прежде всего такими, как коммунистическая партия, общественный порядок, полицейская система, культ Сталина. Сталин внес личный вклад в их возникновение, что подтверждается достоверными свидетельствами, а также и другими данными, которые трудно документировать. Во всяком случае, при сегодняшнем уровне исследований имеются серьезные основания для вполне законных сомнений в том, что «сталинская» форма этих институтов была результатом сознательной деятельности одной личности. Едва ли можно слепо согласиться со всемогуществом Сталина, приписываемым ему культом его личности, равно как и с пропагандой против него и критикой со стороны некоторых врагов Сталина. Искушение преувеличить роль Сталина, взвалить непосредственно на него чрезмерно большую ответственность усугубляется ограниченными возможностями изучения политических и социальных институтов. Эти ограничения ввел Сталин; они распространились и на советских, и на иностранных историков и в значительной степени сохранены его преемниками. Если история коммунистической партии и репрессивного государственного аппарата до сих пор остается закрытой для исследований, а сам культ личности — явлением, которое было осуждено лишь формально, то следует также знать, что социология при Сталине являлась предметом запрещенным и с трудом возродилась после его смерти.

1. Партия

Наиболее радикальные преобразования за всю свою историю после захвата власти в 1917 году коммунистическая партия претерпела в начале 30-х годов. Перемену можно резюмировать лозунгом, выдвинутым в тот период: «Все для производства!» Развернувшаяся кампания и ее последствия

свидетельствовали о новой ориентации партии. В то же время сама партия довольно редко признавала факт радикальных изменений своей роли и значения. Причины перемены, о которой идет речь, уходят корнями в характер и размах экономических преобразований, осуществленных во время первой пятилетки (1928—1932). В ходе этой первой и бурной кампании строительства современной экономики коммунистическая партия не только взяла на себя руководящие функции в принятии решений, но и стала главной мобилизующей силой в их исполнении. У марксистов уже существовала прочная традиция видеть главный элемент социалистической экономики в ее плановости. Эта традиция нашла выражение в первом пятилетнем плане, разработанном специалистами из Госплана и одобренном XVI партконференцией в 1929 году¹. Поставленные планом цели экономического развития отличались известной претенциозностью, но при этом была сделана попытка сохранить равновесие между различными секторами; среди главных средств стимулирования экономического роста не фигурировала никакая мощная массовая кампания. Точнее говоря, авторы плана не считали партию активной движущей силой экономического рывка.

Крупный поворот 1929—1932 годов в корне и насильственным путем изменил общую картину. Об этой перемене свидетельствует сам факт, что страну призывали выполнить план не за пять, а за четыре года. Рациональный контроль как качественный показатель социалистического планирования был заменен быстрыми темпами роста. Относительно скромные цели, поставленные специалистами по экономике (с учетом проводившейся коллективизации сельского хозяйства и наращивания производства чугуна и стали), были заменены более трудными задачами, которые не могли быть выполнены или за выполнение которых пришлось заплатить ценой серьезных диспропорций и за счет других разделов пятилетнего плана, относившихся к производству товаров широкого потребления и жилищному строительству².

Что касается истории коммунистической партии, то важность этого, иного по характеру толкования социалистического планирования объясняется прежде всего тем фактом, что руководящие партийные органы (и лично Сталин как Генеральный секретарь) стали активным центром по руководству экономикой, генеральным штабом, руководившим кампанией за быстрый рост базовых отраслей промышленности. Так, например, в опубликованном 5 января 1930 года Постанов-

¹ КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов Центрального Комитета, 8-е изд. М., 1970, т. 4, с. 201—207.

² N. Jasny. Soviet Industrialization. Chicago, 1961, p. 73—118.

лении Центрального Комитета говорилось, что вместо предусмотренного планом охвата коллективизацией 20% посевных площадей можно решить задачу коллективизации огромного большинства крестьянских хозяйств осенью 1931 года или, во всяком случае, весной 1932 года³. Действуя в том же духе, 15 февраля 1930 года Центральный Комитет увеличил на 378% намеченный объем производства чугуна на Магнитогорском металлургическом комбинате, который еще не был построен⁴. Никогда не вызывало сомнений, что коммунистическая партия претендовала на главенствующую роль в принятии политических решений. Но новым и непредвиденным фактом стало ее столь своеобразное и радикальное вмешательство в руководство экономикой.

Преобразуя план в «кампанию», партия неизбежно должна была заняться мобилизацией трудящихся, которым предстояло «штурмом» взять труднейшие цели, поставленные новым направлением развития. В системе, жестко ограничивающей право на объединения, не было никакой другой организации, которая могла бы взять на себя задачу развернуть широкую пропагандистскую кампанию по мобилизации героических усилий масс. Естественно, партия не была уверена в успешности своего первого опыта в этой области. Она возникла как организация, которая намеревалась мобилизовать массы на революцию, а пройдя эту фазу и став у власти, закрепила свой опыт организатора массовых кампаний, чтобы выжить в период гражданской войны и иностранной интервенции. Партия провела множество кампаний, например против проституции и за всеобщую грамотность. В целом она непрерывно боролась за то, чтобы привить массам потребность трудиться ради общего дела. Но гигантский размах и напряженность мобилизационных кампаний за выполнение экономических планов (или за достижение героических экономических целей, если слово «план» здесь уже не годится) были качественно совершенно иными.

Утверждение коммунистической партии как организации, которой было поручено воплотить в жизнь экономический план — кампанию как на уровне верхушки, так и среди масс, — придало ей новый вес на всех уровнях и новую основу для легитимации. Более того, было не совсем ясно, для чего нужна коммунистическая партия как не в качестве главного движителя экономического развития. До пролетарской революции было очевидно, что партия завоевывала авторитет среди трудящихся, организуя свержение старого режима. После достижения этой цели ее претензия на гла-

³ КПСС в резолюциях... т. 4, с. 383—386.

⁴ Из истории Магнитогорского металлургического комбината и города Магнитогорска (1929—1941). Сборник документов и материалов. Челябинск, 1965, с. 8.

венствующую роль могла основываться на идее защиты завоеваний революции от внутренних и внешних классовых врагов, однако эта цель не создавала тесную взаимосвязь партии с величайшей исторической задачей послереволюционной эры — переходом к социализму. Если бы для развития экономики требовалось претворить в жизнь исполнимый план, разработанный экспертами — многие из которых даже не были коммунистами, — представление о жизненной необходимости такой партии могло бы оказаться пересмотренным. Однако переделка плана по инициативе Сталина резко изменила положение вещей. Начиная с этого момента партия как главный элемент, без которого оказалось невозможно добиться необходимого развития экономики, стала естественной предпосылкой строительства социализма в СССР. Рабочего государства было недостаточно. Одни лишь эксперты не могли планировать развитие экономики, необходимое для достижения социализма, равно как и одни рабочие не могли построить его. Чтобы ставить истинно героические цели, нести их в массы, гарантировать дисциплину, нужна была коммунистическая партия. Начиная примерно с 1930 года политическая легитимация коммунистической партии в значительной степени зиждилась на ее претензии на главную роль в экономическом развитии.

Сомнительно, чтобы этот коренной сдвиг в свою очередь был запланирован или, более того, был результатом заранее обдуманного намерения. Конечно, Сталин подтвердил, что он обдумывал эту идею, когда сказал на первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности 4 февраля 1931 года: «Что еще требуется для того, чтобы двигаться вперед семимильными шагами?

Требуется наличие партии, достаточно сплоченной и единой для того, чтобы направить усилия всех лучших людей рабочего класса в одну точку, и достаточно опытной для того, чтобы не сдрейфить перед трудностями и систематически проводить в жизнь правильную, революционную, большевистскую политику. Есть ли у нас такая партия? Да, есть»⁵.

Однако кажется невероятным, чтобы Сталин беспокоился о законности претензий партии на верховную власть и в качестве решения проблемы выбрал столь крупное по масштабам наступление в области экономики. Гораздо более возможно, что эта трансформация роли партии произошла потому, что в то время партия была стержнем власти Сталина, единственным институтом, через который он мог навязывать свою политическую позицию, и лучшим средством для мобилизации масс в поддержку этой позиции.

«Партия руководит экономической жизнью страны, но не

⁵ И. Сталин. Сочинения, М., 1951, т. 13, с. 34.

управляет экономикой непосредственно». — пояснял в конце сталинской эры один из работников Центрального Комитета, обобщая в одной фразе и превращение партии в высшую руководящую организацию, и трудности, встреченные на пути такой организации ее работы, которая предотвратила бы ее слияние с государственным аппаратом⁶. Поиски организационной модели, которая сохранила бы целостность партии — вместе с промышленной системой, управляемой советскими министерствами, сельским хозяйством, состоящим в преобладающей степени из самостоятельных коллективных хозяйств, — были предметом пристального внимания партийных руководителей в 30-е годы. Несмотря на колебания и ряд неудачных экспериментов, им удалось создать модель, просуществовавшую (на каком экономическом уровне — это сложный вопрос) в целом относительно благополучно вплоть до наших дней.

В 1930 году партия перестроила свое руководство промышленностью, с тем чтобы приспособить его к своей новой суперруководящей роли. Постоянный административный аппарат Центрального Комитета был перестроен: был создан отдел кадров с секторами тяжелой промышленности, легкой промышленности, транспорта, финансов, планирования, торговли и сельского хозяйства. Задача этого органа состояла в отборе членов партии на ответственные должности в промышленных и финансовых учреждениях страны. Выполнение указанных функций неизбежно привело к вовлечению названных партийных органов в руководство промышленной системой: они искали выход из трудных положений, давали оценку работе персонала указанных учреждений, продвигая работников по службе или, наоборот, отстраняя от работы. Обязанности, взятые на себя центральным бюрократическим аппаратом партии в связи с реализацией плана-кампании в начале 30-х годов, естественно, потребовали его расширения. В 1930—1933 годах бюджет этого аппарата вырос на 300%, а численность персонала — на 61%⁷.

Создание в ЦК партии промышленных секторов отразилось и на структуре более низкого уровня. В главных административных подразделениях страны — союзных республиках, в областях — были созданы отделы кадров специально для отраслей экономики, равно как и на еще более низком административном уровне — в городах. Усиление ответственности партии на местах, на уровне предприятий, нашло

⁶ F. Miller. One hundred thousand tractors. The MTS and the development of the controls in Soviet agriculture. Cambridge (Mass.), 1970, p. 191.

⁷ W. J. Conyngham. Industrial management in the Soviet Union. The Role of the CPSU in industrial decision-making (1917—1970). Stanford, 1973, p. 35.

отражение в Постановлении Центрального Комитета от 21 марта 1931 года, которое учреждало на предприятиях более чем с 500 работающими трехступенчатую систему партийной организации: «партийный комитет», уполномоченный решать партийные вопросы в рамках всего предприятия, «цеховая партийная организация» и «первичная партийная организация», или внутрицеховая «партийная группа»⁸. Столь сложной организацией не могли руководить рядовые рабочие-коммунисты в свое свободное время. Работники партийного аппарата внутри предприятия работали полный день и получали зарплату; именно из их среды набирались аппаратчики — профессиональные кадры партийной бюрократии. Об их количестве никогда публично не сообщалось, но в 1937 году Сталин подтвердил, что в стране имеется 3—4 тысячи руководителей «высшего звена», 30 или 40 тысяч — «среднего звена» и 100—150 тысяч членов «низового звена» партийного руководства. Эти профессиональные чиновники являлись, по словам Сталина, соответственно «генералами», «офицерами» и «младшими офицерами»⁹. Учитывая бремя ответственности, возложенное на них, численность этой элиты была невелика. Однако при Сталине она, несомненно, выросла и количественно, и по значимости благодаря той роли по осуществлению контроля за крупными экономическими кампаниями, которую ей пришлось играть в работе всей советской системы.

В 1934 году по предложению члена Политбюро Лазаря Кагановича, занимавшего ответственные посты в сфере экономики, аппарат Центрального Комитета был реорганизован таким образом, чтобы гарантировать большее внимание его экономическим функциям. Теперь не только сектора отдела кадров строились по направлениям экономики, но и основные отделы постоянного аппарата Центрального Комитета были подразделены на промышленный, сельскохозяйственный, транспортный, планово-финансово-торговый отделы в дополнение к различным неэкономическим отделам. В 1939 году решили, что на практике такая организация не является достаточно эффективной, и организационная модель аппарата Центрального Комитета была восстановлена в общем в форме, существовавшей до 1934 года, хотя и сохранился особый сельскохозяйственный отдел¹⁰.

Одной из наиболее важных функций партии как движителя экономического прогресса было проведение кампаний за «социалистическое соревнование», «рекомендованное» впер-

⁸ «Правда», 25 марта 1931 года.

⁹ И. Сталин. Сочинения, т. I (14) (американское издание). Станфорд, 1967, с. 220—221.

¹⁰ M. Fainsod. How Russia is Ruled. Cambridge (Mass.), 1953, p. 166—174.

вые Центральным Комитетом в 1929 году. Речь шла о вызове, который бросало то или иное предприятие всем, кто хотел включиться в соревнование за достижение определенных производственных целей¹¹. Партия организовала также «ударные бригады», усиленные участием в них коммунистов или членов ВЛКСМ, которые должны были осуществлять особо важные проекты. Этой «кампанейской» культуре была обычно свойственна образность военного характера, которая явно подводила к выводу о том, что именно партия оказывалась победительницей в борьбе. «Нет в мире таких крепостей, которых не могли бы взять трудящиеся, большевики», — заявил Сталин в начале первой пятилетки¹².

Сельское хозяйство также было предметом внимания партии, и оно в свою очередь повлияло на ее структуру. Хотя рост производства был значительно более высоким в промышленности, которой продолжал отдаваться бесспорный приоритет в экономике, сельское хозяйство было предметом внимания аппарата. Это отчасти объяснялось тем, что колхозы не находились просто в подчинении у какого-либо государственного министерства, как это было с фабриками и заводами; именно партии приходилось нести наибольшую ответственность за руководство примерно 200 тысячами колхозов, возникших в начале 30-х годов. Сельское хозяйство требовало особого внимания еще и потому, что представляло собой наиболее слабое звено и в плане экономики, и в плане поддержки населения. Крестьянство как класс выразило куда меньшую готовность, чем промышленные рабочие, поддержать кампании, организуемые партией, и потому партии пришлось приложить огромные усилия, чтобы вовлечь их или принудить к участию. Дело приняло особенно серьезный оборот в начале 30-х годов, когда Сталин, грубо подправляя первоначальный пятилетний план, потребовал ликвидации как класса так называемых кулаков (крестьян, считавшихся зажиточными) и быстрой коллективизации. Для ускорения решения вопроса партия направила из промышленных городов в деревню ударную силу — «двадцатипяти тысячников» (на самом деле их было свыше 27 тысяч). Около 70% этих передовиков состояло в партии, а 8,6% были членами ВЛКСМ¹³. Именно из числа этих пролетарских эмиссаров, оставшихся в сельскохозяйственных районах, набирались административные кадры партийных органов в деревне и в колхозах, потому что среди крестьян было очень мало коммунистов. В 1932 году партия объявила, что 18% ее членов составляют колхозники и крестьяне — не много для страны,

¹¹ И. Сталин. Сочинения, т. 12, с. 314—315.

¹² Там же, т. 11, с. 58.

¹³ Miller. One hundred thousand tractors, cit., p. 197.

которая на 75% была крестьянской. Но и это было явным преувеличением, если говорить о реальном членстве крестьян в партии, поскольку к «колхозникам» был причислен также технический и административный персонал¹⁴.

Во время кампаний партия в деревне была представлена столь слабо, что нечего было и рассчитывать на руководство сельским хозяйством через партийные ячейки колхозов, аналогичные фабричным. В 1929 году были созданы райкомы — партийные органы, которые несли ответственность за руководство работой колхозов. Секретари райкомов, получавшие жалование партработники, не должны были непосредственно руководить многочисленными колхозами своего района; они отвечали за получение определенного урожая, а этого зачастую было трудно добиться от крестьян, без энтузиазма относившихся к колхозной системе. Работники райкомов партии должны были посвящать много времени инспекционным поездкам, для того чтобы убедить — нередко с помощью угрозы — колхозников выполнить поставленные задачи.

В 1933—1934 годах для поднятия своего авторитета в деревне партия прибегла к новому методу. Для снабжения колхозов соответствующими машинами (за плату) государство организовало 2,5 тысячи машинно-тракторных станций (МТС) с собственным административным аппаратом и партийными ячейками. В каждой из МТС был создан «политотдел», руководитель которого контролировал работу колхозов, обслуживаемых его МТС (часто их было до 40)¹⁵. Этот институт напоминал уже существовавшую в Красной Армии систему политических комиссаров, поскольку политотделы подчинялись Центральному Комитету через особые иерархические каналы, а не через обычную систему областных парторганизаций. Характерно, что около 300 комиссаров Красной Армии были переведены на эту новую работу по осуществлению надзора за сельским хозяйством¹⁶. Возможно, что эта система внесла свой вклад в усиление процесса коллективизации в деревне. Однако на деле она привела к трениям с сельскими райкомами и была упразднена; партия вернулась к прежней системе контроля над сельским хозяйством через райкомы и их секретарей.

Повышение общего уровня ответственности партии в период большого экономического рывка привело к росту партийных рядов. Число членов партии (включая и кандидатов) возросло с 3 миллионов в 1928 году до 3,5 миллиона в 1933 году, не говоря уже о комсомоле (молодежь в возрасте от 14 до 23 лет; после 1936 года — от 15 до 26 лет), который

¹⁴ *T. H. Rigby. Communist Party Membership in the USSR (1917—1967). Princeton, 1968, p. 199.*

¹⁵ КПСС в резолюциях..., т. 5, с. 64—90.

¹⁶ *Miller. One hundred thousand tractors, cit., p. 228.*

насчитывал 3 миллиона членов в 1931 году и 4 миллиона в 1936¹⁷. С начала первой пятилетки особое значение придавалось вовлечению в партию новых рабочих, занятых в производстве, с тем чтобы к концу 1930 года¹⁸ сделать половину из них членами партии. Однако с начала 30-х годов реальная основа партии становилась все менее и менее пролетарской, отчасти из-за вступления в нее лиц, избравших административную или техническую карьеру, а отчасти из-за привлечения в партию все большего числа лиц, занимавших ответственные посты в области экономики. В 1936—1939 годах около 44% новых членов партии составляла интеллигенция, или «белые воротнички»¹⁹. Когда коммунистическая партия по указанию Сталина взяла на себя еще большую ответственность за ускоренное проведение экономической кампании, ее социальный состав неизбежно должен был измениться.

2. Общественный строй

Этим мы вовсе не хотим сказать, что партия стала организацией руководителей промышленности или новым классом. Да и Милован Джилас признает, что она была лишь «ядром» «нового класса», о существовании которого он высказал гипотезу, анализируя советское общество²⁰. В 30-е годы в рядах партии было еще очень много рабочих и подлинных крестьян. Затруднительное положение, в которое попали власти в связи с уменьшением представительства этих классов в партии, побудило их прекратить публиковать какие бы то ни было данные по этому вопросу. Однако крупнейший исследователь этой проблемы Т. Г. Ригби считает, что промышленные рабочие перестали составлять большинство в партии лишь к 1940 году, и отмечает, что многие члены партии рабочего происхождения после вступления в нее были выдвинуты на другую работу²¹.

Кроме того, известно, что в 30-е годы — и особенно в первой половине десятилетия — инженерно-технический и административный персонал Советской России не состоял полностью из коммунистов. И в этом случае замалчивание властями социологических данных мешает более четко определить характер проблемы. Но совершенно очевидно, что партия, насчитывавшая в 1940 году 3,4 миллиона членов (включая кандидатов), не была в состоянии включить в се-

¹⁷ *Rigby*. Communist Party Membership, cit., p. 52.

¹⁸ *Ibid.*, p. 167. На с. 183 автор отмечает, что в 1930—1931 годах в партию вступил один миллион промышленных рабочих.

¹⁹ *Ibid.*, p. 223.

²⁰ *M. Gilas*. The new class. New York, 1957.

²¹ *Rigby*. Communist Party Membership, cit., p. 226.

бя 100% или чуть меньше технической и руководящей элиты все более индустриализировавшейся огромной страны. Ригби обнаружил некоторые статистические советские данные, из которых явствует, что, хотя в 1933 году все директора предприятий с числом работающих свыше 500 человек были коммунистами, среди «начальников цехов и отделов, а также специалистов» в партии состояло всего лишь 26% ²².

Если партию как таковую нельзя считать общественным классом, то все же она сыграла первостепенную роль — отчасти отрицательную, отчасти конструктивную — в перестройке общественного порядка, проведенной сталинизмом.

В деревне больше всего пострадали зажиточные крестьяне — кулаки. Характеристика этой прослойки, как и прочих, всегда была неясной. Более того, крупнейший советский экономист Лященко признавал: «Мы не располагаем ни за какой период даже неполными и приблизительными данными об эволюции классовой структуры советской деревни» ²³. Советские исследователи 20-х годов выделяли обычно безземельных поденщиков (батраков), бедных крестьян (бедняков), крестьян, располагающих ограниченными средствами (середняков) — которых иногда подразделяли на верхнюю и нижнюю прослойку, — и богатых крестьян, которые использовали наемную рабочую силу или активно занимались ростовщичеством (кулаков). Хотя оценки того, какая часть от общего числа крестьян приходилась на каждую из этих категорий, у разных исследователей весьма отличаются друг от друга, все они сходятся в одном: к началу первой пятилетки, в 1928 году, в советской деревне существовало социально-экономическое расслоение. Сталинская кампания коллективизации повлекла за собой коренную перестройку этой общественной структуры. 27 декабря 1929 года Сталин провозгласил переход от политики «ограничения эксплуататорских тенденций кулачества к политике ликвидации кулачества как класса» ²⁴. Партия была главным исполнителем этого перехода. И она могла использовать не только членов партии в деревне, но и те 25 тысяч рабочих, которые были направлены из города в деревню для проведения коллективизации, а также милицию и в отдельных случаях армию. Масса всевозможных данных свидетельствует о том, что эти централизованные силы использовались для того, чтобы внушить крестьянам-беднякам ненависть к богатым крестьянам. Целью этой кампании было лишить «класс» кулаков его собственности и совершенно исключить его из какого бы то ни было их участия в только что созданных колхозах. По сви-

²² Ibid., p. 247.

²³ Цит. по: M. Lewin. Russian Peasants and Soviet power; a study of collectivisation. Evanston, 1968, p. 55.

²⁴ И. Сталин. Сочинения, т. 12, с. 169.

детельству одного советского исследователя, таким образом была собрана одна треть средств для дотаций колхозов²⁵. Согласно написанному телеграфным стилем указанию Политбюро от 28 января 1930 года, экспроприированные крестьяне подлежали расстрелу (если были «контрреволюционными активистами»), ссылке в отдаленные районы (если были «активистами и богачами») или переселению на худшие земли в той же области²⁶. Учитывая поспешность характера кампании против кулачества и нечеткость определения этого «класса», трудно установить число раскулаченных. В 1930 году Сталин считал, что 5% крестьян составляли кулаки²⁷ (около 6,25 миллиона человек), и нет причин оспаривать утверждения советской стороны, будто были ликвидированы относительно зажиточные крестьяне, которые обрабатывали собственные земли, независимо от того, что они составляли «класс».

Наиболее конструктивным моментом в столкновении сталинизма с деревней было создание нового класса крестьян — колхозников, — категории, которая к концу 30-х годов стала преобладающей. В 1932 году эта группа населения обрела некоторые признаки определенного юридического статуса. В основу его лег новый закон о паспортах, согласно которому внутри Советского Союза могли перемещаться только граждане, имевшие паспорт: колхозникам же было отказано в этом документе²⁸. Эта мера облегчила регулирование сверху миграционного потока из деревни в город. Несомненно, режим нуждался в такой миграции. И в самом деле, в течение 30-х годов от 1 до 2 миллионов крестьян ежегодно покидали деревню²⁹. Похоже, что в идеале предполагалось создать резерв рабочей силы в колхозах, с тем чтобы его можно было мобилизовывать по мере надобности. Начиная с 1930 года была предпринята попытка целым рядом постановлений обязать руководство колхозов поставлять рабочую силу (практически мобилизовывать ее) для промышленности в соответствии с ее запросами. Это натолкнулось на большие трудности, так как руководители колхозов, терявшие лучшие рабочие руки, весьма прохладно отнеслись к такой системе. Лишь в конце десятилетия, 2 октября 1940 года, принятием закона был решительно положен конец этой проблеме: создавались «трудовые резервы». Колхозам было дано четкое

²⁵ История СССР с древнейших времен до наших дней. М., 1967, выпуск II, т. VIII, с. 551.

²⁶ Там же, с. 550.

²⁷ И. Сталин. Сочинения, т. 11, с. 265.

²⁸ М. Matthews. Class and Society in Soviet Russia. New York, 1972, p. 53.

²⁹ S. Fitzpatrick. Education and social mobility in the Soviet Union (1921—1934). Cambridge, 1979, p. 178.

предписание «мобилизовывать» (выражаясь официальным языком) установленное число молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет для обучения в промышленных ремесленных училищах. Того, кто бросал училище без разрешения, могли осудить на год принудительных работ. Таким путем предполагалось направить для работы в промышленности от 800 тысяч до миллиона молодых людей, в основном из колхозов (хотя была среди них и городская молодежь)³⁰.

Колхозник находился в невыгодном положении по сравнению с большинством других групп населения со многих точек зрения, и особенно в том, что касалось доступа к товарам широкого потребления и образованию. Что до социально-экономического плана, то сам по себе колхоз строился на принципах равенства. Хотя различные формы труда оплачивались по-разному, личная собственность, жилище, приусадебный участок и скот были для всех строго ограничены. Само обеднение деревни, с точки зрения наличия у крестьян предметов широкого потребления, противодействовало развитию сколько-нибудь значительной экономической дифференциации. (Позднее, в 1947 году, Сталин нанес жестокий удар по тем крестьянам, которым удалось скопить немного наличных денег. Он осуществил денежную реформу, условия которой были крайне невыгодны для лиц, имевших такие сбережения.)

Если социально-экономическое положение колхозников было относительно одинаковым, то классовая дифференциация вновь дала о себе знать с появлением административно-технического персонала колхозов и связанных с ними учреждений — райкомов и МТС. Некоторые из их работников выполняли командные функции, как, например, председатель колхоза или директор МТС. Гораздо большее их число занимало подчиненное, менее престижное, но, однако, несомненно, отличное от обычного крестьянина положение. Так, в 1930 году партия сочла необходимым принять срочные меры по вербовке для колхозов 10 тысяч счетоводов и бухгалтеров; отчасти потребность в них была удовлетворена переводом в колхозы подготовленного персонала из Красной Армии и различных городских учреждений³¹. И хотя нет никаких сомнений в том, что эта высшая деревенская прослойка возникла благодаря сталинской коллективизации, трудно отыскать сколько-нибудь приемлемые данные о ее размерах и характере. Безусловно, это было ничтожное меньшинство сельского населения, если сравнивать его со всей массой кре-

³⁰ S. Schwarz. Labor in the Soviet Union. New York, 1952, p. 53—78; A. Broderson. The Soviet Worker, Labor and Society in the Soviet Union. New York, 1966, p. 60—67; "Industrial workers in the USSR", ed. by R. Conquest. London, 1967, p. 24—26.

³¹ S. Fitzpatrick. Education and social mobility, cit., p. 167—168.

стьян. Однако эту прослойку нельзя сбрасывать со счетов, если учесть, что в стране существовало свыше 200 тысяч колхозов и свыше 4 тысяч совхозов (в них государство руководит предприятием непосредственно, выплачивая крестьянам зарплату, а не часть урожая, как в колхозах). Если учесть среднее необходимое количество занятого в них персонала, а также численность технической и руководящей элиты, легко представить себе, что эта социальная прослойка была примерно так же многочисленна, как сельская элита дореволюционной поры, которая состояла из владельцев земель (помещиков), из земских начальников и технических специалистов, служивших в земских управах или находившихся на государственной службе. Если очень немногие представители старого помещичьего класса сумели попасть в состав сталинской сельской элиты, то вполне вероятно, что часть технических специалистов — например, землемеры или агрономы — вступила из прежних времен в новую эпоху в качестве технических специалистов и руководящих работников в деревне. Сюда же относились и новые пополнения из горожан, в основном из промышленных рабочих. В 1928—1938 годах около четверти миллиона горожан прибыло на постоянную работу в колхозы³².

Массовая вербовка шла и среди крестьян, особенно во второй половине 30-х годов. В эти годы главный упор делался на местное, а не городское население, которое плохо знало обстановку на селе и часто, выполнив во время коллективизации роль «ударных отрядов», впоследствии оказывалось ненужным. В 1939 году в одном из районов, взятом в качестве образца, три четверти председателей колхозов были родом из деревень этого района³³. Нередко отмечалось, что коммунистическая партия содействовала вертикальной мобильности, и это было действительно так. Но важно отметить и то, что аналогичную роль играли и колхозы, и совхозы. Колхозы предоставляли честолюбивому крестьянину возможность, не имевшую прецедентов в истории русского сельского общества, перейти на административную или техническую работу, что в отдельных случаях завершалось вступлением его в партию. Крестьянин, проявивший себя на новом поприще, мог либо войти в состав сельской технико-административной элиты (например, в качестве председателя колхоза), либо быть видвинутым на работу в город, правда, на гораздо менее высокую должность, чем в крестьянской общине. Ригби установил, что в 1939 году в Грузинской ССР подавляющее большинство коммунистов, записанных

³² "The Soviet rural community", edited by J. Millar. Urbana, 1971, p. 104.

³³ Ibid., p. 105.

«крестьянами» (17 141 из 28 359), в действительности в колхозах не работали; скорее всего, они перешли на какую-либо работу в города; данный пример, вероятно, отражает общее положение в стране³⁴. Шейла Фитцпатрик обнаружила, что в 1929—1932 годах колхозы и совхозы обучили профессии (например, механизатора) от 4 до 5 миллионов крестьян, значительная часть из которых уехала в города. Так, в 1930—1931 годах зерновые совхозы обучили 41 тысячу трактористов; однако в 1932 году лишь 2,5 тысячи из них оставались в совхозах³⁵. Это не означает, что все остальные работали в городах; вполне вероятно, что некоторые из них перешли на работу в другие отрасли сельского хозяйства.

Кроме того, коллективизация расширила доступ к образованию и большей социальной активности. Хотя у крестьян было меньше возможностей получить образование, чем у городских жителей, в первую пятилетку прилагались все усилия, чтобы повысить уровень образования в стране. В 1930 году партия постановила, что в следующем году в деревнях должны открыться обязательные для всех трехгодичные курсы начального образования. После 1930 года крестьянам (кроме кулаков) были предоставлены равные с рабочими льготы при поступлении в высшие сельскохозяйственные учебные заведения и средние школы для взрослых (рабфаки). В 1931 году крестьяне составили 42% от общего числа студентов, обучавшихся в сельскохозяйственных вузах³⁶. Этого было недостаточно, чтобы поставить их на одну доску с рабочими; в большинстве случаев обучение находилось на посредственном уровне; и все же перед крестьянами открылись новые возможности.

В период первой пятилетки сталинизм сыграл свою разрушительную роль и в городе, хотя, конечно, не в такой степени, как в деревне во время широкой и жестокой разрушительной кампании против пресловутых кулаков. Был нанесен также довольно чувствительный удар по одной небольшой городской прослойке. Речь идет о борьбе с «буржуазными спещами», которые получили высшее образование до революции и остались в Советском Союзе, где занимали важные посты, особенно в экономике и в ряде других областей, а также в государственном аппарате. Хотя Октябрьская революция ознаменовала такой социальный переворот, в котором большая часть дореволюционной буржуазии погибла, эмигрировала или потеряла прежний статус, в стране осталось значительное количество лиц, наделенных качествами,

³⁴ *Rigby. Communist Party Membership, cit., p. 227.*

³⁵ *S. Fitzpatrick. Education and social mobility, cit., p. 178—179.*

³⁶ *K. E. Bailes. Technology and Society under Lenin and Stalin. Origins of the Soviet technical Intelligentsia (1917—1941). Princeton, 1978, p. 69—94.*

использованными новым режимом, не располагавшим для их замены подготовленными кадрами пролетариев или большевиков. И хотя буржуазные специалисты очень редко пользовались или вовсе не пользовались теми привилегиями, которые они имели до революции, материальная компенсация, получаемая ими за свой труд, в 20-е годы была намного выше, чем у рядовых рабочих или крестьян. По этой причине, а также в связи с тем, что они пользовались авторитетом, многие рабочие, особенно молодые, относились к ним неприязненно. Подобно тому как наступление на зажиточных крестьян отражало истинные социальные противоречия в деревне, так и атака на буржуазных специалистов явилась отчасти выражением стихийных настроений рядовых промышленных рабочих, а в какой-то степени — и студенчества.

Однако это была также и кампания, направляемая сверху Сталиным. Центральным моментом этой кампании властей против буржуазных специалистов стал «шахтинский процесс» (май—июнь 1928 года). Пятьдесят русских горных инженеров и три немецких инженера (иностранцы эксперты), работавшие в угольной промышленности в Донбассе, были обвинены в сговоре с силами зарубежного капитализма и организации саботажа в советской угольной промышленности. Одним из обвиняемых являлся Л. Г. Рабинович — главный специалист советской угольной промышленности и законченный образец коварного «буржуазного спеца» (до революции он был богатым промышленником).

Урок, преподанный этим процессом, резюмирован одним советским руководителем пословицей: «Черного кобеля не отмоешь добела»³⁷. Привилегии, которыми пользовались буржуазные специалисты, вовсе не были гарантией их лояльности. Сразу же после шахтинского процесса многих советских инженеров арестовали (по разным подсчетам, от 2 до 7 тысяч)³⁸, а еще больше отстранили от должностей или вынудили уйти со своих постов после угроз. После процесса число инженеров, занятых в производстве, сократилось на 17%. Выпады против буржуазных специалистов дореволюционной подготовки не ограничились инженерами. Были арестованы 100 ученых из Академии наук, а множество служащих государственных административных учреждений, оставшихся от прежнего режима, отстранены от должностей. Наиважнейшую роль сыграл в этом комсомол, проводя так называемые «рейды легкой кавалерии» по разоблачению буржуазных специалистов. В одной только Иркутской обла-

³⁷ Fitzpatrick. Education and social mobility, cit., p. 114.

³⁸ K. E. Bailes. The Politics of technology: Stalin and technocratic Thinking among Soviet Engineers. — In: "American Historical Review", April 1974, p. 446.

сти, в Сибири, огромной, но малонаселенной были вынуждены уволиться около 800 служащих³⁹.

В 1928—1930 годах Сталин был горячим сторонником этого движения, и, согласно большинству источников, именно ему обязано своим появлением «шахтинское дело». Во всяком случае, именно он публично утверждал, что это дело «увязано в узел классовой борьбы международного капитала с Советской властью, и ни о каких случайностях не может быть и речи»⁴⁰. Однако, не желая, чтобы эта кампания против буржуазных специалистов завершилась полным их уничтожением, как это случилось с кулаками, в важной речи, произнесенной в июне 1931 года, он провозгласил, что в течение двух предшествовавших лет положение изменилось и партия не может и дальше проводить прежнюю «политику в отношении старой технической интеллигенции — политику разгромов активных вредителей, расслоения нейтральных и привлечения лояльных»⁴¹. С той поры обвинения против буржуазных специалистов прекратились. «Ни один господствующий класс не обходился без своей собственной интеллигенции, — говорил Сталин в 1931 году. — Нет никаких оснований сомневаться в том, что рабочий класс СССР также не может обойтись без своей собственной производственно-технической интеллигенции»⁴². Ответственность за создание этого нового класса, естественно, была возложена на коммунистическую партию, которая направила многих своих членов ради исполнения этого проекта на учебу, а кроме того, провела мобилизацию среди нечленов партии, в основном среди промышленных рабочих. «Большевики должны овладеть техникой. Пора большевикам самим стать специалистами», — провозгласил Сталин, а резолюцией Центрального Комитета от июля 1928 года постановлялось, что тысяча членов партии должны посвятить себя изучению инженерного дела в высших учебных заведениях⁴³. Это было началом обширнейшей программы ускоренного формирования специалистов из рабочих, отобранных партией и профсоюзами⁴⁴. Шейла Фитцпатрик (именно она ввела эту важнейшую тему в западные исследования) считает, что между 1929 и 1931 годами около 150 тысяч рабочих, в основном членов партии, были откомандированы в вузы. Элиту этой массы представляла «тысяча», набранная во время специальной кампании за направление партийцев и некоторых членов

³⁹ "Cultural Revolution in Russia 1928—1931", edited by S. Fitzpatrick. Bloomington 1978, p. 21—23.

⁴⁰ *И. Сталин. Сочинения*, т. 11, с. 54.

⁴¹ Там же, т. 13, с. 70.

⁴² Там же, с. 67.

⁴³ Там же, с. 41.

⁴⁴ КПСС в резолюциях..., т. 4, с. 11—118.

профсоюзов на реализацию программы подготовки технических специалистов. В целом на учебу для подготовки технических специалистов партия направила 10 тысяч человек, почти столько же — профсоюзы. Еще около 8 тысяч были направлены в училища по подготовке армейских офицеров⁴⁵.

Несмотря на усилия, предпринятые с целью организации ускоренного прохождения специальных программ, прошли годы, прежде чем эти рабочие смогли занять ответственные посты. А пока, в период между 1928 и 1931 годами, свыше 140 тысяч рабочих были назначены на ответственные технические и административные должности, пройдя подготовку на местах⁴⁶. Вероятно, эти меры по срочной подготовке необходимого персонала являлись неизбежными, поскольку партия приняла решение значительно превысить плановые задания первого пятилетнего плана в области тяжелой промышленности. С точки зрения эффективности полученные результаты, быть может, дались слишком дорогой ценой. Но партии удалось держать под контролем политическую благонадежность тех, кто поднимался по социальной лестнице, и добиться, чтобы значительный процент этих лиц составляли рядовые рабочие (разумеется, речь идет о социальном *происхождении*). Следствием продвижения наверх большинства из только что получивших образование было то, что они стали частью производственно-технической интеллигенции, которую хотел создать Сталин. Несмотря на то что они являлись выходцами из рабочего класса, они приобрели авторитет, заняли определенное положение, получили привилегии. В известной степени лица, выделенные партией на выдвижение в начале 30-х годов, имели преимущества перед теми, кто захотел пойти по их пути в последующие годы. В 1931 году Центральный Комитет постановил прекратить выдвижение рабочих для ускоренного обучения⁴⁷. Это не означает, что с данного момента лица рабочего происхождения не принимались больше в специальные учебные заведения и не могли войти в руководящую техническую элиту. Напротив, в 1938 году рабочие и дети рабочих составляли одну треть всех студентов вузов⁴⁸. Однако процесс социальной мобильности к этому времени стабилизировался, становясь более уравновешенным по мере того, как участники «большого рывка» первых лет десятилетия занимали лучшие места системы.

Социальная система, которую стремился создать Сталин

⁴⁵ S. Fitzpatrick. Stalin and the making of a New Elite. — In: "Slavic Review", September 1979, p. 384—386; Ibid., Education and social mobility, cit., p. 185—189.

⁴⁶ S. Fitzpatrick. Stalin and the Making of a New Elite, cit., p. 386.

⁴⁷ S. Fitzpatrick. Education and social mobility, cit., p. 212.

⁴⁸ Ibid., p. 235.

в 30-е годы (и которая в общих чертах сохраняется и сейчас), была иерархической, но она открывала широкие возможности для пути вверх. Сталин откровенно признавал, что такая система предполагала расслоение. В 1931 году он осудил как «„левацкую“ уравниловку в области зарплаты». «Маркс и Ленин говорят, — ссылаясь Сталин, — что разница между трудом квалифицированным и трудом неквалифицированным будет существовать даже при социализме, даже после уничтожения классов»⁴⁹. Для строительства социалистической экономики была необходима дифференциация заработной платы. Начиная с 1935 года Сталин широко пропагандировал и восхвалял этот принцип, связывая его со «стахановским движением» (созданием немногочисленной категории привилегированных рабочих, которые, как предполагалось, соревновались за повышение производительности труда по примеру шахтера Алексея Стаханова)⁵⁰. Помимо необходимости дифференциации заработной платы, Сталин, в общем, признавал наличие социальных классов в Советском Союзе. Конечно, никогда не признавалось открыто, что интеллигенция (руководящая и техническая элита, а не радикально настроенная интеллигенция дореволюционного периода) является правящим классом. И вообще она не признавалась как «класс» в марксистском понимании этого термина. По мнению Сталина, это была «прослойка»⁵¹.

Как бы то ни было, а возникло социальное образование, состоявшее из трудящихся, не занимавшихся физическим трудом, которое управляло системой или выполняло различные функции, служа этой системе. Привилегированное положение этих людей недвусмысленно подтверждалось планом реконструкции Москвы, принятым в 1935 году партией и государством. Бóльшая часть плана не была выполнена, но он тем не менее остается образцом сталинского понимания социального устройства. Столица должна была стать витриной всего самого современного. Огромные средства предполагалось затратить, чтобы в старых районах построить новые красивые здания, а между ними создать обширные зеленые зоны, связанные между собой широкими проспектами и сетью великолепных станций подземного метрополитена. Население новой Москвы должно было получить большое количество прекрасных школ, театров, стадионов, магазинов, предприятий службы быта. В центре этой грандиозной панорамы должно было находиться самое высокое здание мира — Дворец Советов (рядом с Кремлем, который предполагалось сохранить на втором плане). Все это, вероятно, вполне сов-

⁴⁹ И. Сталин. Сочинения, т. 13, с. 56—57.

⁵⁰ "Industrial Workers in the USSR", cit., p. 77—80.

⁵¹ И. Сталин. Сочинения, т. 1 (14) (американское издание). Станфорд, с. 145.

местимо с идеей социализма, но стоит заметить, что переворот, который намечали произвести Центральный Комитет и Совет Народных Комиссаров, предполагал по мере возможности вывод из Москвы промышленных предприятий. Очевидно, что речь шла о становлении города администраторов и специалистов, о столице для «белых воротничков», управляемой из учреждений и резиденций интеллигенции. Большую часть выигрыша из огромных средств, которые было предусмотрено израсходовать планом реконструкции, должна была получить именно интеллигенция, а не другие социальные группы. И действительно, при взгляде на проекты мало сказать пышных жилых зданий, которые предполагалось возвести на берегах Москвы-реки, невольно напрашивается вопрос: для какой особо привилегированной социальной группы внутри интеллигенции предназначалось все это?⁵²

Если признается, что интеллигенция в общем представляла собой класс (или прослойку), занимавший самое высокое положение в сталинском обществе, то очевидно, что сразу за ней шли промышленные рабочие. Даже при том, что среди рабочих существовала значительная дифференциация по зарплате и по положению, в 1938 году статус рабочей категории в целом был закреплен законом о введении трудовых книжек. Это была попытка привязать рабочего к предприятию, которое его нанимало: книжку на рабочего оформляло предприятие и хранило ее у себя в течение всего периода его работы. Чтобы перейти на другую работу, рабочему требовалось забрать книжку с отметкой об удовлетворительной службе на предыдущем месте. Ряд законов 1940 года устанавливал еще более строгую дисциплину для рабочего класса: так, считалось противозаконным уйти с работы без разрешения дирекции, а многие виды нарушений, например опоздание более чем на 20 минут, были приравнены к уголовным преступлениям⁵³.

Несомненно, это были серьезные ограничения прав трудящихся. Однако речь идет о периоде, когда повышение спроса на рабочую силу позволяло квалифицированным рабочим извлекать наибольшую выгоду, а это рождало немедленную ответную реакцию. С введением трудовых книжек и тем более с выходом в 1940 году сурового закона о трудовой дисциплине права рабочих как класса были ограничены. Но по крайней мере система услуг, организованная в городе лучше, чем в деревне, создавала для них лучшие условия жизни, чем это было у крестьян: речь идет об учебных заведениях, магазинах, медицинской помощи. Кроме того, бла-

⁵² «Правда», 11 июля 1935 года; «Генеральный план реконструкции города Москвы». М., 1936.

⁵³ Schwarz. Labor in the Soviet Union, cit., p. 101—110.

годаря заботе государства и профсоюзов рабочие имели целый ряд жизненных благ, которых колхозники были лишены: оплаченные отпуска, санатории, различные клубы, пенсии. Рабочие пользовались в значительно большей степени и другой важной привилегией: их не арестовывали и не ссылали по политическим мотивам. Хотя мы и не располагаем достоверными цифровыми данными, но совершенно очевидно, что в первой половине 30-х годов многие крестьяне были арестованы и сосланы как кулаки. Во второй же половине 30-х годов террору и репрессиям подверглись довольно широкие слои интеллигенции. Даже если некоторые рабочие, занятые на производстве (помимо лиц рабочего происхождения, но занявших более высокое общественное положение), стали жертвами массовых арестов в 1936—1938 годах, создается впечатление, что среди них было относительно немного рядовых промышленных рабочих.

Без сомнения, крестьяне находились в гораздо менее благоприятных условиях. Они занимали самую низкую ступень иерархической лестницы, ибо были вынуждены жить там, где работали (в связи с законом о паспортах). Им в последнюю очередь выделялись государственные капиталовложения. Они полностью зависели от экономической системы, при которой государство забирало у колхозов большую часть производимой ими продукции на условиях, выгодных государству, а не крестьянам.

Если сталинизм принес с собой большее социальное расслоение, то он создал также и большие возможности для вертикальной мобильности, которыми в известной степени пользовались все граждане. Бурный рост экономики создал на верхней и средней ступенях общественной лестницы множество новых мест, которые так или иначе должны были быть заняты. Данные советских переписей 1926 и 1939 годов позволяют частично представить масштабы переворота. В период, предшествовавший первому сталинскому десятилетию, служащих и специалистов было менее четырех миллионов, к концу же десятилетия их число возросло примерно до 14 миллионов (в обоих случаях в это число включались и члены семей)⁵⁴. Популярность Сталина, безусловно, в какой-то степени зиждилась на признательности тех, кто своим успехом был обязан его системе. Марксистская традиция никогда не придавала большого значения возможностям вертикальной мобильности, и это, бесспорно, не позволило Сталину и его пропагандистам афишировать советские успехи в этой области. Но если к сталинскому социальному порядку 30-х годов приложимы оценки, взятые на вооружение многими немарксистскими обществами, то следует все же признать, что это

⁵⁴ *Fitzpatrick*. Education and social mobility, cit., p. 236.

был период, когда исключительно широким слоям населения были открыты огромные возможности для продвижения вперед. И наиболее ловкие и удачливые сумели ими воспользоваться.

3. Полицейская система — ГУЛаг

В то время как миллионы одних людей поднимались по социально-экономической лестнице сталинской России, миллионы других спускались по ней; более того, они внезапно утратили прежнес положение в обществе. Это были обитатели широкой сети принудительно-трудовых лагерей, или ГУЛага. До сих пор невозможно установить хотя бы с минимальной точностью число заключенных⁵⁵. Во всяком случае, сравнение с количеством населения, принадлежащего к другим социальным классам, крайне затруднено в связи с чрезвычайно высокой смертностью в лагерях. Чтобы поддерживать число обитателей лагерей на постоянном уровне, туда должно было поступать взамен умерших (или для замены тех немногих, кто выжил и был выпущен на волю) гораздо большее количество людей, чем это требовалось для пополнения за счет крестьян.

Примерный социальный анализ ГУЛага сделал польский социолог С. Свьяневич, который в начале 40-х годов был заключен в лагерь. Он полагает, что присутствовал при «формировании нового класса общества, место которого было в самом основании социальной пирамиды». Он обнаружил, что большинство заключенных, занимавших до ареста скромное общественное положение, «казалось, принимали свою судьбу как должное. Приходилось слышать от них, что по самой своей природе общество делится на свободных людей и людей без роду и племени, которые, если их принудить, должны будут взять на себя непосильное бремя самого тяжелого труда... Они ждали какой-либо реформы, которая улучшила бы их положение, но не осмеливались просить о полном освобождении. И действительно, постепенно они обретали психологию рабов...»⁵⁶.

В 1934 году в Советском Союзе официально была издана книга под названием «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина: история строительства»⁵⁷. Книга вышла «под редак-

⁵⁵ См.: S. Swianiewicz. Forced Labour and Economic Development. An enquiry into the experience of Soviet Industrialization. London, 1965, p. 25—40 и 290—303. Автор считает, что к концу 30-х годов их было 6,9 млн. человек. По мнению Р. Конквеста, в тот же период их было 8 млн. (R. Conquest. The Great Terror. Stalin's Purge of the Thirties. London, 1968, p. 520—532).

⁵⁶ S. Swianiewicz. Forced Labour, cit., p. 220—222.

⁵⁷ Имеется также американское издание книги, которым я пользовался: Belomor. An account of the construction of the new canal between the White Sea and the Baltic Sea, New York, 1935.

цией» Максима Горького, известного литературного критика Л. Авербаха и ответственного работника ГУЛага С. Г. Финрина. Бригаду из 34 писателей возглавляли (помимо Горького и Авербаха), знаменитый историк литературы Д. Мирский (бывший князь Мирский) и крупный советский писатель-сатирик М. Зощенко. Книга представляет собой сборник рассказов о том, как всего за 500 дней был построен канал между Белым и Балтийским морями, — дань искреннего уважения ГУЛагу, названному здесь истинным его именем и описанному без каких-либо уверток как ответвление ГПУ — политической полиции тех лет. Хотя книга и посвящена только одному эпизоду в истории ГУЛага, она является предшественницей многотомного отчета Солженицына. Большая часть описания лагерей Солженицыным подтверждается этой книгой Горького и его соратников, для которых сущность лагерей состоит в том, что идет классовая борьба. Политика выметает классовых врагов, потерпевших поражение в борьбе, и с помощью очистительного коллективного труда перевоспитывает их в достойных членов социалистического общества. Все основные средства убеждения, которыми располагало сталинское общество, помимо карательных орудий, были пущены в ход: трудовая дисциплина, социалистическое соревнование, пропаганда, скромные вознаграждения. Строительство канала, как в микрокосме, отражает строительство социализма. Процесс строительства столь же важен, как и его результат, ибо он позволяет добиться победы над чуждыми обществу классовыми элементами, а также внутренней победы индивида над собой. Наибольшее значение в процессе перевоспитания придается самым закоренелым классовым врагам, активным саботажникам: по словам коллективного автора книги, они «перековались». Словом, ГУЛаг — гуманный и славный финал классовой борьбы.

По мнению Горького и его соавторов. «Сталин был инициатором создания трудовых коммун ГПУ и политики перевоспитания трудом. Именно Сталин выступил с идеей строительства Беломорско-Балтийского канала силами заключенных, и благодаря его указаниям такой метод перевоспитания оказался возможным»⁵⁸. Все это, вероятно, соответствует действительности. Несомненно, Сталин считал необходимым вовлечь полицию и трудовые лагеря в классовую борьбу. Со времени процесса над «саботажниками» в 1928 году он постоянно твердил об опасности, которую являли собой внутренние и внешние классовые враги⁵⁹. Создание широкой сети лагерей благодаря «ликвидации кулачества как класса» было продолжением этой логики. И все же не должна ли бы-

⁵⁸ Ibid., p. 20.

⁵⁹ И. Сталин. Сочинения, т. 11, с. 53.

ла пойти на убыль классовая борьба и связанная с ней нужда в ГПУ и лагерях в СССР после того, как были уничтожены последние признаки дореволюционного социального порядка? Нет, отвечал Сталин. В важном заявлении, сделанном им в январе 1933 года в связи с празднованием успешного завершения первой пятилетки, он сказал, что «уничтожение классов достигается не путем угасания классовой борьбы, а путем ее усиления»⁶⁰. Этот тезис был повторен еще раз и развит в уникальном его заявлении, распространенном в связи с событиями, получившими название «чисток» или «террора».

«Необходимо разбить и отбросить прочь гнилую теорию о том, что с каждым нашим продвижением вперед классовая борьба у нас должна будто бы все более и более затухать, что по мере наших успехов классовый враг становится будто бы все более и более ручным...

Наоборот, чем больше будем продвигаться вперед, чем больше будем иметь успехов, тем больше будут озлобляться остатки разбитых эксплуататорских классов, тем скорее будут они идти на более острые формы борьбы, тем больше они будут лакастить советскому государству, тем больше они будут хвататься за самые отчаянные средства борьбы, как последнее средство обреченных»⁶¹.

В декабре 1937 года на фоне очередной волны арестов новой интеллигенции с большой помпой праздновалась 25-летняя годовщина со дня основания советской полиции. В заявлении в печати по поводу этой организации подчеркивались успехи, достигнутые ею в выявлении «двурушников», которые, прикрываясь партбилетами, окопались в партии на ответственных постах⁶². Действительно, в сталинской версии [принятой на вооружение в 1938 году знаменитым «Кратким курсом истории ВКП(б)»] вся история партии оказывается борьбой с классовым врагом внутри партии⁶³. Все это ставило партию в двойственное положение. С одной стороны, она была создана Лениным и Сталиным как авангард пролетариата. Однако, по распространившемуся в конце 30-х годов представлению, она была также организацией, начиная с любой местной ячейки до Политбюро, в которую проникли агенты классовых врагов. Правда, силы добра побеждали в борьбе за контроль над партией, но смысл кампании за этот контроль, к проведению которой призывал

⁶⁰ Там же, т. 13, с. 211.

⁶¹ И. В. Сталин. О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников. Доклад и заключительное слово на Пленуме ЦК ВКП(б) 3—5 марта 1937 г. Тбилиси, 1937, с. 29—30.

⁶² «Правда», 20 декабря 1937 года.

⁶³ История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс. М., 1938.

Сталин, заключался в том, что на партию нельзя целиком положиться.

Подчинение партии в конце 30-х годов органам полиции было, в общем, главным обвинением, выдвинутым Хрущевым против Сталина в секретном докладе 1956 года; и это обвинение было более чем справедливо. В тот период партия потеряла всякое право решать самостоятельно, кто был достоин вступить в нее (или даже просто продолжать существовать), а кто нет. На смену «чистке» в партии, во время которой органы партии решали эти вопросы, пришла «ежовщина» (репрессии, осуществлявшиеся под руководством Ежова, главы полиции, с 1936 по 1938 год). В книге о Беломорско-Балтийском канале советская полиция названа «личной охраной пролетариата»⁶⁴. Вполне вероятно, что было нежелательно привлекать внимание к соперничеству между полицией и партией (открыто это никогда не признавалось), однако к концу 30-х годов «личная охрана пролетариата», похоже, берет верх над его «авангардом».

Обострение классовой борьбы было сталинским объяснением волны массовых арестов во второй половине 30-х годов. Ее составной частью были не только аресты представителей старой буржуазии, но и ликвидация тех лиц внутри партии, которых считали неверными ее делу. Эти люди якобы клюнули на приманку врагов из капиталистического лагеря, который окружал Россию. Это нашло отражение в трех крупных открытых судебных процессах 1936, 1937 и 1938 годов, когда были осуждены старые большевики во главе с Каменевым, Зиновьевым и Бухариным. Они превратились в «агентов» немецких, английских, японских и польских империалистов, которые хотели поделить между собой социалистическое государство и восстановить в нем капитализм⁶⁵. Каким образом эти старые коммунисты могли так плохо кончить? Их обвиняли не в том, что они были просто представителями буржуазии, как инженеры-саботажники и кулаки. Общим для них всех и решающим элементом измены был троцкизм, а это повлекло за собой усложнение трактовки Сталиным действий ГПУ как аспекта классовой борьбы. Сталинское представление об эволюции троцкизма зиждется на положении, будто троцкизм в конце 20-х годов был «политическим течением в рабочем классе»⁶⁶. В резолюции, исклю-

⁶⁴ Belomor, cit., p. 338.

⁶⁵ Материалы судебного процесса троцкистско-зиновьевского террористического центра. М., 1936; Материалы судебного процесса антисоветского троцкистского центра. М., 1937; Материалы судебного процесса правотроцкистского антисоветского блока. М., 1938.

⁶⁶ И. В. Сталин. О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников. Доклад и заключительное слово на Пленуме ЦК ВКП(б) 3—5 марта 1937 г. Тбилиси, 1937, с. 13.

чившей Троцкого из партии, его ошибка названа «меньшевизмом», который привел к «объективному перерождению» этого уклона в орудие буржуазии⁶⁷. Однако это не было равнозначно утверждению, будто троцкизм был лишь одной из форм буржуазной идеологии. В первой половине 30-х годов этого не утверждал и Сталин. В период же чисток он настаивал на том, что за время между 1928 и 1936 годами «троцкизм и троцкисты претерпели... серьезную эволюцию...

Троцкизм перестал быть политическим течением в рабочем классе...

Троцкизм превратился в оголтелую и беспринципную банду вредителей, диверсантов, шпионов и убийц, действующих по заданиям разведывательных органов иностранных государств»⁶⁸. Но Троцкий и троцкизм не приняли идеологии ни нацизма, ни капитализма в целом. Это было просто обманом. Как писал в своем признании Карл Радек, троцкисты реставрировали бы в России капитализм «без какой-либо причины, лишь за красивые глаза Троцкого»⁶⁹. Значительность роли, приписывавшейся троцкизму в сталинском объяснении полицейского режима второй половины 30-х годов, способствовала введению в повседневную жизнь идеи субъективного зла, склонности человека к греху и ошибкам. Это было очень важно, коль скоро стремились к тому, чтобы у рядового гражданина — рабочего, крестьянина или происходившего из низших слоев нового интеллигента — создалось впечатление, что бдительность необходима. Не надо было быть буржуа, чтобы впасть в ошибку. Зло, воплощением которого был Троцкий, могло быть использовано буржуазией, но оно существовало и по ту сторону классовой борьбы — как субъективная опасность для каждого коммуниста, каждого советского гражданина. Главный обвинитель на процессах уловил дух этого подразумевавшегося возрождения традиционного учения о грехе, когда говорил о «козлоногости Троцкого»⁷⁰.

4. Культ личности Сталина

Спорной концепции субъективного зла, воплощением которого в сталинском представлении был троцкизм, противостояло введение столь же спорной концепции субъективного

⁶⁷ КПСС в резолюциях, т. 3, с. 544—547.

⁶⁸ И. В. Сталин. О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников. Доклад и заключительное слово на Пленуме ЦК ВКП(б) 3—5 марта 1937 г. Тбилиси, 1937, с. 13.

⁶⁹ Материалы судебного процесса антисоветского троцкистского центра, с. 124—125.

⁷⁰ Материалы судебного процесса троцкистско-зиновьевского террористического центра, с. 130.

добра: культа Сталина. Официально его существование не признавалось. В письме, адресованном в 1938 году одному из советских издательств, Сталин выступал против «культа личности»⁷¹. Может быть, именно он и придумал выражение, которое Хрущев использовал впоследствии для характеристики режима Сталина. Верно, в беседе с немецким писателем Эмилем Людвигом в 1931 году Сталин заявил: «Марксизм никогда не отрицал роли героев. Наоборот, роль эту он признает значительной, однако с теми оговорками, о которых я только что говорил» (то есть что величие выдающихся личностей зиждется на их способности понять исторические условия и направление их изменений)⁷². За этой единственной попыткой теоретически объяснить роль исторических деятелей не последовало каких-либо комментариев в главном философском произведении Сталина — разделе «О диалектическом и историческом материализме» в книге «История ВКП(б). Краткий курс», опубликованной в 1938 году⁷³.

Как бы то ни было, культ Сталина в его России был неизбежен и помимо стремления Сталина доставить удовлетворение самому себе. Его истоки и образец — в культе Ленина, который поддерживался, возможно, против воли последнего до самой его смерти в 1924 году. Некоторые источники свидетельствуют о том, что Сталин сыграл первостепенную роль в решении набальзамировать тело Ленина и навечно поместить его на Красной площади⁷⁴. Вполне вероятно, что он принял участие в проектировании Мавзолея (построенного в 1929 году): вставших на его трибуну руководителей, принимавших военные парады и демонстрации трудящихся по случаю различных празднеств, можно было прекрасно связать в воображении с усопшим героем. Высшие партийные власти (то есть, при всех обстоятельствах, Секретариат ЦК под руководством Сталина) установили непосредственный контроль за изготовлением предметов, связанных с памятью о Ленине. Вполне вероятно, что они регламентировали в значительной степени и публикуемые в печати материалы⁷⁵. Уже в 1926 году в томике стихотворений, посвященных Ленину, были опубликованы стихи, которые якобы пролепетал четырехлетний ребенок:

Пусть умерли бы все буржуи,

Дети бы умерли все,

А Ленин бы жил на земле.

⁷¹ *И. Сталин. Сочинения*, т. 1 (14) (американское издание). Станфорд, с. 274.

⁷² *И. Сталин. Сочинения*, т. 13, с. 106.

⁷³ *История ВКП(б). Краткий курс*, М., 1938, с. 99—127.

⁷⁴ *Н. Валентинов (Вольский)*. Новая экономическая политика и кризис партии после смерти Ленина. Станфорд, 1971, с. 90—92.

⁷⁵ *Справочник партийного работника*. М., 1926, с. 332.

И в заключение:

Друг, сердце твое горе не сжало сильнее?
И в мыслях ты тверд?
Смотри, в миллионах наших детей
Ильич не умер, он жив, он не умрет!⁷⁶

Культ Ленина утвердился еще задолго до 30-х годов, а первым шагом к культу личности Сталина было то, что его сочли величайшим продолжателем дела Ленина. Для этого постарались привлечь особое внимание к речи Сталина «По поводу смерти Ленина», в которой выделялись так называемые заветы, оставленные Лениным перед смертью («Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам хранить единство нашей партии, как зеницу ока. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью выполним и эту твою заповедь!»⁷⁷). Речь, которая не вызвала особого интереса, когда она произносилась, стала впоследствии центральным моментом торжеств, посвященных памяти Ленина. Работа Сталина, посвященная учению Ленина (апрель 1924 года) и названная «Об основах ленинизма»⁷⁸, настойчиво возводилась в ранг классического труда, тогда как работы по тому же вопросу соперников Сталина постепенно замалчивались, по мере того как их отстраняли от власти.

Теперь оставалось немного — поднять Сталина, первого ученика Ленина (роль, которую он из скромности продолжал отрицать), также до уровня исторического героя. Первым симптомом явилось слащавое празднование 50-летия Сталина в декабре 1929 года⁷⁹. С этого момента и до конца его жизни высшей формой проявления культа Сталина было упоминание его имени в связи с почитанием Ленина. Оба признанных основателя партии, инициаторы революции, отцы Советского государства изображались вместе на бесчисленных картинах, в скульптурах, в театральных постановках, фильмах и операх на исторические темы. «Вопросы ленинизма» — так назывался сборник работ Сталина, который до самой смерти автора был самой популярной его книгой⁸⁰. «Сталин — это Ленин сегодня» — одна из наиболее часто повторявшихся в адрес Сталина формулировок.

Однако с начала 30-х годов стал возникать и самостоятельный культ личности Сталина. Если уже в начале этого

⁷⁶ Первые песни вождю. Сборник стихов. М., 1926, с. 188—189.

⁷⁷ И. Сталин. Сочинения, т. 6, с. 46—51.

⁷⁸ Там же, с. 69—188.

⁷⁹ Там же, т. 12, с. 140.

⁸⁰ И. Сталин. Вопросы ленинизма. М., 1939.

десятилетия Сталин при всех обстоятельствах выступал как высший авторитет в истории, философии и психологии⁸¹, то уже в 1933 году он утвердился как вездесущий герой в полном смысле этого слова. С 1 июля 1933 года центральный орган партии — газета «Правда» — начал почти ежедневно петь ему осанну, публиковать его портреты, высказывания или упоминать его имя. Причем в большинстве случаев это был просто ритуал, без претензии на сообщение каких-либо новостей. Начиная с этой же даты в печати обрела перво-степенное значение одна из наиболее характерных форм культа личности Сталина: письма Сталину, в которых не содержалось ничего конкретного, кроме восторженных приветствий и обещаний новых побед. Эти письма, похожие на молитвы, сочинялись по одному стандарту в школах и на предприятиях всей страны по случаю многочисленных праздников. Во второй половине 30-х годов страна все больше и больше украшалась картинами и статуями, изображавшими одного Сталина⁸².

В предвоенный период торжества в честь Сталина достигли апогея, когда праздновалось его 60-летие в декабре 1939 года. Празднование этого события было отмечено появлением множества приветственных статей, среди которых были и образчики пробы пера некоторых членов Политбюро, озаглавленные: «Сталин как продолжатель дела Ленина» (Молотова), «Сталин и строительство Красной Армии» (Ворошилова), «Великий машинист локомотива истории» (Кагановича), «Сталин — это Ленин сегодня» (Микояна) и «Величайший человек современности» (Берии)⁸³. «Правда» опубликовала новую биографию Сталина: это было восхваление, сжато написанное примитивным языком⁸⁴. По 22 видам искусства и отраслям науки были учреждены «Сталинские премии», кроме того, было установлено несколько тысяч стипендий его имени для лучших студентов⁸⁵. Литературные произведения, изданные по этому случаю, были столь многочисленны, что их перечисление составило бы целый библиографический том. Стихотворение, выбранное более или менее случайно из множества других, написанных в ходе этой кам-

⁸¹ R. C. Tucker. The rise of Stalin's personality cult. — In: "American Historical Review", April 1979, p. 347—366.

⁸² Очень трудно проводить исследования по этому вопросу из-за отсутствия объективных материалов и последующего уничтожения значительного числа документов. В «Правде» от 1 июля 1933 года помещена часть огромного портрета Сталина, может быть, первой работы такого типа; возможно, однако, первая гигантская статуя Сталина появилась не раньше 1936 года.

⁸³ «Правда», 21 декабря 1939 года.

⁸⁴ Там же, 20 декабря 1939 года.

⁸⁵ Там же, 21 декабря 1939 года.

пани бесконечных восхвалений Сталина, принадлежит Сергею Михалкову.

Спит Москва. В ночной столице
В этот поздний звездный час
Только Сталину не спится —
Сталин думает о нас.

За горами, за долами,
В кишлаке своем родном,
Мальчик смотрит за стадами —
Сталин знает и о нем ⁸⁶

В целом культ Сталина имел весьма убогое интеллектуальное содержание. Информация о его истинной жизни и деятельности была скудной. Официальная биография 1939 года очень невелика по объему даже для брошюры. Воспоминания о Сталине были скорее выражением радости пишущего, чем источником информации, как, например, «Я видела Сталина...», написанное в 1939 году Долорес Ибаррури, Пасионарией времен гражданской войны в Испании ⁸⁷. С начала 30-х годов Сталин писал так мало, что каждая новая его работа рассматривалась как великое событие. На людях он появлялся крайне редко и еще реже выступал публично. Передававшийся по радио его доклад о новой Сталинской Конституции 1936 года был, возможно, единственной радиотрансляцией его выступления до войны. Это было событие, которое, по официальным советским сообщениям, имело историческое значение ⁸⁸.

Словом, образ Сталина соединял в себе божественную удаленность с вездесущностью. С невероятной помпой произносились в его честь морально-назидательные речи и напыщенные заверения. Интеллектуальное содержание сталинизма периода культа сводилось к нескольким простым истинам: героический труд, любовь к родине и к Сталину. Короче говоря, это была светская религия, подходящая для малообразованного народа, для людей, которые, переживая полосу драматических социальных потрясений, чувствовали себя увереннее от того, что во главе их стоял герой, равных которому не было. Все это невозможно оправдать с точки зрения марксистской теории. Но очень может быть, что взгляд Сталина, понимавшего, в чем нуждался его народ, простирался за пределы марксистской теории.

⁸⁶ Там же, 18 декабря 1939 года.

⁸⁷ Там же, 22 декабря 1939 года.

⁸⁸ Там же, 26 ноября 1936 года.

Франц Марек

О СКЛАДЕ УМА СТАЛИНА

Можно ли считать Сталина марксистом? Этот вопрос много раз ставился после 1956 года. И, по нашему мнению, в самом вопросе заключено то, что характеризует склад ума Сталина — такой склад ума, которому были чужды какие-либо оттенки или же переходы и из-за которого во всех дискуссиях и во всех проблемах допускалось лишь одно: или — или. Конечно же, Сталин читал большую часть трудов Маркса (хотя, очевидно, ему были неизвестны юношеские произведения последнего и «Экономические рукописи 1857—1859 годов») и, возможно, прочел все важнейшие работы Энгельса. С другой стороны, как и большинство революционеров своего поколения, он пришел к пониманию концепций Маркса и Энгельса через посредство Каутского. Ему были близки социальный дарвинизм Каутского и его позитивистский и прагматический стиль, и они помогли Сталину в первых попытках популяризации марксизма. Так, в полемике по определению сущности нации, открытой Отто Бауэром, Сталин, например, широко использовал работы Каутского, однако не цитировал его.

Сталин, бесспорно, знал труды Ленина. Его путь наверх проходил под знаком постоянных ссылок на Ленина, а цитаты из работ Ленина — это как бы ступеньки его карьеры. Но вполне возможно, что он не оценил всех трудов Ленина. К примеру, «Философские тетради» контрастировали с тенденцией Сталина к схематизации, и надо думать, что замечание Ленина о том, что невозможно понять «Капитал» Маркса, предварительно не изучив Гегеля, могло раздражать его.

В своей работе о советском марксизме (1958) Герберт Маркузе говорит о тенденции к «ритуализации теории», которую, возможно, следует приписать особым условиям умственной работы Сталина, связанным с его учебой в семинарии. (Например, в известном выступлении по радио 3 июля 1941 года, после нападения гитлеровской Германии, появляются прямо-таки церковные выражения: «Братья и сестры!») Отсюда же и безапелляционность его заключений, безоговорочных, как «аминь» в молитве, а также манихейство, типич-

чное для его образа мыслей. Приняв концепцию марксизма-ленинизма, предложенную Зиновьевым, Сталин заявил, что этот марксизм есть «марксизм эпохи империализма и пролетарских революций». И чем более он чувствует себя мыслителем, близким по духу классикам, тем больше проявляется тенденция отождествлять марксизм с собственной особой концепцией (возьмем, например, предисловие к его работам по вопросам языкознания: «марксизм это наука...» и т. д.). Любая иная концепция отвергается априори как антимарксистская и абсурдная.

Это манихейство, усиленное борьбой и успехами, оказало влияние на умы сотен тысяч человек. В романе А. Мальро «Надежда» коммунист Манюэль говорит:

«Большой мыслитель — это человек оттенков, переходов, человек качества, истины в себе, человек сложностей. По натуре его можно назвать противником манихейства. Но способ действий его манихейский, поскольку любое действие есть манихейство, и оно достигает максимальной жестокости, когда связано с массами. Каждый настоящий революционер — по своей природе последователь манихейства. И каждый политик».

Склад ума Сталина не свойственны оттенки, умственное смятение, ограничения и оговорки. Правда, слова Манюэля отражают исторические условия, которые облегчили манихейское извращение марксизма.

В своей работе «Партия в Советском Союзе, 1917—1945» Джулиано Прокаччи показал, как во время гражданской войны и иностранной интервенции началась милитаризация партии, которая шла в ногу с иерархизацией, что в свою очередь отразилось на жесткой регламентации партийного языка. В то же время в этом процессе можно выделить одну из решающих предпосылок сталинизма, когда в ущерб принципам коллегиальности стала превалировать исполнительная и административная сторона дела во всех областях. В экономике, в идеологии были определены «фронты», на которых велись многочисленные «битвы». Часто менялись командующие, и велась постоянная разведка и борьба против проникновения и влияния иностранщины. Сталин ужесточил тенденцию к использованию военных метафор, и подобный склад ума полностью проявился в знаменитом выступлении Жданова в 1946 году, где удачные литературные произведения сравнивались с выигранной битвой или с успехами на экономическом фронте. каждая производственная директива — с указанием «по воспитанию человеческих душ», а понятие «философского фронта» было связано с понятием организованного отряда воинов-философов, вооруженных прекрасным оружием, каковым является марксистская теория, философов, которые ведут широкое наступление против вражеской идеологии ино-

странных государств, против пережитков буржуазной идеологии в сознании советских граждан, мобилизуют все резервы и т. д.

Если гражданская война и война с иностранными интервентами способствовали милитаризации партии и ее языка, усиливая тенденцию к упрощению проблем, впоследствии столь характерного для политики Сталина, то в ходе последующего развития отсутствие новых победоносных революций в мире и грандиозные победы, одержанные в ходе мировой войны, укрепили уверенность в том, что мировую революцию следует прежде всего отождествлять с продолжающимся наступлением Красной Армии, которое ширится, как масляное пятно на поверхности воды. Тенденция мыслить военными категориями, естественно, получила новую пищу и подтверждение благодаря и внешней политике, которая, конечно же, не ставила перед собой вопроса, который задавал себе Бертольт Брехт вскоре после подписания договора между Риббентропом и Молотовым: «Могут ли военные гарантии компенсировать начавшееся отчуждение симпатий рабочего класса во всем мире» («Рабочий дневник», 24 декабря 1939 года).

Военно-авторитарно-манихейской мысли способствовала и логика, которой придерживался Сталин в своей аргументации, простой, не терпящей отступлений, но убедительной, если исходить из определенной посылки. Отсюда и неизбежность заключения: или — или, третьего не дано. Или вместе с Советским Союзом против оппозиции, или с оппозицией против Советского Союза. Или построение социализма в одной стране, или же отказ от власти, поскольку те, кто оспаривает возможность построения социализма в одной стране, ставят под сомнение закономерность Октябрьской революции. Или принудительное обобществление средств производства, или же сохранение, более того — реставрация, частной экономики. Или коллективизация, или возврат к капитализму, и т. д. Никаких промежуточных звеньев или других возможностей, а сами теоретические проблемы допускают лишь возможность ответить — да или нет. Напористая аргументация не допускает другого решения, кроме согласия или приговора. И Сталин жестоко высмеивает любого, кто предлагает или поддерживает иные концепции, будь то философы-идеалисты, социал-демократические партии или «оппортунисты» внутри партии. Весь «Краткий курс истории ВКП(б)» — это сплошное чередование побед и триумфов большевиков над идиотами, преступниками и шпионами. В нем раскритикованные и побежденные концепции представлены в искаженном и окарикатуренном виде, а их сторонники собраны в одну кучу, наделенную презрительным эпитетом, в то время как в знаменитой четвертой главе не видно никакой разницы ме-

жду объективным и субъективным идеализмом. К тому же иногда Сталин полемизирует против концепций «жалких марксистов», — концепций, которых на самом деле не существовало. Чем сильнее манихейское противопоставление, тем неизбежнее упрощение, схематизация, вульгаризация.

Особенно типична для Сталина манера объединять собственные идеи в определенное количество основных пунктов: три основные черты материализма; четыре основных понятия диалектики; три особенности Красной Армии; три социальных корня оппортунизма; три задачи, стоящие перед страной; пять целей, стоящих перед советскими войсками; основной закон капитализма и основной закон социализма. И постоянно одно и то же безапелляционное заключение: «так обстоят дела». Простые фразы, ограниченный словарь, иногда анекдот или литературный персонаж, живая метаформа, но постоянно одно и то же, с постоянно долбящим в одну и ту же точку заключением, например: «...не обуздав уклонистов и не разбив их в открытом бою, мы не могли бы добиться тех успехов, которыми по праву гордится теперь наша партия» (1930 год. XVI съезд — это против сторонников Бухарина); «Все видят, что линия партии победила... Что можно возразить против этого факта?» (1934 год. XVII съезд — это против оппозиционных фракций). А вот примеры из приказов военных лет: «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу нашей Родины! Смерть фашистским захватчикам!»

В основе сталинских упрощений лежит полное отождествление законов общественного развития с законами развития природы. Отталкиваясь от некоторых беглых мыслей Энгельса и Ленина, Сталин преобразует философию революционной практики в миропонимание, подходящее для всех областей познания. Диалектический материализм — это *Weltanschauung* (мировоззрение) партии, годное для познания и объяснения всех природных явлений; исторический материализм — это применение диалектического материализма к социальным явлениям и истории. Таким образом, говорится в четвертой главе «Краткого курса», несмотря на всю сложность явлений общественной жизни, наука об истории общества может быть не менее точной, чем, например, биология. Это полное отождествление природы и общества в диалектическом материализме синтезировано Сталиным в его работе о языке, в формулировке, которая гласит, что марксизм — это наука о законах развития в природе и обществе.

Поэтому Сталин разрешает основную проблему марксистской диалектики — столкновение между волевым решением и законностью, — с одной стороны, заявляя, что исторические тенденции развития проявляются с железной природной закономерностью, а с другой — утверждая чис-

тый волюнтаризм и субъективизм, без какой-либо связи и промежуточного звена. Уже в первой своей популярной работе «Анархизм или социализм?» он говорит, что естественная необходимость исторического развития есть гарантия неизбежности социалистической революции. И социалистический строй, утверждает Сталин, последует за капиталистическим, как день следует за ночью. Рабочее движение — это как компас на корабле, который в любом случае приплывает к другому берегу, но с компасом на борту он доплывет до него быстрее и с меньшими опасностями. Исторический закон Маркса, согласно которому противоречие между производительными силами и производственными отношениями и формами собственности ведет к социальным кризисам и революциям (в ходе которых, как говорится в «Манифесте Коммунистической партии», вовсе не исключена возможность всеобщего разложения всех классов общества), в упрощенном изложении последней сталинской работы «Экономические проблемы социализма в СССР» превращается в закон полного соответствия между производительными силами и производственными отношениями. Тут даже минимально не допускается возможность возникновения застойных общественных форм, не говоря уже об отмирании целых формаций. Таким же образом, как можно познать и использовать законы природы, Советский Союз с точностью использовал закон «полного соответствия» производственных отношений производительным силам и построил социализм. Более того, этот «известный» закон использовала и французская буржуазия в ходе Великой французской революции, чтобы заменить феодальные производственные отношения на буржуазные.

Эта фаталистическая интерпретация исторических тенденций настолько типична для образа мыслей Сталина, что он всюду пытается отыскать необходимые закономерности. Все закономерно. Человеческая воля, казалось, целиком исчезла. Но в то же время без особого напряжения и проблем на свет появился самый крайний волюнтаризм, утверждавший, что нет таких крепостей, которых большевики не смогли бы взять. Все весьма просто, все идет согласно необходимым законам, все хорошее непременно появится.

При всех обстоятельствах Сталин постоянно ссылается на железные закономерности развития. Справедливо ли обвинение, что в Советском Союзе крестьяне подвержены эксплуатации? Нет, не справедливо, «ибо непрерывный рост благосостояния трудового крестьянства является законом развития советского общества» (речь на Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) «О правом уклоне в ВКП(б)», апрель 1929 года). Случайность ли, что руководство партии слишком поздно признало некоторые факты? Нет. Это не случайность, а закономерность развития. Все, что происходит, — закономерно (закключение

его речи на XIII партконференции в марте 1924 года). Разногласия между различными фракциями в партии, расхождение во взглядах с Троцким и преодоление всего этого разве случайность? Ничего подобного. Речь идет о закономерном развитии в ходе борьбы, о законе необходимого развития (речь на VII расширенном Пленуме Исполкома Коминтерна 7 декабря 1936 года). В силу железной необходимости образование социал-демократических правительств в 20-е годы приведет к распаду социал-демократических партий («К международному положению», журнал «Большевик», № 11, 20 сентября 1924 года). И еще. В ответ на речь Черчилля в Фултоне Сталин определил рост коммунистических партий как неизбежную «закономерность развития».

В упрощенческой сталинской интерпретации марксистского анализа исторических тенденций фатализм переплетен с самым крайним волюнтаризмом. Конъюнктурное решение превозносится как выражение исторического развития, а затем объявляется безошибочным. Единственное решение отождествляется с основным законом исторического развития до такой степени, что любые сомнения и какая бы то ни было критика априорно объявляются смехотворными потому, что они противоречат железной необходимости истории. Поэтому критика этой точки зрения, с одной стороны, смешна, а с другой — просто преступна.

В построении социализма «трудности будут. Но мы их преодолеем, как преодолевали до сих пор, ибо мы — большевики...» (Политический отчет Центрального Комитета на XV съезде Коммунистической партии 3 декабря 1927 года). Все решения, относящиеся к построению социализма, коллективизации сельского хозяйства, к планированию, были задрапированы в величественную мантию законов, «которые существуют помимо нас» («Экономические проблемы социализма в СССР»), так что даже фантастический закон пропорционального планового развития национальной советской экономики или же критерии, указанные в «основном законе социализма» и связанные с самим понятием социализма, были просто представлены как существующие на самом деле.

Рассмотрим аспект сталинского образа мыслей, тесным образом связанный с манихейской тенденцией. «Сталинская тенденция, — писал Лукач («Nuovi argomenti», 1962), — постоянно ведет к отмене повсеместно, где это возможно, каких бы то ни было промежуточных этапов и установлению непосредственной связи между самыми жестокими фактами реальности и самыми общими теоретическими позициями». Именно с целью «непосредственно и явно оправдать всяческие меры, представив их как необходимое и прямое следствие марксистско-ленинского учения», была сделана попытка грубо объединить теорию и практику, упростив принципы на

основе требований повседневной практики (нередко воображаемых), вплоть до вульгаризации, не отказываясь иногда и от «искажения теории, в случае необходимости, во имя оправдания ее мнимой авторитетности».

Вернемся к принципу легитимации и его значению для манихейского образа мышления Сталина. Это основной принцип в сталинской трактовке исторических явлений, и над ним иронизировал Брехт после прочтения «Краткого курса» в своем «Рабочем дневнике» (29 января 1940 года):

«Автор этой истории, так сказать, и прозрачен, и мутен одновременно. Он обтесывает свои фразы топором и часто попадает себе по пальцам. Революции выводятся из метафизики. Они осуществляются потому, что старое уступает место новому, и только то, что рождается и развивается, — несокрушимо. Все зависит от всего, а развитие идет какими-то скачками, граничащими с чудесами. Принцип тождества особенно ценен для «естественных вещей», а последние противоречия, на которые не дозволено «ставить заплаты», — это капиталистические условия. Не дозволено сдерживать классовую борьбу, необходимо вести ее до конца. После этого садятся писать мемуары о классовой борьбе и благодарной мыслью возвращаются к диалектике. Все стремится ввысь. Старое умирает, новое побеждает; речь идет о «переходе из старого качества в новое». Естественно, „новое качество лучше“».

Заметив (31 января 1940 года), что «диалектическая мысль присуща дифференцированному обществу, обладающему крупными, быстро развивающимися производительными силами», Брехт продолжает:

«Уже настало время выводить диалектику из реальностей, вместо того чтобы выводить ее из истории идей и ограничиваться заимствованием из реальности примеров, иллюстрирующих законы».

Сведение исторических тенденций к естественным, необходимым и механическим закономерностям неизбежно связано с грубым упрощением. Упрощенческое изложение Марксовых законов развития привело к тому, что Сталин выделил в «Кратком курсе» только пять основных общественных формаций (первобытное общество, рабовладельческий строй, феодализм, капитализм и социализм) и не только перескочил через проблематику, связанную со смешанными формами, но и просто-напросто игнорировал азиатский способ производства, о котором писал Маркс и где не так легко показать необходимость этих законов развития. Связь между базой и надстройкой также была представлена Сталиным чисто механически и однозначно. В его ранней работе «Анархизм или социализм?» (1906—1907) «материальная сторона», «внешние условия», «существование» и другие подобные явления опре-

делены как содержание, в то время как «идеальная сторона», «сознание» и другие подобные явления связаны с формой. И тут же решительно утверждается, что в процессе развития содержание предшествует форме, форма отстает от содержания. Так, в его работе «Марксизм и вопросы языкознания» надстройка создается базисом для его обслуживания и прекращает быть таковой, когда уже активно не защищает базис.

Но самый важный и роковой факт — это то, что в дискуссии о возможности построения социализма в одной стране, в которой Сталин вел себя как повелитель, понятие социализма он все более сводил к возможности организации современного производства, основанного на обобществленных средствах производства. То, что в дискуссии о возможности построения социализма в России вопрос о производстве являлся основным, было вызвано трагической отсталостью этой страны. Однако Сталин постоянно возвращался к тезису о том, что там, где существует капиталистическая собственность на средства производства, есть основа для установления социализма. Верно и то, что еще в 1928 году Сталин утверждал, что отмирание государства — необходимое условие построения социализма (ответ Куштысеву, 28 декабря 1928 года). После коллективизации сельского хозяйства социализм в основном построен, — так писал Сталин в письме Иванову 12 февраля 1938 года и подчеркивал в своем последнем труде «Экономические проблемы социализма в СССР». Наоборот, в том, что касается отмирания государства, уже на XVIII съезде партии, в марте 1939 года, Сталин с насмешкой и сарказмом обращался к тем, кто оставался верен этой формулировке Энгельса, и это в то время, когда Советский Союз находится в окружении враждебных стран. К другим критериям классиков, связанным с понятием социализма (как, например, революция в области всех общественных отношений), Сталин никогда больше не возвращался.

Здесь, конечно, следует обсудить одну из самых главных сторон образа мышления Сталина, которую Лукач определил как «систему субъективных догм» («Послесловие» к книге «Моя жизнь в марксизме» 1957 года) или же превращение пропагандистской практики в политический оптимизм («О дискуссии между Китаем и Советским Союзом») и которую Оскар Негт определил как «революционную необходимость узаконения послереволюционного общества»: речь идет о провоцирующем противоречии между концепцией и реальностью, между теорией и практикой, о той путанице, которая укоренилась в умах сотен тысяч людей.

А ведь именно в этом основное ядро умственного мира Сталина. Речь идет о противоречиях и связях между тем, что

он говорил, и тем, что делал; о противоречии и связи между словом и делом, теорией и практикой, между терминологией и преступлением. Говорить здесь о лжи, обмане, симуляции и т. д. — слишком легкое объяснение. Сама проблема намного сложнее. Речь тут идет, с одной стороны, о преимуществах глубоко гуманной доктрины и целого ряда понятий, которые из нее развились, а с другой — о грубой модификации и фальсификации этой доктрины с целью оправдать антигуманную практику.

Основа этого противоречия проистекала из противоречий между социалистической концепцией и условиями, в которых она должна реализоваться в столь отсталой стране. Сталин уложил марксистскую теорию в прокрустово ложе русской реальности и свел ее к официальной идеологии. Реальность «перегонялась» таким образом, чтобы подходить к теории, а теория в свою очередь мистифицировалась, чтобы зачеркнуть и прикрыть все противоречия и конфликты. То, что утверждалось теоретически, должно было немедленно превращаться в фактическую реальность; то, что было фактом, должно было немедленно соответствовать теории. Теория должна найти непосредственное подтверждение в показном мире. Реальность должна была найти непосредственное оправдание в вымышленной теории. Теорию можно было преподнести так, как будто и не было реальности. Реальность надо было модифицировать и изменить так, чтобы она соответствовала теории. Превращение «целой революционной партии в корпорацию бюрократов» (Брехт, «Рабочий дневник», 19 июля 1943 года) создало сознание, идеологию (в том уничижительном смысле, в котором употребляет этот термин молодой Маркс), соединившую извращение и искажение с концепцией, сама терминология которой носит чормативный характер. Таким образом смогла развиваться двусмысленная, сомнительная теория, наложившая свою печать на способ мышления целого великого движения.

Так, сталинская Конституция 1936 года всерьез утверждает право наций на самоопределение, а Сталин неоднократно подчеркивает свободу научных поисков, как это делает он в письме Иванову или в работе о языкознании. А в своей последней работе «Экономические проблемы социализма в СССР» он утверждает, что ни одна капиталистическая страна не оказывает столь эффективной и бескорыстной помощи, какую Советский Союз оказывает странам народной демократии, «по более подходящей цене», так что скоро эти страны не будут нуждаться в импорте из капиталистических стран, а станут уступать другим свои собственные излишки, и т. д. Не говоря уже о том, что человек считается «самым ценным капиталом».

Когда утверждается, что образ мыслей Сталина догмати-

чен, это вовсе не следует понимать в том смысле, что Сталин упорно придерживался определенных утверждений классиков. Например, в дискуссии с Зиновьевым в 1926 году или же по вопросу о государстве в 1939 году Сталин подчеркивал необходимость «пересмотра» устаревших положений и часто превозносил творческий характер марксизма. В зависимости от обстановки Сталин порицает догматиков, которые ссылаются на классиков, и создает «созидательные» догмы, чтобы апостериори оправдать право государства на существование и определенные решения. В 1937 году он объявил о неизбежном обострении классовой борьбы при социализме, а в 1939 году заявил, что классовая борьба окончена. Подобный триумфализм всегда лежит в основе всех его тезисов и заявлений. Все утверждения «носят программный, пропагандистский характер, служат для того, чтобы объяснить, оправдать и направить определенные действия», — подмечал Маркузе.

Это тот образ мыслей многих индивидов, которые душили в себе червь сомнения с той же легкостью, с какой смахивают с лица приставшую паутину, просто потому, что они не видели других альтернатив. Об этом ясно говорит Брехт, который в своем «Рабочем дневнике» (21 сентября 1939 года) писал в связи с «критической солидарностью» с политикой Сталина в начале второй мировой войны:

«Возможно... будет положено начало мировой революции... Однако решает пока не народ, не масса, не пролетариат. Именно правительство решает за народ, за массу, за пролетариат. Похоже, Сталин считает невозможным начать войну по-революционному».

Для Сталина решающую роль играли военные факторы и соображения государственного порядка, в то время как коммунисты должны были удовлетвориться использованием марксистско-ленинской терминологии и ее концепциями. Таким-то образом сталинский миф и смог превратиться в ту жестокую силу, которой удалось овладеть массами.

Массимо Л. Сальвадори

МАРКСИСТСКАЯ КРИТИКА СТАЛИНИЗМА

Секретным докладом, в котором осуждался «культ личности» Сталина, Хрущев поверг в полное замешательство значительную часть своих слушателей, принадлежавших к элите Советской власти. Когда же доклад перестал быть тайной, замешательство охватило ряды коммунистов всего мира, всех рангов и степеней. И последствия не заставили себя долго ждать. Помимо смущения, оттого что Хрущев крайне неуместно вынес публично «сор из избы», помимо того, что многие коммунисты не хотели верить тому, о чем рассказал советский лидер (нежелание верить поддерживалось также и тем, что на практике многие хрущевские «истины» совпали с давними заявлениями бывших коммунистов, коммунистов-еретиков, антикоммунистов), анализ Хрущева вызвал возмущения и в отношении марксистской методологии.

В интеллектуально довольно грубой форме он перешел к сути вопроса, заявив в самом начале своего выступления, что в СССР из Сталина сделали «сверхчеловека, обладавшего, подобно богу, сверхъестественными качествами», «способного все знать, все видеть, за всех думать и не ошибаться»; все это Хрущев считал теперь «недопустимым» и «чуждым духу марксизма-ленинизма». Хрущеву и его слушателям, естественно, несложно было понять, что представлял из себя «культ личности» Сталина. Все помнили о том, что тысячу раз слышали, говорили, повторяли. У всех еще были в памяти слова, которыми Жданов закончил свое выступление на XVIII съезде ВКП(б) в марте 1939 года: «Да здравствует гений, мозг, сердце большевистской партии, всего советского народа, всего прогрессивного передового человечества, наш Сталин!»¹ И все они прочли в том же «Кратком курсе истории ВКП(б)», что «великое дело партии Ленина—Сталина» побеждало в прошлом, несмотря на происки врагов, и в будущем победит «окончательно» «во всем мире» благодаря руководству Сталина². Понять это было нетрудно. Трудность

¹ XVIII съезд ВКП(б). Стенографический отчет. М., 1939, с. 544.

² История ВКП(б). Краткий курс. М., 1949, с. 4.

была в другом. А именно в том, что Хрущев полагал, будто успехи советского народа были достигнуты не благодаря Сталину, а вопреки Сталину. И что такие трагические меры, как истребление национальных меньшинств, бесчисленных внутренних врагов и т. д., были не результатом железной твердости советского режима во главе с прекрасным вождем, а проступлениями вождя, превратившегося в результате злоупотреблений властью в злое божество. Таким образом, отделяя, одной стороны, положительное развитие советского общества от власти Сталина, а с другой, признавая подчинение, в котором Сталин, благодаря своей беспредельной власти, держал то же самое общество, Хрущев ставил методологически новый вопрос об отношениях Сталина со средой, в которой тот проводил свою политику, пусть и в крайне противоречивой и неприемлемой форме. В самом деле, как случилось, что общество, остававшееся «здоровым», не нашло способа среагировать на грубейшие нарушения «марксистско-ленинской законности» и даже вознесло на пьедестал, как бога, человека, подобного Сталину, разоблаченного Хрущевым? Противопоставление развития СССР столь решительным действиям высшего руководителя страны в тот период истории, когда оформились и укрепились общественно-политические институты, казалось делом, методологически противоречившим марксизму. Целые поколения коммунистов испытали на себе влияние классической работы Плеханова «К вопросу о роли личности в истории», центральным тезисом которой является положение о том, что индивид, наделенный чертами выдающейся личности, может занимать ведущее положение в обществе в течение целой эпохи только в той мере, в какой «у него есть особенности, делающие его наиболее способным для служения великим общественным нуждам своего времени, возникшим под влиянием общих и особенных причин»³. И в самом деле, суть тезиса, на котором держалось прославление Сталина в течение целого исторического периода, состояла в том, что Сталин является непревзойденным выразителем исторической потребности социалистического развития СССР, что его победа над оппозиционерами объясняется именно этим его качеством, что общественные силы, переживавшие период роста, коммунистическая партия и Сталин — образец нерушимого единства. Напротив, версия, по которой историческое развитие СССР следует рассматривать в свете раздельного существования общества и партии, с одной стороны, и Сталина — с другой, а также напряженных отношений между ними, создавала сложности одновременно и политического и «философского» плана.

³ Г. В. Плеханов. Избр. философ. произв. в пяти томах. М., 1956, т. II, с. 333.

Недаром такой коммунистический лидер международного масштаба, отличавшийся глубоким знанием марксизма, каким был Тольятти, в знаменитом интервью журналу «Нуови аргументи» сразу же предупредил о необходимости поправить постановку вопроса Хрущевым. Хотя Тольятти и подтвердил, что негативные аспекты деятельности Сталина действительно не затронули «демократического и социалистического характера» СССР, но он заявил также, что нельзя полностью изолировать Сталина и что если в некоторых своих деяниях он обнаружил перерождение, то это стало возможным потому, что «личная власть» сочеталась тогда с «накоплением явлений бюрократизации, нарушения законности, застоя и даже отчасти перерождения в различных точках общественного организма»⁴. Политический смысл позиции, занятой Тольятти, заключался, с одной стороны, в том, чтобы скорректировать методологически грубую установку Хрущева, а с другой — в том, чтобы не допустить «риска чрезмерных, произвольных и ложных обобщений», то есть «осуждения советских достижений в экономической, социальной и культурной областях как негодных, неприемлемых, подлежащих критике», как это бывает в публикациях, содержащих «обычную реакционную чепуху»⁵. И наконец, Тольятти был не чужд убеждения, что если в СССР предполагают приступить к «либерализации» режима, сложившегося при Сталине, то неизбежно окажутся затронутыми определенные механизмы, приводившие в действие политическую систему, и в первую очередь чрезмерная централизация власти. Неудивительно, что Центральный Комитет КПСС официально упрекнул Тольятти за его, пусть сдержанную и робкую, попытку связать личную власть Сталина с определенными социально-политическими корнями. Словом, Хрущева и Тольятти прочно связала забота о том, как бы сдержать «десталинизацию» настолько, чтобы помешать завершению поисков причин перерождения сталинской власти узаконением коммунистических и некоммунистических марксистских разработок, критиковавших власть Сталина и социально-политическую систему, на которую она опиралась. Речь идет о разработках, для которых (при всех их различиях) общим было то, что все они рассматривали Сталина, его методы руководства, его «культ» как органическое выражение социально-политической обстановки в стране. Самым главным призраком, которого также не коснулась «десталинизация» сверху, был Лев Давидович Троцкий. Его вдова, Наталья Седова, обратилась тогда к Хрущеву с просьбой о полной реабилитации Троцкого.

⁴ P. Togliatti. Opere scelte. Roma, 1974, p. 705.

⁵ Ibid.

1. Различные толкования одного вопроса

Итак, следует иметь в виду, что у Хрущева и Тольятти, при относительно различных установках касательно анализа сталинизма, общим было то, что они решительно отвергали самую суть антисталинских марксистских разработок, а именно тезис о том, что сталинизм был системой подчинения политически бесправных трудящихся масс и что, следовательно, террор, насилие, беззаконие, из числа названных самим Хрущевым, не являлись нарушением норм советской системы; напротив, они были выражением методологии управления. Следует иметь в виду, что именно марксисты-антисталинисты (а не англо-американская политология периода «холодной войны», как это часто приходится слышать) стали употреблять, говоря о советском обществе, построенном под руководством Сталина, понятие «тоталитаризм» и указывать на более чем поверхностное, а в некоторых отношениях и весьма существенное сходство сталинизма с фашизмом. С выводом о тоталитарной природе сталинского режима в конце концов согласились все крупнейшие марксистские критики сталинизма, даже если у них были глубокие разногласия насчет того, была ли она переходной и временной структурой или постоянной, характерной для системы. В самом деле, для одних власть Сталина являлась продуктом сочетания исторических обстоятельств, которая исчезла бы вместе с исчезновением породивших ее причин и была средством обеспечения основ будущей социалистической демократии. Для других, напротив, эта власть была выражением необратимого исторического шага (необратимого в том смысле, что изменить что-либо можно было, лишь разрушив ее). Третьи полагали, что деспотическая система опиралась на функциональное соотношение экономического базиса и политической и юридической надстройки. Четвертые считали, что сталинский деспотизм искажил социалистическую природу экономики; они в свою очередь делились на тех, кто считал возможной трансформацию деспотизма путем внутренних реформ, и тех, кто был убежден, что только революция снизу сможет уничтожить существующую систему политической власти. Среди тех, кто рассматривал сталинскую систему как функциональное сочетание базиса и надстройки, одни считали, что эта система, не являясь более капиталистической, не стала и социалистической. Другие же утверждали, что она была идеологически и политически закамуфлированной разновидностью капитализма и формой буржуазного господства. Кроме того, те, кто считал, что сталинский СССР продолжает оставаться социалистической системой, делали вывод, что внешняя политика Советского Союза не может быть империалистической и в международных спорах выступали в защиту страны социа-

лизма (хотя и претерпевшей неблагоприятные изменения). Напротив, сторонники тезиса о несоциалистической природе СССР были убеждены в реальности или по крайней мере возможности империалистической советской политики. И наконец, проблема корней сталинизма. Диаметрально противоположные позиции занимали те, кто искал их в истории зарождения большевизма и в деятельности Ленина, когда он был у власти (это были сторонники тезиса о «преемственности»), и те, кто считал дело Сталина и его систему власти обратной тому, что имело место в истории и в деятельности Ленина (это были сторонники тезиса «разрыва» и «отсутствия преемственности»).

Естественно, перечисленные выше категории интерпретаторов представляют полярные концепции или, если угодно, «идеальные» аналитические «типы». В конкретной политической и философской эволюции отдельных оппонентов, по крайней мере критиков сталинизма, не раз случалось, что «типы» перекрашивались и даже противоречили самим себе с переходом из одного в другой, в зависимости от личного опыта и обстоятельств. Когда изучаешь наиболее крупные и важные направления толкований, можно легко заметить, что марксистские критики сталинизма располагаются таким образом, что среди них выделяются стоящие на «правых», «центристских» и «левых» позициях. И интересно отметить, как в выводах по весьма важным вопросам между двумя крайними полюсами устанавливается нечто вроде *coincidentia oppositorum* (совпадения противоположностей).

2. Каутский: сталинизм — необходимый выход для большевизма

На правом фланге этих антисталинистских критиков следует поместить Карла Каутского, который не переставал интересоваться советской историей в последнее 20-летие своей жизни (он умер в 1938 году). Эта интерпретация нашла обобщенное отражение в статьях, опубликованных в начале 1936 года. Полемизируя с Отто Бауэром, критиковавшим книгу Бориса Суварина, который наделял личность Сталина демоническими чертами, Каутский выдвигал концепцию тесной взаимосвязи Сталина с послеоктябрьской историей русского общества. Бауэр считал, что говорить о власти Сталина как о личной диктатуре было чем-то вроде идеализма. В действительности же, замечал Каутский, с марксистской точки зрения нет ничего странного в принятии возможности личной диктатуры. Вопрос состоял в том, какой смысл имели отношения Сталина с обществом. Личная диктатура Сталина была фактом не только для Каутского — она была результатом необходимости. Захватив власть, большевики создали пред-

посылки для возникновения условий, в которых не могла не возникнуть личная диктатура, то есть диктатура вооруженного меньшинства над безоружным большинством. Диктатура меньшинства может удержаться только в случае все большей и большей централизации. Любое осложнение при режиме диктатуры ведет ко все большему укреплению власти, так что «диктатура неизбежно выродилась из диктатуры партии в диктатуру одной личности над партией и государством». При такой постановке вопроса Сталин был логическим преемником Ленина: логическим с историко-политической точки зрения, а не в абстрактном плане. В самом деле, именно Ленин уничтожил возможность демократического развития, открывшуюся перед Россией с Февральской революцией 1917 года, совершив насилие над социально-экономическими условиями, не созревшими для построения социализма. Платой за форсирование событий оказалась вооруженная диктатура меньшинства, которую Ленин тщетно пытался увязать с советской демократией, невозможной самой по себе. Именно Сталин окончательно преодолел противоречие, оказавшись, таким образом, одновременно и преемником Ленина, и тем, кто избавил его начинание от нетерпимого противоречия между диктатурой партии и советской демократией.

Каутский признавал важность процессов модернизации и индустриализации, осуществлявшихся в СССР под руководством Сталина. Это нельзя было поставить под сомнение, если не считать, что сталинская модернизация открыто отрицала социализм. Как и капиталистическая модернизация, она осуществлялась путем жестокой, безо всякого различия, эксплуатации трудящихся масс рабочих и крестьян; как и капиталистическая модернизация, в ее начальной стадии, она отвечала требованию осуществить первоначальное накопление, в первую очередь за счет крестьянских масс; как и капиталистическая модернизация, она проводилась под руководством аристократического меньшинства, власть которого, однако, в СССР опиралась на нечастные средства производства. Словом, советская аристократия — это «новая аристократия, которая контролирует эти новые средства производства и использует их в собственных целях», аристократия, чьим порождением и вождем является Сталин. Советский режим — таков вовод — это «новый классовый режим», при котором социалистическая идеология имеет лишь прикладное значение. Он не является ни капиталистическим, ни социалистическим: «Не устранение всех классов, а замена старых классов новыми было результатом большевистской революции 1917 года, как это случилось с Французской революцией 1789 года. Военизированная, высоко концентрированная экономика Советского государства, бесспорно, радикально отличается от частнокапиталистической экономики. Но она не ме-

нее далека и от цели освобождения трудящегося класса от всякой эксплуатации и рабства»⁶. В связи с такой оценкой сталинского режима как несоциалистического Каутский в конце 1937 года (в обстановке антифашистских Народных фронтов) невозмутимо утверждал, что поворот советской внешней политики в антифашистском «демократическом направлении» вовсе не был выражением органических черт сталинского режима, целями которого была исключительно мощь государства. Поэтому социалисты должны быть готовыми к любой резкой перемене, если только она покажется выгодной Сталину для достижения его целей. И как это ни покажется невероятным, нельзя исключать и соглашения Сталина с Гитлером, соглашения между двумя диктаторами, устремленными к власти и экспансии. «Мы должны учитывать, — писал Каутский, — подобные изменения как в России, так и в Германии»⁷. Совершенно очевидна позиция Каутского в полемике о том, могла или нет советская внешняя политика принять черты нового империализма.

Исследования Каутского 1936—1937 годов были результатом неумолимо критических размышлений в течение 20 лет о развитии Советской России. Одним из центральных аспектов, точнее, центральным их аспектом был тезис, согласно которому связь дела Ленина с делом Сталина была прочно скреплена логикой развития механизмов политического и социального господства единственной партии и бюрократической аристократии: для Каутского Россия Ленина была не только единым целым с Россией Сталина; но и вторая уходила прочными корнями в первую.

Развитие взглядов Каутского можно дать в виде следующего сжатого обобщения:

1918. Большевизм и его диктатура являются «грандиозной попыткой миновать необходимые фазы развития, устранив их с помощью декретов». Эта историческая незрелость предопределяет невозможность для большевизма пойти по демократическому пути; он обращает в нонсенс диктатуру пролетариата и ведет к диктатуре партии, поддерживаемой диктатурой «части пролетариата над другой его частью». Таким образом, с 1918 года Каутский придерживается мнения, что диктатура меньшинства, подобная этой, не может «неизбежно» не вылиться в утверждение личной власти одного индивида, который будет направлять и подавлять внутренние противоречия, то есть «в господство некоего Кромвеля или Наполеона»⁸.

⁶ K. Kautsky. The United Front. — In: „The New Leader“, 4, 11 and 18 January 1936.

⁷ K. Kautsky. Communist swing far to right in new tactical manoeuvre. — „Jvi“, 27 November 1937.

⁸ K. Kautsky. Demokratie oder Diktatur. Berlin, 1918, S. 47, 53.

1919. Коль скоро роль регулятора общественных и политических отношений доверена насилию, то исчезает система формальных гарантий между общественными сторонами и встает вопрос о концентрации в руках господствующей элиты «необходимой силы» и «готовности действовать, не стесняясь в средствах». Постепенно в России устанавливается режим бюрократической диктатуры, контролирующей экономическую систему, которую можно считать формой государственного капитализма. Для Каутского бюрократия — это господствующий «новый класс», жизненный закон которого — сделать «свободы трудящихся иллюзорными». В полном соответствии с тезисом, который развивает Вебер в своей книге «Хозяйство и общество» (аналогия действительно впечатляет, но отличие от Каутского, однако, состоит в том, что Вебер сказанное ниже считал необходимой чертой всякого социализма), Каутский утверждает, что большевизм создал столь мощную бюрократию, что она так давит на трудящихся, как неспособен давить капитализм: «Промышленный капитализм из частного превратился в государственный. Прежде две бюрократии — государственная и частная — критически или, скорее, враждебно противостояли друг другу. Рабочий имел возможность брать верх то над одной, то над другой. Но теперь государственная бюрократия и бюрократия капитала слились воедино, и это — конечный результат огромных социалистических преобразований, которые осуществил большевизм»⁹.

1921—1922. Идеалы Парижской Коммуны, на которые ссылались большевики, сыграли свою роль в борьбе против старого государства, но не выдержали испытания, оказавшись лицом к лицу со строительством нового государства, основывающейся потребностью которого является бюрократическая централизация. Более того, большевистское государство представляет собой полную противоположность идеалам Коммуны и Маркса: «Советская республика разрушила старую царскую бюрократию, но на ее место посадила новую, также централизованную, но с еще более широкими правами, чем у предыдущей. Ибо с ее помощью регулируется вся экономическая жизнь, а в ее руках не только свобода, но и все источники существования населения»¹⁰.

В самом деле, поскольку исторически диктатура пролетариата в России оказалась невозможной (и это центральная мысль анализа Каутского), возникла диктатура большевист-

⁹ K. Kautsky. Terrorismus und Kommunismus. Berlin, 1919, S. 108, 134—135.

¹⁰ K. Kautsky. Von der Demokratie zur Staats—Sklaverei. Eine Auseinandersetzung mit Trotzki. Berlin. 1921, S. 42—43.

ской партии, которая в действительности не могла принять никакой иной формы, кроме «как диктатуры ее вождей»¹¹.

1924. После смерти Ленина, вождя большевизма и основателя Советского государства, Каутский, несмотря на всю полемику с ним, признал не только историческую роль Ленина, назвав его «колоссальной фигурой, каких мало найдется во всемирной истории», но и чистоту ценностей социализма (чего он не сделал бы в отношении Сталина), когда назвал Ленина «героем пролетарской революции». Но в то же время он заметил, что реальная историческая роль Ленина — это роль «Бисмарка» русского пролетариата, который перед лицом крушения возможностей социализма в СССР без колебаний избрал политику насилия, которой суждено было вылиться в деспотизм, шедший вразрез с принципами социализма¹².

1925. Комментируя падение Троцкого, его изгнание с поста наркомвоенмора, Каутский спрашивал себя, каким образом человек, подобный Троцкому, лично намного выше своих противников, герой русской революции наравне с Лениным, мог уступить Зиновьеву, Каменеву и Сталину. Его поражение, полагал Каутский, было вызвано тем, что он не смог противостоять «страшному господствующему аппарату, шестерни которого раздавят любого, кто бросит вызов его хозяевам»: этот аппарат был создан диктатурой той самой партии, «в строительство которой он внес огромный вклад» вместе с Лениным¹³.

1930—1931. Сталин прочно стоит у власти. Для Каутского он некоронованный царь. Однако это царь, который является органическим воплощением всей социальной системы, возникшей в процессе исторической эволюции властвующего большевизма; царь феодальной аристократии нового типа хозяйки всего общества и государства.

Каутский охарактеризовал большевистский режим первых лет его существования как режим, основанный на буржуазных методах управления, поскольку он опирался на господство организованного и вооруженного меньшинства над безоружным и дезорганизованным большинством. Кроме того, он считал большевизм контрреволюционным, сравнивая его действия с теми свободами, которые были завоеваны в феврале 1917 года. Бонапартистский поворот, по его мнению, был сделан еще в годы нахождения у власти Ленина. Этот поворот, однако, в отличие от буржуазных революций, во время которых контрреволюционная партия ликвидировала

¹¹ K. Kautsky. Die proletarische Revolution und ihr Programm. Stuttgart—Berlin, 1922, S. 137.

¹² K. Kautsky. Ein Brief über Lenin. — In: „Der Kampf“, XVII, 1924, S. 176—179.

¹³ K. Kautsky. Die Lehren des Oktoberexperiments. — In: „Die Gesellschaft“, II, 1925, S. 379.

все противостоявшие ей партии, произошел внутри самой правящей партии. Таким образом, писал Каутский, «большевики сами завершили переход от революции к контрреволюции»¹⁴. Еще в 1930 году он продолжал придерживаться аналогии между большевиками и бонапартистами. В 1917 году, до «их государственного переворота», большевиков можно было сравнивать с якобинцами. Но, оказавшись у власти, вразрез с собственной первоначальной программой, они стали действовать, как бонапартисты¹⁵. А в 1931 году он даже решил, что большевизм был «хуже бонапартизма», ибо бонапартизм был «контрреволюционен лишь с политической точки зрения», тогда как большевизм стал таковым и с социально-экономической точки зрения, поскольку «подчинил себе профсоюзы и фабричные советы, надел на весь производственный аппарат сминительную рубашку столь же неспособной, сколь и коррумпированной бюрократии»¹⁶. Советская система превратилась в тоталитарную деспотическую систему, при которой над трудящимися стоит «высшая знать», состоящая из коммунистов, управляющих страной, этой аристократии, в свою очередь подчиняющейся власти «клики», знать, которая с помощью террора правит самой коммунистической партией, подвергающейся постоянным внутренним «чисткам», необходимым верховной власти, чтобы держаться в седле. И, обращаясь к тем, кто, видя такое положение вещей, выражал опасения по поводу возможной бонапартистской инволюции СССР, он говорил уничтожающе и иронически: «Что еще остается сделать Сталину, чтобы прийти к бонапартизму? Вы полагаете, что дело дойдет до своей сути не раньше, чем Сталин коронуется на царство?»¹⁷ Словом, личная власть Сталина является подлинным логическим венцом всей экономической, социальной, политической и институциональной системы СССР, где имеется прочная и необходимая связь между базисом и надстройкой. Огосударствление средств производства само по себе не несет никакой социалистической нагрузки. Это основа господства «нового правящего класса» и подавления трудящихся масс, подавления гораздо худшего, чем в капиталистических странах, где действует система политической демократии. Кроме того, она противоречит целям, которые ставит социализм: «Конечно, Советская Россия отобрала у капиталистов средства производства. Тем не менее это произошло таким образом и в таких условиях, что вместо капиталистов появились еще более сильные и жесто-

¹⁴ K. Kautsky. Die proletarische Revolution, cit., S. 98.

¹⁵ K. Kautsky. Der Bolschewismus in der Sachgasse. Berlin, 1930, S. 98—99.

¹⁶ K. Kautsky. Sozialdemokratie und Bolschewismus. — In: „Die Gesellschaft“, VIII, 1931, vol. I, S. 58—59.

¹⁷ Ibid., S. 65—69, 101.

кие хозяева, а перед пролетариатом на его пути к социализму возникли еще большие препятствия, чем те, которые существуют в развитых капиталистических странах с укоренившейся демократией»¹⁸.

Говоря о значении политических методов находящихся у власти большевиков, Каутский выразил убежденность в том, что, несмотря на глубокие различия социально-экономической базы и субъективных устремлений, приходится заключить, что большевики являются учителями фашистов: «Фашизм демонстрирует, каким образом методы большевистской диктатуры можно использовать как для того, чтобы заковать в цепи пролетариат, так и для того, чтобы заковать в цепи своих противников. Однако, сравнивая фашизм и большевизм, необходимо заметить, что то, что у фашизма с самого начала выявляется как «намерение», а именно удушение всех свобод пролетарского движения, у большевизма предстает как неизбежный „результат“»¹⁹.

По мнению Каутского, задачей социалистов перед лицом надолго утвердившейся сталинской системы власти может быть лишь борьба за полное завоевание демократии. Это стратегическое требование. Что касается тактики, то тут следует придерживаться промежуточного лозунга «демократизации Советов», что поначалу может оказаться наиболее доступным для трудящихся масс СССР. То, в чем более всего нуждается угнетенный сталинизмом народ, говорил Каутский, — это «выборы нового Учредительного собрания, уполномоченного выработать конституцию парламентарной демократической республики»²⁰.

3. Гильфердинг: примат политики над экономикой и утверждение тоталитаризма

Наряду с анализом Каутского немаловажно напомнить о выводах, к которым пришел известный политический деятель социал-демократии и экономист-марксист Рудольф Гильфердинг в своем исследовании 1940 года, незадолго до смерти в нацистской тюрьме. Его трактовку природы СССР и сталинского режима мы помещаем рядом с трактовкой Каутского потому, что Гильфердинг энергично отрицает социалистический характер советского социального режима и связывает имевшие место в СССР тенденции развития с тенденциями, свойственными фашистским государствам. Метод исследования Гильфердинга распространяется прежде всего на взаимо-

¹⁸ K. Kautsky. Die Aussichten des Sozialismus in Sowjet-Russland.— In: „Die Gesellschaft“, VIII, vol. II, S. 437—438.

¹⁹ K. Kautsky. Der Bolschewismus in der Sachgasse, cit., S. 102.

²⁰ Ibid., S. 89—91 und 117.

действие базиса и надстройки. При этом главная роль отводится государству и говорится о необходимости критически пересмотреть традиционные марксистские схемы связи между экономикой и политикой. Что касается *vexata quaestio* (мучительного вопроса), следует ли советскую экономическую систему, порожденную сталинской властью, считать капиталистической или социалистической, то Гильфердинг отвергал оба термина. Капиталистическая экономика, утверждал он, предполагает всегда рыночную экономику. Концепция «государственного капитализма», по его мнению, здесь не годилась, ибо после того, как государство завладевает всеми средствами производства, автономия законов рынка — основы капитализма в любом виде — теряет всякий смысл. Термин «государственная экономика» означает такую «экономику потребления», при которой уже «не цена, а Госплан определяет, что и как производить»²¹. Тот факт, что советский режим подчинился необходимости обеспечить накопление капитала, ни в коем случае не позволяет считать, встав на путь ложных исторических аналогий, что это накопление подобно буржуазному «капиталистическому накоплению», ибо «накопление (то есть расширение производства) является целью руководителей производства при любой экономической системе». Главное — связать советское накопление с теми средствами, которыми оно осуществляется; то, что из этого последовало, по мнению Гильфердинга, не имеет ничего общего с капитализмом и буржуазией²². Объяснение завершившегося в СССР процесса, как считает Гильфердинг, следует начать с ревизии классического марксистского тезиса о примате экономики над политикой. В действительности же в России имело место обратное явление — примат политики над экономикой. Подобный переворот стал возможен благодаря созданию «тоталитарного государства», чья техника управления привела к тому, что «экономика потеряла первенствующую роль, которую она имела в буржуазном обществе». Тоталитарное сталинское государство — исторический результат деятельности Ленина, а также Троцкого (поскольку Гильфердинг принадлежит к сторонникам тезиса о «преемственности» от Ленина к Сталину): «Сталин повел дело дальше, уничтожив своих соперников с помощью государственного аппарата и установив неограниченную личную диктатуру». Поэтому, по Гильфердингу, нет никакого смысла изолировать Сталина от его среды. Сталинская власть, личная диктатура Сталина представляет собой не что иное, как феноменологию исторического события огромной важности и необычности: примата полити-

²¹ R. Hilferding. *Capitalismo di Stato o economia di uno Stato totalitario*. Работа полностью опубликована в: „I marxisti“, a cura di C. Wright Mills. Milano, 1969.

²² Ibid., p. 353.

ки и государства над обществом и экономической системой. «Верующий верит только в рай и в ад, как в две решающие силы, — формулирует Гильфердинг свой основополагающий вывод, — марксист-сектант — только в капитализм и в социализм, в классы: буржуазию и пролетариат. Марксисту-сектанту не понять идеи о том, что современная государственная власть, получив независимость, разворачивает свои огромные силы в соответствии с собственными законами, подчиняя общественные силы и вынуждая их служить ее целям в течение короткого или длительного периода времени»²³.

По этой концепции, когда государство становится единственным протагонистом общественно-экономической системы, тот, кто контролирует государственную верхушку, становится хозяином общества. Того общества, в котором вместо «управления вещами» (как это должно было быть в соответствии с целями социализма) осуществляется «управление людьми». Управление людьми, естественно, требует большого бюрократического аппарата. Но было бы ошибкой считать, как утверждает Троцкий, что этот аппарат представляет собой власть и диктует «законы экономике». В действительности русская бюрократия состоит из множества индивидов, выполняющих весьма различные роли; она «не является самостоятельным носителем власти». Как всякая бюрократия, «она получает приказы, но не отдает их» и «является лишь орудием в руках истинных руководителей». Приказы отдаются тем лицом, которое контролирует государство. Так что «не бюрократия диктует законы, а тот, кто отдает ей приказы. Русской же бюрократии приказы отдает Сталин»²⁴.

Система сталинской власти, следовательно, — это органичная функциональная система власти; абсолютная власть Сталина как личности представляет собой вершину пирамиды советской системы. Советская экономика — это экономика, контролируемая «бесконтрольным» политическим «абсолютизмом», который (и здесь Гильфердинг вновь обращается к тезису Каутского) не имеет ничего общего с социализмом, так как «социализм неразрывно связан с демократией»²⁵. Таким образом, экономика тоталитарного Советского государства — это не социалистический базис с неполадками на уровне надстройки, а экономическая функциональная основа для политического деспотизма сталинского типа.

Основываясь на анализе, согласно которому тоталитаризм выдвигает политику на первый план (чему прежде не было прецедентов), Гильфердинг усматривает слияние тенденций, имеющих в фашистских странах и в СССР. По его мнению,

²³ Ibid., p. 354—355.

²⁴ Ibid., p. 352—354.

²⁵ Ibid., p. 354—356.

СССР представляет собой законченное воплощение тех тенденций, которые в Германии и Италии только наметились. В этих странах тоже «характер и рост потребностей определяется государством»; государственный же контроль, «однажды возникнув, быстро распространяется и имеет тенденцию стать всеохватывающим, как это произошло в России с самого начала». Поэтому, «несмотря на огромное различие их исходных позиций, экономические системы тоталитарных государств сближаются»²⁶. Как видно из сказанного, в своих рассуждениях по экономическим вопросам Гильфердинг приблизился к выявлению глубокой аналогии между сталинским коммунизмом и фашизмом, — аналогии, которую Каутский отметил в отношении главным образом политических методов.

4. Бауэр: сталинизм как «болезнь роста» социалистического общества

Мнения Каутского и Гильфердинга о несоциалистической природе СССР сталинской поры и о необходимости разделить суждения о базисе, с одной стороны, и надстройке, с другой, резко противоречили оценкам, данным по тем же вопросам одним из крупнейших представителей меньшевистского марксизма, лидером австромарксизма Отто Бауэром.

Для Бауэра большевики, несомненно, были революционерами, чья деятельность во время их пребывания у власти привела Советскую Россию на путь социализма. Таковыми были большевики не только эпохи Ленина, основателя Советского государства, но и Сталина, при чьей власти СССР как раз и был поставлен на то социально-экономическое основание, позволившие квалифицировать СССР как страну, переживающую фазу, которую можно было бы назвать фазой передовой социалистической модернизации. Чтобы не выходить за рамки уже столько раз использовавшихся сравнений с Французской революцией, которыми марксисты часто злоупотребляли в спорах, заметим, что для Бауэра большевики были не контрреволюционными «бонапартистами» или кем-то хуже того, а прогрессивными «якобинцами», которые с помощью своей диктатуры вели Советскую Россию по пути укрепления социализма. Избранный большевиками путь был восточным путем к социализму, непригодным для стран развитого капитализма и демократического опыта, но он всегда был решающим компонентом международной борьбы пролетариата. Таким образом, Бауэр занимал автономную позицию и по отношению к Каутскому, и по отношению к большевикам. По его мнению, претензия Каутского, будто

²⁶ Ibid., p. 354.

не может быть иного социализма, кроме как построенного из кирпичей политической демократии, была ошибочной; ошибочной была и претензия большевиков, будто избранный ими путь был универсальной моделью. Обе эти ложные обобщающие позиции были в конечном счете лишены исторической конкретности. Понятно, политические выводы Бауэра должны были получить отражение в проекте воссоединения отдельных ответвлений европейского и мирового социализма.

В своей брошюре 1920 года «Большевизм или социал-демократия?» Бауэр выступал против абстрактной альтернативы, заключавшейся в этих двух терминах, утверждая, что речь идет о двух течениях, в основе которых разные исторические, социально-экономические и политические условия. «Русская революция, — писал он, — указывает пролетариату иной путь к цели: построение социализма путем насилия, открытого, грубого классового господства пролетариата». Если это было одним аспектом проблемы, то другим было то, что «в Западной и Центральной Европе трудящийся класс, следуя по подобному пути, наталкивается на совсем иные, чем в России, препятствия». Отсюда убежденность Бауэра в том, что «констатация принципиальной разницы условий борьбы» должна породить «и другие методы борьбы» при признании того, что использование тех или других методов не мешает вести борьбу «за ту же цель, за социализм»²⁷.

Этого мнения о большевизме, высказанного им на заре Советской власти и столь глубоко отличного от мнения Каутского, Бауэр придерживался до конца своей жизни. Для Каутского демократия — необходимая форма социализма, а огосударствление ни в коей мере нельзя считать «объективным» признаком социализма. Для Бауэра же экономическая и социальная деятельность большевиков имела объективную социалистическую ценность, а диктатура большевистской партии и сталинской верхушки могла, в некоторые моменты и по некоторым аспектам, противоречить социалистическим требованиям, но не была полным отказом от них. Вот почему оценка Бауэром деятельности Сталина отмечена экономическим объективизмом, о котором уже говорилось. Для Бауэра эта деятельность была прогрессивной, а следовательно, и солидарность международного социализма со сталинским Советским Союзом была обязательной. Естественно, он считал сталинский террор вредным злоупотреблением властью, которое противодействовало осуществлению надежд и возможностей демократизации сталинской системы. Для этой демократизации, с одной стороны, важной, а с другой — совершенно неожиданной предпосылкой, по его мнению, была

²⁷ О. Bauer. Bolschewismus oder Sozialdemokratie? Wien, 1920, S. 4—5.

Конституция 1936 года (Бауэр, следовательно, не принадлежал к числу тех, кто усматривал в конституции лишь пропагандистский фасад деспотического режима). Работа, в которой Бауэр чрезвычайно типичным для него образом производит разбор СССР сталинской поры — «Между двумя мировыми войнами? Кризис мировой экономики, демократии и социализма», — является прямой антитезой интерпретациям Каутского и Гильфердинга. Прежде всего необходимо учесть, что идея, выраженная в этом произведении, опирается на следующие тезисы: 1) кризис 1929 года положил начало кризисному периоду, который положит конец экспансии капитализма; 2) капиталистическому кризису противостоит теперь экономический и социальный прогресс СССР, достигнутый благодаря обобществлению средств производства; 3) вследствие первых двух пунктов капитализм не случайно дает развод демократии, о чем в первую очередь свидетельствует приход к власти фашистов; 4) напротив, советское движение вперед создало, наконец, условия для демократического преобразования сталинского режима, жесткий террор которого Бауэр (выступая против его ненужных и вредных перегибов) в конечном счете оправдывает, считая, что он содействовал социалистическому порядку; 5) в случае вполне вероятной мировой войны социалисты должны, безусловно, быть солидарны с СССР; 6) война должна вызвать революцию западного пролетариата и объединение двух крупных ответвлений социализма — европейского и мирового. Вот как уже в своем предисловии Бауэр выражает сущность своей точки зрения: «Строительство социализма в Советском Союзе удалось в гораздо большей степени, чем я ожидал этого в 1931 году. В Центральной же Европе демократия была вынуждена уступить фашизму. Нужно быть просто слепым и не замечать фактов истории, говоря, что оба этих крупных события не повлияли на наши взгляды о пути к социализму»²⁸.

Вся книга построена на противопоставлении капитализма как отрицательного полюса — СССР времен Сталина как положительному полюсу. Положительному еще и потому, что значительностью своих достижений он вынуждает западные рабочие массы «не довольствоваться лишь борьбой за реформу капитализма», а стремиться «начать революционную борьбу за уничтожение капиталистического общества»²⁹. Положительное мнение об СССР и обращенный к западному пролетариату призыв объединить Запад с советским Востоком с помощью революции, тем более во время войны, свя-

²⁸ O. Bauer. Tra due guerre mondiali? La crisi dell'economia mondiale, della democrazia e del socialismo. Torino, 1979, p. 4.

²⁹ Ibid., p. 83.

заны с убеждением в том, что ныне «уже нет ни одной капиталистической страны, в которой, хотя бы потенциально, не существовало возможности» возникновения фашизма (по мере обострения классовой борьбы)³⁰. В свете такого анализа будущая война должна была носить характер борьбы между реакционным империалистическим капитализмом и СССР как оплотом социализма и международной революции, между миром на полном подъеме и миром, переживающим полный упадок: «Если Советский Союз сможет прожить в условиях мира еще несколько лет, то благодаря быстро растущей производительности труда он сможет «догнать и перегнать» по уровню жизни народные массы самых передовых капиталистических стран... Если Советский Союз будет вовлечен в войну, то это неизбежно станет решительной схваткой капитализма с социализмом».

Бауэр поднимается до пророчества о том, что западные державы, в случае победы СССР над нацистской Германией и Японией, которая позволит СССР проникнуть в сердце Европы, не преминут разорвать союзы и обратятся «сразу же после совместно с Советским Союзом завоеванной победы... против него самого»³¹.

Экономическая структура Советского Союза, созданная с помощью модернизирующего ее сталинского планирования, несомненно, была для Бауэра социалистической, а это влияло и на его суждение о политических методах находящихся у власти большевиков вообще и сталинских в частности. Поскольку он считал их исторически прогрессивными, то, говоря о них, проводил сравнение, с одной стороны, с исходной отсталостью России, а с другой — со своим идеалом демократического социализма. Большевистские методы использования власти, как в ленинское, так и в сталинское время, хотя и несли отпечаток прежней отсталости России, не противоречили делу строительства социализма. Поэтому Бауэр отверг тезис Каутского о том, что большевизм почти сразу же переродится в контрреволюционную бонапартистскую власть и в конце концов станет полностью деспотическим и антисоциалистическим режимом, и поддерживал тезис о большевиках — революционных «якобинцах», которые строили в СССР социалистическое будущее, поставленное наконец на современную экономическую основу сталинской системой планирования. Бауэр, как и Каутский, признавал, что власть в России попала в руки диктаторской бюрократии. Разве что эта бюрократия была неизбежным звеном, соединявшим первоначальную социальную отсталость, которой соответствовала

³⁰ Ibid., p. 130.

³¹ Ibid., p. 209—210.

слабость пролетариата как класса, с социалистическим развитием, усилением пролетариата и будущей социалистической демократии, для которой передовая социалистическая экономика готовила почву.

Следует отметить, что если суть трактовки событий в СССР Бауэром схематически выглядела именно так, то он не сочетал ее с концепцией исторической неизбежности. Он как бы сохранял за собой право на «резерв», и это серьезно влияло на ту трактовку, о которой шла речь выше, поскольку в конечном счете он признал справедливость интерпретаций и Каутского, и Гильфердинга. В самом деле, если советскую бюрократию, по мнению Бауэра, и нельзя было определить как господствующий класс нового типа — ни капиталистический, ни социалистический; если в его глазах бюрократия была проводником социалистических преобразований в СССР, все же она была чем-то вроде двуликого Януса, в том смысле, что не исключено было ее перерождение, как и последующее перерождение всей советской системы. Подобное перерождение крылось в опасности, что сталинская власть, вместо того чтобы пойти по пути демократизации, могла повернуть в сторону застоя и заставить таким образом все общество сделать качественный скачок назад. Позднее Бауэр с тревогой наблюдал за усилением сталинского террора, за обострением противоречия между обещанной Конституцией 1936 года демократизацией и репрессивными методами, свидетельствовавшими об обратном. Сам Сталин, таким образом, в глазах Бауэра был двуликим Янусом, который, укрепляя материальные основы советского социализма, был в то же время носителем опасности перерождения. Во всяком случае — и это важно еще раз подчеркнуть, — Бауэр никогда не считал, что сталинская власть не содержит в себе возможностей эволюции в демократическом направлении, и всегда отвергал представление о Сталине как о новом царе.

Бауэр констатирует превращение диктатуры пролетариата, под давлением гражданской войны и нищеты, в диктатуру, которую он не колеблясь определяет как «военно-бюрократическую», превращение диктатуры партии в диктатуру Сталина, подчинившего себе партию, превратив ее «в орган, который слепо подчиняется его воле». Но эти превращения оправданны в свете внутренних драматических событий и необходимости подготовить «достижение далеких целей». Его заключение весьма знаменательно: «Ужасны были жертвы... но и успехи были значительны». И именно эти успехи в экономическом и социальном планах заложили основу расширения диктатуры, а следовательно, подготовили предпосылки для демократизации, зародыш которой сохранялся в продолжение всей драмы, поскольку «большевистская пар-

тийная диктатура всегда содержала элемент демократии внутри себя»³².

Сущность позиции Бауэра в полной мере раскрывает приводимое ниже высказывание, в котором наряду с общим историческим оправданием сталинизма («неизбежный процесс») содержится предупреждение против опасности, которое он в себе несет, если с ним не будет покончено: «Если верно то, что только эта диктатура могла осуществить грандиозные социальные преобразования, то верно также и то, что на стадии развития, к которой советское общество быстро приближается, она станет препятствием для осуществления этого развития»³³.

Условия для демократизации были созданы в результате крупных социальных преобразований, определивших ту культурную эволюцию масс, которая должна была стать основой преодоления бюрократической диктатуры³⁴. Возможности демократического развития как выражения новообретенной культуры масс противостояла другая возможность, а именно что бюрократия попытается закрепить собственную роль, упрочить собственные привилегии господствующего слоя, защитить от масс собственную диктатуру, сделав ее постоянным фактором. В этом случае гипотеза о перерождении могла стать реальностью, а советское общество вступило бы в конфликт с социализмом. Итак, Бауэр догадывался о «чрезвычайно серьезной опасности, то есть опасности укрепления гегемонии бюрократии, не подчинявшейся высшей власти народных масс, которая, будучи тесно связанной с «аристократией» всех социальных слоев и поддерживаемая ею, превратилась бы в постоянного хозяина рабочих и крестьянских масс, управляла бы их средствами производства и могла бы пользоваться плодами их труда. В этом случае великий революционный процесс завершился бы созданием не социалистического общества, а некоего господства технократии, гегемонии инженеров, хозяйственных руководителей и государственной бюрократии»³⁵.

Словом, проблему, которая стояла перед СССР, можно назвать проблемой приспособления одной надстройки к другой. Первоначальная пролетарская демократия пала под ударами партийной и бюрократической «якобинской» диктатуры, в свою очередь превратившейся в диктатуру сталинской верхушки самой партии. Теперь «во второй раз» предстояло выполнить задачу «завоевания демократии», «но уже не на основе капиталистического социального порядка, а на основе социалистического социального порядка». Отвоевание

³² Ibid., p. 139—149.

³³ Ibid., p. 152.

³⁴ Ibid., p. 194.

³⁵ Ibid., p. 154.

демократии в СССР создало бы условия для достижения высшей цели — объединения разрозненных отрядов международного социализма «после столь печального периода раскола» — и открыло бы возможности для «вступления на новый путь»³⁶.

Если работа «Между двумя мировыми войнами?» дает органическое и исчерпывающее представление о понимании Бауэром СССР сталинских времен, то очень интересно это понимание углубляют его комментарии 1935—1937 годов к развязанному Сталиным террору, увенчавшемуся «великими чистками». Бауэр отлично понял, что официальные обвинения в измене, саботаже и т. д., предъявленные большевикам — оппонентам Сталина, были лишь фальшивым прикрытием. Он осудил репрессии как насилие, ибо оно портило впечатление от СССР и дискредитировало социализм. Он понял, что чистки означали укрепление диктатуры сталинской верхушки и лично Сталина. Однако кончил он тем, что отнес все происходившее к области логики (пусть и извращенной) защиты социалистического порядка. Бауэр объяснил признания большинства обвиненных старых большевиков, в прошлом занимавших важные посты при том же режиме, ссылкой на будто бы существовавший между обвиняемыми и обвинителями своего рода дьявольский сговор в защиту социалистического режима. Сговор тех, у кого уже не было иной возможности, как своими признаниями сослужить службу социальному порядку, в создании которого они принимали участие, и тех, кто, оказавшись в тисках собственной диктаторской власти, использовал для защиты этого порядка средства деспотизма, основанного на терроре. Таким образом, Бауэр предложил трактовку, которая впоследствии получила свое литературное выражение в романе Артура Кестлера «Солнечное затмение» (1940). Однако наряду с этим — и об этом уже говорилось выше — Бауэр не переставал верить в подлинность стремлений к демократизации, получивших отражение в новой сталинской Конституции.

После убийства Кирова Бауэр написал в январе 1935 года, что ответный террор сталинской власти направлен «главным образом против членов правящей коммунистической партии» и что это отражает перерождение диктатуры. Диктатура пролетариата в СССР приняла «специфическую форму тоталитарной, монополистической диктатуры коммунистической партии». В свою очередь последнюю раздирала междоусобная борьба между несколькими ведущими фракциями, завершившаяся установлением «диктатуры нескольких человек» и, наконец, «личной диктатурой одного человека»³⁷.

³⁶ Ibid., p. 156, 281, 197—198.

³⁷ O. Bauer. Werkausgabe. Wien, 1980, vol. IX, S. 918—922.

А после процесса и осуждения Зиновьева и Каменева, превознося экономические и социальные завоевания, достигнутые «под руководством Сталина», Бауэр осудил «происшедшее в Москве» как «больше, чем ошибку и больше, чем преступление», как «ужасное несчастье для мирового социализма без различия партий и течений»³⁸.

Чтобы понять позицию Бауэра по отношению к процессам в Москве, необходимо познакомиться с его мнением о главном отсутствовавшем обвиняемом — Троцком. С одной стороны, Бауэр несколько не поверил сделанным как бы мимоходом обвинениям в его адрес как врага, находящегося в сговоре с гестапо, Гитлером и т. д. С другой стороны, он, однако, считал, что позиция Троцкого представляет реальную опасность для Советского Союза. Призыв Троцкого к антибюрократической революции, тем более в связи с войной (Троцкий был убежден, что Сталин приведет Советскую страну к гибели), входил в прямое противоречие с тезисом Бауэра, согласно которому сталинский СССР мог еще пойти по пути демократического развития, а международный пролетариат в случае войны должен был поддерживать не только СССР, но и режим, находящийся у власти. Конечно, рассуждал Бауэр, Троцкий не хочет поражения СССР; несомненно, «субъективно» он не союзник гитлеровской Германии и Японии», как утверждают его обвинители. Однако «объективно», если бы советский народ принял его лозунги, это могло бы привести к падению режима и «реставрации капитализма» в СССР. Основанием IV Интернационала, критикой народных фронтов, своими оценками внутреннего развития СССР Троцкий избрал путь «чуждой действительности, путь сектантской, вредной» критики. И тут, наконец, Бауэр подобрался в конечном счете к объективно оправдательской трактовке чудовищной с беспристрастной точки зрения логики процессов. Советское правительство, утверждал он, намерено всеми средствами «скомпрометировать и уничтожить» Троцкого и противников режима, с тем чтобы ликвидировать «объективный эффект» троцкистской политики. И таким образом, он подошел в конце концов к объяснению признаний как политического факта. Бауэр считал «глупым» верить, что признаний добивались «с помощью физических или моральных пыток».

«Я полагаю, — писал он, — что эти признания следует объяснять иначе. Во время допросов, я думаю, обвиняемым говорили: „Троцкий призывает к новой революции во время войны. Война приближается. Такой разлагающий лозунг во время войны, приносящей массам огромные страдания, может оказаться очень опасным. Мы должны спасти Россию, ре-

³⁸ Ibid., Wien, 1979, vol. VII, S. 780.

волюцию, социализм от этой опасности. Поэтому мы должны морально уничтожить Троцкого в глазах масс. Это можете сделать только вы, бывшие троцкисты. Вы должны признать, что по инструкции Троцкого начали саботаж и шпионскую деятельность, защищали дело фашизма, продавали советские земли врагу, хотели реставрировать капитализм в Советском Союзе. Именно такой жертвы — пожертвования собственной свободой, собственной жизнью и собственной честью — требует от вас партия”».

Словом, если подобное объяснение — единственное, что могло «спасти честь старой большевистской партии, партии Ленина», то остается фактом, заключал Бауэр, что «эти процессы невероятно скомпрометировали Советский Союз и навредили ему»³⁹.

5. Троцкий: сталинизм как измена делу революции

Среди интерпретаций марксистов-антисталинцев, которых мы здесь разделяем на большие представительные группы, интерпретация Троцкого занимает позицию, которую можно назвать «центристской». Если для «правых» и «левых» трактовок характерно общее отрицание социалистической природы СССР времен Сталина, центр тяжести толкования Троцкого состоит в утверждении, что СССР под властью Сталина не перестает быть социалистическим государством в силу наследия, представляющего собой структурные экономические и социальные преобразования, осуществленные Советской властью при Ленине и качественно не перечеркнутые Сталиным. Но в отношении надстройки и форм политического управления Сталин допустил столь серьезные извращения, что они стали настоящей «изменой» целям пролетарской революции и требованиям политического порядка и учредительных норм социализма. Отсюда вывод, что сущность сталинизма заключается в возникновении все растущего противоречия между экономической структурой СССР и надстройкой. Поэтому, по мнению Троцкого, чтобы снять это противоречие, нужна политическая революция против сталинского аппарата власти.

Здесь можно заметить вовсе не второстепенные аналогии между точками зрения Троцкого и Бауэра. Оба они воспротивились оценке типа той, которая была дана и Каутским, и Гильфердингом, и вообще всеми кто отрицал социалистическую природу СССР; и оба построили свой анализ на противоречии между базисом и надстройкой. Но на этом их сходство кончалось. В самом деле, по Бауэру, противоречие

³⁹ Ibid., S. 549—558.

можно было устранить с помощью внутренней эволюции Советской власти, тогда как по Троцкому оно вело к непримиримому противопоставлению сталинской власти и пролетариата, деспотизма и советской демократии, социалистического базиса и бюрократической надстройки. Для Бауэра сталинская бюрократия хотя и могла в будущем стать антитезой пролетариату, но она продолжала оставаться прогрессивной руководящей элитой, несмотря на свое перерождение в сторону деспотизма. Для Троцкого, напротив, бюрократия приобрела черты господствующей, угнетающей группы, чья власть может быть сметена только революционным путем.

После сказанного выше важно подчеркнуть, что хотя в теоретическом плане оценка СССР сталинской поры Троцким равноценна, так сказать, другим и поэтому ее следует оценивать в соответствии с ее внутренней логикой и убедительностью остается фактом, что ее следует рассматривать и под другим углом зрения. Позиция Троцкого — это позиция великого (второго после Ленина) творца Октябрьской революции, выдающегося (второго после Ленина) деятеля советского режима первых лет его существования, главного противника Сталина. В этом смысле трактовка Троцкого имеет единственную в своем роде ценность и значение.

Истоки борьбы, которую Троцкий вел против власти Сталина, восходят еще к концу 1923 года, когда он (это было незадолго до смерти Ленина, который вышел из политической игры), выражая беспокойство, которым был омрачен последний период политической жизни вождя большевизма, предупредил об опасности бюрократического перерождения власти, которая крылась в изоляции новой бюрократии от масс, в ее высокомерной самонадеянности, в излишней централизации власти и, наконец, в ошибочном ответе на вопросы, поставленные русской социальной отсталостью. Этому процессу перерождения Троцкий требовал противопоставить восстановление пролетарской демократии, начав с расширения демократии внутри партии. Таков был политический смысл его работ, опубликованных позднее под красноречивым заголовком «Новый курс». Троцкий ни в коей мере не собирався ставить под вопрос диктатуру партии как движитель диктатуры пролетариата, но он требовал диктатуры менее замкнутой, более открытой общению с другими социальными силами, партии, более диалектической и плюралистической в своей внутренней структуре. Главным в обновлении партии должна была стать для него ее открытость для молодежи, на практике менее связанной с ритуалами «старого ленинизма» (легенду о котором Ленин сам критиковал и политически разгромил в 1917 году), который Троцкий осудил в своей работе «Уроки Октября» (октябрь 1924 года). В то же время Троцкий призывал к быстрой индустриализации

страны, которую считал необходимым условием для воспрепятствования инволюции власти и одновременно (речь шла о воплощении схемы перманентной революции в особых условиях СССР в начале 20-х годов) выражением интернационалистской и революционной политики, которая разорвет изоляцию Советской страны. Словом, можно сказать, что в те годы Троцкий не требовал другой системы власти; он требовал лишь ее обновления, большего динамизма и гибкости.

Политически Троцкий был разгромлен своими противниками — Зиновьевым, Каменевым и Сталиным, — которые раскритиковали его тезисы как возрождавшие старый «троцкизм», которому противостоял истинный «ленинизм». Бухарин также был в первых рядах критиков Троцкого. Но именно Сталин создал прочную защиту против Троцкого, отвергнув его обвинения в бюрократическом перерождении и настаивая на возможности построения социализма в одном Советском Союзе. В самом деле, поражение Троцкого между 1924 и 1927 годами определялось двумя стабилизациями — капитализма на Западе и бюрократической власти в СССР. Бесконечные призывы Троцкого к партии стать инициатором собственного обновления были тщетны, так как создалась обстановка, при которой Сталин все больше усиливал контроль над партией и при которой в СССР хотя и сохранялись потребности в демократии, но в системе диктатуры одной-единственной партии не было основы для ее конкретного и широкого возрождения.

Линия, выражавшаяся Троцким в 1923—1924 годах, уже тогда выдвигала на первый план следующие главные проблемы, которыми он занялся позднее, после своего полного политического поражения внутри руководящей советской группы, его отстранения от власти и ссылки: бюрократизация партии и государства; связь между внутренним развитием СССР и перспективами международной революции. Троцкий уже тогда был одержим идеей, что усиление изоляции СССР приведет к еще большему перерождению его политической системы. И все же, даже если проблематика осталась в целом прежней, следует отметить, что между Троцким, который борется еще внутри системы Советской власти, и Троцким, чуждым ей и изгнанным ею, имеется существенная качественная разница. В самом деле, вначале он борется внутри Советского государства за эволюцию, если угодно реформистского типа. Позднее же, напротив, он борется извне против сталинской системы, которую считает не поддающейся изменению и которую следует поэтому уничтожить революционным путем. Изменение перспективы шло одновременно с изменением взгляда на роль бюрократии. На первой фазе он считал ее опасной тем, что она может способствовать перерождению Советской власти, а на второй —

что она может закрепить довершение перерождения Советской власти вследствие ее сталинизации.

Это второе теоретическо-политическое положение было выработано между концом 20-х и серединой 30-х годов. Несомненно, что Троцкий истолковал собственное поражение как важное не только практически, но и теоретически — проявление процесса перерождения системы. Суть этого проявления стала органической темой двух его работ — «Перманентная революция» и «Преданная революция». Можно сказать, что ключ к позиции Троцкого — в убеждении, что, коль скоро революция не стала перманентной и международной, ей на роду было написано стать жертвой предательства Сталина, его последователей и бюрократии, которая считала Сталина своей опорой и основой своей власти.

Следует отметить, что в объяснении Троцким становления сталинской власти главный акцент — в соответствии с основными положениями его теории перманентной революции — делался на международное положение как СССР, так и других стран. Троцкому непонятно поражение оппозиции Сталину без введения такой причины, как поражение международной революции, которое сыграло решающую роль в укреплении власти бюрократии; равно как нельзя понять поражения международной революции, не обвиняя бюрократию в антиинтернационалистской политике. Впоследствии Троцкий начал борьбу против Сталина, разработав стратегию, с помощью которой он попытался вовлечь в нее весь революционный мир. Эту теоретическую схему Троцкий довольно четко сформулировал в 1928 году, когда заявил, что причины нанесенного Сталиным поражения оппозиции следует искать в «усилении экономического и политического давления бюрократических и мелкобуржуазных кругов внутри страны на фоне поражения пролетарских революций в Европе и Азии»⁴⁰. Возникновение политического деспотизма Сталина, таким образом, следовало оценивать с учетом международной обстановки. Необходимо, однако, подчеркнуть, что Троцкий никоим образом не соглашался с объяснением перерождения Сталина и поражения международной революции с объективистских позиций, так как это прямо противоречило бы его убеждению, что его историческая эпоха была эпохой пролетарских революций в международном масштабе. Поэтому он настаивал на необходимости связать объективные противодействия подъему революции с задачами восстановления подлинно революционного действия. Так что пережитые поражения он истолковал в свете субъективной неспособности, которую следует преодолеть и повернуть

⁴⁰ *L. Trotsky. La Terza Internazionale dopo Lenin. Milano, 1959, p. 179.*

в обратную сторону, возвратив реальной истории преданные потенциальные возможности мировой революции. Словом, Троцкий не случайно считал поражение революции в Китае в 1927 году, приход к власти нацизма в Германии, испанскую катастрофу, спад революционного подъема во Франции после 1936 года результатами в конечном счете отсутствия революционного руководства, блокированного сталинской бюрократией. Теоретическая база такого подхода Троцкого «классически» изложена в его тезисах 1929 года о перманентной революции. «Теория построения социализма в одной стране, произросшая на навозе реакции против Октября, — писал Троцкий, — это единственная теория, которая последовательно противостоит теории перманентной революции... Отказ от постановки проблемы в международном масштабе неизбежно ведет к национальному мессианству... Теория Сталина и Бухарина... изолирует также национальную революцию от международной революции... Теория национального социализма приводит к деградации Коммунистического Интернационала, который становится вспомогательным орудием в борьбе против вооруженного вмешательства».

В условиях политики, неспособной содействовать развитию международной революции, а также в силу мировой экономической взаимозависимости «строительство автономного и изолированного социалистического общества» «невозможно в любой части мира», тем более в такой отсталой стране, как СССР⁴¹.

В книге «Преданная революция», опубликованной в 1936 году, Троцкий охарактеризовал историческое развитие СССР, разделив его на начальную фазу (Октябрь и первые годы Советской власти), которая проходила под знаком самой прогрессивной в истории революции, и на вторую фазу, которая, по его мнению, проходила под знаком зарождения и наступления «Термидора». В сущности (и именно здесь ключ к позиции Троцкого), обе эти фазы противоречили одна другой: ни в коем случае нельзя заключать, что вторая — результат первой. Вот почему в итоге для объяснения взаимодействия обеих фаз Троцкий делает упор на искажении линии, на отклонении, перерождении, предательстве. Предательство (и в этом другая особенность Троцкого) тем более серьезно, что ограничено сферой надстройки. Именно благодаря этому Сталину удалось обмануть пролетариат.

Ирония истории состоит в том, что, анализируя «обратное движение, которое советская бюрократия и Сталин придали пролетарско-демократическим идеалам Октября», Троцкий употреблял слова, аналогичные словам Каутского, с той

⁴¹ L. Trotsky. La rivoluzione permanente. Torino, 1967, p. 128.

лишь разницей, что Каутский употреблял это понятие, говоря о деятельности Ленина и Троцкого.

«Какую бы интерпретацию сущности Советского государства ни давали, одно бесспорно: в конце своего первого 20-летия оно далеко от того, чтобы считаться «отмирающим», да оно и не начинало отмирать; хуже того, оно стало беспрецедентным в истории аппаратом принуждения. Бюрократия и не мыслящая исчезать превратилась в бесконтрольную силу, которая правит массами; армия, которую вовсе не собираются заменять вооруженным народом, создала касту привилегированных офицеров»⁴².

Вновь и вновь подчеркивая обусловленность возникновения сталинизма социальной и культурной отсталостью страны и поражением революции в международном масштабе, Троцкий не мог заострять внимания на роли этих элементов настолько, чтобы они стали основанием для оправдания исторической необходимости сталинизма. Напротив, для Троцкого сталинизм был субъективно ошибочным ответом на объективные вопросы, и именно в этой установке — корни его борьбы со Сталиным. Для него то, что он называл «полицейской монолитностью партии» Сталина⁴³, было типичным примером совсем не обязательного перерождения, а также неверным решением вопроса о политическом руководстве отсталым советским обществом с его объективным тяготением к бюрократизму. Именно по причине, с одной стороны, ошибочного субъективизма, а с другой, принятия им формы бюрократической власти сталинизм открывал путь «предательству». Пределы предательства, однако, определялись тем фактом, что политический деспотизм не повлек за собой изменения экономических основ, заложенных революцией и ленинской властью.

Относительно природы пролетарского государства в сталинском СССР у Троцкого сомнений не было. Он также считал, что бюрократия, конечно же, «политически экспроприировала пролетариат». Но это не приводило к превращению ее в господствующий класс, потому что для этого ей пришлось бы изменить социальные основы режима, которые продолжали оставаться завоеванием революции. Так что роль бюрократии состояла в том, чтобы «защищать своими методами социальные завоевания пролетариата». При такой постановке вопроса совершенно очевидно, что для Троцкого проблема заключалась в изменении методов политического управления путем овладения (также и политического) ими пролетариатом. Причем речь ни в коем случае не шла о социальной революции, а о глубоких экономических реформах.

Словом, что же такое советская бюрократия сталинских

⁴² L. Trotsky. La rivoluzione tradita. Milano, 1956, p. 67.

⁴³ Ibid., p. 107.

времен? Исходя из непреложного для него положения о том, что о существовании господствующего класса, противостоящего всем прочим общественным классам, можно говорить только тогда, когда этот класс обладает собственностью на средства производства, Троцкий заключает, что бюрократия не может быть классом, так как она не имеет собственности. Однако бюрократия господствует политически и пользуется всевозможными привилегиями. Для Троцкого она «прослойка», господствующая каста, а не господствующий класс типа буржуазии. Советская экономическая и социальная система не может быть названа и «государственным капитализмом», поскольку под таковым понимается «положение, при котором буржуазное государство берет на себя управление транспортными средствами и некоторыми промышленными предприятиями», но без такого решающего элемента, как «экспроприация класса капиталистов», что, однако, продолжает лежать в основе советского режима. Словом, Троцкий следующим образом объясняет причины, по которым советская система не может быть подведена под категорию «государственного капитализма», а бюрократия названа господствующим классом: «Бюрократия не создала социальной основы для своего господства в виде особых форм собственности. Она обязана защищать собственность государства, источник ее власти и доходов. Из-за этого аспекта своей деятельности она остается орудием диктатуры пролетариата. Попытки представить советскую бюрократию как «государственный капиталистический класс» явно не выдерживают критики. У бюрократии нет ни документов на владение, ни акций. Она набирается, комплектуется и обновляется благодаря административной иерархии, не имея особых прав собственности. Служащий не может передать своим наследникам право эксплуатировать государство. Его привилегии — это злоупотребления».

Итак, бюрократия все же «предала» революцию, но не «опрокинула» «системы общественных отношений», созданных этой революцией.

Несмотря на это, Троцкий, однако, не исключает, что бюрократия от измены может перейти к уничтожению результатов революции одним из двух следующих способов: 1) открыто выступив с контрреволюционной инициативой, с тем чтобы в конце концов стать «новым имущим классом»; 2) или же через посредство выступления некой контрреволюционной буржуазной партии, питательной средой чего явится та губительная дискредитация социализма, к которой привело господство бюрократии, называемой Троцким «термидорианской», или «бонапартистской», «кастой». Этим двум гипотезам противостоит третья: гипотеза о ниспровержении бюрократии революционным пролетариатом.

В заключение заметим, что СССР сталинских времен для Троцкого — это «общество, промежуточное между капиталистическим и социалистическим». Сталинизм в этом обществе представляет собой тенденцию к укреплению бюрократии и в конечном счете создает предпосылки для ликвидации революции и порожденной ею общественной системы. Ленинская же революционная оппозиция сталинизму представляет собой тенденцию к восстановлению советской демократии, а значит, и к восстановлению равновесия между надстройкой, сущность которой была извращена бюрократией, и социалистической экономической основой. «Окончательно вопрос будет решен, — заключает Троцкий, — борьбой между двумя живыми силами, существующими внутри страны и на международной арене»⁴⁴.

Весь анализ Троцким сталинского СССР основан на предпосылке, что существующий в стране режим является переходным с исторической точки зрения. В «Преданной революции» он даже не рассматривает гипотезы (со всеми ее теоретическими и практическими последствиями) о том, что режим этого типа может, напротив, оказаться стабильным. Следовательно, для Троцкого проблема состоит в том, чтобы выработать и провести в жизнь стратегическую линию, направленную на то, чтобы эта переходность обернулась корректировкой революционного курса. Он не выказал ни малейшего доверия сталинской Конституции, которую определил как «основанный на плебисците бонапартизм» и «венец системы»: последнее определение прекрасно соответствовало личной роли Сталина.

Стало быть, личную роль Сталина Троцкий считал логичной для системы, при которой у власти была бюрократия.

«Все более бессовестное обожествление Сталина... необходимо режиму. Бюрократии нужен высший, неприкосновенный судья, первый консул, раз нет императора... Сталин — олицетворение бюрократии, и именно это составляет суть его политической фигуры... Бонапартизм был одним из орудий капиталистического режима в критические для него моменты. Сталинизм — его разновидность, но на фоне рабочего государства, раздираемого антагонизмом между организованной и вооруженной советской бюрократией и безоружными трудящимися массами»⁴⁵.

Нет никакой надежды на демократизацию путем эволюции этого подобия бонапартистскому режиму. Необходима и неизбежна политическая революция угнетенного пролетариата против новых бонапартистов. Каковы же цели антисталинской революции? Называя их, Троцкий вводит весьма

⁴⁴ Ibid., p. 206—213.

⁴⁵ Ibid., p. 230.

важный и значительный элемент, который свидетельствует об основательном критическом пересмотре им своего прошлого как большевистского вождя, находившегося у власти. Ибо теперь он сознает, что политическая монополия большевиков привела в упадок систему власти: речь идет не только о свободе пролетариата как класса и о большей демократии внутри партии, но и о «восстановлении свободного существования советских партий». Наряду с таким серьезным изменением политического режима важно, чтобы демократия позволила осуществлять экономические планы, составленные небюрократическим путем, при сохранении, с одной стороны, позитивного ядра сталинского планирования, но при изменении форм и правил их исполнения — с другой. Вот важное высказывание о целях антисталинской революции: «Речь идет не о том, чтобы заменить одну правящую клику другой а об изменении самих методов руководства экономикой и культурой. Бюрократический произвол должен уступить место советской демократии. Восстановление свободы советских партий, начиная с большевистской партии; сюда же входит и возрождение профсоюзов. Демократия принесет с собой в экономику радикальный пересмотр планов в интересах трудящихся... Внешняя политика вновь обратится к традициям революционного интернационализма».

Что же явится импульсом к возникновению условий для революционного пробуждения СССР? Альтернатив две: если советская бюрократия увлечет международное рабочее движение на путь «реакции», тогда в СССР «на повестке дня окажется скорее буржуазная контрреволюция, чем восстание рабочих против бюрократии»; если же на Западе пролетариат «откроет себе дорогу к власти», тогда в русском пролетариате возродится дух 1905 и 1917 годов и пробьет последний час бюрократии⁴⁶. Теперь Троцкий отводил Западу по отношению к СССР роль революционного бикфордова шнура, которую в 1917 году большевики отводили большевистской России по отношению к Западу. В сущности, он приравнивал антисталинскую революцию к устранению господства бюрократии, которая ниспровергла ленинский пролетарский режим.

Следовательно, абсолютно ясно и очевидно, что Троцкий отвергал интерпретацию сталинизма как преемника ленинизма. И все же один вопрос никак нельзя обойти, а именно вопрос об истоках тоталитарной сталинской власти, которые следует искать в Советской власти ленинского периода. Разве сам Троцкий не начал вести борьбу с бюрократией уже в конце 1923 года? Он хорошо знал, какую роль Ленин и он сам сыграли в подавлении той самой «свободы советских партий», к восстановлению которой он призывал в 1936 году

⁴⁶ Ibid., p. 238—239.

как к спасительному средству. Для решения вопроса Троцкий прибег к законам диалектики: Сталин-де превратил количество в качество, но, добившись этого качества, «в силу необходимости, поставил это себе в заслугу», что, в общем, сделало стабильным режим, который должен был быть по характеру переходным. Во всяком случае, это чрезвычайно слабое объяснение; однако его очень часто подхватывали историки высокого класса (взять хотя бы Дойчера).

«Партия, — писал Троцкий, — вначале хотела и надеялась сохранить в рамках Советов свободу политической борьбы. Гражданская война внесла свои суровые коррективы. Оппозиционные партии одна за другой были уничтожены. Вожди большевизма видели в этих мерах, явно противоречивших духу советской демократии, не принципиальные решения, а временную необходимость оборонительного свойства»⁴⁷.

Сталинский «тоталитаризм» как раз явился переходом от исключения к правилу, от вынужденного отказа от принципов к принятию на вооружение новых, органически чуждых советской демократии принципов.

В работе Троцкого, специально посвященной Сталину, эта версия занимает центральное место, впрочем, не без значительных противоречий и отклонений от нее. Сталин выведен здесь как человек, который направил процесс «централизации» и выхолащивания сущности Советов, и без того находившийся в довольно «продвинутой» стадии в 1919 году, в русло «развития в сторону абсолютной личной власти»⁴⁸. В общем, Троцкий настаивал на том, что никоим образом не следует делать вывод, будто сталинизм имелся «потенциально в готовом виде в большевистском централизме» (и здесь Троцкий — большевик-ленинец отрекается от Троцкого — меньшевика периода работы «Наши политические задачи» (1904), в которой он предрекал, что большевизм превратится в деспотию)⁴⁹. И все же, отрицая тезис о преемственности сталинизма и большевистского централизма, с одной стороны, Троцкий открывал дорогу ему с другой. В самом деле, он писал, что после уничтожения советской демократии в 1919 году, «в соответствии с законом государства, руководимого единственной партией», «в большевистской партии» пробила себе дорогу «тенденция к „централизации“», которая была, «безусловно, предвестницей тоталитаризма», так что «сейчас не просто провести историческую границу между демократическим централизмом большевистской партии и тоталитаризмом, который был им порожден»⁵⁰.

⁴⁷ Ibid., p. 101—102.

⁴⁸ „Stalin“. Milano, 1962, p. 381.

⁴⁹ Ibid., p. 65.

⁵⁰ Ibid., p. 377.

По мнению Троцкого, сталинизм был результатом отклонения от большевизма как революционной концепции; однако исторически он был связан со становлением партии и имел глубокие социальные корни. Чтобы выделиться и взять власть в свои руки, Сталин «воспользовался не своими личными качествами, а механизмом, который не он сам создал, а который создал его». Сталину удалось привести в исполнение свой план, когда партийная «машина», «рожденная, чтобы заставить торжествовать» некоторые «идеи», превратилась в «самоцель» и «разорвала пуповину», связывавшую ее с идеями⁵¹. Процесс упадка партии, на котором Сталин построил свой приход к власти, согласно Троцкому, начался уже в 1919 году, но получил бурное развитие в 1923 году (что по времени совпадает с началом борьбы Троцкого с бюрократией), когда партия взяла на себя роль «покровителя бюрократии», пока не превратилась в «разрушителя большевизма», «формально, однако, не порывая с большевистской традицией». Она могла с успехом делать это, пользуясь слабостью рабочего класса, дальнейшим усилением бюрократии, обстановкой, созданной нэпом, которая пробуждала в людях стремление к миру и нормализации, к несогласию терпеть дальше революционные лишения, к общему сопротивлению «перманентной революции»⁵².

Троцкий без колебаний определил сталинский режим как тоталитарный, а следовательно, как режим, который можно отнести к режимам типа фашистского. Но следует подчеркнуть, что для Троцкого тоталитаризму были внутренне свойственны исключительность и черты переходного режима. Сталинизм был исключительной формой в рамках развития социализма, равно как фашизм был исключительной по характеру реакцией на специфический социальный кризис в капиталистическом мире. «Тоталитарный режим, — писал Троцкий, — и сталинского, и фашистского типа по самой своей природе может быть лишь переходным режимом». Отсюда отсутствие в нем «стабильности»⁵³. Этот анализ, проведенный Троцким в таком ключе в сентябре 1939 года, полностью отвечал его идее о том, что сталинизм будет опрокинут пролетарской революцией. Точно так же гипотеза о фашизме как о стабильной форме власти скомпрометировала бы более общую идею о перманентной революции и ее новом подъеме. Поддерживая тезис о «переходности», он одновременно опровергал мнение тех, кто считал, будто СССР Сталина представляет собой теперь не «переродившееся рабочее государство», а некое новое образование, управляемое бюрократией,

⁵¹ Ibid., p. XI.

⁵² Ibid., p. 421—422, 440.

⁵³ L. Trotsky. *La Terza Internazionale dopo Lenin*, cit., p. 311.

которое нельзя назвать ни капиталистическим, ни социалистическим.

Весьма любопытно отметить, что Троцкий даже в конце жизни не отказался от рассмотрения гипотезы, которая могла бы свести на нет не только всю его борьбу со сталинизмом, но и его деятельность как революционера. Эта гипотеза о том, что советский тоталитаризм мог бы оказаться стабильным режимом и что пролетариату не удалось бы осуществить антикапиталистическую революцию на Западе и антисталинскую в СССР. В таком случае, утверждал Троцкий, пришлось бы сделать вывод, что революционный марксизм отправлен историей в царство утопии. Троцкий открыто утверждал, что, по его мнению, гипотеза такого рода останется в сфере умозрительных построений, но он сам — и это свидетельствует о величии его беспокойного интеллекта — не только не отказался принять ее в расчет, но и сформулировал в связи с ней точный ответ. Поступив таким образом, он доказал, что действительно является теоретиком крупного масштаба, интеллектуалом высокого уровня, ибо для политического деятеля его класса не было ничего труднее, чем выставить на суд истории все свое прошлое и самый его смысл.

Когда разразилась вторая мировая война, Троцкий почувствовал, что, с одной стороны, узлы начали затягиваться, а с другой, наоборот, ослабевать. Война стала в его глазах высшим, а в некотором смысле решающим испытанием природы сталинизма, проверки его антисталинской стратегии, характера пролетариата в свете проблем всемирной истории. Его линия была ясна. Он четко предсказал в сентябре 1939 года, что Гитлер нападает на СССР и, если победит на западном фронте, нанесет поражение внешнеполитической линии Сталина. Он поддержал национализацию средств производства на территориях, аннексированных СССР на основе пактов с Гитлером, хотя и проведенную «военно-бюрократическими методами»⁵⁴. Но, пребывая в убеждении, что в случае нацистского нападения на СССР бюрократия будет не в состоянии эффективно руководить военными действиями, он противопоставил обороне, которая будет вестись под знаменем патриотизма и сталинизма, стратегию, направленную на подготовку революции против Сталина, с тем чтобы повести революционную и международную войну, которая сольется с революционными и международными выступлениями западного пролетариата. Именно здесь он не отступил перед наиболее щекотливой гипотезой: что произойдет, если пролетариат в СССР не свергнет Сталина, а западный пролетариат будет ввергнут в войну, не подняв революции против капи-

⁵⁴ Ibid., p. 317.

тализма? Вот каким образом Троцкий объяснил, с одной стороны, значение испытания-проверки войной, а с другой, значение возможного поражения пролетариата, а значит, вообще марксизма как революционного учения и, в частности, своего анализа сталинизма как исключительного режима:

«Вторая империалистическая война ставит неразрешенные задачи на более высокий исторический уровень. Война — это новое испытание не только прочности существующих режимов, но и испытание способности пролетариата свергнуть их. Результаты этого испытания, несомненно, будут иметь решающее значение для нашей оценки современной эпохи как эпохи пролетарской революции. Если против всех ожиданий Октябрьская революция, во время текущей войны или сразу после, не распространится на какую-либо развитую страну или если, напротив, пролетариат будет отброшен назад на всех фронтах, тогда нам, несомненно, придется поставить вопрос о пересмотре нашей концепции данной эпохи и движущих ее сил»⁵⁵.

Среди главных последствий, которые Троцкий выделял в случае провала международной революции в связи с войной, были: первое (самого общего плана) — необходимость признать «прирожденную неспособность пролетариата стать правящим классом»; второе — относительно СССР придется признать, что сталинский режим представлял собой не «отвратительное извращение в процессе преобразования буржуазного общества в социалистическое», а «первую фазу нового эксплуататорского общества» (отсюда, следовательно, несостоятельность формулы о том, что сталинский СССР — «переродившееся рабочее государство»); третье — «не останется ничего иного, как признать, что социалистическая программа, ждущаяся на внутренних противоречиях капиталистического общества, оказалась утопией». И тогда Троцкий, не мысливший свободы и цивилизации вне рамок социализма, был вынужден заключить, что в этом случае судьба человечества — пребывать в состоянии «варварства»: оно превратится в «бюрократическое тоталитарное общество», населенное «рабами» и их хозяевами, в котором неисправным мятежникам нет другого пути, кроме как бороться в защиту рабов на основе «новой программы „минимум“» (явное выражение отчаянного морального бунта)⁵⁶.

6. Серж: тоталитарное перерождение

«Преданная революция» Троцкого вышла в 1936 году. В 1937 году была опубликована «Судьба одной революции.

⁵⁵ Ibid., p. 311—312.

⁵⁶ Ibid., p. 306—307, 309.

СССР 1917—1936» Виктора Сержа. Это значительная работа, которой уделялось слишком мало внимания, хотя она дает наиболее острый, богатый и продуманный анализ СССР времен Сталина из всех появившихся во второй половине 30-х годов. По основным направлениям трактовки эта книга очень близка к работам Троцкого, однако по ряду других, как мы увидим ниже, отходит от них. Серж был одной из наиболее значительных политических и интеллектуальных фигур коммунизма антисталинского направления. Это был писатель независимого склада ума, написавший данную работу после длительного личного знакомства (с 1918 по 1935 год) с историей развития СССР, вначале в качестве представителя интеллектуальной большевистской элиты, находившейся у власти, потом оппозиционера-троцкиста и, наконец, после ареста в 1933 году, в качестве жертвы сталинизма и ссыльного (был освобожден в 1935 году и вернулся во Францию). Его политическая судьба описана в автобиографическом эссе «Воспоминания революционера (1901—1941)», представляющем собой шедевр политической мемуаристики века.

«Судьба одной революции», несомненно, первый глубокий анализ советского общества сталинского периода. Оригинальность и значительность этой работы заключается в богатстве рассуждений, посвященных описанию и оценке того, что мы могли бы назвать «условиями человеческого существования», созданными Сталиным в СССР, — рассуждений в строгих рамках глубокого историко-политического повествования. Советское общество, как его описывает Серж на страницах своей книги, — это общество, в котором отношения между людьми развиваются в направлении, все более отдаляющем его от первоначальных «ценностей» Октябрьской революции. Это — находящееся в развитии общество неравных, в котором положение слабых противоположно положению сильных. Слои слабых поражены такими пороками, как алкоголизм, воровство, проституция; это материально нищие слои. Огромные массы молодых людей ведут жестокую борьбу за существование. Школа стала центром военизации и доносительства. Такие меры, как запрет аборт, а также препятствия, чинимые при разводах, говорят о восстановлении традиционной роли семьи, чтобы поставить ее на службу политике режима. Растущее в среде рабочего класса неравенство в оплате опрокинуло первоначальные тенденции революции, создав конкуренцию, порождающую погоню за жалкими привилегиями, что свидетельствует о морали капиталистического типа. Политика в отношении профсоюзов ведет к упразднению последних остатков рабочей демократии. Как в промышленности, так и в сельском хозяйстве господствует режим неравенства, не имеющий ни малейшего отношения к целям социализма. В целом массы принуждены жить в бедности и

под безжалостным контролем со стороны государства. Наиболее показательным выражением этого контроля было восстановление паспортной системы, учрежденной царским самодержавием, затем упраздненной революцией и вновь введенной в 1932 году. В общем, для социальных и политических отношений сталинского общества, по мнению Сержа, было характерно полное искажение сущности и целей революции Ленина и Троцкого. Серж говорит о «государстве-тюрьме», которое «не имеет ничего общего» с государством рабочей демократии и является «порождением торжествующих бюрократов»⁵⁷, для упрочения собственной системы власти создавших подлинную концлагерную «вселенную» (о которой Серж дает подробные и точные сведения). Для характеристики сталинского государства Серж не колеблясь постоянно употребляет выражение «тоталитарное государство».

Основные направления интерпретации Сержа в его книге 1937 года очень близки интерпретации Троцкого. И по его мнению, Сталин извратил дело Ленина, и причины этого извращения в основном те же, на которые указывает Троцкий. Господствующую бюрократию он называет «кастой или классом выскочек»⁵⁸. Другая его главная мысль, аналогичная мысли Троцкого, состояла в том, что, с одной стороны, сталинским учреждениям недостает необходимой «гибкости», чтобы можно было поверить в их преобразование путем эволюции, и, следовательно, с другой, необходима революция против сталинизма, которая позволит рабочим «все отвоевать ценой новых битв» при одновременном «пробуждении» рабочего класса Запада⁵⁹. Что касается центральной темы — об исторической роли сталинской бюрократии, — то Серж и здесь следует за Троцким. Он соглашается с тем, что бюрократия не изменила социалистической основы экономики, утвердившейся благодаря национализации средств производства, и ввела в обиход экономическое планирование. Но Серж в конце концов расходится с Троцким по важному вопросу, касающемуся гипотез развития в условиях измены сталинской бюрократии. Троцкий, замечает Серж, думает, что предательство, если зайдет слишком далеко, приведет к контрреволюции в системе собственности; между тем вполне возможно, что бюрократия использует именно национализацию как постоянное средство эксплуатации нового типа. Таким образом, Серж порывал с экономистским суеверием, в плену которого находился Троцкий в 1936 году, когда говорил об «объективно» социалистическом характере национализации средств производства.

⁵⁷ V. Serge. *Destin d'une révolution. URSS 1917—1936*. Paris, 1937, p. 111.

⁵⁸ *Ibid.*, p. 185.

⁵⁹ *Ibid.*, p. 311—324.

«Обобществление средств производства столь великолепно отвечает нуждам коллективности, — пишет Серж, — что, кажется, поэтому реставрации капитализма не предвидится. Советский Термидор осуществился на основе коллективной собственности. Троцкий полагает, что бюрократия (если ее господство будет продолжаться, не встречая сопротивления) не преминет изменить режим собственности в свою пользу. Другая гипотеза, в той же степени вызывающая тревогу, кажется мне более приемлемой: руководители режима, ища поддержки у иностранной буржуазии, смогли бы договориться о совместной эксплуатации рабочей силы. Заплатив таким образом дань международному капитализму, бюрократия гарантировала бы себе прекрасных союзников, мир и возможность победы в случае войны; коллективная собственность на средства производства была бы сохранена, а капиталистическая эксплуатация (косвенная) была бы восстановлена и применялась бы шире, чем государственная»⁶⁰.

Уже за несколько лет до написания своей обстоятельной работы 1937 года Серж негодуя и красноречиво указывал на возникновение в лице сталинского государства такого типа государства, который в корне отменял все надежды Октября и порождал дотоле невиданное и абсолютно деспотическое государство. В 1933 году он говорил о «тоталитарном, кастовом, абсолютистском, опьяненно собственным могуществом государстве, для которого человек ничего не значит». Однако речь шла о деспотии, которую нельзя было подвести ни под одну из дотоле существовавших моделей. Ибо она опиралась на «столь прочную концентрацию экономической и политической власти», перед лицом которой человек не представлял никакой ценности; в расчет принимались только «крупные числа».

«Этот режим находится в абсолютном противоречии со всем тем, о чем говорили, заявляли, чего желали и о чем думали во время революции. Достаточно напомнить об идее Ленина создать государство-коммуну, великую рабочую демократию, демократию не на бумаге, а на деле, которой должна была стать система Советов. Этот режим проявляет себя все более жестко»⁶¹.

С течением времени, в середине 40-х годов, у Сержа исчезли сомнения относительно сущности советской системы, сформированной сталинизмом. СССР, как ему теперь казалось, окончательно стал походить на тоталитарный режим, ничего общего не имеющий с социализмом, зато имеющий много общего с фашистским тоталитаризмом. Субъективно продолжая защищать Ленина и Троцкого («они заслуживали

⁶⁰ Ibid., p. 323.

⁶¹ V. Serge. La crisi del sistema sovietico. Milano, 1976, p. 40.

доверия»), он обнаружил ростки сталинизма еще в годы их правления, когда после «основания ЧК» они вдохнули жизнь в «настоящую инквизицию» и, «сделав профсоюзы и кооперативы государственными», «разоружили массы» и «открыли дорогу тоталитаризму», восторжествовавшему при Сталине в конце 20-х годов, который ни в коем случае нельзя было считать, следуя определениям Троцкого, «рабочим государством», пусть даже переродившимся⁶².

Характерным для анализа Сержа в последние годы было, с другой стороны, убеждение, что «победа сталинского тоталитаризма» не была «на самом деле неизбежна». Для Сержа она в значительной мере определялась субъективной неспособностью, непониманием важности политической и интеллектуальной свободы, которыми отличались как сторонники Сталина, так и его противники, придерживавшиеся слепой веры в якобинство, которая привела их к убеждению, что вне их доктрины нет ничего прогрессивного⁶³. Политический ревизионизм Сержа проявился в полной мере, когда он пришел к мысли, что если бы в 1921 году большевики не пошли по пути «монополизации власти», а выбрали путь создания «коалиционного социалистического правительства», то русская революция могла бы избежать стадии перерождения⁶⁴.

7. Первые историографические трактовки: Розенберг и Суварин

Все упомянутые выше работы содержали элементы историографичности, но это не были исторические исследования, написанные с применением соответствующей методологии. Первыми попытками уже в 30-е годы проанализировать с позиций историографии большевизм и его приход к сталинизму были работы двух бывших коммунистов — немца Аргура Розенберга и француза Бориса Суварина. Первый опубликовал «Историю большевизма» (1932), второй — «Сталин. Исторический очерк большевизма», биографию Сталина (первую, достойную этого названия), в которой была дана развернутая картина главных событий русского рабочего движения (автор работал над книгой с 1930 по 1939 год). Эти две крупные работы стали «классическими»; для истории большевизма они являются тем же, чем работы Таска, Сальвини, Нойманна для истории итальянского фашизма и германского национал-социализма. Можно сказать, что они положили начало соответствующей историографии как тако-

⁶² Ibid., p. 169—171.

⁶³ Ibid., p. 180—182.

⁶⁴ Ibid., p. 202.

вой, выдвинув свои варианты интерпретации проблемы, разработка которых была впоследствии продолжена.

Розенберг избрал в качестве центральной проблему взаимосвязи между деятельностью Ленина и деятельностью Сталина, короче говоря, вопрос о «преемственности» и «разрыве». Но его волновало изучение этого вопроса как с точки зрения ценностей и целей социализма, так и в свете объективной исторической роли большевиков. Гений Ленина, с одной стороны, сумел поставить вопрос об общественных изменениях в России, ибо он владел всей сложностью общей картины социальных отношений, а с другой, создал орудие (централизованную партию), необходимое для ведения борьбы ввиду предстоящих перемен. Идея революционных действий сверху была постоянным и прочным стержнем большевизма и при Ленине, и при Сталине. Ленин, конечно, использовал пролетарскую стихию, воплощенную в Советах, но никогда им не подчинялся. Государственный централизм, утверждает Розенберг, был полностью восстановлен в России в 1918—1920 годах, так что советская демократическая система, какой она предстает в Конституции 1918 года, является не чем иным, как «ширмой для диктатуры большевиков»: «Начиная с 1918 года большевики называют диктатурой пролетариата свою форму русского государства, тогда как речь идет о диктатуре по отношению к пролетариату и всему остальному народу, осуществляемой большевистской партией, или, точнее, ее центральным директивным органом»⁶⁵.

По мнению Розенберга, Сталин был создателем мощи русского государства. Если рассматривать его деятельность с позиций марксистского социализма, она кажется полным отклонением от него; если же подходить к ней с точки зрения требований экономической модернизации страны, не готовой к социализму, то она кажется чем-то совершенно иным. Сталин практически приспособил марксизм и социализм к нуждам государства и его экономического развития, исходя из объективных данных русской отсталости и поражения международной революции. Строя свое суждение на этой основе, Розенберг считает, так сказать, абсолютно незаконной сталинскую линию в отношении социализма и, напротив, абсолютно законной, когда она является грандиозным проводником модернизации. Сталинская линия, по его мнению, — это «национальный русский социализм», который в идеологическом плане (коль скоро она ратует за строительство социализма на базе русской аграрной отсталости) возрождает традиции народничества в комбинации со сталинизмом и партийной диктатурой⁶⁶. В свете целей, выдвигаемых модерни-

⁶⁵ A. Rosenberg. Storia del bolscevismo. Roma, 1945, p. 151—155.

⁶⁶ Ibid., p. 250—252.

зацией, Сталину в конце концов пришлось столкнуться с кулаками. Поэтому Розенберг считает, что «эта борьба против кулаков в 1929—1930 годах означала утверждение той же русской революции»⁶⁷. В конечном счете кульминацией теории этого историка, который испытал непосредственное и очевидное влияние теорий Карла Корша (с точкой зрения Корша мы познакомимся ниже), является вывод о том, что сталинский социализм в действительности — не социализм, а нечто вроде «государственного капитализма» и что Сталину в общеоисторическом смысле — истинный преемник Петра Великого.

«Социализм, — утверждает Розенберг, — немыслим без свободы принятия самостоятельных решений человеческими коллективами. Сверхбюрократизированный государственный аппарат принуждения, которому подчиняются массы, не имеет ничего общего с социалистическим порядком и не может расцениваться иначе, как буржуазный институт»⁶⁸.

Если Россию Сталина можно уподобить буржуазному режиму по техническим приемам политического господства, то ее можно отнести к категории стран «государственного капитализма» по ее экономической организации, так как все находится в руках государства, в котором принимает решения только меньшинство. Розенберг видит в этом режиме исторически прогрессивную форму в русле общего процесса модернизации, в котором сталинская Россия представляет собой специфический вариант.

«Государственный капитализм для России — исключительно современная форма организации общества и экономики, и ему соответствует современная умственная культура... Большевизм в главном решил задачу, которую себе наметил. С помощью пролетариата он уничтожил в России царизм и совершил буржуазную революцию. Он преодолел позорную русскую отсталость и вывел страну на уровень современных буржуазных государств Европы. Благодаря силе рабочего класса ему даже удалось заменить современной организацией, основанной на государственном капитализме, частнокапиталистическую экономику и общество... То, что совершили большевики в рамках русской революции, останется бессмертным историческим фактом»⁶⁹.

Отсюда совершенно ясно, каким образом на основании подобного исторического суждения Розенберг приходит к заключению, что большевиков и Сталина, «заботившихся о преодолении отсталости России», считают (или следует считать) «преемниками Петра Великого». Однако Розенберг (и

⁶⁷ Ibid., p. 281.

⁶⁸ Ibid., p. 291.

⁶⁹ Ibid., p. 294—297.

здесь он согласен с Троцким) убежден, что советский сталинский режим может быть лишь переходным режимом, так как экономическая модернизация, с одной стороны, и политический деспотизм, с другой, породят противоречия между трудящимися массами, которые стремятся к социализму, и бюрократическо-деспотической системой, ибо «классовые противоречия в России надолго не утаишь». Равным образом Розенберг считает, что большевизм и сталинский национальный социализм, прогрессивные для России, но «реакционные для индустриально развитых западных стран», «где пролетариат уже научился создавать свои организации и самостоятельно руководить ими» в международном масштабе, явятся в конечном счете свидетельством консервативного застоя, препятствующего всякому стремлению к мировой революции⁷⁰.

«История большевизма» вышла в 1932 году. В эссе 1939 года «Исторический образ большевизма», написанном после того, как сталинская «революция сверху» уже набрала силу, Розенберг подтвердил мнение, высказанное еще в самом начале модернизации. Сталин теперь уже окончательно, писал он, направил дело режима в русло национальной русской традиции. Если для большевиков-ленинцев царское прошлое было антитезой их делу, то Сталин, напротив, использует его выборочно, для того чтобы выделить в нем тенденции, считающиеся прогрессивными: «В этих условиях сталинизму пришлось занять иную, по сравнению со старым большевизмом, позицию по отношению к историческому прошлому России... Это значит, что, если сталинизм, подобно старому большевизму, резко осуждает царскую реакцию XIX века, он, с другой стороны, весьма далек от того, чтобы видеть в веренице царей из дома Романовых сменявших друг друга „диких зверей“».

В русской истории до 1917 года прогрессивным было то, что способствовало экономической модернизации и защите русского отечества. Руководствуясь иными национальными чувствами, чем старые большевики, Сталин считает Петра Великого и Александра Невского положительными и прогрессивными героями.

Итак, интерпретируя сталинизм как движущую силу последней и решающей фазы русской модернизации, которая, из-за специфических условий национального исторического развития, не могла проводиться частнокапиталистическими буржуазными методами, а лишь государственно-капиталистическими методами, Розенберг дает следующее определение большевизма сталинской эпохи:

«Сталин видит в истории дома Романовых не только уг-

⁷⁰ Ibid., p. 295—297.

нетение народных масс России, но и специфически культурные задачи: поднять общество и производство России до уровня Западной Европы. Петр Великий взялся за выполнение этой задачи с невероятной энергией, но полностью ее завершить не смог ни он, ни его преемники: она досталась в наследство большевикам. Чтобы дать наиболее точное определение большевизму после того, как он разорвал свои связи с мировой пролетарской революцией, нужно рассматривать его как метод преодоления исторической отсталости России. Естественно, эта задача в XX веке не могла быть решена на путях обычного буржуазного капитализма, а лишь с помощью особой русской национальной формы государственного капитализма»⁷¹.

В то время как центром рассуждений Розенберга является попытка связать большевизм сталинской поры с экономической и социальной модернизацией в ее общеисторическом значении, анализ Бориса Суварина сосредоточен на проблеме большевизма в связи с установлением тоталитаризма как исторического явления и кризисом социализма и марксизма. При таком подходе цель Суварина — проиллюстрировать генезис и развитие тоталитарной власти особого типа, которые завершаются сталинизмом. По мнению этого исследователя, развитие большевизма определяется, с одной стороны, тем, что он — звено непрерывного процесса; а с другой, разрывом цепи и ниспровержением своих идеологических предпосылок и первоначальных ценностей. В этом смысле Сталин и могильщик, и преемник большевизма Ленина: он хоронит его идеологические мифы и наследует его внутреннюю сущность, направленную на завоевание и удержание абсолютной власти.

Партия Ленина возникла как организация военного типа, которая восприняла и углубила «концепцию Ткачева, идущую от Бланки»⁷². Вся карьера Сталина от унтер-офицера партии, находящейся в подполье, до генерала правящей партии, развертывалась в полном соответствии с теми качествами, требующимися организации такого рода, для которой он был «чем-то вроде прототипа»⁷³. Несомненно, вступление в партию — машину для власти как таковую — отразилось на Сталине особым образом. Различие между Сталиным, с одной стороны, Лениным и Троцким, с другой, в том, что он остался глух к идеологическим авантюрам последних, которым Суварин, в соответствии с распространенной версией, не

⁷¹ A. Rosenberg. Das Geschichtsbild des Bolschewismus. — In: „Scandia“, Tidskrift för historisk Forskning, vol. XII, Stockholm, dicembre 1939, fasc. 2, s. 281—283.

⁷² B. Souvarine. Stalin. Aperçu historique du bolchevisme. Paris, 1977, p. 58.

⁷³ Ibid., p. 170.

отказывает в том, что они были «искренними» сторонниками утопическо-демократического аспекта большевизма⁷⁴. Но когда под давлением определенных исторических обстоятельств большевизм после Октябрьской революции оставил утопию и создал тоталитарную машину, Сталин сумел решительно и без укоров совести воспринять логику абсолютной власти. Террор, которому Ленин уступил в иллюзорном расчете на его чрезвычайный характер, стал для Сталина средством, никак не связанным ни с проблемами идеологии, ни с совестью. Суварин говорит о «второй натуре» большевизма — деспотической, которая подавила «первую», оказавшуюся исторически инертной. Сталин очистил большевизм от его «первой природы» и сплотил его на базе второй. Впрочем, этот процесс уходит корнями в 1917—1920 годы. Безусловно, Ленин был «далек от идеализации» абсолютной власти, которую считал временной необходимостью, свидетельствовавшей об отступлении от большевистских целей⁷⁵. Сталин, напротив, взял на себя роль руководителя в процессе, исторически лишенном альтернатив. Словом, Сталин был тем, кто отделил теоретические противоречия Ленина и Троцкого от их практики управления: «Пассивное подчинение, которого он требовал и добился бы любой ценой от своих бесчисленных подчиненных, не было его изобретением. Он лишь довел до крайности военное представление о дисциплине, унаследованной от «военного коммунизма» и теоретически обоснованной Лениным и Троцким вразрез с их принципами»⁷⁶.

Советское сталинское общество, в оценке Суварина, очень близко во многом к анализу его Каутским, с одной стороны, и Рицци и Шахтманом, с другой. Общество, где в политике господствует тоталитаризм, а в экономике не имеющая ничего общего с социализмом и составляющая основу политического тоталитаризма национализация. Общество, в котором закрепилась эксплуатация нового типа, осуществляемая меньшинством. Суварин пишет: «Через пять лет после смерти Ленина его концепция социализма по своей сущности уже не имела ничего общего ни с одной другой доктриной того же названия. Индустриализация Сталина предполагает интенсивную эксплуатацию рабочих, а коллективизация — абсолютно рабское состояние крестьян». И еще: «Так называемое советское общество по-своему опирается на эксплуатацию человека человеком: эксплуатацию производителя — бюрократией, технического специалиста — Советской властью. Индивидуальное присвоение прибавочной стоимости заменено коллективным присвоением ее государством; из нее необходимо

⁷⁴ Ibid., p. 176.

⁷⁵ Ibid., p. 233—238.

⁷⁶ Ibid., p. 263.

вычесть долю, которую паразитически потребляет чиновничий аппарат... Вокруг партии, между тем, сформировалась новая социальная категория, заинтересованная в поддержании установленного порядка и в увековечении государства, которому Ленин предсказывал отмирание вслед за исчезновением классов. Если большевики юридически и не имеют собственности на орудия производства и средства обмена, они тем не менее держат в руках контроль за государственной машиной, который позволяет им разными путями производить всевозможные хищения. За фактом навязывания розничных цен, во много раз превосходящих себестоимость, скрывается настоящая тайна бюрократическо-технократической эксплуатации главным образом посредством административного и военного угнетения. Ничего не значит, что незначительное меньшинство, пользующееся привилегиями за счет подавляющего большинства, выполняющего непосильную работу, не является классом, подобно буржуазии, или кастой, подобно браминам»⁷⁷. В итоге вывод Суварина звучал очень четко: сталинский режим представляет собой вариант современного тоталитаризма, имеющего специфическую социально-экономическую базу. Между такими формами тоталитаризма, как фашистский и сталинский, он считал необходимым отыскать более глубокие «исторические родственные связи»⁷⁸.

8. Рицци, Бернхэм, Шахтман: сталинское общество как бюрократическое, не социалистическое и не капиталистическое общество

Спор о социальной и политической сущности СССР, как он сложился при Сталине, привел к укоренению антисталинских взглядов среди тех теоретиков, которые, начав с обсуждения тезисов Троцкого, кончили отрицанием этих тезисов, то есть отрицанием того, что СССР можно считать «переродившимся рабочим государством». Бруно Рицци, Джон Бернхэм, Макс Шахтман, отвергая любую попытку сохранить за СССР название социалистического государства, пришли к выводу, что СССР, напротив, строит форму общества, не оводимую ни к социализму, ни к капитализму, но имеющую общее с капитализмом в том, что это — общество бюрократов и технократов.

В книге «Бюрократизация мира», вышедшей в 1939 году, Рицци писал, что тезис Троцкого, согласно которому сталинская бюрократия не может считаться господствующим классом, так как не обладает правом владения собственностью.

⁷⁷ Ibid., p. 422, 499.

⁷⁸ Ibid., p. 552.

являющимся единственной основой классового господства, построен на логической ошибке — игнорировании факта исторической новизны, присущей сталинскому режиму. На основании версии, аналогичной версии Каутского и Суварина, которые говорили о «новом господствующем классе» на базе национализации, Рицци утверждал, что в СССР «во власти государства» передать «бюрократии собственность на средства производства, которая является коллективной, а не частной» и «принадлежит в итоге новому руководящему классу»⁷⁹. Тот факт, что бюрократия юридически не имеет собственности, объясняется природой ее власти: «Она держит в своих руках государственную власть, а это куда больше, чем старые юридические документы буржуазии»⁸⁰. Рицци, далее, считал, что СССР с его национализацией представляет собой особую форму того «тоталитаризма», который составляет определенную тенденцию и в фашистских, и в буржуазно-демократических странах в рамках «бюрократизации», которая становится их общей судьбой.

Наиболее полное отражение взгляды Рицци получили в книге бывшего троцкиста американца Бернхэма (его даже обвинили в плагиате) «Революция управляющих» (1941). В ней Бернхэм утверждал, что Советская Россия, создав технобюрократическое общество, открыла новую главу всемирной истории, характерной чертой которой является приход к власти менеджеров. С одной стороны, в современной экономике они единственные, кто в состоянии руководить производственным аппаратом, а с другой, вследствие этого именно им предстоит стать хозяевами всего общества, так как лишь тот, кто контролирует «орудия производства» (в наши дни это стало «свидетельством социального превосходства»), контролирует также и «общество фактически и номинально»⁸¹. Если в плане внутренних режимов капитализму и социализму предстоит слиться в виде технобюрократического режима, то в плане внешней политики в будущем должны исчезнуть старые национальные государства и произойти разделение мира на «небольшое число крупных суверенных зон — супергосударств»⁸².

Макс Шахтман, также бывший известный троцкист и соратник Троцкого, в эссе 1940 года под названием «Россия — рабочее государство?» дает отрицательный ответ на этот вопрос, приводя аргументы, являющиеся, по существу, аналогичными только что приведенным. В СССР, рассуждает Шахтман, «хозяин общества» тот, кто «одновременно является хо-

⁷⁹ B. Rizzi. Il collettivismo burocratico. Imola, 1967, p. 56.

⁸⁰ Ibid., p. 69.

⁸¹ J. Burnham. La rivoluzione dei tecnici. Milano, 1947, p. 122.

⁸² Ibid., p. 321.

зьяном государства»⁸³. По мнению Троцкого, рабочие России настолько потеряли всякое влияние в государстве, что следует осуществить политическую революцию против господства бюрократии. Но как же считать «рабочим» государство, против которого рабочие должны поднять революцию? На деле же сталинское государство есть продукт явной контрреволюции, осуществленной как в экономических, так и в политических отношениях. Она и положила конец существованию СССР как рабочего государства. Бюрократия — это подлинный «господствующий класс», который сохранил огосударствление средств производства, потому что «полный контроль со стороны государства гарантирует» ей «экономическое и политическое всевластие во всей стране». Шахтман отвергает тезис Троцкого о том, что советская бюрократия не может быть подлинным господствующим классом, поскольку всякая бюрократия — орудие административной власти, а следовательно, не класс. Шахтман, напротив, считает, что советская бюрократия — совершенно новое явление в истории. Если в национал-социалистской Германии бюрократия продолжает оставаться под контролем капиталистов, в СССР бюрократия никем не контролируется. Зато она сама через посредство государства, находящегося в ее руках, контролирует все. Отсюда следует, что ниспровержение бюрократической власти должно стать не только политической революцией, как того хочет Троцкий, но, «безусловно, и социальной революцией».

9. Корш, Паннекук, Рюле: большевизм — вариант капиталистического развития

Антисталинский «левый коммунизм», представленный Карлом Коршем, Антоном Панекуком и Отто Рюле, объединяет общий вывод о том, что СССР сталинской поры проходит особую фазу истории капитализма и буржуазной модернизации. Все трое в первые годы послеоктябрьского коммунизма принадлежали к течениям, которые в демократии Советов видели сущность пролетарской революции. Все они затем не согласились с выступавшим за национализацию и централизацию большевизмом, в основе власти которого была диктатура не класса, а бюрократизированной партии.

В 1926 году Корш писал, что национальный социализм, «производственная» идеология, пацифистская внешняя политика на службе строительства социализма в отдельной стране представляют собой «путь строительства капитализма» на ос-

⁸³ М. Schachtman. La Russia é uno Stato operaio? Текст эссе полностью приводится в книге: „L'antistalinismo di sinistra e la natura sociale dell'URSS“, a cura di B. Bongiovanni. Milano, 1975 (цитату см. p. 306 оригинала).

нове «рокового изменения классового характера» русской коммунистической партии, переродившейся в «государственную партию» и в средство выражения «интересов экономически господствующих классов»⁸⁴. В 1932 году Корш придал аналитически законченную форму своей интерпретации, заявив, что русский марксизм, включая большевизм, является не чем иным, как идеологической надстройкой, ставшей необходимой вследствие слабости буржуазной идеологии и поворота к объективно капиталистической экономической модернизации, хотя и направляемой политически субъективно некапиталистическими силами. Для Корша «русский марксизм, во всех фазах его развития и во всех его течениях с самого своего возникновения представлял собой не что иное, как идеологическую форму материальной борьбы за успешное капиталистическое развитие в феодальной царской России. Буржуазное общество, достигшее на Западе полного своего развития, для того, чтобы утвердиться на Востоке, нуждалось в новом идеологическом оформлении». Эта идеологическая оболочка была, в конце концов, предложена самим большевизмом, в истории которого Сталин полностью продолжил Ленина. Таким образом, произошло то, что Корш называет «историческим изменением функции», когда из «теории революционного социалистического движения» марксизм превратился в «„социалистическую“ идеологию движения буржуазно-капиталистического строительства». Этому изменению роли подчинились как «ортодоксальный марксист Ленин», так и «ленинский эпигон Сталин». Аналитические искания Корша завершились позднее, когда он пришел к мнению, что сталинский тоталитаризм не может быть понят вне исторического процесса, который показал, что в рамках всеобщей истории нынешняя эпоха является на самом деле не эпохой социалистической революции, а, напротив, эпохой торжествующего капитализма, как бы ни были искажены его формы по сравнению с моделями XIX века⁸⁵.

Со своей стороны Паннекук, известный левый социал-демократ, который связал свое имя с историей международного рабочего движения уже в период II Интернационала, в книге «Рабочие советы», опубликованной в середине 40-х годов, утверждал, что в сталинской России понятия «государственный социализм» и «государственный капитализм» эквивалентны. Социалистический аспект идет от государства, являющегося единственным предпринимателем; капиталистический аспект вытекает из того, что «рабочие здесь не являются хозяевами средств производства, как и при капитализме в Западной Европе»; они «получают зарплату и их эксплуатирует го-

⁸⁴ К. *Korsch*. *Scritti politici*. Bari, 1975, vol. I, p. 157.

⁸⁵ *Ibid.*, vol. II, p. 364—365, 383—386.

сударство — единственный крупный капиталист»⁸⁶. Подобно Розенбергу, Паннекук, однако, настаивал на прогрессивном характере советского режима (хотя и использовавшего варварские средства) в том, что касается экономической модернизации. Процесс развития советского режима (хотя он и относится к истории досоциализма, а не социализма) завершился тем, что СССР оказался «в потоке мирового прогресса»⁸⁷.

В работе, написанной в сентябре 1939 года и опубликованной в сборнике «Живой марксизм», Рюле четко обобщил теоретическую тенденцию, которая сводила советский режим, каким он предстал в результате деятельности Ленина и Сталина, связанных узами преемственности, к уровню буржуазного режима, такого режима, функцией которого было стать первой моделью фашистского тоталитаризма. Для существования социализма, утверждает Рюле, необходимо, «помимо отмены частной собственности на средства производства, чтобы рабочие распоряжались продуктами своего труда, а также чтобы они перестали быть наемными рабочими»⁸⁸. С другой стороны, большевизм — это революционный авторитарный национализм лишь «в рамках буржуазной революции», и он глубоко родствен фашизму. «Поэтому, — заключает Рюле, — переворачивая сталинский лозунг, согласно которому борьба с социал-демократией есть предварительное условие борьбы с фашизмом, — борьба с фашизмом должна начинаться с борьбы против большевизма»⁸⁹.

⁸⁶ A. Pannekoek. *Organizzazione rivoluzionaria e consigli operai*. Milano, 1970, p. 107.

⁸⁷ Ibid., p. 108.

⁸⁸ O. Rühle. *La lutte contre le fascisme commence par la lutte contre le bolchevisme*. — In: „La contre-revolution bureaucratique“. Paris, 1973, p. 261—262.

⁸⁹ Ibid., p. 278—280.

Андре Либих

ОТНОШЕНИЕ МЕНЬШЕВИКОВ К СОЗДАНИЮ СССР

Октябрьская революция разрушила политические надежды меньшевиков: сталинская же революция развеяла их марксистские убеждения и произвела раскол в меньшевизме, понимаемом как политическая партия и последовательная позиция в международном рабочем движении.

В период, последовавший за смертью Мартова (1923) вплоть до второй мировой войны, меньшевики пытались осмыслить всю сложность советского развития в категориях классического марксизма. Помимо предпринятых ими усилий в области теории, меньшевики разрабатывали также политическую линию или, иными словами, определяли свою политическую позицию в отношении советского феномена, что заставляло их вести борьбу на два фронта — защищать успехи революции, одновременно разоблачая ее перерождение. Меньшевики поднимали свой голос в поддержку советского режима против посягательств на него со стороны любого иностранного или реакционного неприятеля, и в то же время они безжалостно критиковали самую сущность этого режима.

Попытка вести такую критику Советского Союза, которая со всех точек зрения выглядела бы как критика слева и ни в коем случае не служила бы орудием критики, исходящей справа, была полна ловушек и противоречий. Такого рода выступления, как и всякая борьба на два фронта, были чреваты риском поражения. Не вызывает удивления, что эта меньшевистская миссия зашла в теоретический тупик и потерпела как идеологический, так и организационный крах. Однако, несмотря на то что сегодня советский опыт не оказывает более на сознание социалистов того воздействия, какое он имел в 20-е и 30-е годы, борьба меньшевиков в изгнании обретает актуальность, которая не может не произвести впечатление. Вопросы, поставленные меньшевиками относительно сущности СССР, о ходе его эволюции и путях социалистической революции, по-прежнему стоят на повестке дня.

1. Меншевицкая партия в изгнании

1921 год — начало деятельности меньшевиков в изгнании¹. Мартов и Абрамович покинули Россию в 1920 году, Дан, Николаевский и другие смогли присоединиться к ним только в 1922 году. Однако 1921 год является решающей датой по двум причинам. Во-первых, в Советской России в этом году начался нэп. Новая экономическая политика подтвердила критику меньшевиками «военного коммунизма» и, как представлялось, возвращала Россию на путь буржуазной революции. В то же время нэп сопровождался более жесткими репрессиями в отношении меньшевиков, сделавшими невозможным дальнейшее продолжение ими своей политической деятельности, хотя бы и в самых скромных формах. Во-вторых, в Берлине в том же 1921 году был основан «Социалистический вестник» — журнал, регулярно выходивший на протяжении более сорока лет. В нем нашли достоверное отражение все перипетии и скитания меньшевиков в течение их столь длительной одиссеи — сначала Берлин (1921—1933), затем Париж (1933—1940) и Нью-Йорк (1940—1965)². Что представляла собой эта Российская социал-демократическая рабочая партия, возникшая в эмиграции начиная с 1921 года? Верховный орган партии, находящийся вне пределов России, — это так называемая «Заграничная делегация», обновлявшаяся путем кооптации вплоть до ее роспуска в 1951 году. По сути дела, «Заграничная делегация» была органом ЦК; на территории России ей соответствовало Политбюро ЦК партии; однако через несколько лет ввиду невозможности нормального функционирования партии на территории страны «Заграничная делегация» стала основным руководящим центром меньшевизма. Кроме «Заграничной делегации», были созданы так называемые социал-демократические клубы и группы взаимодействия с партией — главным образом в Берлине, Париже и Нью-Йорке; они оказывали интеллектуальную, моральную и материальную поддержку «Заграничной делегации» в ее деятельности³.

¹ История меньшевизма в изгнании еще должна быть написана. См. краткий исторический очерк, написанный одним из тех, кто лично пережил описываемые события: S. Wolin. The Mensheviks under the Nep and in emigration. — In: „The Mensheviks: from the Revolution of 1917 to the Second World War“ (под ред. L. H. Haimson). Chocago—London, 1974, p. 243—348.

² Подробности, связанные с изданием «Социалистического вестника» (в дальнейшем сокращенно «СВ») см.: А. М. Бургина. Социал-демократическая меньшевицкая литература: библиографический указатель. Стэнфорд, Калифорния, 1969, с. 353. С 1921 по 1940 год журнал выходил раз в две недели, с 1940 по 1963 год ежемесячно и раз в полугодие, с 1964 по 1965 год один раз в год.

³ Обширная документация о деятельности одной из подобных групп имеется в архиве нью-йоркской Группы взаимодействия РСДРП, а также в архиве И. А. Вильцера (соответственно № 52 и 75). См.: Collection

Организационная структура меньшевистской партии в эмиграции представляет определенный интерес постольку, поскольку она послужила образцом для других социалистических партий, оказавшихся в изгнании в 30-е годы; однако организационная оригинальность меньшевизма заключается в его непреклонной исключительности. Находясь в изгнании, партия меньшевиков отказывалась принимать новых членов. Единственную возможность быть принятым в партию в эмиграции имел только тот, кто стал ее членом, работая на территории России⁴. В этой позиции прекрасно отразилось пренебрежительное, едва ли не высокомерное и замкнутое отношение меньшевиков ко всем другим политическим группировкам, действовавшим в эмиграции, не исключая и тех, которые придерживались социалистической ориентации. Во всем этом есть некоторый элемент иронии, если вспомнить, что именно меньшевики высказывались за создание более открытой партии в связи со съездом 1903 года, ознаменовавшимся их расколом с большевиками⁵. Тем не менее эта позиция, особенно строго соблюдавшаяся в 20—30-е годы, объясняется твердой решимостью меньшевиков не считать себя и не стать партией эмигрантов, их желанием, чтобы их связи со своей страной сохранили близость и жизнеспособность. Конечно, это их намерение приобрело со временем черты своеобразной веры в некий миф; однако этот миф позволил меньшевикам продолжать свою деятельность даже в самых отчаянных обстоятельствах. Наконец, эта меньшевистская исключительность способствовала укреплению взаимной солидарности, которую можно было бы назвать даже «семейной», установившейся между членами меньшевистской колонии в эмиграции, что сделало партию почти непроницаемой для инфильтрации, от которой столько страдали прочие эмигрантские группировки⁶. Тем не менее в длительной перспективе эта исключительность обрекала меньшевистскую партию на естественное уга-

Nicolaevsky. *Houwer Institution Stanford (Cal.)*. О важных дискуссиях, проходивших в другой группе, см. «Протоколы берлинской организации (под ред. В. М. Александровой и других, 1930—1933 годы), *Institut international d'histoire sociale. Amsterdam (IISG)*; библиографический указатель в: *B. Nicolaevsky. Historique de la presse periodique de l'émigration socialiste russe 1917—1937*. — In: „*Bulletin of the International Institute for Social Science*“, 1937, № 1, p. 10—14.

⁴ Один из наиболее красноречивых примеров бескомпромиссного применения этого правила см.: *И. А. Вильяцер*. Письмо к Абрамовичу от 24 января 1934 года и «Резолюция Заграничной делегации РСДРП» от 2 февраля 1934 года — Архив Николаевского, № 75.

⁵ Ср. сборник документов в английском переводе: *S. Ascher. The Mensheviks in the Russian Revolution*. Ithaca (New York), 1976 (особенно p. 44—52).

⁶ См. мое интервью с Б. М. Сапиром (Амстердам, 16 января 1980 год). Приношу благодарность Б. М. Сапир, хранителю IISG и бывшему члену «Заграничной делегации» меньшевистской партии, за любезно предоставленную мне информацию.

сание. Таким образом, мы имеем дело едва ли не с уникальным случаем в политической истории — с политической партией, которая, отказываясь обновлять свои ряды, тем самым отказывалась от собственного существования.

Какую деятельность вела партия в эмиграции? Основная задача, логически вытекающая из положения партии (это особенно верно по отношению к первым годам ее деятельности в эмиграции), — поддерживать и информировать свои организации в России. Главное средство в этой работе — «Социалистический вестник», издание, выходившее с большой регулярностью раз в две недели, но предназначенное не для массового читателя, а, подобно издававшейся в свое время «Искре», для кадров партии и наиболее подготовленных рабочих; нелегально, но систематически это издание проникало в Советскую Россию вплоть до конца 20-х годов⁷. Журнал жил перепиской с членами и сторонниками партии, которые еще имелись в СССР, а также информацией, получаемой от советских руководителей, которые извещали редакцию о событиях и фактах, замалчиваемых в стране⁸. Начиная с первых лет, особенно же по мере того, как иссякали живые источники информации, меньшевики совершенствовали ту технику обработки информации, которая впоследствии получила название «кремлюнологии» — то есть тщательного изучения советской печати и официальных документов, которое благодаря выявлению малейших оттенков позволяет воссоздать и истолковать политическую картину текущего момента⁹. На основе этой информации «Социалистический вестник» излагал позицию меньшевиков по различным вопросам и сообщал, хотя и в меньшей мере, о различных мнениях, существующих в самой партии. Благодаря этим трудам сегодня журнал выглядит как своего рода история первых лет со-

⁷ См.: «Инструкции для редакции „Социалистического вестника“» (1928?). Архив Николаевского, 18/2. О распространении журнала в России см. рубрики «Из партии» и «По России» в «СВ»; см. также интервью с А. М. Бургиной (Стафорд, 21 июля 1980 года). Выражаю признательность А. М. Бургиной, хранительнице Архива Николаевского, за информацию и документы, любезно переданные ею в мое распоряжение.

⁸ См.: Архив меньшевиков (до 1924 года), Архив Николаевского, 6, а также «Партийную переписку» (до 1928 года), Архив Николаевского, архив «Заграничной делегации» (до 1931 года), Архив Николаевского, 25. О контактах с советскими руководителями см.: *N. Jasný. Soviet Economists of the Twenties*. Cambridge, 1972; интервью с А. М. Бургиной и Б. М. Сапиром. Классический пример такого рода контактов — беседа, состоявшаяся у Дана и Николаевского с Бухариным в 1936 году, уже после того как меньшевистская информационная сеть была уничтожена. См.: *B. I. Nicolaevsky. Power and the Soviet Elite: „The letter of an old Bolshevik“ and other essays*. (Под ред. Дж. Д. Зарориа.) Нью-Йорк, 1965, с. 24—65, и публикации в «СВ», 22 декабря 1936 года и 17 января 1937 года.

⁹ Примеры этой меньшевистской «кремлюнологии» в английском переводе собраны мастером этого искусства Николаевским в его книге „Power and the Soviet Elite“, cit.

ветского режима и будет ценным источником до тех пор, пока советские архивы останутся закрытыми для исследователей¹⁰. Кроме того, меньшевики немало материалов издавали и на иностранных языках: их книги и брошюры, статьи в социалистической прессе Запада, еженедельный бюллетень на немецком языке «R.S.D.», выходивший с 1924 по 1932 год, информировали общественное мнение Запада о Советской России и настраивали его в пользу меньшевиков¹¹.

Интерес к советской жизни, однако, не полностью поглощает энергию меньшевиков, которые (что видно по «Социалистическому вестнику» и другим изданиям) действуют также в международном социалистическом движении в качестве страстных интернационалистов; меньшевики прилагали немало усилий к тому, чтобы создать и укрепить Социалистический рабочий интернационал на протяжении всего периода его существования с 1923 по 1940 год¹². В качестве партии, имевшей ключевое значение в предыдущем «2½» интернационале, и в новом интернационале, меньшевики заняли важную позицию, совершенно не соответствующую их действительной силе; эту позицию в руководящих органах им удалось сохранить вплоть до 1939 года. Можно предположить, что таким образом они как бы компенсировали свою подлинную слабость. Но дело не только в этом, ибо в Интернационале меньшевики были голосом социалистической и демократической России. Они авторитетно высказывались по русскому вопросу, воплощали надежды социалистов Запада на то, что Советская Россия будет развиваться в социалистическом и демократическом направлении. Именно благодаря такого рода надеждам само присутствие меньшевиков в Интернационале как бы сглаживало травму вызванного Октябрьской революцией раскола в рабочем движении. Таким образом, меньшевики неосознанно и непреднамеренно облегчили переход революционного социализма II Интернационала кануна 1914 года к современной социал-демократии.

В небольшой группе мужчин и женщин, которые осуществляли руководство меньшевистской партией в эмиграции, главными лидерами были Федор Ильич Дан (1871—1947) и Рафаил Рейн Абрамович (1880—1962). Дан в качестве председателя партии возглавил ее руководство после смерти Мартова (1923) и смог навязывать ей собственную точку зрения

¹⁰ Классический пример — так называемое «Завещание Ленина», частично опубликованное впервые в «СВ», 17 декабря 1923 года.

¹¹ Намеренно неполный перечень меньшевистских изданий в эмиграции см.: А. М. Бургина. Социал-демократическая меньшевистская литература, цит., с. 265—319, а также: В. I. Nicolaevsky. *Histoire de la presse, cit.*, p. 5—17.

¹² Р. Абрамович. *Меньшевизм и Социалистический интернационал (1918—1940)*. (Документ без номера.) Inter-University Project on the History of the Menshevik Movement. New York, s. d. (Текст охватывает, однако, только первые годы из указанных дат.)

вплоть до 1940 года¹³. В основе его деятельности лежала личная лояльность к памяти Мартова (приходившегося ему родственником благодаря женитьбе на любимой сестре Мартова Лидии Осиповне Цедербаум) и политическая верность «линии Мартова»¹⁴, восходящей к тезисам, разработанным в апреле 1920 года, когда меньшевистская партия сблизилась с позициями большевиков (хотя в последние дни жизни Мартов поставил эту линию под сомнение)¹⁵. В международном рабочем движении Дан был тесно связан с Отто Бауэром¹⁶; в партии меньшевиков он пользовался таким неоспоримым авторитетом, что некоторые партийцы, иронически сравнивая его с Лениным, дали ему прозвище — «наш Ильич»¹⁷. Напротив, Абрамович, бывший бундовец, был по преимуществу дипломатом и политическим рупором меньшевизма в эмиграции. Обладая светскими манерами и пользуясь многочисленными международными связями, нужными ему и для работы в качестве европейского корреспондента известного еврейского печатного органа «Vorgwärts!», выходившего в Нью-Йорке, он представлял партию в Бюро и Исполкоме Социнтерна и употреблял свой незаурядный политический талант на службу меньшевистскому делу¹⁸.

Подробный перечень основных активистов меньшевизма в эмиграции будет, конечно, составлен автором будущей истории этой партии. Заслуживают, однако, внимания по меньшей мере два выдающихся деятеля меньшевизма. Это Борис Иванович Николаевский (1887—1966), историк и архивист необычайной эрудиции, который до конца 20-х годов являлся западноевропейским корреспондентом Института Маркса—Энгельса в Москве, возглавлявшегося Рязановым, а в 30-е годы был в Париже представителем Международного института социальной истории (Амстердам). Занимая этот пост, он сы-

¹³ Его биографический очерк см.: Б. А. Двинов. Ф. И. Дан. — В сб.: «Мартов и его близкие». Нью-Йорк, 1959, с. 119—137.

¹⁴ Проницательный психологический портрет Дана и его приверженности «линии Мартова» дан в кн.: В. М. Sapir. Theodor Dan und sein lextes Buch; F. I. Dan. Ursprung des Bolschewismus. Hannover, 1968, p. 9—19.

¹⁵ См.: I. Getzler. Martov e i menscevichi prima e dopo la rivoluzione. — In: "Storia del marxismo", vol. 3/1, p. 185—192.

¹⁶ А. Потресов, крупнейший представитель правого крыла меньшевистской партии, впоследствии исключенный из нее, считает Дана «злым гением» Бауэра: цит. в: Т. Дан. Tua res agitur. — In: "Kampf", 25 Februar, 1932, p. 59. Каутский в письме к П. и С. Гарви от 1 мая 1937 года (Архив Николаевского 18/1) писал: «Бауэр — всего лишь немецкий перевод Дана, тогда как Дан — всего лишь русское издание Бауэра».

¹⁷ См. подлинную «книгу жалоб» на Дана, составленную одним из его наиболее заклятых врагов: П. А. Гарви. Письмо к Дану от 25 сентября 1939 года (Архив Николаевского, 18/1).

¹⁸ См.: «Р. А. Абрамович» (некролог) в «СВ», XLIII, март—апрель 1963 года, а также статьи: С. М. Шварц, Э. Шерер, М. Вишняк. Памяти Р. А. Абрамовича. Там же, май—июнь 1963 года.

грал очень важную роль в спасении архивов германской социал-демократии после прихода Гитлера к власти¹⁹. Это и Давид Юльевич Далин (1889—1962), экономист, как, впрочем, и многие другие члены «Заграничной делегации» (особенно С. М. Шварц и А. И. Югов), который в результате разногласий с линией «Заграничной делегации» и будучи убежден в бесполезности ее деятельности оставил ее в 30-е годы, однако снова вступил в нее, находясь уже в Америке, где сделал карьеру журналиста и советолога²⁰.

Помимо этих кадров, партия располагала также поддержкой значительной меньшевистской «периферии». То была группа, в состав которой входили такие бывшие меньшевики, как экономисты В. Войтинский и Н. Ясный, или такие журналисты, как П. Ольберг, остававшиеся близкими к партии и от случая к случаю сотрудничавшие в ее изданиях²¹. В «периферию» входили также меньшевики, состоявшие в социалистических партиях тех стран, куда они эмигрировали, но не порвавшие связей и с родной партией. Среди них укажем на Александра Штейна, сотрудничавшего в германской социалистической прессе, и на Ореста Розенфельда, близкого друга Леона Блюма в годы Народного фронта во Франции, которого Розенфельд сменил в качестве руководителя органа Французской социалпартии (СФИО) газеты «Попюлер»²².

Организационное единство меньшевиков было козырной картой в руках партии, и оно объясняет широту ее влияния. Меньшевики критически относятся к коммунистам, которых обвиняют в расколе рабочего движения, сами сознают ущерб, нанесенный рабочему движению в ходе первой мировой войны расколом в их собственных рядах, внимательно следят за внутренними разногласиями среди русских социалистов-революционеров, своих соперников в Социнтерне, и с большим упорством отстаивают свое единство²³. Тем не менее в 30-х го-

¹⁹ См. очерки: Kristof, Mosely. Bourguina (bibliografia) in Politics in Russia. Essays in memory of B. I. Nicolaevsky. Под ред. Александра и Жанет Рабинович, при участии Ladis K. D. Kristof. Bloomington. 1972, p. 3—38, 322—342.

²⁰ О причинах выхода из партии см. его письмо Абрамовичу от 11 мая 1934 года (Архив Абрамовича, 2/1), IISG; см. также далее примечание 3, с. 153. Библиография его работ в: B. J. Dallin. From purge to coexistence. Essays on Stalin's and Khrushchev's Russia. Chicago, 1964.

²¹ См.: W. S. Woytinsky. Stormy passage. A personal history through two Russian revolutions to democracy and freedom. 1905—1960. New York, 1961; N. Jasny. To live enough. Lawrence, 1976.

²² О Штейне см.: R. C. Williams. Culture in exile: Russian emigrés in Germany. 1881—1941. Ithaca—London, 1922, p. 189—197. О Розенфельде — интервью с Робером Верде, бывшим заместителем секретаря Французской социалпартии, СФИО (Париж, 9 мая 1978 года), которого мы благодарим за оказанную нам любезность.

²³ О выводах, сделанных меньшевиками в связи с расколом среди социалистов-революционеров, см.: Д. Д. (Д. Н. Далин). Меньшевистский Рабкрин. — «СВ», 16 сентября 1923 года.

дах и среди меньшевиков произошло определенное размежевание, приведшее в годы второй мировой войны к расколу. Весьма схематично можно было бы сказать, что в первое десятилетие эмиграции руководство партии состояло в основном из левого большинства, руководимого Даном и Абрамовичем, при наличии правого меньшинства, возглавлявшегося П. Гарви и представленного в «Заграничной делегации» Г. Аронсоном и М. Кефали. В результате изменения ситуации, вызванной сталинской революцией, оформилась новая, центристская тенденция, сформированная Абрамовичем, Далиным и Николаевским, которые отошли от прежнего большинства и встали в оппозицию к Дану и его группе, куда входили А. Югов, О. Доманевская и А. Шифрин. В 30-е годы благодаря сближению этого центристского течения с позициями правых произошло в конце концов изменение соотношения сил в партии. Победа правых в 1940 году привела к выходу в 1942 году Дана и Югова из состава «Заграничной делегации»²⁴.

В нашем очерке мы попытаемся проследить эволюцию меньшевистской партии по трем основным моментам: во-первых, классическая позиция меньшевизма в эмиграции, относящаяся к периоду нэпа (1921—1927), во-вторых, противоречия, вызванные сталинской революцией (1928—1931), которые глубоко потрясли партию; и, наконец, в-третьих, постепенный развал партии в результате конфликтов по поводу внутренней эволюции СССР и международной обстановки в период триумфа сталинизма и распространения фашизма в Европе (1931—1939). Общая картина, которую мы в состоянии набросать, далека от полноты. Тем не менее она может высветить не только историю меньшевизма, но и важную главу в истории Советского Союза и международного социализма.

2. Дискуссия о нэпе и бонапартизме

В связи с окончанием гражданской войны, после выступления рабочих Петрограда и кронштадтского мятежа, введение в 1921 году нэпа, характеризовавшегося уступками крестьянам-собственникам и частичной реставрацией капиталистических отношений в промышленности и мелкой торговле, являлось своего рода моральной победой меньшевиков. В то же время они были поставлены перед серьезной дилеммой.

С одной стороны, нэп был красноречивым подтверждением критических выступлений меньшевиков, с которыми они начиная с 1918 года обрушивались на политику большеви-

²⁴ См.: Г. Аронсон. К истории правого течения среди меньшевиков. — Inter—University Project on the history of the menshevik movement. New York, 1960, p. 4.

ков, особенно против введенных ими драконовских экономических мер, известных под названием «военного коммунизма»²⁵. В своей критике, повторенной Даном в речи на VIII съезде Советов, состоявшемся в Москве в декабре 1920 года, меньшевики настаивали на необходимости положить конец гражданской войне, направленной против крестьянства, и попытаться восстановить капиталистическую индустрию, разрушенную и войной, и небрежением большевистского правительства²⁶. Критика меньшевиков основывалась, по существу, на понимании советского режима как «утопического» в связи с его попыткой навязать социализм отсталой и потрясенной войной стране и с его поползновениями управлять страной при помощи революционного меньшинства вопреки оппозиции подавляющего большинства населения, включавшего в себя многих людей из числа наиболее сознательных пролетариев. Казалось, что меньшевистская критика принесла положительные результаты, так что заголовок, предпосланный «Социалистическим вестником» сообщению о введении нэпа — «Ленин отступает», — равно как и триумфальные нотки, прозвучавшие в первых откликах меньшевиков на нэп, не вызывают удивления²⁷.

С другой стороны, меньшевики ожидали, что новая экономическая политика ознаменуется также некоторой либерализацией в отношении других партий, профсоюзов и Советов. Однако нэп в экономике не породил нэпа в политике²⁸. Наоборот, меньшевики были загнаны в самое глухое подполье, а большевистский контроль над жизнью страны стал еще более жестким. Меньшевики, разочаровавшись в своих надеждах на хотя бы молчаливое признание в качестве своего рода легальной оппозиции, переживали трудности также и в теоретической области. Они высказывали убежденность в том, что советский режим не в состоянии устоять перед лицом внешнего и внутреннего врага, новых буржуазных элементов, порожденных нэпом, если не откроет широко двери социальным силам, способным защитить его от свержения жестокой реакцией. Это суждение основывалось на оценках соотноше-

²⁵ См.: И. А. Экономика и политика. — «СВ», 1 февраля 1921 года; и «Путь Революции». — Там же, 16 февраля 1921 года (передовые статьи).

²⁶ Речь Дана на VIII съезде Советов и резолюция РСДРП по вопросу о мерах к поднятию сельского хозяйства. Там же, 16 февраля 1921 года.

²⁷ «Ленин отступает» — передовая статья в «СВ», 18 марта 1921 года; Р. Абрамович. Отступление или выпрямление линии? — Там же, 8 июля 1921 года.

²⁸ Д. Далин. В чем причина неудач? — Там же, 8 июля 1921 года; Р. Абрамович. Новая утопия. — Там же, 1 апреля 1923 года; А. Югов. Кризис нэпа. — Там же, 27 ноября 1923 года. Резолюция «Заграничной делегации» РСДРП. — Там же, 17 января 1925 года.

ния сил в России и интерпретации в оптимистическом духе законов исторического развития, которые оставались краеугольным камнем всей меньшевистской идеологии.

Подобная двойственная реакция меньшевиков на нэп нашла отражение в их экономическом анализе 20-х годов. Заявив, что нэп является не чем иным, как копированием их разработок в области экономической политики, они расширили круг своих критических выступлений против практической реализации нэпа²⁹. Они решительнейшим образом осуждали так называемое раболопство большевиков перед иностранным капиталом, появление новых мелкобуржуазных и откровенно буржуазных слоев вроде «спецов» и «нэпманов», осуждали укрепление частнособственнических тенденций в деревне и в то же время обвиняли большевиков в том, что они своими притеснениями и поборами воздвигают препятствия на пути развития крестьянства.

Однозначным, однако, было их отношение к политической линии, проводимой режимом в годы нэпа³⁰. Первую попытку установить связь между критикой экономики и критикой политики можно усмотреть в их выступлениях против бюрократии. Новый русский бюрократический аппарат, по мнению меньшевиков, основывается не на пролетариате, а на люмпенских слоях и состоит из приспособленцев и переживших все потрясения выходцев из низших ступеней царской бюрократической иерархии. Таким образом, новый бюрократический аппарат является воплощением коррупции и посредственности; он представляет собой отбросы общества, осуществляет данную им власть по собственному произволу и развращен своей глубочайшей некомпетентностью³¹. Так, благодаря меньшевикам формируются первые суждения насчет советского общества как общества бюрократического, которые позднее получают развитие в различных критических течениях как марксистского, так и антимарксистского толка.

Другая линия связи между экономикой и политикой периода нэпа выявилась в результате осуществленного меньшевиками анализа террора³². Хотя казни без суда и следствия

²⁹ «Откровенно» — передовая статья в «СВ», 4 мая 1921 года; Д. Далин. Денационализация. — Там же, 21 февраля 1923 года; «Первый шаг». — Там же, 31 января 1923 года; «Промышленный кризис в России» — передовая статья в «СВ», 17 декабря 1923 года.

³⁰ Помимо статей в «СВ», указанных выше, см. также: R. Abramowitsch. Die Entwicklung Sowjetrusslands. — In: „Gesellschaft“, 1926, März, S. 322—345.

³¹ Первые суждения на этот счет см.: «Пути революции» — передовая статья в «СВ», 16 февраля 1921 года; см. также: Ф. Дан. Конец Троцкого. — Там же, 1 декабря 1924 года; Д. Далин. Фельдфебель в Вольтерах. — Там же, 15 мая 1923 года; «Крестьянство и кризис диктатуры» — передовая статья в «СВ», 31 января 1925 года.

³² См.: R. Abramowitsch, I. Tseretelli. Der Terror gegen die Sozialisten in Sowjet Russland und Georgien. Berlin, 1925.

предыдущего периода в годы нэпа и прекращаются, равно как и орудие террора ЧК заменяется ГПУ, тем не менее так называемые административные меры по отношению к оппозиционерам свидетельствуют о продолжении террора, пусть и в сглаженной форме. Не только классовые враги, но и социалисты подвергаются тюремному заключению, отправляются в изгнание или ссылку, в лагеря принудительного труда. Меншевики были убеждены, что эта политика террора является неизбежным следствием «авантюризма» большевиков, пытающихся править страной в отрыве от своей же социальной базы, построить капитализм без введения демократии. Террор, считают они, обнажил реальную слабость режима³³.

Однако меньшевики проявляли определенную сдержанность в своих суждениях по поводу преследований, жертвами которых они были. Они считали, что, хотя террор является признаком слабости, жалобы на него были бы проявлением морализирования, весьма мало связанного с революционным духом, свидетельством отсутствия глубокой критики режима³⁴. Когда террор на исходе 20-х годов и особенно в последующее десятилетие снова дал о себе знать, то меньшевики смогли преодолеть свою сдержанность ценой нарушения целостности своей идеологии.

Итак, позиция меньшевиков в годы нэпа не была лишена двусмысленности. В своем анализе общества они делали упор на необходимость установления подлинно демократического союза между крестьянством и рабочим классом³⁵, хотя и признавали, что вопрос о демократии не фигурирует среди требований крестьянства, которое, приобретя землю и сумев отстоять свое право на нее, считает революцию завершенной. Наряду с этим они признавали, что рабочий класс, который должен был бы играть роль движущей силы в вопросе о демократизации, ослаблен и деморализован³⁶. По этой причине он представлялся меньшевикам неспособным защищать интересы революции и реализовать свою историческую задачу — осуществить демократию. Подобное противоречие в аргументации меньшевиков проявилось и в их осуждении террора, и в анализе сущности большевизма. Не ясно, должно ли быть окончание террора, согласно меньшевикам, предварительным условием или же результатом демократизации³⁷. Не видно,

³³ См. Л. М. (Л. Мартов). Победа на бутырском фронте. — «СВ», 5 июня 1921 года.

³⁴ См., например: T. Dan, S. P. Melgunow. Der rote Terror in Russland 1918—1923. — In: „Gesellschaft“, 1925, Februar, S. 185—187.

³⁵ См., например: Л. М. (Л. Мартов). Соглашение с крестьянством. — «СВ», 20 апреля 1921 года.

³⁶ См. передовую статью в «СВ», 1 сентября 1923 года. — «Историческое дело».

³⁷ Вопрос об этом поставлен уже в письме И. И. Рубина в Политбюро РСДРП, 25 ноября 1921 года (Архив Николаевского, 25/3).

на какой основе меньшевики рассчитывали на преобразование режима изнутри — ведь если диктатура выражает самую суть большевизма, то почему и каким образом эта партия может пойти на демократизацию?

Введение нэпа тем не менее позволило меньшевикам разработать последовательную идеологическую позицию, согласно которой большевистская диктатура осуществляет (хотя и в утопических и грубых, или даже извращенных, формах) задачи буржуазной и крестьянской революции. Партия большевиков, происходящая от русской социал-демократии и поддерживаемая, несмотря на свои ошибки, более или менее значительной частью рабочего класса, не может полностью порвать со своим социальным происхождением. Таким образом, несмотря на все свои эксцессы, эта партия сознательно никогда не перейдет в стан контрреволюции³⁸.

В некотором смысле эта партия является, следовательно, гарантом против сил реакции и реставрации, хотя эта ее активная функция в значительной мере исчерпала себя с окончанием гражданской войны и поражением армий интервентов. В новой революционной фазе, какой является нэп, задача большевиков должна состоять в защите завоеваний и интересов революции в условиях капитализма. Таким образом, эволюция советского режима делает возможной только одну альтернативу: или капитализм, который, не найдя выхода в демократии, приведет к окончательному поражению революции, или же капитализм в сочетании с демократией, готовящий почву для будущего социализма. Задача меньшевиков в этих обстоятельствах состоит не в том, чтобы бороться за власть, а в том, чтобы бороться за гегемонию в рабочем классе. Если меньшевикам удастся стать во главе русского пролетариата, то они сумеют защитить интересы революции, оказывая постоянное давление на власть большевиков в направлении демократизации³⁹.

Но в самой партии меньшевиков эта позиция не пользовалась единодушным одобрением. Правое крыло упрекало партию в том, что она проводит только «стратегическую» оппозицию, а не оппозицию «принципиальную» по отношению

³⁸ Эта классическая формулировка содержится в: Л. М. (Л. Мартов). По поводу письма тов. П. В. Аксельрода. — «СВ», 20 мая 1921 года; см. также: Ф. Дан. Первый шаг, и передовую статью «Крестьянство и кризис диктатуры». В дальнейшем переработана в: R. Abramowitsch. Stalinismus oder Sozialdemokratie. — In: „Gesellschaft“, 1932, September, S. 133—147.

³⁹ Общую оценку меньшевиками ситуации в России в годы нэпа, предназначенную для социалистов других стран, см. в: Т. Дан. Sowjetrusland wie es wirklich ist. Ein Leitfaden für Russland delegierte. Praha, 1926; R. Abramowitsch. Die Zukunft Sowjetrusslands. Jena, 1923.

к большевистской диктатуре⁴⁰. Однако эволюция нэпа и расплывчатый характер позиций меньшевиков облегчили относительно гармоничное сотрудничество между различными течениями меньшевизма. Результатом такого сотрудничества явилась новая платформа партии 1924 года, последняя, о которой смогли договориться все течения⁴¹. Эта платформа, заменившая меньшевистские апрельские тезисы 1920 года, считала не подлежащим сомнению наступление периода капиталистической стабилизации на Западе и более или менее продолжительного периода капиталистического строительства в СССР. Призывая большевиков уважать хотя бы свою собственную советскую Конституцию, платформа выдвигала требование «демократической республики», создание которой должно было бы обеспечить денационализацию промышленности, укрепление прав крестьянской собственности и установление политических и профсоюзных свобод. Наконец, платформа требовала отмены привилегий для коммунистической партии, не упоминая, однако, о восстановлении других политических организаций. Несмотря на провал революционных надежд 1920 года, платформа 1924 года оказалась тем не менее в состоянии установить линию преемственности по отношению к апрельским тезисам 1920 года благодаря понятию так называемого *трудоустройства*, то есть распространения демократии только на класс трудящихся. Открыто поставленный в 1920 году и в скрытом виде содержащийся в платформе 1924 года вопрос об ограничении демократических прав стал основной мишенью для нападок правых меньшевиков, усмотревших в подобной постановке вопроса отказ партии от демократических обязательств⁴².

Другой пример того, что мы определили как расплывчатый характер меньшевистской позиции, содержится в дискуссии по вопросу о бонапартизме. Меньшевики, как, впрочем, и большевики и западные марксисты, глубоко впитали в себя историю Французской революции, и в своих попытках найти объяснение эволюции советского режима почти инстинктивно проводили определенные сопоставления с великой буржуазной революцией, из которой черпали терминологию для определения событий и явлений своего времени⁴³. Такие слова, как «термидор» или «бонапартизм», постоянно присутству-

⁴⁰ См.: Г. Аронсон. К пересмотру нашей платформы. — «СВ», 21 ноября 1922 года; воспроизведено в его же работе «Большевистская революция и меньшевики: статьи и материалы к истории социалистической мысли в эмиграции». Нью-Йорк, 1955 (в дальнейшем — Г. Аронсон. БРиМ), с. 36—42.

⁴¹ См.: „Aktionsprogramm der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands“. — In: „Kampf“, 18 März 1925, S. 96—109.

⁴² Г. Аронсон. Спор, взвешенный судьбой... — Г. Аронсон. БРиМ, с. 6.

⁴³ Классический пример критического отношения к подобным сопоставлениям см. в статье: П. Б. Аксельрод. О большевизме и борьбе с ним. — «СВ», 20 апреля 1921 года.

ют в марксистских дискуссиях того времени, хотя они нередко и затемняют те факты, которые хотели бы объяснить.

Термин «бонапартизм» в том употреблении, которое свойственно марксистам, служит для определения двух отдельных явлений. С одной стороны, он касается ситуации, при которой господствует равновесие в соотношении сил между основными социальными классами, позволяющее политической власти, свободной от всякого классового принуждения, навязать себя обществу, противопоставляя один класс другому⁴⁴. С другой стороны, термин «бонапартизм» связан с диктатурой, обычно личной и военного происхождения, возникающей в конце революционного кризиса и знаменующей его завершение, несмотря на то что такая диктатура и сохраняет некоторые объективно революционные черты⁴⁵.

Меньшевики, говоря о бонапартизме, употребляли его и в первом варианте, в основе которого лежит история Луи Бонапарта в период после 1848 года, и во втором, связанном с правлением Наполеона I. Иногда меньшевики утверждали, что Советская власть пытается удержаться на основе равновесия сил, существующего между крестьянством и рабочим классом, выступая в споре между ними в качестве арбитра. Однако чаще всего они имели в виду наполеоновскую историю. Они хотели подчеркнуть, что вырождение революции, проявляющееся в утрате большевистской партией революционного запала и в тупике, в который зашла политика режима, может найти выход именно в индивидуальном или коллективном бонапартизме, то есть в тотальном захвате власти личностью или группой, которая в конце концов отмежуется не только от жизненных сил революции, но и от самой большевистской партии как таковой⁴⁶. Кандидаты на бонапартистское решение проблемы были многочисленны, но как личности они сами по себе ничего особенного не представляли: будет ли это какой-нибудь Троцкий или какой-нибудь Сталин — все равно судьба революции так или иначе предрешена.

Тем не менее различные оттенки в позиции меньшевиков по вопросу о бонапартизме не объясняются только наличием этих двух вариантов бонапартизма. В рамках, например, второго варианта (наполеоновского) наблюдается значительная двусмысленность, связанная с вопросом о том, проявляется ли в Советской России периода нэпа только тенденция к бонапартизму или уже можно говорить о наличии в ней характерных черт бонапартистского режима.

⁴⁴ См.: O. Bauer. Das Gleichgewicht der Klassenkräfte. — In: „Kampf“, 16 Februar 1924, S. 57—67.

⁴⁵ См.: T. Dan. Sowjetrussland wie es wirklich ist, cit.; R. Abnamowitsch. Die Zukunft Sowjetrusslands, cit.

⁴⁶ На возможность подобного хода событий указывал уже Мартов в своей статье «Ленин против коммунизма», опубликованной в «СВ», 19 июня 1921 года.

Для группы большинства, окружавшей Дана, было очевидно, что опасность бонапартизма в СССР огромна и постоянно возрастает. Однако, до тех пор пока бонапартизм не являлся свершившимся фактом, сохранялась надежда на то, что России удастся избежать этой опасности. Задачей меньшевиков как раз и является задача оказывать давление, чтобы способствовать замене бонапартизма демократией. На это правое крыло партии возражало, что вырождение революции (признанное и документально подтвержденное Даном и его последователями) достаточно доказывает тот факт, что режим уже совершил бонапартистский поворот. Иными словами, какой еще трансформации режима следует ожидать, чтобы большинство партии признало наконец триумф бонапартизма в России?⁴⁷

Эти разногласия еще более углубились в 30-е годы, когда укрепление личной власти Сталина в конечном итоге ослабило позиции Дана и изменило соотношение сил внутри партии меньшевиков в пользу правых.

3. Сталинская «генеральная линия»

Несмотря на двусмысленность платформы и внутренние дискуссии, меньшевики наблюдали за эволюцией нэпа в направлении «генеральной линии» с определенным спокойствием⁴⁸. Заявив, что реставрация частного сектора заставит большевиков пойти на такие политические уступки, о которых они не смеют и думать, меньшевики без удивления взирали на то, как режим пытается все более авантюристическими методами преодолеть нэп. По их мнению, любая попытка избежать последствий нэпа путем радикального поворота лишила бы диктатуру своей последней поддержки и привела бы к падению режима. Поэтому меньшевики утверждали, что даже если нэп и исчерпал свои возможности и довел режим до паралича, все равно большевики попытаются продлить нэп как можно дольше⁴⁹.

⁴⁷ О позиции правых см.: *П. Гарви*. Бонапартизм или демократия. — Там же, 17 декабря 1923 года; о позиции большинства см.: *Д. Далин*. О сущности режима. — Там же, 6 марта 1928 года.

⁴⁸ См., например, письмо Р. Абрамовича, адресованное Каутскому (24 мая 1925 года, в Архиве Каутского, Д1/12, 11): «Что касается развития обстановки в России, то может показаться, будто тамошние ребята (*die Kerle*) задались целью вести себя таким образом, чтобы мы, марксисты, в своем анализе оказались в конечном итоге правы. Это, конечно, весьма любезно со стороны большевиков, но, искренне говоря, я предпочел бы, чтобы они нашли другую форму сотрудничества с нами, отличную от той, которую мы предвидели».

⁴⁹ *О. Доманевская*. Пятилетка и ее перспективы. — «СВ», 1 июня 1929 года. Вопрос о возможности продолжительного поворота влево поставлен в анализе, осуществленном в: *T. Dan*. Die neue Phase der Bolschewistischen Diktatur und die Sozialistische Arbeiter Internationale. — In: „Kampf“, 21 Juli — August 1928, S. 415—422.

Именно убежденностью в этом объясняется отсутствие сколько-нибудь сильных эмоций среди меньшевиков в связи с дискуссиями о первом пятилетнем плане и «великим переломом» 1928 года *. Отдавая себе отчет в том, что реализация плана предполагает ускоренную индустриализацию и вызывает необходимость большей эксплуатации крестьян⁵⁰, меньшевики тем не менее продолжают упорно интерпретировать новый сталинский курс как временную и отчаянную меру, предпринятую в последний момент с целью спасти агонизирующий режим⁵¹. Речь шла, по их мнению, о таком же крутом повороте, каким был нэп, повороте, который, будучи теперь антинэпом, идет в противоположном по сравнению с 1921 годом направлении, возвращаясь к новому изданию «военного коммунизма». Таким образом, как бы повторяется, по выражению Маркса, в виде фарса великая историческая драма, и режим, теперь полностью себя дискредитировавший и лишенный такого руководителя, как Ленин, более не в состоянии мобилизовать народ во имя подобного политического поворота. «Генеральная линия» Сталина, следовательно, бесперспективна; меньшевики обосновывали такой свой взгляд на положение дел путем пространных описаний проблем, шахаханий и отступлений режима в период с 1928 по 1931 год⁵².

На долю социалистов других стран, прежде всего Каутского и Отто Бауэра, выпала задача подвести первые итоги экономических и социальных изменений, вызванных «генеральной линией». Анализ этих двух социал-демократических лидеров, при всех его существенных различиях, имеет один общий элемент: призыв к меньшевикам пересмотреть лежащие в основе их позиции предпосылки и осознать наконец окончательный характер преобразований, происшедших в СССР. В этой связи полемика меньшевиков против Каутского и Бауэра явилась поворотным моментом в эволюции меньшевизма; в то же время она показывает, с каким настрое-

* Так в итальянском тексте. — *Прим. ред.*

⁵⁰ Не утративший и до его дня своего значения анализ см. в кн.: А. А. Югов. Пятилетка. Берлин, 1931.

⁵¹ См.: «Предостережение», «Судороги диктатуры» и «Перед взрывом», статьи, опубликованные в «СВ», 9 января 1929 года, 12 апреля и 22 ноября 1930 года; Ф. Дан. Политические перспективы сталинского курса. — Там же, 7 ноября 1929 года.

⁵² См.: «Без перспектив», «Антинэп» и «Политика примечаний» — статьи опубликованные в «СВ» 21 февраля, 6 марта и 13 октября 1928 года; Д. Далин. Нэп и Антинэп. — Там же, 8 марта 1929 года; его же. Год великого перелома. — Там же, 21 ноября 1929 года; его же. Рабочие против крестьян. — Там же, 21 декабря 1929 года. Общая позиция меньшевиков по этой проблеме изложена в официальном документе, опубликованном в «СВ» 17 мая 1930 года. — «К заседанию исполкома РСРП: О современном политическом положении в Советском Союзе», а также: „The situation in Soviet Russia, July 1931. To the International Socialist Workers Congress in Vienna“. Berlin, 1931.

нием западный социализм отреагировал на сталинский «перелом».

В 1930 году в своем ответе Каутскому меньшевики, конечно же, не впервые столкнулись с достопочтенным мэтром марксизма⁵³. Ярая враждебность Каутского к советскому режиму начиная с 1917 года вызвала со стороны меньшевиков немало возражений. Показательным в этом плане является меморандум (содержащий разработку аргументов, использованных затем в 1930 году) по русскому вопросу, который Каутский направил Социнтерну в 1924 году⁵⁴. В нем Каутский настаивал на необходимости того, чтобы Интернационал развернул против большевизма борьбу не менее энергичную, чем та, которая велась против царизма накануне 1917 года. Если даже большевики и были в прошлом социалистами, писал он здесь, то теперь они более не являются таковыми: большевики представляют только самих себя и правят только при помощи террора и насилия. По его мнению, если в России вспыхнет крестьянское восстание, то социалисты должны его возглавить, ибо к какому бы результату такое восстание ни привело — все равно любой другой режим предпочтительнее большевистского. На этот меморандум меньшевики реагировали энергично⁵⁵, отрицая характеристику большевизма, данную Каутским, и называя автора меморандума авантюристом. Ни в коем случае, утверждали они, мы не возьмем на себя историческую ответственность участия в уничтожении режима, возникшего в результате революции. Ответ меньшевиков, не переубедивший Каутского, тем не менее достиг той цели, что прекратил любые дискуссии в Социнтерне по его меморандуму.

Таким образом, Дан и Абрамович возобновили в 1930 году свою прежнюю дискуссию с Каутским, хотя она и велась теперь в изменившихся условиях⁵⁶. По мнению Абрамовича, вопрос, поставленный Каутским, состоял в том, чтобы установить, является ли большевизм носителем «лжереволюции» или же «подлинной контрреволюции». Меньшевики придерживались первой версии, определяя большевистскую революцию как якобинскую и утопическую. Каутский, напротив, был убежден в том, что большевизм является контрреволюцией, и отождествлял его с бонапартизмом. Таким образом,

⁵³ K. Kautsky. Der Bolschewismus in der Sackgasse. Berlin, 1930.

⁵⁴ K. Kautsky. Die Internationale und Sowjetrussland. Berlin, 1925.

⁵⁵ T. Dan. Kautsky über den russischen Bolschewismus. — In: „Kampf“, 18 Juli 1925, S. 241—251.

⁵⁶ R. Abramowitsch. Revolution und Conterrevolution in Russland. Das neue Kautsky Buch über Russland. — In: „Gesellschaft“, August, 1930, S. 532—540; T. Dan. Probleme der Liquidationsperiode. — In: „Kampf“, 23 Dezember 1930, S. 504—519. См. также письма Дана к Каутскому 7 апреля, 8 мая и 24 августа 1930 года. — Архив Каутского, 16/29, 34, 36. См.: Р. Абрамович. На ту же тему. — «СВ», 28 февраля 1931 года.

полемика с Каутским была связана с дискуссиями среди меньшевиков по вопросу о бонапартизме, но с включением теперь в нее нового элемента: бонапартизм, согласно меньшевистскому анализу 1930 года, является не просто формой контрреволюции, вбирающей в себя некоторые аспекты предшествующей революции, как считал Каутский, бонапартизм—это антидемократическая ликвидация революции путем использования сил, раскрепощенных самой же революцией. Однако, добавляли при этом меньшевики, речь идет о ликвидации, проделываемой в пользу новых классов собственников. Бонапартизм в России означает, таким образом, лишь то, что большевистская диктатура беременна капиталистическим содержанием. Следовательно, даже если и возможно усматривать в некоторых тенденциях советского режима капиталистическую направленность, утверждали меньшевики, то проводимая большевиками политика индустриализации и коллективизации идет, скорее всего, в обратном направлении. Ценой разрушения народного хозяйства сталинская «генеральная линия» разрушает ростки капитализма, проросшие в годы нэпа.

Это, однако, не означает, что опасность бонапартизма представлялась меньшевикам полностью преодоленной. Меньшевики были согласны с Каутским в том, что «генеральная линия» не сможет привести к достижению поставленных целей. Исходя из этого, меньшевики предполагали, что бонапартизм может возникнуть в результате провала «генеральной линии». Но и по этому пункту возникли новые разногласия. Абрамович настаивал на том, что его партия осуждает «генеральную линию» именно потому, что она обречена на провал. В прямую противоположность Каутскому он утверждал, что отнюдь не является необходимым считать большевистский режим контрреволюционным с целью ведения против него борьбы не на жизнь, а на смерть. Эффективность борьбы зависит от убежденности в том, что цели большевизма (особенно цели «генеральной линии») утопичны и неосуществимы. Согласно такому подходу, меньшевики не выступали против коллективизации или индустриализации как таковых. Они признавали, что колхозы представляют собой особенно варварскую форму утопической революции. Но меньшевики возражали только против того, что колхозы, разрушая сельское хозяйство и угнетая крестьянство, расчищают путь контрреволюционной, или бонапартистской, реакции. Они полагали, что в случае успеха «генеральной линии» отпадает всякая необходимость знать, какими средствами, «хорошими» или «плохими», было обеспечено ее торжество. «Историю, — замечает Абрамович, — не тревожат подобные мелочи»⁵⁷. Следует подчеркнуть, что спустя два года вследствие

⁵⁷ R. Abramowitsch. Revolution und Konterrevolution, cit., S. 533.

успехов, одержанных большевиками, и выступления Отто Бауэра Абрамович отказался от подобного аморализма и стал придерживаться совершенно иной линии.

Полемика с Каутским затронула меньшевиков в гораздо меньшей степени, чем полемика с Отто Бауэром, развернувшаяся в 1931 году⁵⁸. Тезисы Каутского по вопросу о «генеральной линии» сводились к повторению однажды высказанных им аргументов; кроме того, они отражали позицию явного меньшинства в международном социалистическом движении. Выступление Бауэра, напротив, внесло в дискуссию новый элемент. Прежде всего потому, что позиции Бауэра вплоть до 1931 года во многом совпадали с позициями меньшевиков; особенно же потому, что новые взгляды Бауэра выразили те позиции, которые в течение 30-х годов все более укреплялись среди западных социалистов⁵⁹. Короче говоря, Бауэр признал, что уже первые в годы пятилетки большевики не только искоренили последние остатки феодализма, но и создали также элементы социалистического строя. План, казавшийся поначалу утопическим, оказался успешным; для того чтобы этот успех закрепить, необходимо «терпеть» существование диктатуры, единственной силы, способной обеспечить участие рабочего класса в реализации плана и снабжении города деревней. Согласно Бауэру, как только экономические предпосылки социализма будут обеспечены, диктатура под давлением различных внутренних и внешних сил уступит место демократизации.

Ответ меньшевиков был чрезвычайно жестким. Они предприняли попытку опровергнуть аргументацию Бауэра, показывая (на основе советского же цифрового материала), что экономические успехи первой пятилетки являются в широком смысле иллюзорными, что «рационализм» плана надуман, а перспективы передышки, обещанной классам, несущим основное бремя пятилетки, — это пустые обещания⁶⁰. Но главное, в теоретическом плане ответ меньшевиков затрагивал сердцевину дискуссии о сталинизме. Меньшевики обвинили Бауэра в том, что он выступил с одобрением сталинской доктрины о «социализме в одной стране», равно как и старого на-

⁵⁸ O. Bauer. *Kapitalismus und Sozialismus nach dem Weltkrieg*, vol. I: *Rationalisierung-Fehlrationalisierung*. Wien, 1933. Д. Далин. Вокруг пятилетки. — «СБ», 13 июня 1931 года. Т. Dan. Zur sozial-ökonomischen Entwicklung Russlands. — In: „Gesellschaft“, 1932, September, S. 310—324; R. Abramowitsch. Fünfjahresplan und Sozialdemokratie, ivi, 1931, VIII, S. 24—39; R. Abramowitsch. Stalinismus oder Sozialdemokratie, cit.

⁵⁹ О его позициях, весьма близких к меньшевикам до 1931 года, см.: O. Bauer. Der Kongress in Marseilles. — In: „Kampf“, 18 Juli-August 1925, S. 281—285; „Socialism and Soviet Russia. Speech by Otto Bauer“. — In: „International Information“, 31 December 1925.

⁶⁰ См.: Югов. Пятилетка; „Die Ergebnisse des Fünfjahresplan“. — In: „Gesellschaft“, Oktober, 1933, S. 141—153.

роднического тезиса, согласно которому Россия могла миновать капиталистическую фазу развития при переходе к социализму⁶¹. Ответ, однако, оказался гораздо более тонким, чем может показаться на первый взгляд. Дан обвинил Бауэра в том, что он, как и в прошлом, подходит к политике с двойной меркой: выступая в защиту демократии в передовых странах Запада, он в то же время соглашается с диктатурой в России под тем предлогом, что, мол, эта отсталая и полуазиатская страна и не может развиваться по-другому⁶². Следствием подобной политики является пассивное отношение к наихудшим эксцессам и наиболее тяжелым ошибкам большевиков, которые в конце концов получают оправдание во имя неизбежности и «исторических оснований».

Однако, быть может, наибольшей проницательностью во всей этой дискуссии отличались критические высказывания Абрамовича. В схематическом изложении его аргументация сводится к следующему: коль скоро диктатура в состоянии обеспечить материальное благосостояние, подъем уровня культуры и социальной справедливости, а также статус великой державы по отношению к другим странам, не создавая при этом даже видимости свободы, то в таком случае какой вообще прок от свободы? Какие права имеют поборники свободы, какие доводы могут они привести в ее пользу, чтобы потребовать ликвидации торжествующей диктатуры; какой отклик могут найти в массах подобные призывы?⁶³ Вопрос, конечно, заслуживал постановки. Однако найти на него ответ было нелегким делом.

Дискуссия с Каутским и Бауэром отозвалась эхом в самой партии. Правое крыло усматривало в переменах, происшедших в СССР в результате «генеральной линии», подтверждение овоих прежних тезисов, согласно которым сталинская политика «великого перелома» представляла собой всего лишь кульминационную фазу процесса вырождения революции, развивавшегося в России в течение ряда лет⁶⁴. Пытаясь извлечь выгоду из разброда и шатаний, вызванных в партии русскими событиями, отразившимися в полемике с Каутским и Бауэром, правые меньшевики поставили более широко и с большой настоятельностью под вопрос «линию Мартова», которой партия придерживалась с самого начала эмиграции. Прежде всего они подвергли осуждению оптимизм, который

⁶¹ Ф. Дан. Перспективы «генеральной линии». — *Югов*. Пятилетка, с. 152—168.

⁶² Т. Дан. *Tua res agitur*, cit., S. 61.

⁶³ R. Abramowitsch. *Stalinismus oder Sozialdemokratie*, cit., S. 145.

⁶⁴ П. Гарви. Новый этап диктатуры и наша тактика. — «СВ», 8 февраля 1930 года. Ответ редакции «СВ» (Дан, Далин, Абрамович). Повторение пройденного. — «СВ», 28 февраля 1930 года; см. также: Г. Аронсон. На новом этапе. — «СВ», 15 апреля 1932 года; БРиМ, с. 43—48.

заставлял верить в возможность демократической эволюции советского режима, и атаковали тактику, состоявшую в поиске такой почвы, на которой было бы возможно достижение соглашения с режимом с целью предоставления ему по меньшей мере условной поддержки.

Во имя глубокого, считавшегося уже безотлагательным пересмотра линии партии правые атаковали Дана, главного творца политики, которая рассматривалась как совокупность иллюзий, компромиссов и несбывшихся благих пожеланий⁶⁵. Критика, обрушившаяся на Дана, затрагивала, однако, не только его прошлую политику периода нэпа. Гарви и Аронсон обвинили главу своей партии в том, что он продолжает питать иллюзии в отношении СССР вопреки очевидному краху всех прошлых надежд. Несмотря на энергичный стиль полемики Дана с Бауэром, правые обвиняли его в том, что он, не решаясь признаться в этом даже самому себе, впал в те же ошибки, что и Отто Бауэр.

Зная об эволюции Дана в последние годы жизни в направлении коммунизма, трудно удержаться от того, чтобы не признать правоту подобных обвинений и не увидеть Дана уже вставшим на скользкий путь, приведший его в конце концов к восхвалению СССР. В самом деле, уже в своей полемике с Бауэром Дан признавал, что некоторые изменения, происшедшие в период между 1928 и 1931 годами, дали долгосрочные результаты, которые не должны и не могут быть поставлены под вопрос даже после падения большевистского режима. Дан настаивал, например, что в таком случае не следует приступать к полной деколлективизации в России, хотя бы для того, чтобы избежать такого положения, при котором крестьянам придется «расплачиваться дважды» за коллективизацию⁶⁶. Припертый к стене своими критиками, Дан отвечал, что эти его размышления и точки соприкосновения с Бауэром носят сугубо экономический характер. Подобный ответ, однако, не успокоил недоверия правого крыла. Хотя Дан и отвергал тезис Бауэра, согласно которому «генеральная линия» ввела якобы «элементы социализма», он тем не менее усматривал в ряде изменений в СССР факторы, способные облегчить в будущем ускоренное развитие России в направлении социализма. Таким образом, утверждали правые, Дан снова попал в ловушку, расставленную Бауэром⁶⁷.

⁶⁵ О нападках на Дана см. предшествующую сноску; его ответ см.: Вольная запись доклада Ф. Дана, прочитанного в берлинском соц.-дем. клубе в январе 1931 года (Архив Николаевского, 44). На более высоком теоретическом уровне см.: *T. Dan. Les socialistes russes et la dictature du prolétariat*. Paris, 1934.

⁶⁶ *T. Dan. Zur sozial-ökonomischen Entwicklung Russlands*, cit.

⁶⁷ Г. Аронсон. Основные линии наших разногласий. — «СВ», 4 марта 1933 года; БРЯМ, с. 56—63.

Было бы, однако, необоснованно уже в этих позициях Дана усматривать мнения, аналогичные тем, которые созреют позднее. Мы еще увидим, что в течение 30-х годов Дан и его группа отчаянно пытались отыскать в эволюции большевистской партии и Советского государства элементы, способные подтвердить их тезисы 20-х годов относительно возможности демократического развития СССР. Эти попытки носили тактический характер. Но уже в начале 30-х годов Дан и близкие к нему меньшевики стали объяснять развитие СССР при помощи марксистских категорий, признавая новизну происшедших изменений, но не доходя до капитуляции. В частности, они развивали концепцию государственного капитализма. Невзирая на провал подобной попытки, систематическое появление этой концепции в их работах на советскую тематику дает основание для краткого анализа этого аспекта меньшевистских позиций.

Уже в годы нэпа концепция госкапитализма была изучена и отвергнута меньшевиками, в особенности Даном и другими экономистами⁶⁸. Утверждение Ленина, согласно которому СССР в этот период не знал ни социализма, ни капитализма, а только государственный капитализм, представлялось им по различным причинам преднамеренной мистификацией. Прежде всего потому, что государственный сектор советской экономики был еще слишком незначительным, чтобы быть определяющим моментом существующей социально-экономической формации. Во-вторых, по их мнению, такой сугубо формальный и юридический факт, как передача прав собственности (неважно, идет ли речь о земле или промышленных предприятиях) из частных рук в руки государства, не может считаться достаточным критерием, чтобы говорить об изменении природы целой социально-экономической формации. Согласно меньшевикам, социалисты предусматривают огосударствление экономики в целях подъема уровня ее производительности. Но если подобный результат не достигается (как и случилось в Советской России), то экономика должна быть возвращена к первоначальным капиталистическим формам. Более того, провал в деле огосударствления, в особенности тогда, когда оно осуществляется режимом, именующим себя рабочим и социалистическим, дискредитирует не только режим, но и любой другой будущий проект этатизации экономики, уменьшая тем самым силу притягательности социализма во всемирном масштабе.

Ввиду этих возражений меньшевики в 20-е годы отказались от концепции государственного капитализма. Хотя это понятие время от времени и появлялось в их работах, платформа 1924 года предусматривала для России только воз-

⁶⁸ Д. Далин. Государственный капитализм. — «СВ», 1 июля 1923 года.

возможность классического капиталистического развития, основанного на частной собственности⁶⁹. О государственном капитализме снова заговорили только в ходе дискуссии по вопросу о «генеральной линии», особенно в связи с выступлением Отто Бауэра. Теперь эта концепция использовалась из соображений стратегии: характеристика советского общества как общества государственного капитализма, казалось, предоставляла возможность не отказываться от тезиса, по которому Россия должна пройти фазу капиталистического развития, и в то же время признать глубину преобразований, происшедших в результате претворения в жизнь «генеральной линии». Наконец, эта характеристика позволяла уйти от острого вопроса о наличии или отсутствии элементов социализма в СССР.

Забавно, что попытка найти в концепции государственного капитализма почву для соглашения между различными тенденциями партии меньшевиков была отвергнута как левыми, так и правыми. Представительница крайне левых меньшевиков Ольга Доманевская опровергла эту концепцию на основе тщательного анализа природы капитализма и советской действительности⁷⁰. По ее мнению, капитализм может быть определен как система, в которой производительные силы развиваются в рамках закона рынка с целью извлечения максимальной прибавочной стоимости. В подобной системе средства производства принадлежат не трудящимся, а их антагонистическому классу — классу капиталистов, извлекающих прибавочную стоимость и играющих в стране роль руководящего класса. Однако никто не станет утверждать, что в СССР экономика организована по законам рынка с целью извлечения прибавочной стоимости. Поскольку советская экономика подчинена плану, устанавливаемому государством, Советская власть не может быть определена в качестве коллективного капиталиста. Ликвидировав крупную и среднюю буржуазию, эта власть опирается на рабочий класс и пытается строить социализм. Логика аргументации приводит Доманевскую к выводу, что советская система является социальной формацией совершенно нового типа. Это, несомненно, послекапиталистическая система, которая может считаться даже определенной фазой социализма, если отделить первую фазу социализма (при наличии в ней еще целого ряда нега-

⁶⁹ Аргументацию в пользу этого тезиса см.: *Р. Абрамович. О путях развития России: ответ студенту.* — Там же, 9 июня 1928 года; более двусмысленная позиция дана в работе Дана. См.: *T. Dan. Das bolschewistische Experiment und der Sozialismus.* — In: „Kampf“, 19 Juli 1926, S. 288—300.

⁷⁰ *О. Доманевская. Строй Советской России. Госкапитализм или переходная стадия к социализму.* — «СВ», 25 сентября 1934 года.

тивных аспектов) от последующей фазы, где эти негативные аспекты будут устранены.

Со своей стороны правые меньшевики отвергали концепцию государственного капитализма⁷¹, утверждая, что она может иметь значение для стран Запада, где классический капитализм выступает в сопровождении политической демократии. В подобных условиях огосударствление экономики и в самом деле в состоянии способствовать историческому прогрессу. Однако в случае СССР, где государство держится на терроре и деспотизме, этатизация экономики имеет совершенно иное значение. Вот почему применение к СССР концепции, описывающей иное явление, является грубым искажением концепции и неоправданной экстраполяцией западного опыта. Более всего правых меньшевиков, равно как и Дана, заблуждали соображения стратегического характера. Они стремились захлопнуть дверь перед всяким истолкованием советского общества, которое приводило бы к подтверждению сталинского опыта, изображая его шагом в направлении социализма.

Отвергнув концепцию государственного капитализма, правые меньшевики предприняли попытку применить к советскому феномену другие определения — все чаще режим в СССР сравнивали с фашизмом и тоталитаризмом. Однако на этом пути теоретические обобщения не были достигнуты — во всяком случае, до тех пор пока не стала угасать дискуссия по вопросу о госкапитализме. В 1940 году по инициативе Николаевского, предпринятой от имени правых меньшевиков, Рудольф Гильфердинг опубликовал в «Социалистическом вестнике» статью, озаглавленную «Государственный капитализм или тоталитарная государственная экономика», которая вызвала большой шум⁷². Любопытно отметить, что Гильфердинг в целях опровержения концепции госкапитализма и ее применимости к СССР прибег к тем же аргументам, которые за шесть лет до него употребила Доманевская. Выводы его тоже в известной мере совпали с выводами, к которым пришла представительница левых меньшевиков. Оба они согласны с утверждением, что СССР представляет собой социально-экономическую формацию нового типа, не имеющую прецедента в истории. Однако, по мнению Гильфердинга, речь идет о «тоталитарной» формации, не несущей в себе никаких элементов будущего социализма.

⁷¹ Г. Аронсон. О мировом госкапитализме и о русском крестьянстве. — «СВ», 15 октября 1932 года; БРМ, с. 49—55.

⁷² «СВ», 25 апреля 1940 года (*R. Hilferding. State capitalism or totalitarian State economy.* — In: „Modern Review“, I, 1947, № 4, p. 266—271. Среди вдохновителей этого журнала были Абрамович и другой меньшевик, Георгий Денике).

4. Конституция 1936 года, антифашистский фронт и война

В 30-е годы политический горизонт для меньшевиков становится еще более мрачным. Так, Абрамович описывает последние годы, прожитые в Берлине до захвата власти Гитлером в 1933 году, как годы материальной и моральной нужды. При этом он добавляет, что годы, проведенные в Париже между 1933 и 1940 годами, были такими же, а, быть может, и более худшими⁷³. В подобных тяжелых условиях два противостоящих крыла партии занимали все более непримиримые позиции.

По-прежнему будучи во главе партии, Дан оставил все попытки примирения и все более выступал как глава течения. В то время как правые при растущей поддержке со стороны центристов, возглавляемых Абрамовичем, отказались уже и от бонапартистского тезиса, считавшегося ими чересчур благожелательным к сталинизму, Дан сравнивал свершения пятилетки с великими реформами Петра I⁷⁴. Разрыв между двумя течениями углубился как по вопросу о развитии Советского Союза, так и по проблемам международной обстановки⁷⁵. Попробуем проследить эволюцию меньшевистской партии на основе предпринятого ею анализа таких тем, как фракционная борьба в партии большевиков, советская Конституция, Народные фронты социалистов и коммунистов и советская внешняя политика накануне второй мировой войны.

Прежде, однако, следовало бы осветить некоторые предпосылки, обусловившие позицию двух крыльев меньшевизма. Все меньшевики всегда проявляли значительную чувствительность к приговору, который вынесет их политике история. Правые полагали необходимым вести себя таким образом, чтобы политическая партия в целом не могла быть обвинена

⁷³ Письмо Абрамовича Луизе Каутской от 19 февраля 1932 года (Архив Каутского, DI/32, IISG); Письмо неизвестному от 19 декабря 1933 года (Архив Абрамовича, 1/1, IISG); подробности материального положения: А. Р. Югов. Письма Вильяцеру (21 сентября 1932 года, 14 декабря 1932 года и 9 февраля 1933 года (Архив Николаевского, 75).

⁷⁴ Первые признаки сдвига вправо у Абрамовича см. в его статье: «Пятилетка плюс инквизиция». — «СВ», 25 апреля 1931 года; о Дане см. «Пути возрождения». — Там же, 14 августа 1936 года.

⁷⁵ Объяснение личной эволюции, касающейся также и других меньшевиков, см. в письме Далина к Абрамовичу и Николаевскому от 31 января 1936 года (Архив Абрамовича, 4/1, IISG): «В последние годы я все более убеждался, что позиция, занятая русской социал-демократией — позиция между «коммунизмом и контрреволюцией», — стала невозможной в связи с ходом исторических событий и что наши старые позиции достойны повторения разве что только на бумаге. Есть путь или налево, или направо. Сначала было опасение, потом оно стало предложением, теперь же оно — убеждение».

в беспринципных компромиссах или сделках с режимом, вызывающим у социалистов отвращение. Они были убеждены, что только благодаря непримиримой оппозиции во имя русского социализма по отношению к советскому опыту меньшевики смогут внести свой вклад в дело спасения идеи социализма от дискредитации, которую советский опыт может причинить этому идеалу, и одновременно защитить международное рабочее движение от вредного влияния большевизма⁷⁶. Левые, и в особенности Дан, напротив, не желали оказаться отрезанными от великого исторического события, каким является русская революция. Если на протяжении 20-х годов Дан все еще пытался как-то повлиять на революционный процесс, то в 30-е годы он всего-навсего стремился к тому, чтобы не оказаться полностью отторгнутым от этого процесса. Меншевицкая партия, считал он, любой ценой должна установить контакт с русской молодежью, особенно с молодыми рабочими, не знающими иного режима, кроме большевистского, и, следовательно, чуждыми рабочей и революционной традиции, олицетворяемой меньшевиками⁷⁷. Подобная обеспокоенность побуждала Дана настойчиво утверждать, что меньшевики не могут оставаться пассивными зрителями перед лицом возможного крушения режима, рожденного революцией, от рук внешних врагов. Даже если ради дела спасения революции потребуются встать на защиту сталинской России и установления формального союза с большевизмом, то и такая цена не окажется чересчур высокой.

Именно в этих суждениях, а не в предполагаемом оптимизме левых или пессимизме правых следует искать объяснения противоположных позиций, занятых двумя течениями меньшевизма.

Первый вопрос — об отношении партии меньшевиков к борьбе течений внутри большевистской партии — был предметом вполне определенной политики на протяжении 20-х годов и выражался во мнении, что необходимо искать «соглашения» с Советской властью, а не с той или иной группой или оппозиционным течением внутри партии большевиков⁷⁸. И действительно, меньшевики с презрением и нарочитым безразличием наблюдали за фракционной борьбой в России, представлявшейся им одним из симптомов вырождения боль-

⁷⁶ Г. Аронсон, М. Кефали. Русский вопрос на форуме РСИ (апрель 1930 года). — БРиМ, с. 89—94. См. также письмо Гарви, адресованное Дану, 25 сентября 1939 года.

⁷⁷ См. резюме речи Дана в: Theodor Dan Sixty. — In: „International Information“, 14 November 1931; См.: Т. Дан. *Tua res agitur*, cit.

⁷⁸ Критика «соглашения» с режимом, показывающая, что подобная политика обязательно приведет к поддержке фракций, в письме Гарви к Церетели от 9 сентября 1926 года (Архив Николаевского, 15/1).

шевизма. Победа того или иного течения, считали они, никоим образом не разрешит противоречий режима и не может стать суррогатом подлинной демократизации⁷⁹. На первых порах укрепление личной власти Сталина, казалось, подтверждало подобный анализ. Сталин, по мнению меньшевиков, воплощал не идеи, а партийный аппарат, и вся его политика состояла лишь в том, чтобы всякий раз присваивать себе идеи своих прежних противников, в результате чего он оказал объективно положительную услугу, устранив самого крупного утописта — Троцкого.

Однако начиная с 1928 года постепенно наметилось новое отношение некоторых меньшевиков к внутрипартийной борьбе большевиков⁸⁰. Инициатива по пересмотру своего отношения к фракционной борьбе большевиков, зародившаяся в группе центра, была выражена Далиным и Николаевским, согласно которым развал партии большевиков, вплоть до создания организационно оформленных фракций, — наиболее важный факт в эволюции режима. Мысль о соглашении с режимом была, таким образом, преодолена, ибо режим как таковой представляется распадающимся. Среди большевистских фракций наименее далекой меньшевикам-центристам представлялась фракция правых, руководимая Бухариным, Рыковым и Томским. Фракция левых, считали меньшевики-центристы, ныне полностью отброшена; она поддерживает пагубную политическую линию, тогда как центр во главе со Сталиным не имеет никаких принципов. Таким образом, оставалась только фракция правых, нерешительная и оппортунистическая, но обладающая опорой в профсоюзах и проявляющая тенденцию к некоторому реализму в области экономики и международных отношений. Русские социал-демократы должны, следовательно, поддерживать эволюцию правых большевиков в этом направлении, по-прежнему сохраняя бдительность в отношении реакционных или даже фашиствующих элементов, примыкающих к этому течению. Но, главное, меньшевики не должны хранить молчание в вопросе о фракционной борьбе, ибо подобная позиция обрекает их на бессилие.

Инициатива центристов была отвергнута как левыми, так и правыми меньшевиками, хотя по разным причинам. От имени левых Дан отрицал возможность установления меньшевиками союза с какой-либо определенной фракцией большевизма. Конечно, правое крыло большевиков выглядит более

⁷⁹ См., например, иронический тон в отношении борьбы Троцкого в: *Ф. Дан. Конец Троцкого*. — «СВ», 1 декабря 1924 года; а также: *Д. Д. (Далин). Кавказские лечения*. — Там же, 24 декабря 1924 года.

⁸⁰ К трем вариантам, обсуждаемым здесь, см.: (РСДРП), К партийной платформе (1929?), Тезисы Д. Далина, Ф. Дана, М. Кефали, Г. Аронсона (Архив Николаевского, 18/2).

реалистичным, нежели левое, но оно выдвигает лишь экономическую программу. Тогда как левые большевики, напротив (под давлением представителей молодого и идеалистически настроенного пролетариата), выдвигают позитивные требования, как, например, соблюдения тайны голосования и свободы рабочих организаций. Сталинский центр вобрал в себя все самое худшее, что было в партии, а сама линия Сталина сводится к абсурдной попытке осуществить цели левых средствами правых. Поэтому меньшевикам следует искать поддержку среди здоровых элементов всех фракций, равно как и вне большевистской партии. Итак, Дан возвратился к исходной позиции меньшевиков, согласно которой соглашение с режимом, а не с одной какой-либо его частью, по-прежнему оставалось возможным ⁸¹.

Меньшевистский центр искал соглашения с правыми большевиками; левые меньшевики искали союзников во всех большевистских течениях; правые же вообще не видели никакой возможности какого бы то ни было союза с большевиками. Кефали и Аронсон заявили о своем отказе ввязываться в борьбу различных клик, которая может привести только к «дворцовому перевороту». По мнению правых, все интриги большевистских фракций были обусловлены прежде всего персональными конфликтами и индивидуальными амбициями. Так, Кефали и Аронсон, несмотря на свою способность предвидения, когда определяли линию Сталина как левашку, в противоположность другим меньшевикам, считавшим ее центристской, не придавали этому факту ровно никакого значения. В конце концов правые апеллировали к платформе своей партии, чтобы напомнить, что основополагающая линия меньшевистской политики заключается в создании широкого рабочего и демократического движения в Советском Союзе, свободного от какого бы то ни было большевистского влияния. С этой точки зрения ставка на ту или иную фракцию большевиков, считали правые, может только отдалить меньшевиков от своей истинной цели.

Итак, в результате определенного совпадения позиций левых и правых центристы не смогли добиться, несмотря на надежды, связанные с борьбой большевистских фракций, ре-
визии линии своей партии. Платформа 1924 года не была пересмотрена ни в части, касающейся этого вопроса, ни, в более позднее время, в связи с возникновением новых препятствий ⁸². Кроме того, само внутреннее развитие большевистской партии после 1928 года подталкивало меньшевиков-

⁸¹ См.: *T. Dan. Das Ende der Opposition.* — In: „Kampf“, 25 März 1928, S. 41—49.

⁸² Анализ заблокированной позиции внутри «Заграничной делегации» см. в письме Далина Абрамовичу от 8 августа (1931?) (Архив Абрамовича, 1/1, IISG).

центристов к переходу на все более близкие к правым позиции. Все меньшевики были глубоко потрясены чистками, которые начали обрушиваться на СССР начиная с 1934 года, особенно же московскими процессами 1936—1937 годов. Хотя им и удалось объяснить в психологическом ключе, иногда в весьма впечатляющей форме, поведение как палача Сталина, так и его жертв, они тем не менее были гораздо больше сбиты с толку процессами над большевиками, чем, скажем, процессом 1931 года против меньшевистской организации⁸³. Дан, правда, предпринял робкую попытку повторить расчет центристов, делая ставку то на Троцкого, то на советских военачальников, но бывшие центристы отказались за ним последовать по этому пути⁸⁴. Воспользовавшись сравнением Мартова, Николаевский, который также искал соглашения с Бухариным, сказал так: «Когда Лубянка расстреляла Кремль, игре пришел конец»⁸⁵.

В столь мрачной ситуации провозглашение в 1936 году сталинской Конституции вызвало живой отклик среди меньшевиков. Дан утверждал, что Конституция открывает новую

⁸³ Письмо Абрамовича Карлу и Луизе Каутским от 25 марта 1937 года (Архив Каутского, DI/40, 11): «Я пришел к выводу, как недавно и Отто (Бауэр), что путем морального давления и физического ослабления эти люди были доведены до «убеждения» в том, что интересы Советского Союза требуют постановки этой комедии, что они должны пожертвовать своей жизнью и своей репутацией... Иначе как объяснить поведение Смирнова и Пятакова, если не убежденностью в том, что уничтожение троцкизма, и вообще любой фракции, является жизненной необходимостью для революции. Неужели Советский Союз уже не может существовать без инъекций морфия или Сталина вдохновляет жажду мести?» См. также: „On the destruction of old bolshevism“. — „Documents and Discussions“ (suppl. „International Information“), 12 February 1937.

⁸⁴ Несмотря на известную аналогию суждений Троцкого с суждениями меньшевиков, наличие между ними взаимодействия, и тем более сотрудничества, не подтверждается. Строгое осуждение Троцким меньшевиков см. в письме Троцкого, адресованном Б. Суварину (31 декабря 1929 года): *B. Souvarin. Une controverse avec Trotsky (1929)*. — In: „Contributions à l'histoire du Comintern“ (J. Freymond). Genève, 1965: «Самые разношерстные элементы испытывают симпатию к борьбе против сталинского бюрократизма. Меньшевики не стесняются аплодировать некоторым нашим атакам на бюрократию. Именно на этом, кстати сказать, основывается мелочное, безмозглое шарлатанство сталинцев, пытающихся отождествлять нашу позицию с меньшевистской. Для марксиста демократия в партии, равно как и в стране, не является абстракцией. Она всегда обусловлена борьбой животворных классовых сил. Опportunистические элементы нередко понимают под бюрократизмом революционный централизм. Ясно, что они не могут быть нашими друзьями по идеям. Видимость солидарности основывается, в данном случае, только на смешении идей или, что чаще бывает, на злонамеренной спекуляции». Весьма положительное суждение о троцкизме, сделанное одним из сторонников Дана, см.: *А. Шифрин. Троцкий и троцкизм*. — «СВ», 10 октября 1934 года. Об отношении к военачальникам см. статью в «СВ» (25 августа 1937 года) «Пути демократии».

⁸⁵ Письма Николаевского Гарви от 16 марта и 5 апреля 1940 года (Архив Николаевского, 18/1).

революционную фазу, и обосновывал свои взгляды историческими примерами⁸⁶. Февральская революция, писал он, пробудила в 1917 году колоссальную силу народных масс: «военный коммунизм» дал свободное течение революционной энергии, уничтожив посредством террора и диктатуры все элементы старого общества и полностью разорвав цепи, приковывавшие Россию к мировому капитализму; нэп обнаружил усталость масс, измотанных борьбой и задавленными чудовищным бременем бюрократического и военного аппарата. В подобных условиях Конституция 1924 года, выражение уже завершённой фазы революции, осталась мертвой буквой. Подгалкиваемый собственными противоречиями, режим совершил рывок вперед и благодаря своей тоталитарной власти преобразовал страну с головокружительной быстротой. Возник новый социальный слой, поднявшийся к свету из плебейской темноты и вдохновленный мечтой о «технократии». На первой стадии «генеральной линии» диктатура подавляла любые политические поползновения новых специалистов и «организаторов». На второй стадии, являющейся заключительной в большевистской революции, режим предпринял попытку упрочить новые социальные отношения, им же созданные, и сделать политический вывод из своих успехов. Сталинская Конституция явилась кульминацией этого процесса.

В противоположность Дану правые меньшевики с удовольствием отмечали, что новая Конституция знаменует собой отступление государства рабочих на позицию универсального государства⁸⁷. Конституция ликвидировала политические привилегии пролетариата, вернула престиж интеллектуалам, легализовала крестьянскую мелкую частную собственность в рамках колхозов и, упразднив старую избирательную систему с ее многостажностью и открытым голосованием, сделала шаг вперед к парламентаризму. Однако, продолжал Гарви, эти позитивные аспекты уничтожаются одной-единственной статьей, вскрывающей глубинное значение Конституции: статья 126 запрещает существование легальной оппозиции коммунистической власти.

Комментарии меньшевиков к Конституции породили новые размышления над сущностью советского общества⁸⁸. Многие искали в нем нового протагониста истории. Одни надеялись увидеть его в городской молодежи, другие — в слое госу-

⁸⁶ *T. Dan. The political crisis in the Soviet Union and Russian Social-democracy.* — In: „International Information“, 16 April 1937.

⁸⁷ *П. Гарви. Новая советская Конституция.* — «СВ», 10 июля 1936 года.

⁸⁸ См.: *А. Югов. Классы в советской России.* — Там же, 26 июня 1936; его же. «О советском служащем». — Там же, 25 ноября 1938; *С. Шварц. Первые шаги.* — Там же, 15 апреля 1938; «Ставка на интеллигенцию». — Статья в «СВ» от 25 ноября 1938 года.

дарственных служащих. Однако основная дискуссия развертывалась по вопросам тактики, а не теории. Как должна реагировать меньшевистская партия на новую Конституцию?

Абрамович советовал, чтобы меньшевики предложили ЦИК СССР легализовать социал-демократическую партию⁸⁹. Отказ большевиков, считал он, разоблачил бы в глазах западного общественного мнения лицемерную природу проекта Конституции. Дипломатический расчет Абрамовича был отвергнут как правыми, так и левыми меньшевиками. Вместо этого было принято решение направить открытое письмо съезду Советов, в котором меньшевики ограничились критикой Конституции⁹⁰. Не имея возможности повлиять на внутреннее положение в Советском Союзе, меньшевики считали возможным по-прежнему воздействовать на судьбы русской революции путем использования международной обстановки. Но и в этой сфере тактические соображения смешаны с принципиальными, весьма ясно изложенными в меньшевистских резолюциях по такому существенному вопросу, стоявшему перед международным социалистическим движением в 1933—1939 годах, как вопрос о Народном фронте между коммунистами и социалистами. К тому же Социалистический рабочий интернационал, учитывая особую заинтересованность русских социал-демократов в этом вопросе, возложил на меньшевиков, по крайней мере отчасти, историческую ответственность за успех или провал этой политики.

Среди меньшевиков наиболее решительным поборником соглашения между социалистами и коммунистами в международном масштабе был Дан. Эта позиция совпадает с общими его воззрениями, но объясняется прежде всего оценкой им международного положения. Несмотря на прозорливость меньшевистского анализа фашизма, Дан был сбит с толку победой Гитлера⁹¹ и, не без содействия Фридриха Адлера и Отто Бауэра, сделал из этого весьма радикальный вывод⁹². Весь мир он видел эволюционирующим в сторону тотального раскола на сторонников и противников фашизма. Буржуазная демократия сползает к фашизму, ибо отныне как

⁸⁹ Письмо Абрамовича Дану от 19 июля 1936 года (Архив Абрамовича, I/1, II).

⁹⁰ См.: «СВ», 28 октября 1936 года; См.: "To the Congress of the Congress of the Soviets of the USSR. Open letter from the Foreign Delegation of the RSDLP". — In: "Documents and Discussions", 3 November 1936.

⁹¹ Оценки, еще не утратившие оптимизма, см.: *T. Dan. Der Vormarsch der deutschen Konterrevolution*. — In: "Kampf", Juli—August 1932, S. 1—9. Первые оценки фашизма, сделанные меньшевиками, см.: *С. Шумский. Фашизм*. — «СВ», 26 июля 1923 года; *Р. Абрамович. Накануне победы фашизма*. — Там же, 27 ноября 1923 года, а также: *А. Шифрин. Коммунистические теории о фашизме*. — Там же, 25 мая 1934 года.

⁹² *L'Internationale et la guerre: Thèses de Otto Bauer, Théodore Dan, Amédée Dunois, Jean Zuromski* (Pref. de F. Adler). Paris, 1935.

социализм более невозможен без демократии, так и демократия невозможна без социализма. В подобных обстоятельствах русские социалисты не могут не поддерживать основного врага фашизма — СССР, подчиняя свои интересы необходимости укрепления Советского Союза путем создания рабочего единства.

Эта позиция позволила Дану возобновить свои старые предложения насчет «соглашения» с большевистским режимом. Таким образом, полагал он, можно было бы восстановить рабочее единство, расколотое в 1917 году. Укреплению этой позиции способствовала и поддержка, полученная от немногих все еще находившихся в России меньшевиков⁹³. Однако более всего ее правильность подтверждала трусость капиталистических государств перед лицом гитлеровской экспансии.

Тем не менее позиция Дана была осуждена внутри его партии даже теми меньшевиками, которые согласились с идеей создания единого фронта с коммунистами⁹⁴. Для всех меньшевиков и, быть может, для самого Дана непреодолимое противоречие состояло в том, что, в то время как социалисты заключали с коммунистами союз, те же социалисты в СССР были объектом преследований со стороны коммунистов. У большинства меньшевиков позиция Дана не нашла поддержки даже во имя «линии Мартова», так как Дан предлагал не просто условную поддержку режима, а отказ от всех принципов меньшевизма в пользу подчинения Советскому Союзу, причем его не революционным, а государственным интересам.

С присущей ему сдержанностью и прагматизмом надежды и сомнения большинства меньшевиков насчет единого фронта⁹⁵ пришлось выразить Абрамовичу. По его мнению, длительное рабочее единство может стать лишь результатом длительного процесса, на пути которого стоят препятствия не столько в виде программных и тактических различий между социалистами и коммунистами, сколько ввиду их различного отношения к пролетариату и организации пролетариата — партии. Эти различия не являются менее основополагающими, чем различие между демократией и диктатурой. Коммунисты, как представляется, сознают это различие, поддержи-

⁹³ О «телеграмме из Казани» в поддержку Народного фронта во Франции см.: «Голос меньшевизма из СССР». — «СВ», 29 августа 1934 года.

⁹⁴ *П. Гарви*. Единый фронт и русский вопрос. — Там же, 12 сентября 1934 года; „Zur internationalen Diskussion über den Kampf um die Demokratie und für den Frieden. Projekt von Thesen von R. Abramowitsch, B. Nikolajewski, G. Aronson“. Подготовлено совещанием Исполкома Социтерна, 14—16 января 1938 года (Архив Абрамовича, 11/16, II).

⁹⁵ *R. Abramowitsch*. Einheitsfront und Einheitspartei. — In: „Zeitschrift für Sozialismus“, 1936, März, № 33, S. 1050—1058.

вая унитарное движение только тогда, когда оно совпадает с интересами внешней политики СССР, и отвергая всякую мысль о слиянии партий. Настала пора и социалистам поставить себе ряд вопросов: неужели международный социализм намерен перенять советскую систему? А если да, то целиком или же с оговорками? Неужели социализм отождествляет себя с этой системой и полагает возможным подражать ей в других странах? В состоянии ли сталинская диктатура построить подлинный социалистический строй или же она обречена развиваться в сторону своего рода бюрократического государственного капитализма или некапиталистического бонапартизма? Таким образом, вопрос о пролетарском единстве поставлен как русский вопрос. По Абрамовичу, нельзя одновременно быть за демократию в собственной стране и за режим террора в России. Сама защита демократии вызывает необходимость критики Советского Союза.

Дискуссия еще не закончилась, как подписание пакта Риббентроп—Молотов, а затем начало второй мировой войны потрясли мир. Обращаясь «Ко всем членам партии» после подписания пакта, «Заграничная делегация» напомнила, что менее года назад в связи с мюнхенским кризисом она обратилась к русскому и международному рабочему классу с призывом встать на защиту СССР⁹⁶. Теперь же она обращается ко всем советским гражданам с призывом превратить Советский Союз в активного участника антигитлеровской борьбы, нанеся решающий удар сталинской диктатуре. После германо-советского вторжения в Польшу «Заграничная делегация» заявила, что теперь нет таких аргументов, которыми можно было бы прикрыть тот факт, что сталинский деспотизм сорвал с себя революционную маску и обнажил свой подлинный облик — господство национал-империалистической клики, падшей до уровня гитлеризма⁹⁷.

Пока официальная инстанция партии заостряла свои заявления и осуждения, некоторые меньшевики пытались понять историческую логику акта, содеянного Сталиным. Ольга Доманевская утверждала, что противоестественный пакт между Гитлером и Сталиным может быть объяснен не столько внутренними факторами, действующими в СССР, сколько слабостью западного антигитлеровского фронта, проявившейся в ходе мюнхенского кризиса и англо-франко-советских переговоров летом 1939 года.

Позиция Доманевской являлась, однако, крайним полюсом в меньшевизме. Но и Абрамович, стоявший на диаметрально противоположном полюсе, пытался сгладить тоталь-

⁹⁶ «Ко всем членам партии» 31 августа 1939 года. — «СВ», 9 сентября 1939 года.

⁹⁷ Резолюция. — Там же, 25 сентября 1939 года.

ное осуждение СССР⁹⁸. В известном смысле, писал он, большевизм остается силой, которая, «стремясь к добру, творит зло». Но в счет идут только объективные результаты, а они ужасны. Наконец, заключал Абрамович, в силу того, что само существование сталинского режима зависит от его способности избежать войны, реальная цель Сталина заключается в том, чтобы разыграть германскую карту против своих противников и, таким образом, воспользоваться выгодами от войны между капиталистическими государствами⁹⁹.

Более сложным, если не сказать — более колеблющимся, было отношение Дана¹⁰⁰. Он напоминал, что предвидел возможность советско-германского соглашения. Однако он тут же признал, что полагал, будто подобное соглашение не может быть делом Сталина, а является делом рук людей, совершенно свободных от любых революционных традиций. Итак, Сталин наконец докатился до доказательства того, что именно в нем самом, а не в его будущих преемниках воплощены нацистско-бонапартистские тенденции, уже давно существовавшие в его самодержавии. Отныне и навсегда большевизм неразрывно связан со Сталиным, а Сталин — с Гитлером.

Тем не менее весь этот гнев не помешал Дану умерить свою точку зрения. По его оценке, СССР сохраняет политические и идеологические преимущества в отношении Германии. Даже если режимы Гитлера и Сталина считать идентичными, они не одинаковы ни по своему социальному происхождению, ни по историческому пути, ни по обстоятельствам переживаемой ими борьбы. И совершенно отбрасывая всякую логику и последовательность в своей аргументации, Дан завершает свои рассуждения страстным утверждением: «Послевоенный мир будет социалистическим или его вообще не будет!»

В течение ужасной осени 1939 года все меньшевики, и Дан в особенности, усматривали в связи с советско-финской войной пробный момент эволюции Советского Союза¹⁰¹. Согласно Дану, советская агрессия против Финляндии вызвала к жизни дополнительное трагическое противоречие — германо-советский пакт превратился в полный военный союз, и пролетарии всех стран вынуждены теперь занять пораженческую позицию в отношении Красной Армии. Тем не менее и после нападения на Финляндию Дан отказывался признать только что сформулированный им вывод. Оказавшись в изоляции и

⁹⁸ Р. Абрамович. Намерения и дела. — Там же, 19 октября 1939 года; его же. Война и мир. — Там же, 2 декабря 1939 года.

⁹⁹ Точку зрения правых, усматривавших в пакте логическое следствие пятилетки, которая создала экономическую базу для империализма, см.: В. М. Александрова. Второе рождение. — Там же, 19 октября 1939 года.

¹⁰⁰ Ф. Дан. Под гром пушек. — Там же, 9 сентября, 29 сентября, 19 октября и 12 ноября 1939 года.

¹⁰¹ См.: «В защиту Финляндии» (Резолюция). — Там же, 2 декабря 1939 года.

утратив доверие в партии, которой он столько лет руководил, он отмежевался в 1940 году от официального меньшевизма и основал журнал с названием полным надежды — «Новый мир», на страницах которого продолжал бороться против Сталина во имя революционных интересов¹⁰². Два года спустя, в Америке, он полностью порвал с официальным меньшевизмом. Его поддержка Советского Союза в войне против нацистского фашизма выразилась в участии в «группе Мартова» и в журнале «Новый путь»¹⁰³.

5. Возврат к принципам

В истории меньшевизма в эмиграции американская глава, открывшаяся в 1940 году, является эпилогом. Партия похоронила старую полемику с социалистами-революционерами и некоторыми демократическими группами эмиграции¹⁰⁴. «Заграничная делегация» продолжала деятельность под руководством Абрамовича до 1951 года, пока не приняла решение о самороспуске в связи с разногласиями, вспыхнувшими по вопросу о новой советской эмиграции¹⁰⁵. Некоторые меньшевики (Абрамович, Гарви, Далин) завязали отношения с американской рабочей средой. Другие же, в частности Николаевский, присоединились к разношерстным группам, возникшим в большом числе в ходе «холодной войны» с целью борьбы с большевизмом¹⁰⁶. В меньшевистское наследие входят две работы, написанные двумя крупнейшими руководителями меньшевизма в изгнании, Даном и Абрамовичем, накануне их смерти. Их выводы могут послужить заключительной частью нашей главы.

В своей книге о происхождении большевизма (1946) Дан отмечал, что современный большевизм является законным отпрыском русской социал-демократии¹⁰⁷. Рожденный слишком поздно для того, чтобы создать демократию без социализма, и слишком слабым, чтобы построить социализм и демократию, большевизм отмечен глубоким наследственным клеймом. Однако история избрала именно большевизм в качестве носи-

¹⁰² См.: Ф. Дан. Два пути. — «Новый мир», 20 марта 1940 года.

¹⁰³ Г. Аронсон. История правого течения. — «Новый путь», 1—65, 1941—1947 годы, с. 150—154.

¹⁰⁴ Этот процесс начался с 1940 года. См.: там же, и «РСДРП—ПСР». Декларация (1947). — (Архив Николаевского, 232/7).

¹⁰⁵ См.: «Против течения» (Сборник), 1 (1952), 2 (1954).

¹⁰⁶ См. документы: «Послевоенные эмигрантские политические организации»; «Лига борьбы за народную свободу»; «Центр антибольшевистской борьбы»; «Американский комитет освобождения от большевизма» (Архив Николаевского, 235, 240, 241).

¹⁰⁷ Т. Дан. The origins of bolshevism (J. Carmichael, L. Shapiro). New York, 1964, p. 435—440.

теля наиболее важной идеи нашего времени — социализма. История поставила большевизм во главе гигантского государства, и она превратила его в мощный фактор практического осуществления социалистической идеи. Возникает вопрос, будет ли осуществление социализма происходить одновременно с эволюцией большевистского режима. Ответ Дана ошеломляет: собственная идея России, мысль о том, что социализм принесет свободу, осуществляется сегодня и становится идеей всего человечества и истинной задачей нашего времени.

В своей книге о советской революции (1962) Абрамович напомнил, что идеал социализма, указанный Марксом, предусматривает создание самоуправляющегося общества, полностью эмансипированного от какого бы то ни было правящего класса и освободившегося от капиталистической собственности на средства производства¹⁰⁸.

Между тем в государствах, называющих себя социалистическими, капиталистическая собственность отсутствует, но отсутствуют там и свобода, и самоуправление. В этих государствах идеал равенства заменен реальностью привилегий и принципом власти меньшинства. Следует спросить себя: является ли существование этих государств шагом вперед на пути исторического прогресса? Для Абрамовича ясно, что эти тоталитарные государства отнюдь не способствовали, да и не могут способствовать росту благополучия человека, ибо варварство никогда еще не помогало человечеству.

Итак, два диаметрально противоположных взгляда, две совершенно различные перспективы. И однако же, обе — результат размышлений и опыта меньшевизма в эмиграции, о котором мы здесь напомнили. Кому судить, какое из двух мнений справедливо?

¹⁰⁸ R. Abramowitsch. The Soviet Revolution 1917—1939 (S. Hook). New York, 1962, p. 454—455.

Валентино Джерратана

СТАЛИН, ЛЕНИН И МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМ

Вклад Сталина в создание отрезка истории марксизма, который получил название «марксизм-ленинизм», несомненен: вклад этот существен, если не сказать — исключителен. Существуют, однако, различные мнения относительно собственно ленинского влияния, независимо от Сталина определившего выбор методов и содержания марксистско-ленинской теории. Столь же различные взгляды существуют и по вопросу о преемственности — следует ли признавать ее либо нет в отношениях Сталина с Лениным и Ленина с Марксом. Тема преемственности возникает не только в традиционном апологетическом подходе, усматривающем в Сталине верного продолжателя дела Ленина, а в Ленине — прямого преемника Маркса. Она проявляется и в подходе диаметрально противоположном, где Сталин рисуется столь же чуждым идеям Ленина, сколь Ленин представляется чуждым Марксу. Не слишком отличается от этих взглядов и поспешный и удобный вывод о том, что марксизм-ленинизм является якобы не чем иным, как естественным продолжением и достойной могой марксизма: здесь даже самый яркий антикоммунист готов признать по крайней мере одну «заслугу» Сталина — ту, что он выявил «антигуманную сущность марксизма»¹.

Во всяком случае, чтобы не попасть под власть этих противоположных идеологических предубеждений, следует избегать их принятия или отклонения на основе лишь абстрактных аналогий или формальных совпадений, без проведения необходимого конкретного генетического анализа для выяснения сути и определения границы этих утверждений. Таким образом, было бы заблуждением подчеркивать наличие в произведениях Сталина определенных религиозных метафор, не задав себе вопроса, откуда и почему они взялись, и не связав этот факт с культурным формированием личности бывшего воспитанника духовной семинарии в Тифлисе или же с употреблением подобных метафор в произведениях

¹ См.: высказывание советского диссидента Григория Тартаковского, приведенное в книге: R. Medvedev. Stalin sconosciuto. Roma, 1980, p. 243—244.

Ленина и Маркса. Как объяснить, к примеру, тот факт, что та же самая метафора, имеющая религиозное происхождение («согрешить против марксизма»), встречается не только у позднего Сталина, но и на полвека раньше — когда о марксизме-ленинизме еще не было и речи — в произведениях Розы Люксембург?²

Если отказаться от метода редукционистских связей, согласно которому марксизм может быть представлен как одна из множества философий истории, а всякая философия истории сводится к обычной теологической парадигме, то остаются две детали, заслуживающие внимания, когда хотят выяснить, что объединяет две столь далекие друг от друга личности, как Сталин и Роза Люксембург. Прежде всего приведенное выражение отражает определенное эмоциональное отношение к марксизму. Из этого не следует, что в обоих случаях речь обязательно идет об одном и том же: какое-либо эмоциональное состояние лежит в основе всякого этического понятия; не составляет исключения и тот особый, вырожденческий вид религиозной этики, каким является суеверный фанатизм. Второй момент, который следует иметь в виду (говоря о марксизме периода II и III Интернационалов) при объяснении употребления религиозных метафор, теперь уже устаревших, может быть обнаружен в истории европейской философской культуры того времени и, в частности, в тенденции превращать науку в суррогат самого настоящего религиозного культа. Конечно, одним из наименее удачных последствий распространения позитивистской культуры явилось возрождение в новых формах религиозного атеизма (уже давшего о себе знать в конце XVIII века в виде Верховного существа французских якобинцев): только в этом контексте может быть понята, например, идея «воскресных проповедей», читавшихся в Лейпциге таким видным ученым, как Оствальд, для позитивистов из «Немецкого союза монистов» («Дойчер Монистенбунд») ³. Эхо подобной тенденции в развитии марксизма, претендовавшего на роль науки, было не только косвенным. Достаточно вспомнить о влиянии, оказанном Оствальдом на большевика Богданова, а также о многочисленных научно-фидеистических сочинениях, ставших предметом непримиримой критики в работе Ленина «Материализм и эмпириокритицизм».

С другой стороны, верно и то, что Ленин, несмотря на

² См.: *И. Сталин. Экономические проблемы социализма в СССР*. М., Госполитиздат, 1952, с. 63; *Р. Люксембург. Проблемы организации русской социал-демократии* (1904), в кн.: *R. Luxemburg. Scritti politici*, a cura di L. Basso. Roma, 1967, p. 229.

³ См.: *W. Ostwald. Monistische Sonntagspredigten*. Leipzig, 1911 (2-й вып., 1912). Разумеется, содержание этих «проповедей» не исчерпывается их религиозной формой.

твердость в теоретической борьбе против фиденизма и на решительный отказ от придания науке религиозного ореола, проявлял временами снисходительность, отдавая должное необходимости быть тактически гибким к употреблению лингвистических метафор, тяготеющих к освящению социализма, в целях его популяризации в народе. Во всяком случае, говорить о социализме как о религии, по словам Ленина, является «отступлением от марксизма»; но, добавлял он, одно дело — если так говорит «агитатор», желающий быть лучше понятым рабочей массой, и другое дело — если это «писатель», рассуждающий о социализме: то, что позволено одному, не позволено другому. Положение: «социализм есть религия» для одних есть форма перехода от религии к социализму, для других — от социализма к религии⁴. Преобразование подобного различия, ведущего от религии к социализму и обратно—от социализма к религии (пусть даже к секуляризованной религии марксизма-ленинизма), — составной частью входит в общую картину деятельности Сталина.

1. Полемика о работе «Что делать?»

Без преувеличения, путь от религии к социализму, пройденный Иосифом Джугашвили, впоследствии известным под именем Сталина, за последнее десятилетие прошлого века можно назвать путем его культурно-политического становления. Строгость религиозного образования, полученного в атмосфере авторитарного конформизма, в которой жил воспитанник церковно-приходской школы в Гори (1888—1894), а затем семинарии в Тифлисе (1894—1899), могла стать отличной почвой для скорейшего созревания самого радикального бунта. Но это относится не только к Сталину. Вызревание оппозиционной культуры среди воспитанников Тифлисской семинарии в обстановке, где религиозное всевластие отчетливо воспринималось как послушный инструмент политического самодержавия, было свойственно также и влиятельным кругам молодой грузинской интеллигенции, которые со своей стороны не могли не испытывать влияния новых социалистических и марксистских направлений, проникших в то время в бурный поток русского революционного движения. С этим же связан и тот факт, что сознательный слом прежних культурно-политических представлений вылился в выбор жизненного пути. Вследствие этого молодой Джугашвили после ухода в мае 1899 года из семинарии (за исключением кратковременной и скромной службы в Тифлисской астрономической обсерватории, немногим дольше года) не знает других за-

⁴ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 17, с. 423.

нятий, кроме деятельности «профессионального революционера»: персонаж этот был хорошо известен в российской истории еще задолго до написания Лениным работы «Что делать?».

Однако решающими в определении исторической роли Сталина являются, несомненно, его отношения с Лениным. К тому же именно с момента их установления мы можем располагать точными документальными данными, необходимыми нам для оценки сталинской мысли, не прибегая к удобенькому воссозданию различных партийных легенд и устных свидетельств сомнительного характера (особенно когда речь идет о свидетельствах, относящихся к событиям большой давности). В 1946 году, в предисловии к первому тому своих Сочинений, Сталин, оправдывая некоторые расхождения с позицией Ленина в начальный период большевизма, предлагает расценивать свои произведения того времени как «произведения молодого марксиста, еще не оформившегося в законченного марксиста-ленинца». Менее очевидным, однако, кажется подобное оправдание, когда, говоря о «недостаточной теоретической подготовленности» «молодого марксиста», он ссылается также на «свойственную практикам беззаботность насчет теоретических вопросов»⁵. В действительности же в первых произведениях Сталина нет и следа какой бы то ни было беззаботности. Его, правда, можно было бы отнести к категории большевиков, называемых «практиками», но лишь с учетом обстановки того периода, когда вся партийная борьба была строго определена точным теоретическим выбором.

Хотя Сталин был второстепенным участником дискуссии вокруг «Что делать?», при определении своей позиции в этой полемике он приводит некоторые теоретические обоснования, позволяющие нам не только довольно конкретно оценить его манеру восприятия ленинской политики, но и увидеть некоторые корни будущего сталинизма. С особой силой полемика по поводу «Что делать?» разгорелась, как известно, после II съезда РСДРП (1903), некоторым образом ее обусловившего. Основной причиной стали возникшие на съезде и сразу же после него обострившиеся разногласия по вопросам организационного построения партии. Встав на сторону большевистского крыла, Сталин не ограничивается лишь выбором данной политической позиции. Он вносит свой вклад в определение характера избранного направления, то есть он не ограничивается тем, что поддерживает Ленина, но и толкует его в свете своих собственных убеждений, укрепляя и развивая их в определенном направлении.

То, каких результатов он здесь добился, довольно ясно

⁵ И. Сталин. Сочинения, т. 1, с. 13, 15.

следует из дошедших до нас сочинений «молодого марксиста». Уже в двух письмах из Кутанси (написанных в сентябре—октябре 1904 года)⁶ вместе с восхищением в адрес Ленина он высказывает определенное неудовлетворение и досаду на то, как «ленинская» идея защищается некоторыми его соратниками. В частности, не нравятся Сталину статьи Галёрки (большевика Ольминского), защищавшего Ленина от атак Плеханова; по мнению Сталина, защита эта была слабой и не затрагивала основных проблем, поднятых в «Что делать?». «Если бы Галёрка поставил эти и подобные вопросы по существу, по-моему, было бы лучше. Скажешь, это дело Ленина, но я с этим не могу согласиться, так как критикуемые взгляды Ленина — не собственность Ленина, и их искажение касается других партийцев не меньше, чем Ленина. Конечно, Ленин лучше других мог бы выполнить эту задачу...»⁷

В действительности же Ленин объяснит позже — в 1907 году, — почему он в свое время не считал нужным ответить на кригику Плеханова по поводу «Что делать?», но объяснение его будет абсолютно противоположным тому, какое давал Сталин. Уже на II съезде партии, когда положения работы «Что делать?» живейшим образом оспаривались, Ленин сознательно отказался безоговорочно их защищать и впервые прибег к формулировке о «перегнутой палке»⁸. И тогда же, в 1907 году, открыто признавая, что отдельные высказывания в его работе были «сформулированы не самым лучшим образом и не совсем точно», разъяснил, что значение «Что делать?» не выходило за рамки полемики с экономистами. Мнение Ленина разделял и Плеханов. Формула «перегнутой палки» была, таким образом, еще раз употреблена и подтверждена для того, чтобы оградить свои взгляды от всякого неправильного понимания:

«В «Что делать?» выгибается палка, искривляемая «экономистами», — сказал я (...), и именно потому, что мы энергично выгибаем искривления, наша «палка» будет всегда наиболее прямая.

Смысл этих слов ясен: «Что делать?» полемически исправ-

⁶ Там же, с. 77—84. Произведений Сталина, предшествующих письмам из Кутанси, сохранилось и было опубликовано в I томе Сочинений чрезвычайно мало: это две статьи 1901 года без претензий на оригинальность, передающих директивы «Искры», и одна статья 1904 года, разъясняющая программу социал-демократической партии по национальному вопросу.

⁷ И. Сталин. Сочинения, т. I, с. 61.

⁸ «Все мы знаем теперь, что «экономисты» согнули палку в одну сторону. Для выпрямления палки необходимо было согнуть палку в другую сторону, и я это сделал. Я уверен, что русская социал-демократия всегда будет с энергией выпрямлять палку, изгибаемую всяческим оппортунизмом, и что наша палка будет всегда поэтому наиболее прямой и наиболее годной к действию» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 7, с. 272).

ляет «экономизм», и рассматривать его содержание вне этой задачи брошюры неправильно»⁹.

Очевидно, Ленин обращался к критикам своей работы «Что делать?», но такое уточнение было полезно и для тех, кто его поддерживал: среди них был и Сталин. Он склонялся не только к тому, чтобы еще больше «загнуть палку», намереваясь защищать во что бы то ни стало каждую запятую «Что делать?». Он не останавливался и перед тем, что вносил туда все новые дополнения, которые, с одной стороны, усиливали ленинские тезисы, а с другой — требовали для них иного теоретического обоснования, зависевшего в конечном итоге больше от Плеханова, чем от Ленина. На самом деле, Плеханов, защищавший «Что делать?» на II съезде от нападок «экономистов», говоря, что Ленин не намеревался писать «трактат по исторической философии» и что, во всяком случае, нельзя судить об этой полемической работе по отдельным, вырванным из контекста фразам¹⁰, в дальнейшем — после разрыва с Лениным — прибег именно к этому приему, не поколебавшись поставить по поводу «Что делать?» вопрос как раз об исторической философии. Сталин попадает под влияние Плеханова и следует всем деталям его рассуждений, даже тем из них, которые наиболее чужды теоретическим проблемам, затронутым Лениным.

Ничто, к примеру, не было так чуждо Ленину, как идея связать проблему отношения стихийности и сознательности с философской темой отношения бытия и сознания. Однако именно к этому приему злонамеренно прибегает Плеханов, основывая на нем свою критику «Что делать?»¹¹. Сталин же принимает это как должное, не осознавая, что таким образом подтверждает намерение Плеханова приписать Ленину не марксистские, а идеалистические взгляды. Но становясь на позицию Плеханова, Сталин, кажется, особенно озабочен тем, чтобы спасти марксистскую честь Ленина, предъявляя Галёрке следующие претензии: «Галёрке следовало бы, по моему, показать, что теоретическая война Плеханова против Ленина — чистейшее донкихотство, война с ветряными мельницами, так как Ленин в своей книжке последовательнейшим образом придерживается положения К. Маркса о происхождении сознания»¹².

Проще было бы показать, что Ленин в «Что делать?» совершенно не касался этой проблемы и что, полемизируя с «экономистами» (которые для того, чтобы выявить «объек-

⁹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 16, с. 107.

¹⁰ См.: Atti del Secondo Congresso del Posdr.—In: V. Lenin. Che fare? a cura di V. Strada. Torino, 1971, p. 267—268.

¹¹ См.: Г. В. Плеханов. Рабочий класс и социал-демократическая интеллигенция (1904). — In: V. Lenin. Che fare? a cura di V. Strada, p. 360.

¹² И. Сталин. Сочинения, т. 1, с. 60.

тивный и стихийный элемент развития» по отношению к субъективному элементу сознания, первыми обратились к биному стихийности и сознательности), он, хотя и гнул палку в другую сторону, был далек от того, чтобы противопоставлять стихийность, лишенную сознательности, сознательности, лишенной какого-либо стихийного начала. Первый ленинский тезис о проблеме стихийности и сознательности действительно гласит, что не существует стихийного действия, не имеющего определенного уровня сознательности, и что в конечном итоге «стихийный элемент» представляет из себя, в сущности, не что иное, как *зачаточную форму сознательности*¹³. Перегиб если и был, то появился тогда, когда среди различных уровней сознания, может быть в слишком очевидной форме, «тред-юнионистское сознание», которое якобы не выходит за рамки стихийного побуждения, противопоставлялось «социал-демократическому сознанию», которое должно было быть привнесено в рабочее движение «извне», согласно известной формулировке Каутского. Плеханов отвергает не столько это привнесение извне, сколько то (и здесь он полностью прав), что в некоторых ленинских формулах оно представляется как «отдельное» и «независимое» от стихийного побуждения. Таким образом, у Плеханова появлялась хорошая возможность показать недоказуемость, с точки зрения марксизма, ленинского утверждения, согласно которому научный социализм якобы будет развиваться «совершенно независимо от стихийного роста рабочего движения»¹⁴. Но относится ли эта критика к духу работы «Что делать?» или же лишь к тем фразам, которые сам Ленин признает сформулированными не самым лучшим образом и не совсем точно? Плеханов, склонявшийся на II съезде ко второму варианту, в дальнейшем будет защищать первый, и Сталин попадает под влияние этой гипотезы настолько, что считает ее единственно возможной:

«Если же из себя *не* рождает стихийное движение теорию социализма (...), значит, последняя рождается *вне* стихийного движения, из наблюдения и изучения стихийного движения людьми, вооруженными знаниями нашего времени. Значит, теория социализма вырабатывается «совершенно независимо от роста стихийного движения», даже вопреки этому движению...»¹⁵

Но влияние Плеханова на Сталина проявляется и по другим вопросам, возникавшим в ходе обсуждения, трактовка которых еще более чужда ленинскому пониманию проблемы. Прочно встав на позицию между Лениным и «экономистами»

¹³ См.: В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 6, с. 29—30.

¹⁴ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 6, с. 31.

¹⁵ И. Сталин. Сочинения, т. 1, с. 57.

и претендуя на то, что таким образом достигается необходимое равновесие, Плеханов поверил в возможность теоретически спасти как детерминистский момент поступательного движения к социализму, так и субъективистский момент исторической функции революционного сознания. Детерминизм и волюнтаризм, хотя и не совпадают полностью, легко образуют у Плеханова эклектическое сочетание. В противоположность ленинской аксиоме, отправной точке «Что делать?», гласящей, что «без революционной теории не может быть и революционного движения»¹⁶, Плеханов считает рабочее движение революционным самим по себе и полагает, что оно не может поэтому не прийти к социализму даже и без направляющей его революционной теории, имеющей единственную, по его мнению, цель — ускорить и облегчить этот путь:

«Если верно то коренное положение исторического материализма, которое гласит, что «мышление» людей определяется их «бытием», и если не обманывает нас та основная теорема научного социализма, которая говорит, что социалистическая революция явится необходимым следствием противоречий, свойственных капитализму, то ясно, что на известной стадии общественного развития рабочие капиталистических стран пришли бы к *социализму* даже в том случае, если бы они были предоставлены „своим собственным силам”»¹⁷.

И все это в полемике с Лениным. Против Ленина, но и в противовес «экономистам», желающим оградить элемент стихийности от «вируса» интеллигенции:

«Пролетариат вовсе не есть «материя», неизвестно кем осужденная на вращение в заколдованном круге «тред-юнизма» и могущая выйти из этого круга лишь с помощью «Духа», «бациллы», «интеллигенции». Нет! Влекомый непобедимой силой современных общественных отношений, он и сам более или менее быстро движется в направлении к *социализму*, он и сам обнаруживает *социалистические стремления*. Но «бацилла» может ускорить движение, сделать его более осмысленным и более целесообразным; она может сыграть в высшей степени полезную воспитательную роль в среде борющегося с классом капиталистов пролетариата. И в этом ее великое историческое значение»¹⁸.

Поразительно, как Сталин, даже если он этого и не осознает, попадает под влияние этого плехановского тезиса. Правда, мысль эта была свойственна не одному только Плеханову; она подчеркивалась уже на II съезде РСДРП одним делегатом, Гориным, примыкавшим к большинству:

«Как же обстояло бы дело, если бы пролетариат был пре-

¹⁶ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 6, с. 24.

¹⁷ Г. В. Плеханов. Соч., М.—Л., 1926, т. XIII, с. 121.

¹⁸ Там же, с. 128.

доставлен самому себе? Дело было бы аналогично тому, что имело место накануне буржуазной революции. Никакой научной идеологии не было у буржуазных революционеров. И тем не менее буржуазный строй возник. Пролетариат без идеологов, конечно, в конце концов работал бы в сторону социальной революции, но инстинктивно... Пролетариат и инстинктивно практиковал бы социализм, но у него не было бы социалистической теории. Процесс был бы лишь более медленный и более мучительный»¹⁹.

Цитируя эти заверения Горина (В. Ф. Галкина)²⁰, Сталин избегает упоминания о Плеханове, хотя и имеет его в виду. Однако он охотно приписывает те же самые идеи и Ленину, несмотря на некоторые имеющиеся на этот счет возражения и замечания в «Что делать?». И поскольку сказанного в «Что делать?» явно недостаточно (одно простое примечание) по поводу утверждения, согласно которому «рабочий класс стихийно влечется к социализму»²¹, то Сталин добавляет, что «если он (Ленин) долго не останавливается на этом, так только потому, что он считает излишним доказывать то, что и без того доказано»²². Форсируя текст Ленина, Сталин вынужден прибегнуть к хромающей, с трудом ковыляющей логике даже при помощи самых традиционных метафор. К примеру, когда социализм определяется как «компас» рабочего движения, то, как правило, подразумевается, что корабль без компаса обречен плыть по воле волн и потерпеть крушение. Для Сталина же, находящегося под впечатлением положений и выводов Плеханова, это не так. Классический тезис о соединении рабочего класса с социалистической теорией представлен, таким образом, в новой интерпретации:

«Что такое научный социализм без рабочего движения? — Компас, который, будучи оставлен без применения, может лишь заржаветь, и тогда пришлось бы его выбросить за борт.

Что такое рабочее движение без социализма? — Корабль без компаса, который и так пристанет к другому берегу, но, будь у него компас, он достиг бы берега гораздо скорее и встретил бы меньше опасностей.

Соедините то и другое вместе, и вы получите прекрасный корабль, который прямо понесется к другому берегу и невредимым достигнет пристани.

Соедините рабочее движение с социализмом, и вы получите социал-демократическое движение, которое прямым путем устремится к „обетованной земле”»²³.

В силу своей хромающей логики Сталин, принимая теоре-

¹⁹ Atti del Secondo Congresso del Posdr, cit., p. 277—278.

²⁰ И. Сталин. Сочинения, т. 1, с. 104.

²¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 6, с. 41.

²² И. Сталин. Сочинения, т. 1, с. 103.

²³ Там же, с. 102—103.

тическое обоснование Плеханова не делает, однако, заложенных в нем выводов по организационным проблемам движения. И именно по этим вопросам дискуссия вокруг «Что делать?» (в связи с полемикой по новой работе Ленина «Шаг вперед, два шага назад», комментировавшей II съезд) разгорелась с новой силой. Плеханов был озабочен тем (несмотря на то, что он выступал за «централизм» и на съезде в батальи по первому параграфу Устава партии — определение членства в партии — встал на сторону Ленина, проголосовав против более расплывчатой формулировки Мартова), что излишняя непримиримость в борьбе против оппортунизма может привести к замыканию на сектантских позициях, отдалению от партии жизненных сил, необходимых для ведения революционной борьбы. И действительно, его разрыв с Лениным произошел по вопросу о том, стоит или нет пойти после II съезда на определенные уступки меньшинству²⁴. Не легко понять, насколько прав или не прав был Плеханов в оценке требований, предъявленных меньшинством в тот период острой внутривластной борьбы (борьбы ожесточенной, и как признает потом сам Ленин, «эта борьба имеет много непривлекательных сторон»²⁵). Но несомненно, что опасения его были обоснованны, если учесть то, как истолковывались ленинские положения людьми, подобными Сталину. Хотя Сталин, тогда еще молодой провинциальный руководитель, скорее всего, был совершенно неизвестен Плеханову, легко предположить, что подобное истолкование было характерным для некоторых слоев «чистых» практиков, сгруппировавшихся вокруг Ленина. Впрочем, сам Плеханов заявит о своем намерении критиковать «Что делать?» только тогда, когда обнаружит, после II съезда, какое влияние оказала работа Ленина «на наших практиков»²⁶.

Сталин как раз принадлежал к этим «чистым практикам», и его теоретическая мотивировка хорошо показывает, какие сектантские выводы могли бы быть сделаны из этого спорного ленинского текста. Вступая в спор с Мартовым (потребовавшим и добившимся на II съезде принятия своей формулировки членства в партии, согласно которой ее членом мог считаться тот, кто согласен с программой партии, однако не обязательно лично работает в одной из ее организаций), Сталин с негодованием утверждает, что это равняется «осквернению святыня святынь партии»²⁷ и что партия должна строиться, как «крепость», двери которой открываются лишь для достойных и лишь «для проверенных»²⁸. Сталин, впрочем, от-

²⁴ См.: Г. В. Плеханов. Соч., т. XIII, 1926, с. 310.

²⁵ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 16, с. 104.

²⁶ См.: Г. В. Плеханов. Соч., т. XIII, 1926, с. 139.

²⁷ И. Сталин. Сочинения, т. 1, с. 65.

²⁸ Там же, с. 67.

дает себе отчет в том, что идет дальше выдвинутой Лениным формулировки первого параграфа Устава²⁹, хотя и считал возможным доказать законность своего истолкования, представляя его как логический вывод из ленинских положений:

«В формулировке Мартова, как мы знаем, речь идет лишь о принятии программы, о тактике же и организации—ни звука, в то время как для единства партии единство организационных и тактических взглядов необходимо в такой же мере, как и единство их программных взглядов. Нам скажут, что об этом не говорится в формулировке тов. Ленина. Правильно! Но ведь в формулировке тов. Ленина нет надобности говорить об этом! Разве не ясно само собой, что тот, кто работает в одной из партийных организаций... не может следовать какой-либо другой тактике и другим организационным принципам, кроме тактики партии и организационных принципов партии»³⁰.

Из этого следует, что Сталин с самого начала понимал партийную организацию как закрытую и монолитную! Но партия-крепость, войти в которую достойны только «проверенные», неизбежно превращается в партию-моноцефал, где один думает и решает за всех, и поэтому исключено образование различных большинств и меньшинств. Плеханов карикатурно изображает подобный образ мышления, говоря, что прообразом здесь являются «лягушки, получившие, наконец, желанного царя, да Центральный Журавль, беспрестанно глотающий этих лягушек одну за другою. *Jamais politique, toujours hourrah! Et puis...* прощай, бедные, неразумные лягушки!»³¹. Карикатура эта не была безосновательна, если принять во внимание серьезность последствий распространения русской революционной традиции, от Нечаева до Сталина: но в какой мере подобное понимание организации партии может быть приписано Ленину? Защита ленинских убеждений «твердыми», подобными Сталину, похоже, укрепила подозрения таких, как Плеханов (а в международном масштабе не только Каутского, но и таких, как Роза Люксембург), но остается фактом, что с Лениным большевистская партия или когда не была моноцефальной и что уже в то время в работах Ленина мы можем найти точные, хотя и не прямые, опровержения воззрений Сталина.

Отвечая Розе Люксембург, расценившей предлагаемую им организационную систему как «ультрацентристскую», Ленин считал необходимым подчеркнуть, что он защищает и отстап-

²⁹ См.: В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 7, с. 256: «Членом партии считается всякий, признающий ее программу и поддерживающий партию как материальными средствами, так и личным участием в одной из партийных организаций».

³⁰ И. Сталин. Сочинения, т. 1, с. 71—72.

³¹ Г. В. Плеханов. Соч., 1926, т. XIII, с. 92.

вает не какую-то одну организационную систему, противопоставляя ее какой-либо другой, а основные положения любой системы любой организации мыслящей партии³². Подобное уточнение не покажется убедительным Сталину, нашедшему у Ленина — как мы уже видели — концепцию партии-«крепости», не являющуюся по-настоящему организационной системой мыслящей партии, распознаваемой во всех ее формах. С другой стороны, Сталин не мог знать тогда данной ленинской работы (оставшейся неизданной, так как она предназначалась для «Нойе цайт», отказавшейся опубликовать ее); но наверняка он знал «Шаг вперед, два шага назад», где Ленин подчеркивает, что партия для того, чтобы быть организованной наилучшим образом, должна воспринимать в себя «лишь такие элементы, которые *допускают хоть минимум организованности*»³³. Но претензии Сталина выходили далеко за рамки этого «минимума»:

«Лишь тот, кто достаточно изучил и полностью принял программные, тактические и организационные взгляды нашей партии, может быть в рядах нашей партии...»³⁴

Подобные категорические условия были недвусмысленно исключены Лениным, когда на замечание одного из делегатов от большинства (по мнению которого, «чтобы принять программу, ее нужно усвоить и понять» и что поэтому «признание программы обуславливается довольно высоким уровнем политического сознания») он возразил:

«Мы никогда не допустим, чтобы *поддержка* социал-демократии, чтобы *участие* в руководимой ею борьбе искусственно *ограничивалось* какими бы то ни было требованиями (усвоения, понимания и проч.), ибо само это *участие* одним уже фактом своего проявления *поднимает* и сознательность и организационные инстинкты...»³⁵

С другой стороны, верно, что это отличие ленинской позиции от ориентации части членов партии, выступавших в его поддержку, казалось в то время, скорее всего, второстепенным или даже не заслуживающим внимания по сравнению с расслоением, намечавшимся в то время в среде российской социал-демократии. В конечном итоге во всей этой дискус-

³² В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 9, с. 39. Несогласие Каутского в свою очередь по данному вопросу состояло не в различиях в воззрениях на партию, оно касалось подполья, в условиях которого существовала российская партия: «Там, где социал-демократия может открыто организовывать свои силы, членом партии должен считаться тот, кто является членом любой партийной организации»; но «не в интересах нашего дела считать членом нашей партии только того, кто может войти в нашу подпольную организацию» (К. Каутский. О наших партийных разногласиях. — В кн.: *Migliardi. Lenin e i menscevichi*, cit., p. 187).

³³ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 8, с. 242.

³⁴ И. Сталин. Сочинения, т. 1, с. 64—65.

³⁵ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 8, с. 260.

сии речь шла лишь об «оттенках» и маленьких разногласиях, не доказывающих сами по себе факт окончательного политического раскола. Ленин (знавший, что «всякое маленькое разногласие может сделаться *большим*, если на нем настаивать, если выдвинуть его на первый план, если *приняться* за разыскание всех корней и всех ветвей этого разногласия»)³⁶, конечно, не был расположен к обострению разногласий, существовавших внутри группы большевиков тогда, когда он занимался тем, чтобы найти корни и ответвления своих (поначалу небольших) разногласий с меньшевиками. Затем само историческое развитие выдвинет на первый план эти разногласия между Лениным и Сталиным, проявившиеся до того времени лишь в зародышевом состоянии и, может быть, не осознававшиеся даже Лениным.

2. Разногласия и согласие

В тенденции молодого Сталина считать членов партии своего рода церковнослужителями революционной церкви должно рассматриваться не только как «соскальзывание на привычный для бывшего семинариста язык»³⁷. Черетование религиозных метафор (таких, как партия — «святая святых», социализм — «земля обетованная») и метафор военных (партия-«крепость» или «войско») указывает на то, что и из религии Сталин усвоил лишь такие понятия, как порядок и иерархия. Вспоминая свою первую личную встречу с Лениным во время конференции большевиков в Таммерфорсе в декабре 1905 года, когда именно это его убеждение (по крайней мере в психологическом плане) было подвергнуто тяжелому испытанию, теперь, двадцать лет спустя, Сталин, будучи сам уже зрелым руководителем, почувствовал необходимость оправдать смущенное недоумение провинциального «молодого марксиста»:

«Принято, что «великий человек» обычно должен запаздывать на собрания, с тем чтобы члены собрания с замиранием сердца ждали его появления, причем перед появлением «великого человека» члены собрания предупреждают: «тсс... тише... он идет». Эта обрядность казалась мне не лишней, ибо она импонирует, внушает уважение. Каково же было мое разочарование, когда я узнал, что Ленин явился на собрание раньше делегатов и, забившись где-то в углу, по-простецки ведет беседу, самую обыкновенную беседу с самыми обыкновенными делегатами конференции. Не скрою, что это показав-

³⁶ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 8, с. 239.

³⁷ В. С. Tucker. Stalin il rivoluzionario (1879—1929). Milano, 1977, p. 103.

лось мне тогда некоторым нарушением некоторых необходимых правил»³⁸.

Сомнительно, что Сталин, всегда прикованный и до, и после революции к пониманию партии как военно-религиозной организации, был когда-либо убежден в том, что в данных правилах нет больше «необходимости» («компартия как своего рода орден меченосцев внутри государства Советского...», такое двусмысленное определение партии даст он позже, в 1921 году)³⁹. Впрочем, во время той первой встречи в Таммерфорсе молодой Сталин был удивлен еще раз: Ленин не только не выглядел «римским папой или мандарином социализма»⁴⁰ внешне, но и по сути своей он казался менее «твердым», нежели тот представлял его себе ранее. И действительно, по одному из важнейших политических вопросов, стоявших на повестке дня Таммерфорсской конференции (участвовать в выборах в Виттевскую думу или бойкотировать эти выборы), Ленин, к разочарованию Сталина, встал на «меньшевистские» позиции, выступая за участие в выборах. Но на этом неожиданности для Сталина не кончились: когда часть делегатов, требовавших продолжения линии жесткого бойкота, уже с успехом проверенной на предыдущей, Булыгинской думе, была готова поднять мятеж, Ленин был вынужден отказать от своего предложения и согласиться, к утешению Сталина, с тактикой бойкота.

Пятнадцать лет спустя, вспоминая этот эпизод, Сталин не сможет скрыть своего удовлетворения тем фактом, что тогда был прав он, а не Ленин, «этот великан», в котором он мог отметить «скромность» и «мужество признать свои ошибки»⁴¹. Ленин, со своей стороны, возвращаясь к этому событию (в работе «Детская болезнь «левизны» в коммунизме»), даст ему совершенно другую оценку и посчитает «ошибкой, хотя и небольшой, легко поправимой»⁴² — не позицию отрицания бойкота, к чему он склонялся в начале, но от которой затем отказался на конференции в Таммерфорсе, а само решение конференции — защищаемое и восхваляемое Сталиным даже пятнадцать лет спустя — продолжать тактику бойкота и по отношению к выборам в Виттевскую думу. Во всяком случае, здесь речь идет о небольшом разногласии (о чем, впрочем, сам Сталин предпочтет позже не вспоминать), лишенном теоретического обоснования и тяготеющего к области конъюнктурных оценок тактики в существовавшей обстановке. Данное разногласие показательно лишь как признак зна-

³⁸ И. Сталин. Сочинения, т. 6, с. 54.

³⁹ И. Сталин. Сочинения, т. 5, с. 71.

⁴⁰ I. Deutscher. Stalin. Una biografia politica. Milano, 1969, p. 134.

⁴¹ См.: И. Сталин. Сочинения, т. 4, с. 316. А также: I. Deutscher, cit., p. 135—137.

⁴² В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 41, с. 18.

чительной самостоятельности Сталина в суждениях о Ленине и, таким образом, развенчивает легенду о предрасположенности Сталина психологически отождествлять себя с Лениным и всегда вставать на его политические и теоретические позиции.

Еще более показательно новое разногласие, разделявшее Сталина и Ленина в Стокгольме (апрель 1906 года, через несколько месяцев после Таммерфорса) в споре об аграрной программе IV съезда РСДРП, который должен был стать объединительным съездом. Сталин, как делегат, представляет тифлисскую организацию партии. В споре по аграрному вопросу он выступает в защиту тезиса о разделе земель, отстаиваемого группой большевиков, и против муниципализации, за которую выступали меньшевики, и против ленинского тезиса о национализации. Сталин без малейшего сомнения политически уравнивает эти два отвергаемых им тезиса:

«...И национализация, и муниципализация одинаково неприемлемы. Выставляя лозунг муниципализации или национализации, мы, ничего не выигрывая, делаем невозможным союз революционного крестьянства с пролетариатом»⁴³.

Это разногласие уже не является незначительным с точки зрения выдвинутой Лениным стратегии союза рабочих и крестьян в буржуазно-демократической революции. Более всего стоит подчеркнуть качество данного разногласия: Сталин не только считает непоследовательным ленинский тезис о национализации, но и расценивает его как несовместимый со стратегической осью рабоче-крестьянского союза (и это еще раз опровергает легенду о харизме*, которой наделяли Ленина его «последователи»). Еще более поражает тот факт, что многочисленные политические мотивации и теоретические аргументы, приведенные Лениным и изложенные им на многих сотнях страниц в поддержку своего тезиса, абсолютно игнорируются Сталиным. И не только в 1906 году, в выступлении на VI съезде, а также в статьях того периода, посвященных аграрному вопросу⁴⁴, но и сорок лет спустя, в предисловии к первому тому своих Сочинений, чтобы оправдать расхождения во мнениях с Лениным, Сталин предпочитает вспоминать аргументы, которых Ленин не приводил в поддержку тезиса о национализации (теория «перерастания буржуазной революции в России в революцию социалистическую»⁴⁵; кажется, это единственные убедительные для «практиков-боль-

⁴³ И. Сталин. Сочинения, т. 1, с. 237.

* Харизма (дословно с древнегреч. — божий дар) — обаяние личности вождя (термин, введенный в социологию М. Вебером и ныне широко распространенный на Западе). — *Прим. ред.*

⁴⁴ См.: «Аграрный вопрос» и «К аграрному вопросу». — И. Сталин. Сочинения, т. 1, с. 214—235.

⁴⁵ Там же, с. XIV.

шевилов» аргументы), и не принимает во внимание доводы, действительно приведенные Лениным. На самом же деле аргументы, не поняты Сталиным в 1906 году, так и остались не понятыми им и сорок лет спустя, когда «молодой марксист» стал уже великим теоретиком и учителем «марксизма-ленинизма». В связи с этим вопрос приобретает особую значимость, даже если с практической точки зрения он и не имел прямых последствий, так как в Стокгольме, где меньшевики были в большинстве, был принят тезис о муниципализации. За ленинский тезис о национализации, а также за выдвинутый большевиками тезис о разделе земли проголосовало меньшинство делегатов. За этот последний тезис, руководствуясь исключительно тактическими соображениями⁴⁶, проголосовал на съезде и Ленин, что не помешало ему продолжать отстаивать свое мнение о национализации земли на последующих дебатах по аграрному вопросу.

По мнению Ленина, национализация земли — в отличие от национализации аграрной продукции, являющейся тогда, когда она становится возможной, мерой социалистической, — представляет собой «буржуазную реформу». Поэтому непонятно, почему вдруг она должна быть связана с теорией перерастания буржуазной революции в социалистическую, как пытается представить Сталин сорок лет спустя. Напротив, ее следовало связать с Марксовой теорией ренты и подробным анализом аграрных отношений в России, а также их возможного развития. Именно на этой основе Ленин полемизирует с меньшевистскими теоретиками аграрного вопроса (и, в частности, с Петром Масловым), утверждая: 1) что национализация земли возможна и уместна и в буржуазном обществе, 2) что она не замедляет, а ускоряет развитие капитализма, 3) что она максимум буржуазно-демократических требований в плане аграрных отношений⁴⁷. Менее острой (по очевидным организационным причинам) и на первый взгляд более ограниченной является полемика Ленина с большевиками, сторонниками «раздела», которым он вменял лишь ошибку перспективы исторической, то есть то, что они неверно определяют «момент развития»⁴⁸: раздел земель мог быть, по мнению Ленина, мерой полезной и приемлемой на определенной стадии развития аграрных отношений, но являлся мерой совершенно ошибочной в тот данный момент в свете задач буржуазной революции в России. В сущности, все ленинские доводы против меньшевиков, теоретиков муниципализации, могли бы быть адресованы большевикам, выступающим за раздел; напротив, полемика эта должна бы быть более ост-

⁴⁶ См.: В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 12, с. 369.

⁴⁷ Там же, с. 250, 258, 268.

⁴⁸ Там же, т. 16, с. 268.

рой, принимая во внимание абсолютно ортодоксальные требования, выдвинутые последними. Если Маслова (недооценивавшего значение третьего тома «Капитала») Ленин мог упрекнуть в том, что он критиковал Марксову теорию ренты, как следует не разобравшись в ней, то что же говорить о тех, кто цитировал, в защиту теории раздела, третий том «Капитала», игнорируя эту теорию, необходимую, по мнению Ленина, для того, чтобы знать учение Маркса? Именно о Маслове Ленин пишет:

«Этот «марксист» выше того чтобы считать необходимым для поучения других людей *ознакомиться* с Марксом, проштудировать хотя бы вышедшие в 1905 году «Теории прибавочной стоимости», где теория ренты разжевана, можно сказать, даже для **Масловых!**»⁴⁹

Даже для Маслова, но, конечно, не такого «большевика-практика», как Сталин, на чью теоретическую подготовку у Ленина, впрочем, не было причин обращать особого внимания. Даже в статьях по аграрному вопросу, опубликованных грузинской печатью в 1906 году, Сталин неоднократно обращается к третьему тому «Капитала»⁵⁰ (выступая, очевидно, в поддержку пропагандистов «раздела»)⁵¹, однако здесь не ощущается никаких признаков Марксовой теории ренты. Уровень теоретического примитивизма Сталина в тот период (и который, в сущности, ему никогда не удастся превзойти) достаточно хорошо объясняет (гораздо лучше, конечно, чем история с Масловым, в общем-то, изучавшим Маркса), каким образом мог появиться тип марксиста, «стоящего гораздо выше осознания необходимости изучения Маркса, прежде чем преподавать его другим». С тех пор как в душе Сталина наука заняла место религии, все атрибуты последней перешли в науку, вбирающую в себя, таким образом, все специфические особенности религии. Главное здесь — это не процесс поиска, дающий начало познанию, а непоколебимость веры, передаваемой своим последователям для того, чтобы привлечь их к действию и определить их поведение. Так же как для хорошего верующего важнее верить в бога и поклоняться ему, чем доказать его существование, так же и марксизм — при религиозном его понимании — преподается больше как предмет почитания и поклонения, нежели как нечто в первую очередь заслуживающее изучения в целях его познания. Никто, должно быть, кроме Сталина, не набрался смелости открыто заявить об обращении марксизма в религиозную веру, и именно тогда, когда он пытался определить «основные черты пролетарского социализма Маркса и Энгельса»:

⁴⁹ Там же, с. 278.

⁵⁰ См.: *И. Сталин*. Сочинения, т. 1, с. 224, 233.

⁵¹ См.: *В. И. Ленин*. Полн. собр. соч., т. 16, с. 271, прим.

«Прежде всего необходимо знать, что пролетарский социализм представляет не просто философское учение. Он является учением пролетарских масс, их знаменем, его почитают и перед ним «преклоняются» пролетарии мира. Следовательно, Маркс и Энгельс являются не просто родоначальниками какой-либо философской «школы» — они живые вожди пролетарского движения, которое растет и крепнет с каждым днем. Кто борется против этого учения, кто хочет его «ниспровергнуть», тот должен хорошо учесть все это, чтобы зря не расшибить лоб в неравной борьбе»⁵².

Этот отрывок взят из работы «Анархизм или социализм?» — одной из наиболее значительных в теоретическом плане работ Сталина. Она опубликована частями в грузинской печати в 1906—1907 годах и затем помещена Сталиным в первый том своих Сочинений. Можно заметить, что в ней уже присутствуют в некоторых вариантах основные тезисы, а также основы методологии ключевого текста советского «диамата», известного под названием «О диалектическом и историческом материализме» (опубликован впервые в 1938 году в виде раздела знаменитой «Истории ВКП(б). Краткий курс»). Полемика с анархистами, чему посвящен текст 1906—1907 годов, — это лишь предлог, позволивший Сталину объяснить сущность своего марксизма. «Пролетарский социализм Маркса и Энгельса», как видим, — это прежде всего боевое знамя, предмет своего рода религиозного поклонения. Но Сталин — не мистик, призывающий к вере в неизвестного бога, и он не ограничивается лишь указанием на данный символ, говоря: «In hoc signo vinces» («Сим победиши»).

Он чувствует необходимость дать своей вере объяснение и теоретическое обоснование, и именно поэтому эта юношеская работа приобретает особое значение.

В действительности, только в заключение Сталин утверждает, что марксизм — это не только философская доктрина, но и боевое знамя. Вначале же зависимость кажется обратной:

«Марксизм — это не только теория социализма, это — цельное мировоззрение, философская система, из которой сам собой вытекает пролетарский социализм Маркса. Эта философская система называется диалектическим материализмом.

Поэтому изложить марксизм — это значит изложить и диалектический материализм»⁵³.

В приведенном отрывке имеются все составные части того, что позже назовут классическим «диаматом» (следующим

⁵² И. Сталин. Сочинения, т. 1, с. 350.

⁵³ Там же, с. 297—298.

из текста 1938 года): диалектический материализм, являющийся результатом встречи метода (диалектики) и теории (материализма), пролетарский социализм (позднее отождествленный с историческим материализмом) как практическое применение принципов диалектического материализма по отношению к обществу. Каждое понятие вытекает из своего аксиоматического определения, и каждое определение позволяет сделать несколько простеньких выводов, в результате чего оказывается очевидным, что «пролетарский социализм является прямым выводом из диалектического материализма»⁵⁴.

Очевидность и простота выводов с самого начала были и останутся в дальнейшем характерными деталями сталинских теоретизаций. Зато все, что не вмещается в эти рамки, заслуживает только того, чтобы быть отброшенным. Так Сталин попросту игнорировал сложность анализа, присущую «Капиталу». Он обращался к Марксу лишь для того, чтобы извлекать из его произведений простые формулы, переводимые на ясный язык лозунга (и поэтому он может ограничиваться даже схоластическими формулировками). Когда теория служит лишь базой укрепления веры и может быть превращена в боевое знамя (о логике я здесь уже не говорю), не удивляет, что в этом случае (так же как и в приведенных примерах) молот становится основным инструментом философии.

Конечно, в работе «Анархизм или социализм?», как и в других юношеских работах Сталина, культурный примитивизм проявляется более явно, чем в сочинениях, написанных им в зрелом возрасте. Но по существу дедуктивный метод аксиоматических определений остается неизменным и служит для подгонки исходного материала под удобную в каком-либо данном конкретном случае формулировку. Единственным значительным отличием является то, что в 1906—1907 годах Сталин еще не имел той власти, которая позже, в 1938 году, позволит ему навязать под видом концентрированного выражения объективной науки свои субъективные теоретические измышления. В юношеских работах даже и само повествование зачастую напоминает по форме сказку, так что диалектика и метафизика принимают вид персонажей, спорящих друг с другом: «Диалектика говорит... Метафизика же говорит...»⁵⁵. Придерживаясь той же манеры, несколькими годами ранее, в своем первом сочинении по национальному вопросу он смог «доказать» «логическую глупость» тех, кто говорит о защите национального духа:

«Наука устами диалектического материализма давно до-

⁵⁴ И. Сталин. Сочинения, т. 1, с. 331.

⁵⁵ Там же, с. 304.

казала, что никакого «национального духа» не существует и существовать не может. Опроверг ли кто-нибудь этот взгляд диалектического материализма? История говорит нам, что никто не опроверг. Следовательно, мы обязаны согласиться с указанным взглядом науки, обязаны вместе с наукой повторить, что никакого «национального духа» не существует и существовать не может. И если это так, если никакого «национального духа» не существует, — то само собой ясно, что всякая защита того, что не существует, является логической глупостью, которая неизбежно повлечет за собой соответствующие исторические (нежелательные) последствия»⁵⁶.

Одним из нежелательных исторических последствий аргументации подобного рода является то, что и науке здесь недолго превратиться в сказку. Однако, до тех пор пока у Сталина не было права решать то, что «доказала» наука, его теоретические сказки оставались незамеченными: на них никто не обращал внимания, начиная с Ленина, находившегося в совершенно иных отношениях с марксизмом, хотя он питал к нему не меньшую страсть, чем Сталин. И для Ленина марксизм — это наука и боевое знамя; но это наука, которую необходимо изучать, чтобы она могла стать полезным боевым знаменем. Тысячи страниц показывают, как Ленин, чтобы знать Маркса, чувствовал необходимость изучить досконально каждое его произведение, не ограничиваясь пережевыванием нескольких цитат, чтобы сделать из них простые логические выводы. Кроме того, Ленин понял, что, для того чтобы знать Маркса, мало читать и изучать его работы, надо еще обладать суммой знаний и приемов, использованных Марксом в его теоретическом анализе. То есть надо приобрести научную компетентность, не являющуюся врожденной, не передающуюся по наследству внутри класса, и попытаться себя в спорных вопросах марксизма (к ним Ленин причислял философию и аграрный вопрос⁵⁷, в чем Сталин как раз был более всего несведущ). Только при этих условиях теория перейдет в лозунг и далее в практику, не уступая стихийности. У Сталина же, наоборот, лозунг превращался в «теорию», то есть переделывался в понятие, из которого легко выводился искомый лозунг.

Борьба Ленина за повышение теоретического уровня социал-демократического движения — это основной аспект всей

⁵⁶ «Как понимает социал-демократия национальный вопрос» (1904). — *И. Сталин*. Сочинения, т. 1, с. 53. Позже, в статье по национальному вопросу (1913), эта поспешная расправа с «национальным духом» будет Сталиным отменена, и «национальный дух» под названием «национальный характер» или «общность психического склада, сказывающаяся в общности культуры», будет восстановлена как «одна из характерных черт нации» (см. там же, т. 2, с. 296).

⁵⁷ *В. И. Ленин*. Полн. собр. соч., т. 49, с. 31.

его революционной деятельности. Естественно, это не только педагогическая деятельность — стиль дидактического повторения, столь близкий Сталину, всегда был чужд Ленину, — это попытка слить воедино политику и педагогику. О трудностях, которые здесь нужно будет преодолеть, хорошо знал сам Ленин, и уже в «Что делать?» он заметил, что распространение марксизма влечет за собой его вульгаризацию:

«Кто сколько-нибудь знаком с фактическим состоянием нашего движения, тот не может не видеть, что широкое распространение марксизма сопровождалось некоторым принижением теоретического уровня»⁵⁸.

Позже, полемизируя с «вульгарным марксизмом», с плоским и обессиленным марксизмом реформистов, Ленин не мог не видеть, что марксизм подобного типа распространен и среди большевиков, а именно среди тех «практиков», что составляли костяк русского рабочего движения. Не мог он, конечно, обманываться и насчет того, что для повышения их теоретического уровня можно будет обойтись учебой в партийных школах. Только борьба, производившая отбор борцов, могла предоставить человеческий материал, способный усвоить более высокий теоретический уровень. И в ходе этой борьбы Ленин считал, что нашел революционера, показавшегося заслуживающим доверия и в теоретическом плане: «чудесного грузина»⁵⁹, автора статьи по национальному вопросу, опубликованной весной 1913 года в большевистском журнале «Просвещение».

Подсказал Сталину написать эту статью сам Ленин во время их первой продолжительной встречи в Кракове, после того как они вместе обсудили ее содержание. Для Сталина данное пребывание за границей было наиболее длительным (в период между 1912 и 1913 годами он провел в Кракове и Вене около шести недель). В Краков он был вызван для участия в заседаниях Центрального Комитета партии большевиков, где был избран делегатом Пражской партийной конференции (январь 1912 года), ознаменовавшей окончательный разрыв с меньшевиками. Это были трудные времена для российского рабочего движения, подвергшегося испытанию отката после революционной волны 1905 года. Партийные организации поределели; вследствие новых напряженных ситуаций и внутрипартийной борьбы стал колебаться и Сталин. Так, в 1909 году он открыто заявил о своем несогласии с непримиримой позицией Ленина по отношению к Богданову⁶⁰, но спустя несколько месяцев в письме, адресованном Центральному Комитету партии, он писал, что Ленин — «мужик

⁵⁸ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 6, с. 23.

⁵⁹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 48, с. 162.

⁶⁰ См.: И. Сталин. Сочинения, т. 2, с. 168; R. C. Tucker. Stalin il rivoluzionario, cit., p. 117—118.

умный и знает, где раки зимуют»⁶¹. Поэтому понятно, что некоторое время мнение Ленина о Сталине было неопределенным. Если, принимая во внимание его непоследовательность в конфликте с Богдановым, Сталин казался незрелым «как марксист»⁶², то Ленин не мог не оценить его «Письма с Кавказа» (опубликованные в 1910 году в «Социал-демократе»)⁶³, где верность его политической ориентации подкреплялась обширной и точной информацией об экономической и политической ситуации в Баку и Тифлисе. С другой стороны, решение ввести революционеров-«практиков», таких, как Сталин, в центр руководящей группы большевиков было продиктовано необходимостью укрепить связи с массами, опасно ослабленные партийным кризисом. Встреча в Кракове в довершение всего произвела на Ленина самое благоприятное впечатление: перед ним был человек, казалось, глубоко пустивший корни в российскую историю, революционер, не только хорошо разбиравшийся в нелегком вопросе отношений между национальностями в России, но и способный изучать этот вопрос дальше с целью выяснить его теоретический аспект. Другими словами, Сталин казался Ленину соратником, способным к дальнейшему обучению⁶⁴.

И действительно, по сравнению с работой «Анархизм или социализм?» (с которой Ленин, кажется, так и не ознакомился) статья 1913 года «Марксизм и национальный вопрос»⁶⁵ в большей степени обоснована теоретически, хотя и в рамках склонности к схоластике, опирающейся на классификаторские определения. На самом же деле, как было замечено⁶⁶, в сталинской статье принцип самоопределения наций защищался менее решительно, чем в последующих работах Ленина. И именно в связи с этим вопросом десять лет спустя Ленин заметит, но слишком поздно, что под маской «чуждого грузина» скрывался «держиморда»⁶⁷, классический русский полицейский.

3. Ленинская политика и теоретический сталинизм

Восстанавливая исторически объективный ход событий большевистского движения в предреволюционный период, мы с трудом можем заметить фигуру Сталина. После того как он попал в руки полиции, его связи с руководящей группой

⁶¹ *И. Сталин. Сочинения*, т. 2, с. 209.

⁶² См.: *R. C. Tucker. Stalin il rivoluzionario*, cit., p. 118.

⁶³ *И. Сталин. Сочинения*, т. 2, с. 174—196.

⁶⁴ О встрече в Кракове советуем перечитать острые и содержательные страницы книги Дойчера: *J. Deutscher. Stalin*, cit., p. 184—189.

⁶⁵ *И. Сталин. Сочинения*, т. 2, с. 290—367.

⁶⁶ *R. C. Tucker. Stalin il rivoluzionario*, cit., p. 122.

⁶⁷ См.: *В. И. Ленин. Полн. собр. соч.*, т. 45, с. 360.

прервались более чем на четыре года, и казалось даже, что его имя забыто. Ленину, знавшему его как Кобу, не удается вспомнить настоящую фамилию Сталина. «Не помните ли фамилии *Кобы*?» — спрашивает он у Зиновьева в июле 1915 года (*В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 49, с. 101*). Но и Зиновьев не помнит его, если в ноябре того же года Ленин пишет Карпинскому: «Большая просьба: узнайте (от Степко или Михи и т. п.) фамилию *«Кобы»* (Иосиф Дж...?? мы забыли). Очень важно!!»⁶⁸

Размышляя над хрупкими обстоятельствами, через которые проходит поток истории, и убеждаясь в том, что судьба народов непредсказуема ни для какой философии истории, приходишь к выводу о верности диалектического материализма, утверждающего, что исторические феномены даже тогда, когда они носят имена отдельных личностей, не являются плодом свободной деятельности этих личностей. То, что такой феномен, как сталинизм, не следует понимать как продукт деятельности личности индивида, именуемого Сталиным, подтверждается обстоятельствами, способствовавшими постепенному превращению малоизвестного грузинского революционера в многоликий впечатляющий исторический персонаж: это и «строитель социализма», и «мудрый вождь народов», и кровавый деспот, и «выдающийся теоретик марксизма».

Вслед за выходом на свободу и возвращением к политической деятельности после Февральской революции 1917 года мы видим Сталина среди «старых большевиков», противостоящих новой политической линии, выработанной Лениным и изложенной в его «Письмах из далека» (подвергшихся критике со стороны «Правды», руководимой Сталиным и Каменевым), а также в «Апрельских тезисах». Но в то же время Сталин — среди первых, кто встал на сторону новой политики. Как соратник Ленина, он сможет еще несколько лет казаться его послушным учеником, никогда не упорствующим сверх меры в случайных спорах со своим учителем. Его способности неутомимого организатора вместе с энергией ума сделали Сталина значимым членом руководящей группы, стоящей на переднем крае революционной борьбы, и предназначили его для главной роли, что было бы нелепо при любых других обстоятельствах. Тот факт, что Сталин воспринимался в свое время как один из наименее ярких создателей нового политического режима, порожденного историческим событием Октябрьской революции, приведет к заблуждению, сыгравшему свою роль в развитии событий. Один из наиболее прилежных хронистов революции, меньшевик Суханов, писал уже в 1922 году:

⁶⁸ *В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 49, с. 161. Ср.: В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 45, с. 356—362.*

«Сталин за время своей скромной деятельности в Центральном Исполнительном Комитете (Советов) производил впечатление, и не только на меня лично, человека ординарного, испускавшего иной раз слабый свет, но никогда не оставлявшего ни единого следа. О нем больше нечего сказать»⁶⁹.

Недосценивать его были склонны не только сторонние наблюдатели. Но, не впадая в крайность рассмотрения Сталина как «серой лошади», неспособной оставить после себя след, люди, работавшие с ним и, следовательно, знавшие его лучше, может быть, усматривали в самой его ограниченности известную гарантию его неопасности. По крайней мере это первое, что приходит на ум, когда стараешься объяснить, почему опытные и способные политические руководители, составляющие большинство Центрального Комитета большевиков — такие, как Троцкий и Зиновьев, Каменев и Бухарин, — предпочли после смерти Ленина обойти его недвусмысленную рекомендацию снять Сталина с должности Генерального секретаря партии. К тому же указание Ленина являлось частью мучительной для него попытки общего переосмысления событий и фактов, вне которой оно казалось бы загадочным еще и потому, что было сформулировано с очевидной деликатностью:

«Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью»⁷⁰.

Сомнение, возникшее таким образом, могло быть устранено двумя способами: либо изменив систему, позволявшую кому-либо концентрировать в своих руках «необъятную власть», либо заменив человека, имевшего в своих руках эту власть. Ленин полагал, правда, что надо двигаться в обоих направлениях, но не давал понять, какое из них следует предпочесть. В русле первого шло требование увеличить число членов Центрального Комитета так же, как и предложение (уже подсказанное Троцким) обеспечить большую автономию экспертам из Госплана, с тем чтобы не подавлять их компетентной инициативы чрезмерными политическими оговорками. Но здесь речь шла об организационных мерах, еще слишком скромных и частичных, не могущих привести к ясному результату ввиду отсутствия других условий, могущих сделать их действительными. Во второе направление входили опасения, относящиеся к Сталину, сформулированные вначале косвенным образом и затем жестко заостренные на «характере» Генерального секретаря. Впрочем, сам Ленин пони-

⁶⁹ N. N. Suchanov. *Cronache della rivoluzione russa*. Roma, 1967, I, p. 382.

⁷⁰ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 45, с. 345.

мал слабость данного аргумента для обоснования ясного требования о замене Сталина и старался оправдать свой довод как благоразумную меру перед лицом опасности раскола⁷¹. Мысль о том, что раскол партии может быть предотвращен еще большим усилением (при помощи режима террора и личного деспотизма) и без того «необъятной власти», сконцентрированной в руках Сталина, очевидно, даже и не принимается Лениным в расчет.

Однако все это окажется менее загадочным, если мы посмотрим на данный эпизод в свете всей ленинской политики последнего периода. Октябрьская революция определяет демаркационную линию, или водораздел, не только для мировой истории, но и в развитии ленинской мысли. Элемент последовательности является основной отправной точкой. Он вытекает из марксистского анализа и определяет общий характер развития. Но если до Октябрьской революции варианты этого анализа были, вместе с присущими ему отклонениями, в общем-то, ориентированы на революционное насилие как на решающий момент исторического процесса классовой борьбы, теперь же, после революции (то есть после того, как революционное насилие достигло кульминации и своих целей), данный курс потерял притягательную силу и оказался недостаточным для ориентации дальнейшего развития. Возникает необходимость изменения тенденции, и Ленин сразу же сознает эту необходимость (хотя и с новыми неизбежными колебаниями). Уже несколько месяцев спустя после Октябрьской революции, полемизируя с левыми коммунистами, требовавшими «более решительного обобществления», ему удалось выявить ошибку, в которую впали те, кто настаивал на продолжении в новой ситуации ориентации на старый курс:

«Вчера гвоздем текущего момента было то, чтобы как можно решительнее национализировать, конфисковать, бить и добивать буржуазию, ломать саботаж. Сегодня только слепые не видят, что мы больше нанационализировали, национализировали, набили и наломали, чем успели подсчитать»⁷².

⁷¹ См. весь текст, добавленный к «Завещанию», продиктованный 4 января 1923 года: «Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общении между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого человека, который во всех других отношениях отличается от тов. Сталина только одним перевесом, именно, более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и т. д. Это обстоятельство может показаться ничтожной мелочью. Но я думаю, что с точки зрения предохранения от раскола и с точки зрения написанного мною выше о взаимоотношении Сталина и Троцкого, это не мелочь, или это такая мелочь, которая может получить решающее значение» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 45, с. 346).

⁷² В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 36, с. 294.

К данной постановке вопроса Ленин вернется после окончания гражданской войны и периода «военного коммунизма» (когда волюнтаризм в принятии решений неизбежно выдвигался на первый план вместе с преходящей иллюзией, что борьба за удержание власти должна совпадать с борьбой за социализм). Это была новая глава в истории марксизма, и сопутствовала ей теоретическая пустота, которую нужно было заполнить. Нельзя сказать, что пустота эта была абсолютной, так как в традиции теоретического марксизма все же имелось какое-то представление об этой проблематике. Имелось даже название: «Исторический период перехода от капитализма к социализму» — и подзаголовок: «Революционная диктатура пролетариата». И мало что еще; здесь «путеводная нить» становилась слишком тонкой; ее надо было укрепить, чтобы ею можно было успешно пользоваться. Для того чтобы укрепить ее, Ленин начал с уточнения, что «...не в одном насилии сущность пролетарской диктатуры, и не главным образом в насилии»⁷³. И это единственный твердый вывод, к которому приходит Ленин. Поскольку он знаменует собой определенные изменения в тенденции, то тем самым подчеркивает всю сложность задачи, стоявшей перед победившей революцией. Этот вывод покоится в конечном счете на «решении»; но на решении, содержащем в себе отказ от волюнтаристской логики типа «что хочу, то и ворочу» и открытом разным возможностям. Но это — критерий методологии, а не открытие столбовой дороги, ясной всем и каждому. Ленинский анализ классовых отношений и их возможного развития подчинен данной методологической установке, и исследование остается, таким образом, незавершенным. Когда же оно после его смерти возобновляется преемниками Ленина, то именно эта методологическая основа становится все слабее и слабее и в конце концов исчезает вовсе. С именем Ленина, более того, «ленинизма», то есть ленинских идей, введенных в систему, Сталин снова возвращается к волюнтаристской логике и доводит ее до совершенства. Все то, что было не решено Лениным теоретически в последний период его жизни, может теперь быть объединено в систему, подчиненную гармоничной логике. Проблема состоит не в том, чтобы иметь власть, а в умении руководить, говорил Ленин. «...Все дело в том, чтобы удерживать власть, укрепить ее, сделать ее непобедимой», — вторит ему Сталин в работе «Об основах ленинизма»⁷⁴, и его утверждение звучит еще более обнадеживающе.

Впрочем, в данной версии «ленинизма» исчезает не только ленинский методологический подход. Некоторые утверж-

⁷³ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 38, с. 385.

⁷⁴ И. Сталин. Сочинения, т. 6, с. 109.

дения и выводы, принимавшиеся вначале, впоследствии отвергаются как антиленинские, когда это необходимо в полемических или пропагандистских целях. Ленин, к примеру, «всегда исповедовал и повторял» (не считая, что впадает, таким образом, в «малейшее уныние») «ту азбучную истину марксизма, что для победы социализма нужны совместные усилия рабочих нескольких передовых стран»⁷⁵. Так же и Сталин, в первом издании «Об основах ленинизма» (май 1924 года) без колебания повторял эту «элементарную истину», написав, что если победа социалистической революции была возможна в одной, отдельно взятой стране, то «для окончательной победы социализма, для организации социалистического производства, усилий одной страны, особенно такой крестьянской страны, как Россия, уже недостаточно — для этого нужны усилия пролетариев многих передовых стран»⁷⁶.

Но когда годом позже эта формулировка подхватывается Зиновьевым, ее отвергают как антиленинскую, и всякий, кто не принимает теорию «победы социализма в одной, отдельно взятой стране», объявляется пораженцем:

*«Не надо было брать власть в октябре 1917 года — вот к какому выводу приводит внутренняя логика аргументации Зиновьева»*⁷⁷.

Ленинская политика, основанная на теории, подменяется теорией, выдуманной и смоделированной как орудие политики, — политики, где (согласно канонам волюнтаристской логики) истина становится субпродуктом и аксессуаром органов власти. Наибольшего триумфа подобный теоретический волюнтаризм достигает, когда Сталину удается навязать (и этого никто не заметил) существенное искажение самого определения социализма (с подобным же искажением связано и определение «реального социализма»). В теоретической традиции марксизма термины «социализм» (или «социалистическое общество») и «коммунизм» (или «коммунистическое общество») часто употреблялись как синонимы [хотя Маркс, испытывая недоверие к *Vulgärsocialismus* (вульгарному социализму), не очень-то любил термины «социализм» и «социалистическое общество»]. Впрочем, в той же теоретической традиции марксизма, начиная с «Критики Готской программы», всегда различались две фазы «коммунистического общества». Первая фаза, когда новое общество несет на себе отпечаток старого общества, из которого оно вышло; и вторая, более высокая фаза, когда новое коммунистическое об-

⁷⁵ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 44, с. 418.

⁷⁶ См.: И. Сталин. Сочинения, т. 8, с. 61 (отрывок, опущенный в последующих изданиях «Об основах ленинизма», отмечен самим Сталиным в «Вопросах ленинизма»).

⁷⁷ Там же, с. 70.

щество развивается уже полностью на своей собственной основе. Но было ясно, что уже в своей первой фазе коммунистическое общество представляет собой бесклассовое общество, общество производителей, где продукт труда не имеет больше товарной формы. Употребляя термины «социализм» и коммунизм» как синонимы, Сталин в работе «Анархизм или социализм?» мог говорить уже о «высшей фазе коммунистического (т. е. социалистического) общества»⁷⁸. Однако впоследствии, следуя распространенному варианту (возможно, введенному Лениным), он предпочел различать эти термины, называя «социалистическим обществом» первую фазу коммунистического общества, а «коммунизмом» — вторую его фазу. Такой вариант, выполняя лишь дидактическую функцию, не имел, однако, существенного значения, так как и социалистическое общество (или первую фазу коммунистического общества) полагалось считать бесклассовым обществом. В этом же смысле социалистическое общество воспринималось и тогда, когда в 1924—1926 годах была сформулирована теория о возможности победы социализма «в одной, отдельно взятой стране»: создать экономическую базу социализма означает, подчеркивал Сталин, «создать, в конце концов, такие условия производства и распределения, которые ведут прямо и непосредственно к уничтожению классов»⁷⁹. Сталин отдает себе отчет в том, что достигнуть этой цели будет нелегко. Но еще в 1934 году, в своем Отчетном докладе XVII съезду партии, он вновь подтвердил, что речь идет именно об этом, «о построении *бесклассового социалистического общества*»⁸⁰. Уточнялось, правда, что цель неблизка, что надо опасаться слишком легких иллюзий. Однако всего лишь два года спустя, в докладе «О проекте Конституции Союза ССР» (1936) Сталин объявил — в разгар жесточайшего террора, — что великая цель наконец-то достигнута:

«Наше советское общество добилося того, что оно уже осуществило в основном социализм, создало социалистический строй, т. е. осуществило то, что у марксистов называется иначе первой, или низшей фазой коммунизма. Значит, у нас уже осуществлена в основном первая фаза коммунизма, социализм»⁸¹.

Решение реализовано, но не реализована его цель, она подменена. «Теоретические» препятствия преодолеть куда легче, чем реальные. Если не удалось преодолеть реальные препятствия, помешавшие социалистическому преобразованию общества, почему бы не прибегнуть к помощи теории, которая провозгласила бы социализмом то, что существует? В дейст-

⁷⁸ И. Сталин. Сочинения, т. 1, с. 337 и 361.

⁷⁹ И. Сталин. Сочинения, т. 9, с. 23.

⁸⁰ И. Сталин. Вопросы ленинизма. М., 1946, с. 467.

⁸¹ Там же, с. 514.

вительности же бесклассовое общество не было создано, была лишь глубоко изменена социальная структура советского общества. Классовые конфликты надежно сдерживались безжалостной властью; политика регулировалась (в соответствии с современной западной политологией) исходя из высшего критерия — разделения на врагов и друзей. Что мешало назвать все это социализмом? Разве не было это окончательным признанием законности Октябрьской революции? С другой стороны, верно, что Сталин не смог бы долго удерживать свою харизматическую власть, не найди он в оправдание своих деяний теоретической гарантии того, что социализм построен и «осуществлен». Этот тип социализма нуждался в своей очереди в теоретической гарантии со стороны всей суммы знаний, названной марксизмом-ленинизмом⁸².

Нельзя сказать, однако, что Маркс и Ленин роковым образом должны будут находиться за этой «решеткой» и что невозможна иная форма социализма, который не был бы волюнтаристским и в конечном итоге религиозным. Остается открытым другой, нерелигиозный путь, указанный Лениным, — «начинания сначала».

«Погибшими наверняка надо бы признать тех коммунистов, которые бы вообразили, что можно без ошибок, без отступлений, без многократных переделываний недоделанного и неправильно сделанного закончить такое всемирно-историческое «предприятие», как завершение фундамента социалистической экономики (особенно в стране мелкого крестьянства). Не погибли (и, вероятнее всего, не погибнут) те коммунисты, которые не дадут себе власть ни в иллюзии, ни в уныние, сохраняя силу и гибкость организма для повторного «начинания сначала» в подходе к труднейшей задаче»⁸³.

Это тоже философия истории, но имеющая активное отношение к истории; хотя она и не претендует на то, чтобы быть прообразом развития истории.

⁸² Прекрасную панораму последних теоретических тенденций вы найдете в кн. Л. Колаковского (*L. Kolakowski. Main Currents of Marxism. Oxford, 1978, vol. III, cap. IV: The crystallization of Marxism-Leninism after the Second World War, p. 117—182*).

⁸³ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 44, с. 418.

Витторио Страда

ОТ «СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА» ДО ЖДАНОВЩИНЫ

1. «Разрушительная» и «созидательная» сторона сталинизма

И на вопрос о том, как проблема реальности внешнего мира была «разрешена» с помощью палочной аргументации, то есть попросту стуча палкой о землю, и как проблема возможности движения была разрешена Диогеном, который просто-напросто ходил, также и на вопрос, возможно ли существование марксистской эстетики, можно ответить, что ее изобрели в России в 30-е годы, и это изобретение в художественно-литературной области представляло созидательную сторону сталинской эпохи. Вообще-то рассматривая двадцатилетнюю советскую историю, с 30-х годов до смерти Сталина, нельзя характеризовать ее только разрушительной стороной сталинизма. Действительно, разгром, который начал Сталин в области культуры (здесь и далее мы будем говорить о русской культуре), не имеет прецедентов в истории и не идет ни в какое сравнение даже с той катастрофой, которая обрушилась на немецкую культуру в период относительно короткого господства национал-социалистов. Но нельзя превратить историю культуры в историю цензуры даже тогда, когда идеологическая цензура является, и с самого начала являлась, преимущественно предписывающей и направляющей, как это произошло в Советском Союзе, а не только запретительной и репрессивной. Так же и история литературы не может стать лишь списком уничтоженных писателей и поэтов (от Бабеля до Мандельштама) или тех же писателей и поэтов, которых преследовали и замалчивали (от Ахматовой до Пастернака), либо же искажали и поработали (здесь имен надо было бы назвать слишком много).

Советская литература даже во времена Сталина характеризовалась своей активной и продуктивной стороной, носившей название «социалистического реализма», а в теоретическом плане «марксистско-ленинской эстетики». Без понимания этой созидательной стороны (и неважно, что создана-то была опростная пирамида, которая под своим неимоверным весом раздавила последние остатки свободы творчества) сталинизм был бы представлен не только не полностью, но и в искаженном виде, поскольку тотальной власти, установленной

Лениным и усовершенствованной Сталиным, присуща не просто самая что ни на есть абсолютная власть, но абсолютизм, освященный социалистическими идеалами и марксистскими идеями. Если не принимать во внимание этой стороны, то нельзя будет понять и того влияния, которое строительство этой советской пирамиды оказало на большую часть левой интеллигенции во всем мире, как и того, что многие советские интеллигенты оказались под влиянием этой стройки не только потому, что им надо было выжить. Они даже сотрудничали с советской системой и принимали участие в этом грандиозном строительстве, которое неизбежно должно было их раздавить. Можно возразить, что самоубийства интеллигентов или же их убийства с помощью других интеллигентов — это внутреннее дело истории интеллигенции. Но массовые репрессии в сталинскую эпоху касались, как известно, не только интеллигентов; они распространялись и на народные массы, в особенности на крестьянство, хотя верно и то, что единственным классом, который Сталин пощадил, подчинив его общему гнету, был рабочий класс. С другой стороны, не следует забывать и того, что в скором времени общество свободных и равных, на алтарь воображаемого будущего которого интеллигенция положила свое настоящее и свою свободу, оказалось чистейшей идеологией, и на его месте образовалось прочное общество несвободных и неравных. Правящий класс этого общества, или каста, терпел писателя и интеллигента только в качестве подчиненного элемента, сросшегося с системой (и как такового его хорошо оплачивали), но не признавал за ним, однако, той возможности критики и творческого воображения, которые «старый режим» не только в какой-то мере позволял, но даже и не мыслил упразднить.

Историческая обстановка начала 30-х годов в СССР могла бы показаться беспросветной. Тем более что, как мы в общих чертах говорили выше, она касалась не только литературы и искусства, а и всей культуры — от философии до историографии, — культуры, которая была полностью подчинена политике господствующей партии. Именно в это время было создано понятие партийности или «партийного духа», которое, отталкиваясь от известной ленинской статьи 1905 года¹ и прежде всего усиливая практику, навязанную сразу же после большевистской революции, теоретически обосновало «историческое» право, более того, долг коммунистической партии и ее идеологии — марксизма-ленинизма, бесконтрольно и безгранично руководить всей культурной жизнью страны в соответствии с общими и частными интересами партии.

¹ См. мою работу «От „культурной революции“ до „социалистического реализма“». Данное исследование — продолжение этой работы, помещенной в «Истории марксизма», т. III, ч. 1.

Но если обстановка в культурной жизни сталинской эпохи была действительно душливой и темной, было бы ошибкой превращать тогдашнюю историю этой культуры в абсолютную пустоту. И не только потому, что история — это всегда история чего-либо, сколь ошибочным это что-либо ни было бы, но также и потому, что не всегда сталинизм мог обращать советскую культуру в выжженную землю. Жизненность выжившей и возрождающейся культуры так или иначе давала себя знать; к тому же власти не могли совершенно игнорировать свою же собственную официальную идеологию (речь шла не только о фасаде, поскольку советская система была ею проникнута насквозь). И хотя марксизм уже продемонстрировал свои тоталитаристские возможности, он все-таки оставался частью интеллектуального развития Европы, богатого ферментами, и жизненными и критическими, а не только умерщвленными и догматическими. В 30-е годы, со всеми их губительными потерями, советская культура все еще демонстрирует свою жизненность, и сталинизм, похоже, сохраняет определенный «положительный» заряд — последние остатки предшествующих времен. Лишь после войны сталинизм показал, что уже исчерпал все резервы идеологического стимулирования, и тогда началось омертвление, поражая все советское общество и сам господствующий режим. Только смерть Сталина позволит этому обществу вновь частично обрести жизненные силы, а самому режиму укрепиться в более соответствующих ему формах власти. Культурная политика последнего периода сталинизма (которая в дальнейшем будет называться «ждановщиной») также представляется чисто отрицательной и негативной, без каких-либо возможностей идеологической инициативы, а для русской культуры эти годы, следовавшие за жесточайшей войной, выигранной благодаря жертвам и героизму всей страны, — черной страницей, не имеющей аналогий во всей истории страны. Поэтому вполне справедливо говорить об эволюции (регрессивной) от «социалистического реализма» к «ждановщине». «Социалистический реализм» рассматривается здесь как политико-литературная формула. В качестве символа определенного периода советской культуры он оставался официальной доктриной всего сталинского — да и послесталинского — периода. Но если пренебречь этой периодизацией, не увидеть и не проанализировать разницы, не говоря уже о несомненной преемственности 30—40-х годов (перерыв был лишь во время войны), то можно власть в упрощенчество.

Остается выяснить, каким образом следует изучать эти два периода сталинской культуры (в особенности это относится к литературе), но в контексте не истории советской культуры и литературы, а — марксизма. Понятие «марксизм» мы употребляем здесь, естественно, не в нормативном смысле, а,

скорее, в описательном. В результате сомнительной политической операции легко было заявить, что сталинизм даже в культурной области не являлся «марксизмом». Но если можно бесконечно обсуждать вопрос о том, что такое «истинный» марксизм, и каждый имеет право доктринерски противопоставить свой истинный марксизм неистинному марксизму других, то нет сомнения, что исторически советский опыт следует рассматривать в плане ответственности марксизма и социализма. Марксизм, ленинизм, сталинизм, постсталинизм не являются логическими звеньями силлогической цепи. Иначе, уж если прибегать к банальному, но распространенному образу, можно было бы сказать, что «ГУЛаг» был заложен уже в Марксе. Но с методологической точки зрения несомненно, что если Освенцим — часть определенной и сложной политико-интеллектуальной перспективы (сложной потому, что в противовес упрощенчеству Лукача нет непосредственной связи между Ницше и Гитлером), то и «ГУЛаг» — тоже часть определенной исторической перспективы, которая с близкого расстояния позволяет увидеть непосредственную связь с Лениным² и далее — на более отдаленном фоне и более опосредованно — с Марксом. И тут следует разобраться, почему, в каких исторических условиях догматические потенции марксизма мощно превалировали над его критическими возможностями и привели к весьма тяжелым последствиям.

Тридцатые годы, годы Сталина, являются также и тем временем, когда марксизм (мы здесь понимаем марксизм в единстве с той его частью или вариантом, каковым является ленинизм) решительно утверждается в советской культуре. Нельзя сказать, что в 20-е годы марксизм не был активным; но он, конечно, не был тотально и тоталитарно доминирующим; он действительно являлся директивным критерием в культурной политике коммунистов и действительно стимулировал образование широких культурно-массовых организаций (достаточно вспомнить РАПП — Российскую ассоциацию пролетарских писателей). Но даже если свобода поиска, мысли и свобода выражения были ограничены, все-таки минимум инициативы снизу, то есть внутри сохранившегося цивилизованного общества, выжил в силу инерции; и пока еще не было полного слияния между институтами партии-государства и культурными организациями (одной из которых как раз и являлся РАПП) на службе этого государства. Сам марксизм, используя крохи свободы в руках уцелевших сил культуры,

² Ленин на самом деле был не только теоретиком, но в основном и практиком; он привел социализм от «науки» к «практике», так же как Маркс и Энгельс превратили его в «науку» из утопии. (То, что впоследствии социализм из «практики» стал утопией, — это тоже важный аспект проблемы, который мы здесь опустим.) В советском обществе нет ни одного института, который не был бы основан Лениным.

пока еще не выкристаллизовался в целиком монолитную официальную систему, хотя, правда, и не был столь «плюралистским», каким он был, например, в России до большевистской революции. В 30-е же годы марксизм-ленинизм становится официальной доктриной государства-партии и как таковой превращается в схематическую систему (не лишенную, однако, определенной стройности) и распространяется на все сферы культуры. Это — беспрецедентное явление современной истории, и, чтобы осветить его, недостаточно весьма банальной аналогии его с религией и католической церковью³. Несомненно, чисто внешне эта близость удивительна (если, например, отнести ее к интегралистскому и антиреформаторскому католицизму). Да и сама церковно-клерикальная терминология внешне великолепно подходит к новой ситуации, то есть к марксизму в новой обстановке, в которой он развивается: догма, ортодоксальность, отлучение, инквизиция и т. д. Существенная разница же заключается в том, что новая советская «теократия» (которая на самом деле является «атеократией») утвердилась не в далеком прошлом, а в разгар современной эпохи, когда по крайней мере в одной части мира с помощью государственных средств и международного движения победили (в борьбе с теократией!) принципы свободы мысли, демократических прав, которые были недоступны ни одной теократии в прошлом. Еще менее удачно сравнение с русским самодержавием, которое имело ограниченную сферу влияния и прежде всего, по крайней мере в современную эпоху, не выработало ни идеологии, ни практики тотального гнета даже внутри собственной имперской сферы господства. С приходом сталинизма выкристаллизовалась новая форма абсолютной власти, которую здесь мы не будем определять с

³ Нам кажется ошибкой понимать тоталитарную идеократию как секуляризированную теократию, хотя, несомненно, в историческом плане между идеократией и теократией существуют сложные отношения. Но в структурном смысле идеократия отличается от теократии (и обе они, между прочим, являясь *totum coelo* и отличаются от демократии) именно из-за не совсем религиозного характера «идеи», на которой основана и в которую облачена «кратия»: вера в бога, как реальность трансцендентного, есть вещь, радикально отличная от политической веры, как явления мирского и практического порядка, уже потому, что первую невозможно проверить, в то время как вторая, действующая в определенных исторических рамках, должна проверяться с помощью принципов, которые ее питают. Тем более что в случае с марксистским социализмом речь всегда идет о вере не иррациональной, а «научной». Тоталитаризм тоже нельзя путать с любым деспотизмом, поскольку среди основных черт первого (в отличие от второго) наличествует идеократия, способная мобилизовать массы и благодаря высокому мастерству осуществить полное слияние политической и экономической власти, обобществление собственности и присвоение обобществленной собственности идеократическим институтом. Это короткое замечание, не претендующее на теоретическое изыскание, служит для того, чтобы пояснить понятийный контекст нашего исследования.

помощью традиционных формул типа «тоталитаризм» или же «восточный деспотизм», и не потому, что подобные определения не оправданны, а потому, что прежде, чем принимать, их надо критически проанализировать, а это увело бы нас в сторону от нашей задачи. А она состоит в том, чтобы реконструировать основные направления марксизма в советской культуре 30-х и 40-х годов, приняв за примерное поле исследования теорию литературы.

2. Что такое «социалистический реализм»?

Точкой отправления этого понятия следует считать центральное событие советской литературной жизни — съезд писателей в 1934 году, на котором была официально принята доктрина «социалистического реализма». «Социалистический реализм» родился в торжественной обстановке на съезде, где присутствовали такие руководители, как Жданов и Бухарин, и такие писатели, как Горький и Фадеев. Это, несомненно, сложное политико-культурное явление, и мы должны его анализировать как таковое, избегая скороспелых или иронических полемик, предметом которых оно обычно бывает. Достаточно вспомнить, что эта доктрина в течение нескольких десятилетий являлась идеологическим оружием, с помощью которого развитие такой великой литературы, как русская, постоянно сдерживалось и было погублено. И если даже «социалистический реализм» рассматривать просто как прикрытие «ГУЛага» (такая интерпретация нам кажется упрощенческой), то и тут остается немало невыясненных проблем истории идеологии. Почему, например, на «социалистический реализм» работали такие писатели, как Горький, и такие философы, как Лукач, и почему, по крайней мере на первых порах, он отличался определенной жизненностью проблематики и полемичностью. Несомненно, без поддержки абсолютной государственной власти, каковой являлась Советская власть при Сталине, и без политико-идеологической подготовки предыдущей властью при Ленине «социалистический реализм» не смог бы утвердиться, а если бы и утвердился, то в качестве одной из многих литературных группировок, да и не самой жизнеспособной. Но, признав, что «социалистический реализм» был явно одним из многих инструментов идеологического господства советской партии-государства, необходимо проанализировать «технику» применения этого орудия и понять, почему различные представители интеллигенции признавали его за нечто такое, о чем сами давно уже задумывались.

Таким образом, мы должны сразу же признать за «социалистическим реализмом» не только достойную анализа сложность, но также и двойственную природу этого «реализма».

Необходимо остановиться на этой двойственности, потому что она характерна для всей сталинской идеологии, да и вообще всей советской идеологии, и представляет основную проблему истории интеллектуальных учений нашего времени. «Социалистический реализм» родился не только как орудие власти, но и как идеал освобождения. И в глазах многих людей он сохранял эту свою двойственную природу, по крайней мере в 30-е годы (в 40-е годы, с возникновением «ждановщины», эта тенденция все еще жила, но уже потеряла свою первоначальную свежесть и превратилась в лживость и самообман). Эта двойственность такова, что два лица «социалистического реализма» воспринимаются как одно. Как будто доктор Джекил и м-р Хайд слились воедино, в один симпатичный образ, и будто гуманист совместился с палачом из «ГУЛага». «ГУЛаг» полностью не отрицается в «социалистическом реализме». Попросту смягчается его конкретность, которая поднимается до чисто «философской» концепции классовой борьбы, обостряющейся в социалистическом обществе и влекущей за собой ликвидацию целых общественных классов и бесконечных «врагов народа», а посему оправдывается во имя «гуманных» идеалов будущего коммунистического общества. Добренький лик будущего скрывает или же приглушает жесткий лик настоящего или, лучше сказать, придает ему идеологическое благообразие. И в то же время он за ширмой официальной утопии деформирует это благообразие с помощью «практических орудий» цензуры и полицейских репрессий, запрудняя критический анализ настоящего во всей его дисгармонии и противоречивости по отношению к светлому будущему. Создается невероятная система лжи, воспитание с привычкой к бесконечной фальши, которая, естественно, не ограничивается одной лишь литературой, а распространяется на все области культуры и в еще большей мере утверждается в историографии, не говоря уже о периодической печати. Партия-государство располагает всеми средствами контроля и, обладая широким международным идеологическим престижем, гарантирует этой системе лжи такую силу, которой ни одна теократия или автократия прошлого не могла добиться. Но чтобы понять систему нового типа, которая выкристаллизовалась во времена Сталина, необходимо отказаться от мысли, что создатели этого механизма были вульгарными лжецами, скрывавшими правду от масс, ту правду, которой сами они пользовались и которую ценили. В действительности пришел в упадок критический дух и критерии отличия между истинным и фальшивым, поскольку утвердился чисто прагматический критерий (партийность), согласно которому «истинно» то, что служит революции, а когда эта революция воплощается в конкретную партию-государство или конкретную руководящую группу этой партии-государства, то «истинно» всегда

лишь то, что служит интересам этой руководящей группы или же, как во времена Сталина, ее верхушке в одном лице. Такие люди, как Горький и Лукач, не только благословили эту систему, чему служил их личный авторитет и без благословения которых партия-государство могла бы обойтись (хотя роль авторитета Горького несомненна), но соединили воедино различные идеи, которые, если говорить о Горьком, были идеями прометеевского, сверхчеловеческого гуманизма, проявившегося еще в начале XX века, а в том, что касается венгерского философа, представляли собой гегельянизированный ленинизм, о котором он писал еще в своей работе «История и классовое сознание». В этом плане «социалистический реализм» становится главой истории не только русской советской интеллигенции, но и интеллигенции европейской, даже той ее части, которая хотя и не приняла литературных идей подобного «реализма» и предпочла более «современные» идеи «авангарда», но приняла основной миф «социалистического реализма», а позднее, когда этот миф потерял свою первоначальную гипнотическую силу, приняла и уже утвердившуюся мистификацию, показав себя неспособной критически противостоять новой революционной мистике и ее партии-государству.

В истории марксизма все это оформилось в целый ряд нераздельно связанных между собой теоретических и политических проблем. Сама концепция советского марксизма о литературе — это единое и неделимое целое, поскольку теоретический анализ был поставлен на службу политическим действиям и влек за собой политические последствия. С точки зрения этих последствий он и рассматривался теми, кто обладал всей полнотой власти. Проанализируем с этой точки зрения дискуссию по марксистской эстетике, которая развернулась в СССР в 30-е годы, чтобы наконец подойти к выступлениям Жданова, так как лишь в этой ретроспективе они смотрятся как итог длительного процесса развития, а не представляются лишь чисто цензурно-репрессивными, хотя, в общем-то, это их основная черта. Чтобы понять дискуссии 30-х годов, необходимо вернуться несколько раньше, к 20-м годам, во всей их сложности. Во всяком случае, для истории советской культуры и литературы необходимо проанализировать важнейшие попытки этого периода, направленные на марксистское истолкование искусства и литературы. Вовсе не ставя перед собой цель хотя бы вкратце набросать историю советской социологии литературы и искусства в 20-е годы, рассмотрим хотя бы те социологические и политико-теоретические положения, которые теснее всего связаны с проблематикой 30-х годов. Это теоретические взгляды Воронского, Переверзева, Арватова и — в некоторых отношениях — теории РАППа.

3. Воронский, или искусство как видение

Александр Воронский занимался литературой не как социолог и не как специалист по эстетике. Он был сыном священника, и сам поступил в Тамбовскую семинарию, но был исключен из нее за свои политические взгляды. В 1904 году он стал членом социал-демократической партии, побывал в тюрьме и в ссылке. Его имя занимает важное место в истории советской литературы 20-х годов, поскольку с 1921 по 1927 год он был главным редактором «Красной нови» — первого советского литературного журнала, в создании которого принимал участие сам Ленин. Он показал себя довольно способным критиком и написал очерки о крупнейших русских писателях того времени. Будучи послан партией на работу в литературную область идеологического фронта, Воронский как политик и революционный публицист не только развернул эту работу без сектантства и бюрократизма, но и оказался в плену той среды, тех литературных кругов, где проходила его работа, и обнаружил свободу вкуса и открытость новым идеям. «Его» журнал держался в стороне как от крайних позиций футуристского авангарда (ЛЕФ), так и «пролетарского» гегемонизма (РАПП) и ориентировался на нечто близкое к «критическому реализму», который вышел из «классиков» XIX века и закалился в обстановке лояльного отношения к новому режиму, представителем которого он был. «Традиционализм» и «либерализм» делали Воронского ненавистным в глазах левовцев и рапповцев, которые в яростной полемике сближали его линию с гибкой политико-литературной линией руководящего ядра большевиков — от Ленина, ценившего достижения этого реализма, до Троцкого, последователем (но не догматическим) которого был сам Воронский. (С 1925 по 1928 год он примыкал к троцкизму, и это стоило ему партбилета. Затем его восстановили в партии, но он уже не мог активно работать в литературе и после ареста в 1937 году скончался в 1943 году.)

В советскую литературу Воронский вошел без какой-либо эстетически отработанной системы и постепенно приспособил свою всеобщую теорию марксизма к личному пониманию литературы. Поэтому в его работах заметна постепенная эволюция от крайне схематических позиций к более открытым. Именно эти последние позиции в их конечном выражении мы здесь и рассмотрим, прежде всего имея в виду его книгу «Искусство видеть мир». Уже само название говорит нам о том понятии литературы, которое проповедовал Воронский: литературные произведения являются, в сущности, специфической формой познания реальности, а не орудием изменения и построения новой реальности (левовцы и рапповцы). Конечно, Воронский признавал за искусством активную эстетическую

роль, но основной для него являлась гносеологическая миссия искусства, его способность видеть и показывать мир под особым и новым углом зрения, и поэтому даже «практическая» сторона искусства лишалась признаков «утилитаризма». Признавая за искусством задачу «отражать» реальность в образах в той же мере, в какой отражает и познает эту реальность наука с помощью своих абстрактных категорий, Воронский ставит это «отражение» в промежуточную позицию между пассивным фотокопированием и чисто субъективным изобретением. Образ в искусстве не только лишает нас конкретных представлений и заменяет их единым общим представлением, но в то же время лишает нас и непосредственности переживаний:

«Любовь, ненависть, жалость, презрение, которое мы испытываем, читая роман, рассказ, поэму, — совсем не та любовь, не та жалость, не та ненависть, не то презрение, которые мы испытываем в повседневной нас окружающей жизни. В жизни мы переживаем эти и другие чувства, если можно так выразиться, в неочищенном состоянии... В искусстве, где наши представления очищены, обобщены, — и наши чувства и наши мысли, связанные с этими чувствами, также переживаются и испытываются нами в обобщенном виде. Реальное, нехудожественное чувство всегда ограничено, всегда приурочено к данному случаю, к событию, к лицу. Художественное чувство, благодаря обобщающей силе образа, лишено непосредственности, оно скорее подобно сновидению, оно более тускло и отвлеченно и как бы более прозрачно и легко, но оно охватывает больший круг явлений, оно лишено всего наносного, случайного, излишнего, оно более подвижно и более экономно»⁴. И далее:

«Эстетическое чувство лишено узкоутилитарного характера, оно бескорыстно, и в этом отношении связано органически с нашими общими понятиями о прекрасном, хотя, конечно, и уже этих понятий. Эстетическая оценка произведения — критерий его правдивости или неправдивости. Художественная правда определяется и устанавливается именно благодаря этой оценке». Ссылаясь на Г. В. Плеханова, Воронский пишет, что, «к сожалению, у нас происходит заметное и горестное снижение марксистской мысли в разных областях, в том числе и в искусствоведении...», которое забывает или отрицает относительную самостоятельность эстетического момента. «Но социологический метод не исключает, а включает эстетическую оценку»⁵.

С точки зрения марксистской социологии искусства необходимо выяснить отношения между познавательной ролью

⁴ А. Воронский. Искусство видеть мир. Сборник статей. М., 1928, с. 10.

⁵ Там же, с. 11.

искусства в том виде, как ее определяет Воронский, и теорией общественных классов и их борьбой. Прежде чем проследить в этом плане аргументацию книги «Искусство видеть мир», необходимо иметь в виду, что Воронский писал в 1923 году, полемизируя с релятивистской интерпретацией теории классовой борьбы, — интерпретацией, которая была свойственна пролеткультовским экстремистам, превращавшим социальные классы в закрытые и некоммуникабельные мирки, которые сражались и появлялись без какой-либо определенной связи или преемственности. Для тех, кто придерживался подобной точки зрения, как писал Воронский, *«нет общества как особого организма, развивающегося в рамках классовой борьбы. Что в формах классовой борьбы идет вперед или развивается все общество в целом, что в этих формах совершается накопление материальных и духовных ценностей — это с такой точки зрения должно казаться нелепым, вредной ересью, Классовая борьба превращается в самоцель, она самодовлеющая, она не служит средством для поступательного развития человеческого общества. Никакой преемственности от одного класса к другому нет и быть не может. Находившиеся наука, искусство и т. д. в руках одного класса, пригодны только на слом для другого класса-антипода, так как ничего в них, помимо классового субъективизма, заостренного против интересов этого или иного класса, нет»*⁶.

В этой концепции, подчеркивающей преемственность и социальную общность, в противовес отсутствию преемственности и разобщенности классов, Воронский развивает свою теорию, согласно которой художник «отражает действительность, но он отражает ее в соответствии со своей общей «концепцией мира». Эта общая концепция зависит от общественно-бытовых, от культурных, от политических, от исторических, от наследственных условий, в которых живет и действует человек... В обществе, разделенном на классы, определяющим моментом являются классовые потребности. В конечном итоге они коренятся в экономике данного строя»⁷. Поэтому возникают такие классовые условия, которые способствуют творчеству художника в его познании жизни, но есть и такие, которые препятствуют выполнению этой задачи: «Наиболее благоприятной для художественно-правдивого проникновения в действительность представляется эпоха, когда класс, чью концепцию мира разделяет художник, находится в стадии подъема роста и расцвета»⁸, поскольку в это время интересы данного класса в тенденции совпадают с интересами огромного большинства общества и развития человечества. Но эту связь

⁶ А. Воронский. Избранные статьи о литературе. М., 1982, с. 317.

⁷ А. Воронский. Искусство видеть мир, с. 13—14.

⁸ Там же, с. 14.

между художественным развитием и восходящим классом не следует рассматривать механически, поскольку развивающийся класс может создать благоприятные условия для художественной «правды» лишь тогда, когда он утвердился и укрепился, то есть в период его «органического развития». Тут особенно чувствуется влияние идей Троцкого, который в своей книге «Литература и революция» утверждал, что пролетарское искусство и культура невозможны, поскольку рабочий класс должен употребить всю свою энергию для политической борьбы на мировой арене, а потому у него не хватит ни времени, ни сил для особого культурно-художественного творчества⁹. Воронский также заявляет, что у пролетариата есть все основания рассматривать свою общую концепцию мира как отвечающую общим интересам человечества, однако «даже в России он далек от того минимального благополучия, какое необходимо для процветания наук и искусств»¹⁰. С другой стороны, если в тенденции общественное (классовое) и художественное развитие совпадают, нередки случаи, когда между ними возникают расхождения и вырождающийся класс может дать художников, которые именно благодаря общему упадку, который уже затронул их самих, смогут с необыкновенной силой показать «темные стороны человеческого духа и бытия»¹¹ (например, такие гении, как Гоголь и Достоевский).

В руках Воронского схема классовой борьбы выглядела достаточно гибкой, чтобы позволить на практике допустить свободу эстетической оценки и относительную самостоятельность феномена искусства, понимаемого как эстетическая форма познания действительности. Ясно, что более жесткая концепция общественных классов и их борьбы должна была контрастировать с литературными теориями Воронского, с «воронщиной», как презрительно называли ее противники. А этими противниками были, в частности, ЛЕФ, и еще более мощная ассоциация — РАПП, организация-гегемон в советской литературе второй половины 20-х годов (до 1932 года, когда ее, как и другие группировки, распустила партия), которая в своих программных документах постоянно апеллировала к марксизму и пользовалась поддержкой политической власти. Вот как Воронский отвечает идеологам РАППа, которые «готовы рассматривать почти предателем пролетариата всякого, кто считает, что истинное произведение искусства должно иметь и объективную ценность»:

«Ход рассуждения подобного рода критиков примерно таков: художник не может выйти за пределы интересов, чувств,

⁹ См.: *L. Trockij. Letteratura e rivoluzione*, a cura di V. Strada. Torino, 1973.

¹⁰ А. Воронский. Искусство видеть мир, с. 14.

¹¹ Там же, с. 15.

мыслей того или иного класса, он не может находиться в стороне, быть безучастным свидетелем совершающегося»¹². Но, комментирует Воронский, во всей этой аргументации легко увидеть исключительную неразбериху в понятиях и то, что вопрос поставлен неверно. Когда говорят о «художественной правде», проблема заключается не в том, чтобы прежде определить, есть ли в ней или нет моментов субъективного порядка (чувства, мысли и т. д.), поскольку сам художник — это субъект, а не существо, лишенное субъективности. Проблема заключается в том, чтобы выяснить, отражается ли в этих «субъективных состояниях» нечто, не являющееся субъективным, и в какой степени. «Художественное произведение есть результат взаимодействия субъекта и объекта»¹³, а «художественная правда отличается от всякой иной правды, скажем, от правды научной, не тем что она субъективна, а тем, что эта вполне объективная правда есть правда, производящая эстетическое на нас воздействие»¹⁴. Подлинно эстетическое действие, развертывающееся в рамках социальной (то есть классовой) реальности, должно и оцениваться эстетически. Задача же социологии — определить «место, смысл и вес художественного произведения с точки зрения этой практики»¹⁵, то есть с точки зрения «практической деятельности человека, которая в классовом обществе носит классовый характер», с точки зрения социального воздействия художественного произведения.

Очевидно, что это различие между «эстетической» и «социологической», а стало быть, и политической оценкой, если и спасает произведение искусства от сведения его до уровня обычного пассивного факта социального механизма и обычного инструмента политического воздействия, оставляет все-таки место для неизменного противоречия между двумя суждениями, которые не всегда должны обязательно совпадать в конечном итоге, в особенности если речь идет о той исторической обстановке, что сложилась в Советском Союзе и для которой был характерен решительный разрыв с прошлым, политический и идеологический контроль партии над всей жизнью общества. Немалая заслуга Воронского заключалась в том, что он не только смог развернуть открытую организационно-литературную деятельность в широких масштабах в качестве ответственного редактора «Красной нови», но и сформулировать немало последовательных теоретических положений, как, например, те, что мы уже анализировали и которые оставляли место для самих противоречий в общественно-по-

¹² Там же, с. 16.

¹³ Там же, с. 15.

¹⁴ Там же, с. 16.

¹⁵ Там же.

литической и культурной жизни 20-х годов, не претендуя на то, чтобы замкнуть их в рамки идеологических псевдорешений. Еще более осложняло теорию Воронского его утверждение об интуитивном характере художественного познания и признания элементов неосознанного в художественном творчестве. Определение искусства как «познание реальности посредством образов», говорит Воронский, может показаться слишком «рационалистичным». Однако речь идет о «кажущемся рационализме», уточняет он, поскольку в основе искусства лежит образ. В создании образа активно участвует наш ум, но еще бóльшая роль в его формировании принадлежит неосознанному творчеству. Образ оценивается эстетически, а эстетическая оценка не лишена рационализма, однако она в какой-то степени и интуитивна. Поэтому нет оснований предполагать, что определение искусства как мысли, реализованной через образы, грешит убогим рационализмом. «Только такое определение дает удовлетворительный с точки зрения марксизма ответ на вопрос, что такое художественная правда»¹⁶.

Одним из обычных обвинений, выдвигавшихся против Воронского в 20-е годы, было обвинение в бергсонизме. В этой связи и для того, чтобы заключить наше исследование основ художественной теории Воронского, вспомним восхищенный отзыв, который он дал творчеству Пруста, предлагавшему советским писателям почти как образец для подражания:

«Основная художественная манера Марселя Пруста заключается в том, что он стремится в своих произведениях «отрешиться перед лицом реальности от всех понятий своего разума» в пользу непосредственного, как более «чистого», ничем не осложненного восприятия этой реальности. Здесь ключ к художественному методу Пруста, к его своеобразию. Пруст никогда не изменяет этому своему методу, он верен себе и тогда, когда изображает вещи, и тогда, когда дает портреты людей, и тогда, когда описывает различные внутренние состояния человека. Пруст неизменно пытается как бы очистить первоначальное восприятие, возратить ему утраченную свежесть, освободить его от позднейших рассудочных наслоений, изменений и поправок. Найти и воспроизвести непосредственное восприятие — в этом главная задача художника»¹⁷.

¹⁶ Там же, с. 17.

¹⁷ Там же, с. 153. Чтобы лучше уточнить свое понимание искусства, Воронский в другой работе возвращается к Прусту и цитирует некоторые отрывки из его книги «Под сенью девушек в цвету», где речь идет о картинах Эльстира. Особенно примечательна следующая эстетическая тенденция прустовского художника: «Стремление Эльстира отрешиться перед лицом реальности от всех понятий своего разума было тем более достойно удивления, что человек этот, нарочно становившийся перед тем как взяться за кисть, совершенно *невежественным*, старавшийся из чест-

Своим собственным путем, движимый истинной любовью к литературе и «открытой» концепции марксизма, а также задачами культурного строительства при социализме, Воронский приближался не только к интеллектуальному миру, близкому Бергсону и Прусту, но и к миру русских «формалистов». Его теория «искусства видеть мир» с помощью «первоначального восприятия», очищенного от всех умственных наслоений, странным образом напоминает теорию искусства Шкловского. По Шкловскому, «остранение», «отход», «отдаление» или же «раззнакомление» с предметами, которые ускользают от нашего повседневного, механического зрения, — это и есть задача искусства, которое таким образом возвращает нам предметное восприятие и приводит к истинному «возрождению слова». Какими сложными и подспудными путями можно было прийти к подобному слиянию, пусть даже частичному, столь разных позиций — это довольно интересная проблема, рассматривая которую можно было осветить новые стороны русской литературной мысли XX века, но это отдалит нас от главной цели: выявить логику советского марксистского понимания искусства.

4. Переверзев, или искусство как игра

Для того чтобы проследить за этой логикой, необходимо обратиться к новому персонажу, Валериану Переверзеву, который в отличие от Воронского не был партийным и политическим деятелем (хотя в молодости участвовал в революционном движении), а был историком литературы и профессором университета. Он учился в Харьковском университете в начале XX века (родился в 1882 году). Мы не можем связать его имени с первыми опытами по марксистской социологии искусства, которые проводил Плеханов. Самые круп-

ности все позабыть — ибо то, что мы знаем, может считаться не нашим, — обладал как раз исключительными умственными богатствами» (*М. Пруст*. В поисках утраченного времени. Под сенью девушек в цвету). Воронский уточняет, что хотя «художественное творчество в своих истоках интуитивно, однако художник не должен пренебрегать интеллектуальным миром». Наоборот, он обязан «обладать высоким интеллектуальным уровнем». «Разобраться в своих впечатлениях вообще нелегко, а в непосредственных — во сто крат труднее. Художник должен уметь найти, понять, углубить свою основную манеру, свое особое постижение жизни. Без огромной, очень упорной и сложной рассудочной деятельности, без знания истории искусства, своих предшественников художник не может как следует постигнуть и свою манеру». Заключение, к которому приходит Воронский, следующее: «Самая невежественная манера есть в то же время и самая интеллектуальная», как об этом и говорится в отрывке из произведения Пруста (*А. Воронский*. Искусство видеть мир, с. 92—97). Благодаря подобной диалектике («невежество — интеллект») художественная «интуиция», по Воронскому, — синтез непосредственного и опосредованного, «примитивизма» и «культуры».

ные его монографии, посвященные Достоевскому и Гоголю, впервые были опубликованы соответственно в 1912 и 1914 годах и вновь вышли без изменений уже после революции. И все же этот литературовед не в меньшей степени, чем Воронский, оказался в центре бурных литературных споров 20-х годов, и крупнейшие руководители РАППа признали его важнейшим из живущих представителей марксистской эстетической мысли. Они же позднее обрушились на него с резкой критикой: в ходе многочисленных полемических обсуждений, которые достигли своего апогея в крупной дискуссии, развернувшейся в 1929 году в Комкадемии¹⁸, он был свергнут со своего пьедестала. В 30-е годы он выступал против Лукача и Лифшица, в то время восходящих звезд советского литературоведения, в одной из дискуссий по роману¹⁹. В 1937 году Переверзев выпустил книгу об истоках русского реалистического романа, а на следующий год его арестовали. После почти 20 лет ссылки в 1956 году Переверзева «реабилитировали» и освободили. Он умер в 1968 году в Москве, оставив много неизданных работ. В 1971 году уже посмертно вышла его книга о литературе Древней Руси. Переверзев был весьма необычной интеллектуальной личностью, и это подтверждается тем, что он выжил, несмотря на тяжелые испытания. Он обладал живым чувством литературы, и это делает его книги интересными, даже когда не принимаешь социологическую схему²⁰, лежащую в их основе. Именно эту схему мы и восстановим в основных чертах, определив не столько ее границы, сколько понятийную сложность и логическую строгость.

В 1928 году под названием «Литературоведение» вышел сборник статей ученых, принадлежавших к «школе Переверзева». Сам Переверзев участвовал в нем как автор статьи о Гончарове и вводного очерка «Необходимые предпосылки марксистской теории литературы». Мы можем рассматривать этот вводный очерк как основополагающее изложение его «социологии литературы». Уже само сочетание «социология литературы» оспаривалось Переверзевым, поскольку он утверждал, что не может быть одного «социологического метода» в литературе, а есть столько методов, сколько социологий. С тем большим основанием невозможно объединять марксизм

¹⁸ См.: «Против механистического литературоведения. Дискуссия о концепции В. Ф. Переверзева». М., 1930.

¹⁹ См.: G. Lukács, M. Bachtin e altri. Problemi di teoria del romanzo, a cura di V. Strada, Torino, 1976.

²⁰ Теория Переверзева — не единственная социология искусства, разработанная в СССР в 20-е годы. Ниже мы займемся социологической эстетикой Арватова, но опустим таких исследователей, как Фриче и Иоффе; поскольку здесь мы не занимаемся историей советских эстетико-социологических теорий (и даже, в общем, литературных), но поясняем предпосылки литературно-теоретической дискуссии 30-х годов.

и социологизм и «марксистский метод следовало бы назвать не социологическим методом, а методом историко-материалистическим»²¹. Отсюда следует искать основу марксистского материализма, и Переверзев находит ее в радикальном антисубъективизме: если верно то, что, как утверждает основной принцип марксистского материализма, «бытие определяет сознание», то «не в субъективном движении, а в объективном бытии, не в движении идей, а в движении материальной действительности»²² обязан искать объяснения литературовед, оперирующий марксистским методом поэтических явлений. Это может показаться теоретизацией некоего «наивного реализма», по которому литературное произведение — «познавательное отражение окружающей социальной реальности», но на самом деле все более сложно. Прежде всего примат «объективного бытия» означает для Переверзева строгую верность литературному тексту, до того строгую, что она в принципе исключает с горизонта литературного поиска внетекстовую субъективность автора, и Переверзев иронизирует над теми, кто копается «в письмах, дневниках, черновых набросках, пытаясь через ход идей автора, через его авторский замысел, через творческую историю проникнуть в тайну рождения поэтического факта»²³. Структура художественного произведения может быть определена, если раскрыть «то объективное бытие, которое дало для него материал». «К раскрытию этого бытия, уяснению органической, необходимой связи данного художественного произведения с определенным бытием и сводится марксистское исследование»²⁴.

Таким образом, главное — определить природу этого «бытия» и какая связь существует между этим бытием и художественным произведением. Бытие — это не жизнь писателя, являющаяся прежде всего частью бытия, и задача «научной биографии» — различить в прихотливых арабесках индивидуальной жизни объективную реальность, которая ее детерминировала, так же как задача «научного» исследования литературного произведения — выделить бытие, детерминировавшее единственный образ. Стоит подчеркнуть, что для понимания характера марксистской социологии Переверзева без нарушения границ субъективности автора необходимо отметить его требование строго придерживаться текста. «Путь к бытию — это трудный исследовательский путь через поэтический текст, требующий внимательного, кропотливого, вдумчивого анализа всех элементов его структуры...»²⁵, с тем чтобы наконец привести ученого к месту социального рождения

²¹ «Литературоведение», под ред. В. Ф. Переверзева. М., 1928, с. 9.

²² Там же, с. 10.

²³ Там же.

²⁴ Там же, с. 11.

²⁵ Там же, с. 12.

этих элементов, к бытию, которое лежит в их основе. Следует также избегать еще одной двусмысленности. Сказав, что нельзя идентифицировать бытие с жизнью писателя, добавим, что нельзя также идентифицировать и бытие с объектом произведения искусства. Рассматривать бытие как пассивный объект художественного изображения — именно тот «главный недостаток всего предшествующего материализма — включая и фейербаховский», как утверждал Маркс в первом из своих «Тезисов о Фейербахе», и он заключается в том, что «предмет, действительность, чувственность берется только в форме *объекта*, или в форме *созерцания*, а не как *человеческая чувственная деятельность, практика*, не субъективно»²⁶. Этот недостаток, свойственный домарксовому материализму, присущ также и так называемой русской революционной «реалистической критике», к примеру Добролюбову, которая, в сущности, была «критикой по поводу» текста, а не самого текста и, стало быть, не сущности (бытия) текста. «Реальная критика рассуждала весьма просто. Подходя к художественному произведению, она осведомлялась, о чем говорится в нем, и затем принималась сама рассуждать о том же, дополняя и исправляя данные поэтических произведений своим изучением действительности»²⁷.

Следует, заключал Переверзев, избавляться от субъективизма (биография автора) и от объективизма (изображение, описание реальности). «Бытие, организующее художественное произведение, — это активное бытие, являющееся в отношении поэтического создания и объектом и субъектом. Бытие потому и организует художественное произведение, что является не только изображаемым объектом, а и изображающим субъектом. Только рассматривая бытие как диалектическое единство объекта и субъекта, можно говорить, что оно определяет художественное творчество»²⁸.

Таким образом, для марксиста—социолога литературы речь идет не о том, чтобы искать в произведении искусства жизнь, о которой оно говорит, а, скорее, чувствовать самое реальность, которая выражена в произведении. Однако мало найти изображаемый субъект в упрощенном виде, как будто его можно представить в виде определенного персонажа. «Дело в том, чтобы прощупать в художественном произведении тот пункт, где объективное изображение переходит в субъект, где изображаемое и изобразитель образуют органическое единство. Именно в этом пункте мы подходим к тому бытию, которое лежит в основании данного художественного произведения, к той социальной действительности, где в живом, общественно-производственном процессе объект и субъект, конк-

²⁶ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3, с. 1.

²⁷ «Литературоведение», с. 13.

²⁸ Там же, с. 14.

ретный предметный мир и конкретный человек даны в органической слитности»²⁹.

С этой теорией социального бытия как основы произведения искусства согласуется теория искусства как игры, о которой уже вкратце упоминал Плеханов в своей книге о Чернышевском, полемизируя с ним, поскольку Чернышевский «отвергает ту усвоенную Шиллером идею Канта, что искусство есть игра»³⁰. Чернышевский не признает этого, поскольку для него понятие «игра» — синоним «пустой забавы», в то время как Плеханов уточняет, что игра может быть пустой забавой лишь при определенных условиях, и продолжает:

«Если, как это говорит Чернышевский, существенным признаком искусства является воспроизведение жизни, то искусство, безусловно, должно быть признано родственным игре, которая тоже воспроизводит жизнь не только у человека, но и у животного. Воспроизведение жизни в игре или в искусстве имеет большое социологическое значение. Воспроизводя свою жизнь в создании искусства, люди воспитывают себя для своей общественной жизни, приспособляют себя к ней»³¹.

И если для некоторых социальных классов искусство — «пустая забава», это все равно не зависит от того, что искусство — игра, а от содержания, определяемого художественной игрой и пустотой, которую некоторые классы на определенном этапе развития приносят не только в искусство, но и в свою собственную «серьезную деятельность». Теория искусства-игры Переверзева идет дальше этих общих положений и применяется к классовому обществу, когда искусство-игра уже не может, как в первобытном обществе, рассматриваться в качестве «воспроизведения» жизни всего сообщества. Каждый класс представляется как мир в себе, со своей собственной системой поведения, собственной структурой психологии и собственным «общественным характером». Концепция «искусства-игры» тесно связана, по Переверзеву, с понятием «образа» как особой черты искусства. Игра воспроизводит «поведение, свойственное определенной форме жизни»³², поведение, которое иначе можно назвать «психологией», или «характером». Определенная форма жизни «играет», когда воспроизводит собственный характер, вне непосредственной необходимости бороться за жизнь. «Система поведения», или же «характер» воспроизведений, таким образом, является «образом», и выходит, что образ непосредственно связан с игрой и составляет ее суть. Когда мы говорим, что искусст-

²⁹ Там же, с. 15.

³⁰ Г. В. Плеханов. Избр. филос. произв. в пяти томах. М., 1958, т. IV, с. 351.

³¹ Там же, с. 351—352.

³² В. Ф. Переверзев. Проблемы марксистского литературоведения. — «Литература и марксизм», 1929, № 2, с. 8.

во — игра, и что искусство — это образ, то это одно и то же:

«В игре образ слит с играющим организмом, не имеет существования вне организма. Образ кошки, охотящейся за мышью, есть кошка, играющая с клубком. В искусстве образ отделяется от играющего, объективируется, ведет самостоятельное существование в виде статуи, картины, пьесы»³³.

Поэтическое творчество заключается в этой объективизации. Объективируя свою игру, то есть фиксируя ее материально, художник создает образы и сюжет игры, иначе говоря, социальный характер в искусстве превращается в объект, или образ. Итак, образ — это «проекция» социального характера.

Играя в определенный «социальный характер» и объективируя его в системе образов, художник не «производит», не «изображает» некий тип социального поведения абстрактно или произвольно, но делает это с единственной доступной ему точки зрения, с точки зрения «социального характера», где сам художник есть искусство, более того, его пленник. И дело не в том, что художник не может «сыграть» жизнь собственного «характера», точнее сказать, собственного социального класса или подкласса, но в том, что даже тогда, когда объектом его «игры» являются другие классы и эпохи, он уже в другом облачении ничего не изображает и не может воспроизвести, кроме собственного «социального характера». В этом заключается стилистическое единство творчества писателя. Если произведения искусства представляют собой образ, а образ — проекция «социального характера», то возникает понятие «стиля» как основной категории искусства и литературы. Посмотрим, что лишет Переверзев:

«Проецированный в художественный образ характер всегда социально детерминирован. В определенной социальной действительности неизбежно складываются определенные образы-характеры, связь которых закономерна. Отсюда детерминированность художественных структур. Единой социальной действительностью рожденные структуры образуют единство, то, что называется стилем. В стиле и обнаруживается детерминированность, ограничение, отсутствие произвола в сфере искусства. Никто не властен выпасть из стиля, потому что никто не властен выйти из детерминированного круга образов. Именно потому, что всякий писатель вращается в заколдованном кругу образов, всем произведениям писателя свойствен общий характер, все они образуют единый стиль, единое творчество. Основа этого единства не в личности автора, а в социальной обусловленности характера, проецирующего себя в образах»³⁴.

³³ Там же.

³⁴ Там же, с. 20.

Таким образом, стиль не является категорией, относящейся к определенному писателю или его произведению. Он объединяет многих писателей, чьи произведения являются вариантом одного и того же «социального характера», выраженного в образах, составляющих творческую систему каждого писателя. В общем, как говорит Переверзев, каждое произведение — это единственный экземпляр одной и той же породы³⁵, одного и того же стиля.

Мы можем закончить разбор теории Переверзева, не анализируя дальнейшие уточнения в ходе полемики, и сделать некоторые выводы, важные для нашего исследования. Очевиден детерминистский характер переверзевской концепции искусства, отличающийся не только строгим и последовательным детерминизмом, но и оригинальностью, поскольку он не связан со «средой» или с «биографией» писателя, не ищет в них движущей пружины его творчества, а ориентируется на единство субъекта и объекта, которые реализуются в «игре». Вывод, органично следующий из этой теории, таков: не сознание, а подсознание, неосознанное «детерминируется бытием», и подсознание не индивидуальное, а коллективное. Сложный сознательный и подсознательный мир индивидуальной психики художника — лишь его элифеномен. Переверзев, как и Воронский, своим путем подходил к особой оценке подсознательного, неосознанного творчества. И так же, как Воронский, хотя и в рамках своей хорошо отлаженной понятийной системы, он должен был подойти к выводу об особых отношениях между искусством и политикой и отвергнуть прямое рационалистское руководство, с помощью которого, согласно особым схемам и директивам, якобы можно ковать и перековывать психику художника. В этом отношении Переверзев выражается весьма определенно. В одном из литературно-критических советских журналов он определяет понятие партийности, которое, как уже говорилось, будет играть решающую роль в официальной концепции советской литературы, в особенности в системе «социалистического реализма». Но Переверзев употребляет понятие партийности в ином смысле и на основании своей детерминистской теории подсознательного приходит к парадоксальной защите «свободы» художника. Вот что он пишет:

«Партийность художника определяется не сознательными тенденциями, а подсознательными переживаниями... Художники, у которых подсознательные переживания органически оформляются в сознательные тенденции, в сознательную партийность, встречаются не часто. Очевидно, воздвигнуть надстройку сознательной партийной идеологии над психологическим бытием художника — дело исключительно трудное.

³⁵ Там же, с. 21.

И лучше совсем не иметь этой надстройки, чем иметь идеологическую надстройку, не соответствующую психологическому бытию художника. Враждебная психологическому бытию тенденция погубит художника, тогда как отсутствие надстройки и сознательной тенденции не сделает художника партийно безразличным. Ибо, повторяю, партийность художественного творчества коренится не столько в сознании, сколько в подсознательных сферах художника»³⁶.

У Переверзева, так же как и у Воронского, из этой теории «свободы подсознания» вытекала не столько принципиальная враждебность к «пролетарскому» искусству, сколько уверенность, что нельзя создать подобное искусство искусственно и волюнтаристски, и поэтому у него заметна симпатия к искусству «попутчиков», беспартийность которых, то есть отсутствие привязанности к партийной и предвзятой организованной идеологии, оказывала, по его мнению, целебное «профилактическое» воздействие на «смертельных врагов искусства: фальшь и неискренность». И вот заключение:

«Сфера сознания художника должна всегда быть проницаема для толкающихся в нее волн психических подсознательного. Пока эта проницаемость налицо, сохраняется необходимая для художника искренность с собой. Идеология, сознательная тенденция чаще всего нарушает эту проницаемость, делает глухим к голосам подсознательной сферы. А творчество художника, лишенное подсознательной основы, превращается в выеденное яйцо, цена которому ломаный грош»³⁷.

Подобная защита «свободы подсознания» и сознания, питаемого «подспудными» сферами психической жизни, включала также и ту конкретную свободу творчества, а следовательно, ту свободу партийности, которая в начале 20-х годов уже была скомпрометирована в России, а впоследствии будет окончательно подавлена. И тогда теории Переверзева уже не будут критиковаться «нормально», то есть за слабые свои места, присущие любой теории, но будут предаваться политической анафеме не за их «детерминизм», а за ту «свободу», которую они подразумевают. Это мы увидим, когда займемся последними годами деятельности РАППа.

5. Арватов, или искусство как производство

С появлением Арватова проблематика социологии искусства меняет тон. И как это ни парадоксально, в связи с интеллектуальными перспективами, характерными для этого уче-

³⁶ В. Ф. Переверзев. На фронтах текущей беллетристики. — «Печать и революция», 1923, № 4, с. 130—131.

³⁷ Там же, с. 131.

ного, отличающегося абстрактным рационализмом, она приобретает макроисторическое звучание. Для Воронского и Переверзева тоже характерна определенная историчность, однако у них явления искусства отличались относительной стабильностью внутри социального контекста даже в ходе исторического развития. Для них искусство как таковое (точнее сказать, литература, поскольку именно ею занимались Воронский и Переверзев, в отличие от Арватова, который рассматривал литературу как частный случай искусства и изучал ее прежде всего с точки зрения изобразительной) в сущности не меняло своей роли и своего места в обществе, даже если рассматривалось в обществе, отличающемся от буржуазного, то есть в социалистическом. Арватов полностью меняет систему ориентировки: для него искусство — обычный объект исследования теории и социологии; современное, или же «буржуазное», искусство — особая преходящая фаза художественного развития, более того, это самое настоящее отклонение от нормального развития, и в социалистическом обществе оно не найдет своего места, поскольку это общество должно возратить не только искусству, но прежде всего человеку потерянную «нормальность» и поднять ее до нового уровня, соответствующего развитию производительных сил и общественных отношений.

Арватовская социология смыкается, таким образом, с теми историческими взглядами, которые постулируют «падение» человечества и его «возрождение» в будущем (естественно, выражаясь мирским языком, в данном контексте можно усмотреть секуляризацию религиозных понятий). Дух поисков Арватова смыкается с марксистской проблематикой, связанной с «отчуждением», хотя в его времена этот термин не имел широкого хождения (зато, как увидим дальше, он часто применяет другое марксистское понятие — «фетишизм»). И как в любой философии истории, ориентированной на «падение» и «возрождение», социология искусства Арватова не пассивна, каковой, в сущности, она была у Воронского и Переверзева (что, естественно, не значит, что сами они активно не вмешивались в культурную жизнь своего времени), но последовательно дополняет политику в искусстве, то есть в действиях, способствующих окончанию эпохи «падения» и приходу новой эпохи «возрождения». Арватов, принимавший участие в работе Пролеткульта, находился под влиянием Богданова, хотя в основных взглядах внес в его концепцию свое оригинальное содержание. В соответствии с модернистским характером своих предложений и художественных устремлений он вошел в ЛЕФ, более того, именно ЛЕФ обязан в основном ему всей своей политико-поэтической линией.

Судьба идей Арватова была действительно парадоксальна: как социолог-марксист пролеткультовского и лефовского

направления, он боролся за новое коллективное искусство, которое придет на смену умирающему индивидуалистскому буржуазному искусству. Но именно в том обществе, которое сформировалось в революционной и социалистической России и достигло в 30-е годы твердых структурных форм, «паразитическое» искусство с невероятной силой возродилось в своих традиционных «индивидуалистских» формах, хотя и на основе «коллективистской» идеологии. И именно на буржуазном Западе искусство, полностью не отказываясь от традиционных форм, а дополняя и усложняя их в ходе нового подъема интеллектуальной жизни, начало «социализироваться» в тесном сотрудничестве с индустриально-производственным процессом. Арватову, находившемуся под влиянием слишком жесткого макроисторического взгляда (самой настоящей философии истории, следовало бы сказать), недоставало конкретного чувства истории, и поэтому он не заметил, что в революционной и социалистической стране создавалось своеобразие и неожиданное общество и идеология, в то время как «реакционный» и буржуазный Запад переходил от «классической» фазы собственного индивидуализма к тому периоду, который будет назван «массовым обществом» со всеми вытекающими последствиями для искусства.

Основной ориентир исторической социологии Арватова — докапиталистическое общество, и, в частности, система средневековых корпораций, когда «не было никакого различия в формах труда: всякий труд той эпохи — и труд ученого, и труд производителя материальных ценностей, и труд художника — был трудом индивидуальным, такова была техника средневековья. Поэтому возможно было проникновение одной специальности в сферу другой, и художник мог делать вещи для материального быта, не меняя ни социальных навыков собственной работы, ни технических приемов.

Пока цехи работали главным образом непосредственно на потребителя, художник использовал все области производства; но когда общественное производство начало подчиняться рынку и все более обезличивалось, художник стал касаться лишь тех видов труда, которые еще не были подвластны торговле, а именно — ремесел, изготавливавших средства роскоши»³⁸.

Разделение труда, конкуренция и рост частного капитала влекут за собой капиталистическую коллективизацию производства, которая отчуждает производственный процесс от свободного и сознательного творчества. Но вне этой коллективизации остаются сферы старого индивидуального труда. Именно тут, прервав все связи с производственным процес-

³⁸ Б. Арватов. Искусство и производство. Сборник статей. М., 1926, с. 7—8.

сом, и действует художник «классической» эпохи капитализма:

«Новые художники стали работать... на класс, не производящий, а владеющий и потребляющий вещи... Произошел исключительный по своему значению факт: художник-производитель оторвался от производства и вместе с тем потерял всякую возможность руководствоваться в своем творчестве производственными навыками. Теперь он стал подчинять процесс художественной обработки материалов не принципам социально-технической целесообразности, а потребительским интересам купеческой олигархии. Он стал членом буржуазного общества, а его вкусы совпали со вкусами буржуазного общества»³⁹.

Теперь художника интересует не сущность предмета, а его внешний вид.

В буржуазном обществе меняется не только место художника, но сама роль искусства, которая претерпевает существенные изменения: в новом глубоко дисгармоничном обществе искусство предлагает ему иллюзорную гармонию и суррогаты. Искусство, оторвавшееся от конкретной жизненной обстановки, парит над жизнью и предлагает уже фиктивные образы той же жизни:

«Трагедия буржуазного искусства, уходящая корнями в трагедию реальной исторической действительности, создает недоступный вашему сознанию парадокс: будучи внежизненным, художник тем не менее является сотрудником человечества в его бытовой, «насушной», «житейской повседневности»; и обратно, художник только тогда является сотрудником капиталистического общества, когда он остается внежизненным. Иными словами: внежизненность буржуазного художника и есть его жизненная специальность. Каждый раз, когда он хочет помочь жизни, он должен для этого из жизни уйти. Только там, на вершинах своего безотрадного одиночества, вдали от еще более безотрадной жизни, может неудачник играть мечтой, не воплощенной в деле. Здесь его огромное значение. Буржуазное общество нуждается в мечте, которой никогда не осуществиться»⁴⁰.

Переход искусства в наджизненные сферы — не что иное, как проявление «товарного фетишизма», описанного и осужденного Марксом. Но «художественный фетишизм», при котором художник отходит от жизни и искусство отделяется от всего социального, сыграл свою историческую роль, поскольку был единственным способом, с помощью которого буржуазное общество могло удовлетворить свои эстетические запросы. Присущая этому обществу дисгармония делает сознание

³⁹ Там же, с. 15.

⁴⁰ Б. Арватов. Искусство и классы. М.—П., 1923, с. 51.

настолько неустойчивым, что возникает необходимость противопоставить в качестве противовеса непостоянству жизни стабильность, зафиксированную в художественных образах. «Грядущее целостное человечество вышвырнет этот фетиш вместе с другими из своего обихода, потому что фетиши нужны только там, где природа вещей скрыта под их мнимой и временной оболочкой»⁴¹. Момент подсознания, можно сказать, присутствует лишь в «фетишистский» период искусства, во время его «выпадения» из общности, которая сначала поглощала его, но с возвращением на более высокий уровень общественной жизни все искусство будет освещено светом разума. Искусство «отчужденного» общества подсознательно служило лабораторией художественных форм, и художник свободного общества сможет воспользоваться этими экспериментами уже в рамках обновленной системы сознательно-го художественного производства.

«Художественный фетишизм» имеет свой эквивалент также и в плане эстетических теорий, согласно которому явления искусства, оторванные от органично присущей им почвы, изучаются автономно по их имманентным законам. Другими словами, теория отрывается от практики, и посему «буржуазное искусствознание не стремится быть сознательным организатором буржуазного искусства, а изучает его абстрактно-познавательным, становясь, следовательно, его теоретическим фундаментом, независимо от своей воли»⁴². «Пролетарская теория искусства» должна идти по противоположному пути, согласно программе, в которой Арватов выделяет следующие основные направления:

«Подойти к искусству как социально трудовой деятельности, как к специфической отрасли общественно полезного труда — со своей техникой, экономикой, идеологией; далее — построить систему искусствознания на целевом *признаке*, как теорию, *суть* которой в организации пролетарского искусства, и с ним пролетарского и впоследствии социалистического строя»⁴³.

Не будем рассматривать последствия, вытекающие из этих двух программных установок, Впрочем, как и путей осуществления этой программы. Как мы уже говорили, деятельность Арватова как социолога искусства была далеко не академична и проявилась в ЛЕФе, где он, совместно с Осипом Бриком и Николаем Чужаком развернул живую полемику против теории и практики искусства, понимаемого как «подражание» и «познание» реальности, и провозгласил искусство в качестве непосредственного производства общественно полезных

⁴¹ Там же, с. 64.

⁴² Б. Арватов. Социологическая поэтика. М., 1928, с. 15.

⁴³ Там же, с. 15—16.

предметов. Эта программа касалась не только «изобразительного» искусства, которое должно было перейти от «фетишизма мольберта», то есть традиционной картины, к индустриальной фазе дизайна, но и самой литературы, которая становилась работой в области массовой информации (от публицистики до журналистики), более того, становилась лабораторией реконструкции самого средства коммуникации — языка. В перспективе преодоления «фетишизма» поэтической формы, который отрывал поэзию от жизни, Арватов видел революционное значение футуризма. Футуризм действительно впервые осознал истинное назначение поэта и поставил задачу, которая до него всегда осуществлялась спонтанно и бессознательно. Он провозгласил поэзию «лабораторией языка». «Футуристы сломали стену, отделявшую искусство от жизни, низвергли основной идеологический фетиш поэзии (отсюда их, мало кем понятая, борьба с так называемым «содержанием» как с базой поэзии) и открыли ей путь к оживлению, к методам, не вырванным из социальной действительности, а целиком опирающимся на нее: *футуристы открыли дорогу к социализации поэзии*»⁴⁴.

В общем, здесь мы видим и конец «подсознательного», и победу функциональной рациональности, что, по Арватову, является квинтэссенцией футуризма.

Не следует рассматривать социологическую схему Арватова только в связи с опытом (без сомнения, глубоким) русского до- и послереволюционного футуризма. Основа его схемы лежит в макроисторичности (или, если хотите, псевдоисторичности), то есть в той философии истории, которая постулировала коренное преобразование искусства как момент коренного преобразования общества. То, что у Арватова эта схема явно богдановского происхождения, то есть идет от Маркса, профильтрованного через богдановское «создание нового человека»⁴⁵, не мешает увидеть, что она же может иметь и гегелевскую версию, что, впрочем, и получилось у Лукача⁴⁶. Естественно, Марксова концепция «отчуждения», взятая через призму Богданова, отличается от гегелевской, но тем не менее составляет основу возможного сближения между двумя тен-

⁴⁴ Там же, с. 27.

⁴⁵ См. раздел «Богданов и „создание нового человека“» в моей статье «От „культурной революции“ к „социалистическому реализму“». — «История марксизма», т. III, ч. 1, выпуск второй, с. 280—316. А также очерк Ю. Шеррер «Богданов и Ленин: большевизм на распутье». — «История марксизма», т. II, выпуск второй, с. 63—116 („Storia del marxismo“, cit., vol. 2, p. 496—546).

⁴⁶ Для пояснения этого взгляда я отсылаю к моим работам «Утопия и жизнь: теоретическая проблема романа в Советской России» (предисловие к книге „Problemi di teoria del romanzo“), а также: V. Strada. Tradizione e rivoluzione nella letteratura russa, 2nd ed. Torino, 1980, и статью «Понять и переделать» в книге: „Crisi della ragione“, a cura di A. Gargani. Torino, 1979.

денциями. В этом смысле совсем не парадоксально историческое «сотрудничество», которое Горький и Лукач (первый — все еще верный «богостроительству» с налетом богдановщины, а второй — вдохновленный рационалистическим мессианством гегельянско-ленинистского пошиба) оказали в деле строительства основ «социалистического реализма». Но еще до «социалистического реализма» в советской литературе имел место такой крупный и сложный теоретический и политический опыт, как опыт РАППа, в котором первоначальная богдановщина претерпела глубочайшие изменения. Рассмотрим теперь этот опыт в общих чертах, не вдаваясь в анализ его происхождения и вариации. Обратим внимание лишь на конечные результаты его развития.

6. РАПП, или искусство как власть

Рассказать, особенно кратко, о РАППе непросто, поскольку эта организация существовала довольно долго — с 1925 по 1932 год, к тому же под различными другими названиями имела свою предысторию еще в первую половину 20-х годов, уходя корнями в Пролеткульт. Но тут речь пойдет не только о большом (по времени) и весьма путаном опыте, характеризующемся отсутствием теоретически твердой линии. Линия РАППа была далеко не прямой; она была связана с политической конъюнктурой, с яростными внутренними дискуссиями, не говоря уже о внешних. Если Воронский, Переверзев и Арватов, хотя и выступая в коллективных органах — журнале, школе или какой-то группе, — выработали, в сущности, личную систему идей, теоретиков РАППа было много, и никто из них не может считаться ведущим глашатаем этой ассоциации. Ведущую роль в организации играл Авербах, но не менее значительную роль играли в ней Фадеев, Либединский и Ермилов. Выделим лишь две проблемы, отвечающие цели нашего исследования: «плехановская ортодоксия» и «творческий метод».

Лозунг «за плехановскую ортодоксию» стал названием статьи Ермилова, появившейся в журнале «На литературном посту», органе РАППа, в октябре 1929 года. Несколько предварительных соображений по поводу этой статьи, о том, как следует ее читать, помогут понять и характер теоретической деятельности РАППа. В. Астахов в одном исследовании о судьбах эстетических идей Плеханова замечает, что статья Ермилова, в противовес боевой безапелляционности ее тезисов, вовсе не означала прихода РАППа к какой-то твердой позиции. Менее чем через год сами инициаторы призыва к «плехановской ортодоксии» должны были «повернуть на 180 градусов» и не только резко раскритиковать преслову-

тый лозунг «за плехановскую ортодоксию», но и само теоретическое наследство Плеханова, «провозгласив, что его установки и принципы в литературоведении находятся в тесной и неразрывной связи с его философским механизмом и непосредственной политической практикой его как идеолога меньшевизма»⁴⁷.

Это замечание важно, поскольку ясно показывает типичную манеру поведения рапповцев, которая предваряет стиль унифицированной литературной жизни всей советской литературы: масса шумных «кампаний», зачастую противоречивых, но связанных вначале с борьбой политических группировок, а затем, после унификации литературной жизни в 1934 году, исключительно с логикой высшей политической власти. Но, уточнив эту сторону вопроса, было бы грубейшей ошибкой не сказать о подспудной логике, связывающей неожиданные зигзаги в кампаниях РАППа, а также и в последующих кампаниях, хотя последние разворачивались уже в совершенно иной исторической обстановке, отличающейся от климата 20-х годов, когда РАПП пользовался определенной автономией и раздирался внутренней полемикой. О статье «За плехановскую ортодоксию» Астахов пишет, что можно еще дискутировать по вопросу о том, насколько точно и полно рапповский журнал «На литературном посту» проводил принцип партийности, но нельзя не признать, что он основывался на этом принципе⁴⁸.

И действительно, принцип партийности в литературе в «более или менее точной и полной» форме был выдвинут РАППом, а затем на новом этапе развития Советской власти передан более строгой и современной организации — Союзу писателей СССР, появившемуся в 1934 году после короткого инкубационного периода. Не случайно среди руководителей Союза оказались бывшие рапповцы, которые твердо приспособились к новому сталинскому повороту, носившему уже исторический, а не временный и конъюнктурный характер.

Какова же с этой точки зрения основная мысль статьи Ермилова 1929 года? Полемика Ермилова идет по разным направлениям, но в основном она нацелена против Переверзева, у которого отрицается чисто «научный» интерес к художественному факту и констатируется отсутствие идеологической активности, то есть отказ превратить искусство в инструмент классовой борьбы и внести боевой классовый дух в социологический анализ литературы. Переверзев и его школа «грешат механистичностью», поскольку отрывают «изучение литературы как факта от изучения литературы как фак-

⁴⁷ В. Г. Астахов. Литературно-эстетические взгляды Г. В. Плеханова в советской критике. Душанбе, 1973, с. 171.

⁴⁸ Там же, с. 182.

тора»⁴⁹. Но, возможно, самый тяжкий грех Переверзева и его школы другой:

«Одним из основных положений своей школы, выдвигая усиленно подчеркивающееся ими положение о роковой детерминированности художника определенным кругом образов, за пределы которого художник фатально не может выйти, товарищи «переверзианцы» ликвидируют возможность активного воздействия марксистской критики на классово чуждых пролетариату художников в процессе переработки ими их социальной природы»⁵⁰.

Если действительно задача партийности и РАППа, как ес идеологического и организационного оружия, --- помочь писателю-«попутчику» (буржуазному писателю, в принципе, однако, не враждебному революции) социально «перековать-ся», то есть принять принципы марксизма и линию партии в своей писательской работе, то теория, подобная переверзевской, утверждающая детерминистский характер и подсознательность внутреннего мира художника, может быть только неприемлемой. Любая литературная теория должна не только «объяснить», но также «оценить», чтобы «переработать». «Отодвигая в сторону от литературоведческого анализа момент *оценки, проблему ценности* художественных фактов, товарищи вступают в явное и неприкрытое противоречие с Плехановым, для которого генетическое и оценочное изучение отнюдь не представляло собой абстрактной противоположности, а, наоборот, являлось моментами монистического исследования, умещалось в конкретном единстве»⁵¹. Оценочный момент для догматической концепции эстетической оценки, согласно которой критерием ценности суждения была именно партийность, тогда как РАПП являлся его источником и гарантом в литературе, был, таким образом, установлен. С помощью формулы «плехановской ортодоксии» подчеркивался основной принцип всей последующей литературной жизни, и, хотя до 1932 года РАПП являлся чем-то вроде подрядчика на партийность в литературе, впоследствии партия станет прямым монополистом в области литературного руководства, а бывшие подрядчики будут приняты монополистической партией в качестве своих непосредственных служащих в литературном администрировании. Писатели, которые страдали от притеснений РАППа, поверят, что в 1932 году с роспуском этой ассоциации и в 1934 году с образованием Союза писателей СССР для них начнется период больших творческих возможностей. Но все пошло по-другому, и не случайно.

⁴⁹ «С кем и почему мы боремся», под ред. Л. Авербаха. М.—Л., 1930, с. 245 (речь идет о сборнике разных авторов журнала «На литературном посту»).

⁵⁰ Там же, с. 246.

⁵¹ Там же.

Что же касается Плеханова, то с его социологией искусства у рапповцев общими были лишь некоторые позиции. Как сторонник «материалистической концепции», Плеханов утверждал, что «первая задача критика состоит в том, чтобы перевести идею данного художественного произведения с языка искусства на язык социологии, чтобы найти то, что может быть названо социологическим эквивалентом данного литературного явления»⁵².

Рапповцы никогда не забывали о поисках этого «социологического эквивалента». Но для Плеханова отношение критиков и социологов к литературному феномену — это то, что суммировано у Спинозы в его «не плакать, не смеяться, но понять», не «восхваляя авторов», чьи социальные стремления ему близки, и не осуждая остальных. К тому же за «первым актом» поисков «социологического эквивалента» должен следовать второй, представляющий «оценку эстетических достоинств исследуемого произведения». Критик-социолог же, который ограничится лишь одним первым актом, «обнаружил бы свое непонимание той точки зрения, на которой ему хочется утвердиться»⁵³. Плеханова, следовательно, можно упрекнуть в механистичности его «социологического эквивалента» и в объявленном, но необоснованном единстве двух актов (гегетического и оценочного) эстетически-социологической оценки, но не в «гегемоничности» политико-педагогической партийности, которая являлась характерной чертой РАППа и в новых формах продолжала ее линию.

Вместе с этим политически активным моментом следует сказать и еще об одной характерной особенности РАППа — о главенствующем положении логики и идеологии по сравнению с чувственной и эмпирической непосредственностью. Рапповцы были склонны подчеркнуть свое отличие как от «идеализма» Воронского, так и от «экстремизма» ЛЕФа и занять промежуточную позицию, которая, однако, теоретически оказалась эклектической, а политически — оппортунистической. Так, например, в отличие от тенденции Воронского, которая представляла искусство «познанием жизни», и тенденции ЛЕФа, наоборот, превращавшей его в «строительство жизни», Авербах утверждал, что «искусство, несомненно, является средством особого познания жизни», но «не менее несомненно и то, что искусство — это средство эмоциональной заразительности», то есть «манипуляции» с психикой. Но тут же он устанавливал и иерархию между двумя моментами: познание, которое предлагает нам искусство, не существует само по себе, не самостоятельно, а «служит реконструкцией жизни»⁵⁴,

⁵² Г. В. Плеханов. Сочинения. М., 1925, т. XIV, с. 183—184.

⁵³ Там же, с. 189.

⁵⁴ Л. Авербах. Наши литературные разногласия. Л., 1927, с. 25.

иными словами, подчинено задаче воспитания и политической пропаганды, которая, естественно, регулируется центром власти, то есть РАППом как хранителем партийности. Руководители РАППа, следовательно, были правы, заявив в одном из последних документов, что их точка зрения резко враждебна любой теории и творческой практике, которые отрицают ведущую роль мировоззрения в творческом процессе пролетарского художника⁵⁵, полемически ссылаясь на Воронского и Переверзева и их последователей и понимая под «мировоззрением» диалектический материализм. Так же враждебно они относились и к ЛЕФу, поскольку он противопоставлял «идею» «чувству»⁵⁶, то есть рациональную и эмоциональную активность, которые в искусстве должны сливаться воедино, превращая «мировоззрение» в конкретные и «обобщенные» образы, способствующие переделке психологии читателя.

Здесь мы подходим к проблеме «творческого», или «художественного», метода, вокруг которой разгорелась широкая дискуссия в последние годы деятельности РАППа. Понятие и термин «метод», понимаемый как способ отношения художника к жизни и перевода ее на язык художественных форм, не были ни изобретением, ни монополией РАППа. Но рапповцы придали понятию «художественного метода» особые теоретические и философские черты, рационалистически привязав «творческий метод» к марксистскому «мировоззрению», и превратили «борьбу за метод», специфически присущий пролетарской литературе, в одну из своих основных целей. Опустим здесь дискуссию начала 30-х годов о «творческом методе», которая была связана с внутренними перипетиями РАППа и с полемикой вокруг конкретных литературных произведений, и рассмотрим статью Александра Фадеева, появившуюся в «Литературной газете» 28 октября 1929 года. Статья под названием «Долой Шиллера!» интересна не только потому, что дает ясное представление о пролетарском «творческом методе», но и потому, что, хотя ей и свойственна определенная юношеская невосдержанность, которую Фадеев впоследствии преодолел, она близко подводит нас к проблематике будущего «социалистического реализма», «метода», одним из крупнейших представителей которого станет позже сам Фадеев.

Почему «Долой Шиллера!»? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вместе с Фадеевым различать «два основных художественных метода», разумея под художественным методом, как уточняет сам Фадеев, «отношение писателя к действительности»⁵⁷. Как марксизм различает два основных на-

⁵⁵ «О развертывании теоретической дискуссии в РАППе». Письмо секретариата РАПП. М.—Л., 1931, с. 57.

⁵⁶ Там же.

⁵⁷ «С кем и почему мы боремся», с. 218.

правления в философии, материалистическое и идеалистическое, явно противостоящие друг другу, так необходимо различать и два «метода» в искусстве: материалистический, или реалистический, представителями которого являлись, например, Бальзак и Стендаль, и другой, идеалистический, или романтический, представителем которого был, например, Шиллер. Здесь примечательна связь между философской концепцией и «художественным методом», который априори обуславливает для пролетарского писателя выбор «материалистического», или «реалистического», метода: «Долой Шиллера!» и можно было бы сказать: «Да здравствуют Бальзак и Стендаль!» Естественно, что и у пролетарского писателя, который голосует за Бальзака, возникают определенные проблемы. Необходимо прежде всего признать, что писатели-«реалисты», «сознавая это, а некоторые не сознавая, были более или менее последовательными или стихийными материалистами в своем творчестве»⁵⁸. Даже Толстой, хотя он и верил в бога, «в своем художественном творчестве был „стихийным материалистом“»⁵⁹. Таким образом, возникает проблема отношений между осознанным и проповедуемым мировоззрением некоторых писателей (идеалистическим, религиозным и политически реакционным) и «спонтанным материализмом» их «творчески-реалистического метода», которой Фадеев не касался и которая, как мы увидим ниже, будет обсуждаться в 30-е годы. Вторая проблема — это отношения между этим по большей части подсознательным, во всяком случае ограниченным историческими условиями, «реалистическим методом» и новым, сознательным, программным пролетарским методом, освященным высшей «наукой» марксистского мировоззрения. И наконец, возникает проблема отношений между художественной и социальной практикой.

Вторая проблема — отношения между «реалистическим методом» и «материалистическим мировоззрением» — с явной очевидностью разрешена Фадеевым в духе РАППа: «Мы думаем, что таким наиболее передовым, ведущим художественным методом может быть и будет метод наиболее последовательного, то есть диалектического, материализма»⁶⁰. Основная черта этого нового «метода», по Фадееву, следующая: «...в отличие от великих реалистов прошлого художник пролетариата будет видеть процесс развития общества и основные силы, движущие этим процессом и определяющие его развитие, то есть он сможет и будет изображать рождение нового в старом, завтрашнего в сегодняшнем, борьбу и победу нового над старым. Но это значит, что такой художник, боль-

⁵⁸ Там же, с. 219.

⁵⁹ Там же, с. 222.

⁶⁰ Там же.

ше чем какой-либо художник в прошлом, будет не только объяснять мир, но сознательно служить делу изменения мира»⁶¹.

В сущности, это уже формула «социалистического реализма», хотя и проникнутая догматизмом, подобие (но не сущность) которого впоследствии сотрется. Здесь говорится о «диалектико-материалистическом методе», в то время как позже марксистская идеология станет менее ясной и безапелляционной. Да и отказ от «романтизма» тоже не должен вводить нас в обман. Фадеев уточняет, что «метод *пролетарского реализма*... сможет давать явления жизни и человека в их сложности, изменении, развитии, «самодвижении», в свете большой и подлинной *исторической перспективы*, то есть в свете и того, что *«должно быть»*. В этом смысле художник пролетариата будет не только самым презвым реалистом, но и самым большим мечтателем: последнее вовсе не является привилегией романтика»⁶².

И Фадеев цитирует здесь то место из «Что делать?» Ленина, где говорится о «мечте»⁶³. Это то, что в «социалистическом реализме» станет называться «революционным романтизмом».

РАПП осуществил свою историческую, если можно так выразиться, миссию при советском строе и уже не соответствовал новым временам и новым требованиям политического руководства также и в литературе. С одной стороны, внутренняя борьба в РАППе и агрессивный, яростный тон ее полемики против «чужаков», нерапповцев, делали ассоциацию неспособной выступать в качестве орудия контроля и литературного руководства в период тоталитарного объединения страны, с другой — хотя это может показаться и парадоксальным — РАПП был слишком «автономным» именно из-за своего внутреннего брожения, междоусобиц, даже из-за своего карьеризма и оппортунизма. В резолюции ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года, которая положила конец РАППу и прочим литературным группировкам, говорилось:

«В настоящее время, когда уже выросли кадры пролетарской литературы и искусства, выдвинулись новые писатели и художники с заводов, фабрик, колхозов, рамки существующих литературно-художественных организаций (ВОАПП, РАПП, РАМП и др.) становятся уже узкими и тормозят серьезный размах художественного творчества. Это обстоятельство создает опасность превращения этих организаций из средства наибольшей мобилизации советских писателей и художников вокруг задач социалистического строительства в средство

⁶¹ Там же, с. 223.

⁶² Там же, с. 224.

⁶³ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 6, с. 171—173.

культивирования кружковой замкнутости, отрыва от политических задач современности и от значительных групп писателей и художников, сочувствующих социалистическому строительству»⁶⁴.

Несмотря на бюрократический язык, резолюция в итоге говорила правду: РАПП не был орудием «максимальной мобилизации» писателей и художников, а с другой стороны, уже выросли (благодаря РАППу, но об этом резолюция умалчивала) «кадры пролетарской литературы и искусства», в то время как уцелевшие «попутчики», то есть непролетарские писатели, «сочувствовавшие социалистическому строительству», уже не представляли серьезной силы и были «перекованы», «перевоспитаны» не столько РАППом, сколько благодаря коренным социально-политическим изменениям, последовавшим за нэпом. Поэтому РАПП уже можно было ликвидировать с помощью резолюции, которая, как это ни странно, показалась советским писателям «либеральным» актом власти. Уже 15 апреля 1932 года был образован Организационный комитет Союза писателей РСФСР. Так открывалась совершенно новая эпоха литературной жизни Советской России. Но мы, естественно, не сможем здесь рассмотреть интересные годы его формирования и переходного периода.

7. «Социалистический реализм» и «марксистско-ленинская эстетика»

Термин «социалистический реализм» появился в 1932 году и утвердился под разными в то время ходячими названиями нового «метода»: «героический», «революционный», «романтический реализм» и т. д. В «Литературной газете» от 29 мая 1932 года, которая была тогда органом объединений Федерации советских писателей, редакционная статья под названием «За работу!», подчеркнув крупные изменения, происшедшие во всем Советском Союзе, и следующую из этого необходимость ликвидации рапповского «сектанства» в литературе, утверждала, что «перед всеми без исключения советскими писателями» стояло единственное требование: «правдивость в изображении революции». Статья кончалась так:

«Массы требуют от художника искренности и правдивости социалистического реализма, революционного в изображении пролетарской революции». Термин был найден, а подготовка самого понятия, как мы видели, была длинной и сложной.

Вот что по поводу поворота, совершенного в советской

⁶⁵ КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, т. 5, с. 44—45.

литературе резолюцией ЦК ВКП(б) 1932 года и I Съездом советских писателей, написал в 1934 году один ученый, чья теоретическая деятельность будет играть принципиальную роль в 30-е годы и которая стала таковой после публикации исследования об эстетических идеях Маркса, первой по-настоящему научной работой на эту тему. (Речь идет о Михаиле Лифшице, который в интеллектуальном содружестве с Лукачем, в то время жившим в Москве в эмиграции, и с группой сотрудников журнала «Литературный критик» (1933—1940) приложил максимум усилий, чтобы придать «социалистическому реализму» и марксистско-ленинской эстетике культурное достоинство.) Лифшиц связывал поворот в литературной области с важными событиями советской современности, и в частности с коллективизацией деревни:

«Партия разрешила труднейшую задачу пролетарской революции — завоевание непролетарских трудящихся масс на сторону социализма. Великие перемены, происшедшие в основной массе населения страны — крестьянстве, не могли не произвести своего действия на настроения художественной интеллигенции писателей, художников, артистов, которые всегда более или менее ясно отражали колебания этих многомиллионных слоев»⁶⁵.

Этот колоссальный социальный поворот, описываемый Лифшицем в идиллически-бюрократических тонах идеолога, стоящего над бедами, которые он повлек за собой, не мог не отразиться и на литературе, и после нивелировки народных масс тот же самый дорожный каток должен был проехать и по интеллигенции. Действительно:

«Если прежде в центре литературной жизни стояло *внешнее* отношение между особой организацией пролетарских писателей и кругами «полутчишков», то теперь центр тяжести перешел на *внутреннюю* работу в рамках Союза советских писателей. Из задачи агитации за коммунистическое мировоззрение (подменявшейся иногда в практике РАППа простым администрированием) они выросли в задачи внутренней воспитательной работы и заботливого выращивания социалистической художественной литературы»⁶⁶.

Затем полемика Лифшица обращается против «вульгаризации марксизма» так называемой «социологией литературы» (и «социологией искусства»), которая ограничивалась «классификацией художественных произведений по определенным общественным группам»⁶⁷ и «пресловутым отыскиванием „социального эквивалента“»⁶⁸. Эти теории Лифшиц определяет

⁶⁵ М. Лифшиц. Вопросы искусства и философии. М., 1935, с. 302.

⁶⁶ Там же.

⁶⁷ Там же, с. 303.

⁶⁸ Там же, с. 304.

как «левоменьшевистские», а их крупнейшим представителем, естественно, является Переверзев. Обнаруживая собственный догматизм, Лифшиц, отрицая «вульгарную» теорию «социального эквивалента», прибегает к еще более опасной и «вульгарной» теории «политического эквивалента», по которой «социолог» Переверзев становится эквивалентом меньшевизма со всеми вытекающими отсюда последствиями, которые подобная эстетика не могла не повлечь за собой, что и произошло в те годы в Советском Союзе.

Прервем на минутку чтение Лифшица и рассмотрим другие документы того времени, могущие дать непосредственное представление о новом «методе социалистического реализма». Для определения этого «метода» обратимся к двум источникам. Первый — это Устав Союза писателей СССР, Союза, который определяется Уставом как «добровольная организация» (часть III, раздел 1). В первой части Устава сказано, что Союз возник благодаря резолюции Центрального Комитета партии от 23 апреля 1932 года, распускавшей все литературные группировки. Все в той же первой части Устава читаем:

«Социалистический реализм, являясь основным методом советской художественной литературы и литературной критики, требует от художника правдивого, исторически конкретного изображения действительности в ее революционном развитии. При этом правдивость и историческая конкретность художественного изображения действительности должна сочетаться с задачей идейной перделки и воспитания трудящихся в духе социализма.

Социалистический реализм обеспечивает художественному творчеству исключительную возможность проявления творческой инициативы, выбора разнообразных форм, стилей и жанров» (Первый Всесоюзный съезд советских писателей. 1934. Стенографический отчет. М., 1934, с. 716). Формулировка «социалистический реализм» была найдена и провозглашена. И в своем роде она была гениальной: точной и нерушимой в своих отдельных основных пунктах ралловского толка, но переформулированной не в «пролетарской», а в «советской» форме. Туманная неопределенность литературных понятий делает ее эластичной, чем-то вроде гармошки, которую можно растягивать и на которой можно играть все, что угодно. И наконец, само собой разумелось, что главным дирижером исполнения и применения «социалистического реализма» была все та же общая для всей советской системы Коммунистическая партия, благодаря Центральному Комитету которой образовался Союз писателей. Но здесь речь уже шла об опосредованном руководстве через директивные органы Союза, и оставалось место для «творческой инициативы» в четко очерченных и строго охраняемых границах: если инициатива пе-

реходила эти границы, партия могла непосредственно вмешаться (например, в лице Жданова), чтобы поставить все на свои места. К тому же всегда была возможность обвинения в «антисоветских и антиобщественных действиях», которое, как говорится в 5 разделе III части Устава, могло повлечь за собой исключение из Союза, но на самом деле привело бы к гораздо большему; это почувствовали на себе писатели, погибшие через несколько лет после поворота 1932—1934 годов. Руководители советской литературы не выступили в их защиту, более того, они сотрудничали с их палачами. Никогда еще русская литература, да и ни одна современная европейская литература, за всю свою историю не была заключена в клетку, сооруженную с такой твердостью и таким умением. Самое интересное, что многие русские писатели добровольно помогали строить эту клетку и с радостью вошли в нее, думая, что это и есть социализм.

К «социалистическому реализму» было бы нечего добавить, поскольку все бесконечное теоретизирование, по большей части серое и повторяющееся, вовсе не меняет сути этого «метода», каковым он объявлен в Уставе Союза писателей. Но если многочисленные «теоретики социалистического реализма», следующие друг за другом уже после выдвижения этой формулы, и не заслуживают внимания, то совсем по-иному дело обстоит с двумя крупнейшими интеллектуальными «крестными отцами» этого «метода»: Горьким и Лукачем. С последним именем связан не только личный вклад венгерского философа-марксиста, но также и вклад журнала «Литературный критик», и в первую очередь Лифшица, то есть той группы ученых-исследователей, которая в 30-е годы в СССР называлась «Течением», а члены ее именовались соответственно «теченцами». Литературный и культурный «облик» этих двух «крестных отцов» — индивидуальный у первого, коллективный у второго — слишком значителен, и они не могут затеряться в толпе тривиальнейших советских «теоретиков». К тому же взгляды «крестных отцов» — Горького и Лукача — сформировались под влиянием дореволюционной европейской культуры, и в этом смысле они отличались от Фадеева, который, как мы видели, играл весьма немаловажную роль в подготовке «социалистического реализма», а затем стал одним из его крупнейших представителей. С приходом Горького и Лукача «социалистический реализм» предъявляет большие претензии, с которыми родился на свет, и претендует на то, чтобы стать венцом мирового литературного развития и предложить гуманный и социалистический выход из кризиса европейской культуры в революционной международной перспективе. С этой точки зрения «социалистический реализм» — часть истории европейской интеллигенции, ее стремлений и иллюзий, и в оригинале его нельзя рассматри-

вать так же, как ту жалкую формулу, в которую он превратился в руках советских бюрократов от литературы.

Горький неоднократно высказывался о «социалистическом реализме», но решающим отстает его вступительная речь, прочитанная на I Съезде советских писателей. Глубокий анализ этой речи потребовал бы большого труда: столь много проблем поставлено им в плане «социалистического реализма» как конечного результата культурного развития человечества. Но это увело бы нас назад, к началу века, когда Горький идейно примыкал к Богданову и совместно с Луначарским развивал «богостроительство», коллективную религию труда и человечества. В сложной личности Горького, его щедрой и многообразной культуре самоучки это идейное ядро осталось одной из точек, через которые преломлялись его позиции, в новой форме проявившиеся в восхвалении «социалистического реализма» на съезде 1934 года. Эхо богдановщины доходило до «социалистического реализма» не только через бывших рапповцев, таких, как Фадеев, но и через Горького. Горький галопом мчится через века и тысячелетия, от самых отдаленных мифических времен до 1934 года, чтобы обнаружить таинственную линию истории культуры, которая тянется до большевистской революции и «социалистического реализма» и окружает и ту и другую ореолом высшей всемирно-исторической закономерности. Расширение его горизонта за пределы современной Европы было бы не только законным, но и плодотворным, если бы развитие человечества не загонялось в рамки «трудовой» теории с одновременным всеобщим и сектантским обесцениванием всей культуры буржуазной эпохи. Мифическое творчество первобытности лишается покрова таинства и фантастической сложности и сводится к «технологическому мышлению первобытных людей» и их стремлению «облегчить труд»⁶⁹. В противовес народной культуре, выражающейся в мифах и фольклоре и преподнесенной в кратком изложении, Горький говорит о буржуазной культуре. Он утверждает, что, с одной стороны, *«роль буржуазии в процессе культурного творчества сильно преувеличена»*⁷⁰, а с другой — и сам слишком преувеличивает ее негативную роль, особенно в современную эпоху, и усматривает причину ее «интеллектуального обнищания» в том, что она уклоняется «от познания основного смысла явлений действительности»: буржуазия, «разлагаясь, отравляет мир ядом своего гниения»⁷¹. Знаменитым и повторяющимся в течение всего сталинского периода как анафема против «декадентства» стало определение, данное им десятилетию русской куль-

⁶⁹ «Первый Всесоюзный съезд советских писателей, 1934». Стенографический отчет. М., 1934, с. 6.

⁷⁰ Там же, с. 7.

⁷¹ Там же.

туры 1907—1917 годов: «Десятилетие 1907—1917 годов вполне заслуживает имени самого позорного и бесстыдного десятилетия в истории русской интеллигенции»⁷². Затем Горький возвращается к своей старой полемике с Достоевским, довольно упрощенчески истолковывая его идеи. Он заявляет, что Достоевского «очень легко представить в роли средневекового инквизитора»⁷³, и эта абсурдно-отрицательная оценка повлияет на приговор Достоевскому, который утвердится в самые мрачные годы сталинизма. Было бы весьма легко выдвинуть встречное обвинение, пользуясь высказываниями самого Горького, и сказать, что «средневековый инквизитор» как раз и утверждался под покровами «социалистического реализма» и что «самое позорное и бесстыдное десятилетие в истории русской интеллигенции» начиналось именно тогда, в середине 30-х годов, и дошло до высшей точки развития при ждановщине. Но в исторической работе бесполезно полемизировать. Мы даже не будем подчеркивать те пункты, в которых Горький превозносит «партийное руководство литературой» или утверждает, что, конечно же, знать прошлое необходимо, но только так, «как все это освещается учением Маркса — Ленина — Сталина». Гораздо интереснее тезис, который гласит:

«Отнюдь не отрицая широкой огромной работы критического реализма, высоко оценивая его формальные достижения в искусстве живописи словом, мы должны понять, что этот реализм необходим нам только для освещения пережитков прошлого, для борьбы с ними, вытравливания их»⁷⁴.

Тут, как и в приговоре всей буржуазной культуре, в особенности ее «декадентскому периоду», почти все превратилось в общее место литературной идеологии худшего периода сталинизма. Зато «критическому реализму», который следует считать «пройденным этапом», поскольку, по Горькому, он был слишком негативен, противостоит определение «социалистического реализма», который «утверждает бытие как деяние, как творчество, цель которого — непрерывное развитие ценнейших индивидуальных способностей человека ради победы его над силами природы, ради его здоровья и долголетия, ради великого счастья жить на земле...»⁷⁵. Слова эти могли бы оказаться пустой риторикой, если бы не были сказаны как раз в то время, когда русский народ нуждался в «критическом реализме» как никогда ранее и когда «великое счастье жить на земле» в России, да и не только в России, было омрачено одной из величайших исторических трагедий.

⁷² Там же, с. 12.

⁷³ Там же, с. 11.

⁷⁴ Там же, с. 17.

⁷⁵ Там же.

В это же время, когда советское общество входило в новую политическую фазу развития, в которой «социалистический реализм» стал ее «литературным эквивалентом», Михаил Лифшиц открывал эстетику Маркса, Энгельса и Ленина и превращал ее в фундамент новой доктрины, сформулированной на Съезде советских писателей 1934 года. В работе Лифшица необходимо различать две стороны: работу ученого, который компетентно анализирует и систематизирует работы Маркса по литературе и искусству и поднимает исследование этой стороны марксизма на новый, более высокий уровень, преодолевая поверхностное, фрагментарное и лакунарное прочтение этой части Марксова наследия, и работу идеолога, находящуюся в определенном смысле в противоречии с работой филолога, поскольку те же самые тексты Маркса использовались для политико-литературной операции, ценность и значение которой сегодня вполне ясны. Правда, среди идеологов «социалистического реализма» Лифшиц, как и вообще литераторы из «Литературного критика», достиг интеллектуального уровня, недоступного общей массе советских теоретиков «нового метода», которая впоследствии окажется победительницей. Но это не исключает того, что, хотя деятельность Лифшица и его сторонников была более научной, она все же не выходила за общие рамки. Верно также и то, что в конце концов Лифшиц и Лукач были отброшены в сторону, но, в сущности, это было как бы повторением РАППа: РАПП тоже работал на власть, а потом его ликвидировали, и он растворился в новой литературной среде. Таким образом, вклад идей Лифшица и Лукача был ценен, хотя затем «вульгаризирован» теоретиками-бюрократами, которые, естественно, взяли верх.

Мы уже говорили, что в 20-е годы единственно признанной марксистской эстетикой являлась эстетика Плеханова, служившая ориентиром для дальнейших исследований. А в подтверждение этому достаточно среди многих других процитировать Луначарского, по словам которого Маркс и Энгельс в эстетике оставили «лишь небольшое количество разбросанных замечаний», в то время как «основа марксистского искусствознания была дана именно Плехановым»⁷⁶. Заслугой Лифшица явилось прежде всего то, что он показал: в произведениях Маркса мысли об искусстве занимают весьма существенное место. Но чтобы прийти к подобному заключению, Лифшиц не ограничился «перечиткой» Маркса. Он использовал в своем исследовании такие работы Маркса, как «Экономическо-философские рукописи 1844 года», анализ которых лишь много позднее (после смерти Сталина) вновь появился в СССР в исторических и теоретических работах.

⁷⁶ А. Луначарский. Собр. соч., М., 1967, т. VIII, с. 222.

Лифшиц изложил суть своей работы о формировании взглядов Маркса на искусство в пространной статье, написанной для «Литературной энциклопедии», впоследствии изданной под названием «К вопросу о взглядах Маркса на искусство». В том же году Лифшиц вместе с Ф. Шиллером опубликовал первую антологию «Маркс и Энгельс об искусстве», которая вышла со вступлением Луначарского, в дальнейших изданиях была расширена и приобрела известность за пределами Советского Союза.

Но новая линия исследований в эстетической области не ограничивалась Марксом и Энгельсом. Все в той же «Литературной энциклопедии» в 1932 году появилась большая статья Луначарского, посвященная значению трудов Ленина для теории и истории литературы (позднее, в 1938 году, под редакцией Лифшица выйдет систематическая антология «Ленин о литературе и искусстве»); в 1934 году она была опубликована отдельной книжкой под заглавием «Ленин и литературоведение». Так одновременно с «социалистическим реализмом» рождалась «марксистско-ленинская эстетика» (и приходил конец многочисленным литературным группировкам, которые, в общем, уже были задавлены РАППом), а в теории — «социология литературы» (с последующим развенчанием Плеханова и любой немарксистской эстетики; например, «формализм» как группировка в 30-х годах окончательно прекратил свое существование). С этого времени начинается большая доктринальная полемика об истолковании «марксистско-ленинской эстетики» и о ее применении «социалистическим реализмом», не говоря уже об истолковании, которое в свете данной эстетики и в целях подобной практики надо было дать искусству прошлого, а также современному искусству «несоциалистического реализма», то есть буржуазному искусству в двух его основных ответвлениях: «критическому реализму» и «декадентству».

Мы не будем здесь восстанавливать основные категории «марксистско-ленинской эстетики» в том виде, как они определяются в статьях Луначарского и Лифшица, и в заключение этой главы нашего исследования рассмотрим только некоторые основополагающие пункты трудов двух советских теоретиков, чтобы перейти в следующем параграфе к проблемам, которые «марксистско-ленинская эстетика» и «социалистический реализм» открыли для теоретической деятельности во второй половине 30-х годов.

В статье Луначарского по крайней мере два пункта заслуживают внимания. Первый говорит о «теории отражения» (или «зеркального отражения»), выработанной Лениным в противовес Богданову и русским марксистам, находившимся под влиянием идей Маха и Авенариуса. Если вспомнить, что Луначарский входил в группу Богданова, то признание «тео-

рии отражения» означало для него решительный отказ от его философского прошлого. В применении к литературе «теория отражения», по Луначарскому, должна учитывать «не столько генетическую принадлежность писателя, сколько *отражение* этим последним социальных сдвигов, не столько субъективную прикреплённость писателя и связанность его с определенной социальной средой, сколько объективную характерность его для тех или иных исторических ситуаций»⁷⁷.

Луначарский со своим языком, который отличается от прямолинейных заявлений будущих теоретиков «марксистско-ленинской эстетики», явно отрывается от социологического изучения литературы в плехановской традиции и на основе «теории отражения» утверждает, что литературное произведение имеет значение и анализируется из-за той «реальности», которую писателю, зачастую вопреки его же намерениям, удается «отразить». В части, посвященной ленинскому анализу творчества Л. Толстого, Луначарский выдвигает проблему, которая станет предметом долгих споров в «марксистско-ленинской эстетике», проблему отношений между идеологией, или же мировоззрением писателя, и его литературной практикой, когда наблюдается противоречие между двумя этими понятиями («реакционное» мировоззрение и «прогрессивное» художественное произведение, как, например, у Л. Толстого, по Ленину).

В статье Луначарского следует подчеркнуть еще одно высказывание, поскольку ему суждено было большое будущее. Речь идет об оценке статьи Ленина «Партийная организация и партийная литература» (1905). Луначарский признает: «Поводом для написания этой статьи было желание упорядочить политическую литературу партии, ее публицистику, ее научные издания и пр.»⁷⁸. Но, утверждает он (и не без оснований), «объективное значение» этой статьи относится ко всей литературе. И в духе канонизации всего ленинского наследия, характерного для его очерка в «Литературной энциклопедии», заключает:

«Несмотря на то что со времени написания этой статьи прошло больше четверти века, она до сего дня ни на йоту не потеряла своего глубочайшего значения. Более того, основной принцип партийности литературы, служащей делу социалистического переустройства мира, в настоящее время так же актуален, как и развернутая в статье жесточайшая критика буржуазной литературы... Статья «Партийная организация и партийная литература», содержащая руководящие указания по вопросам литературной политики партии, лишний раз свидетельствует о том, как огромно было участие

⁷⁷ «Литературная энциклопедия». М., 1932, т. VI, кол. 220.

⁷⁸ Там же, кол. 257.

Ленина в тех жгучих литературных спорах, которые особенно широко развернулись после его кончины»⁷⁹.

Вместе с «теорией отражения» теория «партийности» литературы окончательно вошла в «марксистско-ленинскую эстетику» и в арсенал советской идеологии.

Книгу Лифшица нелегко охарактеризовать вкратце, поскольку в ней речь идет о глобальной трактовке Марксовой мысли в ее развитии, хотя и с особой точки зрения его взглядов на искусство. Рассмотрим только одну основную часть, в которой говорится о судьбах искусства в буржуазном обществе и о его перспективах при социализме. Лифшиц разворачивает Марксову теорию о «неравномерном развитии художественной культуры по отношению к развитию общества в целом»⁸⁰, то есть о той диспропорции, которую создает капиталистическое общество между развитием производительных сил и упадком художественного творчества (упадком по сравнению с «детством» древней греческой цивилизации). Этот упадок (мы будем называть его так, без кавычек, следуя аксиологической схеме Лифшица) не является необходимым следствием буржуазного прогресса, и он прогрессивен для самого искусства, поскольку дух всеобщего бунтарства, вызванный буржуазией, того бунтарства, которым восхищается Маркс в «Манифесте Коммунистической партии», открывает также и для искусства новые горизонты. Судьба искусства связывается с социальной коммунистической революцией, и только общее разрешение противоречий капитализма сможет разрешить особые проблемы искусства.

«Итак, отрицательное и положительное, прогресс и регресс тесно связаны в историческом развитии человечества. Это общее диалектическое понимание истории обуславливает и взгляды Маркса на развитие искусства. Упадок художественного творчества неотделим от общесоциального прогресса. Его высокий уровень в прошлом был, наоборот, связан с неразвитостью общественных противоречий»⁸¹.

Но в этой оптимистической философии истории, когда регресс находится на службе высшего прогресса, где гарантии того, что в будущем коммунистическом обществе будут достигнуты вершины, подобные древнегреческому идеалу? Вопрос тем более уместен, что Маркс на страницах известной работы «Введение (Из экономических рукописей 1857—1858 годов)» говорил об искусстве «нормальных детей», какими были древние греки, как о «норме и недостижимом образце»⁸². Тот же вопрос ставит и Лифшиц, и разрешает его

⁷⁹ Там же, кол. 259.

⁸⁰ М. Лифшиц. К вопросу о взглядах Маркса на искусство. М.—Л., 1933, с. 109.

⁸¹ Там же, с. 107.

⁸² К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 12, с. 737.

следующим спекулятивным образом. Он сожалеет, что рукопись Маркса прерывается сразу же после утверждения о невозможности возврата прекрасного греческого искусства, и не объясняет, почему, согласно той же теории коммунистической революции, возможен новый расцвет искусств.

«Но уже по одной фразе из того, что набросано Марксом, мы можем понять, сколь мало общего с элегией имеют его исторические взгляды. Но должен ли мужчина, спрашивает Маркс, «на высшей ступени воспроизводить свою истинную сущность?» (*Seine Wahrheit zu reproduzieren?*) Это дает нам ключ к пониманию подлинной мысли Маркса. Понятие «воспроизведения» (*Reproduktion*) играло большую роль во всей немецкой философии, включая Гегеля. У самого Гегеля как в «Науке логики», так и в целом ряде других произведений «репродукция» выступает как жизненный процесс воспроизведения рода. Я воспроизвожу свою сущность в ребенке, и, таким образом, заложенное в моей жизни ее собственное отрицание в свою очередь подвергается отрицанию. То же употребление этого понятия в применении к человеческой жизни мы находим у Маркса... Мы могли бы привести еще много доводов в пользу той мысли, что слова Маркса о «воспроизведении своей истинной сущности», есть только традиционное, образное выражение для третьей, высшей ступени диалектического процесса. Учение об окончательном упадке искусства, которое рисовалось наивной фантазией некоторых «истолкователей», никогда не было учением Маркса. Это лишь упрощенное и схематизированное повторение идеалистической догмы о безвозвратном нисхождении искусства в царстве чистого Разума, alias — буржуазным обществом история не заканчивается, то и упадок искусства в исторических рамках капитализма не является последней степенью эволюции художественного творчества»⁸³.

«Итак, согласно учению Маркса, коммунизм создает такие условия для развития культуры и искусства, перед которыми бледнеют ограниченные возможности, представленные узким слоем полноправных граждан демократией рабовладельцев. «Искусство умерло. Да здравствует искусство!» — таков основной мотив эстетических взглядов Маркса»⁸⁴.

Иным путем, но все в тех же рамках марксизма, Лифшиц подошел к той же самой оптимистической философии истории, которой придерживался Горький. Именно благодаря этой философии истории родился «социалистический реализм». Ошибка Лифшица и других философов «социалистического реализма» состояла не только в том, что они полностью

⁸³ М. Лифшиц. К вопросу о взглядах Маркса на искусство, с. 117.

⁸⁴ Там же, с. 121.

догматически канонизировали мысли Маркса и Ленина и извлекали из них утопическую и схематическую картину будущего. Она состояла в том, что они прежде всего игнорировали настоящее и не понимали, что, как идеологи, служили системе, которая вовсе не была прообразом возврата (естественно, диалектического, то есть «воспроизводящего»!) к древнегреческому детству человечества.

8. «Мировоззрение» и «метод»

С утверждением «социалистического реализма» и «марксистско-ленинской эстетики» советская литературно-теоретическая проблематика вступает в фазу, подготовленную предшествующими тенденциями и дискуссиями 20-х годов и переходного периода первых лет 30-х годов, но она глубоко отличается от них. Это отличие вызвано двумя соображениями: новыми внутренними проблемами, связанными с новой понятийной системой, выработанной между 1932 и 1934 годами, и новым способом, с помощью которого в новом теоретическом и прежде всего в практическо-историческом контексте ставилась центральная проблема, постоянно фигурировавшая в литературной советской политике — проблема руководства и контроля над всей литературной жизнью со стороны партии. В этой сложной обстановке мы ограничимся тем, что в основных чертах рассмотрим главную проблему дискуссий второй половины 30-х годов: отношения между «мировоззрением» и «художественным методом» и критику «вульгарной социологии», а затем перейдем к дискуссии 1939—1940 годов по книге Лукача «К истории реализма», которая завершила все литературные дискуссии десятилетия и привела к закрытию журнала «Литературный критик», находившегося в центре этой дискуссии⁸⁵.

Уже в статье «Ленин и литературная критика», опубликованной в первом номере журнала «Литературный критик» и подписанной ответственным редактором этого журнала П. Юдиным, ставилась проблема отношений между «мировоззрением» и «методом» и выдвигался способ ее решения. Проблема связана с ленинской «теорией отражения» как формой познания объективной реальности, с понятием «реализма» как художественного познания данной реальности и за-

⁸⁵ Книга Г. Лукача «К истории реализма» (М., 1939), кроме короткого введения, включала очерки о «Вертере» и «Мейстере» Гёте, «Гиперионе» Гёльдерлина, о «трагедии Генриха фон Клейста», о Бюхнере, Гейне, «Крестьянах» и «Утраченных иллюзиях» Бальзака, о полемике между Бальзаком и Стендалем, «Толстой и развитие реализма» и о Горьком («Человеческая комедия» дореволюционной России).

дачей интерпретации литературного «наследства» и вообще художественного прошлого не как остатков идеологии отмирающих классов, а как системы живого интеллектуального развития человечества. Полемической мишенью для «Литературного критика» стала «вульгарная социология» и вообще вся литературная политика РАППа, основывающаяся на этой социологии. Но как примирить понятие «класса», центрального понятия марксизма, с новым, более широким взглядом на литературное развитие? Как объяснить, почему писатель, проповедующий ничтожную и реакционную классовую идеологию, может создавать литературные произведения, которые правдиво «отражают» историческую реальность его времени и, стало быть, более значительны, ценны, менее преходящи, нежели класс, к которому он принадлежит? Знаменитое письмо о Бальзаке, написанное Энгельсом на английском языке писательнице Маргарет Харкнесс, опубликованное в те годы на русском⁸⁶, было посвящено как раз этому; статьи Ленина о Толстом также были связаны с этой проблемой. Однако речь шла о далеко не теоретической, а тем более академической проблеме, поскольку отношения между «мировоззрением» и «методом» касались не только прошлого и интересовали не только историков литературы; они были непосредственно связаны с настоящим, с советской литературной политикой нового периода. С этой точки зрения проблема может быть сформулирована таким образом: если до Маркса и до марксизма, то есть до появления истинной и единственной общественной науки (согласно мнению советских марксистов), писатель-«реалист» мог «отражать» жизнь и не обладая научным и прогрессивным мировоззрением, мог ли писатель обойтись без марксистского мировоззрения после того, как оно победоносно утвердилось в результате революции, и тем более советский писатель, который должен был «отразить» новую социальную реальность, построенную на основе марксистского мировоззрения? Проблема кажется доктринарной, да таковой и является, поскольку она ставится лишь в определенном теоретическом (марксизм-ленинизм) и практическом (советский социализм) контексте, но все же предмет дискуссии весьма немаловажен.

В цитируемой статье П. Юдин писал, что «историческая правдивость, то есть объективность отражения в художественном произведении действительных отношений, придает ему политическую заостренность, идейную направленность и актуальность»⁸⁷, то есть именно реальность «отражения» в произведении (в том случае, если «отражение» соответствует

⁸⁶ См.: «К. Маркс и Ф. Энгельс о литературе». М., 1933 (с комментариями Ф. Шиллера и Г. Лукача).

⁸⁷ П. Юдин. Ленин и некоторые вопросы литературной критики. — «Литературный критик», 1933, № 1, с. 23.

действительности, является правдивым) обуславливает «мировоззрение» если и не писателя, который может придерживаться иного мировоззрения, то, уж конечно, произведения. Этот тезис был в статье Юдина еще не вполне развернут и затуманивался довольно противоречивыми теоретическими утверждениями; но впоследствии именно он станет основной тенденцией в работе «Литературного критика». Следует обратить внимание на еще одно утверждение П. Юдина, касающееся современной литературной реальности. Он полемизирует с рапповцем Авербахом и называет «вульгарным» его тезис, согласно которому писатель должен владеть «творческим диалектическим и материалистическим методом», чтобы быть на уровне времени. Но тут же сам П. Юдин пишет, что «советский и пролетарский писатель, если он хочет быть художником-мыслителем, а не просто хроникером и констататором фактов, должен по-серьезному овладеть философией пролетариата, его мировоззрением — диалектический материализм, — это бесспорная и само собой разумеющаяся истина»⁸⁸. Непонятно, в чем «вульгарность» Авербаха отличается от вульгарности П. Юдина.

Более строго проблема рассматривается М. Розенталем в статье, которая озаглавлена: «Мировоззрение и метод в художественном творчестве»⁸⁹. В статье масса аргументов, и полемика постоянно направлена против «вульгарной» социологии РАППа. Выводы, к которым приходит Розенталь, могут быть суммированы в следующем его утверждении:

«В процессе творчества как бы сталкиваются и перекрещиваются двоякого рода влияния: влияние мировоззрения, социального сознания, с которым художник подходит к действительности, и влияние самой жизни, самих предметов и явлений объективной действительности»⁹⁰.

Затем М. Розенталь торопится уточнить, что он говорит лишь о непролетарском мировоззрении, то есть о том мировоззрении, которое находится в противоречии с объективной реальностью. И продолжает:

«Мировоззрение художника, которое сопутствует ему в его работе по отображению действительности, наталкивается на препятствия в лице самой жизни, которая живыми фактами убеждает художника, что действительность, ее процессы, ее течения совершенно иные, чем ему кажется, согласно своему мировоззрению»⁹¹.

Если так смотреть на вещи, заключает М. Розенталь, то между мировоззрением и методом художника нет «прямо-

⁸⁸ Там же, с. 24.

⁸⁹ М. Розенталь. Мировоззрение и метод в художественном творчестве. — «Литературный критик», 1933, № 6, с. 12—32.

⁹⁰ Там же, с. 24.

⁹¹ Там же.

линейной связи» и существует «возможность противоречия между ними»⁹².

Ссылаясь на Энгельса и его тезис о том, что реализм побеждает, несмотря на идеи писателя, М. Розенталь заключает:

*«Глубокое знание писателем жизни, тщательное изучение действительности подсказывает реалистический метод, который, вопреки взглядам автора, проявляется в правильном (хотя, как мы уже упомянули, ограниченно правильном) изображении действительности»*⁹³.

М. Розенталью и П. Юдину ответил И. Нусинов, литератур-рапповец, который был членом этой организации в последние годы ее существования. В статье «Социалистический реализм и проблема мировоззрения и метода» он заявил, что «мировоззрение... — воздух, без которого невозможна жизнь художественного произведения, невозможно его осуществление, ибо оно определяет выбор объектов действительности и их комбинирование»⁹⁴, то есть «творческий метод» зависит от мировоззрения. Таким образом, не может возникнуть противоречия между методом и мировоззрением, но появится совокупность противоречий внутри самого мировоззрения, которые проявятся в художественном методе и итогом которых станет произведение. «Победа реализма социально обусловлена», пишет Нусинов⁹⁵, и она не зависит просто от «метода», верного реальности, который заставляет молчать «мировоззрение», имеющее тенденцию к искажению реальности. Он приводит «классический» пример Бальзака. Вся его социальная практика вынудила писателя «идти против своих классовых симпатий и политических предрассудков»⁹⁶. И. Нусинов указывает также и на политические последствия точки зрения М. Розенталя: если верно то, что пишет «Литературный критик» о независимости художественных результатов Бальзака от его мировоззрения, то «любой непролетарский писатель вправе себе сказать, что можно махнуть рукой на все разговоры о пролетарском миросозерцании, если оно является, и по мнению некоторых авторитетных коммунистических критиков, лишь каким-то весьма невесомым плюсом для творчества писателя»⁹⁷. И уточняет, что если идеи М. Розенталя довести до их логического конца, то получается, что для пролетарского писателя, поскольку его мировоззрение не противоречит реальности, возникает гар-

⁹² Там же.

⁹³ Там же, с. 30.

⁹⁴ И. Нусинов. Социалистический реализм и проблема мировоззрения и метода». — «Литературный критик», 1934, № 2, с. 147.

⁹⁵ Там же, с. 149.

⁹⁶ Там же, с. 150.

⁹⁷ Там же, с. 148.

мония между мировоззрением и методом, в то время как мировоззрение непролетарского, «попутчика», если он верен реальности, может великолепно противоречить методу без ущерба для творчества. Не говоря уже об абсурдности этого тезиса, заключает И. Нусинов, «эта постановка вопроса по существу чревата отказом от борьбы за мировоззренческое перевоспитание попутнических писателей»⁹⁸.

Ответ М. Розенталя не заставил себя ждать и был пространным и аргументированным⁹⁹. Он подтвердил тезис о встречающемся противоречии между мировоззрением и художественным методом и обвинил И. Нусинова в том, что тот раздваивает писателя (Бальзак, например, у него полумонарх и полубуржуа), для того чтобы объяснить противоречие между реалистичностью художественного творчества и реакционностью идей самого автора. Но полемика с «Нусиновым и его друзьями» показывает далеко не чисто теоретический и методологический характер, когда М. Розенталь обвиняет своего противника в повторении «ошибок РАППа»¹⁰⁰: «Для Нусинова выработка мировоззрения—это одно, а творческая практика писателя нечто другое»; для него «социалистический реализм» — не что иное, как «диалектико-материалистическое мировоззрение», то есть то же самое, что и для РАППа.

В заключение этой полемики, не входя в теоретический анализ проблемы, необходимо пояснить причины ожесточения, в котором проблема «метода» и «мировоззрения» встала перед советской литературной теорией 30-х годов, после того как в ином плане она ставилась в 20-е годы Воронским и Переверзевым. Не только общая политическая обстановка в Советском Союзе того времени повлияла на тон и уровень дискуссии, но и само понятие марксизма как единственного «научного» мировоззрения и социализма как конечного результата истории, понятие, присущее тяжущимся сторонам. Не только отсутствие плюрализма в философии и мировоззрении в СССР, но и отсутствие даже чисто умозрительного требования подобной плюралистичности превращало дискуссию о «мировоззрении» и «методе», в сущности, в диатрибу схоластического порядка, и она теряла то положительное, что могла иметь. Естественно, поскольку все тяжущиеся стороны, будучи добрыми марксистами-ленинцами, принимали историческую систему, в которой они действовали, эта дискуссия при явных политических и идеологических осложнениях в конце концов должна была быть разрешена высшей государственной властью, являвшейся средоточием *партий-*

⁹⁸ Там же, с. 146.

⁹⁹ М. Розенталь. Еще раз о мировоззрении в художественном творчестве. — «Литературный критик», 1934, № 5, с. 8—34.

¹⁰⁰ Там же, с. 31.

ности и идейности, то есть судьей идеологической истинности произведения. Если, конечно, не уверовать в то, что в сталинской России готовилось коммунистическое «воспроизведение» древнегреческого «детства» человечества.

Кроме дискуссий о том, победил ли реализм вопреки «реакционному» мировоззрению или же скорее «благодаря ему» (эти два течения назывались «вопрекистами» и «благодаристами»), в 30-е годы также дискутировался и «народный» характер литературы прошлого, то есть литературы классового общества; и, естественно, *народность* стала частью святой троицы вместе с *партийностью* и *идейностью*. Парадокс 30-х годов состоял в том, что, в то время как советская литературная жизнь обеднялась, а ряды писателей редели из-за арестов, теоретические дискуссии не утратили известной ценности. Такой журнал, как «Литературный критик»¹⁰¹, стал местом сбора и встреч теоретических и исторических марксистских литературных сил, которые развивали свою линию интерпретации европейской, и в частности русской, культуры. Но и для «Литературного критика» готовились тяжелые времена, и журнал был закрыт резолюцией Центрального Комитета «О „Литературном критике“ и его литературном приложении» от 2 декабря 1940 года, в которой по этому поводу просто заявлялось: «Прекратить издание обособленного от писателей и литературы журнала „Литературный критик“»¹⁰². Рассмотрим теперь основные направления дискуссии 1939—1940 годов, предшествовавшей и подготовившей принудительное закрытие лучшего советского журнала 30-х годов, который, бесспорно, поднял теоретическое обсуждение проблем «социалистического реализма» на высший уровень.

Дискуссия по книге Лукача была довольно запутанной, поскольку она велась не только не в чисто академическом плане или же в плане спокойного сопоставления различных методологических позиций, но приняла, что было неизбежно, весьма живой полемический характер, переплелась с идеологическими вопросами явно политического порядка, и сторонники Лукача часто обвиняли своих противников в искажении их позиций¹⁰³, в то время как их противники выдвигали встречные обвинения, говоря, что первые затушевывают свои идеи. Чтобы выделить основное в полемике, которая развернулась преимущественно на страницах «Литературной га-

¹⁰¹ Приложением к «Литературному критику» был критико-библиографический двухнедельник «Литературное обозрение», который выходил с 1936 по 1941 год сначала под редакцией М. Розенталя, а потом Ф. Левина.

¹⁰² КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, т. 5, с. 449.

¹⁰³ См. статью А. Стеценко «О приемах полемики и о споре по существу» в «Литературном критике» (1940, № 2, с. 57—72).

зеты», проследим за выступлениями двух ведущих „обвинителей” — Евгении Книпович и Валерия Кирпотина, и за «защитой» Лукача и Лифшица (который, помимо того, был «ответственным редактором» книги Лукача)¹⁰⁴. Полемику начала Книпович своей статьей «Новая книга Г. Лукача и вопросы истории реализма», которая появилась в журнале «Интернациональная литература», а затем на страницах «Литературной газеты». Основной идеей книги Лукача Книпович считает центральное положение Французской революции по отношению ко всем литературным тенденциям современности. Найдя этот центр, Лукач подчеркивает две возможные формы отношения писателя к буржуазной революции, а отсюда и две формы реализма. К первому типу, продолжает Книпович свой анализ, принадлежат Гёльдерлин, Стендаль и в какой-то мере молодой Гёте (как автор «Вертера»). Писатели этого типа «не приемлют» реальности нового буржуазного общества, и их творчество питается героическими иллюзиями революционного духа, окрашенными в элегические и романтические тона. Ко второму типу принадлежат уже зрелый Гёте и Бальзак, а также в какой-то степени Бюхнер и Гейне. Для них характерно прежде всего «гордое приятие» исторической реальности, то есть тенденция любой ценой преодолеть иллюзии героического периода Французской революции и с «классовой» точностью познать новое общество в его развитии. Но Лукач идет дальше этой классификации и, чтобы объяснить, как сама реальность способствовала тому, чтобы писатели второго типа преодолели (пускай и в буржуазной форме) героические иллюзии буржуазии, говорит о «Термидоре», то есть о «примирении» Гёте и Гегеля с реальностью. По Лукачу, этот «термидорианский переворот» позволил обоим писателям спасти лучшее из революционного наследия буржуазной мысли¹⁰⁵.

В ходе подобного типичного развития полемики критические замечания Книпович разрослись до того, что превратились в самое настоящее обвинение, а в статье «О вредных взглядах „Литературного критика”»¹⁰⁶ (признак того, что судьба этого «вредного» журнала уже была решена) к обвинению в «отказе от классовой борьбы» и «идеализации средневековья» добавлялось и «оправдание Термидора». В этой части статьи говорилось, что, сравнивая интеллектуальное развитие Гёльдерлина и Гегеля, Лукач приходит к заключению, что превосходство второго над первым состоит в том,

¹⁰⁴ Вспомним, что Лукач «с любовью и дружбой» посвятил Лифшицу свою книгу «Молодой Гегель».

¹⁰⁵ Е. Книпович. Новая книга Г. Лукача и вопросы истории реализма. — «Интернациональная литература», 1939, № 11.

¹⁰⁶ «О вредных взглядах „Литературного критика”». — «Красная новь», 1940, № 4.

что Гегель примирился с термидорианской реальностью, в то время как Гёльдерлин оставался верен идеалам Французской революции. В подтверждение цитировался отрывок из очерка Лукача «„Гиперион“ Гёльдерлина», где Лукач утверждает, что Гегель, философски приняв посттермидорианскую реальность, вышел на широкую дорогу, которая привела к «дальнейшему развитию философии в сторону материалистической диалектики (созданной Марксом в борьбе с идеализмом Гегеля)»¹⁰⁷, в то время как непримиримость завела Гёльдерлина в трагический тупик, и поэт, защищаясь от мутной волны «Термидора», пал как одинокий Леонид якобинских идеалов. Аналогичны рассуждения и в отношении Бальзака и Стендаля. Превосходство первого над вторым якобы коренится в том, что первый стоял на позициях Реставрации, в то время как второй был связан с революционной традицией. Заключение, к которому приходит автор статьи в «Красной нови», следующее: «Для представителей „течения“ реакция преобразуется в источник реализма, в необходимое условие понимания истинных законов исторического развития, в самый надежный путь оценки истинного характера народа»¹⁰⁸.

Давайте опустим содержательную (точность литературно-исторических воззрений Лукача и его критиков) и формальную сторону (точность интерпретации, которую противники Лукача придавали его литературно-историческим работам) дискуссии и посмотрим, как эта критика лукачевской схемы развития реализма перешла в критику его разрешения проблемы отношений между «мировоззрением» и «методом». Даже не принимая полемических выпадов «Красной нови», согласно которым Лукач и Лифшиц якобы теоретически обосновывали необходимость консервативного, более того, реакционного мировоззрения как условия реализма, из книги Лукача, однако, вытекал недвусмысленный вывод о том, что реакционные идеи не только не мешали, но иногда и способствовали «реалистическому» художественному пониманию общества; более того, они могли стать преимуществом по сравнению с прогрессивными и революционными идеями, проповедуемыми другими писателями. Как мы знаем, открытие было не ново, так же как, впрочем, и дискуссии по этому поводу. Но Лукач поставил вопрос с новой силой и в новой обстановке, и этого не могли игнорировать те, кто из-за старых «рапповских» убеждений или же из-за иного понимания литературно-исторического процесса, из соображений идейно-политической групповой борьбы утверждал явный приоритет «мировоззрения» и необходимость марксистско-ленинского

¹⁰⁷ Г. Лукач. К истории реализма, с. 42.

¹⁰⁸ «О вредных взглядах „Литературного критика“», с. 162.

мировоззрения для прогрессивных писателей вообще, особенно же для советских писателей. Именно Кирпотин выделил ядро проблемы «мировоззрения», и тут мы рассмотрим только одну статью, которая так и называется «Мировоззрение и художественная литература».

Выступление Кирпотина стремится свести на нет какое бы то ни было значение книги Лукача, которая, по его словам, характеризуется отсутствием «дисциплины мышления, несмотря на ее сугубую отвлеченность»¹⁰⁹. Но критика направлена только против одного пункта. Действительно, признает Кирпотин, иногда имеются расхождения между мировоззрением писателя и его произведением. Так писали Энгельс о Бальзаке и Ленин о Толстом. «К сожалению, многие из людей, писавших о противоречии объективного смысла художественного произведения и субъективных намерений писателя, забывали, что та же история литературы дает неизмеримо больше примеров, когда великое искусство питалось передовыми идеями»¹¹⁰. Отсюда следовало, что и теория литературы искажается и используется «для пропаганды губительного для искусства положения о независимости качества художественных произведений и даже самого художественного творчества от характера общеидеологических концепций писателя»¹¹¹. Возможно, продолжает Кирпотин, никто не продвинулся так далеко в этом направлении, как Лукач, для которого «характер искусства определяется непосредственно самой действительностью без вмешательства промежуточных идеологических звеньев»¹¹².

«Художник, — возражает Кирпотин Лукачу, — творит не независимо от мировоззрения, а в тесной взаимосвязи с ним. Если художник, обладая реакционным мировоззрением, создавал великое произведение искусства, то он делал это не благодаря, а вопреки, несмотря на свое мировоззрение. Мало того, реакционное мировоззрение не проходило безнаказанно для способности к художественному творчеству даже у великих писателей»¹¹³. Другой критик, В. Ермилов, один из столпов РАППа, подчеркивает:

«Нам редко приходилось видеть в столь откровенной форме изложение старых-престарых бергсонианских «теорий» о необязательности для «подлинного» художника преодоления своих иллюзий и ложных, реакционных взглядов, о том, что для художника «излишне» овладевать передовой наукой»¹¹⁴.

¹⁰⁹ В. Кирпотин. Мировоззрение и художественная литература. — «Литературная газета», 15 января 1940 года.

¹¹⁰ Там же.

¹¹¹ Там же.

¹¹² Там же.

¹¹³ Там же.

¹¹⁴ В. Ермилов. О вредных взглядах «Литературного критика». — «Литературная газета», 10 сентября 1939 года.

Вот основной пункт «обвинения», выдвинутого против Лукача и «Литературного критика», — обвинения, которое затем пойдет по разным направлениям; в частности, оно будет повернуто против позиции журнала по отношению к советской литературе.

В своем ответе Лукач поправляет схематическое и искаженное «прочтение» его книги оппонентами. Название статьи «Лондонский туман»¹¹⁵ возвращает нас к парадоксальному замечанию Оскара Уайльда, который однажды сказал, что лондонские туманы обязаны своим происхождением картинам Тёрнера:

«Мои уважаемые критики далеко превзошли этот образец. Уайльд все же говорил о настоящем лондонском тумане, о подлинных картинах Тёрнера; он только перевернул причинную связь между этими явлениями. Е. Книпович и В. Кирпотин создают фантастический образ моей работы о реализме из собственной головы. Лондонский туман не мог возразить Уайльду. Я нахожусь в более выгодном положении».

Ответ «лондонского тумана» заумным советским тёрнерам Лукач дал в статье «„Победа реализма“ в освещении прогрессистов»¹¹⁶. Аргументация Лукача интеллектуально намного выше аргументации его критиков и подтверждает непримиримость его позиций.

«„Победа реализма“, — пишет он, — это всегда победа действительности над неверными мнениями, неполными представлениями и т. д. Настоящие писатели всегда обладают даром художественной непредвзятости. Если в процессе творчества возникает противоречие между субъективным замыслом и реальностью, подлинный художник не позволяет себе искажать или замалчивать правду, он скорее допустит, чтобы жизненные факты, выраженные им со всей силой, опрокинули его замысел».

В основе расхождений лежат разные понятия о прогрессе, замечает Лукач, и, процитировав отрывок из работы «Об основах ленинизма» Сталина, продолжает:

«Суждение об истории литературы в духе Ленина и Сталина — «в мировом масштабе» — основывается на марксистском определении прогресса как сложного, «хитрого», противоречивого пути, которым человечество идет к социализму. Писатель, чье творчество помогает этому прогрессу, прогрессивен, писатель, чьи произведения задерживают этот прогресс, реакционен. Подчеркиваю: речь идет о произведениях, образах, а не о взглядах писателя».

¹¹⁵ Г. Лукач. Лондонский туман. — «Литературная газета», 26 января 1940 года.

¹¹⁶ «„Победа реализма“ в освещении прогрессистов». — «Литературная газета», 5 марта 1940 года.

«Сталинский метод прямо противоположен излюбленному методу Кирпотина, Книпович и пр., основанному на жестком и неподвижном противопоставлении «хороших» и «плохих» сторон всякого явления. Иначе и быть не может, потому что метод наших уважаемых оппонентов — не марксизм, а прудонизм».

Первый ответ М. Лифшица соответствовал тону названия статьи — «Надоело»¹¹⁷. Он был выдержан в ироническом духе, в духе человека, который уверен не только в правоте перед противниками низшего интеллектуального уровня, но и человека, стоящего на стороне силы. И Лифшиц, обращаясь к противнику по полемике, и в первую очередь к Книпович, заключал статью так:

«Добрые люди!.. Вы, вероятно, успели заметить, что ваши укусы тоже не смертельны. Зачем же повторять старые ошибки? Лучше договориться. Давайте работать каждый по-своему, и пусть нас судят по результатам нашей работы. Но не отнимайте драгоценного времени, не отвлекайте от серьезного дела. Надоело, право, надоело...»

Естественно, «добрые люди», вроде Книпович и компании, были рецидивом бывших «вульгарных» социологов, которые вновь обрели агрессивность. Но Лифшиц ошибался, говоря, что их укусы «не смертельны». На этот раз «добрые люди» кусали уверенно, и, чтобы спастись, Лукачу и Лифшицу уже недостаточно было их заверений в политической ортодоксальности и цитат из Сталина и Димитрова, не говоря уже о Марксе, Энгельсе и Ленине. В следующем выступлении, озаглавленном «В чем сущность спора?»¹¹⁸, Лифшиц более сжато, конкретно и с большой аргументированностью уточнил некоторые намеченные в первой статье основные идеи своей концепции. Согласно Лифшицу, будучи некогда «вульгарными социологами», Книпович и Кирпотин превратились теперь в «вульгарных либералов» с упрощенческим и схематическим пониманием общественного и литературного прогресса и регресса. И поэтому в своей первой статье он так иронически определял идеи Книпович: «...Высшей маркой литературного достоинства являются идеалы прогрессивной буржуазной демократии, выраженные в просветительной, якобинской или романтической форме». Во второй статье Лифшиц еще раз подчеркнул эту мысль и заявил, что «ключ к происходящей литературной дискуссии, к ее реальному *политическому* содержанию» — именно в этом обращении вчерашних «вульгарных социологов» к «либерализму» и методам «либеральной историографии», когда весь рот забит словами о демо-

¹¹⁷ М. Лифшиц. Надоело. — «Литературная газета», 10 января 1940 года.

¹¹⁸ М. Лифшиц. В чем сущность спора? — «Литературная газета», 15 февраля 1940 года.

кратии, прогрессе и гуманизме. Здесь уже видна полемическая натяжка. Превращать авторов, вроде Книпович и Кирпотина, в «либералов» было абсурдом, и конфликт между двумя спорящими сторонами был конфликтом между двумя догматическими направлениями в «социалистическом реализме» и сталинской системе, между одной группировкой, «Течением», то есть «Литературным критиком», несомненно стоявшим на более высоком интеллектуальном уровне, но уже не являвшимся ведущим, и другой — группой посредственных идеологов, которая собиралась занять место первых при поддержке высшей власти.

В ответе Лифшица особенно интересна та часть, что посвящена теории прогресса и демократии. Он с презрением говорит, что «в современной европейской ситуации буржуазная демократия является ширмой для прикрытия реакционной политики», и, обращая в прошлое свое отвращение к любой форме либеральной демократии, утверждает, что «уравнительные утопии русского крестьянина были реакционны, но эти утопии заключали в себе гораздо больше действительно передового содержания, чем прогрессивные фразы меньшевиков и либералов». Что стоит за этими утверждениями? На это отвечает сам Лифшиц:

«Передовые идеи прежних классов и партий, прогресс и культура, материализм и демократия в классовом обществе неизбежно носили ограниченный и односторонний характер. Отсюда известные преимущества, которыми обладали примитивные народы, определенные эпохи в искусстве, определенные умственные течения, связанные с отсталостью или оппозицией против исторически прогрессивного буржуазного общества. Ложное в формально-экономическом смысле может быть истиной с точки зрения всемирной истории».

В ракурсе «всемирно-исторической» перспективы смешны попытки делить писателей на прогрессивных и реакционных на основании их идей и модернизированного понимания прогресса и реакции. «Только социалистическая культура является решением противоречий старого общества», и с точки зрения этого заключительного исторического решения предшествующий ход истории представляется сложным, мучительным, извилистым, и все его противоречия нельзя ни упрощать, ни перечеркивать. Их следует понять и оправдать, поскольку в конце концов они будут скоро решены «социалистическим реализмом» и ленинско-сталинской революцией, и решение этих противоречий уже осуществляется.

Теперь мы можем предложить трактовку дискуссии 1939—1940 годов, пользуясь теми же терминами, которые находились в центре дискуссии. Лукач и Лифшиц были носителями высшей буржуазной культуры. На них нападали, их опровергали носители культуры мелкобуржуазной. Но все они

действовали в рамках «социалистической» системы (и принимали ее как социалистическую) и были ее убежденными идеологами. Любопытно, что спорящие стороны, с такой ответственностью анализирувавшие буржуазную революцию, ее развитие и разного рода реакцию, которую она вызвала в обществе и культуре, догматически приняли русскую революцию как пролетарскую, не задаваясь никакими вопросами, связанными с ней. Видимо, можно сказать, что разница между Французской буржуазной революцией и русской пролетарской заключалась также и в том, что первую можно было обсуждать, а вторую — нет, особенно в ленинско-сталинской России. Но более близким к сути дела является другое замечание. Восхваляя зрелого Гёте, Гегеля и Бальзака, Лукач и Лифшиц в определенном смысле оправдывали самих себя и говорили о собственном историческом опыте. Однако они не отдавали себе отчета в том, что большевистская революция слишком сильно отличалась от Французской и что марксистская идеология, которую они проповедовали, была слишком абсолютной «наукой», чтобы позволить безнаказанное «примирение» со сталинской (марксистско-ленинской) реальностью. Они не хотели быть гёльдерлинами, преданными идеалам якобинства, и не хотели заходить в «трагический» тупик. *Toutes proportions gardées* (при всей несоизмеримости), они были Бальзаками и Гегелями, которые приняли «термидорианский переворот» не из-за оппортунизма, а из любви к реальности, чтобы не оказаться на обочине «столбовой дороги истории», которая, несмотря на огромные противоречия, уверенно вела к финалу, к коммунистическому «воспроизведению» древнегреческого идеала. Для них в истории существовало Провидение, которое по-гегелевски называлось «хитростью Разума». А для кирпотиных, книповичей и ермиловых? Неужели их укусы были не смертельны? А укусы Сталина, а миллионы невинно погибших? А иерархическое и тоталитарное «новое общество»? С гётевским олимпийским спокойствием (естественно, «зрелого» Гёте) Лукач и Лифшиц взирали на несчастья и страдания, безразлично цитируя Гегеля и Сталина и обвиняя своих противников в «прудонизме» и «либерализме». Они были уверены, что идут по «столбовой дороге». Куда? На этот счет у них не было сомнений.

9. Ждановский эпилог

Очевидец рассказывает:

«Докладчик вошел с правой стороны, за спиной публики, сопровождаемый большой группой людей. Он шел спокойно, серьезно и молчаливо, отделенный от присутствующих белыми колоннами. Он был в штатском. В руке у него была

палка. При электрическом освещении волосы ярко блестели. У него был вид человека, хорошо поспавшего и принявшего ванну. Все встали. Раздались аплодисменты. Докладчик пошел к трибуне.

Заседание началось равно в пять вечера.

Как обычно, устно был предложен президиум из видных деятелей литературы. Даже чуть-чуть посмеялись, потому что писатели забыли предложить в президиум собственного секретаря — Прокофьева. Докладчик улыбнулся и вполголоса пошутил. В зале быстро установилась тишина. Президиум занял свои места. Сдержанный шум утих. Докладчик минуту помолчал и стал говорить.

И через несколько минут установилась невероятная тишина. Зал онемел и окаменел. Его все более замораживало, и за три часа он превратился в твердую белую глыбу.

Доклад ошеломил...

После заседания люди расходились молча. Было уже за полночь.

В августе ночи уже темные. Сад Смольного был окутан сырым осенним туманом. Мутно светились электрические шары уличных фонарей. Не все листья еще опали, но в саду было тихо, как будто неподвижные деревья невольно к чему-то прислушивались. Со ступенек громадного центрального подъезда не долетало ни слова, ни шороха. Сотни людей выходили из здания медленно и молча шли по длинной аллее до пустынной в этот час площади. Молча рассаживались по автобусам и троллейбусам»¹¹⁹.

Докладчиком был Андрей Жданов, а докладом, прочитанным в августе 1946 года в Смольном, в Ленинграде, перед интеллигенцией города, был доклад «О журналах «Звезда» и „Ленинград”»¹²⁰. Анонимный свидетель заключает свои впечатляющие страницы следующими словами:

«Зощенко заболел. Он заперся дома в своей квартире на Канале Грибоедова. Друзья его покинули. Они перестали ему звонить. Если он выходил на улицу, знакомые старались его не замечать. Положение в семье, и так уже беспокойное, стало еще хуже.

Анна Ахматова вела себя стоически. Известно, что женщины во время войны перенесли ленинградскую блокаду легче мужчин. Первую блокаду она пережила в Ташкенте, вторую здесь, в Ленинграде»¹²¹.

С неизбежным стоицизмом, но с бесконечно более тяжелыми потерями советская культура переносила убийственную ждановскую «блокаду» вплоть до смерти Сталина. Затем на-

¹¹⁹ На докладе Жданова. Рассказ Д. Д. в: «Память». Исторический сборник. Париж, 1979, № 2, с. 449—450.

¹²⁰ См.: А. Zdanov. Politica e ideologia. Roma, 1949.

¹²¹ На докладе Жданова, с. 451.

чался относительно новый этап, возникли соответствующие перипетии и проблемы литературной теории. Об основных моментах всего этого мы уже говорили. Сегодня даже марксисты не так доверчивы, как Лифшиц и Лукач, и иные задачи стоят перед марксизмом, так же как иными являются его отношения с тем, что не является марксизмом, что живо и что существенно. История, которую мы здесь рассказали, в общем, поучительна, а некоторые ее последствия и сегодня представляют интерес. Вопреки всему, вопреки идеологии и власти, господствующей над русской культурой после революции, даже при Сталине русская культура все-таки выжила и в какой-то степени продолжает жить. Вопреки... По крайней мере в этом случае «вопрекисты» оказались правы.

Никола Бадалони

ГРАМШИ: ФИЛОСОФИЯ ПРАКТИКИ КАК ПРЕДВИДЕНИЕ

Если при анализе марксистского наследия А. Грамши мы с должным вниманием отнесемся к его «Юношеским сочинениям (1914—1918)» (а они того заслуживают), то обнаружим своеобразную концептуальную неупорядоченность. В самом деле, с одной стороны, крупные исторические перемены рассматриваются им как продукт преобразований в экономическом базисе, наполняющих эти перемены смыслом и ведущих к изменению соотношения сил между классами. Смена у власти одного из этих классов другим имеет предпосылкой и результатом огромный рост интеллектуальных и нравственных способностей людей, составляющих этот класс. Именно в силу этого (и здесь суть второй стороны вопроса) Грамши предвидит процесс преобразования и смены классов скорее как утверждение новых принципов, нежели строго последовательное развертывание событий. Отсюда и кажущееся (а частично и действительное) преобладание у Грамши аргументации идеалистического типа, в которой превалируют именно принципы, а факты остаются в некоей дымке неопределенности¹.

Мы рассмотрим этот способ рассуждения детально, но, чтобы понять его глубинные основания, следует иметь в виду

¹ Что касается предвидения, то о нем см.: *L. Paggi. Nella crisi del socialismo italiano.* — In: „Gramsci e il moderno principe“. Roma, 1970, vol. 1, p. 13 sgg. Здесь я не буду останавливаться на источниках формирования концепции предвидения у Грамши, хотя несомненно влияние А. Лабриолы и прагматизма. См., в частности: *G. Sorel. De L'utilité du pragmatisme.* 2-me ed., Paris, 1928. Через Сореля Грамши испытал влияние К. Бернара, А. Пуанкаре и А. Бергсона. О том, как Грамши воспринял марксизм через Сореля, и о его дискуссии с Бергсоном я уже писал в своей книге (см.: *N. Badaloni. Il marxismo di Gramsci.* Torino, 1975) и в одной из статей (см.: *N. Badaloni. Le riflessioni di Sorel sulla scienza.* — In: „Dimensioni“, 1976, № 1, p. 22—31). См., кроме того: *Дж. Де Паоло. Жорж Сорель: от метафизики к мифу.* — «История марксизма», т. II. Что касается прагматизма, то для Грамши большое значение имело чтение Дж. Прещолини даже при том, что доводы этого последнего касаются главным образом особой формы ситуационизма (см.: *Giuliano il Sofista. Il linguaggio come causa d'errore.* N. Bergson. Firenze, 1904).

две проблемы, связанные соответственно с постановкой вопроса о субъективности и с оценкой современной действительности. Первая касается одного пункта в учении Маркса, который сам Маркс не разъяснил в достаточной степени. Как известно, Маркс утверждает, что, по мере того как развивается капиталистический способ производства, труд из конкретного превращается в абстрактный, потребительная стоимость становится лишь носителем меновой стоимости, а наемный труд превращается просто в расходование физической и нервной энергии человека. В знаменитом четвертом разделе первого тома «Капитала», где как раз исследуется этот процесс, Маркс указывает также на различные пути восстановления труда в его правах: рабочий борется за сокращение продолжительности рабочего дня; развитие технологии, включая и те орудия труда, применение которых определяется индивидуальными навыками работника, ставит труженика «рядом» с машиной, наделяя его функцией надсмотрщика, и тем самым дает ему возможность совершенствовать свои политехнические знания и способности. Таким образом, Маркс выдвигает следующие моменты, связанные со становлением рабочего-производителя как субъекта: 1) приобретение им свободного времени с помощью борьбы; 2) разностороннее развитие его способностей. Эти аспекты имеют решающее значение с точки зрения формирования нового революционного субъекта, но они еще недостаточны для того, чтобы он проявился органически и во всей своей полноте. Грамши — единственный теоретик, который возвращает актуальность этой проблеме, избегая как упрощений, свойственных позже Г. Лукачу, так и проявлений экстремизма (зачастую в сочетании с некоторыми формами детерминизма) у лучших представителей II Интернационала².

В конкретной постановке этой проблемы Грамши сближается с ленинизмом. Тем не менее с точки зрения генезиса во-

² Размышляя в «Тюремных тетрадах» над этими разделами «Капитала», Грамши извлекает из них основополагающую идею о коллективном труде как более производительном, чем труд индивидуальный. Именно к этому восходят объективно и теория прибавочной стоимости, и обоснование права производителей (в широком смысле) на руководство обществом. К тому времени, когда Грамши писал эти заметки, он уже выносил в себе куда более разработанную идею реализации такого руководства: «Наиболее конкретное практически-теоретическое объяснение содержится в первом томе «Критики политической экономии», где доказывается, что при фабричной системе производства имеется некая доля продукции, которая не может быть приписана ни одному работнику в отдельности, но только производственному коллективу в совокупности, то есть коллективному человеку. Нечто подобное происходит и со всем обществом, которое, будучи основано на разделении труда и функций, в целом означает нечто большее, нежели сумму всех своих компонентов» (A. Gramsci. Quaderni del carcere. A cura di V. Gerratana. Torino, 1975, p. 1446).

прос этот — доленинистский, восходящий к дискуссии о ревизионизме и рассмотрению положения нового производителя, в том числе и как субъекта революционного действия. Чтобы понять молодого Грамши, следует иметь в виду все эти оговорки. Однако для понимания и оценки его теоретических позиций в целом необходимо учитывать и второй вопрос, а именно интерпретацию активной стороны исторического процесса, которую он видит в сочетании обстоятельств, связанных с войной и Октябрьской революцией. В подобных обстоятельствах, считает он, вполне возможно и почти необходимо формирование революционной субъективности, что обусловлено не только внутренними причинами, связанными с появлением нового типа рабочего-производителя, но и внешними — разложением старого общества, падением в нем нравственности, потерей способности к руководству экономическим процессом, то есть всем тем, что превращает кризис классового противника в некое почти самоочевидное условие, в огромной степени облегчающее рождение новой формации³. Ясно, что молодой Грамши уловил реальный смысл крупной исторической проблемы, конкретно подождая к первой стороне вопроса (к субъективности), но в то же время грешил оптимизмом и идеализмом в оценке второй его стороны (в интерпретации действительности). Верно, впрочем, и то, что в период с 1914 по 1926 год он вносил все более серьезные коррективы в собственные позиции именно по этому второму аспекту вопроса. Эти изменения явились плодом не его тюремных размышлений, а результатом его деятельности как политического руководителя. В своих взглядах он действительно совершил постепенный отход от «ординовизма», причем важную роль в этом сыграл ленинизм; однако главный вопрос, содержащий-

³ Новая формация рождается в сфере не только производства, но и кооперации. В статье от 16 октября 1916 года, озаглавленной «Социализм и кооперация», Грамши подчеркивает отмеченное выше явление, определяемое им как «случайная индивидуализация богатства, очень частое совпадение в одном лице капиталиста и промышленника, даже если это лицо не обладает ни умом, ни технической компетентностью, кои требует задача, к выполнению которой социально призван данный индивид» (*A. Gramsci. Cronache torinesi. A cura di S. Caprioglio. Torino, 1980, p. 600*). Капитал, замечает Грамши, сам в некотором роде позаботился о «чужаго» иголь «пол элемент-технику от элемента-капитала» (*ibidem*), доказав тем самым, что «капиталист вовсе не является необходимым и что дух инициативы, как жизненная основа всякой экономики, не умаляется тем обстоятельством, что администраторы и технические специалисты предприятия являются просто наемными служащими, а не лицами, заинтересованными в извлечении прибылей до последнего гроша» (*ibid.*, p. 601). В этом смысле кооперативы приобретают значение средств обучения трудящихся руководству предприятиями: «По отношению к ним с полным основанием можно было бы повторить те восторженные слова, которые Сорель в добрые старые времена употреблял для восхваления восстановительной деятельности рабочих синдикатов. Ибо они представляют собой попытку овладения социалистической экономической действительностью».

ся в «ординовизме» (то есть вопрос, который сам Маркс оставил открытым), не раз сказывался на его анализе обстановки.

1. Начальное предвидение и его корректировка

Теперь мы можем перейти к фиксации главных моментов этого процесса, намеченного пока лишь в основных чертах. В первую очередь предстоит рассмотреть вопрос о том, каким образом получается так, что предвидение опирается скорее на великие идеи, нежели на конкретно прослеженное чередование событий. Перелистывая сборник «Юношеских сочинений (1914—1918)» Грамши, мы встречаем там идею «нового порядка», призванного заменить существующий. Грамши пишет по этому поводу: «„Порядок и беспорядок“ — вот два слова, которые наиболее часто мелькают в полемике политического характера»⁴. Развивающийся кризис, разъедающий государственные институты, одновременно способствует и возникновению в зародыше способа разрешения этого кризиса. Указанное разрешение следует видеть преимущественно в юридическом плане, даже независимо от того, сменяется экономическая формация или нет. Уточняя эту формулировку, Грамши продолжает: «Нынешние порядки были вызваны к жизни стремлением полностью осуществить некий юридический принцип. Революционеры 1789 года не предвидели капиталистического строя. Они хотели осуществить права человека, хотели, чтобы получили признание права, коллективно определенные членами общества. Однако после первоначального разлома старой скорлупы эти права, утверждаясь, конкретизируясь, превращаясь в фактор воздействия на действительность, стали направлять события таким образом, что это привело к возникновению буржуазной цивилизации»⁵.

⁴ A. Gramsci. Scritti giovanili (1914—1918). Torino, 1958, p. 73.

⁵ Ibid., p. 74. Та же тема развивается в уже упоминавшейся статье из «Туринских хроник», однако экономике в ней приписывается роль фактора ломки: «По своей исторической сути капитализм буржуазен: это типично буржуазная надстройка, та конкретная форма, в которую экономическое развитие облеклось некоторое время спустя после утверждения политической власти нового класса ради все более прочного укоренения этой власти в обществе... Потенциально капиталистические экономические ячейки, возникшие до 1789 года в удушающих условиях, которые создавал для них окружающий организм феодального общества, явились теми первыми клиньями, которые проткнули оболочку феодализма» (p. 602). В целом, однако, Грамши в тот период испытывал влияние Сореля и Бергсона. Порядок — это понятие больше философское, чем экономическое. Бергсон по этому поводу писал: «Предположим, что есть два вида порядка и что они представляют собой два противоположных вектора в рамках одного измерения. Предположим также, что идея беспорядка возникает в нашей душе всякий раз, когда в поисках одного из этих порядков мы паталкиваемся на другой. Идея беспорядка... попросту говоря, как бы объективизирует разочарование души, которая обнаруживает перед собой порядок, отличный от того, в котором она нуждается» (H. Bergson. L'évolution créatrice. Paris, 1907, p. 242).

Силу этому предвидению нового порядка придает моральный принцип. Взятые сами по себе конкретные факты «обусловлены столькими причинами, что в конечном счете оказываются беспричинными и непредусмотримыми. Между тем человеку, для того чтобы действовать, нужно иметь возможность предвидеть — хотя бы частично. Нельзя вообразить себе воли, которая не была бы конкретной, то есть не имела бы определенной цели... Органический порок всех утопий заключается в этом — в вере, будто предвидение может быть предвидением фактов, тогда как речь может идти только о предвидении принципов, либо юридических положений»⁶.

Таким образом, ответ, который Грамши дает в эти годы на дискуссию, развязанную Бернштейном, заключается в том, что предвидение фактов невозможно. Точно так же и соответствие политических форм экономическому базису становится различным лишь задним числом. В статье «Утопия», написанной в июле 1918 года, Грамши пишет, защищая русскую революцию: «Ученый может с уверенностью сказать, что некая политическая конституция не утвердит себя окончательно (не сможет сохраниться надолго), если она не будет полностью и органически соответствовать определенной экономической системе. Но подобное заявление будет иметь лишь смысл общего указания: разве может он в ходе самих событий с точностью знать, каким именно образом реализуется эта зависимость? Неизвестных величин гораздо больше, чем установленных и поддающихся проверке данных, и каждая из этих неизвестных величин может опрокинуть выводы, покоящиеся на индуктивных построениях»⁷.

Лишь детерминированная воля людских масс способна возвращать идеи-гипотезы (в том именно смысле, в каком говорили об этом Пуанкаре, а за ним Сорель). Опосредующим моментом здесь является устойчивое подчинение массовой воли единому принципу, на основе которого и организуются действия. Однако между классом, находящимся у власти, и тем классом, который стремится сменить его, существует коренное различие. Первый из них, «удерживающий средства производства, по необходимости уже познал самого себя и обладает пусть даже путаным и фрагментарным, но все же сознанием собственной мощи и миссии... Для второго системное уяснение реальных исторических причинно-следственных связей становится чем-то вроде откровения, принципом, позволяющим установить порядок для необозримого неуправляемого стада... [для которого] индивидуальные цели будут су-

⁶ A. Gramsci. Scritti giovanili, cit., p. 73—74.

⁷ Ibid., p. 281. Представляется очевидным, что здесь слышится отзвук идей А. Лабриолы. См. в особенности раздел третий в работе: A. Labriola. Il materialismo storico. Dilucidazione preliminare. — In: „La concezione materialistica della storia“. Bari, 1965, p. 67—72.

губо произвольными, пустой фразой, бесплотным и патетическим желанием до тех пор, пока оно не вооружится инструментом действия, пока желание не станет волей»⁸.

Если речь идет о «решающем жизненном действии, то нужно уметь предвидеть реакцию, которую оно вызовет, ответные меры, которые будут приняты. Величие политического деятеля определяется его способностью предвидеть»⁹. И в известной статье «Революция против „Капитала”» Грамши развивает ту же мысль: «Революция большевиков основывалась больше на идеологии, чем на фактах»¹⁰. Теория превратилась в исходный пункт для последующей организации, тогда как объектом-то организации было общество «людей, которые сами сближаются друг с другом, достигают взаимного понимания, развивают через посредство этих контактов (цивилизации) социальную, коллективную волю»¹¹. Разумеется, эта последняя не складывается сама собой, однако своим появлением она вовсе не обязана только организации; в дело тут вступает сама динамика событий, предвосхитить которую заранее невозможно. Ведь и сам «Маркс предвидел лишь предвидимое. Он не мог предугадать общеевропейской войны, или, точнее, не мог сказать заранее, что эта война будет иметь такую продолжительность и такие последствия. Он не мог предвидеть, что эта война и три года неописуемых страданий и неописуемых лишений породят в России ту коллективную народную волю, которую они породили»¹².

Иными словами, познавательный потенциал Маркса, по Грамши, был соотнесен с моментами нормального развития, с обычными способами существования неоформаций, то есть с такими способами, для которых организация и борьба выступают как инструменты опосредования в процессе формирования сознания и воли в перспективе установления нового порядка. Однако в России историческое движение перескочило через все этапы и тем самым показало ограниченность мысли Маркса, ее упор на градуализм, на постепенность в подходе к преобразованию общества; соответственно обнаружился и риск того, что такого рода градуализм может быть воспринят буржуазной практикой и поставлен ею себе на службу.

2. Новый производитель

Начиная со статей, публиковавшихся в «Ордине нуово», проблема соотношения между сохранением старого и обнов-

⁸ Ibid., p. 219—220.

⁹ Ibid., p. 101.

¹⁰ Ibid., p. 150.

¹¹ Ibidem.

¹² Ibid., p. 150—151.

лением, а также вопрос о предвидении рождения нового ставятся все настойчивее и конкретнее. Грамши продолжает верить, что события не могут быть узнаны наперед в их точном проявлении: «В том, что касается духовной жизни и чувств, ничего нельзя предвидеть, исходя из констатации нынешнего положения вещей. Лишь одно чувство, сделавшееся сейчас настолько постоянным, что может служить характеристикой всего рабочего класса, оказывается несомненным — это чувство солидарности»¹³.

В результате этого обстоятельства, являющегося не столько эмпирическим, сколько вытекающим прямо из умонастроений людей, из проявлений единства их воли в практической и чуть ли не моральной плоскости, предвидение приводит не к механической уверенности в чем-то, а к диалектической дихотомии. С одной стороны, «рабочий профсоюз, который реализует и дисциплинирует пролетарскую солидарность», не может «служить источником и основой предвидения для будущего развития цивилизации»¹⁴. Он скомпрометирован связями с институтами буржуазного государства, в котором Грамши, как было сказано выше, улавливал процесс развала, проявившегося в виде разобщения индустриализма и капитализма и усилившегося в результате мировой войны, революции в России и обстановки, сложившейся на мировом рынке. Между тем в момент, когда производство оказалось подчиненным банковским спекуляциям и подверглось их разлагающему воздействию, в великую утопию превращался именно либерализм Эйнауди*, а с ним вместе и парламентаризм с его соревнованием между партиями¹⁵. С другой стороны, «малая способность самого народа к историческому предвидению» делала явно недостаточной и тенденцию к простому образованию ассоциаций «в качестве подпорок для исторической воли в период революционного творчества и основания нового общества»¹⁶.

В попытке запаять этот сложный разлом, где старое распадалось, а новое выступало пока лишь как потребность, Грамши впервые указал на практику «Советов»** как классовых органов, способных объединить класс во всей его совокупности. Речь шла не об органах, являющихся доброволь-

¹³ A. Gramsci. L'Ordine Nuovo (1919—1920). Torino, 1954, p. 155.

¹⁴ Ibid., p. 156.

* Луиджи Эйнауди — известный итальянский буржуазный экономист либерального толка, первый президент Итальянской Республики, отец основателя издательства «Эйнауди». — *Прим. ред.*

¹⁵ Ibid., p. 232. См. также: A. Gramsci. Contro il feudalismo economico. — In: „Cronache torinesi“, cit., p. 480.

¹⁶ Ibid., p. 155.

** Имеются в виду итальянские фабрично-заводские Советы, образовавшиеся на многих предприятиях севера страны в 1918—1920 годах по примеру российской революции. — *Прим. ред.*

ными или профсоюзными объединениями в общепринятом смысле слова, или ассоциациями собственников, как их представлял себе Ле Плэ¹⁷, а об институтах, органичных для рабочего класса и потому способных вернуть главенствующую роль требованиям производства, которые нажившиеся на войне спекулянты отодвинули на второй план в качестве вспомогательного элемента. Грамши приписывает Советам эту функцию, теоретизируя по поводу их кажущейся стихийности в сравнении с добровольными организациями и считая их теми органами, которые преобразуют повседневную классовую практику во всестороннюю способность управлять обществом. Его внимание, однако, обращено прежде всего на субъективное формирование труженика-производителя. Его центральная идея состоит в том, что с помощью «наиболее сознательных элементов удалось бы достичь коренного преобразования психологии рабочего, добиться лучшей подготовки масс и их способности к осуществлению власти, обеспечить широкое осознание рабочими как коллективными труженниками своих обязанностей и прав, сделать это осознание конкретным и действенным из спонтанно порожденного живым историческим опытом»¹⁸.

Отыскав подходящий институт, в котором реализовалась практика нового руководящего класса, Грамши (уже выступивший с критикой Кроче) мог с гордостью написать: «Маркса обвиняют в абстрактности, потому что его теория прибавочной стоимости будто бы выходит за рамки научной строгости...»; утверждают, что «Маркс проводит сравнение меж-

¹⁷ Ле Плэ полагал, что сможет с такой же легкостью, с какой будущим инженерам преподают научные основы металлургии, преподавать промышленникам некую науку, которая позволит им выступать в роли власти, осуществляющей социальные функции. См.: *G. Sorel. De l'utilité du pragmatisme, cit.*, p. 163—164. Ле Плэ возлагал надежды на «моральные города» как «продукт долгого исторического формирования». Сорель противопоставляет идеи Ле Плэ восхвалению американской жизни Полем де Рузье.

¹⁸ *A. Gramsci. L'Ordine Nuovo, cit.*, p. 13. В «Тюремных тетрадах» Грамши вернулся к этому вопросу для переосмысления соотношения стихийности—организованности (см.: „Quaderni del carcere“, p. 330 sgg). Это место широко известно и не опровергает того, что отмечалось в «Юношеских сочинениях (1914—1918)»: «Туринское движение обвиняли одновременно в «стихийности» и «волюнтаризме», или «бергсонизме» (!). Если проанализировать это противоречивое обвинение, оно показывает плодотворность и правильность направления, заданного движению. Это направление не было «абстрактным», не состояло в механическом повторении научных, теоретических формул; оно не путало политику и реальное действие с теоретизированием; оно апеллировало к реальным людям, сложившимся в условиях определенных исторических отношений... Этот элемент «стихийности» не был отброшен, им не пренебрегли: он подвергся воспитанию, получил ориентир, был очищен от всего чуждого, что могло бы замутить его, и все это — с целью органически срастить его с современной теорией, но сделать при этом живым, исторически действенным».

ду капиталистической экономикой и коммунизмом и что такое сравнение является произвольным, потому что коммунизм, мол, есть бесплотная гипотеза, и только». Однако «не является ли вся либеральная экономика примером сравнения между антинаучной действительностью и доктринерской схемой? Где существует совершенное либеральное общество? Когда оно было в истории рода человеческого? И раз оно нигде и никогда не реализовано, не означает ли это, что оно вообще неосуществимо и что именно его отличительные черты выдают в нем утопию?»¹⁹

В упомянутом сравнении, которое Кроче назвал «эллиптическим», с очевидностью проступает, что полемика нацелена не против одного лишь Эйнауди²⁰. Речь идет о вызове всей либеральной мысли. Грамши констатирует ее распад, ее разложение, обусловленное переплетением протекционистской политики с властью финансового капитала; иными словами, Грамши использует все те негативные доводы, которые подсказаны ему сорелевским анализом²¹. Он пользуется также и позитивным открытием Сореля — функцией, которую тот пытается приписать рабочему как новому производителю²². Следует, однако, отметить, что, тогда как Сорель завершил параболу своего интеллектуального развития открытым при-

¹⁹ Ibid., p. 234.

²⁰ B. Croce. *Materialismo storico ed economia marxistica*. 6a ed. Bari, 1941, p. 67—68.

²¹ «Современный протекционизм... превращает государство в кормушку для всех тех, кто не обладает верой в свои силы и кто заслуживает государственной поддержки в силу превосходства собственных мнений. Картели укрепляют протекционистскую политику и вдобавок заставляют почувствовать провиденциальность действий государства. Наконец, новые тенденции, навязывая людям социальный мир, ограничение собственных желаний, уважение к слабым, ведут к восприятию соглашений как первой из обязанностей и в то же время отдаляют людей от тех сил, которые могут опрокинуть всю экономику» (G. Sorel. *Degenerazione capitalistica e degenerazione socialista*. Milano—Palermo—Napoli, 1906, p. 362).

²² Самым характерным пассажем в этом отношении мне представляется следующий: «С точки зрения этического формирования пролетариата режим прогрессивного предприятия очень важен: трудящийся рассматривает себя как полномочное лицо, использует механизмы как собственник и заботится об улучшении их применения так, словно будущее принадлежит ему. Идея будущего целиком отсутствовала в старой промышленности, и в этом смысле мы сталкиваемся здесь с отдельными выводами, к которым пришел в своих наблюдениях Ле Плэ, то есть с чем-то идущим от духа собственничества. В самом деле, что может быть более существенного для собственника, чем первенствующее значение, придаваемое будущему производительных сил, по сравнению с соображениями сиюминутного барыша?» Этот пассаж взят из работы: G. Sorel. *Introduzione all'economia moderna*. — In: „*Scritti politici e filosofici*“. A cura di G. Cavallari. Torino, 1975, p. 275.

Естественно, мысли Грамши имеют очень мало общего с отстаиваемым Ле Плэ возрождением духа собственничества. Грамши выводит новый тип производителя из образа пролетария, хотя у него и не исчезают полностью те аспекты, которые обрисованы здесь Сорелем.

ходом к прагматизму, понимаемому как утилитарная философия, примиренная с традицией²³, Грамши и во времена «Ордине нуово» отмежевывался по некоторым пунктам от этой философии. Обращаясь к прагматизму, Сорель намеревался освободить действительность от влияния детерминизма и вместе с тем обосновать тезис о том, что современная наука не развивает способности к предвидению. Лишь в приложении к технике (искусственной природе) предвидение становится не только возможным, но даже точным и полезным, поскольку оно вытекает, так сказать, из некой философии машин. Грамши же, напротив, воспринимает кризис как разъединение производства и отношений собственности и потому сохраняет убеждение, что для разрешения этого кризиса одной техники будет недостаточно.

Предвидение должно служить еще и вторичной функцией нового принципа «порядка» в том смысле, в каком это понятие, как мы видели, выступало у Бергсона. Грамши чувствовал, однако, слабость этого принципа, хотя он и приписывал ему черты, способствующие объединению трудящихся, а не реализации интересов собственников. Лишь позже он сумел уточнить его политический смысл, и именно дискуссия с Кроче, от которого до того он просто отмахивался, помогла ему усмотреть в интеллигенции (в частности, в ученых) недостающее звено для осуществления указанного принципа. Влияние Кроче, сочетаясь с влиянием Ленина, явилось основой для его «философии практики» и для его попытки восстановить марксизм нового типа, идейной отправной точкой которого по-прежнему оставались взгляды А. Лабриолы. Новый орган собирания сил — Советы и их преобразующий принцип, нацеленный на то, чтобы перечеркнуть центральную общественную роль «рынка», профсоюзов и даже самого парламента, в условиях дихотомного противопоставления производительных классов всему остальному обществу обнаруживали определенную слабость. Грамши рассматривал Советы уже как начало новой государственности, как новую форму, способную и вместить в себя потребности производства, и решить задачу политической организации более справедливого общества. Но средние слои при этом оставались исключенными, рассматривались только как «военный резерв» разлагающихся государственных институтов. Грамши не совершал ошибки революционных синдикалистов, сохранявших привязанность к старым формам рабочей организации даже под флагом требования об их «отсечении» от того комплекса, органической частью которого они являлись, и, следовательно,

²³ G. Sorel. De l'utilité du pragmatisme, cit., p. 185. «Читатели... признают, что, до того, как в философии прагматизма сложилось свое учение об истине, представление о традиции можно было составить себе лишь весьма приблизительно».

не грешил недооценкой роли государства и партии, которую он определял в этой фазе как высшее средство освобождения²⁴. Заблуждался же он в том, что преувеличивал общественно-политическую функцию фабрично-заводских Советов, а также их техническую роль, рассматривая их в качестве инструментов, которые позволяют «заранее увидеть необходимость коренного преобразования организационных форм партии». Более того, он надеялся, что в условиях «безотлагательных потребностей пропаганды и борьбы на заводах... партийные собрания» станут, «наконец, формой подготовки к реальному завоеванию экономической и политической власти пролетарскими массами»²⁵. Помимо того, он верил, что стало возможным предвидеть превращение социалистической партии из ассоциации, родившейся и развившейся на почве либеральной демократии, «в организацию нового типа, присущую лишь пролетарской цивилизации»²⁶.

Однако ни замысел превращения социалистической партии в революционную партию, ни недооценка связей между государством и мелкобуржуазными слоями, которые он сам превращал в военную силу, противостоящую рабочему классу, не обладали конкретностью действительного анализа. Грамши писал: «Если бы разум неспособен был уловить в становлении истории определенный ритм, распознать определенным образом развивающийся процесс, то существование цивилизации было бы невозможно. Признаком политического гения является именно способность охватить возможно большее число конкретных элементов, необходимых и достаточных для того, чтобы установить направление развития, а следовательно — способность предвосхитить близкое и отдаленное будущее и в соответствии с этим строить деятельность государства, взять на себя ответственность за судьбы народа»²⁷.

В теоретическом отношении предвидение, как уже упоминалось выше, обосновывалось превращением положений четвертого отдела первого тома «Капитала» в активную программу; предугадывание облика государства нового типа опиралось на организационные тенденции рабочего класса и их новое выражение в лице Советов. Но очевидной была трагическая недооценка возможности контрнаступления господствующих слоев. Грамши рассуждал так: «Реакцию характеризует особая форма государственной организации в революционный период — концентрация власти в единственном политическом органе... В Италии же власть в руках правительства и его главы Джолитти не сосредоточена.

²⁴ A. Gramsci. — „L'Ordine Nuovo" cit., p. 99.

²⁵ Ibid., p. 142.

²⁶ Ibidem.

²⁷ Ibid., p. 16.

В Италии наблюдается развал всей структуры режима. Правительство не функционирует, парламент не функционирует, потому что государство переживает полный распад, потому что ни судебный аппарат, ни военная верхушка, ни полиция, ни бюрократия не повинуются более своему естественному центру — политическому руководству, но произвольно, хаотически контролируются частными группами, неспособными организоваться в новый господствующий класс и выделить из своего лоно настоящее регулярное правительство»²⁸.

На этот раз ошибка в предвидении была опасно очевидной. Грамши верно предугадал значение Советов — нового института, органично присущего классу производителей, выявил его преобразовательную силу, а также его значение для перестройки сознания и морали в обществе, но недооценил силы противника и в известном смысле способствовал своей ошибочной оценкой восстановлению сил классового врага, готового к противодействию.

3. Провал предвидения

В статьях, публиковавшихся в «Ордине нуово» и посвященных главным образом теме социализма и фашизма, Грамши перестает опираться на тезис о неизбежной победе производительных классов и соответственно поражении классов паразитических, и это снижает его способность к предвидению. После неудачного опыта занятия предприятий* мысль Грамши, окрашиваясь в оборонительные тона, смещается в сторону обличения грехов бюрократического руководства социалистической партии, которое растратило революционный потенциал первых послевоенных лет и помешало «разложению» старого мира. Мощные силы, разбуженные социализмом в 1919—1920 годах, изображаются Грамши как раздробленные на несколько частей, одна из которых обособилась в виде крестьянской народной партии, другая — мелкобуржуазная — отошла к фашистам, третья — к коммунистической партии, на которую трудящиеся продолжали возлагать последние надежды своего превращения в новый класс, управляющий государством. Но самый поразительный аспект грамшианской мысли этих лет состоит в приложении категории предвидения к противостоящему классу и притом именно в связи с тем комплексом событий, которые прежде рас-

²⁸ А. Gramsci. Socialismo e fascismo. „L'Ordine Nuovo" (1921—1922) Torino, 1966, p. 145—146.

* Речь идет о возглавлявшемся фабрично-заводскими Советами движении за занятие предприятий рабочими в 1919—1920 годах, которое к 1921 году потерпело провал ввиду контрастступления реакции и исчезновения революционной ситуации. — *Прим. ред.*

сма­три­ва­лись как слу­чай­ные и в пре­ды­ду­щих те­о­ре­ти­че­ских по­стро­е­ниях вы­гля­де­ли как не­у­ло­ви­мые для ана­ли­за. Сле­ду­ет на­по­м­нить, что Грам­ши и рань­ше тесно свя­зы­вал воз­мож­ность пред­ви­де­ния с на­ли­чием проч­ных ор­га­ни­за­ци­он­ных струк­тур, воп­ло­ща­ю­щих в себе фун­да­мен­таль­ные прин­ци­пы. Но в ста­тье «Аг­рар­ная борь­ба в Ита­лии», опу­бли­ко­ван­ной 31 ав­гу­ста 1921 го­да, он ут­вер­ж­да­ет, что круп­ные аг­рар­ии (а это зна­чит — да­ле­ко не «на­род») су­ме­ли по­ста­вить под свой кон­троль бан­ки, че­рез них ча­сти­чно — про­мыш­лен­ность, а за­тем, с по­мо­щью бю­ро­кра­ти­че­ской верхуш­ки соц­пар­тии, — часть ра­бочих. Здесь уже в за­ро­ды­ше по­яв­ля­е­т­ся идея аг­рар­но-ин­дуст­ри­аль­но­го бло­ка, ко­торая в да­ль­ней­шем оп­ять ста­нет стерж­не­вым эле­мен­том в ин­тер­пре­та­ции ита­льян­ской ис­то­рии, как это уже слу­ча­лось в XIX—XX ве­ках.

Оче­ред­ной вы­ход это­го бло­ка на аван­сцену ис­то­рии Грам­ши рас­це­ни­ва­ет как ре­зуль­тат от­сут­ствия борь­бы ме­жду клас­сами: «Ита­льян­ской де­мо­кра­тии в том ви­де, в ко­м она сло­жи­лась окон­ча­тель­но в 70-х го­дах про­ш­ло­го ве­ка, не хва­та­ет проч­ной клас­со­вой струк­ту­ры из-за то­го, что так и не вы­яв­и­лось пре­об­ла­да­ния ни од­но­го из двух клас­сов соб­ствен­ни­ков — ни ка­пи­та­ли­стов, ни аг­рар­иев». Если рань­ше от­но­си­тель­ная «ге­ге­мония» про­мыш­лен­ни­ков сде­ла­ла воз­мож­ным джо­ли­тин­ский ма­невр втя­ги­ва­ния со­ци­а­ли­сти­че­ской пар­тии в си­сте­му, то те­перь на­ме­тив­ше­е­ся пре­об­ла­да­ние аг­рар­иев — ча­сти­чно в ви­де альтер­на­ти­вы тезисам Сальве­мини, — по-ви­ди­мо­му, усугуб­ля­ло и обост­ря­ло уг­не­та­тель­ский ха­рак­тер гос­под­ства бур­жуа­зии: «Ста­ло ясно, что с те­че­нием вре­ме­ни этот альянс по­ста­вит все с ног на го­ло­ву, то есть пе­ре­да­ст власть в го­су­дар­стве ла­ти­фун­ди­стам и от­нимет у Се­ве­ра те приви­ле­ги­ро­ван­ные по­зи­ции, ко­то­рые он за­во­е­вал в ре­зуль­та­те ста­нов­ле­ния на­ции»²⁹.

В этой про­ни­ца­тель­ной ис­то­ри­че­ской до­гад­ке им­манентно прису­т­ствует ясное по­ни­ма­ние про­ва­ла ре­во­лю­ци­он­ной стра­те­гии, вы­те­ка­ю­щей из ве­ли­ких по­тря­се­ний вой­ны, по­ро­див­шей от­де­ле­ние средств про­из­вод­ства от соб­ствен­но­сти и от­кры­в­шей тем са­мым путь так­ти­ке Со­ве­тов. По­ми­мо это­го, серь­ез­ный удар на­но­сился по те­о­рии не­спо­соб­но­сти мел­кой бур­жуа­зии, фи­нан­со­вых сло­ев, чи­нов­ни­че­ства и са­мих клас­сов соб­ствен­ни­ков к ор­га­ни­за­ции и от­прав­ле­нию функ­ций вла­сти. Грам­ши те­перь пред­ви­дел со­еди­не­ние го­су­дар­ства с фа­шиз­мом, при­чем и это оп­ро­вер­га­ло его пре­ды­ду­щие схе­мы. В не­вра­ли­че­ских цен­трах го­су­дар­ства Грам­ши об­на­ру­жи­вал прису­т­ствие то­го са­мо­го па­ра­зи­ти­че­ско­го клас­са, ко­то­ро­му рань­ше он от­ка­зы­вал в ка­кой бы то ни бы­ло по­ли­ти­че­ской ро­ли. По­сколь­ку в Ита­лии сло­жи­лись «два кар­ате­ль­но-

²⁹ Ibid., p. 441, 442.

репрессивных аппарата — фашизм и буржуазное государство», то «простой утилитарный расчет заставляет предвидеть, что господствующий класс в какой-то момент захочет официально собрать эти два аппарата воедино и что ради этого он подавит всякое сопротивление со стороны ревнителей традиционного функционирования государственного механизма, пойдя на насильственный переворот против центральных органов управления»³⁰.

Позже Грамши признает это предвидение ошибочным и выработает теорию «равновесия». После того как историческая действительность опровергла его аналитические построения, он мог либо отвергнуть всю тематику революции, либо приступить к перестройке ее компонентов, для чего следовало отойти от истолкования послевоенных событий как свидетельства отрыва средств производства от собственности. На самом же деле в его сознании еще прочно сохранялись некоторые старые аксиомы, и прежде всего тезис о том, что «буржуазия уже не способна управлять страной». Этому убеждению сопутствовал вопрос, «какой класс возьмется за изменение той трагической действительности, в которую оказалась ввергнутой страна?». Грамши все еще повторял, что представленные в парламенте политические партии образованы, «в сущности, из разных слоев мелкой и средней буржуазии, которая, хотя и внушительна в численном и в демократическом отношениях, однако не имеет никаких существенных позиций в производстве»³¹. Его идеи в эти годы отличаются явными повторами, причем тема распада в них постоянно преобладает над темой созидания. В выступлении на II съезде партии в марте 1922 года в Риме Грамши проявляет даже готовность отказаться от опыта Советов — если не от Советов как принципиальной формы разрешения великой задачи поиска субъекта революционного действия, то по крайней мере как от конкретной, фактической стороны этого опыта³². Тем не менее уже вскоре мысль Грамши вновь активизируется; он пытается переформулировать основную для него проблему необходимости нового пролетарского сознания на партийно-политической почве. Он не колеблясь признает, что прежние надежды и предвидения потеряли свою силу, и констатирует, что «до завоевания власти нельзя ставить себе цель полного изменения сознания всего рабочего класса. Это было бы утопично, потому что сознание класса как такового трансформируется постепенно — с изменением образа жизни этого класса, то есть уже после того, как про-

³⁰ Ibid., p. 258.

³¹ Ibid., p. 222.

³² См.: Ibid., p. 519.

летариат становится господствующим классом и получает в свое распоряжение производительный и распределительный аппарат вместе с государственной властью. Но партия в своей совокупности может и должна представлять это высшее сознание, иначе она будет не во главе, а в хвосте у масс; будет не вести их, а плестись за ними»³³.

В этих строках уже вырисовывается начало дискуссии о партии и о формировании ее руководящего ядра. В письме Грамши к Тольятти, Террачини и другим от 9 февраля 1924 года отчетливо просматривается попытка провести различие между российской ситуацией и обстановкой на Западе, причем в том, что касается Запада, мысль автора сводится не просто к возвращению к Марксовым прогнозам (как это делал Бордига)³⁴, а опирается на коррекцию тактики, примененной в России, дает стимул к развитию оригинального способа предвидения для Запада. Грамши пишет: «У Амадео [Бордиги] есть целая концепция» отношений с Интернационалом. «Он думает, что тактика Интернационала страдает отголосками российской ситуации, то есть родилась на почве отсталой и примитивной капиталистической цивилизации... Я считаю, что положение совершенно иное... В России решительность класса была явной и открытой, она увлекала массы на улицу, на революционный штурм, а в Центральной и Западной Европе дело осложняется наличием тех политических надстроек, которые были созданы более продолжительным развитием капитализма, а это обуславливает медлительность и осторожность в действиях масс и, следовательно, требует от революционной партии куда более сложной и

³³ A. Gramsci. La costruzione del Partito comunista (1923—1926) Torino, 1971, p. 54.

³⁴ Ход рассуждений Бордиги весьма последовательно изложен в статье: A. Bordiga. La teoria del plusvalore di Carlo Marx, base viva e vitale del comunismo. — In: „Ordine Nuovo“, 1—24 aprile 1924, № 3—4; 1 settembre 1924, № 5; 1 novembre 1924, № 6. В этой статье, возвращающей нас к тематике падения нормы прибыли, в качестве средства интерпретации капиталистического способа производства предлагалось придер- живаться экономических «законов». Стоимость, указывал Бордига, есть «экономическая масса». Понятие стоимости вводит пропорциональность в среднее общественное рабочее время. Поскольку, согласно марксистской диалектике, между критикой существующего и революционным движением имеется определенное взаимодействие, отказываться от понятия катастрофы капитализма означает также ослаблять революционную волю. Бордига заканчивал эту мысль выводом: «Идея вооруженного завоевания власти и диктатуры пролетариата выводится из положения о катастрофическом кризисе капитализма, присущем самой его природе» (№ 5, p. 10). В «Ordine nuovo» от 15 ноября 1924 года Бордиге отвечал А. Грациаден (A. Graziadei. Le dottrine del comunismo e la teoria del plusvalore), отстаивая тезисы собственной книги «Цена и монополия в капиталистической экономике», критикой на которую и был очерк Бордиги. Среди прочего Грациаден утверждал, что теория прибавочной стоимости может быть сформулирована и в немарксистских терминах.

рассчитанной на длительный срок стратегии и тактики, нежели те стратегия и тактика, которые были необходимы большевикам в период между мартом и ноябрем 1917 года»³⁵.

В суждениях Грамши и Бордиги есть общая точка — понимание того, что ситуация, подобная итальянской, глубоко отличается от российской обстановки. Разница же между этими двумя авторами состоит в том, что, по Бордиге, Западу следует вернуться к Марксовой теории понижения нормы прибыли и краха капитализма, а для Грамши это означает, что предвидение не может не опираться на концепцию пролетарской субъективности в новых, более сложных условиях, сложившихся для рабочего движения. Отсюда его трактовка «большевизации» партии, понимаемой одновременно и как строительство партиячек — орудия связей с рабочим классом, и как необходимости понимания национального характера революции. Что касается первого аспекта, который внешне связывается с чисто организационными задачами, то в нем возрождается — правда, в несколько смягченной, но исторически возможной форме — проблема, поставленная движением Советов, то есть проблема пролетарского руководства. Во втором аспекте вновь подтверждается необходимость анализа конкретных условий уже не исходя из абстрактных принципов. В своем докладе от 2—3 августа 1926 года Грамши вновь обращается к мысли о специфичности стран развитого капитализма. «Господствующий класс владеет здесь, — говорит он, — такими политическими и организационными резервами, какими он, например, в России никогда не владел. Это означает, что даже тяжелейшие экономические кризисы не находят непосредственного отражения в сфере политики. Политика постоянно отстает — и очень сильно — от экономики»³⁶.

Прошлые суждения о том, что средние слои не имеют отношения к государственной власти и потому несущественны, оказываются неверными. Условия, в которых развертывается борьба, более сложны, и становится понятным, что означает для Грамши второй аспект «большевизации» — уяснение национальной специфичности. В сравнении с расхожими оценками здесь проблема ставится в совершенно новом, антибюрократическом плане. Одновременно с более глубоким учетом действительного положения вещей предвидение приобретает комплексный характер и строится на изучении соотношения сил.

³⁵ См.: *P. Togliatti. La formazione del gruppo dirigente del Partito comunista italiano*. Roma, 1962, p. 196—197.

³⁶ *A. Gramsci. La costruzione... cit.*, p. 121—122.

4. Определение новой области предвидения

В более поздних представлениях Грамши о противоборствующих силах уже содержится понимание того, что революция есть долговременный процесс. В статье «Демократия и фашизм», опубликованной в «Ордине нуово», грамшианская мысль делает еще один шаг вперед в анализе власти буржуазии. Фашизм и демократия выступают у него как «чередующиеся» формы. «По замыслу буржуазии, разделение труда должно было бы осуществляться безукоризненным образом, а чередование фашизма и демократии могло бы навсегда исключить какую бы то ни было возможность для рабочих взять реванш»³⁷.

Техника этого «чередования» излагается следующим образом: «„Демократия“ создает фашизм, когда чувствует, что даже в условиях чисто формальной свободы она уже не может более сопротивляться нажиму трудящегося класса. Фашизм, расчленив рабочий класс, возвращает „демократии“ возможность существования»³⁸.

Это последнее суждение аналогично идее ответа Грамши П. Сраффе, который исходил из того факта, что «рабочий класс полностью отсутствует в политической жизни»³⁹. Сраффа давал ситуации 1915—1917 годов оценку, полностью расходившуюся с оценкой Грамши, который, напомним, исходил из посылки об отрыве производственной функции капитала от его функции собственности и потому предвидел послевоенный революционный взрыв. Сраффа, напротив, слишком подчеркивал полицейский террор по отношению к рабочему классу во время войны, и потому писал, имея в виду послевоенную обстановку: «Для политических действий рабочих не будет условий до тех пор, пока рабочий вынужден будет, как и ныне, решать встающие перед ним проблемы индивидуальным и частным образом: а ведь ему приходится спасать свое рабочее место, жилище, семью»⁴⁰. Экономический кризис, продолжал он, «настолько утратил свою остроту, что, если бы сегодня был хоть минимум профсоюзных свобод и общественного порядка, то рабочие получили бы возможность восстановить свои организации, право на забастовки и т. д. (как, например, в Англии)»⁴¹.

Поэтому первостепенным вопросом для Сраффы было достижение хотя бы минимальной свободы, замена фашистского режима демократическим. «По-моему, — советовал он в этой связи, — нужно предоставить возможность действо-

³⁷ A. Gramsci. *Per la verità*. Roma, 1974, p. 295.

³⁸ Ibidem.

³⁹ A. Gramsci. *La costruzione...* cit., p. 175.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid., p. 176.

вать» демократическим оппозиционным группам, «а может быть, даже помогать им»⁴². Установка же Грамши была целиком подчинена отмеченной выше логике отношений взаимозависимости и чередования между фашизмом и демократией. Способствовать восстановлению демократических порядков значило поддерживать одну из этих возможных альтернатив, признать, что «нынешний период не является периодом социалистической революции, что мы все еще живем в эпоху буржуазно-капиталистического развития, что отсутствуют не только субъективные условия организации, политической подготовки, но и объективные, материальные условия для прихода пролетариата к власти»⁴³.

Грамши подтверждает свою оценку периода 1919—1920 годов, на протяжении которых сила пролетариата заключалась в том, что он «автоматически оказался во главе всего трудового народа, объективно сосредоточил в себе и в своих прямых выступлениях против капитализма все возмущение других слоев населения»⁴⁴. После вооруженной фашистской реакции «систематические и узаконенные репрессии поддерживаются в основном против пролетариата; на периферии же гонения против слоев, которые в 1920 году выступали лишь как его объективные союзники, смягчились, и эти слои реорганизовуются, частично вновь вступают в борьбу, приобретая видимость конституционной оппозиции, то есть обнажая свой типично мелкобуржуазный характер»⁴⁵.

Иными словами, «чередование» становилось возможным в результате временного ослабления фашизма, но Грамши никоим образом не был убежден, что подобная ситуация может рассматриваться изолированно от соотношения сил, которые складывались между буржуазией и классом новых производителей с его политическими чаяниями. Теория «чередования» к тому же рисовалась ему как вариант описанного Марксом «бонапартизма», то есть как своего рода равновесие между несколькими правящими классами, когда они чувствуют угрозу своей власти⁴⁶.

Элемент новизны при этом состоял в том, что, если для Маркса «бонапартизм» являлся стратегией правящих классов, то Грамши видел основную функцию рабочего класса в том, чтобы создавать угрозу для других противоборствующих сил, все глубже осознавать эту свою роль не только в процессе приобретения непосредственного жизненного опыта, но и, как мы увидим далее, в результате усиления связей с интеллигенцией. Революционная роль новых производе-

⁴² Ibidem.

⁴³ Ibid., p. 177—178.

⁴⁴ Ibid., p. 179.

⁴⁵ Ibidem.

⁴⁶ Ibid., p. 343.

лей выражалась, по мнению Грамши, именно в новой тактике, способной разрешить проблемы, поставленные самим развитием капитализма. «Марксизм, — пишет он, — утверждает и доказывает наперекор синдикализму», что новый способ производства рождается «не стихийно, но лишь постольку, поскольку представители науки и техники, обладающие специальными знаниями в силу своего особого классового положения (интеллигенция является классом, который служит буржуазии, но не составляет с ней единого целого), формируют на основе буржуазной науки пролетарскую науку и в результате изучения техники в том виде, как она развивалась при капитализме, приходят к выводу, что дальнейший прогресс невозможен, если пролетариат не возьмет власть, не конституируется в господствующий класс, налагая на все общество свои характерные классовые черты. Интеллигенция, таким образом, оказывается необходимой для построения социализма»⁴⁷.

Вплоть до этого момента роль мелкой буржуазии осмысливалась Грамши однозначно — главным образом как резерва на службе у сил буржуазного государства в ситуации «чередования». Теперь же понятие мелкой буржуазии (благодаря тому ее аспекту, в котором она выступает как основная социальная среда, формирующая интеллигенцию) становится более гибким, в частности — в плане научных исследований и открытий, и это побуждает Грамши к более тщательному анализу вопроса. Можно сказать, что в обстановке равновесия классовых сил проблема интеллигенции открывает новое поле для предвидения, а следовательно, и для действий.

Нельзя понять особенности эссе «Некоторые аспекты вопроса Юга», если не учитывать ни общей политической ситуации, ни того, что составляет суть «теории предвидения», то есть возможных изменений и вариаций в соотношении сил применительно к заданной ситуации. В указанный период подобные перемены уже не могли оцениваться столь упрощенно, как в 1919 году, но в изменившихся позициях интеллигенции Грамши нашел новую стратегическую линию. Общая политическая картина по-прежнему выглядела как поле боя с относительно стабилизировавшимися позициями противников. Грамши ссылается на действия туринских рабочих и всего пролетариата в целом, вспоминает о предложении рабочих Севера, выдвинувших кандидатом в парламент вождя трудящихся-южан Сальвемини, о пропагандистской работе среди сардинских эмигрантов и солдат бригады Сассари*,

⁴⁷ Ibid., p. 250—251.

* Бригада Сассари — военная часть, укомплектованная сардинскими крестьянами и присланная на подавление восстания рабочих в Турин в августе 1917 года. — *Прим. ред.*

об отказе от плана Джолитти ввести кооперативное управление на предприятиях «ФИАТ» в обмен на политическое подчинение рабочего класса Турина. Однако центральным моментом, в котором сфокусировались революционные потенции Италии, Грамши считал центробежные тенденции в южной части страны, типичным представителем которых он — несколько парадоксально — объявлял революционных синдикалистов.

Вместе с тем ни закамуфлированный антипротекционизм синдикалистов, ни открытый антипротекционизм, отстаиваемый такими политиками, как Сальвемини и Джованни Амендола* не способны были бы выявить ту подлинную силу, которая могла объединить систему власти на Юге, если бы была упущена из виду та «перемычка», ведущая к возможному историческому блоку рабочих и крестьян, какую представляет собой интеллигенция. «Южноитальянское общество, — пишет Грамши, — представляет собой большой аграрный блок, складывающийся из трех общественных слоев — многочисленной крестьянской массы, аморфной и распыленной; интеллигенции, вышедшей из рядов сельской мелкой и средней буржуазии; крупных землевладельцев и высших представителей интеллигенции. Крестьяне Юга находятся в состоянии непрерывного брожения, но как масса они не способны дать централизованное выражение своим стремлениям и потребностям. Средний слой интеллигенции получает от крестьянской базы импульсы для своей политической и идеологической деятельности. Крупные землевладельцы в политическом, а высшие представители интеллигенции в идеологическом плане централизуют и в конечном счете контролируют весь этот комплекс действий и движений. Вполне естественно, что с наибольшей эффективностью и определенностью эта централизация осуществляется в идеологической области. Поэтому Джустино Фортунато** и Бенедетто Кроче представляют собой замок свода всей южной системы и в известном смысле являются двумя наиболее крупными фигурами итальянской реакции»⁴⁸.

«Бонапартизм», как он мыслится Грамши, выступает, следовательно, не только как форма компромисса между господствующими группами, но и как знак стратегической невозможности полностью устранить антагонистический класс. Даже потерпев поражение, этот класс вовсе не выведен из

* Джованни Амендола — видный либеральный деятель, антифашист, пал от рук фашистов. Отец члена Руководства ИКП Джорджо Амендолы. — *Прим. ред.*

** Джустино Фортунато — видный деятель сепаратистского движения на Юге, опиравшийся на крестьянство. — *Прим. ред.*

⁴⁸ Ibid., p. 150 (А. Грамши. Избранные произведения. М., 1980, с. 251).

строю, более того, он вновь выходит на поле боя со своей собственной тактикой. Перед нами, таким образом, два опорных полюса. На одном — производители, которые стремятся образовать свой блок с интеллигенцией; на другом — аграрии и капиталистические группы, уже объединенные Б. Кроче и Дж. Фортунато. Посредине — слой, собственные характеристики которого всегда были второстепенными в сравнении с функциями отправления власти; это слой, который ныне может быть наделен обширным и подвижным интеллектуальным потенциалом, подлежащим использованию в демократических целях.

Революционные синдикалисты первоначально выступили как органическая интеллигенция рабочего класса, но их приверженность свободе торговли превратила их также — и главным образом — в представителей крестьянских масс. В свою очередь традиционная интеллигенция Юга, как орудие угнетения и дисциплинирования распадающейся крестьянской массы, испытала на себе с приходом фашизма опосредованное влияние городского капитализма. Свое воздействие на них оказала и война, повлекшая за собой образование таких политических групп, как группа Джованни Амендолы или Сардинская партия действия. Таким образом, изменение общей обстановки в стране могло бы превратить эту интеллигенцию в средство связи между производителями — рабочими и крестьянами — и в средство, наделяющее их способностью управлять обществом. Грамши, как мы знаем, утверждает, что самой животрепещущей проблемой Юга является вопрос о характере «разложения» аграрного блока в целом. Именно высшие представители интеллигенции в этом блоке (Б. Кроче и Дж. Фортунато) уловили тогда, что это «разложение» необходимо взять под контроль, поскольку на Юге (в отличие от Севера) недостаточно одной поддержки со стороны церкви. «В этом смысле Бенедетто Кроче, — как отмечает Грамши, — выполнил величайшую «национальную» функцию: он оторвал радикальных интеллигентов Юга от крестьянских масс, приобщив их к общенациональной и европейской культуре, а через посредство этой культуры они оказались поглощены национальной буржуазией и, следовательно, аграрным блоком»⁴⁹.

Но, выполняя эту европейскую и национальную функцию, Кроче повлиял также и на тот авангард классового противника буржуазии, под которым понимается группа «Ордине нуово». Отсюда Грамши выводит и идейную биографию П. Гобетти⁵⁰, которая в его глазах выглядит именно как

⁴⁹ Ibid., p. 156.

⁵⁰ П. Сприано следующим образом описывает программу Гобетти в ту пору, когда тот издавал журнал «Ривольуционе либерале»: «Единственными двумя политическими силами, способными действовать по-совре-

симптом ломки старого блока. Так обрисовываются черты «гегемонистского» столкновения, то есть такого конфликта, в котором победа одного или другого соперника не может быть обеспечена единовременным сломом исторически сложившегося равновесия сил. Именно на этом фоне и следует вести анализ «Тюремных тетрадей», которые являются вкладом не только в раскрытие причин понесенного поражения, но также в выявление новых форм классовой борьбы, как она исторически предстает перед нами в момент ареста Грамши.

Приобретением революционной теории остается одно важное положение. Напомним, что отправной точкой нам послужила проблема, поднятая в четвертом разделе первого тома «Капитала». Речь шла о высвобождении той субъективности, потенции которой Маркс попытался представить негативно в качестве «абстрактного труда», а позитивно — как сочетание классовой борьбы с расширением разносторонних, политехнических знаний новых рабочих. Грамши значительно усложнил проблему с учетом того, что культура социализма не может рождаться лишь на этом уровне, но имеет источником те более общие знания (художественные, философские, политические, научные), которые были созданы господствующими классами на материальном фундаменте своего свободного времени. Марксизм для Грамши есть открытая возможность применения «философии практики», то есть новой социализации знания, как прошлого, так и создаваемого вновь. Отсюда вытекает и вся его исследовательская программа, целью которой в ответ на редукционизм абстрактного труда должно было стать отвоевание у буржуазии того, что было известно «мертвым», и того, что стараются познать «живые». И хотя такое разрешение проблемы представлялось ему достижимым уже в процессе социальной схватки в стране, отнюдь не принадлежащей к числу наиболее передовых, и самоочевидно обусловленным всей культурой этой страны, сама постановка вопроса представляет собой тем не менее крупную историческую веху в истории марксизма, а именно его превращение в «философию практики». Жизненность такого превращения, между прочим, подтверждается идеей (источник ее мы уже знаем) о том, что «новое» утверждается исключительно в силу вызываемых им растущих ожиданий и не путем воцаре-

менному ради обновления, он считает рабочих и крестьян (первых — объединенных вокруг коммунистической партии, вторых — организованных в зародыше Сардинской партии действия, которая распространяет свое влияние на другие области, созревшие для того, чтобы воспринять это влияние)». Гобетти твердо придерживается позиции «не примыкать ни к одной из двух группировок, но воспринимать взгляды обоих соперничающих лагерей». Практически это выливается в «конкретно очерченную задачу — подготавливать духовно свободных людей, способных в решающий момент примкнуть, не считаясь с предрассудками, к народной инициативе» (P. Spriano. Gramsci e Gobetti. Torino, 1977, p. 114).

ния полного хаоса, а при существующем строе, который, однако, перестает восприниматься как исторически оправданный. Аналогичным образом, программно соединяя производителей и интеллигенцию в рамках борьбы за достижение той цели, которую он определяет как «гегемонию», Грамши отстаивает в ленинизме сложное и в известном смысле решающее для судеб Запада предвидение. Именно в те годы, когда Грамши находился в Советском Союзе, Ленин пытался направить российскую историю в русло этого типа. Он писал: «...мы вынуждены признать коренную перемену всей точки зрения нашей на социализм. Эта коренная перемена состоит в том, что раньше мы центр тяжести клали и должны были класть на политическую борьбу, революцию, завоевание власти и т. д. Теперь же центр тяжести меняется до того, что переносится на мирную организационную «культурную» работу...

Перед нами являются две главные задачи, составляющие эпоху. Это — задача переделки нашего аппарата, который ровно никуда не годится... Вторая наша задача состоит в культурной работе для крестьянства... При условии полного кооперирования мы бы уже стояли обеими ногами на социалистической почве»⁵¹.

Таков был тот смысл, который Ленин в этот решающий, как он считал, для революционного дела всей своей жизни момент вкладывал в понятие нэпа: не шаг назад, к старым формам социальной организации, а шаг вперед, по пути, где опорным элементом, или, как сказал бы Маркс, Grundform, вновь стала бы открытая неразрывная связь между кооперацией и социализмом.

Можно сказать, что понятие «гегемонии» вобрало в себя важнейший из ленинских заветов — поставить высшей целью политики и культуры построение социализма. Определение сокровенной сердцевины марксизма как «философии практики» производителей и интеллигенции при их постепенном отождествлении друг с другом составляет главную тему «Тюремных тетрадей», фоном и исходным рубежом для которой выступает уже проделанное в значительной части осмысление причин поражения.

5. Проект и структура «Тюремных тетрадей»

Кульминационным моментом нового аналитического разбора итальянской политической ситуации до ареста Грамши явилось его эссе «Некоторые аспекты южного вопроса». Уже эта работа помогает понять, каковы были те глубинные мотивы, которые лежали в основе набросков плана «Тетрадей»

⁵¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 45, с. 376.

и определили их структуру. Перед нами два ядра, два полюса собирания сил, обозначающие крайние точки некоего поля, в пределах которого могут возникать различные переменные величины в зависимости от того, при гегемонии какого из полюсов будут практически разрешаться социально-экономические проблемы. При этом не исключается и возможность идейных экспериментов, то есть поиска в тех областях, где не действуют предустановленные законы детерминизма и развития, более того — где конкретные исторические условия, неподатливость традиций и накопившихся социальных напластований могут обусловить новый исход событий. Именно такого рода широта возможного поиска решений и составляет предварительное условие того научного исследования, которое предпринято в «Тетрадах». Подобное разнообразие решений не исключает того, что некоторые из них рассматриваются Грамши как более желательные, а другие — как менее желательные, но они не противопоставляются друг другу, а проверяются путем строгого сопоставительного анализа, в ходе которого тщательно взвешивается та или иная вероятность каждого из них. Именно поэтому я считаю совершенно ошибочным (и попытаюсь доказать это в ходе последующего изложения) тезис тех, кто увидел в «Тетрадах» лишь набор фрагментов и изолированных заметок, где отсутствие систематичности должно было означать отказ от какой-либо единой перспективы. Напротив, следует подчеркнуть, что внимание Грамши было направлено на изучение тактико-стратегических комбинаций; при этом, поскольку каждая из двух противоборствующих сторон способна делать «свои ходы», здесь скрупулезно рассматриваются все вероятные варианты таких комбинаций и изменения в них. Структура расстановки сил уточняется в тетради № 4. Грамши разбирает ситуацию в Италии (как, впрочем, и в других странах) под углом зрения не осуществленного естественным путем, то есть стараниями политических партий, объединения различных социальных слоев вокруг двух основных классов и рассматривает личную диктатуру харизматического вождя как элемент временного равновесия, которое может повлечь за собой разные варианты, сдвиги и в конечном счете — глубоко различные, альтернативные решения.

Грамши пишет: «На определенном этапе их исторического пути социальные группы порывают со своими традиционными партиями. Это значит, что традиционные партии — с данной формой их организации, с теми определенными людьми, которые составляют и представляют эти партии и руководят ими, — больше не рассматриваются как действительные выразители класса или его части. Когда возникают такие кризисы, положение становится очень затруднительным, даже опасным, так как создается возможность для разрешения

этих кризисов с помощью насилия, возможность действия темных сил, представленных провиденциальными или харизматическими личностями.

Каким образом возникает такое положение, когда несогласие между «представляемыми» и «представляющими» в сфере партийных организаций (партийные организации в узком смысле слова, парламентско-избирательная область, журналистские организации) находит отражение во всем государственном организме, относительно усиливая власть бюрократии (гражданской и военной), финансовой верхушки, церкви и вообще всех тех органов, которые находятся в относительной независимости от колебаний общественного мнения? В каждой стране этот процесс принимает различные формы, содержание его везде одинаково...»⁵²

Эту схему Грамши берет из «Восемнадцатого брюмера Луи Бонапарта», дополняя ее новым анализом как частной (партийной) бюрократии, так и интеллигенции. В тетради № 13 он следующим образом объясняет крах партий, противившихся гитлеризму: «Партийная бюрократия представляет собой наиболее опасную, косную и консервативную силу; если она превратится в сплоченную, солидарную группу, которая существует сама по себе и чувствует себя независимой от партийной массы, то сама партия в конце концов станет анахронизмом и в периоды острого кризиса потеряет свое социальное содержание и уподобится пустой оболочке»⁵³.

С другой стороны, он возвращается к анализу мелкобуржуазных слоев, ставя их теперь в центр своего внимания. Эти слои образуют некий элемент, который может организоваться по-военному, когда это «совпадает с волей и интересами высшего класса»⁵⁴. В фазе наступления фашизма эти слои, привыкшие к постоянному насилию над крестьянством, стремятся навязать свою волю и командующей ими городской буржуазии⁵⁵.

⁵² *A. Gramsci. Quaderni... cit.*, p. 513 (А. Грамши. Избранные произведения. М., 1959, т. III, с. 174—175).

⁵³ *Ibid.*, p. 1604 (А. Грамши. Избранные произведения, т. III, с. 176).

⁵⁴ *Ibid.*, p. 1606—1607 (А. Грамши, там же, с. 179).

⁵⁵ При анализе ситуации компромисса между изначальными притязаниями аграриев и потенциальным нажимом на интересы промышленников обращает на себя внимание, которое Грамши уделяет разбору теоретизирований М. Фовеля по поводу производственной корпорации (*ibid.*, p. 2155 sgg.), а также анализу сельской в своей основе природы фашизма. На смену честолюбивым индустриальным замыслам, пишет он, пришли «обращение народа в сельскую веру» и «принижение города в просветительском плане», превозношение «кустарничества и идиллической патриархальности», ссылки на «ремесленническую собственность» и борьба против промышленной свободы (*ibid.*, p. 2147). Грамши теоретически интерпретирует фашизм в рамках этого основополагающего противоречия, хотя в действительности видит преобладание в нем совсем иных характерных черт.

Грамши видит в фашизме господство промышленной буржуазии, обусловленное влиянием промежуточных групп, выступающих как вооруженная сила. Промышленники хотели бы раздавить рабочих, но вынуждены считаться со своими более долгосрочными задачами и с необходимостью когда-то решать их; в то же время средние слои находятся под непосредственным воздействием страха поражения; замыслы этих слоев носят вполне заземленный характер, а их практика требует обращения к насилию. Тем самым перед нами разворачивается интерпретация фашизма-цезаризма как равновесия военно-политических сил, опирающегося на использование средних слоев преимущественно сельского происхождения. Выступая в качестве вооруженной силы, эти слои предотвращают прямое вмешательство военной бюрократии, представленной крупными землевладельцами, а также обеспечивают решения городской капиталистической верхушки, власть которой они восстановили. Можно задаться вопросом: каким же образом класс, не играющий центральной роли в экономической жизни, приобретает подобное значение? Не противоречит ли это тому, о чем Грамши неоднократно говорил в период легальной политической борьбы? Очевидно, теперь положение представляется ему иным, поскольку он придает этим компромиссным отношениям между классами куда большую важность (даже если эти отношения рисуются ему как краткосрочные и связанные с особым стечением обстоятельств).

Весь его анализ проникнут идеей краткосрочности взаимоотношений согласия, которые могут возникать между политическими инициативами и экономическим положением. Активная позиция компромисса, занятая средними слоями (отчасти даже в ущерб господствующим классам), может быть ослаблена путем преобразований в области производства. Например, наметившееся в Италии политическое равновесие было бы совершенно немыслимо в Соединенных Штатах из-за отсутствия там соответствующих социальных групп. Для определения предмета своего анализа Грамши прибегает, среди всего прочего, к понятиям «маневренной войны» и «позиционной войны», вытекающим из различия в сроках протекания экономических и политических процессов. Вопрос об этом ставится им в полемике с тем, что он называет «экономизмом» — категорией, в которой он связывает воедино некоторые черты непримиримости так называемых революционных синдикалистов (например, неприятие ими политико-парламентских компромиссов) с уже упомянутым временным несоответствием экономики и политики. Говоря о фаталистской психологии «ожидания решающего часа», сопутствующей такой недооценке политики (намек на бордигианство, не говоря уже о сорельянстве, представляется очевидным), он отмечает, что

обычно подобная позиция приводит к преувеличению значения вооруженной борьбы, заканчивающейся разрушением. И в этом случае «разрушение... рассматривается механистически, а не как разрушение-созидание. Придерживающиеся таких взглядов не учитывают фактора «времени» и в конечном счете самой «экономики» в том смысле, что они не понимают следующего: идеологические представления масс всегда отстают от их экономического положения, и поэтому в определенные моменты движение, автоматически вызванное экономическим фактором, замедляется, тормозится и даже мгновенно ликвидируется воздействием традиционной идеологии... Всегда необходимо обладать инициативой, чтобы освободить экономическое движение от пут традиционной политики...»⁵⁶

Здесь, в сущности, указаны все элементы, которые, взаимодействуя друг с другом, образуют область возможных решений. Перечислим их вкратце: 1) политическое использование имеющихся сил; 2) ограничения, обусловленные делением общества на классы, их борьбой и их компромиссами; 3) особенность итальянской ситуации в плане гегемонии господствующих классов над мелкой буржуазией, традиционно осуществляющей функции контроля над крестьянством; 4) перемещение в города крестьянских масс, традиционно подчиненных крупным аграриям районов, и частично обусловленная этим политика класса промышленников; 5) упрочение аграрно-индустриального блока особого типа, в котором традиционные силы государства (бюрократия, армия) сохраняют, по крайней мере внешне, нейтралитет; 6) инертность и медлительность экономики, порожденные в определенной степени неустойчивыми политическими компромиссами. Грамши усматривает возможность выхода из этой ситуации с помощью такой инициативы, которая, опираясь прежде всего на производительные слои, превращала бы колеблющиеся социальные группы в интеллигенцию, способную выполнить роль прогрессивной силы в новом блоке.

Таковы теоретические основы цезаризма и возможные методы его преодоления. Естественно, что в реальной жизни комбинации его элементов и характерных черт оказываются куда более разнообразными⁵⁷. Специфическая особенность

⁵⁶ Ibid., p. 1612 (*А. Грамши. Избранные произведения*, т. III, с. 157).

⁵⁷ Грамши, например, сделал попытку, опираясь на яacobинскую тематику, показать различие между прогрессивным и реакционным «цезаризмом». «Он может носить прогрессивный и реакционный характер, и истинное значение каждой формы цезаризма в конечном счете может быть точно установлено лишь с помощью конкретных исторических данных, а не на основе социологической схемы. Цезаризм прогрессивен, когда его вмешательство помогает восторжествовать прогрессивной силе — хотя бы и с помощью определенных компромиссов и условий, ограничивающих значение одержанной победы; цезаризм регрессивен, когда его вмешательство помогает восторжествовать реакционной силе также с

«Тюремных тетрадей» как раз в том и состоит, что в них не упущена ни одна из таких возможных комбинаций; более того, рассматриваются их масштабы и опасности, связанные с каждой из них, для прогрессивного исторического блока. Основная же тактика этого блока сводится, среди всего прочего, к тому, чтобы добиться новых отношений гегемонии, при которых на долю интеллигенции выпадает совершенно иная роль. Подобная новая дислокация сил выступает как возможный результат того, что Грамши называет «позиционной войной». Эта последняя может ослабить ту проникшую уже в самый базис инертность, которая делает маловероятной «маневренную войну», поскольку для нее нужны стихийные выступления масс, вызываемые экономическими кризисами. Но это не значит, что «позиционная война» не может вызвать глубоких экономических преобразований, обусловленных требованиями политики. Конкретно же способность новых производителей — рабочих и крестьян — добиться гегемонии может быть осознана ими лишь тогда, когда квазиполицейская функция средних слоев превратится в массовую интеллектуальную деятельность, иными словами, если внутри того сложного комплекса взаимоотношений, участниками которого являются производительные силы, вышеупомянутые средние слои и государство со своими функциями, начнется процесс освобождения. С этого момента новая оригинальная расстановка общественных классов со всеми комбинациями их противоречивых или согласующихся интересов может подтолкнуть развитие производительных сил и дать свободу слоям интеллигенции. Речь здесь идет об особой интерпретации ленинизма, в плане которой объединение рабочих, крестьян и специалистов приобретает с точки зрения теории и политики характер демократии, но которая не вписывается ни в теорию государства Р. Михельса (с подспудным влиянием В. Парето), ни в теорию государства М. Вебера. С первой она расходится потому, что харизматический вождь в грам-

помощью компромиссов и ограничений, но имеющих в этом случае иной смысл, иную силу, иное значение» (ibid., p. 1619; А. Грамши. Избранные произведения, т. III, с. 185—186). Есть и еще одна, так сказать, скрытая, латентная форма «цезаризма». «Всякое коалиционное правительство, — пишет Грамши, — представляет собой начальную ступень цезаризма, с которой он может развиваться (а может и не развиваться) до наиболее показательных его ступеней». В то же время «те, кто придерживается вульгарной точки зрения, естественно, считают, что коалиционное правительство служит, напротив, самым «нерушимым оплотом» против цезаризма» (ibid., p. 1620; А. Грамши. Избранные произведения, т. III, с. 186). Наконец, касаясь современного индустриального общества и его попыток самоорганизации, Грамши не забывает отметить, что «целые политические партии, экономические и другие организации надо рассматривать в качестве органов политической полиции, выполняющих разведывательную и охранительную функцию» (ibid., p. 1622; А. Грамши. Избранные произведения, т. III, с. 187).

шианском анализе служит лишь отправным пунктом, отталкиваясь от которого автор развивает свою мысль в направлении разработки новых самобытных отношений между гражданином и государством, устраняющих необходимость в цезаристском равновесии. С теорией Макса Вебера эта интерпретация расходится не только потому, что Грамши не воспринимает его идею об альтернативе между бюрократией и харизматическим вождем (более того, он теоретически доказывает их взаимодополняющий характер при «чередовании» ситуаций в рамках буржуазной гегемонии), но в особенности потому, что он совершенно иначе определяет бюрократию, подчеркивая ее известную восприимчивость по отношению и к негативному воздействию насилия со стороны средних слоев, и к позитивному влиянию гражданина-интеллигента. Описывая эти «слабые» формы воздействия на бюрократию, выполняющую свою функцию господства, Грамши отмечает: «Так исторически формируются специализированные категории людей для осуществления функций интеллигенции, формируются в связи со всеми социальными группами, но особенно с наиболее важными из них, подвергаясь при этом самым широким и сложным преобразованиям в соответствии с развитием господствующей социальной группы. Одной из наиболее характерных черт всякой группы, которая развивается в направлении установления своего господства, является ее борьба за ассимиляцию и «идеологическое» завоевание традиционной интеллигенции — ассимиляцию и завоевание, которые совершаются тем более действенно, чем энергичнее данная группа формирует одновременно свою собственную органическую интеллигенцию»⁵⁸.

Вопрос об интеллигенции пересекается здесь с вопросом о государстве, и именно в этой связи Грамши рассматривает различия между «гегемонией» и «господством». Вот что он пишет об этом сам в своем знаменитом фрагменте на эту тему: «Отношения между миром интеллигенции и миром производства не являются столь же непосредственными, как у основных социальных групп; они в разной степени «опосредованы» всей тканью общества, комплексом надстроек, где интеллигенты выступают в роли «чиновников»... В сфере надстроек можно... выделить два главных «этажа» — тот, который зовется «гражданским обществом» и образует совокупность элементов, просторечно именуемых «частными», и тот, который определяется как «политическое общество», или «государство». Эти два «этажа» служат соответственно для отправления функции «гегемонии», которую господствующая группа осуществляет по отношению ко всему обществу, и

⁵⁸ Ibid., p. 1516—1517 (А. Грамши. Избранные произведения, т. III, с. 462—463).

функции «прямого господства», или командования, которая находит свое выражение в государстве и «юридическом» правительстве»⁵⁹.

Речь идет, следовательно, не о завоевании «традиционной» интеллигенции и закреплении за нею ее прежней роли, но, напротив, о проведении реального преобразования в том «сильном» смысле, символом которого в очерке «Некоторые аспекты южного вопроса» выступает пример разрыва Гобетти с Кроче — преобразования, природу которого Грамши в дальнейшем разъясняет, сопоставляя крочеанское понятие идеологии-фикции и Марксово понятие надстройки. Предметом его размышлений является не «завоевание» интеллигенции такой, как она есть, но «предвидение» ее возможного преобразования. При этом уточняется (политически, а не социологически)⁶⁰ вопрос об оптимальном разделении общественных функций, ибо предварительно провозглашается принцип, что «все люди являются интеллигентами», даже если «не все люди выполняют в обществе функции интеллигентов»⁶¹. Речь идет о том, чтобы, повышая средний уровень общей культуры и развивая политическую культуру, сделать доступным для овладения людьми постоянно обновляющийся слой знаний, лежащих между меняющимися техническими навыками, составляющими основу жизни общества, и общим практическим знанием, дающим способность принимать решения. Отсюда огромное значение, придаваемое Грамши «академиям», под которыми понимаются учебные заведения и институты, предназначенные для постоянного обмена знаниями и опытом. Кроме того, он считает одной из главных функций рабочих партий духовное формирование «собственных кадров, элементов определенной социальной группы (родившейся и развившейся как «экономическая») вплоть до превращения их в квалифицированных политических интеллигентов, руководителей организаторов всех видов дея-

⁵⁹ Ibid., p. 1518—1519. В этих заметках описание функций интеллигенции, без конца множасьихся в современном обществе в силу его внутренних потребностей, полемически заострено против А. Лориа: «В таком ее понимании категория интеллигенции в современном мире невероятно расширилась. Демократическо-бюрократическая система современного общества произвела внушительную массу интеллигентов, существование которых не всегда оправдано общественными потребностями производства, хотя и необходимо для политических нужд основной господствующей группы. Отсюда берет начало и сформулированная Лориа концепция непроизводительного «работника» (непроизводительного по отношению к кому и к какому роду производства?), которая могла бы частично быть оправданна, если бы учитывалось, что эта масса использует свое положение для того, чтобы присваивать огромные суммы, изымаемые из национального дохода» (ibid., p. 1520; А. Грамши. Избранные произведения, т. III, с. 466).

⁶⁰ О социологическом аспекте проблемы, выраженном в «теореме найденных пропорций» см. ниже.

⁶¹ Ibid., p. 1516 (А. Грамши. Избранные произведения, т. III, с. 461).

тельности и исполнителей функций, присущих органическому развитию интегрального общества, гражданского и политического»⁶².

Конечным результатом всего этого должно стать такое *расширение* гражданского общества, которое позволит новому строю вобрать в себя политическое общество и создать демократические формы государственного управления.

Ясно, что проблема не сводится лишь к установлению «нового порядка»: в известном смысле (можно сказать, «ослабленном») преобразование интеллигенции есть также необходимая потребность промышленного развития, индустриализма⁶³. Современное индустриальное государство не могло бы функционировать, не устанавливая отношений с интеллигенцией крупных экономических, научных и рабочих организаций. Со своей стороны партийная, банковская, профсоюзная, исследовательская бюрократия по необходимости тоже должна вступать во взаимоотношения с бюрократией государственной. Однако если речь идет о поисках «сильного» решения, то эти отношения должны быть перевернуты: их центр тяжести должен сместиться к гражданскому обществу, а это последнее должно породить из своих недр в новых условиях некапиталистического индустриализма то, что Грамши назовет «гражданином-функционером», распространив статус интеллигента на всех членов общества. В этом случае демократия должна была бы охватить и всю экономическую деятельность общества, а представительное государство могло бы расширить свои основы, стать богаче по содержанию, чем государство либеральное. Грамши не дает нам никакой безусловной уверенности, извлеченной из какой-либо философии истории, относительно того, как именно должны будут решаться эти проблемы. Возможный благоприятный исход зависит от силы предвидения, что тесно связано с волей к практическому преобразованию общества.

6. Марксизм Грамши и философия его времени

Различные проблемы трактуются в «Тетрадах», с одной стороны, в объективном и описательном ключе (такой динамический подход сулит большие возможности, причем порой и нежелательные), а с другой — в определенном политическом аспекте, соответствующем тому решению, для которого, по мнению Грамши, необходимо мобилизовать имеющиеся

⁶² Ibid., p. 1592 (А. Грамши, там же, с. 469).

⁶³ Индустриализм и капитализм не обязательно выступают у Грамши как тождественные понятия. Так, в тетради № 1 он говорит, что если бы под «капитализмом» понимался «индустриализм», то не наблюдалось бы и кризиса капитализма (ibid., p. 83). См. об этом ниже.

силы и творчески искать пути к преобразованию. Тем не менее, если бы мы ограничились констатацией только этого, мы не уловили бы тех усилий, которые Грамши прилагает, чтобы направить разнообразные альтернативы в единое русло решения, которое он считает полным и несущим освобождение. Иными словами, в теоретическом отношении мы лишили бы себя возможности проследить за его усилиями по развитию того, что он называет марксизмом, или «философией практики». В представлении Грамши, это такое идейное направление, которое находится в процессе постоянного становления, и богатство этой «философии практики» проявляется не только в ортодоксальных версиях, но и в его экспозиции философских доктрин, обычно считающихся ей чуждыми. Проект Грамши заключается в том, чтобы, с одной стороны, вернуть мысли классиков марксизма ее первоначальную жизненность, а с другой — вновь включить в нее уже на современном уровне те аспекты, которые были развиты, пусть даже односторонне, философами-немарксистами. Речь идет о критической операции, которая не имеет ничего общего ни с эклектизмом, ни с академической комбинаторикой, но вдохновляется историко-интерпретативной линией, где центральная роль принадлежит практике. Лишь с учетом размаха этой операции можно понять, каким образом Грамши стремится утвердить гегемонию марксизма как объективно лучшего решения среди всевозможных альтернативных вариантов, к которым мы привлекали внимание читателя. Эта упорная критическая работа над философскими течениями, которые использовали те или иные существенные аспекты марксизма (пусть даже против самого марксизма) и при этом модифицировали и развили их, находится в полном теоретическом соответствии с политическим замыслом завоевания гегемонии при опоре на интеллигенцию.

Авторы, над которыми Грамши больше всего работает в целях их использования, — это прежде всего Бергсон, прагматисты, Сорель и Кроче, с одной стороны; а с другой — Плеханов и Ленин. Единой точкой отсчета, от которой ведется история «диаспоры», для него является Антонио Лабриола. Вместе с тем именно благодаря такой программе нового освоения и обогащения марксизма Грамши получает возможность оригинальным образом интерпретировать и историческое развитие марксизма, включая в него также Р. Люксембург. Известно между тем, что чаще всех других текстов Маркса Грамши цитирует то место из «Предисловия» к «Критике политической экономии» 1859 года, где излагается закон образования и смены общественно-экономических формаций. Грамши часто пересказывает его, неизбежно интерпретируя по-своему. Вот одно из таких резюме: «Следует руководствоваться двумя принципами: 1) ни одно общество не

ставит перед собой каких-либо задач, если реальные условия, необходимые для их разрешения, еще отсутствуют или если эти условия не находятся по крайней мере в стадии развития и оформления; 2) ни одно общество не погибнет и не может быть заменено другим до тех пор, пока не разовьются все те формы жизни, которые внутренне присущи его отношениям»⁶⁴.

Отличия от первоначального текста Маркса (он, кстати, дословно воспроизведен Грамши несколькими строками ниже) очевидны. В грамшианском пересказе проблеме придано более общее звучание, и она рассматривается со стороны субъективности. Показателен также термин «формы жизни», нередко встречающийся у Грамши. Упоминая о вкладе немецкой классической философии в марксизм, он пишет, что, хотя ей и принадлежит заслуга введения понятия «созидание», сама она трактует его «в идеалистическом и спекулятивном смысле». Лишь философия практики уточнила содержание «созидания» «в том «относительном» смысле, что мысль изменяет способ восприятия действительности большинством, а следовательно, и самую действительность, которую нельзя мыслить без этого большинства»⁶⁵. Слабая сторона Гегеля в том, что его идеи не имеют «гранитной фанатической крепости «народных предрассудков», обладающих энергией материальной силы»⁶⁶. Отсюда, как мы увидим, стремление Грамши придать этим «суевериям» (или, как он сам говорит, «идеологиям») активный, созидательный смысл именно как факторам организации коллективной воли. Но если вернуться к двум принципам, или правилам, которые Грамши извлекает из указанного положения Маркса, то нельзя не заметить, что они — в той форме, какая им здесь придана, — отсылают к Бергсону, к его интерпретации «творческой эволюции», по которой «творческим» является именно то, что активно утверждает правила нового порядка, сменяющего не беспорядок, а инертность, то есть то, что утратило свою жизненную энергию. Бергсон, как известно, разделил системы чувственного мира на два порядка: порядок «жизненного, или волевого», противостоит у него порядку «инертного, или автоматического»⁶⁷. Первый соответствует движению духа «в его естественном направлении», ведущем к «прогрессу в форме напряжения сил, непрерывного творчества, свободной деятельности»; второй соответствует детерминизму⁶⁸. Старый порядок, по Бергсону, это «обман духа, который обнаруживает перед собой не тот порядок, в котором

⁶⁴ Ibid., p. 1579 (А. Грамши. Избранные произведения, т. III, с. 163).

⁶⁵ Ibid., p. 1486 (А. Грамши. Избранные произведения, т. III, с. 37).

⁶⁶ Ibid., p. 1487 (А. Грамши. Избранные произведения, т. III, с. 95).

⁶⁷ H. Bergson. L'évolution créatrice, cit., p. 244.

⁶⁸ Ibid., p. 243.

нуждается; порядок, с которым он не знает, что делать, и который в известном смысле не существует для него»⁶⁹.

Есть порядок, который выражается в «положении каждого предмета и объясняется автоматическими движениями; а есть порядок первого рода, который личность, наделенная сознанием, претворяет в собственной жизни; это не автоматический порядок, а порядок воли. Отсутствие такого порядка я называю беспорядком»⁷⁰.

Бергсон добавляет к этому: «Человеческий интеллект, как мы его себе представляем, — это совсем не то, на что указывал Платон в своей мифе о пещере... У него другие задачи... Действовать, и действовать сознательно, вступать в соприкосновение с действительностью, более того — переживать эту действительность, но лишь в той мере, в какой она затрагивает совершающееся дело и прочерчивает путь для дальнейшего движения, — вот функция человеческого интеллекта... Но подобная задача не может быть выполнена целиком за один раз; ее решение должно обязательно стать делом коллективным и прогрессивным. Оно будет заключаться в обмене восприятиями, которые, взаимно дополняясь и исправляясь, в конечном счете приведут к такому расширению нашей человеческой масштабности, что она сумеет выйти за собственные рамки»⁷¹.

У нас нет возможности в точности установить, когда Грамши познакомился с работами Бергсона. Следы его влияния уже отмечены нами в статье Грамши «Три принципа, три порядка», вошедшей в «Юношеские сочинения». Позже, в «Тетрадах», Грамши упомянет о «дискуссии в ноябре 1917 года с адвокатом Марио Троцци» и о «первых намеках на бергсонизм, волюнтаризм и т. д.»⁷². Особенно важным является то место, где Грамши говорит о косвенных заимствованиях современных философов из марксизма и о необходимости для марксистов перенести эти заимствования обратно в «философию практики». В этой связи, ссылаясь на Сореля и Кроче, он пишет в заключение следующее: «Однако самым важным, по-моему, должно быть изучение бергсонизмской философии и прагматизма, так как некоторые их позиции становятся совсем непонятными, если удалить историческое звено философии практики»⁷³.

⁶⁹ Ibid., p. 242.

⁷⁰ Ibid., p. 253.

⁷¹ Ibid., p. 208—209.

⁷² A. Gramsci. Quaderni..., cit., p. 1395 (А. Грамши. Избранные произведения, т. III, с. 34).

⁷³ Ibid., p. 1356 (А. Грамши. Избранные произведения, т. III, с. 81). Для отношения Грамши к Бергсону характерны также статьи, опубликованные 16—23 октября 1920 года в «Ордине нуово» (см.: A. Gramsci. „L'Ordine Nuovo“, cit., p. 489—491), а также напечатанная там статья от 2 января 1921 года (см.: A. Gramsci. Socialismo e fascismo, cit., p. 12—13). (См. на обороте.)

Здесь Грамши упоминает также прагматизм, а это открывает путь к разбору уже не одних только правил и принципов, но также «суеверий» и «идеологий». Стоит коснуться того, что он извлек из теории Маркса и Энгельса в качестве зародыша для развития мысли в этом направлении. В тетради № 11 он пишет: «Следует вспомнить частые утверждения Маркса о «прочности народных суеверий» как необходимом элементе определенной ситуации... Речь при этом идет не о верности содержания таких суеверий, но именно об их формальной прочности, а следовательно, и об их императивном характере, когда они порождают нормы поведения. Более того, в этих упоминаниях внутренне содержится мысль о необходимости новых народных суеверий, то есть нового «житейского смысла», а стало быть, и новой культуры и философии, которые бы укоренились в народном сознании с той же прочностью и властью, что и традиционные верования»⁷⁴.

Основное место у Маркса, на которое ссылается Грамши, звучит так: «Равенство и равнозначность всех видов труда, поскольку они являются человеческим трудом вообще, — эта тайна выражения стоимости может быть расшифрована лишь тогда, когда идея человеческого равенства уже приобрела прочность народного предассудка»⁷⁵.

Грамши прав, привлекая внимание к тому, что Маркс, несмотря на частые опровержения наукой житейского смысла людей, придает большое значение и этой энергии, развивающейся на уровне извращенного сознания. Например, Маркс пишет: «Простое превращение денег в вещественные факторы процесса производства, в средства производства... покажет нам, как эта свойственная капиталистическому производству и характеризующая его перетасовка, даже извращение соотношения между мертвым и живым трудом, между стоимостью и той силой, которая создает стоимость, отражается в головах капиталистов»⁷⁶.

Речь идет о персонификации капитала. Капитал выступает в этом смысле как обладающий волей и сознанием. Впро-

В этих статьях в полемике с позитивизмом уже утверждается: «Чтобы найти верный путь, нужно вернуться к К. Марксу и Ф. Энгельсу, которые из философской мысли извлекли конкретную теорию интерпретации истории и политики. Но прежде они прошли через идеализм, а еще прежде того были людьми, которые умели читать, понимать и усваивать труды философов». Следует, наконец, вспомнить статью «Бергсон», написанную 30 октября 1921 года (см.: *A. Gramsci. Per la verità, cit.*, p. 226—227), где развивается следующая мысль: «Коммунисты могут двигаться вперед и делать более вероятной и легкой победу революции, пользуясь прошлым историческим опытом и положениями политических и психологических теорий, принадлежащих всему человечеству» (с. 227).

⁷⁴ *A. Gramsci. Quaderni...*, cit., p. 1400 (Начало цитаты, до многоточия, см.: *А. Грамши. Избранные произведения*, т. III, с. 71).

⁷⁵ *К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч.*, т. 23, с. 69.

⁷⁶ Там же, с. 320.

чем, Маркс уже указывал на наличие такого рода теоретической проблемы, когда, противопоставляя целесообразность человеческого труда инстинкту животных, писал: «Мы предполагаем труд в такой форме, в которой он составляет исключительное достояние человека. Паук совершает операции, напоминающие операции ткача, и пчела постройкой своих восковых ячеек посрамляет некоторых людей-архитекторов. Но и самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что, прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил ее в своей голове. В конце процесса труда получается результат, который уже в начале этого процесса имелся в представлении человека, то есть идеальным»⁷⁷.

Во всех этих отрывках, за исключением последнего, отражающего более общую картину, Маркс анализирует внутренние силы буржуазного общества. Он прямо говорит, что «обыденное сознание» есть сознание «самих участников производства».

Обособляя этот аспект мысли Маркса, Грамши развивает его в порядке критического разбора некоторых моментов прагматизма. Он набрасывает собственное понимание «истины» как осознания тенденций, в том числе и противостоящих друг другу, которые действуют внутри нас и которые могут привести к конфликту между теоретическим сознанием и практической деятельностью. Поэтому-то понятие гегемонии приобретает в его глазах способность к объединению этих противоположностей, не лишенную философского значения: «Активный человек — элемент массы действует практически, но у него нет ясного теоретического осознания этой его деятельности, которая тоже есть познание мира, поскольку она изменяет мир. Более того, его теоретическое сознание исторически может оказаться в противоречии с его деятельностью. Можно, пожалуй, сказать, что у человека — элемента массы есть два теоретических сознания (или одно противоречивое сознание): одно — содержащееся в самой его деятельности и реально объединяющее его со всеми его сотоварищами по практическому изменению действительности, и второе — поверхностно выраженное, или словесное, что досталось массе в наследство от прошлого и было воспринято ею без критики... Критическое постижение самого себя осуществляется, следовательно, через борьбу политических «гегемоний», противостоящих направлений, сначала в области этики, затем политики, чтобы вылиться наконец в высшую разработку собственной концепции действительности. Сознание, что ты являешься частицей определенной силы-гегемона (то есть сознание политическое), — это первая фаза дальнейшего и прогрессирующего самосознания, в котором в конечном сче-

⁷⁷ Там же, с. 189.

те соединяются теория и практика. Значит, и единство теории и практики существует не как механическое исходное данное, а как процесс исторического становления, в котором оба понятия проходят весь путь от элементарной и примитивной фазы, характеризующейся почти инстинктивным осознанием «различия», «разрыва», независимости теории и практики друг от друга, вплоть до реального и полного овладения стройным и единым мировоззрением»⁷⁸.

Этот отрывок у Грамши прочерчивает четкую разграничительную линию между «верованиями», которые в современном обществе отражаются в форме идеологий, и теми убеждениями, которые выходят из недр самого общества под влиянием Марковского принципа «коллективного», согласно которому ассоциированный труд производит в общей сложности большее богатство, нежели сумма трудовых усилий некооперированных работников. Это фактическое обстоятельство также отражается на капиталистическом обществе, определяет форму социальности, присущую последнему. Но Грамши экстраполирует это обстоятельство из указанного контекста и превращает в материальный фундамент того, что он называет «духом раскола». Отсюда он выводит и противоречие в виде столкновения гегемоний, о котором говорится в процитированном тексте.

На этом фоне примечательно то, как Грамши использует прагматизм (который он, кстати, остро критикует) для изображения ситуаций сомнения, противоречия и для их разрешения. Прагматизм как философия стремился как раз к установлению соотношения между истиной и эффективностью, построению моста между этими двумя категориями. Хотя Грамши и не знал из первых рук теории Ч. С. Пирса (впрочем, нельзя исключить, что он читал его статьи, переведенные на французский, которые цитировал и Сорель), он по крайней мере был знаком со сформулированным этим автором принципом прагматизма в том виде, как его излагал У. Джемс. Этот последний, ссылаясь на Пирса, отмечал: «Движущаяся мысль... имеет единственным мотивом достижение состояния покоящейся мысли. Только тогда, когда наши мысли по поводу какого-либо предмета обрели покой в форме верования, может начаться наше уверенное и решительное действие по отношению к указанному предмету. Короче говоря, верования на самом деле суть правила действий, и вся функция мышления есть лишь шаг к формированию навыков для действий. Если бы часть нашей мысли не вносила различий в практические следствия мысли, то это означало бы, что указанная часть не является значащим эле-

⁷⁸ А. Gramsci. Quaderni..., cit., p. 1385—1386 (А. Грамши. Избранные произведения, т. III, с. 22—23).

ментом для данной мысли... Для того чтобы выявить значение какой-то мысли, нам нужно всего лишь определить, какое поведение она способна вызвать: это поведение и есть для нас ее единственное значение»⁷⁹.

Представляется естественным предположить, что, когда Грамши намекает на учение, которое духовно объединяет массы, он имеет в виду именно высказывания Пирса или по меньшей мере призывает пользоваться, как он сам говорит в статье о Бергсоне, напечатанной в «Ордине нуово» (см. примечание 73), «прошлым историческим опытом и положениями политических и психологических теорий, принадлежащих всему человечеству»⁸⁰. Следует также напомнить, что одна из основных работ Пирса, публиковавшаяся, в частности, во французском журнале «Ревю философик» в ноябре 1877 — январе 1878 годов, называется «Закрепление верования» («The Fixation of Belief») и что сформулированное в ней понятие закрепления, подобно грамшианскому понятию гегемонии, предполагает последовательные этапы своего формирования: выяснение (*inguiiry*), сомнения (*doubt*) и в конечном счете прочное уверование (*tenacity*). Еще одной темой из тех, которыми занимался американский философ, была тема нового обыденного сознания, или критического житейского смысла (*critical common sense*); в ее анализе Пирс пользовался терминами и затрагивал те проблемы, которые фигурируют и в грамшианской интерпретации марксизма. Определенное соответствие, по-видимому, можно уловить также между положением о целостности верования (*integrity of belief*), которое у Пирса означает критическое осознание формопроявлений верования, и грамшианским тезисом о «всеобъемлющей системе идеологий» — комплексом идей, который в многообразии своих проявлений «рационально отражает противоречие базиса и наличие объективных условий для ниспровержения практики»⁸¹. Это не умаляет того факта, что Грамши сурово критикует прагматизм вообще и Джемса в частности. Последнего он упрекает за его «аполитичность», вытесняемую в действительности интересом к религии, — решение, которое «мыслимо в англосаксонских странах, где религия тесно смыкается с повседневной культурной жизнью и при этом не является бюрократически централизованной и интеллектуально догматизированной». К тому же он отмечает, что «„индивидуальный“ философ итальянского или немецкого типа связан с «практикой» опосредованно (причем часто через цепь из многих звеньев), прагматист же хочет установить с ней прямую и непосредственную связь;

⁷⁹ W. James. *Saggi pragmatistici*. Lanciano, 1935, p. 11—12.

⁸⁰ A. Gramsci. *Per la verità*, cit., p. 227.

⁸¹ A. Gramsci. *Quaderni...*, cit., p. 1051 (А. Грамши. Избранные произведения, т. III, с. 59).

на деле же получается так, что философ итальянского или немецкого типа более практичен, чем прагматист»⁸².

Впрочем, проблема «закрепления верований» присутствует и в некоторых типичных построениях современной Грамши социологической мысли. Трудно допустить, что антипозитивистская полемика Э. Дюркгейма, его антидетерминизм и в особенности его идея коллективного человека никак не повлияли на грамшианское истолкование четвертого отдела первого тома «Капитала». Дюркгейм утверждал, что целью социологии является гармонизация общественных сил, и писал, что «для обеспечения верного понимания [общественной жизни] необходимо показать, как явления, из которых она складывается, содействуют друг другу, с тем чтобы привести общество в гармонию с самим собой и внешней средой»⁸³.

Отсюда Дюркгейм извлекал свою идею «нормального типа», который «смешивается со средним типом»⁸⁴, и выводил нормализацию из понятия «частота». Он отмечал, что «в переходные периоды, когда весь вид находится только в процессе эволюции и еще не зафиксировался окончательно в новой форме... единственный имеющийся в наличии нормальный тип представлен в действительности лишь типом прошлого, который в силу этого не подходит для новых условий существования... Таким образом, перед нами только видимость нормальности, ибо представленное ею общее есть не что иное, как фальшивая вывеска, потому что эта нормальность, поддерживаемая исключительно слепыми силами привычки, лишь подтверждает, что наблюдаемые явления тесно связаны с общими условиями коллективного существования»⁸⁵.

Грамши, ставя проблему типического и нормального, проектировал ее на «новый массовый конформизм», необходимость которого обусловлена изменением общественных условий. Дюркгейм тоже подвергает теоретическому разбору вопрос о типе перемены, но у него этот тип зависит от эмпирической константы частоты изменений. Тем самым он вводит в свою теорию соответствующий аспект теории вероятности, используя его для обоснования проявлений нового типа «нормального человека». Грамши отвергает такое обращение к статистике и принципу «частоты», утверждая, напротив, что становление «общественного индивида» есть процесс самоформирования. Но сама по себе идея того, что общество нуждается в единообразном поведении людей, на которое индивидуализм оказывает свое новаторское воздействие лишь после того, как

⁸² Ibid., p. 1925 (А. Грамши. Избранные произведения, т. III, с. 66, 67).

⁸³ E. Durkheim. Les règles de la methode sociologique. Paris, 1895, vol. I, p. 120.

⁸⁴ Ibid., p. 70.

⁸⁵ Ibid., p. 75—76.

социально воспринял это поведение, а затем усовершенствовал и преодолел его, — эта идея присутствует в «Тетрадах».

Грамши уловил, однако, и опасность, вытекающую из подобного конформизма. В этом плане его очень заинтересовали изыскания Плеханова. Грамши в своей полемике с Бухариным упрекает последнего за то, что тот не понял, как возникает историческое движение на основе базиса, и отмечает, что у Плеханова эта проблема по крайней мере указана. Возвращаясь к Марксову «Предисловию» 1859 года, Грамши добавляет: «Лишь на этой почве может быть устранен всякий механицизм и всякие следы суеверного ожидания «чуда», лишь на этой почве должны ставиться задача формирования активных политических групп и в конечном счете вопрос о роли великих личностей в истории»⁸⁶.

Предложенное здесь решение, в сущности, то же самое, какое он выдвигает применительно к отношениям между базисом и надстройкой, утверждая, что их совокупность («исторический блок») есть «сложный, противоречивый, неоднородный комплекс надстроек», выступающий как «отражение совокупности общественных производственных отношений»⁸⁷. Известно, что Грамши предложил это определение отношений между базисом и надстройкой, приняв сорельянскую концепцию «исторического блока». Термин был сформулирован Сорелем в его письме Даниелю Галеви, которое было напечатано в качестве предисловия к «Размышлениям о насилии», публиковавшимся на страницах журнала «Мувман сосьялист» до выхода отдельным изданием. В этом письме Сорель, защищая психологию пессимиста, пишет, что этот последний рассматривает «совокупность общественных условий как образующую прочно связанной системы, необходимость которой приходится терпеть в том виде, в каком она задана, то есть в целом, и которая не может исчезнуть иначе, как в результате катастрофы, сокрушающей ее полностью».

Сорель добавляет, что, следовательно, с точки зрения пессимистической теории нелепо «приписывать беды, от которых страдает общество, каким-то отдельным злодеям; пессимист вовсе не испытывает приступов кровожадного безумия оптимиста, взбесившегося из-за непредусмотренного сопротивления, на которое наталкиваются его проекты; пессимист вовсе не помышляет сделать счастливыми грядущие поколения путем уничтожения нынешних эгоистов. Глубинная суть пессимизма заключается в его особом взгляде на движение к освобождению. Человек не ушел бы далеко в изучении законов собственных невзгод и тяготеющего над ним рока — законов, столь сильно затрагивающих наше честолюбие, — ес-

⁸⁶ A. Gramsci. Quaderni..., cit., p. 1422.

⁸⁷ Ibid., p. 1051 (A. Грамши. Избранные произведения, т. III, с. 59).

ли бы не питал надежды одержать победу над этими тираническими обстоятельствами с помощью усилий, которые он предпримет вместе со всей группой своих товарищей»⁸⁸.

Сорель полагает, что естественное право приучило людей к мысли о том, что справедливость приходит автоматически. В этой связи он пишет: «Схоластические доктрины естественного права свелись бы к простой тавтологии — то, что справедливо, хорошо, а то, что несправедливо, плохо, — если бы подспудно всегда не признавалось что справедливое приспосабливается к тем действиям, которые совершаются в мире автоматически. Именно таким образом современные экономисты длительное время утверждали, что отношения, сложившиеся при режиме конкуренции в рамках капиталистической системы, безукоризненно справедливы, ибо вытекают из естественного хода вещей; а утописты всегда утверждали, что существующий мир недостаточно естествен, и стремились нарисовать картину общества, которое регулируется автоматически и уже потому является более справедливым»⁸⁹. Однако внутри автоматизма экономики, по Сорелю, коренится некий фактор, вполне отождествимый с правом. Подхватывая идеи Дюркгейма, Сорель утверждает, что перемена воспринимается именно в терминах права: «То, что в прошлом было справедливым, стало несправедливым»⁹⁰. Вопрос, следовательно, возвращается к центральному пункту философии Бергсона, к теме свободного действия, и Сорель заключает: «Учение Бергсона дало нам возможность узнать, что не одна религия лежит в глубине сознания: с таким же правом такое же место занимают там революционные мифы»⁹¹.

Грамши относится к Сорелю весьма критически. Тем не менее он постоянно говорит, что необходимо вновь заняться изучением Сореля, чтобы «извлечь из-под паразитических напластований», наложенных на его мысль «восторженными дилетантами и интеллигентами», то, что в ней есть существенного и непреходящего. По словам Грамши, Сорель — типичный антиякобинец, культурные взгляды которого сформировались в период «великого страха» после Парижской Коммуны. Поэтому он «перевернул» мысль Ренана, подвергнув критике его идею использования религиозного мифа как инструмента контроля над массами со стороны светских рационалистов и соответственно приписав революционное значение тому, что стихийно и непосредственно, а консервативный смысл — тому, что рационально, повторяемо и автоматически. Грамши резко критикует Сореля в этой плоскости: «Если со-

⁸⁸ G. Sorel. Lettre à Daniel Halévy. — In: „Mouvement socialiste“, 1907, 16 août et 15 septembre, p. 144.

⁸⁹ Ibid., p. 147.

⁹⁰ Ibid., p. 149.

⁹¹ Ibid., p. 160.

циальные события нельзя предвидеть и сама теория предвидения — лишь пустой звук, то иррациональное не может не доминировать и всякая организация людей является антиисторичной, «предрассудком»; остается только одно: время от времени на основе импровизированных критериев решать отдельные практические проблемы, выдвинутые процессом исторического развития...»⁹²

Грамши продолжает свою критику, задавая следующие риторические вопросы: «Однако может ли миф быть «неконструктивным», можно ли в рамках сорелевской интуитивной догадки вообразить себе продуктивно-эффективный инструмент, который оставляет коллективную волю в ее элементарно-примитивной фазе начального формирования путем ее расщепления («раскола»), пусть даже насильственного, то есть путем разрушения существующих моральных и юридических отношений? Но разве такая коллективная воля, сформированная столь элементарно, не прекратит сразу же свое существование, раздробившись на бесчисленное множество отдельных волевых усилий, которые в позитивной фазе разбегутся по разным, в том числе и противоположным направлениям?»⁹³

Приведенная нами выдержка представляет собой одно из самых обстоятельных критических высказываний Грамши о Сореле и Бергсоне. По сути дела, он разделяет мнение, что автоматизм экономического типа воспринимается уже как несостоятельный и несправедливый, но одновременно отдает себе отчет и в том, что мифы и спонтанные формы жизни недостаточны как средства создания иного автоматизма. Для достижения этой цели необходимо политическое сознание. Если точна сорелевская констатация, что «базис и надстройка образуют «исторический блок», то есть сложный и противоречивый комплекс надстроек есть отражение всей совокупности общественных производственных отношений», то верно и то, что осознание необходимости перемен внутри этого комплекса должно «закрепить» народное верование на максимально возможной ступени интенсивности. Лишь таким образом, то есть «если образуется социальная группа, однородная в идеологическом отношении на 100 процентов, это означает, что существует 100 процентов предпосылок для этого ниспровержения, что «рациональное» стало подлинно действенным и актуальным. Это рассуждение опирается на необходимую взаимосвязь базиса и надстроек (взаимосвязь как раз и есть реальный диалектический процесс)»⁹⁴.

Решающий пункт грамшианской интерпретации марксиз-

⁹² *A. Gramsci. Quaderni...*, cit., p. 1499.

⁹³ *Ibid.*, p. 1557.

⁹⁴ *Ibid.*, p. 1051—1052 (*А. Грамши. Избранные произведения*, т. III, с. 59).

ма заключается, таким образом, в том, что для преодоления той формы автоматизма, которая обветшала в ходе исторического процесса (конкретно речь идет об автоматизме, основанном на частной собственности), необходимы политическая сплоченность и политическая сознательность высшего уровня. Отсюда и то значение, которое он придавал Марксовой «действительной стороне» идеализма в «Тезисах о Фейербахе»⁹⁵ и теме надстройки, почерпнутой им из постоянно возобновляемых размышлений по поводу «Предисловия» 1859 года. Если в общем и целом категорию надстройки у Маркса можно интерпретировать как следствие разделения труда, которое позволяет одним созидать культуру и науку, используя свободное время, возникающее за счет увеличения рабочего времени других, то тезис Грамши заключается в том, что в новой исторической ситуации широкие массы эксплуатируемых производителей также могут выдвинуть собственный авангард и с его помощью созидать свою культуру, свою науку и соответствующие формы собственной политической организации. Они в состоянии формулировать и свои предвидения, а это, как мы знаем, означает также выработку соответствующего сознания⁹⁶. К оценке этой новой роли, которую Грамши отводит «идеологии», следует подходить с большой осторожностью, ибо, говоря об интеллектуальной и моральной реформе, он неизменно видит ее прежде всего в связи с техническими изменениями производительного аппарата и общественных отношений. В одном из фрагментов тетради № 16 он пишет: «Необходимо убедиться в том, что «объективным» и необходимым является не только определенное орудие, но и определенный тип поведения, определенное воспитание, определенный тип человеческого общежития и т. д. В этой объективности и исторической необходимости (которая, впрочем, не является сама по себе очевидной, но требует, чтобы ее критически осознали и отстаили в полном и всеохватывающем смысле слова) может найти свое обоснование «универсальность» морального принципа; более того, никогда не существовало иной «универсальности», кроме этой объективной потребности в определенных нормах гражданского общежи-

⁹⁵ См., например, критический разбор дискуссии на эту тему в тетради № 7 (*ibid.*, p. 2355—2357).

⁹⁶ Имея в виду «Предисловие» 1859 года, Грамши пишет (на этот раз в критическом ключе), что если люди осознают действительность в идеологической форме, то задача состоит в том, чтобы перейти от ограниченного сознания конфликта к его осознанному пониманию. Этот момент в марксизме «следует разработать, а разработать его возможно лишь со всем философским учением о значении надстроек. Какой же смысл будет выражать в этом случае термин «монизм»?.. [Это будет] философия действия (практики, развития), но не «чистого» действия, а именно действия «нечистого», реального в самом грубом и мирском смысле слова» (*ibid.*, p. 1492; А. Грамши. Избранные произведения, т. III, с. 66). Но об этом см. ниже.

тия, хотя она и интерпретируется с помощью трансцендентных или трансцендентальных идеологических концепций и для достижения желанной цели ей постепенно придают все более исторически действенную форму»⁹⁷.

Общий знаменатель для житейского смысла, техники, культуры и науки можно найти в словах Энгельса о том, что материальность мира подкрепляется долгим и упорным развитием философии и естествознания. Эти слова «должны быть проанализированы и уточнены... Научный опыт есть первая клеточка нового способа производства, новой формы активного союза между человеком и природой. Ученый-экспериментатор является также рабочим, а не чистым мыслителем: его мыслительная работа постоянно контролируется практикой — и наоборот, пока не образуется полное единство теории и практики»⁹⁸.

В заключение разбора поставленного вопроса обратимся к двум его аспектам. Первый состоит в том, что Грамши прибегает к подобной форме воссоединения «диаспоры» высших достижений философии практики, потому что ясно сознает, что марксизм превратился к тому же и в «народную религию», с внутренне присущими ей элементами догматизма, для борьбы с которыми следует участвовать в развитии современной философской мысли. Второй аспект (лишь по видимости противоречащий первому) обозначен его указанием (оно сопровождается, правда, внушительными критическими оговорками) на мысль Лабриолы об исторически «самодостаточном» ядре марксизма. Лабриола, по словам Грамши, утверждал что «философия практики является независимой и оригинальной философией, несущей в себе самой элементы дальнейшего развития», причем Лабриола был «единственным, кто пытался научно выстроить философию практики»⁹⁹. Но, говоря «научно», Грамши имел в виду «учитывать... творческую и созидательную деятельность» всех видов научного исследования. Философия практики это не «совокупность всех тенденций», а именно «борьба за высшую автономную культуру»¹⁰⁰. Показательно в этом смысле, что он обра-

⁹⁷ Ibid., p. 1876 (*А. Грамши. Избранные произведения. М., 1980, с. 325—326*).

⁹⁸ Ibid., p. 1448—1449.

⁹⁹ Ibid., p. 1507—1508.

¹⁰⁰ Ibid., p. 1508—1509. Грамши не делает никаких попыток вернуть на службу марксизму теорию Джентиле, в котором видит не столько теоретика «нового» житейского смысла, сколько философа, твердящего «те истины, которые, можно сказать, каждый человек ощущает естественным путем». В своей оценке Джентиле Грамши различает у него: «1) внеисторическую «человеческую природу», которая неизвестно в точности что есть такое; 2) человеческую природу здорового человека; 3) житейский смысл здорового человека, а стало быть, и житейский смысл нездорового человека. А что может означать «здоровый человек»? Физически здоровый, не сумасшедший? Или же со здоровым образом мыс-

щается здесь к методу подхода к Марксовым текстам, предложенному Р. Люксембург¹⁰¹. Следование этому методу позволяет увидеть, что и в своем внутреннем развитии, и в обращении к текстам «классиков» марксизм как учение проходит несколько стадий. После того как миновал романтический момент народной борьбы, «рождается конкретная потребность в построении нового интеллектуального и морального порядка, то есть общества нового типа, а следовательно — потребность в выработке более универсальных категорий, более утонченных и действенных идеологических орудий»¹⁰².

Эти две потребности, выраженные А. Лабриолой и Р. Люксембург (для краткости — научность и свобода), объединяются и поддерживают друг друга. Чуть ниже Грамши говорит, вновь подчеркивая центральность темы практики: «Если философия практики теоретически утверждает, что всякая «истина», считающаяся вечной и абсолютной, имела практическое происхождение и представляла «временную» ценность (в силу историчности всякого мировоззрения), то... такое толкование остается в силе также и для самой философии практики», даже если его очень трудно понять, «не сокрушая при этом убеждений, без которых невозможно действие»¹⁰³.

7. Анализ «исторического блока» и критика экономического автоматизма

Внутреннее движение базиса, похоже, остается за рамками грамшианского истолкования теории Маркса. Механическое функционирование базиса было отождествлено Грамши с чисто автоматическим процессом, который еще до него Бергсон назвал «инертным» (позже Ж.-П. Сартр введет понятие «практико-инертного»), а Сорель положил в основу естественного права, понимаемого как нормализация применения силы. Здесь удаление от марксизма, который вместе с историчностью способов производства открыл также внутренний

лей, благонамеренный, филистер и т. д.? И что может означать „истина житейского смысла“?» (ibid., p. 1339). Грамши, между прочим, делает такой вывод: «Когда Маркс упоминает о «прочности народных суеверий», он отсылает нас к культурно-историческому моменту, указывая на «прочность убеждений» и их действенную роль в регулировании поведения людей, но косвенно утверждает «необходимость» новых народных верований, то есть нового «житейского смысла», а следовательно — культуры, или, иначе говоря, философии» (ibidem).

¹⁰¹ См.: R. Luxemburg. Scritti scelti. A cura di L. Amodio. Milano, 1963, p. 262—264.

¹⁰² A. Gramsci. Quaderni..., cit., p. 1509.

¹⁰³ Ibid., p. 1489.

механизм их преобразования в виде взаимосвязи «материально-технических сил» и «общественных отношений», было весьма значительным. По Грамши же, историческое движение есть результат влияния всего «блока», активной частью которого является надстройка. Он согласен, иными словами, со своими «западными» современниками в оценке субъективного элемента как жизненно важного, но предпринимает немалые усилия к восстановлению несколько оригинальным образом также и той упомянутой выше области марксизма, которая оказалась утраченной для них.

Чтобы уяснить этот вопрос, можно взять за исходный пункт те экономические теории итальянских исследователей, которые имели определенную связь с марксизмом. Бордига был сознательным детерминистом, и Грамши мог лишь отвергнуть его выводы. Грациадеи ранее подвергался (и не без оснований) суровой критике со стороны Кроче. Э. Леоне предпринял попытку выступить против экономического фатализма, оставаясь крочеанцем. Подобно Сорелю, он отбросил положение о прибавочной стоимости, но сохранил верность идее классовой борьбы. На место «объективной необходимости» перехода к социализму он поставил «пролетарское субъективное требование». От марксизма он сохранил противопоставление прибыли-ренты заработной плате, но отверг теорию концентрации капитала. «Если человек способен высвободить добровольные силы», аргументировал он, то концентрации могут быть противопоставлены преграды и сдерживающие средства. Леоне выводил отсюда то следствие, что «пролетариат должен... развивать свои действия независимо от какого бы то ни было объективного предвидения... реализации» социализма¹⁰⁴. В то же время он выводил критику «капиталистических порядков» как из марксизма, так и из утилитаризма¹⁰⁵. Самоочевидно, говорил он, что «рассмотрение прибавочной стоимости как совокупной аксиологической категории... должно уступить место... экономическому анализу, который позволил бы проникнуть в природу прибыли и проследить взаимосвязь между ее существованием и тем действием, которое она оказывает на сознательную функциональность гедонистических устремлений трудящихся»¹⁰⁶.

Иными словами, классы суть явления субъективные, а прибавочная стоимость может быть заменена прибавочной предельной полезностью. Опираясь на Л. Вальраса (а также на австрийскую школу и в особенности на К. Менгера), Леоне заключал, что социализм может явиться исключительно в виде «достижения высшего блага людьми, делающими исто-

¹⁰⁴ E. Leone. La revisione del marxismo. Roma, 1909, p. 40.

¹⁰⁵ Ibid., p. 107.

¹⁰⁶ Ibid. p. 123.

рию»¹⁰⁷. Здесь мы оказываемся целиком во власти субъективизма. Грамши не только открыто отвергает его¹⁰⁸, но и дает ему — с помощью резкой критики «чистой экономики» в версии В. Парето — своего рода генетическое объяснение. В тетради № 10 он пишет: «Следует досконально установить ту точку, в которой возникает отличие «абстракции» от «обобщения». Участники экономической жизни не могут быть подвергнуты процессу абстрагирования, в силу которого гипотеза об однородности превращается в утверждение о биологическом человеке. Это не абстракция, а обобщение, или «индетерминация». Абстракция — это всегда извлечение определенной исторической категории, выступающей именно как категория, а не как многообразная индивидуальность. Нотто оесопомікус также исторически детерминирован, будучи вместе с тем индетерминирован; это детерминированная абстракция»¹⁰⁹.

Здесь Грамши утверждает историчность экономики как детерминированной абстракции, то есть той экономической формы, которая основывается на меновой стоимости. Подобный подход к историчности экономики отдаляет его от тезисов того типа, которые отстаивает В. Парето и которые размыывают конкретные черты абстракции, делая черты «экономического человека» индетерминированными.

Грамши с недоверием относится также к социологическому разграничению действий на «нелогичные» и «логичные», к которому прибегает Парето, выставляя первые как выражение антинаучных мотиваций житейского смысла, а вторые как отделенные и очищенные от этих мотиваций. Грамши полагает, напротив, что верования могут быть преобразованы, могут стать «новыми», что на язык обыденного сознания могут быть переведены достижения науки, но все это — прямая противоположность вышеупомянутому непреходимому разграничению между истиной и заблуждением¹¹⁰. Ошибка, со-

¹⁰⁷ Ibid., p. 163.

¹⁰⁸ Этот отказ сопровождается согласием с мыслью Энгельса (см.: Предисловие к книге третьей «Капитала» в: *К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч.*, т. 25, ч. I, с. 3—26) о возможности извлечения терминов теории эксплуатации даже из доктрины предельной полезности, маржинализма. Грамши добавляет, что тождественность проблем, рассматриваемых маржинализмом и марксизмом, не исключает необходимости доказательства, что «решение, предложенное критической теорией, стоит выше... Тексты всегда должны быть «двуязычными», то есть рядом с подлинным текстом или между его строками должен находиться перевод на «вульгарный» язык либо язык либеральной политэкономии» (*A. Gramsci. Quaderni...*, cit., p. 1258—1259).

¹⁰⁹ Ibid., p. 1276.

¹¹⁰ Грамши принимает социологию чистых экономистов единственно в том, что касается «проблемы установленных пропорций», заимствованной у Панталеони (см.: *M. Pantaleoni. Principii di economia pura. Milano, 1931, p. 112*). Грамши интерпретирует эту теорему как существенный ас-

вершаемая в теории чистой экономики, заключается, следовательно, в стремлении изобразить поведение людей как пассивное, сообразующееся с неким законом полезности. Отстаивая историзм экономики, Грамши признает, помимо многообразия языков, также многообразие решений, выборов, позиций, исторически связанных с этими разными уровнями сознания.

Такое признание знаменует уже момент отрыва как от теорий, которые практически абсолютизировали автоматизм экономики, так и от тех — противоположных, но ведущих к тем же результатам, — которые переводили сам объект политэкономии в плоскость субъективизма. Следующий шаг в том же направлении Грамши совершает в тот момент, когда перестраивает свою аргументацию по данному вопросу для анализа взглядов на Д. Рикардо. Здесь не столь важно то, сумел ли он углубить идеи великого английского экономиста, а важна отсылка к нему как к одному из источников учения Маркса. Это развитие грамшианских размышлений о политэкономии начинается с письма Татьяне Шухт от 30 мая 1932 года, фоном для которого служат отголоски изысканий П. Сраффы: «Хочу поделиться с тобой кое-какими мыслями, с тем чтобы ты при случае изложила их П[ьеро] и попросила его указать кое-какой библиографический материал, который позволил бы расширить сферу моих размышлений и дать им более четкую направленность... Вот о чем я сейчас думаю: можно ли считать, что труды Рикардо сыграли также важную роль и в развитии истории философии, а не только в развитии экономической науки, где он, безусловно, занимает место первостепенного значения? И можно ли считать, что Рикардо содействовал тому, что первые теоретики философии *практики* пошли по пути преодоления гегелевской философии и создали свой новый принцип историзма, очищенный от каких бы то ни было следов спекулятивной логики? Мне думается, что это можно было бы попытаться доказать и что это стоит сделать. Я исхожу из двух основных положений в экономической науке — об «определенном рынке» и о «законе тенденций», принадлежащих, как мне кажется, Рикардо, — и рассуждаю так: не эти ли два положения послужили толчком для превращения концепции «имманентного» развития истории, выраженной идеалистическим и спекулятивным языком немецкой классической философии, в реалистическую конкретно-историческую «имманентность», в которой закон причинности естественных наук был очищен от прису-

пект науки об «организации», которая позволяет, например, оптимизировать демографический состав населения и повышать его функциональную занятость (А. Gramsci. Quaderni... cit., p. 1626—1627). Наука об организации уже была известна Грамши, в частности по трудам Богданова, обильно цитированного Бухариным.

щего ему механизма и органически слился с диалектическим толкованием его в гегелевской философии?

Может быть, все эти мысли представляются еще туманными, но мне важно, чтобы они были понятны в своей совокупности, хотя бы приблизительно, настолько, чтобы можно было выяснить, ставился ли и изучался ли этот вопрос каким-либо исследователем Рикардо»¹¹¹.

По сути дела, Грамши не только повторяет, что немецкая классическая философия и английская политэкономия являются двумя источниками марксизма, но и хотел бы доказать, что вторая представляет собой важный аспект превращения идеализма первой в последовательно материалистическую, имманентно реалистическую теорию. Он идет, иначе говоря, путем, противоположным тому, каким обычно идут исследователи, прибегающие к подсказке самого Маркса насчет переворачивания диалектики, стоявшей на голове, в такое положение, когда она способна шагать собственными ногами, но без открытого упоминания о роли в этом деле английской классической политэкономии. Следует добавить еще, что в том же письме Грамши напоминает о проблеме трех источников (то есть о двух предыдущих в сочетании с французской политической практикой) и заключает: «Что классическая английская политическая экономия способствовала развитию новой философии — общепризнано, но относится это обычно к теории стоимости Рикардо. Мне кажется, что надо пойти дальше и установить вклад, внесенный английской политической экономией, вклад, так сказать, синтетический, то есть относящийся к восприятию мира и образу мышления, а не только аналитический, касающийся какой-либо одной определенной доктрины, пусть даже основополагающей. Работая над подготовкой критического издания произведения Рикардо, П[ьеро] мог бы подобрать ценный материал по этому вопросу. Во всяком случае, пусть он узнает, была ли опубликована какая-нибудь работа, в которой освещаются эти вопросы и которая могла бы оказаться мне полезной в тюремных условиях»¹¹².

Чтобы понять значение этого синтетического расширения рикардианства и попыток придать ему характер общей мировоззренческой теории, нужно вернуться к основополагающим пунктам формирования Грамши как мыслителя. Рабочий класс со своей органической интеллигенцией выступает для него как единственная возможная основа образования нового типа производителя, хранящего верность своему, так сказать, фаустовскому обязательству развивать знания и техническое могущество человека. В силу этого изображенная Рикар-

¹¹¹ A. Gramsci. Lettere dal carcere. Torino, 1975, p. 628—629 (А. Грамши. Избранные произведения, т. II, с. 232).

¹¹² Ibid., p. 630 (А. Грамши, там же, с. 233).

до ненасытная жажда наживы у капиталистов уже содержит некое мировоззрение, которое может быть наследовано социализмом в самой бескорыстной, то есть коллективной, форме. Повод для размышления здесь в том, что мы называли «фаустовским» аспектом проблемы, и этот аспект может выжить в новых исторических условиях и в контексте «нового житейского смысла», между тем как старое мировоззрение, основанное на жажде обогащения, может быть опрокинуто в своих внешних аспектах именно на основе того принципа понижения нормы прибыли, важность которого Грамши вполне понимает, потому что «расширенное применение новых методов вызывает вереницу кризисов, каждый из которых вновь ставит те же проблемы растущих издержек производства, и потому, как представляется, эти кризисы приобретают циклический и регулярный характер... Таким образом, в основе американизма лежит закон-тенденция нормы прибыли к понижению, выступающий в качестве причины ускорения темпов прогресса трудовых и производственных методов и модификации традиционного типа рабочего»¹¹³.

Интерес к Рикардо у Грамши объяснялся еще и тем, что социализм ленинского типа, подобно американизму, также начал проявлять мощную тенденцию к индустриализму. Открылась новая историческая фаза, когда сначала при Ленине, а потом в ходе первых пятилеток было доказано, что развивать производство можно и без побудительного мотива в виде безумной гонки за постоянным снижением производственных затрат. По этому поводу Грамши замечает, что Маркс выработал «оригинальное и цельное мировоззрение». Он «является интеллектуальным родоначальником исторической эпохи, которая, вероятно, продлится века, то есть до тех пор, пока не исчезнет политическое общество и установится общество упорядоченное. Только тогда его мировоззрение будет превзойдено (концепция необходимости, превзойденная концепцией свободы). Проводить параллель между Марксом и Ильичем с целью расставить их по ступенькам какой-то иерархической лестницы — это нелепость и пустая трата времени: они выражают две фазы — науку и действие, которые являются однородными и разнородными в одно и то же время»¹¹⁴.

Таким образом, мировоззрение, представленное Лениным как выражение фазы действия, подготавливает новую научную интерпретацию действительности и становление человека нового типа, который отличается тем свойственным новым производителям качеством, что, даже продолжая свой «фаустовский» бег к вершинам развития, действует в рамках

¹¹³ A. Gramsci. Quaderni..., cit., p. 1313.

¹¹⁴ Ibid., p. 882 (А. Грамши. Избранные произведения, т. III, с. 74).

гегемонии «коллектива». В то время как Й. Шумпетер предрекал упадок как неизбежный результат преобразования капитализма, Грамши думал о длительном историческом периоде, когда станет необходимо вывести рабочий класс из-под влияния распределительного субъективизма. Замыкание деятельности рабочего класса только на сфере распределения благ оставляло ему лишь одну возможность — ведение экономической борьбы, носившей преимущественно стихийный характер удовлетворения непосредственных требований. Между тем в грамшианском интересе к Рикардо виден замысел наделить нового производителя способностью к руководству экономикой в соединении с критикой старого мировоззрения. Следует признать, что применительно к этому замыслу Грамши становится важным тот вид действий, который хотя и односторонне, но был теоретически предвосхищен Рикардо, а затем дополнен теорией общего исторического развития; и важен он не только потому, что приводит к учению Маркса, но и позволяет понять, что, несмотря на замену одних главных участников экономической деятельности другими, преемники усваивают некоторые черты своих предшественников.

Однако, возвращаясь к переписке Грамши с сестрой его жены, следует сказать, что эта тема не получает в его письмах дальнейшего развития. В предыдущих посланиях к Тане в центре его размышлений находился Б. Кроче, ибо она просила его писать ей об этом в связи с намерением опубликовать рецензию на вводные главы «Истории Европы XIX века» Кроче¹¹⁵. В письме от 2 мая 1932 года Грамши наметил для нее «несколько отправных положений, из которых следует исходить при работе над книгой Кроче». Кроче как ревизионист, писал Грамши, способствовал «возникновению экономико-юридического течения в историографии»; теперь же он «облек в литературную форму концепцию истории, которую он именует этико-политической; образцом такого историографического направления должна была стать „История Европы“»¹¹⁶. Затем он показывает разницу между «ревизионистской» фазой неаполитанского философа и его «этико-политической» фазой и определяет эту последнюю следующим образом: «Можно твердо сказать, что Кроче, рассматривая историко-политическую деятельность, делает упор исключительно на тот момент, который в политике называется «гегемонией» согласия, гегемонией, осуществляемой через сферу культуры в отличие от момента насилия, принуждения, зако-

¹¹⁵ Речь идет о лекции, прочитанной Б. Кроче 3 февраля 1931 года в Академии нравственных и политических наук Неаполитанского королевского общества.

¹¹⁶ Ibid., p. 615 (А. Грамши. Избранные произведения, т. II, с. 225).

нодательного, государственного и полицейского вмешательства»¹¹⁷.

Заключение Грамши о двух сторонах философского творчества Кроче (ревизионистской и этико-политической, или, если угодно, гегемонистской) звучит следующим образом: «По правде говоря, непонятно, почему Кроче верит в то, что такая концепция истории способна привести к окончательной ликвидации философии *практики*».

Случилось, однако, так, что в тот же период, когда Кроче изготовлял свою так называемую «палицу», крупнейшие современные теоретики философии *практики* стали разрабатывать эту философию в том же направлении, и момент «гегемонии», или руководства, осуществляемой через сферу культуры, был подвергнут последовательной переоценке в борьбе с механистическими и фаталистическими концепциями экономизма. Можно даже утверждать, что главной чертой новейшей фазы развития философии *практики* является именно историческо-политическая концепция „гегемонии”»¹¹⁸.

В следующем письме Тане от 9 мая 1932 года Грамши проводил очень тщательное разграничение между «спекулятивной», или «философской», историографией и историографией этико-политической. В оппозиции к марксизму, писал он, находится именно этот первый аспект крочеанской историографии, а не второй: «Этико-политическая история не отвергается историческим материализмом, поскольку она является историей момента «гегемонии»; отвергается «спекулятивная» история — как и вообще всякая «спекулятивная» философия»¹¹⁹.

Грамши полемизирует затем с крочеанским приписыванием марксизму идеи базиса как «скрытого божества истории» и отвергает предложенную Кроче периодизацию как истории Европы, которую тот начинает с 1815 года, оставляя в стороне ее бурное революционное начало, так и истории Италии, которую Кроче ведет лишь с 1870 года, то есть «опускает фактор борьбы, экономический фактор и перевозит один лишь этико-политический фактор, как будто последний свалился с неба»¹²⁰. Пункт слияния размышлений о Рикардо и размышлений о Кроче заключался, таким образом, в том, что неспекулятивная философия призвана, по Грамши, опровергнуть идею базиса, понимаемого как нечто застывшее и детерминирующее в механистическом смысле, и одновременно должна суметь использовать этико-политический аспект, рассматривая его уже не абстрактно, но как внутренний компонент экономического развития.

¹¹⁷ Ibidem (там же).

¹¹⁸ Ibidem (там же, с. 225—226).

¹¹⁹ Ibid., p. 619 (там же, с. 227).

¹²⁰ Ibid., p. 620 (там же, с. 228).

Мы возвращаемся, таким образом, к проблеме вклада Рикардо в формирование мировоззрения и методологии Маркса. Расспросив Сраффу по этому вопросу, Таня сообщает Грамши о его реакции: «Можешь легко вообразить, насколько твои замечания заинтересовали Пьеро. Однако он пишет, что по поводу главного наблюдения, насчет значения Рикардо в истории философии, он должен еще подумать; и, чтобы как следует понять его, ему нужно подзаняться Рикардо больше, чем им занимались, как он считает, первые теоретики философии практики. Но он хотел бы получить кое-какие разъяснения относительно тех двух понятий — «определенный рынок» и «закон-тенденция», — которые ты называешь фундаментальными и, беря их в кавычки, вроде бы наделяешь техническим смыслом. Пьеро признается, что не вполне понимает, к чему они относятся и, что касается второго, говорит, что привык рассматривать его скорее как одну из отличительных черт вульгарной политэкономии. Как бы то ни было, оценить философское значение Рикардо, если оно действительно есть, очень трудно, поскольку он сам, в отличие от философов практики, никогда не склонялся к тому, чтобы рассматривать собственное учение в историческом аспекте. Да и вообще он никогда не становится на историческую точку зрения и, как уже было сказано, рассматривает законы общества, в котором живет, как неизменные законы природы»¹²¹.

Неизвестно, получил ли Грамши это письмо Тани, но, если и получил, то остался тверд в своем убеждении о наличии у Рикардо понятий «закон-тенденция» и «определенный рынок», а также о его глубинном философском имманентизме. Грамши действительно нашел у Рикардо термин «тенденция», в частности в связи с понятием закона. Чтобы удостовериться в этом, достаточно прочесть следующую выдержку из Рикардо, где рассуждение о классе капиталистов приобретает, на взгляд Грамши, ту конкретность, которая является полной противоположностью как метафизике «автоматизма» (или «практико-инертного»), так и метафизике «скрытого божества»: «Но если мы принимаем труд за основу стоимости товаров, а сравнительное количество труда, необходимого для их производства, за регулятор, определяющий соответственные количества товаров, которые должны обмениваться друг на друга, то из этого еще не следует, что мы отрицаем случайные и временные отклонения действительной

¹²¹ Письмо Татьяны Шухт от 5 июля 1932 года. Далее в этом письме приводятся некоторые библиографические рекомендации П. Сраффы. Однако Сраффа независимо от этих рекомендаций расценивает проблему, поставленную Грамши, как внутренний вопрос марксизма. Отсюда его совет Грамши раздобыть юношеские сочинения Маркса 1844 года, которые вышли в Германии как раз в 1932 году.

или рыночной цены товаров от этой их первичной или естественной цены... С повышением или падением цен прибыль поднимается выше или опускается ниже общего уровня, а прилив и отлив капитала к известной отрасли промышленности, в которой произошло такое изменение, то поощряется, то задерживается... Это неугомонное стремление всех капиталистов оставлять менее прибыльное дело для более прибыльного создает сильную тенденцию приводить прибыль всех к одной норме или устанавливать между ними такую пропорцию, какая... уравнивает... преимущества одних перед другими»¹²².

В этом отрывке выявляется процесс взаимодействия между поступками людей, направленными на достижение некоей цели и охватывающими определенные социальные группы (промышленные производители, капиталисты), с одной стороны, и сопротивлением, на которое эти поступки и решения наталкиваются, которое дисциплинирует их и выстраивает в определенные закономерности — с другой. Экономическая наука лишается здесь как своих элементов механистической необходимости, связанных с понятием «скрытого божества», так и элементов чистой инерции, или автоматизма, действующих вне и превыше определенных социальных отношений. В весьма известном фрагменте из тетради № 11, озаглавленном «Введение в философию», Грамши вновь настаивает на идее вклада, внесенного, по его мнению, в имманентизм философии практики этим описанным Рикардо процессом взаимодействия. Вначале он задается вопросом: «Каким образом возникло в голове основателя философии практики понятие закономерности и необходимости в историческом развитии?» «Вряд ли, — отвечает он, — оно было производным от естественных наук; следует думать скорее о разработке понятий, возникших на почве политической экономии, особенно в той форме и при помощи той методологии, которыми обогатил экономическую науку Давид Рикардо. Например, понятие и явление «определенного рынка» и то научное открытие, что определенные решающие и постоянные силы появились исторически и что они действуют с известным «автоматизмом», который позволяет «предугадывать» в определенной мере и с определенной уверенностью результат индивидуальных начинаний, согласующихся с этими силами после их научного выявления и осмысления. Сказать «определенный рынок» — это все равно что сказать «определенные отношения социальных сил в производственном аппарате определенного базиса», отношения, гарантированные (в смысле — увековеченные) определенной политической, моральной и юридической надстройкой. После

¹²² Д. Рикардо. Соч. М., 1941, т. 1, с. 44—45.

того как ученый выявил эти решающие и постоянные силы и их стихийный автоматизм... он, в порядке гипотезы, возвел в абсолют сам автоматизм, изолировал чисто экономические факты от более или менее значительных комбинаций, в которых они практически выступают, установил отношения причины и следствия, предпосылки и вывода и дал, таким образом, абстрактную схему определенной экономической формации...»¹²³

Это высказывание (его можно истолковать также и как ответ на возражение Сраффы по поводу «определенного рынка»), вводя в анализ исторически обусловленный человеческий выбор (пусть даже «закрепленный» в относительно постоянных «верованиях»), ограничивает действие автоматизма, на котором настаивали Бергсон и Сорель. Грамши останавливает абстракцию экономической науки на том уровне, где могут по-прежнему совместно действовать базис и надстройка, производство и государство. Автоматизм при этом рассматривается как результат относительно постоянной деятельности социальных сил, основанной на закономерностях, которые не сводятся к сорелевскому естественному праву, то есть к одному лишь насилию. Именно в полемике с этим последним понятием Грамши ввел категорию «законов-тенденций», которые являются законами «не в смысле натуралистическом и спекулятивно-детерминистском, а в смысле «историческом», то есть действующими постольку, поскольку проявляет себя «определенный рынок», или, другими словами, живая и органическая связанная в движениях своего развития среда»¹²⁴.

Эту попытку интерпретировать некоторые тезисы Рикардо можно рассматривать как один из основополагающих элементов обоснования той критики, которой Грамши подвергает Кроче. Эта критика, напомним, нацелена, с одной стороны, на правильное прочтение ранних крочеанских «опровержений» Маркса, а с другой — на решительное отклонение идеи о базисе как «скрытом божестве». По первому пункту Грамши стремится опрокинуть критику Кроче в адрес марксизма; по второму же его усилия сосредоточены на восстановлении в правах идеи этико-политического, на прослеживании ее связи с идеей надстройки у Маркса и Энгельса и с идеей политики у Ленина, на резком отпоре метафизике базиса как «скрытого божества». Первая часть есть переосмысление «Капитала», который, будучи пропущен через призму критики крочеанства, утрачивает всякий налет механистичности. Выдвинутое Марксом в третьей книге «Капитала» положение

¹²³ A. Gramsci. Quaderni... cit., p. 1477—1478 (А. Грамши. Избранные произведения, т. III, с. 101—102).

¹²⁴ Ibid., p. 1247—1248 (А. Грамши. Избранные произведения, т. III, с. 91—92).

о том, что законам-тенденциям противостоят обратные тенденции, ограничивающие сферу действия первых, становится для Грамши генеральным принципом, оставляющим поле борьбы открытым для «предвидения». «В очерке о тенденциальном падении нормы прибыли следует отметить фундаментальную ошибку Кроче. Эта проблема уже поставлена в первом томе «Критики политической экономии», в том месте, где говорится об относительной прибавочной стоимости и о техническом прогрессе, который служит средством получения относительной прибавочной стоимости... Кроче выставляет в качестве возражения против теории, изложенной в третьем томе, ту часть учения, которая содержится в первом томе, то есть выдвигает в качестве возражения против закона о тенденции нормы прибыли к понижению доказательство существования относительной прибавочной стоимости, получаемой благодаря техническому прогрессу, ни разу не упомянув о первом томе, словно это возражение вышло из головы самого Кроче или даже явилось плодом обыкновенного здравого смысла».

Прямо ссылаясь на Маркса, Грамши пишет: «Поскольку всякий закон в политической экономии может быть только тенденциальным, учитывая, что он выводится путем выделения некоего числа элементов и соответственно игнорирования противодействующих факторов, следует, по-видимому, различать большую или меньшую степень тенденциальности. К тому же, если обычно прилагательное «тенденциальный» предполагается как нечто само собой разумеющееся, то оно становится предметом особого внимания, когда тенденциальность приобретает значение органически важной черты, как в данном случае, где падение нормы прибыли изображается в качестве противоречивого аспекта другого закона — о производстве относительной прибавочной стоимости. В этом случае один закон стремится перечеркнуть другой в предвидении того, что тенденция к понижению нормы прибыли возьмет верх»¹²⁵.

Рассуждение Грамши целиком основано на выявлении конфликта тенденций и на предвидении того, что одна из них восторжествует над другой. В этом контексте, сводя, так сказать, вничью столкновение между тенденцией и обратной тенденцией, он фактически рассматривает (в исторически определенной ситуации, но не в длительной перспективе и не в принципиальной плоскости) противоречие между двумя законами как малопродуктивное с точки зрения предвидения. Хотя в других местах «Тетрадей», как мы увидим, он формулирует эту проблему несколько иначе, это нисколько не умаляет того факта, что здесь он отходит на максимально

¹²⁵ Ibid., p. 1278—1279.

доступную ему критическую дистанцию от позиций жесткого автоматизма и инерции. Это удастся ему потому, что он дополняет слабое предвидение, опирающееся на конфликт между производительными силами и общественными отношениями, другим типом предвидения, вводящим в игру надстройку, которые в сочетании с вышеупомянутым базисом образуют «исторический блок». Мы можем заключить, таким образом, что Грамши пришел через критику «исторического материализма» Кроче к пониманию экономики как определяющего в конечном счете элемента, хотя с исторической точки зрения этот случай плохо поддается предвидению вследствие динамического равновесия внутренних противоречий между законом развития производительных сил и способностью социальных сил противостоять ему. Поэтому предвидение здесь гораздо больше зависит от активного импульса, исходящего от надстроек, от идеологий и проявляющегося как критическое осмысление ложного сознания. Так, далеко идущий маневр на «окружение», предпринятый крочеанской философией, фактически приводит к ее преобразованию и модификации.

8. Столкновение с Кроче и подход Грамши к философии практики

Стержнем той части исследования Грамши, которую мы разбирали до сих пор, является представление о характере связи базиса и надстройки. Эта связь не обязательно является детерминистской, но она такова, что ее последствия зависят от интенсивности разных по своей природе импульсов, возникающих внутри «исторического блока». Внешне эти импульсы проявляются как «слабое предвидение» в противоречиях базиса и как «сильное предвидение» во взаимоотношениях между надстройкой и базисом. Грамши освободился от бергсоновской и отчасти сорелевской концепции, согласно которым базис есть чистый автоматизм, голая регулярность, простая инерция и что в силу этого никакой историчности способа производства не существует. В то же время, отстояв положение о противоречиях внутри базиса, он не видел в этом единственную пружину развития. Соответствующий тезис ортодоксального марксизма на этот счет вызывает у него резко полемическую реакцию. Лишь через критику крочеанских возражений Марксу Грамши открывает для себя способ связать свою теорию «сильного предвидения» (то есть в данных условиях надстроечного) со «слабым предвидением» (то есть базисным, структурным). Разумеется, когда мы говорим о «слабом предвидении», мы относим его к исторической ситуации (так, в Соединенных Штатах маневренная война, рождающаяся из базисных струк-

тур, все еще возможна: «предвидение» сохраняет здесь сильный характер). Однако грамшианская критика Кроче здесь видоизменяется парадоксальным образом. Ранее «инерция» рассматривалась Грамши как черта, присущая базису, определяемому как зона повторяемости и автоматизма. Теперь же выявленная слабость крочеанской философии побуждает Грамши выдвинуть гипотезу о способности инерции охватывать как базис, так и надстройку и порождать новую форму пассивности, а значит, и нулевого предвидения. Эта новая логико-историческая ситуация характеризуется прежде всего сокращением преобразовательных способностей надстройки. «Инертное» в построениях Бергсона и Сореля вело в конечном счете к «высвобождению» некоего «жизненного порыва» в сфере, граничащей с иррациональным. В то же время крайне слабый «этико-политический» элемент (у Кроче), не закрепленный в относительно постоянном предвидении, приводит к пониманию «практико-инертного» как лишнего, иррациональных реакций и монотонно повторяющегося, почти автоматического по своим практическим последствиям, как у Бергсона.

Тем не менее Кроче верно отражает реальную историческую ситуацию. И Грамши, пытаясь раскрыть смысл такого рода ситуаций, задается вопросом, что можно понимать под крочеанским термином «революция-реставрация» или под понятием «пассивная революция», введенным В. Куоко. Он говорит об этом в связи с ролью неогвельфов в национально-освободительном движении Италии до 1848 года и гегельянцев второй половины XIX века, наследовавших умеренный образ мыслей неогвельфов. «Гегельянство», с которым он воюет, в теоретическом отношении принадлежит к тому же типу мышления, что и Прудон; оно сводило диалектику до игры с предустановленными правилами — как на идеальном ринге; и результатом этого оказалась урезанная действительность противоречия.

Ограничение предвидения лишь повтором определенных явлений, подмена решительных сдвигов крайне медленными мутациями — это черты, присущие итальянскому Рисорджименто и вообще любым «пассивным революциям». Грамши пишет о них как о процессах, где «главными действующими лицами оказываются, так сказать, «факты», а не «индивидуальные люди»... [и где] под определенной политической оболочкой с необходимостью идет изменение основных общественных отношений, возникают и развиваются новые реальные политические силы, косвенно, путем медленного, но неодолимого давления воздействующие на официальные институты, которые сами изменяются, незаметно или почти незаметно для себя»¹²⁶.

¹²⁶ Ibid., p. 1818—1819.

Здесь выявляется некая связь между отсутствием предвидения и автоматизмом движения исторических фактов. Все слагающие развития или смены одного способа производства другим налицо (базис, надстройка и т. д.), но результатом все равно оказывается история как монотонное повторение. То, что критика здесь заострена в особенности против философии Кроче и его диалектики различий, подтверждается, как мы уже указывали выше, крочеанским истолкованием Рисорджименто. Грамши повторяет свою резкую критику в его адрес, в частности, в следующих строках: «Случайно ли или в угоду тенденциозности Кроче начинает свои исторические повествования соответственно с 1815 и 1871 годов, то есть абстрагируется от момента борьбы, от момента, когда вырабатываются и объединяются противоборствующие силы? От момента, когда одна этико-политическая система распадается, а другая создается огнем и железом? Когда одна система общественных отношений теряет связанность и приходит в упадок, а другая возникает и утверждается? И вместо этого безмятежно принимает за историю момент культурной или этико-политической экспансии?.. Возможно, не лишено смысла, что фашизм в первые годы своего развития утверждал, что связывает себя с традицией старой, или исторической, правой».

Кроче, таким образом, способствовал лишь очищению фашизма от «некоторых второстепенных черт поверхностно романтического порядка»¹²⁷. Гипотеза, которую выдвигает Грамши, заключается в том, что эта крочеанская редукция явилась в некотором роде прикрытием сути фашизма, состоящей в сохранении законов прибыли и частнокапиталистического присвоения при иллюзорном введении отдельных элементов «планирования», имеющего скорее политико-идеологическое, чем экономическое значение. Это еще один случай исторического движения, которое следует интерпретировать, по сути дела, как повторение и отсутствие предвидения. Данные замечания вместе с тем не умаляют важности того, что мы сказали выше по поводу роли, которую Грамши приписывает Кроче. Мы знаем, что он считает полезным и необходимым «обратный перевод» крочеанской концепции с ее спекулятивного языка на язык реалистического историзма философии практики¹²⁸. Тем не менее скрытый порок философии Кроче продолжает оставаться все тем же — это отсутствие «закрепления» стабильных (в том числе и надстроечных) условий, которые бы делали возможным предвидение, и их подмена повторяемыми и неопределенными элементами. Например, расхожее утверждение о том, что вся

¹²⁷ Ibid., p. 1227—1228.

¹²⁸ Ibid., p. 1229.

история есть история движения к свободе, заимствованное у Гегеля и синтезированное в знаменитой формуле крочеанской «религии», лишает смысла реальную историческую проблему, которая заключается в создании на практике таких форм свободы, которые соответствовали бы потребностям эпохи.

Высшей точкой философии Кроче и одновременно тем пунктом, в котором он продемонстрировал усвоение некоторых аспектов марксизма, является, по мнению Грамши, его особая доктрина заблуждения и практических корней такового,—доктрина, связанная с его теорией «страсти» и «видимости». Заблуждение, по Кроче, проистекает из «страсти», которая, однако, всегда остается только индивидуальным или, самое большее, групповым чувством. Она не может закрепиться в политической партии. «Но чем порождается «страсть», имеющая более широкое историческое значение, «страсть» как «категория»?» Практически заблуждение может возникать лишь как индивидуальное свойство, но оно приобретает более общий размах, когда мы рассматриваем его «в чисто «историческом» и диалектическом смысле — в смысле того, «что является исторически отжившим и подлежит гибели» в смысле «незавершенности» всякой философии, в смысле «жизнь-смерть», «бытие-небытие», то есть в смысле диалектического предела, который должен быть преодолен в развитии»¹²⁹.

Грамши в принципе не отказывается от диалектики различий, но он интерпретирует ее не спекулятивно, а связывает с неодинаковостью главных потребностей каждой эпохи и основных видов деятельности в разные времена. Поэтому он задается вопросом, существует ли (если принять как данное «крочеанский принцип диалектики различий») исключительно спекулятивное решение «импликации в единстве духа» или же возможно также историческое решение, вытекающее из понятия «исторический блок», предположение о котором выдвигал Сорель¹³⁰. В разные эпохи различные виды деятельности не могут рассматриваться в одной и той же плоскости. И кстати говоря, в сложном соотношении между единством и различием сам Кроче подспудно признает приоритет экономических явлений, то есть базиса, как отправного момента и источника диалектического импульса для надстроек, или, иначе говоря, «различные моменты духа»¹³¹. Это признание тем не менее, как мы знаем, малоэффективно с точки зрения исторического предвидения. В свою очередь вышеупомянутые различия, хотя и являются «оправданием против догматиз-

¹²⁹ Ibid., p. 1569—1570 (А. Грамши. Избранные произведения, т. III, с. 123).

¹³⁰ Ibid., p. 1316 (см. там же, с. 122—123).

¹³¹ Ibidem.

ма»¹³² именно потому, что препятствуют стремлению «фиксироваться» и закрепляться, сами по себе все же таковы, что единство «страсти» и «внешнего проявления» в них не способно сложиться в теорию преобразования. Констатируется преходящий характер верований, но не предусматривается никакого конкретного способа действий, которые могли бы привести к замене того, что стало лишь «внешним проявлением». Единственным возможным решением для Грамши является такое взаимоотношение между «страстью» и «внешним проявлением», которое развивается исторически, а не только психологически¹³³. В одном из сопоставлений философии Кроче с философией практики, где вновь затрагивается тема «различия форм» как редукции проблемы надстроек, Грамши пишет: «Доктрина Кроче есть не что иное, как философия практики, редуцированная до некой частной доктрины. В этом случае ошибка Кроче есть иллюзия философов практики. Но ошибка и иллюзия применительно к этой философии должны означать лишь преходящие «исторические категории», необходимые для изменения практики, то есть постулировать историчность философий, а к тому же давать реалистическое объяснение всех субъективистских концепций действительности. Теория надстроек есть философское и историческое преодоление субъективистского идеализма»¹³⁴.

Таким образом, Грамши критикует Кроче за сведение к субъективизму одного из общих аспектов философии практики, а именно того, что заблуждение и истина определяются и различаются в реальном историческом процессе. Защищать исторически отживший институт или норму поведения — это и означает впасть в ошибку¹³⁵.

¹³² Ibid., p. 1570.

¹³³ Термин, несомненно, взят у Маркса, но Грамши критикует его редукцию к чисто «внешнему проявлению» (Schein) некоей скрытой действительности.

¹³⁴ Ibid., p. 1290.

¹³⁵ Существует определенная связь между этой критикой в адрес Кроче и критикой, которую Грамши обращает против прагматистов, и в частности Дж. Преццоллини (см.: *Giuliano il Sofista. Il linguaggio come causa di errore*, cit.). Очерк Преццоллини, однако, касается не столько прагматизма, сколько «контингентизма» в широком смысле слова. Язык есть причина ошибок, поскольку слова «фиксируют и деформируют внутренний мир» (ibid., p. 8). Принимая во внимание, что «каждая группа формирует собственный язык» (ibidem), любой язык, становясь языком группы, утрачивает свой «уравнительный и демократический» (по мнению Преццоллини, разумеется, негативный) характер (ibid., p. 12). Поскольку наука нуждается в языке, а ошибка от него неотделима, Преццоллини предлагает своего рода «выбор» между некоммуникабельностью (ibid., p. 14) и языком-действием. Свобода языка есть открытая философией прагматистов возможность быть «расплывчатым, туманным и неточным» (ibid., p. 19). Что особенно поразило Грамши в этом очерке и побудило сблизить его мысли с идеями Парето, — это восхваление языка узких интеллигентских и аристократических групп. Напротив, в очерке прагма-

Критикуя проявляющееся у Кроче обособление этико-политического момента, который в силу этого утрачивает всякую способность «закреплять» идеологии, Грамши пишет: «Идея конкретного (исторического) значения надстроек в философии практики должна быть углублена сближением ее с сорелевским понятием «исторического блока». Если люди осознают свое общественное положение и свои задачи на почве надстроек, это означает, что между базисом и надстройками существует необходимая и кровная связь»¹³⁶.

Если вернуться к первоначальному значению слова «идеология» как науки об идеях, то и в этом случае идеи происходят от ощущений, и мы вновь впадаем в крочеанское рассуждение о «страсти». Сенсуализм может «без особого труда соединяться с религией и даже с крайностями веры в «могущество святого духа» и «бессмертие его судьбы». Так произошло и с Мандзони, который даже после своего обращения в католическую веру (или возврата к католицизму), даже когда он писал «Священные гимны», оставался принципиальным приверженцем сенсуализма до тех пор, пока не познакомился с философией Розмини»¹³⁷.

Маркс же выводит идеи не из «чувствования», а из общественных отношений, и Грамши прочерчивает две встречные линии возможного движения познания. Может быть «переход от знания к пониманию, к чувствованию и наоборот — от чувствования к пониманию, к знанию. Народный элемент «чувствует», но не всегда понимает или знает; представитель интеллигенции «знает», но не всегда понимает и в особенности не всегда „чувствует”»¹³⁸.

Для закрепления идей необходимо соединить между собой обе эти крайности, обе ошибки. Без такой связи между интеллигенцией и народом-нацией невозможна никакая политика: «Только если отношения между интеллигенцией и народом-нацией, руководителями и руководимыми, управляющими и управляемыми характеризуются органической близостью, где чувство-страсть становится пониманием и, следовательно, знанием (но не механическим, а живым), только тогда отношения становятся действительно представительными, происходит нормальный обмен индивидуальными эле-

тиста Дж. Вайлати (см. *G. Vailati. Il linguaggio come ostacolo di contrasti illusori.* — In: *Id. Scritti.* Firenze, 1911) он подчеркивает взаимосвязь между объединительной ролью культуры и различными препятствиями языкового характера (см.: *A. Gramsci. Quaderni... cit.,* p. 13). Грамши, как известно, трактует языковую унификацию как процесс освобождения подневольных классов и начало перехода к новым гегемониям. Его взгляд на вещи поэтому весьма отличен от подхода прагматистов.

¹³⁶ Ibid., p. 1321.

¹³⁷ Ibid., p. 1490 (*А. Грамши. Избранные произведения, т. III, с. 70*).

¹³⁸ Ibid., p. 1505.

ментами между управляемыми и управляющими, между руководимыми и руководителями, то есть жизнь реализуется во всей ее полноте как единственная социальная сила, и, таким образом, создается исторический „блок”»¹³⁹.

Чувствование есть лишь первый момент коагуляции общественных отношений; знание представляет собой конечный пункт этого процесса, но на каждом этапе возникает необходимость пройти этот новый путь в обратном направлении, возвратиться к чувству. Кроче увидел лишь возможные практические последствия такой идеологии, главной основой которой является все еще страсть, чувство. Грамши, напротив, утверждает, что чувство-мысль выявляет то истинное, что может быть возвращено к жизни из Марксовой теории происхождения идеологий от общественных отношений путем установления связи между этой теорией и развитием знания. Этому грамшианскому тезису может быть приписан уже известный нам политический смысл: с одной стороны, необходимо вывести массы из состояния пассивности, с другой — связать работу интеллигенции с самой сокровенной жизнью масс и всего общества. Однако в данный момент нас интересует философский аспект. Если «чувствование» в философии практики есть «идеология», а не природа, это означает, что оно уже обладает характером «понятия», «категории». Эволюция же этого характера есть движение знания, соотношенное с историчностью человека. Отвергая упрощенное и безопасное предвидение «вульгарного эволюционизма»¹⁴⁰ и позитивизма, Грамши в действительности концептуализирует своего рода «методологический реализм», исходной точкой которого является «понятие», имплицитно присущее чувствованию, а конечным пунктом служит «знание», развивающееся и закрепляющееся в практике. Разбирая вопрос о существовании «внешней действительности», он говорит: «Высказав утверждение, что то, что мы познаем в вещах, есть не что иное, как мы сами, наши нужды и наши интересы, что наши познания, иначе говоря, есть надстройки (или философии, не претендующие на окончательность, завершенность), трудно отказаться от мысли, что что-то реальное все же существует по ту сторону нашего познания, существует не в виде метафизического «ноумена», или «неведомого бога», или «непознаваемого», а в смысле конкретной, «относительно неведомой» действительности, чего-то, что еще не познано», но что сможет быть познано в один прекрасный день, когда «физические» и «умственные» инструменты людей станут более совершенными, то есть когда изменятся в прогрессивном направлении социальные и технические условия человечества.

¹³⁹ Ibid., p. 1505—1506.

¹⁴⁰ Ibid., p. 1430.

Мы прибегаем в этом случае к историческому предвидению, которое состоит в простом мыслительном акте, проецирующем в будущее процесс развития таким, каким он выявлен нами с древнейших времен и до наших дней»¹⁴¹.

Методологический реализм идей, на который мы указали выше, состоит, таким образом, в этих критических потенциях, в этом возможном развитии знания, объективность которого проявляется в успехе предвидения. На одной из страниц тетради № 15 под рубрикой «О категории предвидения или перспективы» Грамши пишет: «Бесспорно, что предвидеть означает лишь правильно видеть настоящее и прошлое как находящиеся в движении; правильно видеть означает точно определять основные и постоянно существующие элементы процесса. Но абсурдно думать о чисто «объективном» предвидении. У того, кто выступает с предвидением, в действительности есть определенная «программа», победы которой он желает, и предвидение является именно элементом такой победы. Это не означает, что предвидение всегда должно быть произвольным и необоснованным или совершенно тенденциозным. Можно даже сказать, что лишь в той мере, в какой объективный аспект предвидения связан с программой, этот аспект обретает объективность»¹⁴².

Методологический реализм, следовательно, завоевывает объективность изнутри предвидения, учитывая, во-первых, что «страсть» обостряет интеллект, а во-вторых, что как приложение чужой, так и применение своей собственной воли суть объективные элементы. Грубая ошибка полагать, что достаточно строгого и последовательного мировоззрения, чтобы добиться, так сказать, гранитной прочности закрепленных верований. Конечно, все это важно, но подлинное значение это получает лишь «в работающем мозгу того, кто делает предсказания и проводит их в жизнь своей сильной волей»¹⁴³. Предвидения людей, лишенных страсти, малосущественны, ибо «лишь наличие у того, «кто предвидит», требующей своего осуществления программы приводит к тому, что он сосредоточивает свое внимание на главном, на тех элементах, которые, поддаваясь организации, допуская, чтобы их вели вперед или уводили в сторону, являются в действительности единственными элементами, которые можно предвидеть»¹⁴⁴.

То, к чему Грамши стремится, есть метод, который он называет методом «живой филологии»; это плод тесной связи между широкими массами и руководящей группой. Ведя речь об условных и искусственных теоретических построениях, на-

¹⁴¹ Ibid., p. 1291 (А. Грамши. Избранные произведения, т. III, с. 61).

¹⁴² Ibid., p. 1810 (там же, с. 158).

¹⁴³ Ibid., p. 1811 (там же, с. 159).

¹⁴⁴ Ibidem (там же).

ставивая на их имплицитной историчности и требуя соответственно такого их отбора, который приблизил бы к этой искусственности то, что современные логики определили бы как «релевантность», он пишет: «Эти суждения реальны, соответствуют реальным фактам, позволяют странствовать по суше и по морю и прибывать именно туда, куда решено было прибыть, «предвидеть» будущее, объективизировать действительность, постигать объективность внешнего мира. Рациональное и реальное отождествляются. По-видимому, не поняв этой связи, нельзя понять и философию практики, ее позицию по отношению к идеализму и механистическому материализму, значение и смысл учения о надстройках»¹⁴⁵.

В одной из центральных заметок в тетради № 13, озаглавленной «Макиавелли», Грамши возобновляет свою полемику против неприязни Кроче к политическим партиям и его «постановки вопроса о «предвидении» социальных событий»¹⁴⁶. Грамши пишет в примечании: «Если социальные события нельзя предвидеть и сама теория предвидения — лишь пустой звук, то иррациональное не может не доминировать и всякая организация людей является антиисторичной, является «предрассудком»; остается только одно: время от времени на основе импровизированных критериев решать отдельные практические проблемы, выдвинутые процессом исторического развития... и признать оппортунизм единственно возможной политической линией»¹⁴⁷.

Этот вывод философски связан с критикой «эмпиризма». Как можно отличить одну череду событий от другой, задается вопросом Грамши, имея в виду, вероятно, Пуанкаре. «Как будет происходить отбор фактов для выдвижения в качестве доказательства истинности собственных утверждений, если предварительно не установлен критерий отбора? Но чем же может быть такой критерий отбора, если не чем-то, что стоит выше каждого отдельного исследуемого факта? Речь идет об интуиции, о теоретическом осмыслении, история которого, должно быть, не проста; о процессе, который следует видеть взаимосвязанно со всем процессом развития культуры»¹⁴⁸.

Философия предвидения выступает здесь и как акт скреп-

¹⁴⁵ Ibid., p. 1420.

¹⁴⁶ Грамши ссылается здесь на книгу Л. Лиментани «Предвидение социальных фактов» (см.: *L. Limentani. La previsione dei fatti sociali*. 2a ed. Torino, 1907), о которой Кроче говорит в своих «Критических беседах» (см.: *B. Croce. Conversazione critiche*. 4a ed. Bari, 1950, serie I, p. 150—152). Об этих аспектах теории Лиментани см.: *E. Garin. La „morale anarchica“ di Ludovico Limentani*. — In: AA. VV. *Filosofia e politica. Scritti dedicati a C. Luporini*. Firenze, 1982, p. 26—27, 32—34.

¹⁴⁷ *A. Gramsci. Quaderni...*, cit., p. 1557 (*А. Грамши. Избранные произведения*, т. III, с. 113).

¹⁴⁸ Ibid., p. 1926.

ления, договоренности, выбора, решения. Методологический реализм, подразумевающийся в таком понятии идеологии (сходном с аналогичным понятием у Пирса, если устранить метафизические аспекты, содержащиеся в его трактовке «жизненного смысла»), и объективность предвидения, совпадающего с (рациональной) программой, ограничивают и сдерживают произвол в любых его формах.

Можно, таким образом, заключить, что в философской мысли Грамши совершается переход от «историзма» как теории преходящего характера верований к «философии практики» как инструменту выбора, направления, закрепления подобных верований. Этот аспект является важным и в тех работах, где, как, например, в «Американизме и фордизме», глубинные изменения базиса описываются как происшедшие спонтанно. Вновь касаясь темы разнообразия ритмов исторического времени, Грамши пишет: «Всякое время и среда противоречивы»; человек соответствует своему времени не только, когда сотрудничает «в официальных формах жизни», но и когда ведет против них борьбу. «В распространении американизма, — добавляет он, — может заключаться важная истина. Прогрессивным эпохам может не хватить времени на то, чтобы практически проявить себя в области творчества и идей, и в этом отношении они могут быть отсталыми, филистерскими»¹⁴⁹.

Соответствие своему времени со стороны подневольных классов является в данном случае пассивным, отстает от движения базисных структур, но это не значит, что оно обязательно отсутствует. Решения все равно принимаются, выбор все равно совершается, хотя и делается это классом хозяев. Философия предвидения находится, таким образом, в центре философской мысли Грамши, это его «философия практики». Термин «историзм» служит ей лишь слабым суррогатом. Разумеется, «историзм» помог Грамши, дав ему представление о преодолении и развитии философских идей. В своем более связанном с «традицией» варианте он позволил ему отвергнуть «естественное право», в том виде, как оно трактовалось у Сореля, отождествляясь с монотонным автоматизмом экономики, а стало быть — с осуществлением насилия. Традиция «историзма» позволила ему также высвободить это понятие права как потребность в справедливости, ощущаемая массами. Тем самым он приходит к выводу, что в истории образуются разные уровни истинности идей в зависимости от социальных групп, выступающих их носителями.

Подобная верность традиции, ее непрерывности помогает понять интерес Грамши к лингвистике как в форме семанти-

¹⁴⁹ Ibid., p. 1817.

ки М. Бреалья¹⁵⁰, так и в форме теории «ареалов» М. Бартоли. Именно из слияния между спонтанными движениями, регистрируемыми лингвистикой, и сознанием, заключенным в них, рождается грамшианское выражение «абсолютный историзм». В связи с очерком Н. Бухарина* Грамши пишет как раз по поводу лингвистического и вместе с тем философского обстоятельства, то есть метафоры имманентности**, что «философия практики есть абсолютный «историзм», абсолютно светский и земной характер мышления, абсолютный гуманизм истории. В этом направлении и нужно разрабатывать жилу нового мировоззрения»¹⁵¹. Именно там, где бессознательные движения, прослеживаемые по языковым переменам, порождают новый смысл слов, несводимый к старому, поскольку этот последний есть носитель сознания, приобретающего философский характер, историзм определяется Грамши как «абсолютный». Но подразумеваемое при этом практико-понятийное усвоение является бессознательным лишь по видимости, ибо предполагает решение, выбор, а следовательно — предвидение, то есть отличительные черты

¹⁵⁰ См.: М. Bréal. Essai de sémantique, science de signification. 2^{em}. ed. Paris, 1899. Чтобы понять, что намерен сказать Грамши, нужно внимательно прочесть следующий пассаж Бреалья, который объясняет народную языковую логику, недостаточную, с точки зрения Грамши, в качестве мотива активного исторического движения без вмешательства интеллигенции. Народная логика, пишет Бреаль, «продвигается, так сказать, по этапам. Отталкиваясь от некоей совершенно точно определенной точки, она идет напрямик и не колеблясь приходит к некоему этапу, где силою вещей — я имею в виду содержание высказывания — совершается изменение. Здесь происходит как бы передача эстафеты, причем дальнейшее движение может идти под другим углом, отчего, однако, предыдущее направление может и не прерываться. Получается, таким образом, уже два смысла. Затем то же самое происходит на третьем этапе, где возникает третья линия движения. И так далее. На протяжении всей этой процедуры имеет место не обобщение, а именно движение по ломаной линии, где каждая точка перелома, представляя мысль под иным углом, становится в свою очередь отправным пунктом для новой линии» (р. 244—245). Для отношения Грамши к дискуссии об итальянском национальном языке чрезвычайно важным является следующее его высказывание: «Разве не в этом смысл выдвинутого Мандзони предложения вернуться к господству флорентийского наречия и возражения, противопоставленного ему Асколи, который, будучи исторически мыслящим человеком, заявил, что не верит в языковую гегемонию, вводимую указом, не опирающуюся на культурно-экономическую структуру?» (А. Gramsci. Quaderni..., cit., р. 82). Этот отрывок переписан в новой редакции в тетради № 23, где про Асколи вместо «исторически мыслящий» говорится «более исторически мыслящий»; языковая гегемония становится «культурной», а заключительные слова, «не опирающиеся на культурно-экономическую структуру», заменены на «не имеющую, иначе говоря, опоры в более глубокой и необходимой функции» (р. 2337).

* Имеется в виду «Теория исторического материализма. Популярный учебник марксистской социологии». — Прим. ред.

** Имеется в виду идея самодостаточности марксизма, наличия у него всего необходимого для собственного саморазвития. — Прим. ред.

¹⁵¹ Ibid., р. 1437.

«философии практики». Эта философия, правда, «сама сделалась «предрассудком» и «суеверием»; в своем нынешнем виде она стала народным аспектом современного историзма, но она содержит в себе начало преодоления этого историзма»¹⁵².

Вопрос, следовательно, ставится следующим образом: с одной стороны, есть современный историзм, методологически оснащенный, но неспособный «закреплять» идеологии, раскрывать их социальное происхождение и понятийное содержание; с другой — «абсолютный» историзм, не ставящий перегородок между формационным спонтанным движением и возможными предвидениями, которые на это движение могут опираться; и, наконец, философия практики, которая содержит в самой себе преодоление такого представления, которая показывает нам «уничтожение и распад мира существующей культуры» и вместе с тем указывает на «новые силы, которые не включаются в этот мир, но восстают против него, пусть даже пока бессознательно, и представляют собой эмбриональные элементы новой культуры»¹⁵³. Из всего этого можно сделать вывод, что философия практики использует не только момент преемственности и преодоления, но также момент распада и отмежевания. Кроме того, обладая способностью «закреплять» то, что в момент своего спонтанного появления является «расчлененным», и выводить из большей или меньшей прочности и критически такой фиксации «предвидения», которые одновременно суть решения и выбор, — такая философия полностью характеризует отличительные черты теоретической мысли Грамши. В основе всякого идущего снизу исторического движения имеют тенденции, которые могут привести к развитию прогресса только при условии, что они будут закреплены, зафиксированы, определены идейно, а также политически и организационно. Но в подобной фиксации нет ничего неизбежного; она может потерпеть неудачу. Вот почему историзм есть утверждение «ее бытия как «жизни-смерти», ее превращения в преходящее явление, потому что идет развитие нового социального и морального сознания»¹⁵⁴.

Таким образом, марксизм, по Грамши, возрождается как философия практики. Вклад же «абсолютного» историзма в подобную философию практики заключается в максимальном ограничении необходимого характера событий рамками данной ситуации. Формирование «инструментов», позволяющих общественным индивидам делать «выбор», распространение функций интеллигента на всю совокупность людей — таков

¹⁵² См. об этом также в: *Ibid.*, p. 1438, 1826—1827.

¹⁵³ *Ibid.*, p. 708.

¹⁵⁴ *Ibid.*, p. 1226.

фактор силы грамшианского решения, при котором практико-технические приемы работы, политики, науки, культуры выступают как способы развития человеческих способностей, но в то же время не могут быть отделены от осознания связанных с ними опасностей движения вспять, отставания и даже развала.

9. Проблема государства

В одном из фрагментов тетради № 6 Грамши, ставя вопрос о «предвидимой» форме государства в конкретной исторической ситуации (Западной) Европы, говорит, что в этом облике государства необходимо объединить как функции, обращенные вовне, так и внутренние функции, то есть выстраивать его «в его полном значении: диктатура+гегемония»¹⁵⁵. Либеральное же государство стремилось к разделению, по крайней мере поверхностному, аппарата, преимущественно нацеленного на обеспечение гегемонии, от аппарата, специфически нацеленного на осуществление власти. Это государство было, по сути дела, «результатом борьбы между гражданским и политическим обществом в определенный исторический период при наличии определенного неустойчивого равновесия между классами, обусловленного тем фактом, что некоторые категории интеллигентов (состоящих непосредственно на государственной службе — особенно гражданская и военная бюрократия) сохраняют все еще тесную связь со старыми господствующими классами... Вся либеральная идеология, с ее сильными и слабыми сторонами, может быть выражена в принципе разделения властей, и здесь выступает то, что является источником слабости либерализма — бюрократия, то есть обособление руководящих кадров, которые выполняют роль принуждающей силы и в определенный момент становятся кастой»¹⁵⁶.

Критикуя эти черты либерализма как власти, консолидировавшейся вне и превыше любых потребностей гегемонии (политическое общество), Грамши, как мы видели несколько выше, когда речь шла о Кроче, размышляет над возможностью существующей преемственностью между либеральным и фашистским строем. В этом случае как раз корпоративное государство вбирает в себя те формы гражданского общества, главным демократическим проявлением которых в XIX веке, в особенности в XX веке были рабочие профсоюзы. С этой целью фашизм развивает репрессивно-полицейский аппарат значительно дальше тех пределов, которые были при-

¹⁵⁵ Ibid., p. 810—811.

¹⁵⁶ Ibid., p. 751—752.

сути либеральному государству, и возлагает политические функции этого аппарата на саму партию. Иначе говоря, в фашистском государстве получается так, что механизмы гегемонии тяготеют к растворению в политическом аппарате, то есть элементы принуждения (полицейского толка) становятся абсолютно преобладающими и — в предельном случае — делают излишними те органы, функцией которых является связывание других социальных групп с помощью «престижа». С точки зрения Грамши, либерализм (особенно с учетом описанного перерождения) полностью отжил свой «век» и больше не является возможной альтернативой. Нормальное отправление власти на почве парламентского режима представляло собой комбинацию силы и консенсуса при особом внимании к тому, чтобы «сила» не перевешивала «чрезмерно» консенсус. Более того, старания были направлены на то, чтобы сила выглядела «словно бы опирающейся на согласие большинства». Однако после войны аппарат гегемонии разваливается и «практически кризис проявляется в обстановке растущих трудностей, с которыми сопряжено образование правительства и возрастающей неустойчивости самих правительств... Выражением этого явления в известной степени служит также коррупция и моральное разложение»¹⁵⁷.

Данная оценка повторяется и усиливается в полемике с С. Панунцио, который признавал кризис трех традиционных функций либерального государства и полагал, что его можно разрешить путем прибавления к ним четвертой функции — функции управления. Грамши замечает: «В порядке доказательства своего утверждения он должен был бы объяснить, как же это смог произойти разрыв и начаться борьба между парламентом и правительством, причем таким образом, что единство этих двух институтов уже не может служить постоянным ориентиром правительственному курсу... Похоже, что единственный путь поисков причины упадка парламентских режимов проходит именно здесь — через гражданское общество, и, встав на этот путь поисков, разумеется, никак нельзя обойтись без изучения феномена профсоюзов. Но, добавлю еще, не феномена синдикатов, понимаемого в элементарном смысле права любых социальных групп на образование ассоциаций с любой целью, но тот в высшей степени типичный феномен социальных элементов новой формации, которые прежде «не принимали в расчет» и которые уже одним фактом своего объединения изменяют политическую структуру общества»¹⁵⁸.

С другой стороны, авторитарное решение в виде фашист-

¹⁵⁷ Ibid., p. 1638—1639.

¹⁵⁸ Ibid., p. 1807—1808.

ского государства, хотя и устранило некоторые противоречия либеральной формы правления, но так и не принесло окончательного преодоления этих противоречий. В порядке преемственности от либерального к фашистскому государству «корпоративная организация может стать формой» технико-экономического переворота, но «негативный элемент «экономической полиции» до сего дня преобладал над позитивным элементом новой экономической политики, которая бы обновила, модернизировала социально-экономическую структуру нации даже в рамках старого индустриализма»¹⁵⁹.

Ни либерально-парламентарная форма, ни ее последующее фашистское развитие не представляют собой, следовательно, желаемого решения. Иным является случай третьего возможного направления, о котором мы бегло упоминали в связи с работой «Американизм и фордизм». Здесь, как мы видели, в центре процесса развития стояло развитие производительных сил, но оно происходило не независимо от государства, навязавшего трудящимся классам ту «пуританскую» мораль, которую они пока пассивно принимают. Без помощи государства, без сухого закона та политика, которую Грамши называет американским «корпоративизмом», не могла бы увенчаться успехом. Управление этим индустриальным обществом, как мы уже подчеркивали выше, вплоть до этого времени могло происходить в рамках частной экономики и морального «фарисейства», однако Грамши предвидит, что разрыв между развитием техники и ростом нового массового интеллектуализма может быть заполнен и что американское общество сможет отыскать для себя собственный самостоятельный и оригинальный путь.

Рассмотренные нами формы выражают одну и ту же структурную потребность связывания воедино гражданского общества и государства. Ни одна из них, однако, не придает такого рода формальной модификации характер изменения способа производства, развития в сторону социализма. Нам предстоит поэтому рассмотреть, как представляет себе Грамши возможность возникновения такого специфического способа преобразования. Он не может основываться только на существующем, потому что нуждается в высвобождении скрытно присутствующих в сегодняшней ситуации сил, в мобилизации энергии масс и формулировании предвидений на более длительную перспективу. Неслучайным в этом свете становится тот факт, что в тетради, посвященной Макиавелли, исследование таких тем, как приемы управления гражданским обществом и политический реализм, сопрягаются с острой критикой мифа, идущего от Сореля. В этой тетради тема «мифа» сочетается с максимально напряженной полемикой в ад-

¹⁵⁹ Ibid., p. 2157.

рес революционного синдикализма и самого Сореля. При этом главным является то, что грамшианский поиск направлен на выявление той «рациональности», которая пока не обнаружила себя. Об этом с ясностью говорится в том отрывке, которым Грамши открывает тему «современного государя». Не следует забывать, что во всех решениях, которые мы выше проанализировали, обрисована ситуация равновесия сил, то есть когда ни один из противоборствующих классов не нашел окончательного способа возобладать над антагонистом. Подобная ситуация равновесия в некоторых случаях приобретала форму «цезаризма», который, как мы знаем, иногда может быть и прогрессивным. Однако именно как выражение равновесия, то есть положения, при котором приходится учитывать разные силы, участвующие в борьбе, цезаризм — даже в своей прогрессивной форме — не может быть главной действующей силой. Такой силой является «современный государь, государь-миф, [который] не может быть реальной личностью, конкретным индивидуумом; он может быть только организмом, сложным элементом общества, в котором уже начала проявлять себя коллективная воля, признанная и частично утверждающаяся в действии. Этот организм, уже порожденный историческим развитием, является политической партией — это первая ячейка, в которой концентрируются зародыши коллективной воли, стремящиеся стать универсальными и всеобъемлющими».

Когда цезаризм характеризуется необходимостью молниеносного принятия быстрых мер, он может воплощаться и в конкретном индивиде; но в этом случае он будет обладать «оборонительным» характером, а не творческим и созидательным; реставрационным по отношению к «уже существующей коллективной воле», которая «находится в расслабленном, распыленном состоянии, переживает опасный, угрожающий, но не катастрофический и не окончательный упадок». В этом случае «ее необходимо вновь сконцентрировать и укрепить, но уже не иначе, как создавая коллективную волю заново, творчески и направляя ее к конкретным, позитивным и рациональным целям, позитивность и рациональность которых, однако, еще не получили подтверждения и проверки на основе эффективной исторической практики, которая приобрела бы всеобщую известность... Необходимо, чтобы коллективная и вообще политическая воля была определена в современном смысле — как деятельное осознание исторической необходимости, как главное действующее лицо реальной, плодотворной исторической драмы»¹⁶⁰.

По идее Грамши, этот концентрат современной политической воли получает возможность воздействовать на отношения

¹⁶⁰ Ibid., p. 1558—1559.

между гражданским обществом и государством в тот момент, когда эта воля становится элементом диалектического столкновения с политическим обществом. Грамши предвидит прогрессирующее ослабление функций этого последнего внутри государства и формулирует соответственно теоретическое положение о такой трансформации гегемонистской роли обеих этих форм, при которой гражданское общество приобретает в государстве главную роль. Возможность организовать жизнь общества таким образом, чтобы она регулировалась участием граждан, которые развили свои технические и политические способности и могут, следовательно, выступать как «внешние» должностные лица государства, в контакте с массами, а не бюрократами, — таков стержень этой альтернативы, прочерченной мыслью Грамши. Он берет за образец агрегирующую способность буржуазии и противопоставляет ей ее конечный итог в виде фашизма, который на этот раз трактуется как «остановка» развития и возврат к «концепции государства как голой силы». Грамши поэтому предвидит новое развитие в прогрессивном направлении как следствие деятельности «класса, который мог бы утвердиться как способный ассимилировать все общество и... действительно был бы способен выразить этот процесс, — этот класс предельно совершенствует концепцию государства и права, он осознает необходимость упразднения государства и права, ставших бесполезными вследствие того, что они исчерпали свою задачу и им предстоит быть поглощенными гражданским обществом»¹⁶¹.

В контексте защиты принципа представительности вообще Грамши затрагивает тему возможности отождествления гражданина, избранного путем голосования, с государственным должностным лицом. Вопрос этот глубоко занимает его, потому что в рамках анализа кризиса парламентского государства он уловил необходимость придания большей определенности политическим программам и соответственно формирования у граждан образа мыслей, который бы отвечал подобной конкретности, граничащей с распределением специализированных обязанностей. Замысел распространения функций интеллигенции на все общество здесь четко выступает на первый план. В этом случае, «поскольку выборы происходили бы не на основе расплывчатой общих программ, но конкретных и непосредственных планов работы, тот, кто выражает свое согласие, стремится к тому, чтобы сделать что-то сверх того, что обязан делать обычный законопослушный гражданин, стремиться реализовать эти планы, иначе говоря, быть в авангарде активных и ответственных тружеников. Что касается самых широких масс, то элемент их «добровольности» и инициативы не мог бы быть стимулирован иным способом; а

¹⁶¹ Ibid., p. 937.

когда эти массы составлены не из безликих граждан, но из квалифицированных участников производительного труда, то можно представить себе, какое значение будет иметь процедура голосования»¹⁶².

В процессе исторических видоизменений государства Грамши подчеркивает слияние в нем корпоративно-экономических элементов с политическими, причем отмечает, что в логически-историческом плане первые предшествуют вторым. Он прослеживает следующую линию: в античном мире и в средние века государство — это «механический блок разных социальных групп, а зачастую и разных рас: под внешним военно-политическим давлением, которое осуществлялось в острой форме лишь в некоторые моменты, подневольные группы вели собственную, самостоятельную жизнь, имели собственные институты и т. д., и порой эти институты имели государственные функции, что превращало государство в некую федерацию социальных групп с разными неподневольными функциями — в периоды кризиса это придавало особую наглядность явлению «двоевластия».

Упомянув затем, что единственными исключенными из общества — причем по-разному — группами были рабы в античном мире и крепостные и пролетарии — в средневековом, Грамши заключает: «...государство новейшего времени заменяет механический блок социальных групп их подчинением активной гегемонии руководящей и господствующей группы, а следовательно — упраздняет некоторые виды самостоятельности, которые, однако, возрождаются в иной форме: в виде партий, профсоюзов, культурных ассоциаций. Современные диктатуры легально упраздняют также эти новые формы самостоятельности и ссылаются инкорпорировать их в деятельность государства: сосредоточение силой закона всей национальной жизни в руках господствующей группы становится „тоталитарным“»¹⁶³.

История государства, таким образом, развивается от момента, когда оно служит единственной силой агрегирования общества, но в почти федеративной форме и порой с двойственностью власти, к современной структуре, когда оно унифицируется, но оставляет обширное пространство для гражданского общества, где протекают разные виды частной деятельности, и приходит, наконец, к восстановлению государства как формы, которая вновь вбирает и практически присваивает себе свободы и права индивидов. Своей фазы вырождения это последнее явление достигает при фашизме, который максимально ограничивает в государстве практику «гегемонии» и соответственно усиливает его полицейскую функ-

¹⁶² Ibid., p. 1626.

¹⁶³ Ibid., p. 2287.

цию. Иная альтернатива, напротив представляется в виде перехода к социализму и рисуется в виде открытия государства навстречу прямому воздействию граждан-должностных лиц, восприимчивости бюрократии в отношении демократических импульсов, легитимированным представительным характером всех властей и развитием специальных знаний и умений самих членов общества.

Итальянская история, по Грамши, характеризуется двумя элементами, которые действуют с очевидной альтернативностью: первый из них — экономико-корпоративный, второй — политический. Возникновение этого последнего (после расцвета в период городов-коммун) шло не только крайне медленно и с большим трудом, но и обращалось даже против процесса экономического роста, обуславливая момент кризиса и отставания. Вопрос этот ясно сформулирован в одном из фрагментов, где начальная легитимация экономико-корпоративной фазы, похоже, связана тонкими нитями аналогии с СССР периода первых пятилеток: «Если ни один тип государства действительно не может не пройти через фазу экономико-корпоративного примитивизма, то не следует ли отсюда, что содержание политической гегемонии новой социальной группы, основавшей новый тип государства, должно носить преимущественно экономический характер? Ведь в таком случае речь идет о преобразовании экономической структуры и конкретных отношений между людьми и экономическим миром, то есть производством».

С точки зрения политической утряски этих тенденций «план позитивного строительства будет намечен еще в самых «общих чертах», которые в любой момент можно (и нужно) будет изменять». Но именно такого рода динамическое политико-юридически-культурное соотношение в фазе формирования и родилось как раз из истории итальянских городов-коммун. В них «культура, которая оставалась привилегией церкви, носила как раз антиэкономический характер (имея в виду экономик у рождавшегося капитализма) и была направлена не на создание гегемонии нового класса, а, напротив, на то, чтобы воспрепятствовать этому классу завоевать гегемонию. В силу этого Гуманизм и Возрождение носили реакционный характер, ибо они означали поражение нового класса и отрицание той экономики, которую он принес с собой, и т. д.»¹⁶⁴

Грамши интерпретирует теоретическое творчество Макиавелли с двух точек зрения. Первая связана с итальянской ситуацией и в силу чего то, что мы называли «предвидением», сохраняет кое-какие отношения с понятием мифа. Вторая, напротив, представляет собой реальную интерпретацию деятель-

¹⁶⁴ Ibid., p. 1053—1054.

ности Макиавелли, точно оправдавшиеся предвидения которого следует искать не в итальянской истории, а в истории Европы XVI века: в плане этой истории они образуют немаловажный момент фазы тенденциального обособления гражданского общества по отношению к государству.

Задержимся на мгновение на анализе этого перехода под углом зрения той тонкой аналогии с историей СССР, которая была нами уловлена выше. В России процесс представляется как бы инвертированным по сравнению с европейской историей. У Ленина взятие власти в 1917 году выглядит политическим моментом, предшествующим моменту экономическому и корпоративному. Но в действительности Грамши думает прямо противоположным образом: важным, новым аспектом является аспект экономического развития в сочетании и одновременно с которым нужно продвигать великий политико-юридически-культурный эксперимент. Схема Макиавелли сохраняет верность и для СССР, который со своими пятилетками переживает «корпоративную» фазу, каковой должно сопутствовать политическое строительство. Якобинский момент 1917 года явился лишь условием для формирования «современного государя», коллективной воли блока рабочих и крестьян. Именно после этого выступает необходимость соединения производства, политики и культуры с подчеркнуто новаторским духом и способностью к экспериментированию. Возможно, именно в связи с пятилетками широко известный фрагмент, который множество раз интерпретировался в якобинском ключе, следует читать под иным знаком и в ином духе. Грамши пишет: «Духовная и нравственная реформа не может не быть связана с программой экономической реформы; более того, именно эта программа является конкретным способом проведения всякой духовной и нравственной реформы. В своем развитии современный государь опрокинет всю систему духовных и нравственных отношений, поскольку это развитие как раз и заключается в том, что всякое действие рассматривается как полезное или вредное, как достойное или преступное лишь в зависимости от того, является ли его отправным пунктом сам современный государь и служит ли оно усилению его власти или противодействует ей. В человеческом сознании государь займет место бога или категорического императива, станет основой движения за современную светскую культуру и окончательное придание светского характера всей жизни, всем обычаям и нравам»¹⁶⁵.

В этом отрывке следует отметить прежде всего три момента: во-первых, связь между интеллектуально-моральной реформой и экономическим преобразованием, — связь, которой Грамши неизменно остается верным; во-вторых, совершенно

¹⁶⁵ Ibid., p. 1561.

светская трактовка им ленинского облика «современного государства»; в-третьих, мысль об изменении, которое именно в связи с предыдущим пунктом происходит во взаимоотношениях между индивидуальной инициативой и коллективной экономикой. Напомнив об известной книге М. Вебера о протестантской этике и духе капитализма, Грамши замечает: «Ныне мы видим, как то же самое происходит с учением исторического материализма; в то время как, по мнению многих критиков, из него «логически» могут воспоследовать только фатализм и пассивность, в действительности оно, напротив, вызывает расцвет инициативы и предприимчивости, поражающей многих наблюдателей»¹⁶⁶.

Для Грамши СССР — это место, где, пусть с трудностями и противоречиями, может реализоваться «общественный индивид», высшими проявлениями которого являются как инициатива в хозяйственных делах, так и роль гражданина-должностного лица. Упраздненная частная собственность может быть заменена лишь этой новой способностью к инициативе, не порывающей с утилитарным стимулом, но распространяющей — в той мере, в какой это возможно, — принцип представительности также на экономику. По этой причине он выступает против идеи Троцкого о примате индустриализации (американского типа). Основное содержание теории Троцкого состоит «в „слишком” решительном (следовательно, нерационализированном) желании поставить в национальной жизни выше всего индустрию и индустриальные методы, ускорить внешними и принудительными средствами установление дисциплины и порядка в производстве, привести нравы в соответствие с потребностями труда. Если учесть общую постановку всех проблем, связанных с этой тенденцией, станет очевидно, что последняя неизбежно должна была вылиться в определенную форму бонапартизма; отсюда вытекала неумолимая необходимость решительной борьбы против нее»¹⁶⁷.

Уродливые последствия ускоренного индустриализма и бюрократическое перерождение — вот две опасности, угрожающие планированию как новому решению в области экономики и «общественному индивиду» как психологически активному типу личности в новых условиях. Инициатива предполагает теперь «тождество-различие между гражданским обществом и политическим обществом, а следовательно — органическое отождествление индивидов (определенной группы) с государством»¹⁶⁸. Представление о личной инициативе может оторваться от представления о присвоении прибыли, а значит — от «не являющихся „непосредственно корыстными”

¹⁶⁶ Ibid., p. 892—893.

¹⁶⁷ Ibid., p. 2164.

¹⁶⁸ Ibid., p. 1028.

начинаний, или, иначе говоря, «корыстных» в самом высоком смысле государственного интереса либо интереса группы, образующей гражданское общество»¹⁶⁹. В соответствии с планом на предприятия «приходит больше свободы и духа инициативы, чем обычно признают — в силу исполняемой ими роли масок из *commedia dell'arte* — глашатаи «свободы» и „инициативы“»¹⁷⁰. Подобное определение общественного индивида имеет для Грамши и гносеологическую ценность с точки зрения взаимоотношения, устанавливающегося между идеологией (в смысле осознания материальной действительности) и ленинским значением политической инициативы¹⁷¹. По сути дела, речь идет о том, что у Грамши американский опыт развития производительных сил должен был бы сопровождаться общественной сознательностью, которая для Соединенных Штатов относится лишь к области предвидения. Консенсус, инициатива противопоставляются принуждению, и СССР рисуется ему огромной лабораторией, где формы сознания и государства создаются одновременно с индустриализацией и регулируют ее.

Иная ситуация складывается на Западе. Здесь экономико-корпоративный момент (в американском смысле слова) в ходе длительного исторического процесса уже нашел свою реализацию. Речь идет, стало быть, о том, чтобы поставить его под общественный контроль путем развития гражданской «гегемонии». Для «перманентной революции» здесь уже больше нет условий. Эта формула была верна только в «исторический период, когда еще не существовало крупных массовых политических партий и крупных экономических профсоюзов, а общество еще находилось во многих отношениях, так сказать, в текучем состоянии... В период после 1870 года, с колониальной экспансией европейских держав, все эти элементы меняются... формула «перманентной революции», несущая на себе отпечаток революций 1848 года, перерабатывается политической наукой и преодолевается ею в формуле «гражданской гегемонии»... Массовые структуры современных демократий — возьмем ли мы их государственную организацию или совокупность ассоциаций, действующих в гражданской жизни, — образуют для искусства политической борьбы как бы «траншеи» и фортификационные сооружения на фронте позиционной войны: они сводят маневренный элемент лишь к «частичному» моменту, между тем как прежде он и был «вся» война, и т. д.»¹⁷²

Грамши, следовательно, истолковывает завоевание государства на Западе как длительную борьбу за его преобразо-

¹⁶⁹ Ibid., p. 1029.

¹⁷⁰ Ibid., p. 1726.

¹⁷¹ См.: *A. Gramsci. Quaderni...*, cit., p. 1249—1250.

¹⁷² Ibid., p. 1566—1567.

вание. При переходе от маневренной войны к позиционной и по мере того, как в гражданском обществе складываются новые свободы вследствие тенденций ввести в рамки государства также экономику, более резко обрисовывается альтернатива между авторитарной и демократической практикой политики. В том силовом поле, которое мы попытались обрисовать выше и которое не является ни бюрократическим господством, ни господством узкой верхушки, преобразование происходит в первую очередь путем вывода государства из-под шантажа групп насилия, использованных для удержания в узде производителей. Во-вторых, для этого требуется вернуть энергию и творческую волю интеллигенции, ликвидировав, иными словами, угнетательские функции, которые традиционно поручались ей, и трансформируя их в технико-политические способности, совместно реализуемые в общественном индивиде. Условия и формы такого преобразования уже были изложены; новым обстоятельством является то, что теперь они могут породить тенденциальную волю к уничтожению культа государства, поклонению идолу государства. Если, таким образом, противоборствующие силы сталкиваются внутри государства, это значит, что теперь оно заключает в себе гражданское общество, которое группируется и стягивается внутри него, не только не погибая, но и впервые подчиняя его себе. То, что Грамши именует «гражданской гегемонией», означает как раз то сложное движение смены одних руководящих классов другими, которое выдвигает на первый план «производителей» и интеллигенцию, оказывающих давление на прежнее ядро государственного аппарата. Самой полной альтернативой, таким образом, является именно та, которая опирается на понятие «гегемонии», то есть расширение господства «свободы». Государство нового типа имеет своим фактором силы «гражданина — должностное лицо», «представительный» режим как раздвигание узких рамок парламентского механизма, выражающего интересы граждан-собственников. Это требует выхода из системы равновесия сил и создания государства иного типа — результата организованного развития экономических отношений, а также гегемонистского столкновения мировоззрений и соответствующих норм поведения, которые Грамши видел в их процессе формирования и которые он воспринимал на фоне положения, вся временность которого была для него очевидна.

10. Организованный капитализм и социализм

В годы, когда Грамши писал «Тетради», и в последующие десятилетия отношения между гражданским обществом и государством колоссально усложняются. С одной стороны, фун-

кции государства расширяются, и оно пытается контролировать тенденции хозяйственного развития или даже переламывать их. С другой — капитализм принимает эти отношения с государством и вырабатывает собственную форму активной рациональности, призванную обеспечить сохранение в общем и целом удовлетворительного уровня прибылей. Такого рода взаимодействие между капитализмом и государством представляет собой, бесспорно, новый элемент по сравнению с традиционным марксизмом, хотя не следует забывать замечание Маркса: «Рабочие сами по себе не в состоянии — если они как класс не будут воздействовать на государство и через государство на капитал — вырвать из хищных когтей капитала даже то свободное время, которое необходимо для их физического существования»¹⁷³.

Разумеется, Грамши не мог предугадать дальнейший ход этих сложных — практических и теоретических — перемен, ограниченность которых тем не менее требовалось установить, чтобы не отдавать на откуп капитализму будущее, его способность увековечивать систему, удерживая в своих руках управление процессом социализации, который по сей день совершается ценою противоречий и страданий для большей части человечества. Грамши не мог знать современных способов и форм контроля над сбережениями, не мог подозревать, какой способностью к гегемонии будут обладать крупные центры капитализма, реализующие эту способность с помощью средств массовой коммуникации и сумевшие канализировать в нужном им направлении индивидуальное потребление, значительно возросшее в индустриально развитых странах. Тем не менее в «Тетрадах» нетрудно найти многие признаки нащупывания альтернативы капитализму с его решениями в диапазоне между открытым авторитаризмом и «контролируемым» развитием. Во всяком случае, что характерно для его исследований и интерпретаций, так это постоянное обращение к марксизму, способность которого к теоретическому анализу действительности Грамши стремился развивать. Если иметь в виду все это, то не будет выглядеть странным, что падение Веймарской республики некоторым образом ожидалось им в связи с тем, что уже в предвоенный период в Германии «марксистские теории государства... выработанные до основания германского рейха... были отброшены социал-демократией как раз в период экспансии имперской идеи, что показывает... как рейх оказался способен взять под свое влияние и ассимилировать все общественные силы Германии»¹⁷⁴.

Как мы знаем, он придавал большую важность формиро-

¹⁷³ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 47, с. 585.

¹⁷⁴ A. Gramsci. Quaderni..., cit., p. 1219.

ванию нового идейного стимула к действию, связанного с новым и иным мировоззрением. Новая форма государства, адекватная условиям эпохи, не может возникнуть без глубокого изменения философского направления. По этому поводу Грамши задавался вопросом: «Маркс — творец *Weltanschauung* (мировоззрения); а какова в данном случае роль Ильича? Является ли она чисто зависимой и подчиненной? Объяснение заключается в самом марксизме — науке и действии. Переход от утопии к науке и от науки к действию (вспомним брошюру на эту тему Карла Радека). Создание руководящего класса (то есть государства) равноценно созданию *Weltanschauung*. Как следует понимать выражение о том, что немецкий пролетариат есть наследник немецкой классической философии? Не хотел ли этим Маркс указать на историческую миссию своей философии, сделавшейся теорией класса, который станет руководящим классом в государстве? Для Ильича это реально произошло на определенной территории»¹⁷⁵.

Упоминание брошюры К. Радека¹⁷⁶ показательное, в частности, в связи с тем, что его имя не раз появлялось на страницах «*Ordine nuovo*» под статьями и заметками немалой важности, посвященными — все до одной — теме Советов как формы общественной организации и доказательству того, что распространение указанной формы не ограничено пределами России, но обладает в переходный период общемировой применимостью. «*Ordine nuovo*» не случайно обращался в этой связи к теоретической разработке американца Дениэла Де Леона, и даже Б. Рассел как-то опубликовал в нем темпераментную статью с призывом к поддержке диктатуры пролетариата в России¹⁷⁷.

Так вот, если мы рассмотрим статьи Радека, то обнаружим в них значительную близость к такого рода запросам. В короткой заметке «Идея Советов» он заявлял: «Заводское представительство есть политическая и экономическая ячейка всего государственного механизма. Представители пролетариата на местах — это местные органы политической власти и руководящие органы экономики... Точно так же Высший Совет Народного Хозяйства, образованный из представителей рабочего класса, — это орган, который поднимает местные Советы народного хозяйства над их локальными интересами и подчиняет их общим экономическим интересам страны»¹⁷⁸.

¹⁷⁵ Ibid., p. 881—882.

¹⁷⁶ K. Radek. L'evoluzione del socialismo dalla scienza all'azione (Gli ammaestramenti della rivoluzione russa). Milano, 1920.

¹⁷⁷ B. Russel. Democrazia e rivoluzione. — In: „Ordine nuovo“, 4 settembre 1920.

¹⁷⁸ K. Radek. L'idea del soviet. — In: „Ordine nuovo“, 27 dicembre 1919.

В другой статье Радек защищает радикализм Ленина: «„Доктринерство“ Ленина есть не что иное, как методическая разведка на поле классовой борьбы, засылка разведчиков во вражеский лагерь... Марксизм не знает никакого неизменного поведения определенного класса перед лицом данных форм борьбы и, напротив, требует постоянного изменения тактической линии и стратегического плана в зависимости от варьирования расстановки сил в обществе»¹⁷⁹.

В сущности, таким образом, из этих статей, как и из других публикаций коммунистических руководителей, вырисовывалось новое *Weltanschauung*, вытекала идея сознательного усвоения рабочими способности к руководству в области экономики, ее рационализации, исходящей из нового типа ответственности, образования, технического знания, которые, синтезируясь в политике, порождают иное мировоззрение. Вспомним, что одна из немногих заметок, где Грамши прямо атакует ревизионизм Э. Бернштейна и его антидиалектическую концепцию, — это именно тот фрагмент, где он критикует отказ от открытого и сознательного воздействия на социально-экономические явления¹⁸⁰. Грамши придает совсем иной, чем Бернштейн, смысл той эволюции от науки к действию, которую Радек указал ему как характерную черту марксизма в новом столетии. Эта черта предполагает расчленение политики и экономики как раз в том смысле, что сам производственный процесс, освобождаясь от подчинения процессу накопления капитала, приводит стихийность к сознательности, возвышает экономический момент до политического уровня. Задумаемся на мгновение над знаменитым отрывком Грамши, где он возвращается к осмыслению опыта движения Советов. Он интерпретирует этот опыт как объединение спонтанных, случайных элементов, образовавших общность в определенной социальной среде, и заключает: «Сами руководители этого движения говорили о его «стихийности» и, говоря так, поступали правильно: подобное утверждение играло роль стимула, тонизирующего средства, было элементом, помогавшим развивать единство движения вглубь, было прежде всего направлено против представления о нем как о чем-то произвольном, авантюристическом, искусственном (а не исторически необходимым). Оно давало массе «теоретическое» сознание, позволяло ей осознать себя творцом исторических и институциональных ценностей, основателем нового государства»¹⁸¹.

Грамши производит здесь переоценку повседневного, спонтанного опыта, но для того, чтобы возвысить его до полити-

¹⁷⁹ K. Radek. Lenin capo rivoluzionario. — In: „Ordine nuovo“, 4 dicembre 1920.

¹⁸⁰ A. Gramsci. Quaderni..., cit., p. 1898—1899.

¹⁸¹ Ibid., p. 330.

ческого смысла. Коммунисты отнюдь не призывали к государственному перевороту, более того, указывали, что «среди причин, содействующих осуществлению таких государственных переворотов, следует назвать отказ тех групп, на которых лежит ответственность за это, от сознательного руководства стихийными движениями и от превращения их, таким образом, в позитивный политический фактор»¹⁸². Грамши и в других заметках подчеркивает совпадение своих взглядов с Марксовым анализом развития фабричной системы. Если у отдельного труженика капиталист пытается отнять видение производственных условий во всей их совокупности, «коллективный трудящийся» как предпосылка развития фабричного производства «стремится превратить в «субъективное» то, что дано „объективно”»¹⁸³. Маркс показывает, как сходятся техническое развитие и интересы господствующего класса; но в новой исторической фазе такое единство предстает как преходящее. «Связующие узы могут быть разъяты. — пишет Грамши. — Конкретные технические требования могут мыслиться не только отдельно от интересов правящего класса, но и в единстве с интересами находящегося пока в зависимом положении класса. То, что такой «раскол» и такой новый синтез являются исторически назревшими, безапелляционно доказывается тем фактом, что этот процесс понимается зависимым классом, который как раз в силу этого перестает быть зависимым, то есть демонстрирует стремление выйти из своего зависимого положения. «„Коллективный работник” понимает, что является таковым, и причем не только на каждом отдельном заводе, но и в более обширных сферах национального и интернационального разделения труда; и это приобретенное сознание получает внешнее, политическое, проявление именно в органах, представляющих предприятие как производителя реальных предметов, а не прибыли»¹⁸⁴.

Опыт Советов и теория перехода от науки к действию в марксистских терминах становятся освобождением трудового процесса от процесса капиталообразования. Подлинно оригинальный пункт этого разрыва между «индустриализмом» и «капитализмом» заключается в грамшианском понимании необходимости того, чтобы этот разлом проецировался на «коллективную волю» в прямой связи с государством и преобразованиями, которые надлежит в нем произвести. Именно здесь проходит взаимосвязь между теоретическим «расчленением» командных прерогатив в экономике, сменяемых спонтанной рационализацией (Советы), и «мифом» коллективной воли, теоретически осмысленным Макиавелли.

¹⁸² Ibid., p. 331.

¹⁸³ Ibid., p. 1138.

¹⁸⁴ Ibidem.

Мы уже подчеркивали связь с новым Weltanschauung и взаимоотношение этого последнего с государством. Нами настоятельно выделялись также характерные черты этой коллективной воли, «которую надлежит создать ex novo»¹⁸⁵. Вот на этом-то взаимоотношении мировоззрения, коллективной воли и воссоединения на базе новой техники и сознательности трудового процесса, высвобожденного из-под деспотизма капиталообразования, и покоится грамшианская идея «социализации» как перехода к социализму. Речь идет не о кабинетном изобретении, но о предложении, родившемся из анализа действительности и перемен, в этой действительности совершившихся. Здесь очевидно влияние Советов как образца, но столь же явственно виден также упор на аспект воли и сознательности, что выступает как раз гарантией того, что рационализация мыслится не как самоцель, но устремлена к построению социализма. Именно видя перед собой эту альтернативную картину (отчасти исторически осуществившуюся, отчасти опирающуюся на теоретический прогноз), Грамши смотрит на процессы рационализации, которые проходили опробование в капиталистических странах, и улавливает «первые такты фордистского марша» в Италии¹⁸⁶.

Грамши вспоминает по этому поводу некоторые статьи А. Скьяви в журнале «Риформа социале». Он полностью отдает себе отчет в том, что в данный период фашизм насаждает моду на «возврат в деревню», «идиллическую патриархальность», «борьбу с фабричной распущенностью»¹⁸⁷. Но ему кажется, что обращение в эту новую веру скрывает острые противоречия; в частности, он пытается уяснить себе смысл полемики между деятелями фашистского режима Э. Россони и Дж. Боттаи о взаимозависимости или отождествлении между профсоюзами и корпорациями в рамках фашистского законодательства. Основное положение его критики состоит в том, что собственнически-капиталистический элемент продолжает господствовать над элементом техническим, а это препятствует этому последнему стать выразителем новой формы гегемонии и, стало быть, государства. «В индустриально-производительном блоке, — пишет он, — технический элемент (дирекция и рабочие) должен преобладать над элементом «капиталистическим»... иначе говоря, на место союза между капитанами индустрии и мелкобуржуазными «накопителями» должен стать блок всех элементов, непосредственно занятых в производстве...»¹⁸⁸

Центральное противоречие всей дискуссии состоит в том, что корпоративный строй с момента рождения предстает как

¹⁸⁵ Ibid., p. 1558.

¹⁸⁶ Ibid., p. 2147.

¹⁸⁷ Ibidem.

¹⁸⁸ Ibid., p. 2155.

антирабочий блок, а следовательно, как блок, обращенный против той единственной силы, которая могла бы стать движущей пружиной процесса социализации. Тщательный анализ итальянской истории, «позволяющий увидеть за внешней мишурой явлений глубинные движущие силы рабочего движения, должен был бы привести к объективному заключению, что именно рабочие являлись носителями новых и наиболее современных требований промышленности и на свой лад ревностно утверждали их»¹⁸⁹.

Отсюда возникает противоречие между институтами и реальным движением, — противоречие, которое мешает рабочему классу стать проводником технико-производственной социализации. Но по этому аспекту вопроса Грамши замечает: «Корпоративное движение существует, и в некоторых аспектах проведенные юридические мероприятия уже создали формальные условия, при которых технико-экономический переворот может осуществиться в широких масштабах, потому что рабочие не могут ни противодействовать ему, ни бороться за то, чтобы самим стать его знаменосцами. Корпоративная организация может стать формой такого переворота?.. В настоящий момент приходится сомневаться в этом. Негативный элемент «экономической полиции» до сих пор преобладал над позитивным элементом — требованием новой экономической политики, которая обновила бы, поставила на современный уровень социально-экономическую структуру нации, пусть даже в рамках старого индустриализма. Возможная юридическая форма — это одно из условий, но не единственное и даже не самое важное; это лишь самое важное из непосредственных условий»¹⁹⁰.

Помимо этого, финансовая политика итальянского государства следует в противоположном направлении, поскольку «плодит новых рантье, то есть сохраняет и поощряет старые формы паразитического накопления сбережений и стремится создать социально замкнутые группы». И все же выход есть, и это пока единственный реальный выход: корпоративный курс, «родившийся как следствие исключительно щекотливой ситуации, основные элементы которой необходимо любой ценой удержать в равновесии, чтобы избежать ужасающей катастрофы, мог бы осуществляться путем продвижения крайне медленными, почти неощутимыми шагами, которые видоизменяли бы социальную структуру без внезапных встрясок...»¹⁹¹.

Этот анализ был проделан до кризиса 1929 года. После того как кризис разразился, Грамши писал, что он явился выражением в катастрофической форме всех послевоенных

¹⁸⁹ Ibid., p. 2156.

¹⁹⁰ Ibid., p. 2156—2157.

¹⁹¹ Ibid., p. 2157—2158.

событий: «Весь послевоенный период есть кризис»¹⁹². Эпицентр этого кризиса находится в мире производства; более высокие прибыли, «порожденные техническим прогрессом труда, создают новых паразитов»¹⁹³. Грамши представляется, что кризис 1929 года должен быть поставлен в связь с «тенденцией нормы прибыли к понижению. Этот закон следовало бы изучить на основе тейлоризма и фордизма. Разве не являются эти два метода организации производства и труда прогрессивными попытками преодоления этого тенденциального закона, обхода его путем увеличения числа разных вариантов в условиях прогрессирующего роста постоянного капитала?»¹⁹⁴

Это последнее высказывание вновь выдвигает на первый план вопрос о подлинном решении, над которым размышляет Грамши, то есть таком решении, при котором развитие производства в форме рабочих Советов и «гегемония» смыкаются воедино, а закон прибыли перестает оказывать свое доминирующее действие, как в варианте с американизмом и потугами фашистского корпоративизма. Грамши говорит об этом в одной из известных своих записей, где его антипарламентская позиция предстает во всей полноте, в соответствии с коминтерновской традицией, но одновременно подчеркивается и трудность простого упразднения институциональной формы, соответствующей определенному способу производства, без глубокого преобразования этого последнего. Грамши отмечает: «Нельзя отменить парламентаризм как «чистую» форму без радикального упразднения его содержания — индивидуализма, причем индивидуализма в его точном значении «частного присвоения» прибыли и индивидуальной экономической инициативы с целью получения капиталистической прибыли»¹⁹⁵.

В том случае, если эти два момента не претерпевают согласованного преобразования, парламентаризм возрождается в скрытой форме. Решение, предлагаемое Грамши, звучит следующим образом: «Мне кажется, явление можно объяснить в плане понятия «гегемонии», если вернуться к «корпоративизму», но не в смысле «старого строя», а в современном смысле слова, когда «корпорация» не может иметь глухих и исключительных границ, как в прошлом; сегодня это — корпоративизм, выполняющий «общественную функцию», без ограничений наследственного или иного рода»¹⁹⁶.

Нет сомнения, как мне представляется, что слово «корпоративизм» здесь употребляется в том же значении, в каком

¹⁹² Ibid., p. 1755.

¹⁹³ Ibid., p. 1348.

¹⁹⁴ Ibid., p. 1312.

¹⁹⁵ Ibid., p. 1742.

¹⁹⁶ Ibid., p. 1743—1744.

оно фигурировало, например, в статьях Радека, то есть в значении организации Советов как острия процесса социализации, которому должна соответствовать, как мы знаем, практика «гегемонии». Таков единственный проект, не обусловленный законом прибыли и рассматриваемый Грамши в качестве более передового даже в сравнении с психологизмом Де Мана, где выразились, по-видимому, противоречивые реакции рабочего и социалистического движения предшествующих лет.

В заключение можно сказать, что проект Грамши не игнорирует разнообразные решения, опробованием которых занимался в то время капитализм. Даже в тех скудных отзвуках дискуссий в теоретических кругах Италии, за которыми он мог следить, он силится уловить то, что отсылает к более общей проблеме капиталистического «контроля». Грамши допускает возможность его организации, но видит вместе с тем, что и организованный таким образом капитализм (и с тем большим основанием — фашистский корпоративизм) не в состоянии вырваться из своих классических противоречий: не отменяет наемного труда (а следовательно — границ, определяющих пределы участия трудящихся в общественном продукте)¹⁹⁷, хотя и улучшает жизненный уровень наемных работников; не выводит экономику из-под пресса действия закона о понижении нормы прибыли, не ведет к установлению прямых отношений между производителями и государством. Проблема может быть решена только путем освобождения трудового процесса от его подчинения процессу капиталообразования, причем путеводной линией здесь служит теоретическая нить, соединяющая размышления зрелого Грамши о Рикардо и Макиавелли с осмыслением им исторического опыта строительства социализма.

11. Молекулярные движения и «диафрагма» лорнанизма

Итак, мы показали, что мысль Грамши постоянно учитывает возможность разных исходов исторического развития, а также возможность этико-политических преобразований, происходящих и при малой степени осознания их участниками событий. Разумеется, всякая перемена есть результат вари-

¹⁹⁷ «Реальная величина прибыли и заработной платы определяется исключительно непрекращающейся борьбой между трудом и капиталом. Тем не менее... заработная плата никогда не может повыситься настолько, чтобы норма прибыли надолго опустилась ниже исторически обусловленного уровня... Динамика заработной платы не есть независимая величина: она связана с циклическим движением капиталистического накопления» (Э. Альтфатер. Капитализм организуется: дискуссия в среде марксистов в период между первой мировой войной и кризисом 1929 года («История марксизма», т. III, ч. I, с. 376—377).

ций в обширной сфере межчеловеческих отношений, однако некоторые события, как мы знаем, совершаются в форме пассивных революций и соответственно иные изменения личности тоже происходят, так сказать, силою обстоятельств. Речь идет о «молекулярных» движениях, то есть таких, которые охватывают отдельных людей и группы и со временем неумолимо меняют их таким образом, что общая картина оказывается измененной без видимого сознательного участия общественных действующих лиц. Проявления этих процессов отчасти нашли освещение в тех философских учениях XX века (теории Бергсона, прагматизме, концепциях Сореля, Кроче), которые инкорпорировали некоторые аспекты марксизма в раскрытии отношений между стихийностью и практикой. Грамши перевел все эти искания на язык политики. Остаются, однако, некоторые моменты, которые политика не в состоянии охватить, если она не будет обогащена высокой чуткостью к таким молекулярным движениям. Именно в связи с этими затруднениями политика Грамши ощущает потребность постоянного обращения к философии, то есть к такому типу исследования, которое позволило бы наделить смыслом вещи, кажущиеся случайными или иррациональными.

В центре грамшианской философии, как мы отмечали, стоят проблемы «исследования» и их «закрепления», «фиксации». Явные и подспудные «верования» могут закрепляться в житейском смысле через посредство вмешательства авторитета (как это происходит чаще всего, например, в институционализированных религиях) или же могут застыть в результате чрезмерной дробности сознания (как в случае с народной магией, а отчасти и в фольклоре). Лишь опосредование «исследованием» позволяет преодолевать эту антиномию. Именно знание порождает критическое движение от одной крайности в виде верования к противоположному полюсу: философии и науке. Мысль Грамши смещает «исследование» в область осознания общественной практики, — осознания от его начальной ступени «раскола», или «расщепления» (выражение, употребляемое Сорелем, Пирсом и Джемсом)¹⁹⁸, до более высоких ступеней, через мораль и

¹⁹⁸ Что касается Сореля, то см. его: *Matériaux d'une théorie du prolétariat*. 3^{ème} ed. Paris, 1929, p. 36. Для обозначения расщепленного поля, в пределах которого приобретает очертания новая наука, Сорель применяет термин „diremption“. Ч. С. Пирс (vol. V, p. 303) заявляет, что англосаксонские философы в старину вместо того, чтобы образовать от глагола *to prescind* (отделять, абстрагировать) существительное *prescission*, пошли по стопам французских логиков в употреблении слова *precision* (точность, четкость) в этом втором смысле. Что касается Джемса, то он, отставив возможность нахождения объективности, даже когда за исходную точку берется *feeling* (чувство, ощущение), задается вопросом (на который сам утвердительно отвечает): «Разве слово „content“ («содержание») не подсказывает, что ощущение отделяет само

политику, вплоть до прихода к «высшей разработке: собственного воззрения на действительность»¹⁹⁹. Так создаются «целостный интеллект и этика, соответствующая мировоззрению, которое преодолело житейский смысл и стало — пусть даже в известных, пока узких пределах — критическим». Грамши ощущает, что такой пункт подхода к его философии практики является частичным, и усматривает суть такой неполноты в пока еще второстепенном значении, которое придается понятию «исследования». Критикуя превращение марксизма в народную религию, он замечает: «О теории говорится как о «дополнении», «приложении» к практике, как о ее служанке». Для того чтобы иметь максимальные возможности развивать житейский смысл, отталкиваясь от самих «форм жизни», философия должна быть свободной и не связанной условностями.

Грамши возлагает на интеллигенцию задачу гарантировать открытое, свободное и непрерывное обсуждение, обмен мнениями, ибо новации, всегда связанные с наукой и философией, «на первых порах могут становиться массовыми исключительно через посредство элиты»²⁰⁰. Поэтому он нападает на Бухарина как выразителя такого образа мыслей, при котором наибольшее внимание уделяется проблемам равновесия, а не преобразования. Роль человека у него при всех ее неоднократных подчеркиваниях оказывается второстепенной в сравнении с ролью устойчивых социальных комплексов или систем²⁰¹. Если позицию Грамши сопоставить с этой системной теорией, то выяснится, что основной пункт различия состоит в том, что для Бухарина «моральная» и «материальная» сферы, даже будучи определены как неразделимые, предполагают тем не менее абсолютную детерминацию первой второйю, между тем как теоретический подход с точки зрения их взаимодействия (столь употребительный у Маркса и Энгельса) в этом случае решительно объявляется идеалистическим²⁰². Проблема мышления и вообще психической деятельности здесь рассматривается как вопрос приспособления к равновесию системы. Да и революционная

себя как акт от его содержания как объекта?» (*W. James. Pragmatism a New Name for Some Old Ways of Thinking toge ther with Four Related Essays from The Meaning of Truth. N. Y., 1949, p. 323*). Трудно не усмотреть происхождение этих терминов от понятия „scissione“ («расщепление») у Гегеля и Маркса. Грамши, таким образом, с полным правом разрабатывает свою теорию восстановления марксизма из современной философской мысли.

¹⁹⁹ *A. Gramsci. Quaderni... cit.*, p. 1385.

²⁰⁰ *Ibid.*, p. 1385—1387.

²⁰¹ «Мы знаем, что повсюду, где образуются отношения устойчивого характера, существует реальная общность, система» (*N. Boukharin. La théorie du matérialisme historique. 4em ed. Paris, 1927, p. 86*).

²⁰² Конкретной мишенью критики в данном случае является Э. Дюркгейм (*Ibid.*, p. 92).

ломка понимается, как правило, в виде единовременного уничтожения равновесия и немедленного восстановления его²⁰³. Бухарин полемизирует с «психологизмом» Богданова и «мистицизмом» Бергсона, но главная причина его озабоченности в опасении, как бы эти философские теории не создали угрозу тому равновесию, которое кажется ему центральным пунктом марксистской теории. Грамши подобные тезисы представляются проявлением огрубленного марксизма, которому нужно начать отдавать «погребальные почести»²⁰⁴. Объективизм Бухарина в его глазах выступает очередной попыткой кроचेанской редукции базиса к «незримому божеству». «Кто будет судить о такой объективности? Кто сможет стать на эту, с позволения сказать, «точку зрения мироздания в себе» и что будет означать подобная точка зрения? Можно спокойно утверждать, что речь идет о пережитке понятия бога, причем именно в его мистической трактовке неведомого бога»²⁰⁵.

Следует отметить тем не менее, что, критикуя Бухарина, он не делает ни малейшей уступки чисто психологистским тезисам, протаскиваемым А. Де Маном. Этот последний является в глазах Грамши своего рода символом тех, кто намерен сделать устоем теории психологию трудящихся. Де Ман писал: «Для того чтобы претвориться в действие, эмоция должна оплодотворить воображение, иными словами, необходимо, чтобы она сформировала образ, который сделан бы целью. Такой образ есть продукт желания, по существу — отражение состояния, отвечающего некоему нравственному чувству, определенному и конкретному, некоему юридическому порядку»²⁰⁶.

Экономические конфликты, по Де Ману, суть рациональная видимость, в которой выражает себя эмоциональность трудящихся классов: «Между тем как количество имеющих благ или тех, что трудящийся может приобрести, ограничено экономическими обстоятельствами, рост потребностей масс — явление чисто психологическое — не имеет иных границ, кроме тех, что образованы временем, необходимым на перемену привычек. Вот почему удовлетворенность растет не столь быстро, как нужда»²⁰⁷.

Де Ман отделяет философию потребностей от самосознания усилия по их удовлетворению. Грамши далек от подобного чисто субъективистского истолкования потребностей: он отвоёвывал центральность положений классической политэкономии для марксизма и не намерен возвращаться по этому

²⁰³ Ibid., p. 281.

²⁰⁴ A. Gramsci. Quaderni..., cit., p. 1394.

²⁰⁵ Ibid., p. 1415.

²⁰⁶ H. De Man. Il superamento del marxismo. Bari, 1929, vol. I, p. 168.

²⁰⁷ Ibid., p. 55—56.

пункту к позициям типа Э. Леоне и отчасти Ж. Сореля²⁰⁸. Психология же интересует его в другом аспекте, связанном с теорией З. Фрейда. Он интерпретирует «чувство вины» как своего рода угрызения, встречающиеся «в особенности у тех классов, которые «фанатично» преданы идее достижения нового человеческого типа, превращают ее в «религию», мистику». Вопрос в том, может ли задача создания нового типа индивидуализма быть решена без фанатизма и «возможно ли создать «конформизм» коллективного человека, не прибегая в известной мере к развязыванию фанатизма, без установления «табу», — одним словом, критически, в качестве свободно принимаемого сознания необходимости; принимаемого в силу «практического» признания его таковым на основе соответствующего расчета средств и целей»²⁰⁹.

Опасность, таким образом, заключается в тенденции к тому, что «гегемония» элиты станет элементом компенсации за утрату прежних свобод и, следовательно, повлечет за собой утверждение психологии сверх-Я, оторванной от собственного как молекулярного, так и политического генезиса. Именно на этой почве оформляется у Грамши идея «молекулярного» процесса.

Этот последний выступает в оптимальной форме, когда соединяет между собой политические перемены и психологическую перестройку. Так, разбирая в подборке заметок «Реформация и Возрождение» журнал Б. Суварина «Критик сосьяль», Грамши следующим образом реагирует на критику в адрес пятилетних планов в СССР, прибегая еще раз к сравнению между Реформацией и Возрождением: «Очевидно, что молекулярный процесс утверждения новой цивилизации, разворачивающийся в современном мире, остается непонятным, если не понята историческая связь Реформация—Возрождение». Обвинив Суварина (писавшего под псевдонимом Лифшиц) в поверхностности и бюрократизме, он продолжает: «В общем, дело в том, чтобы иметь Реформацию и Возрождение одновременно»²¹⁰.

²⁰⁸ Поразительно, как Грамши, при скудости источников, имевшихся в его распоряжении, удается различить реакционный психологизм Де Мана от прогрессивных элементов психологизма у Т. Веблена: «Де Ман, по-видимому, взял у... Веблена идею «рабочего анимизма», который, как считает Веблен, существовал в эпоху неолита, но уже не существует ныне, и, проявив большую оригинальность, сызнова открыл его в современном рабочем... У Веблена, как ощущается по статье, можно наблюдать следы определенного влияния марксизма. Веблен, мне кажется, оказал воздействие также на теоретические построения Форда» (*A. Gramsci. Quaderni...*, cit., p. 881). Заметим, что эта оценка Веблена фигурирует в контексте полемики Грамши против «инстинкта», точнее, грубой трактовки его у Де Мана, которой Грамши противопоставляет то, что Маркс пишет об инстинкте пчелы и о том, что отличает человека от этого инстинкта (*Ibid.*, p. 880).

²⁰⁹ *Ibid.*, p. 1833—1834.

²¹⁰ *Ibid.*, p. 891.

Из последующего текста видно, что Грамши, основываясь на сведениях из статьи М. Фарбмэна в журнале «Экономист», поддерживает политику пятилеток. Эта политика, которая на первый взгляд, казалось, должна была бы привести к пассивности масс, рассматривается им, напротив, как «процесс молекулярного формирования новой цивилизации». Процесс этот, по его мысли, характеризуется проектом, который является не бюрократическим и централизованным, но распространяется среди индивидов под воздействием элиты и вызывает изменение этих индивидов. Внимание Грамши к подобным глубоким молекулярным движениям вновь обнаруживает себя в тетради № 15, относящейся к 1933 году. Здесь можно видеть, что с помощью этой новой теории он еще более уяснил себе концепцию «пассивной революции». Как мы могли убедиться, «пассивная революция», если основываться на критике в адрес Кроче, представлялась Грамши таким развитием событий, при котором — даже при учете значения надстроек — предвидение и активное вмешательство людей оказывались весьма ограниченными. Теперь же Грамши пишет: «К концепции пассивной революции можно применить критерий, поясняющий те подспудные изменения, которые в действительности приводят к быстрому изменению в прежнем соотношении сил и превращаются, таким образом, в источник новых изменений (возможность применения такого критерия может быть доказана на фактах итальянского Рисорджименто). Так, в период Рисорджименто можно было наблюдать, как после 1848 года переход на сторону кавуризма все новых и новых приверженцев Партии действия привел к быстрой перемене в структуре сил умеренных... Таким образом, этот процесс является начальной фазой того явления, которое позднее получило название «трансформизма» и значение которого как формы исторического развития до сих пор, кажется, еще не было освещено должным образом»²¹¹.

Он усиливает, кроме того, свою критику в адрес исторической левой, которая оказалась неспособной вызвать вмешательство народных масс не только в форме «концентрированного и одновременно возникающего восстания», но и «в „рассеянной“ и капиллярной форме косвенного давления»²¹². Употребленное здесь выражение «рассеянная форма» равноценно «молекулярному преобразованию».

Подобные преобразования выявлены Грамши как процессы эрозии монолитизма, способствующие осуществлению перемен. Однако в заметке, посвященной Фрейду, он идет

²¹¹ Ibid., p. 1767.

²¹² Ibid., p. 1769. Это интуитивно уловила К. Бюси-Глюксман. См.: C. Buci-Glucksmann. Sui problemi politici della transizione: classe operaia e rivoluzione passiva. — In: „Politica e storia in Gramsci“. Roma, 1977, vol. I, p. 99 sgg.

дальше и задается вопросом, может ли новое мировоззрение утвердиться свободно на основе соответствующего расчета средств и целей (хотя сам признается, «что жизнь... развивается, так сказать, путем «пирамидального» роста»)²¹³. Грамши никогда не скрывал от себя, что как в США, так и в СССР индустриализация не может обходиться без некоторых форм принуждения. Однако различие между двумя моделями состоит в том, что в СССР сочетание Реформация—Возрождение может быть одновременным, а отношения гегемонии могут представлять собой сознательный и контролируемый выход для движений, происходящих в подсознании. Таким образом, можно, по-видимому, сделать вывод, что «молекулярные» движения обладают собственным ритмом и темпы их развития не всегда совпадают с темпами политических и социальных преобразований.

Разбор этой темы возобновляется в другом фрагменте, содержание которого требует некоторых пояснений, поскольку теоретические положения переплетаются в нем с элементами автобиографического характера. Речь идет о фрагменте «Автобиографические заметки», где Грамши стремится говорить о себе самом не как об отдельно взятом индивиду, но как о человеке в контексте общественных отношений и исторических событий, которые приобретают некоторым образом типическое значение. За литературный образец здесь берутся «Воспоминания» Гвиччардини. Не следует, впрочем, думать, что автор намерен следовать противопоставлению Макиавелли—Гвиччардини, потому что его суждение о последнем весьма сурово. Скорее, мы обнаруживаем в этом тексте теоретическое наблюдение насчет разновременности требований политики и индивидуальных ответов на эти требования. Гвиччардини олицетворяет как раз такое движение: замедленное и порой уклоняющееся в сторону от запросов, исходящих из политического замысла. Как бы то ни было, теоретическая посылка здесь по-прежнему представлена идеей перемены или видоизменения, которые Грамши называет «молекулярными» и которые становятся видны не сразу, но лишь после долгой скрытой работы. Отсылка к автобиографии носит открытый характер: «„Молекулярные“ изменения самые опасные, так как, свидетельствуя о воле субъекта выстоять, в то же время «позволяют увидеть» (если вдуматься) постепенное изменение нравственных качеств личности, — изменение, перерастающее в определенный момент из количественного в качественное; иначе говоря, в действительности речь идет уже не о той же личности, а о двух разных личностях»²¹⁴.

²¹³ A. Gramsci. Quaderni..., cit., p. 1727.

²¹⁴ Ibid., p. 1762.

Автобиографический факт, однако, сразу же обобщается: перед лицом молекулярных изменений необходимы становятся не юридические нормы, но плод сознательного выбора: «Лишь принцип, ставший «абсолютным», согласно которому капитан в случае кораблекрушения покидает корабль последним или, более того, гибнет вместе с ним, дает вышеуказанные гарантии, без которых коллективная жизнь невозможна, то есть никто не стал бы брать на себя обязанности и выполнять их, перепоручив другим заботу о собственной безопасности. Современная жизнь зиждется в значительной мере на подобных душевных состояниях или «убеждениях», столь же прочных, как и материальные факты»²¹⁵.

Интроспекция, таким образом, — это лишь угол зрения, под которым Грамши рассматривает трагизм тех явлений молекулярного видоизменения (вроде сталинизма), которые в определенный момент делают невозможным анализ действительности в тех же терминах, что и прежде, и тем более невозможным — составление проектов преобразований. «Этот факт, — пишет он, — необходимо изучить в его нынешних проявлениях. Не потому, что он не наблюдался в прошлом, а потому, что в настоящее время он, несомненно, приобрел особую... добровольно избранную форму. Сегодня знают, что подобное явление может иметь место и оно подготавливается систематически, чего не было в прошлом (систематически означает «в массовом порядке», не исключая, конечно, особого «внимания» к отдельным, индивидуальным случаям). Бесспорно, сегодня появился «террористический» элемент, не существовавший в прошлом, элемент материального, а также морального террора, который нельзя недооценивать. Это усугубляет ответственность тех, кто по неопытности, небрежности или злему умыслу, имея возможность, не помешал тому, чтобы подобные испытания отошли в прошлое»²¹⁶.

Грамши, иначе говоря, уловил — в том числе и в себе самом, — что существуют глубинные, несознательные молекулярные движения, которые порождают трудно выявляемые изменения психологической природы и исторической действительности. Эта теория имеет два следствия, поскольку впускает в историю то, что казалось спонтанным результатом деятельности психики, и одновременно привлекает внимание к тем их причинам, которые имеют свое глубинное обоснование, но проявления которых запрещаются и подавляются. Здесь, однако, перед нами предстает новый тип молекулярного движения, которое более сильно зажато ячейками сети насущных условий, затруднено в своих добровольных выражениях и, следовательно, отклоняется от собствен-

²¹⁵ Ibid., p. 1763.

²¹⁶ Ibidem.

ной нормальности. Самой нетерпимой формой молекулярного преобразования является та, при которой клетка, стискивающая проявление воли к перемене, представлена сложной структурой мещанской морали и насилия. В центр размышлений Грамши становится некая категория, на которую он постоянно и настойчиво указывал, но скорее в виде общего названия, нежели конкретного анализа структуры психологической действительности. Речь идет о том «лорианизме»*, который в целом определяется как объективистский образ мыслей, филистерский, почтительный к «истинам», когда они спускаются сверху; образ мыслей, который тормозит поиск нового и, более того, блокирует развитие житейского смысла, подменяя науку разными подделками под нее. Говоря об Италии, Грамши охарактеризовал лорианизм как «категию», включающую в себя «некоторые из худших и вздорных сторон менталитета определенной группы итальянской интеллигенции, а следовательно — национальной культуры, как-то: непоследовательность, отсутствие систематического критического духа, неряшливость в научной работе, отсутствие культурного стержня, податливость и готовность к самооправданию в вопросах этики, связанных с научной и культурной деятельностью, и т. д. При недостаточной борьбе и отсутствии суровых кар за подобные черты все это оборачивается безответственностью за формирование национальной культуры»²¹⁷.

Если связать эту оценку с тем ключевым пунктом проекта преобразования итальянского общества, который представлен идеей участия интеллигенции в утверждении нового порядка, порядка, который, вырастая из производства, охватывает государство и освобождает его от бюрократического окостенения, — то тогда становится понятно, что лорианизм выступает как диалектическая категория, выражающая сопротивление, препятствия, барьеры на пути указанной стратегии. В этом смысле можно сказать, что Грамши в подобных «отрицательных» чертах лорианизма усмотрел самый опасный пункт, самое крупное препятствие для преобразования институтов и людей. В еще большей мере, чем цезаризм, который в качестве выражения временного равновесия сил отмечен чертами недолговечности и даже может быть прогрессивным, лорианизм не обладает и тенью чего-либо положительного. «Каждый период и каждая страна, — пишет Грамши, — имеют свой более или менее полный и типичный лорианизм: гитлеризм продемонстрировал, что в Германии под оболочкой видимого господства группы серьезной интеллигенции вызревал чудовищный лорианизм, который про-

* По имени профессора А. Лориа, которого неоднократно высмеивали Ф. Энгельс и А. Лабриола. — *Прим. ред.*

²¹⁷ Ibid., p. 2321.

рвал официальную корку и распространился в качестве научной концепции и метода новых властей... В том, что Лориа мог существовать, писать, выделять свои трюки... во всем этом нет ничего странного... но то, что он сделался столпом культуры, «учителем», что он «стихийно» обрел широчайшую публику, — вот что заставляет задуматься над слабостью — в том числе и в нормальные времена — тех критических за-слонов, которые ведь все же существовали»²¹⁸.

Этот лорианизм, включающий, например, фашистскую проповедь «возврата в деревню», превозношение в антиамериканском духе ремесленного производства и мелкой промышленности и т. д., вплоть до научной теории, идущей на службу обоснованию расизма, — вот главная преграда на пути возможности создания новой цивилизации. Лорианизм есть культура, готовая повиноваться приказам власти, бюрократическая, ибо состоящая в союзе с самыми ретроградными силами, но вместе с тем способная увлекать в одну колею с этими силами также стихийные формы брожения, общественного «недомогания», — то есть все те проявления, которые пока не нашли или не закрепили за собой последовательно критической формы. Поэтому он есть путь к нацизму, который представляет собой симбиоз партии центра с экстремистской партией аграриев и промышленников, столь тесно соединенный с государственными, религиозными, научными традициями, что все это делает крайне трудным помышлять о применении стратегии того типа, какую Грамши набросал в ходе своего анализа итальянской ситуации. Реагируя на типично лорианскую фразу Гитлера о том, что основание и уничтожение религии суть акты более значительные, нежели основание и уничтожение государства и партии, Грамши отмечает: «Развитие партии в государство отражается на партии и требует от нее постоянной реорганизации и развития так же, как развитие партии и государства в мировоззрение, то есть в проект тотального и молекулярного (индивидуального) преобразования образа мыслей и действий, отражается на государстве и партии, вынуждая их постоянно реорганизовываться и ставя перед ними новые и оригинальные проблемы, требующие разрешения. Очевидно, что подобная концепция наталкивается на препятствие в виде слепого и одностороннего «партийного» фанатизма... то есть отсутствия как теории государства, так и общей мировоззренческой теории, способных развиваться в качестве исторически необходимых»²¹⁹.

Нацистское государство с его бюрократическим фанатизмом и повсеместно распространенной им лорианской религи-

²¹⁸ Ibid., p. 2325—2326.

²¹⁹ Ibid., p. 1947—1948.

ей становится сгустком всего гнусного, жестокого, террористического, что образуется на Западе, когда нет тех готовых и свободных сил, которые могут помешать возникновению и наступлению этих тенденций. В заметке, которая, возможно, явилась последней записью, внесенной в «Тетради», Грамши пишет: «Лишь сегодня (1935), после проявлений дикости и неслыханно позорных деяний немецкой «культуры», подчиненной господству гитлеризма, кое-кто из интеллигентов заметил, насколько хрупкой является современная цивилизация... Отсюда страстная критика интеллектуалов, вроде Жоржа Сореля, вроде Шпенглера и других, которые заполняют культурную жизнь удушающими и стерилизующими газами»²²⁰.

Упоминание Сореля указывает, что в качестве средства против хрупкости культуры, которая не сумела остановить внутренние процессы собственного молекулярного распада, Грамши считает по-прежнему актуальным пессимизм разума*. Но отсылка к Шпенглеру проясняет смысл грамшианского «индустриализма». Не подлежит сомнению, что «закат Запада» представляет собой интерпретацию главных тем Ницше. Техника здесь рассматривается как инструмент могущества. В одном из своих очерков Шпенглер писал: «Мы были и продолжаем быть слишком дряблыми и ленивыми для того, чтобы выносить факт недолговечности всего живущего. Эту недолговечность обволакивают розовым оптимизмом прогресса, в который, в сущности, никто не верит, ее прикрывают литературой, от нее прячутся за пустяковыми идеалами»²²¹.

Человек — создатель техники характеризуется как «изобретательный хищный зверь»²²². В русле антидарвиновской логики Шпенглер говорит о «катастрофах»: «Нам ничего не известно о «предчувствии» существования человека; ни одно из исследований или сопоставлений не обнаружило, что Природа каким-либо образом «предчувствовала» появление человека»²²³. Элемент отличия Шпенглера от Ницше заключается, однако, в том, что у первого высшие люди, те, что изобрели технику и наводнили природный мир изделиями мира искусственного, утрачивают вкус и инстинкт «наслаждения машиной» в качестве «следствия принуждения мысли»²²⁴. На утрату при этом оказывается осужденным и

²²⁰ Ibid., p. 2326.

* Имеется в виду часть любимого девиза Грамши: «Пессимизм разума, оптимизм воли». — Прим. ред.

²²¹ O. Spengler. L'uomo e la macchina. Contributo ad una filosofia della vita. Milano 1931, p. 27.

²²² Ibid., p. 55.

²²³ Ibid., p. 57.

²²⁴ Ibid., p. 137.

фаустовское начало человека: «Техника машин кончается с фаустовским человеком, и в один прекрасный день она будет уничтожена и забыта... Время нельзя остановить: нет ни мудрых возвратов назад, ни осторожных отказов... Оптимизм — это лень»²²⁵.

То, на утрату чего сетует Шпенглер, для Грамши является одним из аспектов его философии производителей — аспектом, включенным в понятие «гегемонии»²²⁶. Предназначенным к безвозвратной утрате для него выступает не фаустовское начало в человеке, а тупое «лорианство», лежащее преградой между молекулярными процессами формирования и трансформирования индивидуальных сознаний и установлением гегемонии. Грамши не предаёт анафеме Фрейда, Ницше, Бергсона и других как исключительных выразителей негативного начала. В их философских системах содержатся полезные теоретические инструменты для понимания молекулярных движений и для «ограничения рационализаций». Именно лорианизм, позитивистская философия техники, прокладывает путь «жестокости» и тому, что Грамши называет «терроризмом». Напротив, фаустовская философия техники помогает лучше понять, что он имеет в виду, говоря об отделении морали капитала от морали производителей, и проследить, как, отталкиваясь от образа этих последних, соединенного с образом новой интеллигенции, он открывает для себя путь к коммунизму.

Грамши, следовательно, и с этой точки зрения идет в совершенно противоположном направлении, чем Г. Лукач, поскольку для него современная философская мысль не есть лишь выражение распада класса, находящегося у власти, но содержит ростки рационального, которые следует подхватить и развить дальше. В этом смысле Грамши, пусть даже сам того не сознавая, выступает как анти-Лукач, хотя он и не обладает эстетической способностью этого последнего и познанных адептов Франкфуртской школы зримо воплощать право на «наслаждение» жизнью. Тем не менее интересно отметить, что в понимании Грамши индивидуальная трудовая мораль (то есть, разумеется, мораль собственников) является тенденциально «катастрофичной», причем именно в том смысле, в каком употреблял это слово Маркс, который «законом о тенденции нормы прибыли к понижению и так на-

²²⁵ Ibid., p. 150—151.

²²⁶ Различие между Грамши и Ницше заключается в том, что для первого «закрепление» верований есть результат движения идей, захватывающего человека-массу, но оставляющего «житейский смысл» открытым для постоянного напряжения в направлении «нового житейского смысла»; для Ницше же устремленность к «новому» есть исключительный атрибут интеллектуальной элиты, а условием такой устремленности служит наглухо «закрепленный» житейский смысл.

зываемым катастрофизмом сильно охладил не в меру горячее воображение многих; следует посмотреть, в какой мере пристрастие к опиуму помешало более тщательному анализу теоретических выкладок Маркса»²²⁷.

Это не должно выглядеть контрастом той интерпретации, которую Грамши дает указанному закону в ходе своей полемики с Кроче. В контексте этой полемики он также ни на миг не отказывается от защиты правильности этого закона, хотя подчеркивает силу контртенденций; теперь он добавляет к этому «пристрастие к опиуму», то есть реформистские интерпретации марксизма. «Более тщательный анализ теоретических выкладок Маркса» влечет за собой концентрацию большей воли на Марксовом «предвидении» краха, освобожденном от автоматизмов и социологических безапелляционностей. Позитивное решение представлено не Сорелем или Шпенглером, которые поняли лишь хрупкость определенного образа жизни. Такое решение указано Марксом — в виде ликвидации утилитаризма индивидуалистического типа и замены его другой формой утилитаризма: коллективной и общественной. Целью, историческая необходимость которой нашла свое выражение, является «построение теории... которая максимально усилила бы практику». Историческая необходимость означает здесь процесс «перехода», то есть более быстрого преобразования. Возникновение нацизма ставит проблему такого качественного скачка и новой формы государства. Что это должно означать? В ответ на этот вопрос Грамши уточняет, что речь не идет об установлении в непосредственном будущем «организованного гражданского общества»^{*}; упомянутый скачок заключается в «диалектическом единстве между правительственной властью и гражданским обществом»²²⁸. При таком единстве общественный индивид проявляет свою свободу в активном взаимодействии с государством, «форма жизни» которого тенденциально направлена на достижение социальности как саморегулируемой практики. Именно неотступно надвигающиеся в Западной Европе события порождают необходимость политической активизации, усиления «закрепления» верований, устранения лорианизма. Этот последний открывает путь в никуда, к мертвому равновесию, бюрократизации, паразитизму как предвестию начавшегося уже распространения невежества и жестокости. Именно перед лицом этих явлений необходимо было реализовать программу «Тюремных тетрадей», то есть развивать философию практики из ее первоначального ядра путем включения в нее научных достижений и историческо-

²²⁷ Ibid., p. 2330.

^{*} В этих терминах Грамши характеризует бесклассовое, коммунистическое общество. — *Прим. ред.*

²²⁸ Ibid., p. 1780, 1787.

го опыта, родившихся в самое последнее время и тем не менее способных сложиться в нехрупкое теоретическое и практическое единое целое.

12. За смену гегемонии

Здесь нет возможности подвергнуть разбору неоглядную литературу о Грамши. Руководствуясь самой общей схемой, в ней можно различить три направления. Первое — в разных формах и с разной степенью проницательности — пытались вернуть Грамши в строгие рамки ленинизма. Второе занималось преимущественно новациями, внесенными им в теорию надстроек (гегемония или государство). Третье, последнее по времени, отдало предпочтение философу индустриального общества по сравнению с теоретиком социализма: вплоть до того, что стало усматривать у него моменты перехода к принятию тезисов ревизионизма первой волны (вместо своеобразной критической реакции на него). На предыдущих страницах мы не следовали ни одному из этих течений. Мы лишь попытались документально показать то, что усилие Грамши было направлено на достижение единства теории и практики на высоте задач, поставленных Октябрьской революцией и наступлением на Западе фашизма и нацизма. Я не хотел бы, чтобы подобный подход смешивали с академическим исследованием «по источникам». Вопрос стоит совершенно иначе, ибо, развивая теорию, идя на разрыв с позитивизмом, берясь за критический разбор того, что внесли в современную культуру идеалистические, виталистские, прагматические философские теории, а также соответствующие им социологические школы, анализируя новейшие достижения науки, Грамши старается дать — в марксистских терминах — ответ на безотлагательные вопросы, поставленные его временем. Все это конкретизируется в методе «предвидения» при определенных условиях, некоторые из которых не «даны», но выстроены или могут быть выстроены при помощи организации, практики и разработки моделей действительности, способных расчлениать то, что на первый взгляд представлялось продиктованным необходимостью или абсолютно неизменяемым причинно-следственным порядком. Кроме того, мы попытались раскрыть то, что Грамши называет «молекулярными движениями», устанавливая соотношение между ними и политическими сдвигами, завоеванием гегемонии — процесс, в ходе которого «молекулярные движения» выполняют роль элементов рациональной связи.

Исследование такого типа, разумеется, отличается от изысканий тех, кто особо выделял у Грамши тему интеллектуальной и моральной реформы, отрывая ее от экономических

изменений, служащих ей предпосылкой; как и тех, кто придерживается представления о научном познании сущего, при котором исключается диалектическое взаимодействие между «возможным» и «конкретно осуществимым» и, следовательно, отвергается метод рационального «предвидения». В этом отношении Грамши не одинок: в современной философии целые школы всегда связывали предвидение, и делают это по сей день, исключительно с практикой. То, что Грамши не утопист, представляется очевидным в силу его частых обращений к определению разумного как соразмерения средства с целью и его неоднократных упоминаний об утилитаризме нового типа. Конечно, эти определения не совпадают с определениями М. Вебера; но не похожи они и на те формулировки, которые, например, явились плодом развития английского утилитаризма в 30-х годах XX века. Грамшианская идея субъективности соотносится с темами производства, труда и своего рода «фаустовской» взаимосвязи между этими аспектами бытия и возникновением потребности в «гегемонии». Созревание практики и мысли может происходить в разные сроки, и эта разновременность способна привести к возникновению сложного взаимоотношения между авангардом и массами. Тот, кто отказывается признавать такое взаимоотношение, кстати, без труда узнаваемое в конкретных исторических примерах, найдет для себя мало что поучительного у Грамши. Тот же, напротив, кто, уловив историчность грамшианского подхода, поймет весь драматизм, с каким это взаимоотношение выступает в тот момент, когда молекулярные изменения отклоняются от общей предуказанной перспективы, тот увидит, насколько важное место занимает у него проблема новой субъективности (хотя и в условиях, особенно неблагоприятных для того, чтобы сколько-нибудь полно и позитивно разрабатывать ее).

Отдельную область образуют затем вопросы, охватывающие формы политической власти. Проблема здесь заключается в том, чтобы установить, затрагивают ли неудачи реального социализма также идейное наследие Грамши. У Грамши есть своя демократическая концепция государства как комплекса представительных учреждений, находящегося в диалектических отношениях с гражданским обществом, — отношениях, в рамках которых укореняются новые формы ассоциации субъективностей и новые формы утилитаризма. Развиваясь, государство проникает в гражданское общество, но в то же время должно уступать ему место. Нет ничего более далекого от грамшианского решения этой проблемы, чем учреждение бюрократии, надзирающей за инициативами в области экономики, политики и культуры. Нет ни малейшего сомнения, что в формировании концепции Грамши важную роль сыграли Октябрьская революция и ее последующее раз-

витие, но эта концепция полярно противоположна воследовавшему из указанного развития объективизму. Один из определяющих аспектов анализа Грамши состоит в том, что он усматривает в «лорианизме» — более даже, нежели в «цезаризме», — диафрагму, прерывающую процесс формирования новых обществ. В этом наблюдении в сжатом виде содержится осуждение, адресат которого далеко не всегда легко установим; однако смысл этого осуждения делает ясным, что, с точки зрения Грамши, одной критики «культ личности» было бы недостаточно для того, чтобы возобновить процесс развития в том виде, чтобы он соответствовал предвидению. Последующая история во многих странах с разными укладами принесла кое-какие подтверждения его тезису. Новое в Польше, Венгрии, Чехословакии, Италии и других странах возникло именно в тот момент, когда сложились совершенно непредусмотренные отношения взаимодействия между сознательными массами и институтами, оказавшимися под непосредственным нажимом этих масс. Это ситуация, которую технологи власти, комбинирующие допотопно-сталинские и позднекапиталистические теории, не в состоянии понять.

По ходу нашего изложения мы провели разграничение деятельности Грамши на две фазы. В первой он определяет содержание послевоенного «кризиса» как отмирание отношений подчинения производительных сил прибыли. Подобное положение интерпретировалось им как ситуация, открытая для вмешательства класса производителей, для которых прибыль — в отличие от индустриального развития — утратила всякое значение. Во второй фазе Грамши сохраняет верность идее возможности такого вмешательства, но она уже предстает ему не как простое следствие из анализа положения вещей, а как сложная теоретическая и практическая программа. Его точка зрения состоит в том, что философия практики должна вернуть себе ту творческую силу, которой завладела современная немарксистская философия (Бергсон, Сорель, Кроче, Вебер, Веблен, Фрейд, прагматизм и — через Шпенглера — даже Ницше). Такой проект теоретического переосвоения выступает одновременно как проблема практического преобразования, касающаяся в первую очередь производителей, а с ними вместе — интеллигенция. Речь идет не о союзе, а о тенденциальном слиянии с целью создания материальных условий для коллективного участия в производственном процессе, выработке знания, административной организации нового утилитаризма и представительных форм самоуправления.

Это развитие становится «предвидимо» лишь в той мере, в какой сопровождается мощная организация множества волей. Будучи предоставлены сами себе, события способны

привести к развитию других «предпочтений». Если для Грамши, например, проблема интеллигенции означает проблему «преобразования» паразитических слоев, которые капиталистическое общество с необходимостью производит и из которых делает стержень своей «антипролетарской» армии, то социология с помощью «теоремы установленных пропорций» может подсказать иной порядок действий. Если предположить, что рабочее движение будет заблокировано и связи интеллигенции с ним оборвутся, то капиталистическое общество сможет приступить к иной, оптимальной со своей точки зрения организации населения. Так смогло произойти в Соединенных Штатах, хотя предвидение Грамши предполагает, что и в этой ситуации проблема новой культуры и новых отношений гегемонии вскоре должна будет встать, вырастая из нерешенных вопросов теории и практики. Разные, в том числе и нереволюционные, пути может наметить в свою очередь экономическая политика. Такие нереволюционные пути могут, например, состоять в предвидении одновременного и контролируемого развития экономических факторов и регулируемого распределения общественных функций. Однако оба компонента этого решения предполагают некий расчет, который навязывается сверху и в конечном счете принимает форму либо насилия, либо манипулирования. Есть еще третий путь, берущий на вооружение «лорианизм», который комбинирует свою слепую силу с силой государства и его аппарата. При такой множественности альтернатив желаемый путь может стать реалистичным при условии восстановления марксистской культуры в форме философии практики, полярно противоположной во многих отношениях господствующей культуре и способной принять и преобразовать ленинскую идею гегемонии. Грамши тем самым возрождает те аспекты марксизма, которые в западных философиях были принижены до стихийности или волюнтаризма, и возвращает им рациональность политики. Там, где утрачивается путеводная нить проекта, предвидения, стихийность не может не возрождаться в своей самостийности, но уже не как позитивный элемент, а трагически: в форме изолированных и расщепленных молекулярных движений, лишенных какой бы то ни было способности к предвидению.

Интерес Грамши сосредоточен не на абстрактной идее слома отношений между базисом и надстройкой. Он разрабатывает теорию новой исторической ситуации, при которой экономика — по крайней мере в значительной своей части — должна управляться государством. Это относится ко всем рассматриваемым альтернативам; Грамши борется за ту из них, которая расширяет свободу и власть человека над случаем и необходимостью. По грамшианской гипотезе, само государство должно быть организатором совокупной воли но-

вых субъектов, их культурного роста; однако оно должно функционировать в основном на базе тех побудительных импульсов, которые восходят к нему из этой рациональности, находящейся в диффузном состоянии. В какой мере эти предложения являются реалистическими, а в какой содержат элементы, не выдерживающие проверки временем, это зависит прежде всего от того, как мы оцениваем его проект реконструкции марксизма. Если он приемлем как метод, если он представляет собой в тенденции научную теорию, не остаивающуюся на точке, достигнутой Грамши, но учитывает изменение обстановки и знаний, — тогда в нем имеются сильные стороны, рациональные предвидения, которые, даже не будучи реализованы, продолжают быть открытыми вопросами. Исторически то, что предлагает нам Грамши, уже является более сложным, чем веберовская версия объяснения, где центральным элементом служит определение рациональности как соответствия средств и целей, но где слабым местом является нераспознавание «лорианизма» в рядах тех самых сил, которые Вебер изображал носителями рациональности и в первую очередь бюрократии. Грамшианский анализ является, несомненно, более верным, чем выводы Парето (развитые разными его эпигонами), потому что элита интеллигенции или рабочего класса является для Грамши силой освобождения, а не господства, — силой, обеспечивающей капитальное проникновение в массы свобод, проистекающих из нового употребления разума. При всем том верно, что открытие им разновременности процессов, в которых диалектически реализуется единство теории и практики, хотя и дало ему возможность проницательно оценить некоторые ключевые моменты современной эпохи (не говоря уже о национальном вопросе Италии), но не позволило ему полностью понять, что это может предполагать также изменение воззрений на существующие институты и практику их функционирования. Отсюда его всегдашнее неприятие парламентаризма (рассматриваемого исключительно под углом зрения правления узкой верхушки, даже когда, выступая в качестве «черного», подзапретного парламентаризма, он, по-видимому, требовал какого-то иного взгляда на собственную легитимацию, признания своей необходимости), упущенная возможность взглянуть на роль парламента в другом контексте, где он мог бы приобрести иное значение. Отсюда также его категорическое юношеское суждение, так и не отвергнутое целиком на протяжении всей жизни, о якобы происшедшем «разделении» между индустриализмом и капитализмом, — суждение, которое рузвельтовский «новый курс» должен был — по крайней мере на протяжении определенного исторического периода — опровергнуть. У Грамши встречаются, таким образом, некоторые моменты негибкости, которые делают необ-

ходимым, по всей видимости, новое развитие философии практики, а не только практики политики. В отставании, образовавшемся здесь, он не может быть сочтен виновным; более того, следует высоко оценить как проницательность, с какой он сумел — в марксистских терминах — вновь собрать в единое целое внешне столь разные и разрозненные аспекты философской мысли своей эпохи, так и плодотворность его методологических идей и конкретных примеров анализа. Успехи или неудачи дальнейшего развития в этом направлении не могут быть поставлены ему в заслугу или приписаны его вине.

Упомянем о последнем, но не второстепенном вопросе. Грамши предлагает нам инструмент «предвидения»: с целью расширения и одновременно упрочения взаимоотношения теория — практика. Но это не может затушевывать того обстоятельства, что он употребляет понятие «необходимости» в двух смыслах. Первый, настойчиво подчеркивавшийся нами, — это тот, по которому «необходимость» есть деятельное сознание людей, которые вырабатывают у себя комплекс мощно действующих убеждений и верований; второй же означает «предпосылку» в виде материальных условий, необходимых для реализации требования, идущего от коллективной воли. Это второе представление о необходимости и есть то самое, которое порождает предвидение, названное нами «слабым»: предвидение «исторической эпохи, которая продлится, вероятно, столетия... вплоть до исчезновения политического общества и прихода урегулированного* общества». Грамши, иначе говоря, видит в учении Маркса, помимо наброска философии «верования», приобретающей прочность материальной силы, также изложение общего закона капиталистического общества, — закона, предвещающего развитие этого общества в двояком направлении: одном — катастрофического типа, обусловленного понижением нормы прибыли, в частности, как результатом «фаустовского» развития науки и техники; втором — морфологического изменения, вытекающего из прогрессирующей замены отношений господства отношениями сотрудничества. По этой причине Грамши из своей темницы подчеркивал важность теорий Г. Гроссмана, а следовательно — связующего звена между Р. Люксембург и зачатками Франкфуртской школы.

Такой тип необходимости является слабым в нынешней исторической обстановке; он должен быть поэтому дополнен практикой гегемонии, а эта последняя в свою очередь дает мотивации к погружению процесса развития науки и философии в общество. Предвидение, названное нами «сильным»,

* По грамшианской терминологии — бесклассового, коммунистического. — *Прим. ред.*

не заменяет парадигмы, представленной законом «краха», философии практики он служит опорой и оболочкой. Имеются два уровня общественно-исторического действия, и представляющая один из них методология «сильного» предвидения с приобщенной к ней «гегемонией» не может существовать без другого. Поскольку время торопит и производители старинного толка уже не выполняют своей функции, их наследие переходит к тому образованию, которое возникает в результате слияния рабочего класса с интеллигенцией — слияния, которое происходит в эпоху, когда норма прибыли еще сохраняет свое значение, а научно-технический прогресс нуждается в «фаустовском» побудительном мотиве.

По этой причине Грамши, насколько можно судить, не идет на соблазн довериться исключительно новым парадигмам науки: чуткий к открытиям и переворотам в области знания, он вводит и располагает их в рамках своей главной парадигмы. Именно эта сторона идейного наследия Грамши делает его марксистом, хотя и «философом практики». Само собой разумеется, что вышеизложенная идея необходимости держится на научном законе, который мог бы быть фальсифицирован. Но для Грамши этот закон сохраняет свою силу (как он попытался доказать в своей полемике с Кроче); более того, «философия практики» есть способ усилить его верность путем нового развития производительных сил, а также науки и техники, то есть тех деятельных факторов, которые в долгой рочной перспективе вызывают понижение нормы прибыли.

Но если бы мы все же захотели изолировать философию «сильного» предвидения, если бы мы захотели, так сказать, остановить время, то все равно смогли бы извлечь из грамшианской мысли не только методологический, но и содержательный урок. Его философия не является философией кризиса западной цивилизации (хотя именно на этом делается главный упор в последних записях «Тюремных тетрадей»); наоборот, это философия возрождения указанной цивилизации на более обширной сцене и с большей способностью к синтезу нового. Ныне, в условиях кризиса на Западе и на Востоке, его урок, вероятно, заключается в том, что уже недостаточно улучшать качество руководства индустриальным развитием как в одном, так и в другом его современном варианте, но необходимой сделалась реальная смена одной гегемонии другой, сгержем которой были бы труд и интеллект. Символом преграды, опасного противника, препятствующего такой смене, Грамши избирает «лорианизм» — смесь безответственного технйцизма и мистификации; против этой опасности, выступающей под разными именами, также неустанно сражался лучший марксист нашей эпохи.

Эльмар Альтфатер

КРИЗИС 1929 ГОДА И ДИСКУССИЯ СРЕДИ МАРКСИСТОВ О ТЕОРИИ КРИЗИСА

1. «Мировой кризис» и «мировой поворот»

«Черная пятница» в октябре 1929 года явилась чем-то большим, нежели начало конца периода эфемерного процветания. Ее нельзя отождествить только лишь с крахом, который ознаменовал начало первого великого мирового экономического кризиса нашего столетия; этот день вызвал также «беспрецедентное моральное потрясение»¹, спровоцировал не только экономическое, но и «политическое бедствие»². Кризис явился чем-то куда большим, чем кратким эпизодом, вклинившимся между двумя этапами экономического подъема³. В его ходе стало очевидным, что «всякий кризис... имеет свои черты, отличающие его от всех предыдущих»⁴, и что этот мировой кризис ведет — драматизм здесь не преувеличен — к «повороту в мировом развитии»⁵. Подобная оценка подтверждается уже глубиной и повсеместным распространением кризиса. В самом деле, не оставалось ни одной страны — за исключением, пожалуй, Советского Союза, — которая не была бы им поражена. В этом смысле сравнение с кризисом и депрессией, последовавшей за 1929 годом, выдерживают лишь катастрофические крахи 1825 и 1873 годов, а если обратиться к примерам недавнего времени — кризис 1974—1975 годов. Буря, обрушившаяся на мировой рынок⁶, носила всеобщий и неслыханно яростный характер. Кризисом были поражены все отрасли: промышленность, сельское хозяйство, кредитно-финансовая система. Рост безработицы побил все рекорды. В 1931—1932 годах, когда она достигла высшей отметки, в мире официально числились безработными около 30 миллионов человек, из которых почти три миллиона в Великобритании, шесть миллионов в Германии, не

¹ A. Sturmthal. Die grosse Krise. Zürich, 1937, S. 97.

² M. Flament, J. Senger-Kérel. Modern Economic Crises. London, 1968, p. 65.

³ A. Sturmthal. Die grosse Krise, cit., S. 97.

⁴ E. Varga. Die Krise des Kapitalismus und ihre politischen Folgen. Frankfurt am Main — Wien, 1969.

⁵ C. Steuermann (Otto Rühle). Weltkrise-Weltwende. Kurs auf Staatskapitalismus. Berlin, 1931.

⁶ См.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 13, с. 162.

меньше, чем по миллиону человек во Франции и Италии и около шестнадцати миллионов в Соединенных Штатах⁷. Гигантскими были потери вследствие неиспользования рабочей силы, от закрытия многих предприятий, от уничтожения готовых товаров. По оценке Войтинского, за четыре года (1929—1933) эти потери в общемировом масштабе составили не менее 200 миллиардов долларов золотом⁸. Необычными были не только всеобщий характер и глубина кризиса, но и его продолжительность. В Германии он был преодолен лишь после 1933 года с помощью нацистской государственной политики перевооружения, в Соединенных Штатах — после краткого перерыва — лишь с переходом к массовому военному производству в начале 40-х годов.

Последствиями кризиса были массовая нищета, девальвация в крупных масштабах, уничтожение капиталов и товаров, почти полная дезорганизация мирового рынка, при которой государства пытались спасти хотя бы часть своих позиций сначала с помощью девальвации собственной валюты в ущерб другим странам, потом — с помощью политики автаркии, либо добиваясь расширения своих позиций на рынке посредством агрессивно-экспансионистской политики (таково было поведение Германии по отношению к Юго-Восточной Европе или Японии — по отношению к Маньчжурии). С трудом восстановленный после войны золотой паритет окончательно рухнул; «обрыв золотой нити был сигналом мировой революции»⁹. В ходе процесса, которому суждено было длиться многие годы, государства ищут новые экономико-политические планы преодоления кризиса, между тем как отношения власти претерпевают глубокие изменения.

Целью данной работы является не столько эмпирический анализ великого мирового экономического кризиса¹⁰, сколько ответ на вопрос о том, в какой мере этот кризис был превосхищен в теориях, претендующих на верность учению Маркса, и какие интерпретации кризиса получили развитие *post festum* для понимания его характера и политических форм его преодоления. Особенно важными для нас являются, следовательно, два момента: во-первых, трактовка великого кризиса на фоне Марксовой теории; во-вторых, теоретические попытки, имевшие целью установить тот момент политического поворота рабочего движения, который обусловлен кризисом. Рассмотрение вопроса в этих двух плоскост-

⁷ Данные взяты из: *W. Woytinsky. Drei Ursachen der Arbeitslosigkeit. Genève, 1935 (ILO).*

⁸ См.: *T. Mindt. Und morgen wieder Krise? London, 1938, S. 9.*

⁹ *K. Polanyi. The Great Transformation. New York, 1944.*

¹⁰ См. по этому поводу: *C. Kindleberger. Die Weltwirtschaftskrise. München, 1973; E. Varga. La crisi del capitalismo, cit.; W. Arndt. The Economic Lessons of the 1930's. London, 1963.*

тях предполагает анализ факторов нестабильности капиталистической системы, которые приводят к кризису, так же как политических выводов, которые следует отсюда извлечь.

В марксистской теории 20-х годов получают развитие две взаимоисключающие парадигмы, хотя они и основываются отчасти на аналогичных посылах. Одна исходила из принципиальной стабильности капиталистического развития, опирающегося на организацию экономики и прогрессирующее огосударствление общества, другая — из дестабилизации экономики и общества в фазе «общего кризиса капитализма»¹¹. В плане теории кризиса эти парадигмы получили выражение в виде теории недопотребления, или покупательной способности заработной платы, и в виде теории сверхнакопления с ее радикальным вариантом — теорией краха капиталистического общества. Если оставить в стороне второстепенные различия, то именно эти две теории явились теми двумя основными моделями, на базе которых получили развитие теории кризиса, открыто признающие свою связь с марксистской теоретической традицией¹².

Следует сразу же заметить, что теоретические построения на тему кризиса, увидевшие свет между двумя войнами, не входят в число особо убедительных. Это относится к марксистским теориям и, с еще большим основанием, к «буржуазным» попыткам дать объяснение кризису, которые не приводят к сколько-нибудь однозначной теории, в частности вследствие различного понимания самой экономической науки. В самом деле, за первый отправной пункт брался тезис о «множественности причин»; так поступил, например, Готфрид Хаберлер в своем объемистом исследовании о теориях конъюнктурных изменений и кризисов, написанном в 30-е годы по поручению Лиги Наций¹³. Во-вторых, усилия исследователей сосредоточились на «симптомологии конъюнктуры»¹⁴: на построении конъюнктурных тестов или «барометров»¹⁵, в результате чего теоретическая проблема была подменена эмпирико-статистической¹⁶. К тому же эту последнюю гипотезу

¹¹ См.: Э. Альфатер. Капитализм организуется: дискуссия в среде марксистов в период между первой мировой войной и кризисом 1929 года. — «История марксизма», т. III, ч. 1, с. 351.

¹² См. об этом: P. M. Sweezy. The Theorie of Capitalist Development. New York, 1942; M. Itoh. Value and Crisis. Essays of Marxian Economics in Japan. New York — London, 1980; A. Shaikh. Eine Einführung in die Geschichte der Krisentheorien. — In: "Prokla", 1978, № 30.

¹³ G. Haberler. Prosperität und Depression. Bern, 1948.

¹⁴ См.: J. A. Schumpeter. Konjunkturzyklen. Göttingen, 1961.

¹⁵ См.: W. C. Mitchell. Business Cycles. The Problem and its Setting. New York, 1928; R. Gater. Die Konjunkturprognose des Harvard-Institutes. Zürich, 1931; G. Moore. Statistical Indicators of Cyclical Revivals and Recessions. New York, 1950; E. Wagemann. Struktur und Rhythmus der Weltwirtschaft. Berlin, 1931.

¹⁶ Гатер пишет (Die Konjunkturprognose, cit., S. 3—4): «Предназначение каждого барометра заключается прежде всего в том, чтобы давать

не представлялось возможным проверить посредством теоретического анализа плюралистического типа, подобно тому, какой предпринял Хаберлер, поскольку в таком случае объяснение цикла неизбежно носило бы эклектический характер.

У марксистских теоретиков на анализ кризиса накладывается проблема организации капитализма, или проблема его «общей», то есть не только периодической, тенденции к кризису. Ими были продемонстрированы образцы полезного и важного эмпирического анализа экономического цикла, благодаря которому особенно большие заслуги снискал Евгений Варга¹⁷, сумевший даже предсказать великий кризис 30-х годов. Однако так и не появилось теоретической работы, в которой экономико-политическая динамика мирового кризиса раскрывалась бы как «поворот мирового развития». Именно это обстоятельство побуждает нас начать не сразу с оценки теоретических гипотез о кризисе, а предварительно выявить само Марксово понимание кризиса.

2. Марксово понятие кризиса

В трудах Маркса невозможно отыскать специальную теорию кризиса: кризис понимается им скорее как обострение и момент урегулирования противоречий, вытекающих из движения стоимости. «Кризисы мирового рынка должны рассматриваться как реальное сведение воедино и насильственное выравнивание всех противоречий буржуазной экономики... Кризис есть насильственное восстановление единства моментов, ставших самостоятельными, и насильственное превращение в нечто самостоятельное таких моментов, которые по существу составляют нечто единое... Во всеобщих кризисах мирового рынка все противоречия буржуазного производства бурно прорываются наружу в своей совокупности, в частных же кризисах (*частных* по содержанию и охвату) — лишь разрозненно, изолированно, односторонне»¹⁸. В этом смысле

возможно более надежный конъюнктурный диагноз, а следовательно — картину нынешнего положения на рынке, или, если это выражение кажется неточным, положения, только что существовавшего на рынке. Однако подобная картина положения на рынке будет непонятной без специальных уточнений статистического характера. Для ее расшифровки мы должны воспользоваться симптоматологическим методом. Иными словами, раз мы не можем наблюдать сам по себе тот фактор, который нас интересует, мы наблюдаем определенные симптомы, которые считаем достоверно представляющими указанный фактор. Следовательно, статистический метод всех конъюнктурных барометров по необходимости является симптоматологическим методом... Мы можем, таким образом, определить конъюнктурные барометры как комбинацию нескольких статистических рядов, считающихся симптоматичными для движения конъюнктуры».

¹⁷ См. введение Э. Альтфатера к: *E. Varga. La crisi del capitalismo*, cit.

¹⁸ *К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч.*, т. 26, ч. II, с. 567, 571, 594.

кризисы являются, следовательно, не случайными явлениями, а проявлениями динамического развития противоречий способа производства. Анализ кризиса должен поэтому раскрывать противоречия общества и рассматривать причины их обострения. Соответственно теория кризиса имеет смысл лишь в контексте теории накопления капитала.

Если мы упомянули о движении стоимости, то сделали это для того, чтобы стало очевидным, что в этом случае речь идет об общественном отношении, каковым является стоимостное отношение. Из этого следует, что кризисы никогда не бывают исключительно экономическими, но всегда являются социальными и политическими кризисами. В особенности это относится к «общим кризисам мирового рынка». Экономическая теория кризиса вследствие этого оказывается ограниченной, ибо всегда рискует исключить его социальный характер. Тем не менее экономический анализ кризиса имеет свои зоны. Из-за структурно преобладающего влияния экономических процессов на жизнь капиталистического общества («примат экономики») кризисы порождаются прежде всего на экономической почве. Вследствие этого Марксов анализ кризиса нацелен в основном на вычленение некоторых моментов обострения экономических противоречий. В этом состоит анализ формальной возможности кризиса, которая вытекает из фаз обращения капитала. «Когда внешнее обособление внутренне несамостоятельных, т. е. дополняющих друг друга, процессов. — пишет Маркс, — достигает определенного пункта, то единство их обнаруживается насильственно — в форме кризиса... Превращение этой возможности в действительность требует целой совокупности отношений, которые в рамках простого товарного обращения вовсе еще не существуют»¹⁹. В этом случае существенно то, что в зависимости от времени и места продажа и покупка как моменты обращения могут оказаться отделенными друг от друга и что деньги в качестве средства платежа делают возможным формальный разрыв актов оплаты. Тем не менее приобретение и продажа — «это всё же лишь *формы*, общие возможности кризисов, а потому и формы, абстрактные формы действительного кризиса... Но это еще не есть обособленное содержание... Стало быть, одними этими формами нельзя объяснить, почему они оборачиваются своей критической стороной, почему содержащееся в них *potentia* (потенциально, в возможности. — *Ред.*) противоречие проявляется *actu* (действительно, реально, на деле. — *Ред.*) как таковое... Реальный кризис может быть выведен лишь из реального движения капиталистического производства, конкуренции и кредита... Но нельзя сказать, что *абстрактная форма кризиса* есть

¹⁹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, с. 124.

причина кризиса. Если спрашивают о его причине, то хотят именно знать, почему *его абстрактная форма*, форма его возможности, превращается из возможности в *действительность*²⁰.

Имеются многие моменты противоречий, которые могут обостриться вплоть до состояния действительного кризиса. Лишь систематический анализ процесса развития моментов противоречий может предостеречь от одностороннего понимания сути этого процесса²¹. Это не означает, однако, что следует, подобно буржуазным теориям конъюнктуры, принимать к самому полному рассмотрению все факторы, способные развязать кризис, ибо это послужило бы только получению «хаотического изображения совокупности»²² капиталистического общества и его кризиса. Постулат «многопричинности» в теоретической работе не может означать ничего иного, кроме притязания на атомизацию действительности, рассечение целостности капиталистической социализации: в лучшем случае — на систему активных факторов, которые теоретически оцениваются в зависимости от значения, приобретаемого ими в соотношении с объяснением процесса кризиса. В теоретическом плане это становится источником произвола. Вагеман, например, остающийся одним из наиболее известных исследователей проблем конъюнктуры своей эпохи, даже будучи вынужден дать объяснение «великому кризису», не развивает никакой самостоятельной теории кризиса. Он начинает с некоего «эмпирического наблюдения», которое «весьма настойчиво» наталкивает его на идею «диспропорции между производством и способностью к потреблению... Тем самым теория недопотребления *на этот раз* завоевывает пальму первенства»²³. Но поскольку он дальше следует эмпирической индукции, а не теоретическому анализу кризисных процессов, то, естественно, оставляет открытым вопрос, не может ли в другом случае какой-нибудь другой вариант теории «завоевать пальму первенства». Также и у Хаберлера²⁴ анализ цик-

²⁰ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 26, ч. II, с. 569—573.

²¹ Лучшие результаты систематического изучения моментов кризиса капитала в его реальном развитии см. в диссертации: R. Künzel. Die Krisentendenz der auf den Wert gegründeten Produktionsweise. Versuch einer Explikation des Marx' schen Krisenbegriffs. Berlin, 1976, а также в коллективной работе: Bader, Berger, Ganssmann, Hagelstange, Hoffmann, Krätke, Krais, Kürsner, Strehl. Krise und Kapitalismus bei Marx. Frankfurt am Main — Köln, 1975. После выхода этих работ доказуемой выглядит обоснованность довольно пренебрежительно трактуемых в последние годы исследовательских усилий по «реконструкции категории капитала в целом», а также доказуемость верности «теории дедукции». Это выступает особенно ясно, если сопоставить этот анализ Марковского понятия кризиса с превосходной во многих отношениях и все же ограниченной работой: F. Oelssner. Die Wirtschaftskrisen. Berlin, 1949.

²² К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 46, ч. I, с. 25.

²³ E. Wagemann. Struktur und Rhythmus, cit., S. 333 ff.

²⁴ G. Haberler. Prosperität und Depression, cit.

ла содержит максимально возможное число факторов воздействия, не рассматриваемых, однако, в качестве составных частей какого-то структурированного комплекса. Киндлебергер, со своей стороны отказавшись (и вполне обоснованно) от попыток монокаузального объяснения «великого кризиса», вновь оказывается перед вопросом, была ли «великая депрессия» событием пусть даже случайным, но все же предвидимым²⁵.

На этом мы можем закончить краткий обзор концепций, которые изолируют кризис от глобального контекста буржуазного общества и его развития в противоречивой форме накопления капитала и которые вынуждены вследствие этого выискивать всякий раз особые, специфические факторы воздействия. Марксово понятие кризиса, напротив, содержит в себе акцентировку понятия противоречия и, следовательно, представляет кризис неразрывно связанным с моментами социального противоречия. Понимаемые как обострение и ожесточение противоречий, кризисы сигнализируют, во-первых, что движение противоречий уже не может следовать той же траекторией, что и до этой точки; во-вторых, что форма движения элементов противоречия — в тенденции — не допускает дальнейшего развития производства. За этим тогда следуют замедление, блокирование, застой, кризис, в ходе которого устраняются прежде всего препятствия к дальнейшему развитию противоречий, а, далее — в тенденции — развиваются новые формы, внутри которых могут действовать «противостоящие факторы» производства. При глубоких, серьезных кризисах, имевших место в истории капитализма, фактически всегда приводились в действие некоторые приспособления, способные внести видоизменения в отношения между наемным трудом и капиталом. Такие приспособления осуществлялись в виде мероприятий государственной политики регулирования, соотнесенных с технической структурой и организационным строением капитала и его международным обращением. Но это все — если речь идет о *кризисах перестройки*²⁶. Лишь понимание кризиса как момента обострения противоречий, форма движения которых перестает быть адекватной, открывает путь к теоретическому осмыслению заключенной в кризисном процессе мощи, способной перестроить общество.

Этот тип анализа обнаруживает некоторую близость к «диалектике производительных сил и производственных отношений». Подобная близость тем не менее является чисто формальной. В самом деле, обострение противоречий несводимо к взаимодействию между производительными силами и производственными отношениями (как это получается в описании

²⁵ C. Kindleberger. Die Weltwirtschaftskrise, cit., S. 20.

²⁶ См. об этом: M. Aglietta. A Theory of Capitalist Regulation. The US Experience. London, 1979.

Эльснера, являющегося в других аспектах весьма поучительным²⁷): элементы кризиса проявляют себя во многих сферах общественной жизни. К тому же следует иметь в виду, что во время кризиса капитализм принимает именно ту форму, которая позволяет ему вновь и постоянно производить условия своего существования, несмотря на принципиальные пределы, коренящиеся в этом способе производства: кризис как фаза *деструкции* (девальвация, уничтожение) в силу своей *реструктурирующей* мощи есть условие развития капитализма. Для анализа кризиса отсюда следует необходимость выделения основных элементов противоречия, которые периодически вызывают фазы напряженности, «среднего оживления, стремительного подъема, кризиса»²⁸. Поскольку капиталистическое производство означает в основном эксплуатацию труда, производство прибавочной стоимости в преобразенной форме прибыли и реализацию этой последней, постольку основные элементы противоречия, приводящие к кризису, также могут быть увязаны лишь с формой производства прибыли и с ее реализацией. «Так как целью капитала, — пишет Маркс, — является не удовлетворение потребностей, а производство прибыли, и так как эта цель достигается лишь такими методами, при которых масса продуктов определяется размерами производства, а не наоборот, то постоянно должно возникать несоответствие между ограниченными размерами потребления на капиталистическом базисе и производством, которое постоянно стремится выйти за эти имманентные пределы»²⁹.

Пределы прибыльности капитала, узкие масштабы потребления, перепроизводство капитала и товаров — таковы главные положения, вокруг которых после Маркса разгорелись теоретические споры о кризисе. В одних случаях пусковым моментом кризиса, понимаемого как обострение противоречий, провозглашается перепроизводство товаров в соотношении с покупательной способностью трудящихся масс; в других — за основу кризиса берется падение нормы прибыли, детерминированное условиями производства и в особенности ростом органического состава капитала. Это столкновение точек зрения структурирует дискуссию марксистов вокруг понятия экономического кризиса. При этом в качестве открытой проблемы вырисовывается тот факт, что Маркс не оставил никакой законченной теории кризиса по целому ряду причин, которые с систематической точки зрения коренятся в структуре объяснения понятия капитала вообще, от которого зависит метод анализа капиталистического общества и законов его развития. В самом деле, некоторые теории кри-

²⁷ F. Oelssner. Die Wirtschaftskrisen, cit.

²⁸ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 24, с. 208.

²⁹ Там же, т. 25, ч. I, с. 281.

зиса порой опираются на отдельные элементы, порой даже — на выхваченные цитаты, и все это — ради выведения марксистской теории кризиса как теории недопотребления либо как теории перепроизводства (теории перенакопления). Бернштейн³⁰, например, не обнаруживает почти никакой разницы между Марксовым понятием кризиса и дефиницией кризиса, предложенной Родбертусом ввиду того, что оба делают упор на роли покупательной способности потребителей для циклического движения процесса накопления капитала. Айтох также констатирует³¹, что у Маркса можно найти следы теории недопотребления; однако только для того, чтобы затем систематически продемонстрировать, что Маркс никоим образом не может быть причислен к длинному ряду сторонников теории недопотребления. Прайзер первым показал³², что, если отвлечься от отдельных высказываний, внутренняя структура аргументации Маркса по вопросу о кризисе связана с тенденцией нормы прибыли к понижению, что в свою очередь вытекает из противоречий воспроизводства капитала. Тем не менее и после этого спор не может считаться разрешенным: он возникает вновь и вновь, не в последнюю очередь потому, что тот или иной вариант объяснения приобретает немалую весомость в дискуссиях о политических альтернативах по преодолению кризиса.

В то же время преодоление кризиса или антикризисное регулирование не являются результатом одного лишь политического действия. Благодаря обострению противоречий до точки ломки кризис не только завершает одну фазу развития, но и открывает в то же время — путем регулирования элементов противоречий, выявляющихся в ходе его протекания, — новую фазу развития. По этой причине кризис есть «узловой пункт развития, решающая фаза цикла. Он составляет основание цикла и определяет его характер»³³. Одним словом,

³⁰ E. Bernstein. Die Voraussetzungen des Socialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie. Stuttgart, 1899.

³¹ M. Itoh. Value and Crisis, cit. Изложение взглядов Маркса на кризис страдает у Айтоха тем недостатком, что некоторые положения Маркса вырваны из контекста либо искажены по своей направленности. Когда Маркс высказывает, по Айтоху, предположения, идущие в русле теории недопотребления, он делает это в полемике против «глупого Сэя», который вообще отрицал возможность разрыва между приобретением и продажей, предложением и спросом и против которого был уже вполне достаточен тот довод, что при капитализме рабочие никоим образом не могут через свой спрос выкупить весь созданный ими продукт (предложение). Все это, однако, не имеет ничего общего с теорией недопотребления. Кроме того, Маркс в «Экономических рукописях 1856—1859 годов» не ограничивается этими критическими замечаниями.

³² E. Preiser. Das Wesen der Marxschen Krisentheorie. — In: "Wirtschaft und Gesellschaft. Festschrift für Franz Oppenheimer". Frankfurt am Main, 1924, ristampato. — In: E. Preiser. Politische Ökonomie in 20. Jahrhundert. München, 1970.

³³ F. Oelssner. Die Wirtschaftskrisen, cit., S. 95.

кризис является компонентом промышленного цикла. Тем не менее в отличие от буржуазных конъюнктурных теорий промышленный цикл в этом случае понимается не как синусоидальная кривая, оторванная от хода истории, а как фаза развития, в которой противоречия буржуазного общества возмущаются все сразу и требуют регулирования. Придавая в качестве решающего именно такое значение кризису, марксистская теория в своем исходном ядре выступает как теория кризиса, между тем как буржуазные теории, как правило, являются конъюнктурными теориями, или теориями цикла.

В марксистской политэкономии этот характер кризиса не всегда оказывался понятым. Например, главный упрек Браунталя в адрес теории недопотребления состоит в том, что «она рассматривает кризис как изолированное явление, а не как внутреннюю фазу конъюнктурного цикла»³⁴. Со своей стороны Натали Мошковска, защищаясь от критики Шумпетера³⁵, утверждает, что Маркс был первым теоретиком, «который отчетливо увидел, что истинная проблема заключается в конъюнктурном цикле, ритмических колебаниях экономики. До Маркса кризисы рассматривались просто как перерывы в развитии, которое иначе шло бы постоянно вперед. Преодолев старую точку зрения, по которой кризисы рассматривались как изолированная проблема, Маркс „предвосхитил открытие Клемана Жуглара“»³⁶. Да и по мнению Хаберлера, научный прогресс состоит именно в том, что теория теперь пытается объяснить не кризис, а цикличность конъюнктуры³⁷. Рассуждения такого типа предполагают, что весь цикл бе-

³⁴ A. Braunthal. *Die Wirtschaft der Gegenwart und ihre Gesetze*. Berlin, 1930, S. 169.

³⁵ Шумпетер настаивает на необходимости выработки теории конъюнктурных волн. На основании эмпирических исследований он открыл, что наряду с «нормальными» циклами Жуглара следует принимать во внимание долгосрочные «волны Кондратьева» и чрезвычайно краткие «циклы Китчина». Имеется, следовательно, не один цикл, а по крайней мере три, и они накладываются друг на друга: «Нет никакой особой заслуги в только что проделанном подразделении кризисов на три класса. Возможно, лучше было бы — на пять, но после определенного экспериментирования автор пришел к заключению, что достигаемое улучшение в точности описания не перекрывает возникающих при этом дополнительных сложностей. В особенности же неустанного подчеркивания заслуживает тот факт, что схема из трех циклов не вытекает из нашей модели — при том, что из нее все же вытекает сама идея существования многообразия циклов, — и что принятие или отвержение нашей основной идеи ничего не отнимает и ничего не прибавляет к ее достоинствам: она все равно будет действительно функционировать при многих других схемах этого типа» (J. A. Schumpeter. *Il processo capitalistico*, cit., p. 202—203). Выявление циклов, таким образом, подчиняется не теоретическому построению, а соображениям функциональности.

³⁶ N. Moszkowska. *Das Krisenproblem bei Marx und Keynes*. — In: «Schmollers Jahrbuch», 1959, S. 44. Автор цитирует работу Шумпетера: J. A. Schumpeter. *Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie*. Bern, 1946.

³⁷ G. Haberler. *Prosperität und Depression*, cit., S. 119.

рется уже не как производное от борьбы «противостоящих друг другу» участников производства в этом обществе (если пользоваться выражениями Маркса), то есть не как прогрессирующее обострение и регулирование противоречий капиталистического способа производства, где кризис как момент обострения и регуляции противоречий действительно играет роль первостепенной важности, а как эмпирически наблюдаемое волнообразное движение, для объяснения которого может существовать множество теорий.

Поскольку кризисы подразумевают не только обострение, но и разрешение противоречий, это значит, что они всегда и непрерывно производят предпосылки новой фазы капиталистического накопления. Значение кризиса заключается в этой его двоякой функции. Он действительно представляет собой фазу промышленного цикла, но фазу, которая определяет весь цикл как цикл кризиса. Помимо всего прочего, это предполагает понимание специфичности *Марксова понятия закона*. Закон у Маркса можно определить следующим наиболее простым образом. В «Капитале» он разрабатывает законы капиталистического способа производства как основные нормы, которым подчиняются процесс производства, обращение и весь процесс капиталообразования. Тем не менее эти законы (например, *закон стоимости*) не выступают как таковые в чистой форме, поскольку суть и внешняя форма не идентичны; более того, основные общественные отношения выступают в мистифицированном виде, и это даже входит в их сущностные характеристики. Поэтому законы способа производства могут проявляться в деятельности людей единственно как *тенденции*, которые, однако, из-за имманентной противоречивости капиталистического способа производства образуют не прямолинейный тренд, а *циклическое движение*³⁸. Таким образом, тот, кто хочет анализировать кризис, не может останавливаться у поверхностности видимости кризиса, но должен идти все дальше вглубь, отталкиваясь от фундаментальной противоречивости капитализма, для того чтобы путем наблюдения ее периодических обострений и регуляций найти объяснение действительной природы и функций кризиса. *Форма кризиса* вытекает из *возможности* много-

³⁸ Пример применения этого принципа продемонстрирован Марксом в книге третьей «Капитала», в разделе, посвященном тенденции нормы прибыли к понижению. Так, в главе XIII представлен «закон как таковой», в XIV — «противодействующие причины», а в XV — «развитие внутренних противоречий закона». В силу наличия антагонистических причин закон выражает себя не в чистой форме, а скорее как *тенденция*. Из-за *противоречий*, заключенных в этой *тенденции*, она не может проявляться как *прямолинейный тренд*, но только как *циклическое движение*. Не случайно поэтому Маркс, отталкиваясь от «развития внутренних противоречий», как раз в главе XV разбирает элементы, которые в каждом отдельном случае вызывают действительный кризис.

численных перерывов в обращении товаров и капитала. Действительность же кризиса может быть объяснена лишь через выявление всех тех конкретных противоречий, в которых развивается капиталистическое отношение в вышеуказанном смысле обострения и регуляции.

Мы начали с утверждения, что кризис является не только экономическим, но также социальным и политическим, но что тем не менее в силу структурного преобладания экономики он зарождается в основном на экономической почве. Теперь мы можем задаваться вопросом, каким образом кризис как обострение-регуляция оказывает свое воздействие на социальном уровне.

Накопление капитала периодически выливается в ситуацию экономического кризиса, и что касается объяснений, которые даются этому явлению различными теориями кризиса, то они будут проанализированы в следующем параграфе. Здесь же самым важным будет рассмотрение социальной структуры процесса накопления. В самом деле, не всегда является очевидным, что накопление капитала происходит как социальный процесс, который обычно не вызывает такого конфликта, который мог бы поставить под угрозу существование системы. Это становится возможным потому, что эксплуатация наемного труда и накопление капитала могут опираться на согласие эксплуатируемых³⁹. Экономический процесс капиталообразования, таким образом, обычно социально гарантирован с помощью консенсуса, причем этот консенсус оказывается мотивирован различными способами. Во-первых, он возможен в силу мистифицированной структуры самого отношения эксплуатации, которое — как таковое — вообще не выходит на поверхность (идея «справедливой заработной платы», денежный фетишизм и т. д.). Во-вторых, создаются идеологии, которые оправдывают отношение эксплуатации либо структурируют восприятие общественных отношений в направлении решительного согласия с существующей действительностью. В-третьих, отношение эксплуатации скрывается за частоколом из такого множества институционализированных или неинституционализированных компромиссов, что в конечном счете выступает как паритетное договорное отношение. В-четвертых, оно легитимируется различным образом с помощью активного государственного вмешательства и мер регулирования, отражающих также интересы наемного труда. В этом плане фундаментально важная роль принадлежит реформам и государственной регламентации «индустриальных отношений».

В этом контексте само государство выступает, в сущности,

³⁹ A. Przeworski. Material Basis of Consent: Economics and Politics in a Hegemonic System. — In: "Political Power and Social Theorie", 1980, vol. I, p. 23 ff.

как власть, осуществляющая опосредование между процессом накопления (экономическим) и регулированием консенсуса (социальным). Подобное опосредование проявляется, с одной стороны, в функциях государства (накопления и легитимации)⁴⁰, а с другой — в институциональном отделении экономической политики (служащей прежде всего накоплению капитала) от социальной политики, которая привязана, по выражению Лелио Бассо, к «логике труда», или системе воспроизводства наемного труда, и может поэтому вступать в конфликт именно с требованиями накопления. Воспроизводство консенсуса имеет свою цену — отказ от получения *максимальных* прибылей.

Тем не менее эта система накопления, консенсуса, легитимации не является стабильной, как это уже было показано при разборе понятия кризиса. В процессе накопления капитала развиваются элементы кризиса, которые находят выражение в социальных и государственно-политических формах. В плане социальном этим порождается тот парадокс, что в кризисной ситуации фундамент консенсуса рушится вместе с системой эксплуатации. В этом случае становится очевидным, что консенсус опирается не только на идеологическую основу, обязан своим существованием не одним лишь мистификациям, но должен быть также привязан к материальным условиям. Если эта гарантия подвергается эрозии, консенсус также оказывается под угрозой. Подобная опасность, разумеется, не обнаруживает себя одновременно с кризисом накопления капитала, а выходит на поверхность с целым рядом задержек и в зависимости от степени личной включенности⁴¹. Тем не менее сама по себе тенденция к эрозии специфических форм консенсуса сомнения не вызывает. Особенно важно в этой связи отметить тот факт, что социальные интересы и выражающие эти интересы организации подвергаются процессу дробления и разобщения. Этот процесс совершается как внутри рабочего класса (например, как следствие расщепления рынка труда), так и внутри класса капиталистов (по причине разной интенсивности, с какой кризис ударяет по отдельным предприятиям).

⁴⁰ Сходство между используемыми здесь понятиями и теорией О'Коннора, вскрывающей противоречие между государственными функциями легитимации и накопления, является чисто поверхностным. Критика положений О'Коннора в данном очерке увела бы нас слишком далеко за рамки темы. См. поэтому мою главу в т. IV «Истории марксизма».

⁴¹ Под этим углом зрения в анализ необходимо было бы включить также исследование такого аспекта, как сознание. Само сознание как почва, на которой вырабатываются представления о кризисе, всякий раз выступает как результат процесса накопления: в данном случае — накопления *опыта*. Теории придают опыту структуру: без опыта теории подобны деревянным коням — на них далеко не ускачешь. Между тем накопление опыта также подвержено циклическому процессу, который протекает не независимо от процесса накопления капитала.

Если, обращившись к социальному кризису, экономический кризис приобретает форму дробления и разобщения, то на государственную систему он обрушивается прежде всего как *фискальный* кризис, кризис тех экономико-политических структур, которые по своему происхождению восходят к фазе наиболее интенсивного накопления. Однако фискальный кризис — это еще не все, поскольку упомянутое соотношение между экономической и социальной политикой, как правило, смещается в пользу экономической политики. Эта последняя, будучи активно политическим выражением функции накопления, становится приоритетной по отношению к функции легитимации. В этой фазе к государственной системе предъявляются повышенные требования вмешательства, поскольку вследствие усиления социальной разобщенности противоречивость представленных в политической системе интересов с большим трудом поддается фильтрации или примирению в плоскости политических мероприятий. Зачастую этим явлениям сопутствуют — по крайней мере это с ясностью различимо в ходе кризиса 30-х годов в Германии — падение роли парламента, общественных и политических организаций и соответствующее усиление роли исполнительной политической власти и узких верхушечных групп⁴². Это означает, что кризисы капиталистического накопления несут с собой угрозу основным институтам буржуазной демократии и что авторитарные тенденции получают в ходе развития кризиса естественные импульсы роста. В качестве фундаментальной материальной предпосылки буржуазная демократия требует такой ситуации, при которой консенсус не подвергается чрезмерному давлению. Отсюда следует, что во время кризиса капиталистическая демократия потенциально находится под угрозой: потенциально — вследствие основной динамики кризиса, но не конкретно неотвратимо, ибо для превращения угрозы из потенциальной в действительную требуется вмешательство многих других факторов.

Экономический кризис, таким образом, обостряется и превращается в социальный и политический кризис, обретая формы своего проявления в разобщении и разложении и без того шаткого равновесия между государственными функциями накопления (экономическая политика) и легитимации (социальная политика). Вместе с тем, как мы уже отмечали, кризис есть также регуляция, разрешение, перестройка отношений, причем — точности ради — не только в экономике, но и в самом широком социальном контексте. В экономике регуляция означает в первую очередь восстановление рентабельности производства и накопление путем девальвации, соответствующего изменения структуры цен, перестройки в сфе-

⁴² См.: D. Abraham. The Collapse of the Weimar Republic. Political Economy and Crisis. Princeton, 1981, p. 229 ff.

ре самого производства, перемещений на мировом рынке и т. д. Политические и социальные последствия этого процесса перестройки и реорганизации определяются прежде всего экономикой. Для каждого кризиса характерно, что политика сосредоточивается на создании благоприятных условий для функционирования экономики (в смысле прибыли и накопления). Наиболее опробованный метод в этом случае состоит в том, чтобы предоставить экономической динамике делать свое дело, понимаемое как грубо навязанное действием рыночных факторов приспособление к требованиям капиталообразования. Политика уступает дорогу экономическим фактам и пользуется ими как политическим проектом.

Такова материальная база неолиберальных программ и идеологий, которые, как правило, приобретают значение во время кризиса. Они не признают институтов обеспечения социального компромисса, которые, как бы то ни было, всегда выступают как политические органы частичного политического контроля над накоплением отчасти в интересах тех, кто — ради того, чтобы система функционировала, — должен соглашаться с собственным положением эксплуатируемого. Вместо всего этого они делают ставку на легитимирующую силу рыночных процессов, — силу, которая в состоянии использовать политику в собственных целях, особенно когда речь идет о внешних рынках, в любом случае находящихся вне возможностей национально-государственного контроля. Очевидно, тем не менее, что этот процесс насильственного приспособления и перестройки должен в какой-то момент прийти к своему временному завершению, самое позднее в тот момент, когда процесс накопления капитала вновь придет в движение и потребует при этом возможно менее конфликтных трудовых отношений. Иными словами, перестройка должна вылиться в установление нового равновесия между социальными силами, восстановление консенсуса. Однако материальная и идеологическая база консенсуса в ходе этого процесса подвергается изменениям. И если оказывается невозможным гарантировать консенсус в ходе накопления и в рамках предъявляемых им требований, то консенсус тогда заменяется репрессивными мерами со стороны соответствующих государственных учреждений.

Итак, процессы перестройки совершаются в конечном счете в направлении восстановления условий, благоприятных для рентабельности и накопления капитала. Это предполагает вместе с тем социальные и политические процессы, которые — уже в силу одного того факта, что капитал, способность к накоплению которого восстанавливается, по-прежнему остается общественным отношением, — призваны обеспечивать возможности накопления капитала и поддержания тем самым господства буржуазии. В этом смысле можно так-

же утверждать, что предпосылкой дальнейшего развития, продолжающегося и после кризиса, является выдвижение в ход и в силу самой перестройки нового проекта гегемонии. Понимаемая таким образом гегемония ставится кризисом под вопрос, но перестраивается и воспроизводится именно с помощью кризиса в форме пассивной революции.

Итак, мы изобразили — по необходимости схематично — кризис как экономический, политический и социальный процесс. Наша задача, в сущности, заключалась в том, чтобы разъяснить, что развязываемая кризисом социальная динамика не остается запертой в рамках экономики. Тем не менее, как станет видно из дальнейшего, в период между двумя войнами теории кризиса были, по сути дела и в первую очередь, экономическими теориями кризиса. У них были, бесспорно, свои достоинства, но именно в силу такой ограниченности они воспринимали социальный характер кризиса 1929 года лишь в редуцированном виде или даже вовсе не улавливали его. Мы еще вернемся к этой проблеме после того, как рассмотрим главные варианты теории кризиса и взгляды их сторонников.

3. Типология теорий кризиса

Как мы отметили, возможности кризиса вытекают из формы обращения товаров, денег и капитала. Это означает, что такие возможности присущи каждому обществу, производящему товары; они растут с развитием обращения капитала, причем не только в силу увеличения числа отдельных актов, из которых складывается обращение, но и в силу растущей сложности рынка, которая выступает как «анархия» и способна породить многообразные диспропорции. Теории кризиса от диспропорций рассматривают такую возможность уже как действительный факт. Эта гипотеза, во всяком случае, не может быть сочтена вполне удовлетворительной, если при этом мы не зададимся вопросом о причинах систематического, периодического возникновения диспропорций. На этот вопрос ставят своей целью дать ответ теории недопотребления и перепроизводства, или сверхнакопления. Общим фундаментальным элементом этих трех теорий служит положение о том, что противоречие, которое порождает «диспропорции», есть противоречие между прибылью и заработной платой. Однако в теориях недопотребления это противоречие рассматривается в основном как проблема распределения, между тем как теории перенакопления, напротив, видят в этом противоречии момент производства и вследствие этого анализируют заработную плату (так же как прибыль) не как категорию распределения, а как часть авансированного капитала (поскольку другая часть его образована постоянным ка-

питалом). Можно затем различить многочисленные варианты теории сверхнакопления в зависимости от того, усматривают ли они противоречие, вызывающее кризис, в основном в движении переменного капитала или же в органическом строении капитала.

Разница между методом теорий недопотребления и методом теорий сверхнакопления распространяется также на сферу реализации. В теориях первого типа она трактуется главным образом как своего рода участок, где должно находить разрешение противоречие распределения: в частности, с помощью соответствующего движения цен «обычных» товаров и товара «рабочая сила». Теории сверхнакопления, напротив, воспринимают сферу реализации как тот момент обращения капитала, в котором, бесспорно, могут применяться «нейтрализующие» меры распределительной политики.

Естественно, эта наша классификация теорий с целью составления их приблизительной типологии усложняется, если принять во внимание другие элементы: такие, как кредитные отношения, роль государства, влияние мирового рынка и т. д. Поэтому даже простое отнесение тех или иных отдельных теорий к одному из перечисленных типов сопряжено с немалыми трудностями. Тем не менее такая классификация может облегчить изложение и критику важнейших из предпринимавшихся теоретических попыток, что мы и намерены сделать.

4. Теории диспропорции

Возможность кризиса находит объяснение в изображении фаз обращения товаров в качестве момента разрыва между приобретением и продажей. Возможность кризиса может возникнуть в денежном обращении: в результате перерывов в цепи оплаты (деньги в качестве средства платежа). Наконец, в развитом обращении капитала складываются возможности кризиса, обусловленные перерывами между фазами превращений капитала: ликвидный капитал запаздывает с превращением в рабочую силу или средства производства как условия расширенного капиталистического воспроизводства, вложенный в товары капитал не переходит в ликвидность, процесс производства прерывается забастовками, обращение постоянного и переменного капиталов изменяет равновесие пропорций воспроизводства капитала. Обычно кризисы могут возникать в результате нарушения пропорций воспроизводства капитала в том виде, как это представлено Марксом в его «схемах воспроизводства». Если кризис поражает важные секторы промышленности, он может расшириться вплоть до превращения в общий кризис.

Неудивительно, что перед лицом столь многочисленных возможностей перерывов в воспроизводстве капитала, порож-

дающих кризис, в теоретической дискуссии марксистов о кризисе значительное внимание было уделено *диспропорциям*, образующимся в ходе процесса накопления капитала. Конечно, это объясняется также тем фактом, что теория кризиса от диспропорций согласуется в особенности с тезисом о стабилизации капитализма в его «организованной» стадии (Гильфердинг) или же в стадии «огосударственного капитализма» (Реннер). Не случайно поэтому идея кризиса как результата диспропорции в 20-е годы прослеживается прежде всего у теоретиков социал-демократии. Впервые эта гипотеза сформулирована у Туган-Барановского: «Если бы общественное производство было организовано соответственно плану, если бы ответственные за производство обладали полными сведениями о спросе и одновременно полномочиями свободно перемещать труд и капитал из одной отрасли производства в другую, тогда предложение товаров — сколь бы низким ни было общественное потребление — не могло бы превосходить спрос»⁴³.

Тезис о диспропорции разрабатывается впоследствии Гильфердингом в его «Финансовом капитале»⁴⁴. Отто Бауэр⁴⁵ также считает, что структурная тенденция к кризису обусловлена отсутствием плана в капиталистическом способе производства. Это целиком соответствует логике его аргументации о «рационализации и ошибочной рационализации». В самом деле, предприятия наделены способностью к рациональному поведению в рамках их непосредственных прерогатив, то есть там, где они вольны распоряжаться факторами производства; но они не могут устранить ошибочной рационализации, обусловленной анархией, которую порождает рыночная экономика. «Никакое совершенствование конъюнктурных исследований, анализа рыночной ситуации, планирования в масштабах отдельных предприятий, — пишет Бауэр, — не сможет заткнуть подобный источник, из которого выплескивается огромная масса антиэкономических элементов. И так будет по крайней мере до тех пор, пока само общество не станет управлять своим производительным аппаратом и регулировать его обновление, расширение и совершенствование на основе *общественного плана*, равномерно разделенного по годам и пропорционально распределенного по отдельным отраслям производства»⁴⁶.

Таким образом, неравномерность и диспропорции развития вызывают кризисы, которые вспыхивают циклически, но

⁴³ M. Tugan-Baranovskij, cit. — N. Moszkowska. Das Marxsche System. Ein Beitrag zu dessen Ausbau. Berlin, 1929, S. 134.

⁴⁴ R. Hilferding. Das Finanzkapital. Frankfurt am Main, 1968.

⁴⁵ O. Bauer. Kapitalismus und Sozialismus nach dem Weltkrieg. Berlin, 1931, vol. I.

⁴⁶ Ibid., S. 204.

могут быть предотвращены с помощью общественного плана. «Организованный капитализм, по-видимому, *содержит* в себе способности и средства для контроля над собственными кризисами, но он не в состоянии или не желает применять их. Кризис вследствие этого порождается не столько непреодолимыми структурными противоречиями капитализма, сколько управленческой неспособностью внеэкономического характера»⁴⁷. В соответствии с таким взглядом кризиса всегда можно избежать: если он все же наступает, это объясняется политическими ошибками. Кризис, таким образом, выступает не как экономический: его природа — политического свойства и должна преодолеваться на политической почве. Подобные принципиальные позиции помогают понять экономический догматизм Гильфердинга, его оппозицию альтернативной стратегии профсоюзов (плану Войтинского — Бааде — Тарнова). Другой крупный теоретик социал-демократии, Альфред Браунталь, использовал аналогичные доводы: «Ответственность за конъюнктурные колебания следует приписывать не конфликту между доходом пролетариев и капиталистическим доходом (как в теории недопотребления), а капиталистической экономической анархии... [По-видимому] оправданно предположение, что в капиталистической экономике пропорции между различными сферами... устанавливаются исключительно в рамках вновь и вновь возникающих диспропорций. В случае, когда они приобретают обширные масштабы, мы можем охарактеризовать подобные диспропорции, подобные нарушения равномерности как кризисы; точно так же, как мы можем рассматривать восстановление нарушенной пропорциональности путем соответствующей корректировки цен как функцию кризисов»⁴⁸.

Смысл теории диспропорции состоит прежде всего в ее совместимости с тезисом о возможной стабилизации капитализма посредством его организации и государственного контроля. Она согласуется также с «культурой рационализации» Веймарской республики, то есть действительно делает упор на иррациональном характере развития капитализма, но делает это, неизменно исходя из предпосылки о его возможной рационализации. Отсюда известная популярность этой теории, на что обратил внимание Суизи⁴⁹. С другой стороны, она обнаруживает крайнюю ограниченность. В самом деле, если верно, что «каждый экономический кризис... по-видимому, может быть возведен к некоей диспропорции»⁵⁰, то, с другой стороны, подобная диспропорция должна усмат-

⁴⁷ G. E. Rusconi. La crisi di Weimar. Torino, 1977, p. 350.

Так автор описывает позицию Гильфердинга.

⁴⁸ A. Braunthal. Die Wirtschaft der Gegenwart, cit., S. 169 ff.

⁴⁹ P. Sweezy. La teoria dello sviluppo capitalistico, cit.

⁵⁰ N. Moszkowska. Zur Kritik moderner Krisentheorien. Praha, 1935.

риваться «в природе капитализма»⁵¹ и именно в этой природе исследоваться, если мы хотим получить теоретическую реконструкцию кризиса. Взятая в таком виде, теория диспропорции обнаруживает весьма специфическое и, кстати говоря, крайне формальное понимание Маркса: противоречия капиталистического способа производства заключаются, по сути дела, в анархии, к которой приплюсовываются — при посредничестве рынка — децентрализованные решения отдельных участников хозяйственной жизни. Подобный формальный способ рассуждения был раскритикован уже Гильердингом, который трактует деньги — центральную «исходную категорию» в определении структуры понятия капитала вообще — в первую очередь как технически регулировочную категорию и соответственно интерпретирует кризисы именно как нарушения механизмов регуляции.

Одним словом, если есть смысл еще на мгновение задержаться на понятии диспропорции, то только для того, чтобы указать, что речь идет о фундаментальных диспропорциях, о рассмотрении всех тех моментов, которые могут обособляться до такой степени, когда их движение — в условиях противоречивости развития — приводит к кризису. Но в этом пункте неизбежно возникает вопрос: каковы же те факторы, которые вступают во взаимное противоречие и развиваются настолько неравномерно, непропорционально, асинхронно, что наступает момент ломки? Может ли такого рода диспропорция усматриваться в устойчивом проявлении постоянного «несоответствия между ограниченными размерами потребления на капиталистическом базисе и производством, которое постоянно стремится выйти за эти имманентные пределы»?⁵² Или же «диспропорция становится... непреодолимой силой, предопределенной капиталистическим производством»?⁵³ К первой трактовке диспропорции восходят теории недопотребления, ко второй — теории сверхнакопления; и те и другие могут говорить о своем происхождении от Маркса или от марксистской традиции, и те и другие сыграли важную роль в интерпретации кризиса конца 20-х — начала 30-х годов.

5. Теории недопотребления

В своей основе теории недопотребления исходят из признания «расхождения между развитием производства и развитием доходов, что само по себе способно объяснить всеобщий кризис и его регулярные проявления»⁵⁴. Подразделяясь

⁵¹ Ibid.

⁵² К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 25, ч. I, с. 281.

⁵³ F. Oelssner. Die Wirtschaftskrisen, cit.

⁵⁴ E. Lederer. Konjunktur und Krisen. — In: "Grundriss der Sozialökonomie". Tübingen, 1921, sez. IV, S. 386.

на многочисленные варианты, теория недопотребления имеет весьма долгую традицию. Прежде всего она критически заострена против «закона о рынках сбыта», сформулированного Жаном-Батистом Сэем⁵⁵. По этому закону всякое предложение создает соответствующий спрос, так что никакое несогласование между актами приобретения и продажи, а следовательно, «кризис *potentia*», невозможны. В противовес классической политической экономии Сэя (но также и Рикардо) как Сисмонди, так и Мальтус утверждали, что диспропорции между производством и сбытом товаров более чем возможны, ибо совокупная стоимость, произведенная рабочими, не может быть выкуплена ими. «Рабочим недостает покупательной способности для поглощения произведенных продуктов, между тем как предприниматель-капиталист не потребляет всего своего дохода, но откладывает часть его, в дальнейшем увеличивая производство с помощью этого вновь образованного капитала»⁵⁶.

Если у Сисмонди подобное определение диспропорции между покупательной способностью и производством осмысливается как критика в адрес господствующего способа производства, то Мальтус выводит из нее необходимость непроизводительного потребления—довод, с которым мы вновь встретимся у теоретиков недопотребления 20—30-х годов и который сыграет довольно важную роль также в кейнсианской теории недостаточного спроса. И по мнению Родбертуса — Ягетцова, противоречие между производством, производительностью труда и распределением или покупательной способностью выступает как фундаментально важное обстоятельство для понимания тенденции к кризису, заключенной в капиталистическом развитии: в ситуации растущей производительности труда заработная плата класса трудящихся приносит им все меньшую долю национального продукта, так что относительная «нищета трудящегося класса [никоим образом не допускает], чтобы его доход образовал то русло, в которое мог бы быть направлен растущий выпуск продукции»⁵⁷.

Доводами, аналогичными доводам Родбертуса, пользовались также русские народники, которые, однако, придавали этой теоретической аргументации иную политическую направленность. Их интересовало доказательство того, что внутренний рынок России ограничен и что поэтому в ней

⁵⁵ Также и по этой причине Маркс использует некоторые доводы теории недопотребления против гармонической картины, нарисованной Сэем, по которому даже в случаях истощения возможностей сбыта всякое предложение ищет и в конечном счете находит свой спрос.

⁵⁶ Так пишет, комментируя теории Сисмонди, П. Момберт. См.: *Einleitung zu Karl Diehl und Paul Mombert. Ausgewählte Lesestücke zum Studium der politischen Ökonomie. Karlsruhe, 1920, vol. VII.*

⁵⁷ Родбертус цитируется по Момберту: *Ibid.*, S. 14.

не существует возможностей для капиталистического развития. В политическом плане отсюда вытекала необходимость вдохнуть новую жизнь в старинные русские формы социализации и коммунитарной экономики («мир», «община»), а не делать ставку на пролетариат, на буржуазную или даже социалистическую революцию⁵⁸.

Довод о низкой покупательной способности масс использовался Гобсоном и в особенности Розой Люксембург как доказательство в пользу необходимости расширения сферы капиталистической реализации для рассасывания неизбежно образующегося избытка товаров. В самом деле, прибавочная стоимость не потребляется, а накапливается капиталистами, так что постоянно возникает одна и та же проблема покупателей избыточного продукта. Анализ же показывает, что капиталисты не потребляют, а рабочие не могут получить доступа к потреблению по причине ограниченности их доходов. На основе капиталистического способа производства эта проблема не может быть решена, вследствие чего возникает необходимость завоевания внешних, еще не ставших капиталистическими рынков в ходе империалистической экспансии. У Розы Люксембург, таким образом, теория недопотребления непосредственно используется как основание в ее анализе империализма⁵⁹.

Оставим в стороне проблему, может ли тенденция к образованию пары перепроизводство—недопотребление быть выведена, как утверждает Роза Люксембург, из схем воспроизводства⁶⁰. Возникает тем не менее глубинный вопрос, с которым приходится сталкиваться всем сторонникам теории недопотребления и который состоит в том, чтобы установить, какая же норма накопления приводит в действительности к кризису (как следствие нарушения равновесия). Шайх⁶¹ прав, когда пишет, что, по мнению теоретиков недопотребления, всякое сбережение должно в конечном счете приводить к понизительным колебаниям, или, иначе говоря, что всякая позитивная норма накопления приводит в движение меха-

⁵⁸ От этого пункта отталкивается Ленин в своей аргументации в «Развитии капитализма в России». Он обвиняет народников в том, что они — теоретики недопотребления, не видящие, что расширение внутреннего рынка зависит не только от потребительского спроса, но и от спроса на средства производства со стороны капиталистов, целью которых является накопление. Вследствие этого в условиях, когда норма накопления достаточно высока, нет оснований утверждать, что капиталистическое развитие в России достигло своей предельной точки. Всякая же ориентация на докапиталистические формы производства есть дань романтизму и иллюзиям.

⁵⁹ R. Luxemburg. *Die Akkumulation des Kapitals*. Berlin, 1913.

⁶⁰ В качестве примеров критического анализа см.: A. Schaiikh. *Eine Einführung*, cit.; M. Itoh. *Value and Crisis*, cit.; P. Sweezy. *La teoria dello sviluppo capitalistico*, cit.

⁶¹ A. Schaiikh. *Eine Einführung*, cit., S. 12.

низм кризиса от недопотребления. В фазе роста производства, следовательно, достижение равновесия является абсолютно невообразимым. Всякий раз, когда норма накопления оказывается позитивной, вновь выступает теоретическая дилемма недопотребления, которая поддается разрешению лишь в том случае, если накопление будет приведено к нулевой отметке.

Но каким же образом в ситуации стагнирующего накопления может быть расширен спрос с целью рассасывания избытков продукции? Следует ожидать, что в случае подобного рода доходы, а с ними и покупательная способность, используемая при потреблении, должны будут претерпеть дальнейшее сокращение. И если бы при этом оказалось, что указанное сокращение превышает накопление, стагнирующее на нулевой отметке или даже находящееся ниже ее, то теоретическая дилемма недопотребления выявилась бы уже в регрессивной фазе экономического цикла. Выхода, стало быть, нет никакого: недопотребление определяет обстановку как при процветании, так и при кризисе; сама по себе система не может найти никакого решения. Теоретики недопотребления, «таким образом, оказываются перед лицом дилеммы, для выхода из которой им остается либо отступить, отвергнув часть полученных ими результатов, либо объяснить абсурдность собственных выводов»⁶².

Схема рассуждения, теоретиков недопотребления содержит между тем еще один аспект, тесно связанный с предыдущим. В самом деле, приняв, что накопление есть производное от прибылей, и предположив, что норма прибыли (объем прибыли по отношению к авансированному капиталу) равна норме накопления (накопленная прибыль по отношению к вложенному капиталу), мы получаем, что и прибыли должны быть равны нулю (при условии, разумеется, что прибыль не потребляется, а целиком идет на накопление), если хотим избежать теоретической дилеммы недопотребления. Наиболее последовательным образом эту концепцию излагает Натали Мошковска: «Причину периодических экономических расстройств следует искать не в производстве, а в распределении, то есть не в диспропорции между отраслями производства, а в диспропорции между доходами и, следовательно, не в ошибочном помещении капитала, а в слишком успешной эксплуатации»⁶³.

Дилемма теории недопотребления очевидна: с одной стороны, эта теория приобретает смысл, только если предполагаются антагонистические распределительные отношения, а а стало быть — капиталистический способ производства.

⁶² M. Bleaney. Underconsumption Theories: a History and Critical Analysis. New York, 1976, p. 59.

⁶³ N. Moszkowska. Per la critica, cit., p. 57.

С другой стороны, этот теоретический вариант не в состоянии установить распределение дохода на заработную плату и прибыль без опосредованного участия либо недопотребления, либо перепроизводства. Главная трудность для теории недопотребления состоит, следовательно, в мотивации цикличности развития. Выход из дилеммы теории недопотребления был предложен Эмилем Ледерером. Он поэтому обоснованно упоминается как автор, развивший некоторым образом наиболее последовательную модель цикла на базе теории недопотребления.

Расхождение между развитием производства и ростом доходов вытекает, по Ледереру, из диспропорции между различными категориями цен в ходе конъюнктуры, причем заработная плата наемных работников также рассматривается как цена. Внутри механизма изменения конъюнктуры, как представляет ее себе Ледерер, заработной плате принадлежит ключевая роль, ибо именно на зарплату приобретается большая часть произведенных потребительских благ. Если в ходе движения конъюнктуры сумма цен «обыкновенных вульгарных товаров» растет быстрее, нежели сумма цен товара «рабочая сила», то реальная способность этой последней покупать потребительские блага уменьшается, между тем как, с другой стороны, спрос на средства производства увеличивается вследствие роста доходов. Средства производства вместе с тем приобретаются только до той поры, пока есть возможность прибыльно продавать то, что производится с их помощью. Как, однако, может получаться все это, если именно реальная покупательная способность заработной платы сокращается в ходе движения конъюнктуры? В этом случае мы оказываемся перед лицом некоего дальнейшего развития теории недопотребления, следы которой различимы и у Суизи⁶⁴: сектор, производящий средства производства, рассматривается лишь как исходный фактор для сектора, производящего средства потребления⁶⁵. В определенный момент расширения производства обнаруживаются трудности со сбытом в промышленности, производящей средства потребления; эти трудности оборачиваются падением заказов для производителей средств производства. Таким образом, в фазе снижения деловой активности с неизбежностью возникает «диспропорция на основе распределения доходов в высокой фазе конъюнктуры, и равновесие может быть восстановлено, и кризис предотвращен, только если при помощи новых изменений долгов дохода старая пропорция оказывается восстановленной, накопление—сокращенным, а доля потребленных товаров возвращена к тому же соотношению с общей величи-

⁶⁴ P. M. Sweezy. La teoria dello sviluppo capitalistico, cit.

⁶⁵ Критический анализ этих взглядов см. в: A. Schaikh. Eine Einführung, cit., S. 21.

ной капитала. Это восстановление происходит в ходе кризиса»⁶⁶.

Доход и капитал вступают, таким образом, в противоречие, которое в свою очередь может быть теоретически обосновано, раз доходы — в противоположность тому, что утверждается в Марксовом анализе, — рассматриваются не как элементы обращения капитала, а как самостоятельные величины, вступающие в конфликт с совокупным измерением капитала. В сущности, по Ледереру, речь идет о *количественных* соотношениях: если они не сходятся, возникает кризис. Речь идет между тем о *качественном* принципе, в силу которого в конфликтных взаимоотношениях между прибылью, заработной платой и ценой вспыхивают противоречия, имманентные капиталу. В работах Ледерера можно обнаружить лишь зачатки размышлений, идущих в этом направлении. «Если бы кризисы восходили к диспропорции доходов, — пишет он, — то они легко бы устранялись посредством увеличения заработной платы рабочих и служащих и уменьшения доходов от капитала. С одной стороны, это, конечно, сократило бы прибыли, но, с другой — весьма быстро увеличило бы потребление, обеспечив тем самым преодоление диспропорции на рынках. Накопление, во всяком случае, претерпело бы в результате сокращение. Тем не менее «мудрая предпринимательская структура» капиталистической экономики делает ясным, что подобное увеличение заработной платы почти не имеет возможности осуществиться, если именно понижение трудовых доходов... привело к возникновению диспропорции. В самом деле, в этот момент положение на рынке труда ухудшается и рост заработной платы оказывается невозможен»⁶⁷.

Ледерер, следовательно, полностью признает противоречивость категории заработной платы, которая, с одной стороны, означает — в качестве дохода — спрос, наделенный покупательной способностью, а с другой — в качестве авансированного переменного капитала — выступает как фактор стоимости для каждого отдельного капиталиста. Ледерер, хотя он и не упоминает об этом, знаком с критикой Маркса в адрес тенденции к одномерному истолкованию категории заработной платы: «Каждому отдельному капиталисту все рабочие, за исключением его собственных, противостоят не как рабочие, а как потребители, как собственники меновых стоимостей (заработной платы), денег, которые они обменивают на его товар... Собственно говоря, мы здесь еще совсем не занимаемся отношением одного капиталиста к рабочим *других* капиталистов. Это отношение показывает лишь ил-

⁶⁶ E. Lederer. Konjunktur und Krisen, cit., S. 394.

⁶⁷ Ibid., S. 401.

люзию каждого отдельного капиталиста, но оно ничего не меняет в том отношении, в котором капитал вообще находится к труду. Поскольку дело касается своего рабочего, то каждый капиталист знает, что противостоит ему не как производитель потребителю и по возможности желает ограничить его потребление, то есть его меновую способность, его заработную плату. Разумеется, каждый капиталист хочет, чтобы рабочие *другого* капиталиста были возможно более крупными потребителями *его* товара. Однако отношение *каждого* капиталиста к своим рабочим представляет собой вообще *отношение между капиталом и трудом*, существенное отношение»⁶⁸.

Как бы то ни было, для Ледерера эти аспекты проблематики уже не имеют значения. Интересует его лишь мотивация фазы оживления как продукта кризиса, объяснение ее с помощью той же самой модели, какую он применил для мотивации фазы спада: из-за специфической негибкости определенных категорий цен, особенно самой заработной платы, происходят изменения в структуре цены. Цены потребительских товаров снижаются — относительно — более интенсивно, так, что относительная реальная покупательная способность заработной платы — даже если она снижается в абсолютном измерении — возрастает. С возрастающим же потребительским спросом (в соотношении со всей суммой цен) «склады быстро опустошаются, между тем как производство падает. В этот период, предшествующий ухудшению конъюнктуры, стоимость денег растет, в то время как банковская учетная ставка падает. Если потребление обгоняет новое производство... создаются предварительные условия для повышения цен и нового конъюнктурного оживления. Цены растут неравномерно, так что, с одной стороны, возможно накопление, в то время как, с другой — возникают трудности для процесса возрастания капитала нового происхождения: этим трудностям суждено снова вылиться в кризис. Движение конъюнктуры, таким образом, постоянно выступает в одно и то же время как движение стоимости денег (между тем как *не* всегда верно обратное), порожденное, однако, различиями в движении разных потоков дохода»⁶⁹.

В конечном счете все это сводится к весьма простому и — при поверхностном взгляде — поучительному тезису. В фазе роста относительная реальная покупательная способность на потребительские товары снижается, при депрессии — увеличивается. Падение предвещает кризис, увеличение — новый рост.

Причина этих изменений реальной покупательной способ-

⁶⁸ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 46, ч. I, с. 398.

⁶⁹ E. Lederer. Konjunktur und Krisen, cit., S. 403 ff.

ности — неравномерное распределение доходов при капитализме, распределение, которое циклически изменяется. При все том, однако, Ледерер определяет заработную плату — причем сразу вслед за подчеркиванием ее двойной роли, — по существу, как фактор спроса для капитала. Но такая трактовка не остается без последствий: выход из кризиса в новый период роста в самом деле происходит лишь тогда, когда вследствие колебания цен базовый спрос не может быть более понижен, между тем как цены все еще падают. Даже если предположить большую эластичность цен, все же неясно, почему наряду с понижением цен на другие товары не может быть понижена также заработная плата. Для того чтобы выпутаться из этих затруднений, Ледерер, подобно многим другим теоретикам недопотребления, вынужден придумывать механизм спасения: он привлекает внимание к важности «третьих» слоев, которые оказываются необходимыми для всплытия со «дна конъюнктуры»⁷⁰. Поскольку «относительный» рост заработной платы и вообще трудовых доходов происходит не автоматически и не без препятствий», а исключительно путем преодоления сопротивления работодателей, то рост не смог бы происходить без существования «слоев, которые обретаются за пределами промышленности... Если бы мы представляли себе индустриальное общество как состоящее единственно из предпринимателей и рабочих, игнорируя тем самым существование *других* слоев, то мы бы совершенно лишили себя возможности достижения точки *преодоления* кризиса, поскольку кризис в этом случае означал бы падение заработной платы, одновременно новый рост безработицы и дальнейшее понижение цен до бесконечности (при условии свободной конкуренции). Напротив, при нашем предположении об обществе покупательная способность других слоев возрастает от падения цен и в ситуации понижения заработной платы даже происходит в краткое время восстановление возможности нового роста торговли. Многосоставный характер социальной структуры представляет собой одновременно предварительное условие быстрого роста и защиту от полного расстройств кризисом экономического процесса»⁷¹.

Здесь Ледерер прибегает к приему, который еще до него был открыт и использован другими авторами. Мы уже привлекали внимание к проблеме «третьих» слоев. Но при этом неизменно возникает вопрос об установлении источника, из которого черпают свои доходы средние слои. А им не может не оказаться вновь произведенная стоимость, будь то в фор-

⁷⁰ Средние слои играют в теории Ледерера ту же роль, какая в теории Розы Люксембург отводится некапиталистическим секторам экономики. К этой параллели мы еще вернемся.

⁷¹ E. Lederer. Konjunktur und Krisen., cit., S. 403.

ме прибыли или заработной платы. В случае, если речь идет о процентах на капитал или ренте, источником этих доходов является прибавочная стоимость, а их относительный рост означает в то же время относительное сокращение прибыли промышленников; при том же совокупном капитале это равноценно падению нормы промышленной прибыли. В подобных обстоятельствах промышленники-капиталисты стали бы делать что угодно, но не расширять производство. Если же, напротив, доходы «третьих», слоев имеют своим источником заработную плату, то в этом случае они представляют собой лишь перераспределение, но не количественное расширение спроса. Тогда в качестве источника доходов для «третьих» слоев — допустив, что они производят тот эффект, какой приписывает им Ледерер, — остается лишь выпуск бумажных денег государством. Если на место «третьих» слоев мы подставим *дефицитное финансирование* государственных расходов, то окажется, что мы очень близки к кейнсианскому решению проблемы ситуаций недопотребления. В этом случае предположение исходит уже не из того, что базовый спрос сформируется за счет доходов, являющихся плодом коллективно-договорной практики и следующих непосредственно за движением конъюнктуры. Здесь открывается возможность *активно* формировать денежный спрос, с помощью которого может быть расширено производство. В процессе же расширения производства *производятся* лишь те доходы, которые, распределяясь посредством эффекта мультипликатора, способны выступать фактором нового роста. Ясно, во всяком случае, что денежная эмиссия или растущая реальная покупательная способность «третьих» слоев останутся без эффекта до тех пор, пока наряду с лучшими условиями реализации произведенных товаров не возникнут также лучшие, то есть более прибыльные, условия производства. Однако это может произойти, только если норма прибыли будет в состоянии увеличиваться благодаря растущему использованию факторов производства и росту капиталообразования в целом.

Здесь вырисовывается дальнейшее развитие дилеммы теории недопотребления. Ледерер, как мы видели, в своем объяснении роста, проистекающего из кризиса, прибегает к *экзогенной* величине: доходам некапиталистических слоев. С методологической точки зрения мы следуем теоретическим построениям Розы Люксембург о некапиталистических сферах реализации прибавочной стоимости: в соответствии с этим взглядом капитализм может существовать лишь до тех пор, пока продолжают сохраняться некапиталистические области хозяйствования. Если же, однако, тенденции капитала к распространению суждено будет привести к постепенной «капитализации» всех, даже самых отдаленных обществ,

как в масштабе отдельных стран, так и в общепланетарном масштабе, это будет означать, что никакого выхода из кризиса системы больше не существует. Доведенный до своих логических последствий, этот вариант теории недопотребления оборачивается *теорией краха*. Подобного вывода удается избежать лишь потому, что сторонники указанного варианта не развивают своих доводов до крайних последствий, признавая тем самым содержащиеся в них несообразности.

Несмотря на это, самим Ледерером были предприняты попытки *придать эндогенный характер* механизму, способному вытащить систему из кризиса. Это означало, однако, лишь то, что в его рассуждения были введены гипотезы насчет роста *нормы прибыли и накопления*, а вместе с тем по необходимости совершен переход с почвы теории недопотребления к другому теоретическому варианту — теории сверхнакопления. Но прежде чем заняться ею, целесообразно обратиться к теории Натали Мошковской, которая выглядит интересной и важной в первую очередь потому, что была выработана сразу же после кризиса, в конце 20-х годов, а во-вторых, потому, что дала опору теории монополистического капитала и расточительского капитализма⁷².

Мошковска, рассуждая последовательно (на это мы уже обращали внимание читателя), усматривает причину кризиса в «чересчур успешной эксплуатации» и применяет большую часть своих аргументов для доказательства того, что — в противоположность Марксовой гипотезе — норма прибыли имеет тенденцию не к понижению, а, напротив, к росту⁷³. В самом деле, пишет она, «с прогрессом техники норма прибыли понижалась бы только в случае, если бы повышалось исключительно органическое строение капитала, но не происходило одновременного роста *производительности труда*. Между тем возросшая производительность труда понижает стоимость материальных и индивидуальных средств производства, а следовательно, влечет за собой снижение органи-

⁷² Мы еще вернемся к этому теоретическому заключению Натали Мошковской. Целесообразно, однако, сразу же напомнить, что теория недопотребления как таковая имплицитно является теорией краха, но из ее аргументации могут быть выведены также причинно-следственные линии в пользу тезиса о паталогическом поддержании капитализма. Именно это и сделали в своем «Монополистическом капитале» Бэрн и Суизи, имена которых небезосновательно включаются в список теоретиков недопотребления.

⁷³ Из-за недостатка места мы не имеем здесь возможности подвергнуть критическому анализу ее наиболее обстоятельную теоретическую работу (*N. Moszkowska. Das Marxsche System. Ein Beitrag zu dessen Ausbau, 1929*). Упоминаемые нами в дальнейшем выводы из ее последующих работ основываются на этой книге. Если выводы выглядят хорошо обоснованными и в то же время являются ложными, это значит, что их основание следует оценить как высокопроблематичное. В особенности это относится к упомянутой работе: «Das Marxsche System».

ческого строения капитала... и увеличение нормы прибавочной стоимости... Сразу же после внедрения технических новинок, оснащения рабочих более дорогостоящими средствами производства органическое строение капитала вырастает, но после обесценения средств производства вследствие растущей производительности труда снова понижается. Учитывая, что в силу обесценения потребительских благ понижается также заработная плата рабочих, то есть увеличивается норма прибавочной стоимости, норма прибыли не может уменьшаться»⁷⁴.

Здесь мы не собираемся разбирать вопрос о том, понижается или повышается норма прибыли в тенденции долгосрочного развития. В данный момент лишь важно понять, как и почему могут возникать кризисы. Если, по мнению Мошковской, норма прибыли растет, то *целью* производства для отдельного капиталиста все равно является получение возможно более высокой прибыли. Ответ на напрашивающийся вопрос формулируется следующим образом: «Растущее органическое строение капитала, с одной стороны, понижает потенциальные прибыли, но, с другой — расширяет возможность их реализации. Растущая производительность труда, с одной стороны, увеличивает потенциальные прибыли, но, с другой — уменьшает возможность их реализации»⁷⁵.

Мы сталкиваемся здесь с новой формулировкой той коренной дилеммы теории недопотребления, в соответствии с которой кризис должен был бы разражаться всякий раз, как только норма прибыли или норма накопления окажутся выше нулевой отметки. В данном случае эта гипотеза основывается на противопоставлении сферы производства сфере реализации. Главное то, что норма прибыли растет как следствие специфических условий производства (постоянство или даже понижение органического строения капитала и увеличение нормы прибавочной стоимости). Отсюда для сферы реализации вытекают противоречия между заработной платой и прибылью, поскольку первая оказывается недостаточной в роли фактора увеличения потребительского спроса, а вторая (будучи отложенной, то есть накопленной) постоянно расширяет предложение. С другой стороны, как эмпирически установлено, именно во время кризиса доходность капитала снижается: «Норма прибыли увеличивается при процветании и падает исключительно при кризисе, депрессии. Однако падение нормы прибыли в этом случае есть результат не возросшего органического строения капитала, а застоя на рынках сбыта вследствие диспропорции между производством и потреблением»⁷⁶.

⁷⁴ N. Moszkowska. Per la critica, cit., p. 38.

⁷⁵ Ibid., p. 42.

⁷⁶ Ibid., p. 40.

Абсурд оказывается полным: растущие прибыли порождают кризис, поскольку патологическое распределение уже не обеспечивает продажи произведенных товаров⁷⁷. Можно ли — в качестве зеркально перевернутой гипотезы — предположить, что следующее за депрессией оживление становится возможным в силу того обстоятельства, что норма прибыли во время кризиса падает? Подобная гипотеза с очевидностью вступает в чрезмерное противоречие с эмпирической констатацией тенденции капиталистической экономики к кризисам и совершенно не помогает понять, почему же предприниматели делают все возможное для повышения доходности своих капиталов. Уже прибегнув ранее к действию внешнего фактора для объяснения внезапного поворота от бума к кризису, Мошковска вынуждена теперь делать то же самое и для объяснения послекризисного оживления. Тем самым она становится на тот же путь, что и Ледерер, усматривая возможность согласования противоречащих друг другу элементов производства и потребления в том обстоятельстве, что «производство можно ограничить больше, чем потребление. Если бы уволенные перестали потреблять, если бы они эмигрировали или умерли, то тогда и при ограничении производства избыток продукции на каждого из оставшихся рабочих не уменьшился бы. Однако потребление рабочих, оказавшихся жертвами безработицы, не прекращается полностью даже при кризисе. Потребление рабочего поддается понижению не столь легко, как его производительность труда... [Помимо этого] транжирство и роскошь богачей процветают в любые периоды. Не следует также забывать, что общество состоит не из одних только рабочих и капиталистов, но и из слоев населения, доход которых не уменьшается под воздействием кризиса или по крайней мере не уменьшается решающим образом»⁷⁸.

Дилемма Мошковской, следовательно, идентична дилемме Ледерера. В точной аналогии с формализованными моделями

⁷⁷ Эрих Прайзер уже остроумно выявил абсурдность теории недопотребления (см. его очерк: *E. Preiser. Das Wesen der Marx'schen Krisentheorie*, 1924): «Если мы попытаемся принять теорию недопотребления, особенно если мы попытаемся принять ее буквально, то возникает следующая бессмыслица: если недопотребление есть наиглавнейшая причина кризиса, то с его устранением должен исчезнуть и кризис. Кризис устранен посредством высокой заработной платы. Но высокая заработная плата понижает норму прибыли в еще большей степени, чем это происходит из-за роста постоянного капитала. Вследствие этого лишается смысла всякое дополнительное производство. Капитал оказывается обреченным на бездействие. Это приводит к кризису. Из-за недопотребления? Нет! Скорее, из-за низкой нормы прибыли. А эта последняя оказывается в свою очередь низкой из-за высокой заработной платы, которая должна была бы устранить недопотребление! Таким образом, устранение предполагаемой причины кризиса порождает именно кризис».

⁷⁸ *N. Moszkowska. Per la critica, cit.*, p. 78.

роста, в которых развитие время от времени подходит к такой высшей точке, где его динамика как бы переламывается и меняет свое направление на прямо противоположное, в концепции Мошковской базовый спрос образует предельную точку для спирали недопотребления и возможности нового роста. В отличие от того, как это трактуется в теориях, принимающих за причину кризиса антагонистическое распределение, здесь регулирующая функция кризиса оказывается возможной в силу *внешнего* условия.

В теоретическом плане подобное решение нельзя назвать изящным, однако в плане политическом оно позволяет выдвигать относительно простые программы. Поэтому теория недопотребления нашла наибольшее распространение прежде всего среди социал-демократии, поскольку последняя исходила из предпосылки о глубинной прочности капитализма и в то же время — о возможности регулирования заработной платы политическим путем. Как-никак это выглядело более понятно, нежели намерение использовать в кризисной фазе заработную плату как макроэкономический фактор (в том смысле, как трактует ее теория недопотребления) для устранения самого кризиса. Подобно тому как Ледерер предлагал в качестве антикризисной политики чрезвычайные мероприятия по расширению покупательной способности населения, социал-демократы и ряд экономистов, представлявших профсоюзы, выступили сторонниками увеличения индивидуальной заработной платы и общественных расходов (то есть увеличения социальной заработной платы) с целью дать толчок росту покупательной способности и потребления масс. Теория недопотребления оборачивается, таким образом, специфически кризисным теоретическим вариантом идеи *политической* зарплаты, историю которой можно проследить назад вплоть до Бернштейна. В соответствии с этой идеей сфера распределения может выступать средством воздействия на производство и даже контроля над ним.

Во время кризиса, когда объединения капиталистов помогают понижению заработной платы или когда сокращение реальной заработной платы навязывается правительственной политикой (как то было в Германии при правительстве Брюнинга), борьба на коллективно-договорной почве сводится к противоборству вокруг урезывания заработной платы. Такая борьба, без сомнения, чрезвычайно важна, однако бесцельно было пытаться вести ее под флагом доводов, тесно связанных с теорией недопотребления. Капитал мог позволить себе отнестись к ним с полнейшим безразличием, между тем как для рабочих оставалась практически непостижимой идея отстаивания прежнего уровня реальной зарплаты из конъюнктурных соображений.

Мы не можем завершить этот обобщающий обзор разных

вариантов теории недопотребления, не обратив внимания на одно из следствий, выводимых причинным путем из контекста этой теории уже не в связи с циклическими кризисами, а в связи со структурой и «динамикой позднего капитализма»⁷⁹. В разгар первой мировой войны Мошковска, находясь целиком в русле логики теории недопотребления, развивает свою «теорию расточительства» позднего капитализма: раз массовое потребление не поспевает за производством, увеличивающимся в нарастающем темпе, производство для удовлетворения потребностей масс оказывается невозможным. Вместо всего этого происходит бессмысленное производство ради расточительства, сопровождающееся растущими *faux frais*, или бесплодными издержками, следствием которых становится невозможность реализовать потенциальное богатство.

«Человечество, — пишет Мошковска, — захлебнулось бы в благосостоянии, если бы были устранены непомерные бесплодные издержки, тяготящие экономику, то есть если бы экономический потенциал постоянно использовался, производственные мощности предприятий были загружены до предела... если бы работоспособные и трудолюбивые люди постоянно могли найти работу... если бы вместо форсирования экспорта, сопровождающегося попытками возврата к автаркии, действовало бы рациональное разделение труда между народами... если бы, кроме того, средства, которые ныне расходуются ради того, чтобы держать в повиновении эксплуатируемые классы и подавлять революционные силы, применялись в целях повышения культурного уровня народа; если бы в особенности вместо орудий уничтожения... производились предметы первой необходимости и стало бы возможным избежать разрушительных войн»⁸⁰.

Растущая прибыльность капитала, рассматриваемая в теории недопотребления — и с особенной отчетливостью в теоретических построениях Мошковской — в качестве причины кризиса, становится теперь источником, порождающим тенденцию к расточительству: «дыра» между потреблением и накоплением, между заработной платой (как доходом, наделенным покупательной способностью) и прибылями (как фондом накопления) при позднем капитализме затыкается с помощью все более многочисленных *faux frais*. Аргументация, как можно видеть, структурно идентична доводам теории монополистического капитализма Бэрена и Суизи⁸¹ или теории «потенциальной прибавочной стоимости», разработанной Бэреном. Но Мошковска пытается извлечь из отмечен-

⁷⁹ N. Moszkowska. *Zur Dynamik des Spätkapitalismus*. New York, 1943.

⁸⁰ Ibid., S. 135.

⁸¹ P. A. Baran, P. M. Sweezy. *Il capitale monopolistico. Saggio sulla struttura economica e sociale americana*. 4-a ed. Torino, 1974.

ной надциклической тенденции также объяснение того, почему капитализм с неизбежностью приводит к фашизму и кризису. «Был бы возможен фашизм при иной экономической и социальной обстановке? — задается она вопросом. — Эта политическая форма смогла возникнуть только при позднем капитализме. Она смогла пустить корни только там, где накопились гигантские незагруженные производственные мощности, между тем огромные и неиспользуемые производительные силы тщетно дожидались, когда их пустят в дело»⁸². Фашизм обнаружил эти неиспользованные производственные силы и смог мобилизовать их и направить в соответствии со стратегией империалистической войны: «Он смог тем самым одним выстрелом убить двух зайцев: дать новый импульс экономике, то есть занять безработных, и одновременно поставить барьер социальным конфликтам, развязав конфликты национальные»⁸³.

По этой теории, таким образом, недопотребление масс ведет к кризису, который становится структурным, поскольку он уже не может быть преодолен на базе динамики самой системы (позднего капитализма); обреченный на бездействие производственный потенциал, оказывается, можно мобилизовать только в направлении расточительства; движение в данном направлении может осуществляться, только если политическая система преобразуется из буржуазной демократии в *фашистскую диктатуру*. Следствиями этой последней становятся экспансионизм, империализм, война.

Такова основная тенденция теоретического аргументирования в рамках теории недопотребления, стремящейся превратить теорию кризиса в общую теорию позднего капитализма. Без сомнения, таким образом удастся избежать отмеченного нами элемента противоречия в теории недопотребления: кризисы преодолимы лишь при вмешательстве экзогенных факторов (базовый спрос, «третьи» слои, физиологические пределы, ниже которых не может опуститься покупательная способность масс), а если их нет, то кризис из циклического превращается в структурный. Именно такого рода аргументацией пользуется — в концептуальных рамках кейнсианства «теория стагнации» Олвина Хансена⁸⁴. Мошковска же, основываясь на этой работе, выстраивает образ системы, которая с экономической точки зрения осуждена на растущее расточительство, а в политическом отношении вынуждена обеспечивать такое расточительство с помощью милитаризации и репрессий. «Для могущественных производственных способностей позднего капитализма существуют лишь две возможности использования: либо производить потребитель-

⁸² N. Moszkowska. Zur Dynamik, cit., S. 9.

⁸³ Ibidem.

⁸⁴ A. H. Hansen. Full Recovery or Stagnation? New York, 1938.

ские блага, повышая тем самым уровень благосостояния масс, либо производить смертоносные орудия войны, разрушая тем самым с трудом достигнутое благосостояние»⁸⁵. Первая возможность неосуществима по причине противоречия между производством и покупательной способностью рынка потребительских товаров, как то дополнительно продемонстрировал опыт депрессии начала 30-х годов; остается, следовательно, только вторая возможность. Поскольку экономический кризис при капитализме не может быть преодолен посредством увеличения покупательной способности масс, он обостряется до такой степени, что превращается в разрушительный — как в экономическом, так и в политическом отношениях — процесс, которому суждено получить выход в виде фашизма и войны.

6. Теории сверхнакопления

После того как мы проследили ответвления теории недопотребления в анализе «динамики позднего капитализма», целесообразно теперь вернуться к тем теоретическим попыткам объяснения кризиса, где за отправной пункт взята иная, чем в теории недопотребления, точка и где поэтому результатом являются совсем иные политические выводы. Если теории недопотребления усматривают основное противоречие, приводящее к кризису, в сфере распределения, то теории сверхнакопления отталкиваются от противоречий капиталистических отношений, понимаемых как производственные отношения, и в своей аргументации отводят центральную роль движению нормы прибыли. Может быть доказано, что «произведенная масса потребительских благ... может сделаться препятствием к производству только потому, что она (в качестве массы товаров, произведенных капиталистическим способом, или в качестве формы существования динамической стоимости капитала) должна иметь возможность быть проданной по цене, включающей гарантированную минимальную прибыль. В особом случае, когда речь идет о каком-то специфическом изделии, масштабы потребности в нем, разумеется, могут ограничивать производство и независимо от указанного препятствия. В самом деле, как говорит Маркс, «потребительная стоимость сама по себе не обладает безмерностью, свойственной стоимости как таковой. Определенные предметы могут быть потреблены и являются предметом потребности лишь до известной степени...»⁸⁶ Тем не менее общее перепроизводство потребительских благ возможно лишь

⁸⁵ N. Moszkowska. Zur Dynamik, cit., S. 8.

⁸⁶ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 46, ч. I, с. 381.

в том случае, если потребительная стоимость или удовлетворение потребностей не являются непосредственной целью производства»⁸⁷.

Объяснение кризиса должно начинаться, таким образом, с производства меновой стоимости и самовозрастания капитала как цели производства. Перепроизводство в этом смысле, следовательно, означает *перепроизводство капитала*, который получает возможность увеличения собственной стоимости лишь при *сокращенной норме прибыли*, и в то же время перепроизводство больших количеств товаров, произведенных капиталистическим способом, цена которых уже не обеспечивает получения минимальной прибыли. Если сугубое внимание в этой теории уделяется анализу нормы прибыли, то делается это потому, что норма прибыли берется как категория не распределения, а структуры капитала. Заработная плата, следовательно, выступает как часть (переменная) авансированного капитала и лишь во вторую очередь предстает как доход наемных тружеников, олицетворяющих потребительский спрос, наделенный покупательной способностью. Заработная плата как составная часть авансированного капитала важна для изменений размеров прибыли, причем с двоякой точки зрения: она оказывает негативное воздействие на норму прибыли (увеличение заработной платы *ceteris paribus* равноценно сокращению нормы прибыли и наоборот), но должна рассматриваться также в соотношении с *постоянным капиталом* как элемент органического строения капитала. Растущая заработная плата могла бы в принципе повлечь за собой снижение органического строения капитала, оказывая тем самым положительное влияние на движение нормы прибыли. В действительности, однако, такой оборот дел исключается. И впрямь, в фазе роста заработной платы капитал прибегает к замене наемного труда машинами, пытаясь таким путем обеспечить себе независимость от движения цен на рабочую силу. Одним словом, капитал в этих случаях повышает собственное техническое и в конечном счете органическое строение. Если подобный процесс совершается в условиях общего роста, то сокращение нормы прибыли — которая в условиях уменьшающейся нормы прибавочной стоимости и возрастающего органического строения капитала обречена на снижение — может быть временно компенсировано увеличением массы прибыли. Однако если резервы на рынке труда исчерпаны, то норма прибыли падает, а масса прибыли не растет. Это ситуация абсолютного сверхнакопления, которая незамедлительно приводит к кризису. «Абсолютное перепроизводство капитала было бы налицо, если бы дополнительный капитал для целей капиталистическо-

⁸⁷ R. Künzel. Die Krisentendenz, cit., S. 282.

го производства был = 0. ...Понижение нормы прибыли сопровождалось бы в этом случае абсолютным уменьшением массы прибыли, так как при наших предположениях масса применяемой рабочей силы не могла бы увеличиваться, и норма прибавочной стоимости не могла бы повыситься, следовательно, не могла бы увеличиться и масса прибавочной стоимости»⁸⁸.

Эта динамика может быть, кроме того, усугублена тем обстоятельством, что масса прибавочной стоимости и масса прибыли могут оказаться дополнительно уменьшенными антагонистическими действиями рабочего класса вплоть до возникновения явления *profit squeeze* («сжимания прибылей»). По ходу накопления капитала товар «рабочая сила» может оказаться в недостаточном количестве на рынке труда; будучи организованной в профсоюзы, рабочая сила может завоевывать более высокую заработную плату и лучшие условия труда, подавляюще действуя тем самым на норму прибавочной стоимости. Даже при сохранении неизменного органического строения капитала из подобного противоречия между наемным трудом и капиталом проистекает падение нормы прибыли, а с ним — и экономический кризис. Отметим вместе с тем, что теории, тяготеющие к подобного рода гипотезе, получили развитие лишь после второй мировой войны⁸⁹. Они, таким образом, не играли никакой роли в объяснении тенденции капитализма к кризисам после первой мировой войны, и в частности великого кризиса 1929 года и последующих лет. В особенности это относится к *увриеристскому варианту* этой теории, где за отправной пункт берется тезис о том, что своими боевыми действиями организованный рабочий класс может прервать непрерывность обращения капитала в процессе производства и привести тем самым капитал к кризису. Всем этим теориям присущ один и тот же значительный недостаток. Кризис в этих теоретических гипотезах трактуется, по сути дела, как ситуация обострения классовой борьбы. В силу этого игнорируется другой аспект кризиса, подчеркнутый нами и охарактеризованный как форма регуляции, восстановления пропорций, делающих возможным дальнейшее возрастание капитала. Если рабочий класс в наступательной фазе способен, обостряя противоречия, ввергнуть капитал в кризис, это значит, что урегулировать кризис воз-

⁸⁸ К. Маркс и Ф. Энгельс Соч., т. 25, ч. I, с. 275—276. Таково ядро теории кризиса Уно, как его перелагает, например, Айтох. Очень важен в ней принцип, по которому кризисы абсолютного сверхнакопления не оставляют иного выхода, кроме перестройки отношения между наемным трудом и капиталом, точнее — перестройки с помощью увеличения производства и связанного с ним положительного влияния на органическое строение капитала.

⁸⁹ См.: A. Glyn, B. Sutcliffe. *British Capitalism, Workers and the Profit Squeeze*. Hermandsworth, 1972.

можно, только отбросив рабочий класс вспять, нанеся поражение рабочему движению, либо это означает, что кризис капитала как таковой воспринимается — в соответствии с укоренившейся интерпретационной моделью — как конец капиталистической гегемонии вообще⁹⁰.

У нас нет, впрочем, намерения более подробно разбирать здесь указанные проблемы, поскольку в интересующий нас период подобные теории не играли никакой роли. Разобрав понятие абсолютного сверхнакопления, целесообразно теперь напомнить также о понятии относительного сверхнакопления. Оно обнаруживает себя всякий раз, когда прибыльность дополнительного, то есть накопленного, капитала оказывается недостаточной для обеспечения среднего возрастания капитала и когда уровень этого последнего, обусловленного также взаимной конкуренцией отдельных капиталов, падает настолько низко, что процесс накопления блокируется. Капитал, таким образом, сверхнакоплен в соотношении с возможностями его дальнейшего самовозрастания, то есть тенденция к сверхнакоплению капитала представляет собой всего лишь другой аспект тенденции нормы прибыли к понижению. В контексте теории недопотребления гипотеза о зависимости накопления (или капиталовложений) от потребительского спроса («начало ускорения») обладает фундаментально важным смыслом. Лишь в рамках подобной теории, иначе говоря, недостаточность потребительского спроса, то есть фактор из сферы реализации, может превращаться в причину кризисного процесса, охватывающего всю экономику. В теории же сверхнакопления за отправной пункт берется то обстоятельство, что инвестиции, или, иными словами, накопление, зависят от ожидаемой прибыли. Ведь целью капиталистического производства является самовозрастание капитала (а это означает, что фактор ускорения не начнет действовать при сокращающихся прибылях, при снижающейся норме прибыли), а не производство потребительных стоимостей для нужд потребителей⁹¹. Пределы накопления следует искать, таким образом, не в распределении или недостаточном спросе, а в условиях самого процесса накопления. «Настоящий *предел* капиталистического производства — это

⁹⁰ Такая теоретическая прямолинейность свидетельствует также об узости политических взглядов, поскольку идеи боевых выступлений рабочего класса, обострения противоречий разрабатываются при этом таким образом, что в сравнении с ними понятие регулирования — не в смысле капиталистического регулирования, а в смысле завоевания гегемонии рабочим классом или зависимыми слоями — остается недостаточно развитым. Данная теория, следовательно, терпит провал не только в концептуальном плане, но и в плане политическом.

⁹¹ См. об этом в: E. Altvater, J. Hoffmann, W. Semmler. *Produktion und Nachfrage im Konjunktur — und Krisenzyklus*. — Wsi-Mitteilungen, Juli 1978, Hefte 7, S. 373 ff.

сам капитал»⁹². Эта фраза Маркса может быть истолкована очень по-разному, в зависимости от того, как понимается смысл слова «капитал». У Маркса термин «капитал» всегда обозначает общественное отношение, а следовательно, и предел капитала может быть лишь пределом социального характера. Тем не менее возможно также понимание термина «капитал» как чисто экономической величины, как своего рода «автоматического субъекта» (по выражению Маркса), несущего в себе тенденцию к кризису.

Пример особенно радикальной концепции с этой точки зрения предложен Хенриком Гроссманом, который интерпретирует тенденцию развития капитализма как «закон краха»⁹³. В этом случае исключаются какие бы то ни было гипотезы гармонического преодоления кризиса (по образцу тех, что отличают теории недопотребления), равно как любая возможность политического манипулирования кризисом в целях его преодоления. Каким же образом Гроссман обосновывает этот на первый взгляд столь радикальный тезис? Он пользуется воспроизводственной моделью Отто Бауэра⁹⁴, растягивая ее во времени, и с помощью ряда специфических гипотез приходит к заключению, что накопление капитала должно полностью останавливаться на тридцать пятом году от начала цикла. Подобный вывод, если основываться на гипотезе Гроссмана, не должен вызывать удивления. При постоянной норме прибавочной стоимости, равной 100% (гипотеза, вступающая в конфликт с темпами роста производства, как обоснованно отмечает Айтох⁹⁵) и росте переменного капитала на 5, а постоянного на 10% в год, полное исчезновение нормы прибыли, а вместе с тем и накопления является лишь вопросом времени. Гроссман, правда, обсуждает ряд причин, действующих против подобной тенденции развития, но делает это исключительно исходя из того, что последний час капитализма может быть тем самым отсрочен, но не отменен.

Поскольку указанная теория не раз подвергалась критике, нам нет нужды сосредоточиваться на отдельных аспектах аргументации Гроссмана^{95а}. В данном контексте нам пред-

⁹² К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 25, ч. I, с. 274.

⁹³ H. Grossmann. Das Akkumulations — und Zusammenbruchsgesetz des kapitalistischen Systems. Frankfurt am Main, 1967.

⁹⁴ O. Bauer. Die Akkumulation des Kapitals. — In: "Neue Zeit", 1913, № 1.

⁹⁵ M. Itoh. Value and Crisis, cit., p. 128.

^{95а} Евгений Варга в своей статье с критикой Гроссмана пункт за пунктом опроверг его доводы (см.: E. Varga. Akkumulation and Zusammenbruch des Kapitalismus. 1930—1931, S. 60 ff). Уже в этой статье он доказывает абсурдность воспроизводственной модели Гроссмана. Не менее убедительной и точной является критика взглядов Гроссмана в книге Суизи «Теория капиталистического развития». Тем более непостижимым выглядит оправдание схемы Гроссмана Розенбаумом в его «Введении» к переизданию книги Гроссмана «Крах капитализма» в 1967 году.

ставляются важными лишь его размышления о том, каким образом прогнозируемый крах реализуется в терминах политического действия. В заключительных выводах своей книги Гроссман определяет связь между тенденцией к краху и классовой борьбой. Его построение отличается предельной простотой и, разумеется, полной совместимостью с констатированной им тенденцией к краху капитала, поскольку падение нормы прибыли, на его взгляд, может быть остановлено лишь посредством увеличения нормы прибавочной стоимости. «Если капиталу, — пишет он, — удастся *сокращать заработную плату* и увеличивать тем самым норму прибавочной стоимости... существование капиталистической системы могло бы быть продлено за счет рабочего класса, усиление тенденции к краху было бы замедлено и конец системы был бы, таким образом, растянут в будущем. В усилении степени эксплуатации наемного труда заключается, следовательно, один из временных предохранительных клапанов капиталистической системы и ее экономической основы»⁹⁶.

Таким образом, с ускорением сползания капитализма к кризису обостряется классовая борьба сверху, которой противостоит, однако, «классовая борьба снизу». «Нажим рабочего класса в противоположном направлении может компенсировать давление класса предпринимателей или даже сверхкомпенсировать его, если, иными словами, рабочему классу удастся путем борьбы вырвать повышение заработной платы. Следствием этого явилось бы уменьшение нормы прибавочной стоимости и, таким образом, наступил бы ускоренный крах системы»⁹⁷. В стадии зрелого капитализма, когда пределы прибыльности капитала и накопления и без того невелики, борьба за прибавку к зарплате превращается, следовательно, в классовую борьбу: «При высоких уровнях накопления борьба за распределение дохода является борьбой не только за лучший уровень жизни классов, участвующих в противоборстве, но также схваткой, где решается само существование капиталистического механизма. Всякий крупный эпизод экономической борьбы по необходимости превращается в вопрос жизни или смерти для капитализма, а значит, в вопрос политической власти»⁹⁸. Политические действия классов ускоряют или замедляют определенные экономические тенденции, которые с силой закона природы ведут к краху капитализма. По мнению Гроссмана, кризис не может иметь иных измерений.

Хотя Варга подверг острой критике теорию краха Гроссмана и вытекающие из нее политические следствия, между этими двумя авторами тем не менее можно со всей очевидно-

⁹⁶ H. Grossmann. Il crollo del capitalismo, cit., p. 556.

⁹⁷ Ibidem.

⁹⁸ Ibid., p. 557.

стью установить ряд параллельных моментов. Эти последние явствуют уже из того обстоятельства, что Гроссман предельно радикально выражает гипотезу дестабилизации капитализма: дестабилизация доходит у него до такой степени, что крах становится неизбежным. Теоретики Коммунистического Интернационала со своей стороны не заходят так далеко. Согласно Варге, циклические кризисы, безусловно, являются механизмами, с помощью которых капитализм оказывается в состоянии временно возрождаться; однако достигается это ценой обострения его общего кризиса. «Чтобы сделать явной связь между общим кризисом капитализма и нынешним экономическим кризисом, мы хотим попытаться показать, как внутренние закономерности развития капитализма необходимым и насильственным образом, через периодически повторяющиеся кризисы, должны приводить к империализму, общему кризису капитализма и к социальной революции. Лишь на таком широком теоретическом фундаменте становится возможным ясно распознать связь между общим кризисом капитализма и особенностями нынешней кризисной фазы цикла»⁹⁹.

Проделанный Варгой анализ кризиса выступает, следовательно, как опосредование между *теорией стадий*, с помощью которой дается объяснение общего кризиса капитализма, и *теорией цикла*, с помощью которой анализируются экономические тенденции, приведшие к кризису 20—30-х годов. Теоретические рамки этой попытки опосредования сформулированы Варгой в одном из его конъюнктурных обзоров, которые он публиковал в журнале Коминтерна «Интернационале пресскорреспонденц»¹⁰⁰. Вначале он пытается дать общее представление о Марксовой теории кризиса: «Основание кризиса образует фундаментальное противоречие между общественным производством и частным присвоением»¹⁰¹. В самом деле, присвоение означает погоню за прибылью, стимул к накоплению. Аналогично теоретикам недопотребления Варга в анализе накопления подчеркивает факт возрастания капитала соотносительно с индивидуальным потреблением, а следовательно — тенденцию к перепроизводству. «Противоречие между неограниченным стремлением капиталистов к увеличению производства и ограниченной формой потребления капиталистического общества должно приводить к периодическим кризисам»¹⁰².

Поскольку же потребительная способность общества ограничена переменным капиталом (в той мере, в какой прибавочная стоимость целиком идет на накопление), образуется

⁹⁹ E. Varga. La crisi del capitalismo, cit., p. 256.

¹⁰⁰ "Internationale Presskorrespondenz", XI, 9 Mai 1931.

¹⁰¹ E. Varga. La crisi del capitalismo, cit., p. 259.

¹⁰² Ibidem.

дихотомное отношение между накоплением капитала и потреблением. Варга поэтому заключает, что процесс накопления идентичен растущему относительному перепроизводству¹⁰³. Подобно тому как это происходило на наших глазах в теории недопотребления, Варга также рассматривает в своей аргументации продукцию подразделения I (производство средств производства) в основном как исходный фактор для подразделения II. «Расширение производства в подразделении I, — пишет он, — ведет к увеличению переменного капитала и возрастанию объема прибавочной стоимости, следовательно — к увеличению потребительной способности общества, так что оживление распространяется и на подразделение II. Накопление капитала, расширение масштабов производства являются, таким образом, как причиной экономического роста, так и — на более высокой ступени развития — причиной кризиса, хотя это и может выглядеть бессмыслицей с точки зрения формальной логики»^{103a}.

В самом деле, «хотя целью капиталистического производства является прибыль и потребительная стоимость производимых товаров совершенно безразлична для капиталистов, средства производства в конечном счете служат тем не менее исключительно цели производства с их помощью средств потребления; поэтому производство средств производства в конечном счете ограничено потребительной способностью капиталистического общества»¹⁰⁴.

Кризис, таким образом, вызывается низкой доходностью капитала, которая в свою очередь обязана возникновением диспропорции между производственными мощностями и потребительной способностью. Варга, иначе говоря, формулирует негармоничную теорию недопотребления, которая идет дальше других рассмотренных выше теорий недопотребления, поскольку приписывает тенденцию капитализма к кризисам основным противоречиям капиталистического способа производства и устанавливает корреляцию между циклическостью кризисов и структурой постоянного капитала, а также его обновлением.

Подобное циклическое развитие, однако, не представляет собой, по Варге, ни единственную, ни — еще менее того — определяющую линию эволюции капитализма: «Циклическое движение есть форма развития капитализма, которая заставляет его продвигаться от одной ступени к другой — вплоть до его краха. Тем не менее, помимо этого циклического, в известном смысле регулярного движения, внутри капитализма происходит также другое, нерегулярное разви-

¹⁰³ Ibid., p. 261.

^{103a} Ibid., p. 263.

¹⁰⁴ Ibid., p. 264.

тие»¹⁰⁵. Неравномерное развитие различных регионов мира, различных отраслей экономики — все это деформирует циклическое движение и приводит к тому, что «отдельные фазы цикла в разных странах наступают неодновременно, между тем как имеет место постоянное взаимодействие между отдельными „национальными экономиками”»¹⁰⁶. Такого рода неравномерности развития приводят к столкновениям между национальными государствами, к империализму и вместе с тем к общему кризису капитализма. Здесь Варга вводит в свою аргументацию рассмотрение «особой черты характера монополистического капитализма — загнивания»¹⁰⁷. Целиком основываясь на ленинском анализе империализма, он исходит из предпосылки, что загнивание капитализма неотделимо от монополистического капитализма и империализма. В современной фазе эволюции капитализма происходит не только замедление развития производительных сил, но и сами уже существующие производительные силы используются лишь неполным образом; в общем и целом речь идет о «таком развитии, которое с полной остротой выступает в период общего кризиса капитализма»¹⁰⁸. Мы имеем дело, следовательно, с двояким движением, или, иначе говоря, с «нормальным» кризисным циклом, который, однако, разворачивается в условиях капитализма, уже отмеченного тенденциями к загниванию и переживающего фазу собственного общего кризиса. Варга, правда, цитирует слова Маркса о том, что перманентных кризисов не бывает, добавляя вслед за тем, что это положение сохраняет силу и в период общего кризиса капитализма: «Рано или поздно кризисная фаза должна прийти к концу»¹⁰⁹. Вместе с тем в ходе общего кризиса обостряются противоречия между классами, и не только между классами в отдельных странах, но и между империалистическими нациями, равно как между империалистическим блоком и Советским Союзом. Все это решающим образом влияет на дальнейшую эволюцию всемирной истории. В той мере, однако, в какой основополагающая структура развития не претерпевает изменений, циклическая фаза кризиса превращается в депрессию.

«Эта депрессия в тех странах, которые были жестоко поражены кризисом, приобретет хронический характер... В других странах... депрессия могла бы перерасти в оживление, а это последнее — в благоприятную конъюнктуру... Фаза депрессии становится глубокой и длительной, подъем (в тех странах, где он будет иметь место) будет относительным,

¹⁰⁵ Ibid., p. 265.

¹⁰⁶ Ibid., p. 269.

¹⁰⁷ Ibid., p. 272.

¹⁰⁸ Ibid., p. 273.

¹⁰⁹ Ibid., p. 275.

кратким и невысоким; за ним последует новая фаза кризиса, еще более глубокого и серьезного, чем предыдущий»¹¹⁰. В этих рассуждениях Варга предвосхищает то, что в дальнейшем будет определено кейнсианцами как фаза стагнации капитализма¹¹¹. Тем не менее в поддержку своего тезиса он приводит иные, чем у них, мотивы. Он усматривает причину стагнации и депрессии не в хронической недостаточности спроса, а в империалистической структуре мировой экономики, на фоне которой совершается циклическое развитие.

Эта отнюдь не оригинальная эклектическая теоретическая гипотеза служит Варге путеводной нитью в эмпирическом анализе движения кризиса, и в частности в ходе анализа великого мирового экономического кризиса, разразившегося после 1929 года. Его эмпирические исследования впечатляют огромным объемом переработанного материала. Варга и в своем эмпирическом анализе следует той схеме, о которой мы вели речь, говоря о разработке им теории кризиса. С одной стороны, он воспринимает кризис как результат циклического развития; с другой — видит в нем проявление обостряющегося «общего кризиса капитализма».

Экономический кризис имеет политические последствия. Политика, иначе говоря, следует за экономикой, как это рельефно показано в работе Варги «Die grosse Krise und ihre politischen Zolgen» («Великий кризис и его политические последствия» — работа, изданная в Лондоне в 1935 году, на русском языке не публиковалась. — *Ред.*), где вслед за описанием кризиса в разных регионах мира дается разбор попыток отдельных государств избежать кризиса или, во всяком случае, преодолеть его с помощью мер экономической политики. Заключительным итогом рассуждений Варги становится вывод о том, что экономическая политика не в состоянии выйти из-под воздействия противоречий экономики и, следовательно, не может обеспечить преодоление кризиса. Экономическая динамика механизма кризиса, таким образом, прокладывает себе путь и порождает вереницу социальных последствий: обострение классовых противоречий внутри правящего блока, ухудшение положения крестьянства и обнищание пролетариата.

Из кризиса вытекают также экстраполитические последствия, ведущие в направлении к новой мировой войне, которую Варга считает неизбежной, если ее не опередит пролетарская революция¹¹². В этом контексте, кроме того, изменяются методы «диктатуры буржуазии»: с одной стороны, социал-демократия вступает в состояние серьезного кризиса, с другой — усиливаются тенденции к фашизму. В этой связи

¹¹⁰ Ibidem.

¹¹¹ A. Hansen. Full Recovery, cit.

¹¹² E. Varga. La crisi del capitalismo, cit., p. 394.

следует напомнить, что социал-демократия характеризуется как социал-фашизм и клеймится как особая фракция правящей буржуазии. В конечном счете в качестве пути выхода из кризиса не остается ничего, кроме примера Советского Союза и упования на его интернационалистскую помощь. В отличие от того, как это выглядит в гипотезе Гроссмана, накопление не завершается экономическим и политическим крахом. В концепции Варги, кризис приобретает скорее смысл глубокого обострения политической напряженности, развивающейся в направлении вероятной мировой войны, причем настолько, что становится возможным выдвижение четкой альтернативы в виде революционного преодоления капитализма. Крах, короче говоря, мотивируется не пороками экономического механизма, а отсутствием политических перспектив в развитии капитализма, причем в фазе монополистического капитализма, или империализма, этот изъян выступает как глубоко укоренившийся в системе. Циклические кризисы просто обостряют проблему, но не они сами по себе порождают ее.

Или, если подойти к делу с другой стороны, кризис не вызывает к жизни ничего такого, что могло бы восприниматься как реальный процесс перестройки. Такого рода процесс в любом случае совершается в сфере экономики в виде явлений обесценения капитала: капитал в форме товаров либо уничтожается (кофе, который бросают в море), либо обесценивается в результате относительного и абсолютного падения цен; производительный капитал замораживается, обесценивается и достаточно выводится из строя в результате банкротств; ликвидный капитал остается большей частью бездейственным и приносит лишь скудную прибыль; в производственных делах происходят процессы технологической перестройки с целью увеличения производительности и интенсивности труда, и *last but not least* (последнее, но не главное по значению. — *Ред.*), стоимость переменного капитала сокращается в результате мощного давления на заработную плату. И все же процесс перестройки в конечном счете блокируется на социально-политическом уровне: буржуазное общество не только не может выйти из своего «общего кризиса», но и вынуждено ощущать на себе, как этот последний обостряется с каждым следующим экономическим кризисом, пусть даже развивающимся неравномерно и поражающим капиталистические страны в разное время.

Парадигма теории сверхнакопления, как это наглядно обнаруживается при сопоставлении с теориями недопотребления, не содержит в себе — применительно к вопросу о циклических кризисах — никаких гармонических гипотез относительно возможного преодоления кризиса путем вмешательства в распределение в пользу заработной платы. Вместе с

тем с помощью теории недопотребления, как мы видели, может быть объяснена стагнация капитализма: фаза расточительства производительных сил, порождающая в политическом плане фашистские тенденции. В этой плоскости возникают некоторые параллели с теорией Варги, поскольку его описание тенденций капитализма к загниванию, несомненно, указывает на явления, аналогичные тем, которые Мошковска, например, определяет как проявления расточительства. Как бы то ни было, сомнительно, чтобы подобные теоретические построения могли считаться адекватным отражением реальной «динамики позднего капитализма».

7. Динамика кризиса

Развитие кризиса после 1929 года опровергает все теории о кризисе. В Германии против политики профсоюзов, связанной с теорией недопотребления и направленной на увеличение заработной платы в целях преодоления кризиса, объединения предпринимателей с грубой естественностью устанавливают в качестве первоочередной цели восстановление рентабельности за счет заработной платы, дабы облегчить тем самым накопление капитала. Государству приходится отступить из сферы экономики, высвободить рыночные силы и соответственно уменьшить налоговое бремя, отягощающее экономику, положив тем самым конец политике увеличения государственного долга. Жилищное строительство по государственным социальным программам не составляет больше никакой конкуренции частной инициативе, а главное — уровень социальных расходов радикально понижается. Программа выхода из кризиса осуществляется экспертами по экономическим вопросам, а не политиками¹¹³. Подобный подход плохо согласуется с замыслами сторонников теории недопотребления, по которой преодоление кризиса должно достигаться именно посредством расширения массового потребительского спроса, а не его сокращения. Этот подход не согласуется и с подходом сторонников теории сверхнакопления, поскольку в них ясно сформулирован принцип, по которому возрастание нормы прибыли капитала никак не должно редуцироваться до чисто экономического процесса обесценения. Скорей, наоборот, здесь возникает необходимость в выведении ряда политических последствий: экономическая перестройка на предприятиях действительно совершается под эгидой капитала, но она нуждается в гарантиях в социальной сфере и — в еще большей мере — в политической системе.

¹¹³ См.: *D. Abraham. The Collapse of the Weimar Republic, cit. p. 237 and ff.*

Впрочем, иначе и не могло бы быть, раз кризис выступает не только как экономический, но и как социальный кризис. Социальный компонент накопления капитала и политика в области заработной платы составляют материальную базу консенсуса, означающего согласие с демократической формой капиталистического господства. Напротив, политика урезывания заработной платы, демонтажа социального государства подрывает материальную базу консенсуса, а с нею вместе — и функциональность демократического механизма.

Между тем сокращение заработной платы выступает в качестве наиболее проверенного средства конъюнктурной политики во всех странах, пораженных кризисом. Разумеется, для нейтрализации ее последствий в политическом плане требуется программа популистского толка, которая подменяла бы, как пишет Мошковска, социальный вопрос национальным и смещала тем самым конфликт в иную — опасную — плоскость. Успех массового национал-социалистского движения в Германии объясняется именно тем фактом, что оно сумело радикальным образом использовать эту возможность, открытую кризисом — вплоть до «взятия власти».

Тем не менее падение консенсуса, вызванное политикой жесткой экономии, образует не единственную угрозу буржуазной гегемонии при кризисе. В качестве показателя реакции отдельных капиталов на сверхнакопление капитала Маркс указывает на тот факт, что «конкуренция... действует как осуществленный на практике братский союз класса капиталистов... Но, как только речь идет уже о распределении не прибыли, а убытка... конкуренция превращается... в борьбу враждующих собратьев»¹¹⁴. Ведь в ходе кризиса действительно речь идет уже не о дележе растущих прибылей, а о распределении потерь. В политическом плане такая экономическая ситуация проявляется в виде «фрагментации буржуазии», отдельные группировки которой воспринимают исключительно свои частные групповые интересы, что перерождается, однако, в ходе борьбы за распределение потерь, в своего рода войну всех против всех. Во время кризиса, таким образом, под угрозой оказывается не только межклассовый консенсус, но и сама политическая способность буржуазии как класса, организованного в различные ассоциации и партии, эффективно воздействовать на функционирование государства. Отсюда вытекает необходимость не ограничиваться составлением проектов нового упрочения консенсуса (например, с помощью программ популистского характера) или замены его репрессивными мероприятиями, но одновременно идти на любые попытки нейтрализации дестабилизирующего эффекта фрагментации буржуазии. Отчасти

¹¹⁴ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 25, ч. I, с. 277—278.

эта цель достигается путем преобразований, при которых представительные органы утрачивают свои функции, а соответствующие верхушечные группы превращаются в прямых управителей системы. Подобная тенденция развивается затем вплоть до того, что принятие решений вообще изымается у «политиков» — учитывая их возможные связи с определенными интересами — и передается «нейтральным экспертам», которые, «стоя над партиями», чувствуют себя обязанными исключительно по отношению к объективной логике системы, иначе говоря — по отношению к логике восстановления доходности капитала¹¹⁵.

При этом не остается уже никакого места для компромиссов между классами с тем последствием, что соответствующие органы, и в особенности корпоративные политические структуры, а стало быть, и интеграция массовых организаций трудящихся в капиталистическую систему, выглядят столь же бесполезными, как издержки на производство товара, не находящего сбыта. Если механизм накопления больше не действует из-за недостаточной прибыльности капитала, то то же самое происходит и с политическими коалициями, которые образовались на этой основе. Уже в ходе начавшегося кризиса реформистское рабочее движение пытается на первых порах спасти то, что еще можно спасти из своих экономических завоеваний, а с ними вместе — те политические формы, которые сделали возможной прежнюю комбинацию экономической и социальной политики. Однако сделать это не удастся, по крайней мере в Германии. Для сдерживания разрушительного эффекта усиливающейся конкуренции, вообще для примирения противостоящих интересов (раз нет возможности обеспечить их удовлетворение) развиваются авторитарные формы политического контроля.

¹¹⁵ Эта индустриальная программа очень напоминает некоторые тенденции, которые — и в других странах, в другие времена — постоянно предлагаются в качестве наиболее надежного средства выхода из кризиса: предоставить решение экономических вопросов нейтральным экспертам. Вместо институтов организации компромисса, в которых происходит взаимное согласование различных интересов, возникают иные органы; их задача, по существу, сводится к учету «потребностей» процесса накопления. Но и в этом случае они еще могут рассчитывать на консенсус, поскольку накопление как таковое соответствует интересам не одного лишь капитала. Рабочие также заинтересованы в этом в той мере, в какой сохранение их рабочих мест непосредственно зависит от нормы накопления. Программа жесткой экономии объективно направлена против интересов рабочих, однако ее субъективное восприятие ими может обеспечивать ей их согласие. Вместе с тем указанная программа нацелена против организаций рабочего класса, политическое содержание и формы которых полностью ориентированы на существование институтов компромисса. Если бы эти организации согласились с «логикой вещей», они автоматически провозгласили бы собственную ненужность, как это и изображается — впрочем, вполне последовательно — в радикальных неолиберальных концепциях.

«Если правительство не хочет превратиться просто в инструмент групповых интересов, оно должно быть отстранено от сферы межпартийной борьбы. Оно должно стоять над всеми интересами, должно воплощать в себе «коллективный интерес», что бы ни понималось под этим выражением. Так вырисовывается идея диктатуры, стыдливо переодетая под «авторитарную демократию» или „корпоративное государство”»¹¹⁶. Социальный корпоративизм растворяется в государственном корпоративизме, в самых различных вариантах фашизма.

Однако же такой ответ на кризис совершенно не является ни единственным, ни единственно возможным ответом, тем более что таким путем не удастся создать никакой стабильной ситуации. В самом деле, если вновь приводится в движение механизм накопления капитала, то это означает, что не только могут, но и должны получить развитие политические и институционные условия консенсуса. Рассмотренные под этим углом зрения 30-е годы выступают как «революционный» период¹¹⁷, ибо в эти годы получает развитие практика вмешательства государства в хозяйственную жизнь. Государство, иными словами, уже не подчиняется правилам игры рынка — даже при изменении золотого паритета, — не принимает занятость просто как переменную величину, зависящую от диктата платежного баланса. 30-е годы тем самым декретируют конец принципов либеральной экономики, хотя в это время постоянно предпринимались попытки вернуться к ним. Совершившийся в ходе кризиса почти во всех государствах переход к протекционистской политике или даже к автаркии, к широкому контролю над валютными операциями был не только негативным явлением. Он открыл также слабым странам — благодаря защите от конкуренции со стороны развитых государств — возможность провести у себя индустриализацию как альтернативу закупкам за границей: это имело место в некоторых государствах Латинской Америки. Шло, кроме того, формирование политической модели государства, пытающегося умерять — в антициклическом направлении — развитие конъюнктуры¹¹⁸ в целях увеличения занятости.

Политические средства вмешательства государства в экономическую жизнь ограничены: в сущности, оно может действовать только посредством регулирования расходов в сфере обращения, формируя тем самым политику платежеспособного спроса. Государство словно стремится в этом случае

¹¹⁶ A. *Sturmthal*. Die grosse Krise, cit., S. 328 ff.

¹¹⁷ Так утверждает в: K. *Polanyi*. La grande trasformazione, cit.

¹¹⁸ По Арндту (см.: W. *Arndt*. The Economic Lessons, cit.), в этом заключается один из самых важных «экономических уроков 30-х годов».

извлечь урок из теории недопотребления, тем более что расширение потребительского спроса осуществляется за счет увеличения социальных расходов. Так происходило по крайней мере в Соединенных Штатах при рузвельтовской политике «нового курса». Подобная политика вместе с тем оказывается относительно безрезультатной: заметное сокращение безработицы в Соединенных Штатах произойдет лишь в начале 40-х годов, то есть когда эта страна станет во все большей мере переводить свою экономику на рельсы военного производства. Напротив, политика перевооружения Германии при национал-социализме зарекомендовала себя как в высшей степени эффективная — в той мере, разумеется, в какой за критерий оценки берется реализация задачи устранения безработицы. Государственный спрос, однако, при этом сосредоточивается почти исключительно на *faux frais* в том смысле, какой вкладывает в это выражение Мошковска, а вовсе не на социальных расходах¹¹⁹. «Левое» кейнсианство, таким образом, терпит провал, между тем как «правое» кейнсианство выглядит довольно многообещающе.

Здесь со всей очевидностью обнаруживается, что для управления конъюнктурой со стороны государства отнюдь не безразличными являются цели, во имя которых осуществляется контроль над платежеспособным спросом. Речь идет, иначе говоря, не о расширении платежеспособного спроса в абсолютных величинах; такое расширение выступает скорее лишь как средство увеличения доходности капитала, каковая доходность — по причине ограниченности средств вмешательства в экономику — может быть повышена путем государственного воздействия почти исключительно лишь за счет манипулирования спросом со стороны обращения. Это обстоятельство является центральным и в критике Поля Маттика в адрес кейнсианства: «Меры вмешательства в экономику были навязаны капиталистическим государствам обстоятельствами, которые превышали их возможности контроля. Эти меры свидетельствуют не о наличии у капитализма реформаторской тенденции; они служат доказательством, что системе все труднее разрешать свои проблемы чисто капиталистическими средствами... Потребность (в этих мерах. — Э. А.) свидетельствует лишь о глубине кризисной ситуации»¹²⁰. Так рождается «смешанная экономика», или, по выражению Штурмталя, «капитализм, повязанный обязательствами»¹²¹; но при всем том прибыльность остается регулирующим принципом, действию которого подвластен и сам контроль над

¹¹⁹ См. об этом обширный очерк: *G. Kroll. Von der Weltwirtschaftskrise zur Staatskonjunktur*. Berlin, 1958.

¹²⁰ *P. Mattick. Marx e Keynes*. 2^{ed}. Bari, 1974, p. 176—177.

¹²¹ *A. Sturmtal. Die grosse Krise*, cit.

спросом (остающийся вследствие этого по неизбежности ограниченным).

На протяжении фазы процветания этот контроль выступает в качестве составной части компромисса, вновь заключенного между классами, — компромисса, который в еще большей мере, нежели то было до кризиса, опосредован государством. В этом-то и заключается то новое, что реально появилось в отношении между наемным трудом и капиталом перед лицом ситуации, сложившейся в указанный период. Этот период открылся первой мировой войной, повлекшей за собой «доступ» масс в государство через их организации, и завершился мировым экономическим кризисом, который сначала привел к расторжению компромисса между классами, а затем — с помощью оформившегося вмешательства государства в экономику — породил новую институционализацию отношения между накоплением и консенсусом.

Из всего этого явствует, что рассмотренные нами теории кризиса оказались не в состоянии концептуально воспроизвести сложность кризисного процесса и тем самым обеспечить теоретическую основу для выработки соответствующих политических проектов. Теории кризиса от диспропорции не улавливают социальной противоречивости, заключенной в процессе самовозрастания капитала, которая делает невозможным устранение тенденции к кризису от диспропорций посредством регламентации или планирования, даже если бы это последнее имело успех. Теории недопотребления оперируют весьма упрощенной моделью цикла либо представляют собой имплицитно один из вариантов теории краха, или теории невозможности для системы вновь образоваться — на базе собственных резервов — условия для усиления накопления. Теория краха Гроссмана совершенно не в состоянии объяснить капитализм как социальную систему. Теория Варги — теория недопотребления, усовершенствованная с помощью элементов, заимствованных из теории сверхнакопления, — выглядит проблематичной уже в силу того, что значительно недооценивает способность капитализма обеспечить себе возможность временного возрождения с помощью самого кризиса. Функция кризиса как момента обострения и одновременно регуляции противоречий, правда, улавливается, но лишь применительно к конъюнктурному кризису; «общий кризис капитализма», по Варге, в конечном счете блокирует процесс регенерации.

В той ли, в другой ли форме рассмотренные нами теории оказываются либо теориями краха, либо, во всяком случае, теориями о полной тупиковости капиталистического развития. Капитализм же между тем нашел выход, не остановившись перед тем, что этим выходом было положено начало беспощадно жестокому процессу разрушения, равного кото-

рому не знала еще история. Если в 80-е годы возможно извлечь уроки из изъянов теорий кризиса 20—30-х годов, то речь идет о том, что исходить следует не из предпосылки о безвыходном положении капитализма, а из предпосылки о его убийственной способности регенерироваться, — способности, против которой необходимо изыскать средства, отличные от тех, что были выработаны политическими организациями рабочего движения в начале 30-х годов.

Марио Тело

ТЕОРИЯ И ПОЛИТИКА ПЛАНИРОВАНИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ ДВИЖЕНИИ ОТ ГЕЛЬФЕРДИНГА ДО КЕЙНСА

1. Кризис 1929 года и кризис социалистической мысли

Мучительный пересмотр социалистической и марксистской мысли, пронизывающий годы «великого кризиса», имел одним из своих главных пунктов политико-теоретическое переосмысление тематики планирования. В разной степени и разных формах этот процесс охватил некоторые основополагающие элементы марксистской традиции, особенно в тех формах, которые она приобрела с ужесточением, с одной стороны, коммунистической, а с другой — социал-демократической ортодоксии в 20-е годы. В далеко не второстепенных группировках европейского социалистического движения начинает возникать — пусть даже с разной степенью отчетливости — понимание масштабов понесенных поражений и происходящих процессов социальных и политических преобразований. Сформулированное Бауэром в 1932 году требование положить начало «новой фазе истории рабочего движения»¹ проявляется, таким образом, в сложном переплетении социального анализа, идейно-теоретической ревизии, изысканий по поводу терминов переформулирования роли рабочих организаций в политической системе.

Размышления о социализме и планировании продиктованы в первую очередь новыми драматическими вопросами о перспективах западного социализма как организации широких масс трудящихся, захлестнутых социальными последствиями кризиса. Не случайно именно крупнейшие профсоюзы — в частности, немецкие, английские, французские — первыми выразили, пусть даже порой в прагматических терминах, безотлагательную необходимость преодоления ситуации паралича и бессилия, явившейся как бы итоговым результатом стратегических установок социал-демократии, ко-

¹ O. Bauer. Faschismus, Demokratie und Sozialismus. — In. "Spo Parteitag". Wien, 1932, S. 45. Широкое распространение идей Бауэра в годы разгара кризиса европейского социалистического движения обусловлено как оригинальностью позиции австромарксистов по отношению к расколу международного рабочего движения 20-х годов, так и значительностью правительственного опыта, накопленного австрийской партией к этому времени.

торая на протяжении предыдущих десятилетий утвердилась в качестве преобладающего течения в рабочем движении Западной Европы². Стало выявляться общее стремление к сопряжению проблемы, поставленной массовой безработицей, с вызревaniem сложных и многообразных изысканий о формах регламентации рынка и расширении пределов оперативного воздействия экономической политики. В этом смысле кризис подействовал как политический фактор деидеологизации и унификации международной дискуссии о программируемой экономике: появляются многочисленные экономические и профсоюзные планы, и дело доходит до того, что разработка социалистами принципов планирования часто переплетается с подготовкой проектов государственного вмешательства в экономику с целью стабилизации центральной власти³.

Во-вторых, становилось очевидным, что идейному и практическому кризису капитализма свободной конкуренции соответствует, причем в отягощенной степени, кризис социалистической и марксистской мысли, особенно в том, что касается традиционной постановки вопроса о соотношении между конечной целью и реальным движением. Отталкиваясь от такой идейной и стратегической апории, интеллектуальные и политические группы разного происхождения и разной окраски в рядах международного рабочего движения втягивались в новые программные исследования. В русле немецкой социал-демократии подобные изыскания оформились под флагом тематики *Gegenwartssozialismus* (социализм в настоящее время), в бельгийском социалистическом движении — «реализации социализма», во Франции — «конструктивной революции», в Швеции — в виде конкретизации «временной утопии», о которой еще раньше писал Е. Вигфорс⁴. Для это-

² Наиболее важными актами профсоюзов в этом отношении, бесспорно, явились: план расширения занятости, выдвинутый немецким объединением профсоюзов в январе 1932 года (*"Der Arbeitsbeschaffungsplan"*); одобренный Британским конгрессом тред-юнионов в сентябре 1932 года доклад о контроле над экономикой (in: *Trade Unions Congress Report, 1932*), в котором содержалось в переработанном виде предложение, выдвинутое еще в 1931 году и затем повторно утвержденное в 1933 году; план экономического и социального обновления, одобренный УВКТ на ее съезде в Париже в 1935 году.

³ Показательным для этой международной тенденции был Амстердамский конгресс социал-демократов в 1931 году, материалы которого опубликованы в: *World Social Economic Planning. The Necessity for Planned Adjustment of Productive Capacity and Standards of Living*. Haag, 1932. Особый интерес, в частности с точки зрения классификации представленных проектов, представляет собой вступительный доклад: *L. L. Lorwin. Problems of Economic Planning*.

⁴ Термин "*Gegenwartssozialismus*" был введен в дискуссию о планировании статьей: *F. Baade. Planwirtschaft und Gegenwartssozialismus. Die Arbeit, 1932, № 10. "Réalisation du socialisme"* — это заглавие наиболее оригинальной из глав книги Де Мана 1933 года, переведенной на фран-

го движения идей и реальных групп, в котором сходились разные духовные и политические компоненты (некоторые технократического толка, другие подчеркнуто гуманистического характера, где порой просвечивал элемент мифологизации,— как правило, они составляли меньшинство в соответствующих партиях в 20-е годы), было характерным прежде всего общее требование перемещения социализма как цели из будущего в настоящее⁵.

Итак, кризис как повод для социально-политических преобразований в социалистическом направлении. Перед нами традиционно радикальная тематика, в некоторых случаях основанная на анализе кризиса как структурного кризиса, на устремленности к строительству социализма, в которой проявляла себя реактуализация Маркса; причем реактуализация не просто необычная, но и поразительная, особенно если учесть отчетливо «ревизионистский» характер тех теоретических кругов, откуда порой брал начало этот процесс⁶. Однако даже при том, что здесь просматривается очевидная оппозиция социал-демократической ортодоксии — как в ее немецкой разновидности, так и во французском и английском вариантах — было бы ошибкой сплющить эту тематику до двучлена кризис — революция, характеризовавшего теорию перманентной революции и в ее Марксовой версии 1848 го-

дузский под названием "L'idée socialiste", "Revolution constructive"—так называлось главное течение сторонников планирования во Французской социалистической партии, лидер которого Ж. Лефран был соавтором книги под таким же названием, вышедшей в 1932 году. Что касается понятия «временная утопия», то об этом сказано в книге Е. Вигфорса «Социализм: догма или рабочая гипотеза?» (*E. Wigforss. Socialism — Dogm eller Arbetshypotes? Elkestuna, 1926*).

⁵ Это первородное положение марксизма пронизывало собой все движение политической актуализации темы планирования, заявившее о себе после кризиса 1929 года. По поводу значения этой идеи как связующего звена от дискуссии между марксистами в Германии к международной дискуссии о планировании, возможно, полезным будет напомнить здесь, что писал Э. Хайман в 1932 году: «Маркс и Энгельс никогда не предлагали идеального образа социализма. Сокровенная задача научного социализма связана поэтому не с размышлениями о некоей конечной ситуации социалистического типа, но с выработкой непосредственно лежащего перед нами маршрута для выхода из нынешнего кризиса капитализма. В этой проблеме сплетаются политические и научные задачи» (*E. Heimann. Sozialistische Wirtschaft und Arbeitsordnung. Potsdam, 1932*).

⁶ Это наблюдение является особенно верным применительно к одному из главных представителей международного планистского течения в социалистическом движении, Анри Де Ману, написавшему в 1926 году книгу, переведенную в том же году с немецкого на французский под примечательным заглавием «По ту сторону марксизма». Впрочем, все европейское социалистическое движение после кризиса 1929 года и поражения немецкой социал-демократии с приходом нацизма к власти в Германии пережило фазу радикализации. Добротной исторической реконструкцией тех лет продолжает оставаться работа такого непосредственного участника событий, как Дж. Коул. См.: *G. D. H. Cole. Storia del pensiero socialista. Vol. V. Socialismo e fascismo (1931—1939). Bari, 1973.*

да, и в той, что была связана с троцкистской и ленинской интерпретацией революционного процесса в России.

Разумеется, общим для социалистического движения планизма, получившего развитие после кризиса 1929 года, и родившегося из Октябрьской революции коммунистического движения было то, что оба движения стремились ставить вопрос об экономическом планировании как политическую задачу, а не только как историческую цель, то есть как долгосрочное разрешение эпохального противоречия между развитием производительных сил и производственных отношений. В самом деле, наличие экономических условий, объективно благоприятных для перехода к плановой экономике, признавалось не только социалистами-планистами, но и более обширным кругом западной интеллигенции⁷. Постоянно фигурирующие у Коула, Де Мана, Лорá отсылки — в том числе и в критическом ключе — к стратегическим и техническим решениям нэпа, а затем советских пятилетних планов основываются на признании общего интереса к сочетанию политической власти и программируемого преобразования экономики, интереса, идущего дальше общей антиэволюционистской и активистской устремленности.

Впрочем, даже в лице своих наиболее унитарно настроенных представителей социалистическое течение планизма остается компонентом социал-демократического движения. И если бы для доказательства этого тезиса мало было разнородности источников политического и теоретического вдохновения этого течения и коммунистов, то можно было бы указать на два крупных вопроса, связанных с перспективой преобразования западного общества, по которым ясно видны отличия указанного течения от традиции революционного марксизма. В самом деле, для деятельности социалистов-планистов характерно составление национальных планов по расширению занятости либо национальных правительственных программ. Идея перманентного революционного процесса, выступающего в обличье всемирной революции и непосредственно следующих друг за другом демократической и социалистической революций, заменяется у них, во-первых, подчеркнуто выраженным вниманием к национальной специ-

⁷ Особенно содержательными и глубокими являются рецензии, критические обзоры и очерки об английской, немецкой и международной литературе по экономическому планированию, которые публиковались в те годы в журнале «Цайтшрифт фюр зохиальфорушунг», выходившем под редакцией Макса Хоркхаймера. См. в особенности: *F. Pollock. Die gegenwärtige Lage des Kapitalismus und die aussichten einer planwirtschaftlichen Neuordnung*; *G. Meyer. Neuere literatur über Planwirtschaft* (1932, № 1); *K. Bauman. [F. Pollock, K. Mandelbaum]. Autarkie und Planwirtschaft*; *G. Meyer. Neue englische Literatur zur Planwirtschaft* (1933, № 2); *K. Mandelbaum, G. Meyer. Zur Theorie der Planwirtschaft* (1934, № 3); *F. Pollock. State Capitalism* (1941, № 9).

фике, а во-вторых, сосредоточением на определении промежуточных и переходных этапов и их экономической и институциональной формы.

Сам по себе поворот к такому подходу немаловажен. Дело в том, что мифическая идея всемирного плана, осуществляемого под руководством наднационального Совета, была подхвачена и на Западе в рядах наиболее творчески мыслящих групп массового движения, развернувшегося после первой мировой войны: от грамшианского «Ордине нуово» до американского профцентра «Индустриальные рабочие мира». Порыв к немедленному проведению в жизнь целей обобществления экономики — без учета специфических национальных условий и без продуманного чередования конкретных задач, союзов, переходных форм и т. д. — был характерной чертой всего послевоенного революционного движения в целом и послужил отнюдь не маловажной причиной его «индустриалистской» изоляции и поражения⁸. Сочетание катастрофистского анализа «общего кризиса капитализма» с прогнозами о неизбежном близком начале всемирной революции, положенное в основу самого акта образования III Интернационала, в сущности, продолжало оставаться теоретическим ориентиром марксизма-ленинизма. Отказ прислушаться к вопросам, ставившимся Грамши, Бухариным и другими на основе изучения решений, которые капитализм изыскивал в ответ на послевоенный кризис и заявившую о себе «актуальность программирования экономики», а также на основе анализа других проблем, которые — после того как изоляция СССР стала фактом — не могли не вытекать из этих решений капитализма применительно к взаимосвязи между русской революцией и революцией на Западе, парадоксально приводил к тому, что «социализм в одной, отдельно взятой стране» продолжал олицетворять для коммунистической ортодоксии предпосылку того же чередования кризис — революция, какое уже было опробовано на «Востоке»⁹. Тем самым поле теоретических размышлений, не сводящихся к чисто тактическому определению промежуточных фаз или утилитарно историческим изысканиям национальной специфики, оказалось резко суженным, с тяжелыми отрицательными последствиями для возможности коммунистических партий на Западе превра-

⁸ Реконструкцию теоретических противоречий послевоенного движения, вдохновлявшегося идеей рабочих Советов см.: AA. VV. *Teoria e prassi dell'organizzazione consiliare. Da Weimar al New Deal*. Milano, 1976; De Felice F. „Introduzione“ *Gramsci A.* A. Quaderno n 22. *Americanismo e fordismo*. Torino, 1978.

⁹ По вопросу о влиянии прогнозов о будущем капитализма на догматическое окостенение Коммунистического Интернационала отсылаю читателя к моему очерку: «Бухарин: экономика и политика в период строительства социализма». — «История марксизма», т. III, ч. 1, с. 180—220.

тяться в массовые политические движения. Показательно, что в своей полемике против коммунистических партий в 1932 году Де Ман акцентирует внимание не на различии идеологических позиций, а на сведении роли коммунистов к функции «*unzufriedene Sozialdemokraten*» («беспокойных социал-демократов»), желая тем самым подчеркнуть, что революционная пропаганда компартий в пользу советской модели в действительности маскировала политическую практику по сути своей экономистского толка ¹⁰.

Второе принципиально важное отличие планизма социалистов от революционного марксизма — отличие, присущее также крупным фракциям европейского социалистического движения, например Леону Блюму с его критикой планизма, — заключается в иной оценке примата завоевания государственной власти в процессе перехода от капитализма к социализму ¹¹. Традиционная идея качественного скачка между фазой, предшествующей завоеванию государства, и фазой, следующей за этим завоеванием, подменяется у социалистов-планистов сосредоточенностью на придании социалистического характера непосредственным задачам, тесном связывании «программы-максимум» и «программы-минимум», конъюнктурной политики и изменения системы; сосредоточенностью на том, чтобы растворить переход от капитализма к социализму в веренище следующих друг за другом фаз, хотя политический момент в виде участия социалистов в правительстве и рассматривается при этом как решающее средство достижения цели.

Идея политической актуализации темы планирования стала не чуждой международной социал-демократии не только в силу причин идеологического свойства, но и из-за существенной недооценки масштабов социально-экономических процессов, которые были связаны с кризисом и знаменовали исчерпание целой фазы в истории капитализма. Почти повсеместно планизм социалистов рождается и развивается на основе критического анализа и политической борьбы против засилья экономической ортодоксии, все еще характеризовавшего большинство европейских социал-демократических партий. Можно вспомнить, что Р. Гильфердинг не только относился, в сущности, со снисходительным сочувствием к дефляционистской политике правительства Брюнинга, но и вызвал в 1931—1932 годах беспрецедентно глубокий кризис в отношениях между партией и профсоюзом, блокировав профсоюзную инициативу по роковому для германской демокра-

¹⁰ См. серию статей Де Мана, опубликованных в «Гамбургер эко» за 1932 год, а позже выпущенных отдельным изданием: *De Man H. Wende des Sozialismus*. Zürich, 1934, S. 12.

¹¹ L. Blum. Socialisation et nationalisation. — In: „Le populaire“, 11 juillet 1935.

тии вопросу о массовой безработице¹²; что английский премьер-министр Макдональд в 1929 году ради сохранения обменного курса фунта стерлингов пошел на раскол лейбористской партии, лишив ее тем самым на протяжении десяти с лишним лет возможности вернуться в правительство¹³; что, наконец, Леон Блюм своими первыми мерами по ослаблению контроля над экономикой в 1937—1938 годах принес в жертву поддержанию платежного баланса и свободной конвертируемости франка социальные и политические достижения правительства Народного фронта¹⁴. Если вспомнить все это, то трудно не признать наличие глубинной связи ведущих отрядов международной социал-демократии со старым миром безраздельного господства свободы рыночных отношений, даже при том, что самим своим организационным развитием она явилась одним из факторов преобразования и дестабилизации этого мира.

Труды историков уже выявили с достаточной глубиной обстоятельства, подтверждающие отсутствие у левых сил самостоятельно разработанной экономической политики. В анализе провалов западных социалистов в 30-е годы ныне детально прослежены подробности, как говорит Полани, «чужовищных усилий для достижения невозможного», то есть ради бескомпромиссной защиты или восстановления золотого паритета национальных валют¹⁵. Но при всем том остается вопрос, какое же значение имел тот факт, что именно в ситуации столь серьезных стратегических затруднений в рядах социалистического движения выделилось идейно-политическое течение, избравшее свой специфический курс, который нельзя спутать ни с каким другим и который пролегал между социализмом гильфердинговского типа и превращением социал-демократических партий в простые органы проведения разных вариантов кейнсианской политики¹⁶.

¹² Среди многих работ, посвященных этому центральному моменту кризиса веймарской социал-демократии, см. доклады Шнейдера и Гейтса на Бохумском симпозиуме 1973 года, опубликованные в: „*Industrielles System und politische Entwicklung in der Weimarer Republik*“, a cura di H. Mommsen, D. Petzina, B. Weisbrod. Düsseldorf, 1974, vol. I, S. 206—236.

¹³ Фундаментальной работой на эту тему является: S. Pollard. *The Gold Standard and the Employment Policies between the Wars*. London, 1970. См. в особенности: „*Trade Unions Reactions to the Economic Crisis*“, p. 146—161.

¹⁴ См.: H. W. Arndt. *Gli insegnamenti economici del decennio 1930—1940*. Torino, 1949, p. 223—230.

¹⁵ K. Polanyi. *La grande trasformazione*. Torino, 1974, p. 35.

¹⁶ В ряде работ последнего времени содержится разная трактовка этого пункта; путь, пройденный международной социал-демократией, порой рассматривается как переход от гильфердинговской парадигмы к кейнсианской, а концептуальная разработка социалистами тематики планирования изображается при этом просто как вариант или частичное предвосхищение такого перехода. См.: A. Borgounioux, B. Manin. *La social-démocratie ou le compromis*. Paris, 1980; C. Buci-Glucksmann, G. Ther-

2. Рабочее движение и управление экономикой

Общей чертой разных групп социалистов-планистов и вообще социал-демократических течений, занятых разработкой новой экономической антикризисной политики, является сознательное одобрение ими как потенциального смысла решения об отказе от золотовалютного стандарта, принятого английским правительством в августе 1931 года, так и тех возможностей, которые указанное решение открывало для инициативы рабочего движения. В этом заключался один из начальных моментов вызревания открытого конфликта, получившего особенно отчетливые формы в столкновении между Войтинским, главным автором широко известного плана немецких профсоюзов, и Гильфердингом, который в своем принципиальном выступлении на съезде профсоюза служащих (АФА—Бунд) призывал отбросить какие бы то ни было иллюзии о возможности использования социалистами политического маневра с обменным курсом валюты и бороться за «верные капиталистические методы», которые непременно приведут к выходу из кризиса¹⁷.

Небесполезно будет сразу же отметить, что признание Войтинским — как, впрочем, и лидером британских тред-юнионов Бевином — международного значения выводов комитета Макмиллана¹⁸ вовсе не означало перехода на технократические позиции. Гильфердинговской идее сохранения с помощью депрессии гармонического соотношения между организованным капитализмом, демократическими политическими формами и перспективой продвижения к социализму социалисты-планисты противопоставляли не голую технику эффективных правительственных мер. Задачей рабочего движения, на их взгляд, становилось скорее вмешательство в экономику на

born. Le défi social-démocrate. Paris, 1981.

Иной исследовательский подход к теме взаимоотношений между социал-демократией и программированием см.: *K. Novy. Weltwirtschaftskrise 1929. Krisenpolitik und Lehren. — In: „Strategien gegen die Arbeitslosigkeit“. Hrsg. K. G. Zinn. Frankfurt am Main, 1977; G. Maramba. Austro-marxismo e socialismo di sinistra tra le due guerre. Milano, 1977; AA. VV. Crisi e piano. Le alternative degli anni Trenta. A cura di M. Teló (в особенности очерки М. Д'Антонио, Э. Фано, Б. Аморозо, Дж. Э. Рускони и «Введение»), Bari, 1979.*

¹⁷ *R. Hilferding. Gesellschaftsmacht oder Privatmacht über die Wirtschaft. — In: Protokoll des AFA-Gewerkschaftskongresses. Leipzig, Oktober 1931, S. 99—100; W. Woytinsky. Ein neues Programm zur Bekämpfung der Krise in England. — In: „Gewerkschaftszeitung“, 5 September 1931, № 36, S. 563—566.* Войтинский вспоминает об этом элементе разногласий с Гильфердингом также в своих мемуарах. См.: *W. Woytinsky. Stormy Passage. New York, 1961, p. 464* (trad. it.: „Dalla rivoluzione russa all'economia rooseveltiana“. Milano, 1966).

¹⁸ Эти выводы (не в последнюю очередь также под влиянием вышедшего в 1931 году «Трактата о деньгах» Дж. Кейнса) фактически предопределяли отказ от золотого паритета и девальвацию фунта стерлингов.

основе собственных специфических установок, воздействие в пользу альтернативного использования растущих кредитов, ставших возможными в силу удешевления денег, и завоевание таким путем новой самостоятельности в управлении кризисом¹⁹.

Осознание того факта, что соревнование с капитализмом смещается на новую почву, было также плодом размышлений, развивавшихся параллельно вокруг признания конца международной системы золотовалютного паритета и вокруг невозможности восстановления на внутреннем рынке автоматических механизмов поддержания равновесия между производством и потреблением. То, что указанные размышления сыграли свою роль в осознании новой ситуации, дополнительно подтверждается принципиально важной статьей Анри Де Мана, опубликованной в 1931 году под заголовком «Либеральный капитализм». В ней он отталкивается от кейнсовского «Трактата» 1931 года, а также от двух других книг, выпущенных в 1930 году двумя «гильдейскими социалистами», Гобсоном и Коулом (последний в будущем станет лидером течения английских планистов)²⁰. Центральной задачей для Де Мана является воссоздание цельной теоретической картины, которая позволила бы увязать новейшие завоевания политэкономической мысли с восстановлением в правах принципиально значимых элементов марксистского анализа кризиса капитализма. Новая как для Де Мана, так и для обширных групп левой европейской интеллигенции гипотеза о структурном характере противоречия между производством и потреблением²¹ могла бы, конечно, как отмечает Де Ман, повлечь за собой игнорирование специфичности циклической депрессии, которая, несомненно, имеет причиной «хроническое недопотребление масс», хотя ее видимый эпицентр лежит в зоне валютнообменных процессов и вообще в сфере обращения. Недооценка конъюнктурного момента привела немецкую социал-демократию к параличу, а коммунистическую ортодоксию — к огульной пропаганде неминуемого близкого краха капитализма; оба течения тем самым подтвердили то, что

¹⁹ W. Woytinsky. Ein neues Programm, cit.

²⁰ См.: De Man H. Le capitalisme liberal. — In: „Bulletin d'information et de documentation de la Banque Nationale de Belgique“. 1931, vol. 1, № 8, p. 265—270. В этой статье цитируются книги: J. A. Hobson. Rationalisation and Unemployment: an Economic Dilemma. London, 1930; G. D. H. Cole. Gold Credit and Employment. London, 1930. Помимо этого, в 1931 году Де Ман публикует еще ряд статей по той же тематике (анализ кризиса и экономическая политика), в том числе: „Le capitalisme autoritaire“ et „La crise du capitalisme“. — In: „Bulletin d'information et de documentation de la Banque Nationale de Belgique“. 1931, vol. 1, № 2, 13.

²¹ Помимо упомянутых статей, опубликованных в „Bulletin...“, см. также: De Man H. Le nationalisme économique. — In: „Revue ULB“, décembre 1933.

Гуннар Мюрдаль и другие шведские социал-демократы полемически определяли как традиционную детерминистскую деформацию марксизма²². Не случайно Гильфердинг, Нафтали и другие социал-демократические лидеры в своих выступлениях упорно цеплялись за тезис о неизбежности кризисов и необходимости выяснения их «конечной причины»²³.

Показательно, что Де Ман, подобно Войтинскому и шведским социал-демократам, но иначе, чем Коул, разделял критику Кейнсом золотого паритета и по достоинству оценивал важность вызревания подобной крамолы в стране, общепринято считающейся исторической и теоретической родиной идей свободы торговли и неоклассической политэкономии. Еще примечательней то, что его критика в адрес Кейнса направлена вовсе не против тех возможностей, которые открывал перед расширением кредита и государственных расходов, а также вообще перед антикризисной политикой стимулирования роста производства отказ от золотого паритета, но против непоследовательности в рассуждениях самого Кейнса, который в марте 1931 года предложил в качестве краткосрочной меры протекционистскую защиту английского рынка и создание привилегированных условий для экспортных отраслей²⁴. Что же касается Коула, то именно в сопоставлении с предложенными им мероприятиями — расширением внутреннего рынка и подчеркнуто избирательной, ориентированной в первую очередь на рассасывание безработицы кредитной политикой и политикой государственных расходов — определялись и уточнялись основные черты того комплекса мер конъюнктурной политики и структурных реформ, которые в 1933 году образуют стержень и наиболее новаторский компонент Плана труда Бельгийской рабочей партии.

Таким образом, в исходных предпосылках своего анализа и в своих стратегических установках течение социалистов-плановиков развивается на рубежах, которые традиционно считались питательной почвой ревизионистских теорий. Речь идет, однако, о движении, отличным от старого реформизма. Беспрецедентное возрастание роли политического регулирования в капиталистическом цикле и вообще в сплетении политики и экономики резко снизило не только политическую, но и теоретическую действенность механицистского варианта структурного анализа. Вместе с тем утверждалась также идея о необходимости радикального пересмотра в новой фа-

²² G. Myrdal. Social-politikens dilemma. — In: „Spectrum“, 1, 1932; 11, 1933.

²³ См.: R. Hilferding. Gesellschaftsmacht oder Privatmacht. cit.; Id. Ein Irrweg, die Inflation, das Interesse der Sozialreaktion. — In: „Vorwärts!“, Oktober 1931, № 4; Id. In Krisennot, Unheimliche Tage; Id. Probleme der Kreditkrise. — In: „Gesellschaft“, 1931, № 8, 10.

²⁴ J. M. Keynes. Proposal for a Revenue Tariff. — In: „The new statesman“, March 7, 1931.

зе якобы объективных законов развития капиталистического производства, а с ними вместе и социал-демократической социальной политики 20-х годов. В этом смысле теория «организованного капитализма» попадала под удар не меньше, чем апологетические либо критические позиции, основывающиеся на экономическом либерализме.

Планистское движение складывалось, таким образом, как одно из наиболее характерных течений, в которых марксистская и социалистическая традиции вступали во взаимодействие с некоторыми важными моментами развития современных общественных наук и конъюнктурной техники. Разумеется, в нем можно различить элементы эклектики или этических и мистико-финалистских мотиваций²⁵; однако если отвлечься от его наиболее частных и преходящих черт, то в нем становится возможным проследить новый срез кризиса марксизма, проявляющий себя в виде сложности и масштабов, приобретенных вопросом об интеллигенции.

Формулирование тематики планирования как политической проблемы руководства экономикой и вместе с тем как конкретизации социалистической перспективы вновь заостряло этот вопрос в двух плоскостях. С одной стороны, речь шла об историческом узле отношений между социализмом и интеллигенцией как своеобразном перекрестке кризиса идеологий прошлого, несущих на себе отпечаток привязанности к старому миру и выражающихся в некоем расплывчатом антикапитализме; с другой — о развитии техники управления экономикой и проявлениях глубоких изменений в социальном составе общества²⁶.

²⁵ Во всяком случае, в начале 30-х годов достаточно четким и наглядным оставалось различие между мифическими компонентами международного планизма (присутствовавшими как на страницах журнала «Нойе блэттер фюр ден зоциализмус», так и в течении «Революсьон конструктив» и некоторых выступлениях Де Мана, о чем будет сказано ниже) и общим «изобилием планов» — особой главой в истории кризиса европейской интеллигенции, что, как вспоминает Леон Блюм, охватило и пронизало собой чрезвычайно широкий круг идейно-теоретических течений.

²⁶ Целесообразно, не дожидаясь более подробного изложения, которое последует ниже, сразу обозначить здесь те опорные точки, вокруг которых развивалась означенная дискуссия. В Англии, да и за ее пределами, определяющее влияние на дискуссию оказывали работы Дж. М. Кейнса и Оксфордская школа экономики. В Германии дискуссия постоянно связывалась с деятельностью берлинского Института конъюнктурных исследований, директором которого был Э. Вагеман. В Бельгии новаторским характером отличались изыскания Лувенского университета. В особенности же следует отметить Стокгольмскую экономическую школу как в силу влияния, оказанного ею на развитие Швеции, так и потому, что в трудах ее питомцев К. Викселла, Г. Мюрдаля, Б. Улина и Э. Линдхола получила цельное и последовательное оформление стратегическая перспектива социал-демократии. В эти годы быстро росло также число центров по наблюдению и контролю за экономической конъюнктурой, общенациональных и местных экономических советов, что знаменовало перемену, в том числе и социологическую, в отношениях между государством и интеллигенцией.

Именно в теоретических поисках и конкретном опыте, связанных с этой второй группой проблем, можно проследить, например, формирование новой области опосредований между политическим поворотом и социальным преобразованием, а более точно — между техникой и политикой. В этом отношении особенно интересно установить, что здесь — в практических мероприятиях и намеченных направлениях теоретического поиска — представляло собой предвосхищение решений, получивших институциональное оформление в ходе международного опыта становления социального государства, а что, напротив, осталось специфически национальной особенностью. Немаловажно, например, то обстоятельство, что в Германии, Франции, Бельгии и Швеции в ходе кризиса социал-демократии из ее рядов выдвинулся новый политический слой, состоящий преимущественно из аутсайдеров, который, находясь в тесном контакте с технической интеллигенцией, по вопросам антикризисной политики и вообще пересмотра классической экономической теории выступил с радикальной критикой ортодоксии свободы рынка и свободы валютнообменных операций.

Далеко не всегда и не в одинаковых формах достигалось равновесие между тем компонентом движения социалистов-планистов, который был порожден массовыми организациями, и его «техническим» компонентом; отнюдь не лишена оснований историографическая гипотеза, придающая этому фактору центральное значение в анализе многократных поражений, понесенных в те годы социал-демократами. В некоторых случаях, как, например, в Веймаре, сопротивление господствующей политико-идеологической традиции наряду с другими общими историческими причинами способствовало преобладанию отраслевых или незавершенных вариантов планизма, результатом чего явилось торможение распространения гегемонии идеи планирования на все организованное рабочее движение. В других случаях, как в Бельгии, переход от успешных результатов борьбы против депрессии к глубоким структурным преобразованиям оказался затруднен главным образом национальными и международными обстоятельствами политического свойства. Несомненно, однако, что значительное воздействие на ход дел оказала недостаточная разработка тематики планирования в рамках более общего проекта реформы государства, непродуманность отношений между технократическими органами экономической политики и теми институциональными формами, в которых организуется консенсус трудящихся и через которые осуществляется их контроль над экономикой. На протяжении целой исторической фазы эта последняя группа вопросов находит свое социал-демократическое решение только в скандинавской экономической и институциональной модели, причем следует

учитывать, что посредование между управлением экономической и институциональной политикой здесь, особенно в Швеции, бесспорно, облегчалось не только иной, чем у других стран, международной позицией, но также сопротивлением высокоцентрализованного шведского социал-демократического движения тенденциям к автономизации массовых профсоюзов, которые в других странах играли роль главных выразителей политического начала в программировании.

Наконец, с точки зрения истории марксизма и его отношений с рабочим движением крайне интересно то обстоятельство, что впервые на Западе теоретические проблемы обобществления средств производства и общественного контроля над экономикой посредством планирования становились предметом реальной борьбы, претворялись в правительственные программы, с самого начала задуманные как вполне осуществимые. Неоспоримым отличием «планов труда» начала 30-х годов от прошлых социалистических программ и просто провозглашения их цели-максимум — социализации — было то, что они организовались вокруг некоей главной задачи (борьбы с кризисом и безработицей), шкалы приоритетов, соотношения между экономическими и социальными издержками и формированием соответствующего консенсуса. Тем самым в новых терминах ставились уже не раз дебатировавшиеся теоретические вопросы об общественном управлении и контроле над экономикой (на основе общей критики постановки этого вопроса веймарской социал-демократией), об отношении между собственностью и контролем над главными средствами производства, о расширении и уточнении состава блока сил, объединенных социальными и политическими союзами вокруг программы экономического развития. На этом фоне вставала и требовала своего решения великая задача единства разных отрядов международного рабочего движения, и в некоторых случаях на повестку дня выносилась тема сотрудничества с его католическими и христианско-демократическими течениями в коалиционных правительствах.

Необычайно важной для социалистической мысли была, кроме того, разработка совершенно не затрагивавшейся до того институциональной проблематики, понимаемой не только как расширение демократии и общественных форм контроля, но и как выработка оригинальных решений для управления экономикой, как поиск способов синтеза решений при множественности и разнообразии представленных интересов. Само собой разумеется, что процесс расширения социальных основ государства, развернувшийся в условиях очевидного кризиса либерального государства и после провала попыток, предпринятых в 20-е годы, приобретал специфические черты и колоссальную сложность, когда в него самостоятельно

включались и начинали действовать рабочие организации марксистской формации.

Этот комплекс теоретических и политических проблем по-разному преломляется в разных ситуациях, в которых социалистическое движение оказывается под воздействием кризиса и своей собственной силы, толкающей его к выполнению роли правительственной партии. Тем самым порождается весьма широкий веер ответов на эти проблемы: порой лишь в виде теоретических формул, в иных случаях в виде уже претворенных в провозглашенные цели широких массовых движений и в решения политических партий. В одних странах выступления под этими лозунгами в профсоюзной и политической борьбе оканчивались поражением трудящихся, в других — например, в Бельгии, Франции и в особенности в Швеции — претворялись в практические меры правительственной политики. И даже если в одной лишь Швеции можно говорить о консолидированном опыте нескольких десятилетий социал-демократического правления, то все же правомерно утверждать, что указанная разработка тематики взаимоотношения между социализмом и программированием пронизала собой историю рабочего движения немалого числа стран. Эта разработка существенно воздействовала на отношения рабочего движения с марксизмом даже при том, что на протяжении нескольких десятилетий безотлагательные нужды оборонительной борьбы с фашизмом и нацизмом, а затем атмосфера, порожденная «холодной войной», помешали рабочим организациям многих стран осуществить теоретическую переработку и конкретную политическую проверку этой тематики.

3. Конъюнктурная политика и плановая экономика в последние годы Веймарской республики

Анализ значения и ограниченности плана расширения занятости, разработанного Объединением немецких профсоюзов (ОНП) в последние годы Веймарской республики, несомненно, затруднен одним очень серьезным противоречием: с одной стороны, огромная организационная мощь и славные традиции социализма и марксизма в Германии, с другой — разрушительные последствия, вызванные кризисом соотносительно с самой перспективой выживания демократии. Это обстоятельство по сей день ориентирует большую часть историографических исследований на анализ судорожного кризиса немецкого социал-демократического движения, выискивание упущенных возможностей, установление реалистичности тех или иных установок, альтернативных по отношению к той стратегической позиции, которая выглядела главенствующей

и которая в самом деле (на базе развития каутскианской теории государства и гильфердинговской теории перехода от либерального капитализма к организованному капитализму, а от него к социализму) формировала главную линию поведения веймарской социал-демократии как до, так и после начала великого кризиса. Более продуктивным представляется задаться вопросом о том, каковы были те теоретические и стратегические противоречия, которые помешали всему социал-демократическому движению Веймарской республики в целом — несмотря на важные новшества, введенные в его аналитический и программный арсенал, и острую полемику, вызванную так называемым ВТБ-планом²⁷, — даже просто сохранить точную перспективу развития, не говоря уже о том, чтобы в условиях наиболее благоприятного для него соотношения политических сил руководить проведением в жизнь правительственной программы борьбы с кризисом и рассасывания безработицы²⁸.

Поставить в центр анализа этот вопрос побуждает в первую очередь соображение историографического характера, указывающее на то, что именно отсутствие у социалистического движения собственной *Wirtschaftspolitik* (экономической политики) явилось основополагающей причиной катастрофического исхода веймарского кризиса, и заставляющее оценивать объяснения, исходящие из других факторов как частичные и в конечном счете восходящие все к тому же главному узлу.

Ныне самоочевидна и общепризнана ограниченность объяснений узкополитического плана. Либеральная историография, например, сосредоточивала свое внимание на межпартийных отношениях, политических соглашениях между чле-

²⁷ По начальным буквам фамилий трех профсоюзных деятелей, которые были его авторами — В. Войтинского, Ф. Тарнова и Ф. Бааде.

²⁸ В качестве источников для проведения исследования такого рода укажем: „*Industrielles System und politische Entwicklung*“, cit.; G. Kroll. *Von der Weltwirtschaftskrise zur Staatskonjunktur*. Berlin, 1958; W. Grottkopp. *Die Grosse Krise. Lehren aus der Ueberwindung der Wirtschaftskrise 1929—1932*; G. E. Rusconi. *La crisi di Weimar. Crisi di sistema e sconfitta operaia*. Torino, 1977; „*Organisierter Kapitalismus. Voraussetzungen und Anfänge*“. A cura di H. A. Winkler. Göttingen, 1974; *Weimar. Lotte sociali e sistema democratico nella Germania degli anni venti* A cura di L. Villari. Bologna, 1978; „*Sozialdemokratische Arbeiterbewegung und Weimarer Republik. Materialien zur gesellschaftlichen Entwicklung 1927—1933*“. A cura di W. Luthardt. Frankfurt am Main, 1978 vol. 2, vd. contributi di M. Schneider, C. Stephane e B. Blanke; H. Skrzypczak. *Some Strategic and Tactical Problems of the German Free Trade Union Movement during the Weimar Republic*. — In: „*Internationale Wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung*“, 1971, № 13; H. Mommsen. *Die deutschen Gewerkschaften zwischen Anpassung und Widerstand 1930—1944. Vom Sozialistengesetz zur Mitbestimmung*. A cura di O. Vetter. Köln, 1975; K. Novy. *Strategien der Sozialisierung. Die Diskussion der Wirtschaftsreform in der Weimarer Republik*. Frankfurt am Main, 1978.

нами веймарской коалиции²⁹. Однако такая односторонняя концентрация внимания ведет в конечном счете к игнорированию того, что конфликт между социал-демократией и «партией промышленности» — выразителем глубинных тенденций главенствующих групп германского капитализма к ограничению социал-демократического влияния на государство и государственного вмешательства в экономику³⁰ (которым фон Мизес в 1932 году дал подпорку в виде своего анализа кризиса как результата разбухания Sozialstaat — социального государства)³¹ — разразился именно из-за спора о продолжении десятилетнего социального законодательства (soziale Gesetzgebung) и в особенности о расширении или резком сокращении завоеванного в 1927 году права на пособия по безработице (Arbeitslosenversicherung). Со своей стороны не только коммунистическая историография, но и авторы, придающие большое значение позициям Социалистической рабочей партии (SAPD — небольшая унитарная организация, пытавшаяся в последний момент добиться создания единого фронта), делают упор на политических отношениях между левыми партиями. Безотлагательная необходимость антифашистского единства, способного блокировать угрозу демократии, действительно повсеместно выступала как главный фактор подготовки условий для создания Народного фронта. Вместе с тем неоспоримо, что сами масштабы экономического и социального кризиса в Германии превращали экономическую политику в решающее поприще как для образования унитарных группировок, так и вообще для успеха борющихся сил³² (это поприще, кстати говоря, вряд ли можно отнести к второстепенным и в истории драматически напряженного зарождения и развития опыта Народного фронта в самой Франции). Впрочем, и сами весьма важные дебаты о реформе Веймарской конституции, начатые в конце 20-х годов по инициативе видных руководителей левого крыла социал-демократической партии, обрели свой определяющий момент в переплетении «договорной демократии» с «социальной политикой» и в совместно переживаемой ими фазе кризиса; однако эти дебаты развернулись слишком поздно и не

²⁹ W. Conze. Die Krise des Parteienstaates in Deutschland 1929—1930. — In: „Historische Zeitschrift“, 1954, № 178. Углубление этой постановки вопроса см.: L. Valiani. La sinistra nella crisi finale della Repubblica di Weimar. — In: „Rivista storica italiana“, 1970, № 3, p. 704—713.

³⁰ H. Timm. Die deutsche Sozialpolitik und der Bruch die grossen Koalition im März 1930. Düsseldorf, 1952. S. 130ff.

³¹ L. Von Mises. Die Ursachen der Wirtschaftskrise. Tübingen, 1931.

³² K. Novy. Industrielle Selbstverwaltung zwischen Wirtschaftsdemokratie und Technokratie. Probleme einer demokratischen Wirtschaftsreform in historisch-vergleichender Analyse. — In: „Wirtschaftsdemokratie in der Discussion“. A cura di J. Huber, J. Kosta. Frankfurt am Main, 1978, S. 193—208.

вышли за рамки формальных споров, что лишило их возможности способствовать разработке институционально-юридических условий, соответствующих политике демократического программирования³³.

Объяснения социологического характера, делающие упор на окостенении социал-демократического движения и его неспособности уловить размах и направление изменений в экономике и социальной структуре Германии, в решающей мере способствуют пониманию «долгосрочных условий» целого периода провалов в истории социал-демократии и марксизма. Особенно верно это, когда подчеркиваются политические ошибки и пробелы в социал-демократическом анализе новых коллективных движений и массовой базы фашизма³⁴, расстановки решающих сил внутри индустриального блока³⁵, ориентации, вызревавших в существенно важных секторах государственной администрации³⁶, — и вообще общая обстановка старения, сектантской замкнутости, бюрократического централизма в социал-демократическом движении³⁷. Как было отмечено, с другой стороны, все эти существенно важные элементы не в состоянии объяснить разногласий по вопросу о конъюнктурно-политической линии, вспыхнувших во время кризиса отношений между партией и профсоюзом³⁸. Кроме того, специфические исторические условия Германии тех лет — и в том числе ее шекотливое положение на международной арене, а также воспоминание об инфляции 1923 года, — по-видимому, не дают исчерпывающего объяснения того обстоятельства, что в рядах самого социал-демократического движения (в отличие от того, что происходило в те же годы в других странах) не нашла поддержки политика стимулирования экономического роста.

В этой связи, возможно, бесполезно будет прибегнуть к соображениям иного рода, которые помогли бы нам ввести

³³ Реконструкцию взаимоотношений между конституционной реформой и социал-демократией см.: *W. Luthardt. Sozialdemokratie und Legalstrategie. Überlegungen zu ihrem Verhältnis in der Weimarer Republik.* — In: „Geschichte als politische Wissenschaft“. A cura di J. Bergmann, K. Mejerle, P. Steinbach. Stuttgart, 1979.

³⁴ *G. E. Rusconi.* La crisi di Weimar, cit., particolarmente capp. VII, XVII.

³⁵ *A. Sohn-Rethel.* Economia e struttura di classe del fascismo tedesco. Introduzione di G. Marramao. Bari, 1978.

³⁶ *F. Neumann.* Behemoth. Struttura e politica del nazionalsocialismo. Introduzione di E. Collotti. Milano, 1977.

³⁷ Так, на то указывает: *H. Mommsen.* Die Sozialdemokratie in der Defensive: der Immobilismus der SPD und der Aufstieg des Nazionalsocialismus. — In: „Sozialdemokratie zwischen Klassenbewegung und Volkspartei“. A cura di H. Mommsen. Frankfurt am Main, 1974.

³⁸ Вопрос об этом ясно поставлен в: *R. A. Gates.* Von der Sozialpolitik zur Wirtschaftspolitik? Das dilemma der deutschen Sozialdemokratie in der Krise 1929—1933. Ibid., S. 220—222.

в верный контекст то новшество, каким неоспоримо выступало в общей картине тяжелых противоречий веймарской социалистической и марксистской мысли предложение профсоюзов об «активной конъюнктурной политике», предложение, которое — пусть даже разным образом и в разных пропорциях — повлияло на позиции всех сил, участвовавших в политической борьбе. Сравнительный анализ, предпринятый в настоящей работе, должен был бы уберечь нас от двух противоположных опасностей, зачастую присутствующих даже в лучших исторических изысканиях: с одной стороны, от включения тщательного перечня оригинальных элементов профсоюзного плана в иллюзорно манихейские интерпретационные рамки, которые, высвечивая возможности возникновения конфликта обширных (но, разумеется, все же четко ограниченных) размеров в рядах социал-демократии, мешают рассмотреть противоречия этого плана и те элементы, которые в существенно важных теоретических аспектах привязывают его к преобладающим в СДПГ теоретическим и стратегическим установкам³⁹; с другой стороны — от тенденции к подчеркиванию конъюнктурно-технических аспектов или исторических обстоятельств⁴⁰, работающих на тезис о якобы неизбежном сползании от «технократического планизма» к авторитарному планированию и ведущих к выводам, которые основываются, в частности, на восприятии нацизмом некоторых аспектов профсоюзного плана расширения занятости⁴¹.

³⁹ Некоторые признаки этой тенденции заметны не только в упомянутой работе Р. А. Гатеса, но также в отличном исследовании, восстанавливающем историю разработки и обсуждения профсоюзного плана: *M. Schneider. Das Arbeitsbeschaffungs Programm des ADGB. Zur gewerkschaftlichen Politik in der Endphase der Weimarer Republik. Bonn—Bad Godesberg, 1975.*

⁴⁰ Немало вопросов в этом отношении вызывает предвзятая постановка вопроса в: *H. Heer. Burgfrieden oder Klassenkampf. Zur Politik der sozialdemokratischen Gewerkschaften 1930—1933. Neuwied—Berlin, 1971.* Куда более основательными являются оценки Б. Бланке. Критический разбор им возможных связей между антикризисной политикой и социалистическим программированием отсылает к фундаментальным теоретическим вопросам, рассматриваемым в других разделах настоящей работы. См.: *B. Blanke. Sozialdemokratie und Gesellschaftskrise. Hypothesen zu einer sozialwissenschaftlichen Reformismus—Theorie. — In: „Sozialdemokratische Arbeiterbewegung“, cit., S. 380—400.*

⁴¹ У этой темы заимствования или перехвата идей есть некий общий аспект, связанный с историей разработки экономической политики, нацеленной на расширение занятости, аспект, уже отмеченный в 1935 году Калецким (см.: *M. Kalecki. Stimolazione della congiuntura nella Germania hitleriana. — In: Id. Sul capitalismo contemporaneo. Roma, 1975*), а в 1941 году Л. Лорвином (*L. Lorwin. National Planning in Selected Countries. Washington, 1941*), и аспект, представленный противоречивыми документальными историческими свидетельствами об отношениях между ОНП, президентскими правительствами догитлеровского периода во главе с Брюнингом и фон Папеном и планистскими течениями национал-социализма (Штрассер). Особый упор на этот аспект делает Х. Хеер (см.: *H. Heer. Burgfrieden oder Klassenkampf, cit.*).

Следует в первую очередь подчеркнуть, что вызревание политической актуальности темы *Planwirtschaft* (плановой экономики) в ходе кризиса Веймарской республики шло в двух разных плоскостях, в виде двух процессов, которые, хотя и были порождены противоречиями одного и того же блока теоретически-стратегических установок, оставались по преимуществу раздельными (что имело свои последствия). С одной стороны, многочисленные организации и деятели профсоюзов, все острее воспринимая влияние кризиса на массу рядовых членов профсоюза (среди них было в 1932 году 50% безработных и 22% частично безработных), сосредоточивали свои усилия на разработке конъюнктурной политики, альтернативной той дефляционистской политике правительства Брюнинга, которую терпела социал-демократическая партия. С другой стороны, после того как разразился кризис, в некоторых течениях интеллигенции социалистического толка стала развиваться тенденция не ограничивать дискуссию о моделях плановой экономики лишь социалистическим обществом, переходить к теме поэтапного приближения к введению планирования, обсуждению «структур промежуточной фазы между капитализмом и социализмом». Эта тенденция вела к критическому переосмыслению как дебатов о социализации 1919—1920 годов, так и опыта проведения социальной политики в 20-е годы. Этот второй компонент важно не упускать из виду не только из-за того прямого и косвенного влияния, какое он оказал на внутрипартийную дискуссию, но также в силу того международного значения, которое приобрели теоретические выводы участников этих кружков и течений⁴².

Несомненно, соображения непосредственного характера сыграли серьезную роль в выдвижении проекта Войтинского и, что еще важнее, его одобрении руководящей группой профсоюза, несмотря на оппозицию со стороны самого Ф. Нафтали — высшего авторитета ОНП по части теории. Это не означает, однако, что предложенный план расширения занятости отличался примитивной аргументацией и содержал просто перечень экономических требований. Он был плодом соединения разных идейных течений в рабочем движении, подхвативших инициативу Войтинского, который (не будем забывать) был сотрудником статистического бюро ОНП и автором внушительного труда «Мир в цифрах» («*Die Weltin zahlen*») ⁴³.

⁴² См.: *F. Pollock. Die gegenwärtige Lage des Kapitalismus*, cit.; *G. Meyer. Neue Literatur*, cit.

⁴³ *W. S. Waytinsky. Die Welt in Zahlen*. Berlin, 1926—1928, vol. 7. Этот трактат по политэкономии и статистике несет на себе отпечаток связи его автора с Л. фон Борткевицем. В. Войтинский — умеренный социалист, эмигрировавший из России, в 1925—1933 годах жил в Герма-

Центральным отправным пунктом плана служила констатация уже упоминавшегося широкого и нового по своему характеру обращения к средствам кредитно-финансовой политики. Это обстоятельство рассматривалось в контексте анализа кризиса — анализа, приводившего к иным выводам, нежели оптимистический прогноз Гильфердинга, подчеркивавшего роль кризиса как «фактора очищения» капиталистической экономики от диспропорций, накопившихся за предыдущие годы⁴⁴. В статье, опубликованной в профсоюзном журнале «Арбайт» в конце 1931 года и положившей начало полемике между профсоюзом и партией, Войтинский писал: «По-моему, можно констатировать, что убеждение, основывающееся на опыте довоенного периода, в соответствии с которым обстановка улучшится сама собой, в новых условиях становится уже несостоятельным. Возможно, положение улучшится, но медленно и лишь на краткое время. Организации трудящихся, полагающиеся на силы самоисправления капиталистического экономического порядка, рискуют оказаться под угрозой постепенной гибели от обескровливания».

Войтинский далее углубляет тезис о «крушении автоматизма»⁴⁵ капиталистического кризиса и обращает внимание на серьезное разъедающее действие, которое «политика меньшего зла» оказала как на положение масс, так и на их доверие к партии и профсоюзу. Он указывает затем, как мы бы сказали, среднесрочную задачу для курса рабочего движения: «Решительные, глубокие, смелые меры по развитию экономики никогда не были столь необходимы, как в нынешней ситуации. Рабочему движению нужна программа действий в области экономической политики, которая бы показывала рабочим, а также другим народным слоям, что социал-демократия и профсоюзы в состоянии найти путь выхода из хозяйственного упадка. В настоящее время у нас нет никакой программы действий в области экономической политики. У нас есть перечень социальных требований, которые мы умело и со знанием проблем стараемся навязать противнику. У нас есть определенная позиция по отдельным вопросам. Однако у нас нет *программы!*»⁴⁶

нии, а затем в США в период рузвельтовского «Нового курса». См. об этом в биографии, написанной его женой (*Emma S. Woytinsky. Two Lives in One.* New York — Washington, 1965). Следует напомнить также о многолетнем сотрудничестве Войтинского с МБТ и руководством Социнтерна, с Альбером Тома (французский правый социалист. — *Ред.*), об участии Войтинского в 1-й Конференции международного планистского движения в 1934 году в Понтийи.

⁴⁴ R. Hilferding. Gesellschaftsmacht oder Privatmacht, cit.

⁴⁵ W. Woytinsky. Aktive Weltwirtschaftspolitik. — In: „Die Arbeit. Zeitschrift für Gewerkschaftspolitik und Wirtschaftskunde“. 1931, № 6, S. 413.

⁴⁶ Ibid., S. 414.

Речь идет, таким образом, не просто об ошибочном техническом выборе цели в борьбе с кризисом, как будет утверждать Нафтали, выборе, который способен «направить энергию по неверному руслу»⁴⁷, но об изменении общего отношения и позиции социал-демократического движения перед лицом кризиса. Этот смысл плана по расширению занятости с особой очевидностью обрисовывается в выступлениях профсоюзного деятеля Фрица Бааде, который в серии своих статей в «Арбайт»⁴⁸ начинает связывать активную конъюнктурную политику с переосмыслением пути и форм перехода к плановой социалистической экономике, полемизируя с теми, кто, «откладывая осуществление плановой экономики до мифического 2000 года», полагает, будто «можно будет достичь социализма, предоставив старому доброму капитализму развиваться и созревать по возможности без помех»⁴⁹. По Бааде, путь, ведущий к Planwirtschaft, пролегает не через ожидание, когда созреют международные условия и совершится внутренняя эволюция капиталистического механизма (доказавшего, напротив, собственную способность воспроизводить «свою анархию и свой беспорядок»). Бааде поэтому высказывается в поддержку общенационального плана, который бы уже сегодня предлагал свои решения проблем борьбы с кризисом. Поиск мер для вывода страны из кризиса в соответствии с критериями социалистов — это и есть содержание Gegenwartssozialismus. В основном такое толкование не расходится с духом полемики Войтинского против тех, кто полагает, что можно «убаюкивать трудящихся музыкой будущего социализма»⁵⁰.

Впрочем, темы, на которых в особенности концентрировался огонь полемики Ф. Нафтали, Р. Гильфердинга и других теоретиков социал-демократии, были связаны как раз с двумя конкретными моментами профсоюзного проекта, а именно «политикой создания рабочих мест», «финансируемой с помощью создания дополнительного кредита»⁵¹. После напряженного обсуждения как в печати рабочего движения, так и

⁴⁷ F. Naphtali. Neuer Analepunkt der Konjunkturpolitik oder Fehleitung von Energien? — In: "Die Arbeit", Juli, 1931, № 7, S. 485—497. В этой статье автор развивает тезисы, уже изложенные в брошюре: F. Naphtali. Konjunktur, Arbeiterklasse und sozialistische Wirtschaftspolitik. Berlin, 1928.

⁴⁸ F. Baade. Planwirtschaft und Gegenwartssozialismus, cit., S. 613; Id. Planwirtschaft in nationalen Rahmen. — In: "Die Arbeit", 1933, № 1, S. 1—4.

⁴⁹ P. Hermsberg. Planwirtschaft. — In: "Die Arbeit", 1932, № 4, 6, 8.

⁵⁰ W. Woytinsky. Aktive Weltwirtschaftspolitik, cit., S. 439.

⁵¹ Тексты "Thesen zur Kampf gegen die Wirtschaftskrise", представленные Войтинским, Бааде и Тарновым 23 декабря 1931 года, и "Der Arbeitsbeschaffungsplan", представленный 26 января 1932 года, воспроизведены в приложении к: M. Schneider. Das Arbeitsbeschaffungsprogramm des ADGB, cit., S. 223—234.

в его организациях план в существенно переделанном виде был принят чрезвычайным профсоюзным съездом 13 апреля 1932 года⁵², но только затем, чтобы остаться на бумаге⁵³. Здесь, однако, целесообразной представляется не столько аналитическая реконструкция всех этих перипетий плана, сколько оценка значения двух положенных в его основу установок соотносительно с теоретической традицией социал-демократии и ее развитием в годы кризиса.

ВТБ-план выступает как попытка активного вмешательства рабочего движения в действие стихийных законов развития капитализма. Вместе с тем нельзя сказать, чтобы он был совершенно чужд теоретическим представлениям об «организованном капитализме», которые как до, так и после Кильского съезда партии (1927)⁵⁴ господствовали в социал-демократическом движении. В этом легко убедиться, если проанализировать связь между идеями плана и взглядами видных представителей экономической теории преимущественно марксистского происхождения, которые долгие годы разрабатывали тезис о том, что «хроническое недопотребление» капиталистической системы может быть исправлено политикой повышения «покупательной способности масс» («*Massenkauftkraftstheorie*»). Э. Ледерер с 1925 года и К. Массар с 1927 года доказывали, что использование связи между увеличением заработной платы и расширением внутреннего спроса способно примирить требование справедливого распределения с критериями экономической рациональности⁵⁵. Мостиком, перекинутым от этого влиятельного «ревизионистского» и антидефляционистского течения к ВТБ-

⁵² ADGB. Wiederaufbau durch Arbeitsbeschaffung — заключительный документ чрезвычайного профсоюзного съезда 13 апреля 1932 года. См. также: ADGB — AFA—Bund. Umbau der Wirtschaft. Die Forderungen der Gewerkschaften. Berlin, 1932 — проект «Реконструкция экономики» опубликованный ОНП совместно с профсоюзом служащих АФА—Бунд.

⁵³ Об исторической судьбе профсоюзного проекта в судорожной атмосфере финального кризиса веймарской демократии см. цит. работы М. Шнайдера, Г. Скрыпача, Х. Хеера и Р. Гатеса.

⁵⁴ R. Hilferding. Die Aufgaben der Sozialdemokratie in der Republik. Berli, 1927 (доклад на Кильском съезде СДПР). В нем пусть не прямо, но затрагивается также восходящая к К. Каутскому концепция государства и отношения между капитализмом и социализмом. О концепциях кризиса, «непобедимости демократии» и перехода от капитализма к социализму у позднего Каутского см. в: M. Salvadori. Kautsky e la rivoluzione socialista (1880—1938). Milano, 1976. p. 316—341.

⁵⁵ K. Massar. Die volkswirtschaftliche Funktion hoher Löhne. Berlin, 1927; E. Lederer. Konjunktur und Krisen. — In: Id. Grundriss der Sozial-ökonomik. Tübingen, 1925 sez. IV. На эту тему см. также замечания Э. Альтфатера в его очерке «Капитализм организуется: дискуссия в среде марксистов в период между первой мировой войной и кризисом 1929 года», помещенном в данной работе («История марксизма», т. III, ч. 1, с. 349—412). См. также: E. Altvater, J. Hoffmann, W. Semmler. Vom Wirtschaftswunder zur Wirtschaftskrise. Ökonomie und Politik in der Bundesrepublik. Berlin, 1979, S. 374—378.

плану (в котором в еще большей мере, чем в первых статьях Войтинского, акцент ставился на необходимости, чтобы «оживление происходило со стороны потребления»), явились главным образом выступления Ф. Тарнова. Уже в своем очерке «*Warum arm sein?*» («Зачем быть бедными?») в 1928 году он утверждал, что целесообразно, чтобы «распределение массы покупательной способности происходило таким образом, чтобы обеспечивалось использование его в смысле поддержания верного соотношения между потреблением и накоплением»⁵⁶, иными словами, в смысле такого увеличения заработной платы, которое бы стимулировало рост спроса, особенно на потребительские блага.

Однако к подобному форсированию рыночных законов план 1931—1932 годов присовокупляет важное дополнение, направленное на то, чтобы в еще большей мере ограничить влияние «автоматизмов» рынка. Именно государство своей политикой расходов и расширения кредита прямо (и косвенно) порождает дополнительный спрос. Увеличение покупательной способности остается — в качестве пути к оживлению экономики — главной целью, но средства для достижения этой цели предполагают некую «прибавку» к власти государства над экономикой. В выборе такого подхода нетрудно уловить следы **размышлений по поводу альтернативных способов стимулирования спроса**, пищу которым дало решение Англии отказаться от поддержания золотого паритета фунта стерлингов.

В отличие от общих теорий повышения покупательной способности масс в случае с проектом Войтинского речь идет о мере конъюнктурного типа, об антикризисной политике. Но эта мера так или иначе логически связана с центральным моментом всего плана, то есть формами мобилизации необходимых финансовых средств. В первый момент Войтинский предполагал, что совокупному действию дефляционистской политики и сокращения кредита необходимо и возможно противопоставить международное соглашение о расширении кредита и стабилизации цен — мероприятие, способное позитивно воздействовать на спрос⁵⁷. Следы ориентации на действия, ведущие в таком направлении, в том числе и на международном уровне, еще сохраняются в одной из первых редакций

⁵⁶ *F. Tarnow. Warum arm sein?* Berlin, 1928, S. 44. Такое истолкование плана по расширению занятости, при котором подчеркивался его целебный эффект для будущего немецкого капитализма, оставался и в последующие годы характерной чертой выступлений Тарнова.

⁵⁷ См.: *W. S. Woytinsky. Internationale Hebung der Preise als Ausweg aus der Krise.* Leipzig, 1931. Статьи и выступления Войтинского об антикризисной политике, публиковавшиеся в те годы в профсоюзной, социал-демократической и специализированной международной прессе, исчисляются десятками.

плана, в декабре 1931 года⁵⁸. Правда, все это имеет мало общего с тем абсолютным приоритетом, который Гильфердинг отдавал внешней политике перед внутренней экономической политикой, и усилиями по добыванию у Франции и США займа для оживления немецкой экономики — замысел, который Войтинский считал совершенно иллюзорным⁵⁹.

Уже в конце 1931 года и с еще большей отчетливостью в 1932 году профсоюзный план «начала общественных работ в широком масштабе» основывается на идее национального финансирования с помощью «создания дополнительного кредита вне рамок реально существующих сбережений», то есть, попросту говоря, посредством политики deficit spending (дефицитного финансирования), проводящейся непосредственно государством, а не банками и заведомо порождающей небольшую и контролируруемую инфляцию. Напоминание о травме, вызванной инфляцией 1923 года, и безоговорочное отстаивание политики поддержания курса марки были не единственными доводами в той жестокой критике, какой подвергли план Гильфердинг и Нафтали. При этом центральное место в позиции Гильфердинга, в том виде, как она развивалась в некоторых его принципиально важных статьях в журнале «Гезельшафт» и, главное, в его пространном выступлении на съезде профсоюза служащих в октябре 1931 года⁶⁰, все более занимала осовремененная теория «организованного капитализма» с особым подчеркиванием элемента государственного вмешательства в экономику. Однако, когда Гильфердинг, исправляя собственный скептицизм и скептицизм руководящей группы СДПГ по поводу возможностей воздействия на ход кризиса, был вынужден более непосредственно заняться определением курса на сдерживание тех разъедающих последствий, которые для рабочих организаций вызывает кризис, то он, по сути дела, недалеко уходит от дирижистских мероприятий типа тех, что применялись правительством Брюнинга в контексте политики, носившей в основном дефляционистский характер: контроль над банками и валютными операциями составлял самый новаторский элемент этой политики⁶¹. Политика расширения занятости, финансируемая посредством deficit spending, остается главной мишенью по-

⁵⁸ "Thesen zur Kampf gegen die Wirtschaftskrise", cit.

⁵⁹ О позиции Гильфердинга см. *R. Hilferding. Gesellschaftsmacht oder Privatmacht*, cit.: Id. *Probleme der Kreditkrise*, cit., и в других его работах; такой же линии придерживается Нафтали в своем ответе Войтинскому; см.: *F. Naphtali. Neuer Angelpunkt*, cit.

⁶⁰ *R. Hilferding. Gesellschaftsmacht oder Privatmacht*, cit.

⁶¹ Ibid.; Id. *Probleme der Kreditkrise*, cit. О противоречиях и ограниченности правительственного вмешательства в банковский кризис 1931 года см.: *H. Köhler. Das Verhältnis von Reichsregierung und Grossbanken 1931*. — In: "Industrielles System und politische Entwicklung", cit., vol. II, S. 868—877.

лемических выступлений Гильфердинга и Нафтали также и в последующие годы, когда они активно включаются в масово-политическую кампанию обличения будущих антирабочих последствий этой политики и подчеркивания схожести ее установок с идеями части «левого крыла национал-социалистов»⁶².

Важно подчеркнуть, что Гильфердинг, в сущности, так никогда и не подошел к подлинному переосмыслению отношений между рабочим движением и экономической политикой: даже в тот момент, когда наступление крупных частных монополий на *Socialpolitik* и на само демократическое государство поставило под вопрос пронизанные идеей гармоничности основания его концепции перехода от капитализма к социализму. *Wirtschaftspolitik* так и оставалась для него неведомой землей, а требование все большего государственно-го контроля над банками и монополиями продолжало быть в его сознании чем-то весьма отдаленным от вопроса о связи между конъюнктурной политикой и переходом к социализму (как это, напротив, было в постановке вопроса движением планистов).

Несмотря на подобные апории, авторитет Гильфердинга как теоретика был настолько велик, что позволил ему сначала изолировать выдвинутое профсоюзом требование антикризисной политики, а затем, уже в измененной форме, представить его вновь. И далеко не второстепенную роль сыграло его решение перенести в область идеологического конфликта между марксизмом и антимарксизмом разногласия, в действительности имевшие лишь отдаленное касательство к критике политической экономии. Между тем, прибегая к теории стоимостей против «финансового техницизма» Войтинского, Гильфердинг в то же самое время отстаивал актуальность своего труда 1911 года «Финансовый капитал», ценность которого состояла в первую очередь как раз в выявлении новых черт, появившихся у современного капитализма, и, в частности, решающего значения процессов обращения и роли банков — с устранением присутствующей у Маркса связи между теорией кризиса и теорией стоимости⁶³.

В том, что в стратегии социал-демократов в последние го-

⁶² Среди разных выступлений социал-демократических деятелей в ходе этой кампании см. в особенности: *R. Hilferding*. Ein Irrweg, cit.. Id. Wie macht man Inflation? Pläne der Industriediktatur? — In: "Vorwärts", 21 Oktober 1931. Результатом этой политической кампании явилось решительное отмежевание парламентской фракции СДПГ от поддержки профсоюзного плана, что, по сути дела, предопределило изоляцию этого проекта.

⁶³ *Р. Гильфердинг* Финансовый капитал. М., 1959. Выдержки из этого труда приводились Гильфердингом в его выступлении на съезде профсоюза служащих. См.: *R. Hilferding*. Gesellschaftsmacht oder Privatmacht, cit., S. 87.

ды Веймарской республики все большее значение получает «принцип контроля» (Kontrollprinzip), можно увидеть среди всего прочего влияние Ф. Нафтали, хотя в его теории «экономической демократии»⁶⁴ следует подчеркнуть кое-какие элементы отличия от платформы, принятой партией на Кильском съезде. Тезис Нафтали о том, что «капитализм, до того как он будет разрушен, может быть изменен», не вызвал к жизни никакой стратегии экономической реформы, выходящей за рамки социальной политики; его результатом явилось скорее развитие и уточнение в демократическом направлении принципа государственного контроля над экономикой. С другой стороны, отличие этой тематики от постановки вопроса социалистами-планистами не сводится к одному лишь катастрофическому урезыванию лозунга экономической демократии в реальной истории Веймарской республики, когда проекты участия трудящихся в управлении предприятиями (Mitbestimmung) оказались низведены — подобно тому как это произошло на предприятиях национализированной горнорудной промышленности — до решений, куда более смахивающих на предложенные В. Ратенау «индустриальные сообщества»⁶⁵. В действительности возникает впечатление, что в самом ВТБ-плане содержится осознание противоречия между задачей демократизации органов управления промышленностью и одновременным признанием «объективности» процессов концентрации и рационализации капитализма⁶⁶.

Следует, наконец, иметь в виду, что на страницах журналов и альманахов социалистического движения возникала некая перекличка между дискуссией, вызванной проектом профсоюзов, и реактуализацией некоторых направлений исследований, характеризовавших в 1919—1920 годах дебаты о социализации⁶⁷: к концу десятилетия они все больше ориентировались на тематику планирования экономики. Большая часть этой литературы занималась вопросом о технико-ор-

⁶⁴ F. Naphtali. Die Wirtschaftsdemokratie. Ihr Wesen, Weg und Ziel.— In: Auftrage des ADGB. Berlin, 1928.

⁶⁵ Из теоретического наследия В. Ратенау на итальянском языке см.: W. Rathenau. L'economia nuova. A cura di L. Villari. Torino, 1976; M. Cacciari. Walter Rathenau e il suo ambiente. Bari, 1979. О типе корпоративизма, который имел в виду Ратенау, см.: C. S. Maier. Recasting Bourgeois Europe. Princeton, 1975 (trad. it.: "La ricostruzione dell'Europa borghese". Bari, 1980, p. 33, 242—243).

⁶⁶ О такой оценке противоречивости тематики «экономической демократии» см.: H. Mommsen. Staatliche Sozialpolitik in der Weimarer Republik. — In: "Gewerkschaftliche Politik: Reform aus Solidarität". Zum 70. Geburtstag von H. O. Vetter. Hrsg. U. Borsdorf. Köln. 1977.

⁶⁷ Хорошее представление о направлениях «дебатов о социализации» можно почерпнуть в очерке Э. Вайселя «Социалистический интернационал и дискуссия о социализации» в данной работе («История марксизма», т. III, ч. 1, с. 202—221). Дальнейшее углубление этой тематики, включающее анализ международных теоретических течений социалистов-плановиков в 20-е годы, см.: K. Novy. Strategien der Sozialisierung, cit.

ганизационных моделях плановой *социалистической* экономики, отражая в той или иной мере влияние критики фон Мизеса, выдвинувшего тезис о невозможности калькуляции в экономике, не основывающейся на рынке⁶⁸. Речь шла, иначе говоря, о разработке, которая, как замечает один из главных ее участников, Карл Ландауэр, предполагала радикальную перемену политической власти и политической системы^{68а} и которая, в частности, по этой причине порождала немало сомнений относительно законности поисков социалистических путей разрешения кризиса. Однако проблемы, поставленные перед теорией среди прочего поражением в борьбе за *Sozialisierung* (социализацию) в первые послевоенные годы, а также назревший уже критический анализ несостоятельности жесткого разграничения между *Sozialpolitik* и *Wirtschaftspolitik* приобретали настолько большую важность, что нарушали чисто теоретический характер новой дискуссии о плановой экономике.

Критические обзоры Л. Лорвина в 1931 году⁶⁹, Ф. Поллока и Герхардта Майера в первых номерах журнала «Цайтшрифт фюр зоциальфоршунг»⁷⁰ позволили — начиная уже с тех лет, на которые приходится разгар споров о планировании, — выявить «сетку» проблем, сосредоточивших на себе внимание обширнейшей литературы разнородного происхождения и политико-теоретической ориентации. Они позволили также составить типологию разработанных моделей планирования (отличающихся большим разнообразием даже внутри

⁶⁸ Знаменитый очерк фон Мизеса (*L. Von Mises. Die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen.* — In: "Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik," 1920—1921, № 47, S. 86—121) был переиздан в Йене в 1932 году ("Die Gemeinwirtschaft. Untersuchungen über den Sozialismus") и вызвал поток выступлений экономистов-социалистов, пытавшихся с помощью разных определений *Marktplanwirtschaft* (плановой рыночной экономики) примирить перспективу социалистического планирования с сохранением элементов рынка в качестве индикаторов цен и издержек. Однако наиболее плодотворный разбор позиций фон Мизеса был произведен за пределами Германии в работах А. Лернера, О. Ланге и М. Дobbа, публиковавшихся в «Ревью оф экономик стадиз» в 1933—1938 годах.

^{68а} *K. Landauer. Planwirtschaft und Verkehrswirtschaft.* München—Leipzig, 1931; *Id. L'economia programmatica in Germania.* — In: AA. VV. *L'economia programmatica.* Firenze, 1933, p. 55.

⁶⁹ *L. Lorwin Problems of Economic Planning,* cit.

⁷⁰ *F. Pollock. Die gegenwärtige Lage des Kapitalismus,* cit.; *G. Meyer. Neue Literatur,* cit. В качестве развития идей, содержащихся в очерке Поллока, о пределах и противоречиях управляемой экономики в условиях капитализма особенно примечательна работа Мандельбаума: *K. Mandelbaum, G. Meyer. Zur Theorie der Planwirtschaft,* cit. В ней прослеживаются различия между проектами «рыночного социализма» и «административного социализма», а также их взаимоотношения; либеральная критика в очерке отвергается при помощи разработки соотношения между планом и индивидуальным потреблением, а также проблемы калькуляции и производительности труда (*Ibid.*, S. 228—262).

теоретической литературы самого немецкого социалистического движения), а также перечень организационно-технических проблем, по которым они различаются между собой: роль рынка в социалистическом планировании; равновесие между централизацией и децентрализацией; ценообразование и принятие решений о размещении капиталовложений; отношения между собственностью и контролем. Если Лорвин особенно подчеркивает при этом — имея в виду международную литературу — различие между планированием, определяемым и ориентируемым властью капиталистов (*business type of planning*), и программированием, в основе которого лежит обособление политической власти от бизнеса (*social progressive type of planning*)⁷¹, то схоластическая мысль немецкой социал-демократии остается в значительной мере привязанной к тезису о решающем значении перемены в отношениях собственности на средства производства. Однако переработка этого традиционного критерия разграничения порой вовлекает в дискуссию новые элементы, которые повлияли и на политические дебаты о планировании в Германии и за ее пределами.

В этой связи здесь следует напомнить в особенности о работах двух авторов — К. Ландауэра и Э. Хаймана⁷². И в первую очередь необходимо подвергнуть тщательному осмыслению уроки, извлеченные ими из дебатов о социализации 1919—1920 годов. Как пишет Ландауэр, в тот период «теоретически, по-видимому, было возможно предпринять немало шагов к введению социализма и соответственно если уж не установить программируемую экономику как таковую, то по крайней мере заложить первые предпосылки такой экономики»⁷³. Говоря так, он подвергает критике как практическую деятельность комиссий по социализации, которые так и не сумели «указать политически возможный путь к социализму», так и позиции сторонников министра финансов Р. Висселя, с его проектами по государственному регулированию экономики, оставившими в то же время в неприкосновенности и свободу конкуренции, и частную собственность на средства производства. Но, хотя анализ позиций Висселя убеждает Ландауэра (который в этом отношении согласен с большинством экономистов-социалистов относительно того, что «тщетно стремиться управлять капитализмом извне в соответствии с планом»), все же он вводит новый элемент в рассмотрение этой проблематики. Лозунг «социализация как условие программируемой экономики», замечает он, не обязательно означает,

⁷¹ L. Lorwin. *Problems of Economic Planning*, cit., p. 16—21.

⁷² См.: K. Landauer. *Planwirtschaft und Verkehrswirtschaft*, cit.: Id. *L'economia programmatica in Germania*, cit.; E. Heimann. *Sozialistische Wirtschafts- und Arbeitsordnung*, cit.

⁷³ K. Landauer, cit. S. 92—95.

что, прежде чем начать устанавливать план, необходимо социализировать все предприятия: «Для того чтобы задать направление экономическому развитию, достаточно занять командные высоты в экономике»⁷⁴. Так обрисовывается постановка вопроса, способная облегчить исследование альтернативной экономической политики и связи между регулированием кризиса и переходом к социализму в соответствии с той «смелостью утопии», которую Ландауэр в 1931 году противопоставляет бессодержательно примитивным концепциям социализации. Анализ, таким образом, переносится на почву экономической политики, причем Ландауэр делает при этом оговорку, которая позволяет ему избежать бескомпромиссной альтернативы между бессильной ортодоксией и прагматизмом: «Любая экономическая политика социалистов должна исходить из того, что она обязана быть политикой в собственном смысле слова, то есть частью борьбы за власть». Иными словами, следует проводить специфическую экономическую политику, понятную широким массам и готовую к компромиссам⁷⁵. Ландауэр тем самым подходит к той трудности, о которой открыто говорил в своем докладе на Лейпцигском съезде СДПГ (1931) Тарнов, прибегнувший к знаменитой метафоре о двоякой роли рабочего движения у изголодавшегося переживающего кризис капитализма: роли врача, добивающегося выздоровления пациента, и одновременно наследника, ожидающего смерти⁷⁶. По сравнению с Гильфердингом здесь устраняется детерминистский и порождающий пассивность момент, коренящийся в вере в «имманентные законы» капиталистической экономики, но в то же время не происходит сползания ни к новой разновидности апокалипсических ожиданий краха капитализма (в чем обвиняли немецких коммунистов), ни к абсолютизации технических приемов регулирования конъюнктуры в отрыве от других моментов (в чем лидеры СДПГ упрекали Войтинского и других авторов профсоюзных планов)⁷⁷.

Предложение Ландауэра и Хаймана заключается в разработке «программы социалистических действий», то есть такого проекта управления экономикой, который бы вернул со-

⁷⁴ Id. *L'economia programmatica in Germania*, cit., p. 56.

⁷⁵ K. Landauer. *Planwirtschaft und Verkehrswirtschaft*, cit., S. 31.

⁷⁶ F. Tarnow. *Kapitalistische Wirtschafts-anarchie und Arbeiterklasse*, S. 20. То, что на предыдущем, Кильском съезде преподносилось в оптимистических прогнозах о тенденциях развития «организованного капитализма» как нечто само собой разумеющееся, на этот раз в докладе Тарнова на Лейпцигском съезде подавалось проблематично. Однако схема, положенная в основу этого доклада, также приводила в конечном итоге к противопоставлению между верой в предопределенность конечной цели и конъюнктурной политикой.

⁷⁷ K. Landauer *Sozialistische Kreditpolitik*. — In: "Neue Blätter für den Sozialismus", März 1932, S. 127—134.

циалистов к необходимости находить решения для задач сегодняшнего дня. Если бы социалистическое движение снова, как в 1919—1920 годах — но в отягощенном виде, — ушло от выполнения этого возложенного на него историей долга, перед ним открылась бы перспектива катастрофы, которая могла бы явиться не только в облике полицейских репрессий, но в форме его «превращения в чисто профсоюзное движение оппортунистического толка»⁷⁸.

Совершив, однако, этот немаловажный теоретический шаг, экономисты-социалисты оказались перед совершенно невозделанным полем разработки проблем экономической конъюнктуры. Красноречив уже сам факт обнаружения ими вакуума на месте теоретического фундамента, на который могла бы опереться политика расширения занятости. Впрочем, именно из осознания этого факта проистекают наиболее интересные — хотя и общего характера — идеи о селективной и стимулирующей роли кредита, целенаправленных капиталовложений и т. д.⁷⁹ С другой стороны, обнаружение указанного предела повлекло за собой довольно существенную переработку «социалистической идеи». Наряду с анализом новых коллективных движений антикапиталистического характера эта переработка велась на страницах журнала «Нойе блэттер фюр ден зоциализмус»⁸⁰. В его редакционный комитет входили П. Тиллих и Э. Хайман, а в качестве активных сотрудников выступали такие видные представители немецкого теоретического планизма, как Э. Ледерер, Э. Лёве, В. Паль и др., не говоря уже о самом А. Де Мане, преподававшем в те годы в университете Франкфурта-на-Майне. Этот журнал, выходивший в период кульминационной фазы кризиса Веймарской республики, служил, несомненно, важным стимулом к преодолению теоретического и политического склероза социал-демократии, а также выступал в качестве лаборатории, где благодаря сотрудничеству разнородных идейных компонентов вырабатывались положения, позже принятые бельгийским и французским течениями планизма. Важно отметить вместе с тем, что журнал этот так и не смог стать тем политико-теоретическим связующим звеном между антикризисной инициативой социалистов и их общей стратегией, над созданием которого напряженно трудились многие из его сотрудников.

Без сомнения, политические плоды этого периода интенсивных теоретических поисков с куда большей очевидностью

⁷⁸ E. Heimann *Sozialistische Wirtschafts- und Arbeitsordnung*, cit.

⁷⁹ K. Landauer *Planwirtschaft und Verkehrswirtschaft*, cit., S. 218.

⁸⁰ "Neue Blätter für den Sozialismus. Zeitschrift für geistige und politische Gestaltung". Издавался Э. Хайманом (Гамбург), А. Татманом (Берлин) и П. Тиллихом (Франкфурт-на-Майне) в течение 1930—1933 годов.

обнаружат себя за пределами Германии. Достаточно вспомнить, что в ходе подготовки Плана труда Бельгийской рабочей партии Де Ман прямо ссыался на разработки Ландауэра и в особенности Хаймана. Отсылки касались не только определенной роли банковской системы в программируемой экономике вообще и при распределении инвестиций в частности, но также таких понятий, как «распорядительная власть», или контроль, и критериев селективного подхода к размещению капиталовложений. Можно отметить, наконец, что, подобно Хайману, Де Ман вводит в рамки нового подхода к планированию также тематику «освобождения труда на предприятии»⁸¹.

Официальный документ, в котором нашел свое окончательное выражение планизм профсоюзной политики веймарской социал-демократии и который получил распространение в 1932 году под заглавием «Umbau der Wirtschaft»⁸² («Перестройка экономики»), вряд ли можно интерпретировать как свидетельство восстановления единства рядов немецкого социалистического движения после разногласий предыдущего двухлетия. Сходящиеся в этом документе идейно-теоретические линии, в том числе осознание потребности в «активной конъюнктурной политике», которая отвечала бы задачам «создания новых рабочих мест» и «повышения покупательной способности масс», установки на «демократизацию экономики» и выработку программы «национализаций», были скорее механически совмещены, нежели продуманно слиты в соответствии с реально осуществимым конъюнктурным и стратегическим курсом. Наиболее новаторские элементы Umbau, такие, как заявленная в нем готовность пойти навстречу «антикапиталистическим устремлениям средних слоев», подчеркивание безотлагательности конъюнктурной инициативы и ее связи с формированием «промежуточных позиций между капитализмом и социализмом», были обесцвечены и растворены в общей картине, где господствующим влиянием пользовалась по-прежнему «теория организованного капитализма».

Эти драматические непреодолимые трудности на пути обновления объяснялись не только устойчивостью авторитета Гильфердинга, но и внутренней хрупкостью первоначального проекта Войтинского и профсоюзов. Общее несоответствие

⁸¹ E. Heimann. Sozialistische Wirtschafts- und Arbeitsordnung, cit., S. 29, 39. Де Ман ссыался на эту работу, в частности, как на основу для пересмотра самого понятия социализации. De Man H. A capitalism nouveau, socialisme nouveau. — In: "Le peuple", 29 novembre, 1933. Связь с этой работой прослеживается и в книге: De Man H. Der Kampf um die Arbeitsfreude. Jena, 1927.

⁸² Umbau der Wirtschaft. Die Forderungen der Gewerkschaften (текст документа был предложен совместно ОНП и профсоюзом служащих АФА-Бунд).

между новыми задачами, вставшими перед рабочим движением в условиях кризиса, и теоретической культурой социалистического движения в целом вряд ли могло быть восполнено предложениями профсоюза и параллельными «ревизионистскими» поисками, предпринятыми в последний момент. С другой стороны, если бы профсоюзный план увенчался успехом, то есть привел к проведению политики полной занятости в обстановке расширения демократических свобод, это немедленно развязало бы качественно новый конфликт между противостоящими социально-политическими лагерями, — конфликт, на который рабочее движение не могло идти с традиционным стратегическим багажом социал-демократии⁸³. Как раз новаторские аспекты экономической политики, с осознанной ясностью очерченные Вейтинским и его сподвижниками, требовали такого проекта институциональных преобразований, который соответствовал бы соотношению и расстановке сил основных классов внутри государства. Новые технические приемы экономической политики, реформа государства, переосмысление соотношения между социализмом и борьбой за оживление конъюнктуры — таковы в основном те три поприща, на которых получили развитие, а затем потерпели провал исследования веймарских социалистов-планистов по вопросу о субъективных условиях, способных выразить «объективно назревшую необходимость плановой экономики». Профсоюзный проект — причем не столько в силу его техницизма, сколько в силу тех радикальных последствий, которые он должен был вызвать для соотношения классовых сил, — не мог не натолкнуться на ряд «объективных» пределов, главным среди которых было то центральное положение, которое Германия занимала в контексте международных отношений. Неоспоримо вместе с тем, что благодаря профсоюзному плану и его драматической судьбе образовалась новая проблема, связанная тысячами нитей с изысканиями, предпринимавшимися в других отрядах европейского социалистического движения, веха на политическом и теоретическом пути, богатом альтернативными вариантами. Развитие, начавшееся таким образом, не прекратилось с победой нацизма, но шло вперед на разных уровнях зрелости теоретической мысли и порождало широкую гамму конкретных исторических результатов.

4. Идеология и политика в бельгийском и французском планизме

В кругу идейно-политических течений, сложившихся в первой половине 30-х годов в движении социалистов-планистов,

⁸³ Такова оценка, содержащаяся в работе Нойманна (F. Neumann. Behemoth, cit., S. 31—53).

проблематика антикризисной политики и вообще поворота по отношению к ортодоксальности 20-х годов преломлялась в двойной плоскости: реформы теоретической социалистической мысли и правительственно-политической инициативы. Подобно тому как это было в Германии, в других странах новая проблематика также ставилась в первую очередь массовыми профсоюзами. Оказываясь порой под прессом все новых волн массовых стихийных забастовок против последствий кризиса⁸⁴, профсоюзы почти повсюду претворяют недовольство трудящихся дефляционистской политикой, неоднократно пускавшейся в ход правительствами, в планы по расширению занятости. Одновременно в профсоюзах крепнет убеждение, что требование сокращения рабочего времени нужно дополнять лозунгами, которые приводили бы к повышению «покупательной способности» народных масс. Еще до того, как это произошло в немецких профсоюзах, подобная ориентация вызревает в британских тред-юнионах (1931) и по разным каналам распространяется отсюда в рабочее движение Бельгии (1932—1933), во французскую ВКТ (1934—1935), в ведущие профсоюзные организации Швейцарии, Голландии, Норвегии, Швеции⁸⁵. Распространению, углублению, усилению подобных импульсов к обновлению немало способствовало то обстоятельство, что кризис ортодоксальных традиций в этих странах, драматически оттененный банкротством веймарской социал-демократии да и подобным же опытом лейбористского правительства в Англии, получал выражение также в новых идейных и стратегических поисках, причем поиски эти захватывали — куда в большей мере, чем в Германии, — сами социалистические партии и на протяжении нескольких лет обуславливали деятельность Социалистического рабочего интернационала⁸⁶.

⁸⁴ Фундаментальной работой о динамике забастовочной борьбы и социальных конфликтов в Европе, вызванных кризисом 1929 года, продолжает оставаться исследование, опубликованное в 1966 году Международным институтом изучения социальных конфликтов (АССЕН), а в этом исследовании — в особенности очерк: *J. Dhont, E. Evalenko, R. Resjohazy. L'influence de la crise de 1929 sur les mouvements ouvriers en Belgique.* — In: *International Institut vor Sociale Geschiedenis. Mouvements ouvriers et dépression économique de 1929 à 1939.* ASSEN, 1966, p. 76—102.

⁸⁵ Швейцарский, голландский и норвежский профсоюзные планы, а также их связь с международным планистским движением, инициатором которого был Де Ман, явились предметом критического анализа на симпозиуме об идейном наследии Де Мана, проходившем в 1973 году в Женевском университете. Материалы симпозиума опубликованы в: *V. Cahiers. Pareto.* 1974, vol. XII, № 31. Об основополагающих идеях международного планизма, как правило, воспроизводящих суть бельгийского Плана труда, наиболее содержательно говорится в выступлениях Брелаза, Ван Пески, Доджа, Гроса, Лефрана, Дезольера и Рена.

⁸⁶ В первую очередь следует вспомнить IV конгресс Социалистического рабочего интернационала в Вене в 1931 году, на котором — как в докладе Р. Гримма, так и в заключительном документе — были сделаны

Очевидное несоответствие между значением поднятых вопросов — ведь речь шла о переосмыслении перспектив и роли социалистического движения, с тем чтобы поставить его вровень с переменами и новшествами, возникшими в отношениях между политикой и экономикой, — и конкретно-историческими результатами, достигнутыми в отдельных странах, указывает на ограниченность разработок социалистов-планистов и побуждает к анализу того неразрешенного противоречия между двумя полюсами, внутри которого развивалось движение планизма: между идеологией планирования и политикой планирования, понимаемой как правительственная политика. С другой стороны, широта вовлеченности в это движение профсоюзов, политических организаций, идейно-теоретических течений, а также оригинальность некоторых выработанных им концептуально-стратегических положений заставляют со всем вниманием отнестись к специфичности этой главы в истории кризиса европейского социалистического движения, невозможность ее сведения к категории пережиточных явлений.

С этой точки зрения исключительно интересным является опыт бельгийских социалистов 30-х годов. Точкой соединения профсоюзной борьбы и борьбы политической здесь стал именно План труда, утвержденный партийным съездом в декабре 1933 года и сделавшийся затем программной основой деятельности коалиционных правительств, сменявших друг друга в 1935—1939 годах⁸⁷. В трудах главного автора плана, Де Мана, внутриполитический опыт бельгийских социалистов выступает и в качестве максимально концентрированного

куда более радикальные выводы (чем те, которые двумя годами позже будут сформулированы на Парижском конгрессе) по поводу критической оценки социал-демократической политики ожидания оживления капитализма. Особенно примечательной в этом контексте выглядела актуализация социалистической перспективы в виде указания на планы национализаций (см.: "Vierter Kongress der SAI. Berichte und Verhandlungen". Zürich, 1932; R. Grimm. Die Weltwirtschaftskrise und die Arbeitslosigkeit. S. 165—174 и выводы — S. 875—878). Наряду с поддержкой (правда, временной) со стороны такого авторитетного деятеля международного социалистического движения, как Э. Вандервельде, планисты пользовались также содействием А. Тома — одного из руководителей Международной профсоюзной федерации, по распоряжению которого в печатных органах федерации публиковались тексты планов труда с его благоприятным комментарием.

⁸⁷ Речь идет о коалиционных правительствах социалистов, католиков и либералов под председательством христианского демократа Ван Зееланда, в которых Де Ман занимал пост сначала министра общественных работ, потом министра финансов. Планы деятельности этих правительств, опиравшихся прежде всего на соглашение социалистов с католическими силами, в большой степени основывались на программе социалистов. См. об этом в: G. Spitaels. Le mouvement syndical en Belgique. Etudes d'économie sociale. Bruxelles, 1967; P. Joye, R. Lewine. L'église et le mouvement ouvrier en Belgique. Bruxelles, 1967.

выражения «планизма» как международного течения⁸⁸. Однако важно подчеркнуть, что это стало возможным главным образом благодаря взаимодействию с культурно-политическими течениями других стран; взаимодействию, облегченному не только традиционной циркуляцией идей внутри франкоязычного социалистического движения в целом, но также возникновением новых точек идейной близости и с представителями других регионов. Это определялось особой глубиной и теоретической содержательностью разработки Де Мана, который стремился сделать ее применимой к различным культурно-политическим контекстам, таким, например, как английский и немецкий. Чтобы убедиться в этом, достаточно напомнить здесь о родстве его изысканий, с идеями Дж. Коула и Стаффорда Криппса, с одной стороны, а с другой — Л. Лора, Ж. Лефрана и А. Филиппа, не говоря уже об упоминавшейся выше связи с участниками веймарской *Planwirtschaftsdiskussion* (дискуссии о плановой экономике)⁸⁹.

Смысл превращения исследований Де Мана в начале 30-х годов в главное связующее звено между политикой и культурой планизма, в наиболее концентрированное выражение кризиса европейского социалистического движения вряд ли может быть понят, если не упомянуть о повороте, вызванном в его собственной идейно-теоретической биографии капиталистическим кризисом 1929 г. В своей книге 1933 г. («Социалистическая идея»), знаменующей кульминационный момент его теоретической переориентации⁹⁰, Де Ман намечает

⁸⁸ Весьма интересно под этим углом зрения изучение материалов дискуссии на международных конференциях социалистов-планистов в 1934 году в Понтиньи, в 1936 году в Женеве и в 1937 году снова в Понтиньи. См.: *Conférence internationale des plans du travail*. Bruxelles, 1935. 1937, 1938.

⁸⁹ Что касается Коула и представителя Социалистической лиги Криппса, то здесь следует напомнить прежде всего об их идейно-политической борьбе, особенно в 1932—1935 годах, за принятие лейбористской партией «Плана для Британии», способного претворить предложения конгрессов тред-юнионов в 1931, 1932 и 1933 годах, в правительственную программу лейбористской партии, пребывавшей в прощении после кризиса, который последовал за расколом и падением кабинета Макдональда. В числе многочисленных работ Коула, повлиявших и на Де Мана, и на международный планизм, см.: *G. Cole, A. Bevin. The Crisis*. London, 1931; *G. Cole. Gold Credit and Employment*, cit.; *Id. Principles of Economic Planning*. London, 1935. Исследования Социалистической лиги в переводе на французский язык см. в: «Vers un plan britannique». Préface de A. Philip. — In: «Cahiers de Révolution constructive», 1932. Об истории идейной борьбы в лейбористской партии в 30-е годы см.: *B. Pimlott. Labour and the Left in the 1930's*. Cambridge, 1977.

⁹⁰ *De Man H. L'idée socialiste*, cit. Следует подчеркнуть, что в своей автобиографии Де Ман отмечает решающее значение этой своей работы, явившейся плодом пятилетних размышлений как в теоретическом плане, так и в плане политической реализации идейной реформы социализма (*De Man H. Cavalier seul. Quarante cinq ans de socialisme européen*. Genève, 1948, p. 148—150).

предпосылки такого понимания политики планирования, которые выводили бы ее за пределы просто «активной конъюнктурной политики». Напомним, что в своем предшествующем творчестве, отмеченном четкой печатью одностороннего увлечения изменениями надстроечного порядка, Де Ман пришел в 20-е годы к выводу о «преодолении марксизма»⁹¹. Односторонность его подхода опиралась в основном на анализ — преимущественно социологического характера — тех масштабных процессов производственной и социальной рационализации, которые имели место в Соединенных Штатах. На базе этого анализа у Де Мана сформировалось убеждение — довольно распространенное, кстати говоря, в рядах европейского социалистического движения, — будто капитализм развил в себе способность давать ответ на «приобретательские потребности трудящихся масс»; единственные потребности, стимулируемые социал-демократическими партиями, подрубив тем самым связи массового социалистического сознания с интересами и противоречиями материального характера и ограничив его корни исключительно сферой этических, или психологических, мотиваций⁹². По поводу такого, неизбежно элитарного представления о социализме («интеллигентского социализма», как скажет о нем К. Каутский)⁹³ Антонио Грамши писал в «Тюремных тетрадах», что свойственная Де Ману описательность, в конечном счете перечеркивает «гносеологическое значение главных событий послевоенного времени» (намек относился не только к 1917 году, но и к развитию массовых профсоюзных и политических

Из работ Де Мана в этот важный для его творчества период следует упомянуть также: *De Man H. Le socialisme constructif*. Paris, 1933 (сборник очерков, написанных во время кризиса Веймарской республики); *Id. Wende des Sozialismus*, cit.; *Id. Réflexions sur l'économie dirigée* Bruxelles, 1932. Идеино-политическую биографию Де Мана см. в: *P. Dodge. Beyond Marxism. The Faith and Works of Hendrik De Man's*. Cravenhage, 1979; *M. Nijhoff, De Man H. Socialist Critic of Marxism*. Princeton, 1979; а также инт. материалы симпозиума 1973 года в Женевском университете. На итальянском языке см.: *M. Teló. Riforme di struttura e problematica istituzionale nel socialismo planista. Il Piano del lavoro di H. De Man*. — In: AA. VV. *Crisi e piano*, cit.; *A. Agosti. Le matrici revisioniste della pianificazione democratica*. — Classe, 1919, № 1.

⁹¹ *De Man H. Il superamento del marxismo*. A cura di A. Schiavi, Bari, 1929.

⁹² Из работ Де Мана, посвященных разработке теории социализма, за десятилетие, предшествующее кризису, существенно важными являются: *De Man H. Au pays du taylorisme*. Bruxelles, 1919 (где собраны плоды его размышлений о новом американском капитализме); *Id. Der Kampf um die Arbeitsfreude*, cit.; *Der Sozialismus als Kulturbewegung*, Berlin, 1929.

⁹³ *K. H. Kautsky. De Man als Lehrer*. — In: „Die Gesellschaft“, 1927, № 1. В своем ответе Каутскому Де Ман намечает основы критического анализа представлений немецкой социал-демократии о соотношении между государством и переходом к социализму. К этому анализу он возвращается и в своих статьях 1933 года в «Пёплъ». См.: *De Man H. Antwort an Kautsky*. Jena, 1927.

движений), приводя тем самым к «увечковечению самых отсталых уровней сознания масс»⁹⁴.

В 30-е годы Де Ман подвергает свои взгляды предшествующего периода с их характерным идеалистическим видением процессов формирования социалистического сознания открытой критике. В ней он отталкивается от нового осмысления элементов «социальной необходимости», актуализирующих перспективу политического преобразования, — осмысления, иначе говоря, последствий кризиса и вообще противоречий процессов капиталистической рационализации⁹⁵. Анализ «структурного кризиса» капитализма становится для Де Мана основой для переосмысления отношения между материальными интересами и движением истории, для совершения такого поворота в теории социализма, который меняет самую суть реформистской традиции. Речь при этом вовсе не идет о возврате в новой форме к механистическим представлениям об «автоматизме» экономических и социальных явлений. Это с очевидностью явствует из трактовки Де Маном кризиса как фактора, способного обусловить альтернативные политические решения: «Кризис уменьшает способность рабочего движения добиваться реформ, но одновременно он увеличивает его шансы на осуществление радикального изменения самого общественного строя»⁹⁶.

Экономический и социальный анализ приобретает, таким образом, определяющее значение во всех основных работах Де Мана этого периода. С одной стороны, у него, как, впрочем, и у Коула и Лорá, можно проследить в это время признаки возврата к Марксовой и люксембургинской теории кризиса — отказ от трактовки кризиса как чисто конъюнктурного явления, концентрация внимания на снижении нормы прибыли, недопотреблении как органическом явлении, прогрессирующем сужении мировых рынков сбыта и т. д.⁹⁷ С другой же стороны, он предлагает радикально антидетерминистское истолкование кризиса, при котором социалистический исход воспринимается как возможность, как вероятный плод инициативы по соединению политического и социального факторов, как созидание. Такому пониманию способствовало, конечно, еще одно обстоятельство. Новое прочтение «Капитала» шло, в особенности у Де Мана, рука об руку с обострением интереса к «Экономически-философским руко-

⁹⁴ A. Gramsci. Quaderni del carcere. A cura di V. Gerratana. Torino, 1975. p. 328, 450, 461.

⁹⁵ De Man H. L'idée socialiste, cit., p. 494—498.

⁹⁶ Ibid., p. 502—503.

⁹⁷ L. Laurat. La crise mondiale. Paris, 1935; Id. Economie planée contre économie enchaînée. Paris, 1932; Id. Economie dirigée et socialisation. Paris, 1935; G. Cole, A. Bevin. The Crisis, cit.; G. Cole. Principles of Economic Planning, cit., Из работ Де Мана см.: De Man H. Le nationalisme économique, cit., а также последнюю главу „L'idée socialiste“, cit.

писям 1844 года», с их критикой «грубого коммунизма» с гуманистических позиций. Де Ман предлагает актуализировать эту критику⁹⁸, но в то же время в качестве основы для верификации социалистической программы выхода из кризиса указывает на анализ возможностей, оставленных — или открытых — изменениями в социально-классовой структуре, новыми формами социальной стратификации, а также предвидением новой фазы в развитии международного капитализма⁹⁹.

Использование Де Маном важных идей, которые оформились в ходе поисков нового курса в экономической политике и о которых здесь уже упоминалось в связи с дебатами о смысле отказа от золотого стандарта и о новой роли кредитной политики, было обусловлено необходимостью уточнить содержание программ регулирования кризиса, а также потребностями диалога — во внутривластном и международном плане — с представителями разнообразных технократических и продуктивистских течений, заявивших о себе на Амстердамской конференции 1931 года и развивавшихся под флагом теорий Кейнса, Веблена или Ратенау¹⁰⁰. Но дело было не только в этом. Повсюду среди социалистов-планистов воскрешались взгляды, в которых вновь ощущалось присутствие традиционных тезисов Лауэра, да и самого Ленина. В соответствии с этими тезисами капитализм со вступлением в монополистическую фазу, фазу господства финансового капитала, характеризуется «регрессивной тенденцией», порождающей процессы «феодализации» экономики и стимулирующей перерождение институциональной системы в авторитарном и националистическом духе. Хотя при этом полностью исключалось обращение к доводам полемики ревнителей свободы торговли против государственного вмешательства в экономику, неоспоримо, что подобный анализ был в сильной мере обусловлен победой нацизма в сердце капиталистической Европы и заведомо обрекал на неуспех попытки адекватной интерпретации той обширной гаммы экономических и политических решений, которые вызревали в тот момент в странах Запада. В сущности, такой анализ сводил в конечном счете все противоборствующие варианты лишь к двум: либо авторитарное программирование фашистского тол-

⁹⁸ *De Man H.* Der neu entdeckte Marx. — In: „Der Kampf“, Mai, Juni 1932.

⁹⁹ Помимо уже цитировавшихся работ Де Мана, следует упомянуть здесь некоторые его статьи, публиковавшиеся в газете бельгийской социалистической партии «Пёплъ»: *De Man H.* Les classes moyennes; Id. L'anticapitalisme des classes moyennes; Id. La proletarianisation des classes moyennes. — In: „Le Peuple“, 7, 11, 18 octobre 1933.

¹⁰⁰ См.: *Réflexions sur l'économie dirigée*, cit.; *Les techniciens et la crise*. Liège, 1934 (материалы конференции, проходившей в Льеже, опубликованные профсоюзом служащих).

ка, либо «управляемая экономика» как промежуточный этап на пути к социалистическому планированию¹⁰¹.

Более эффективной выглядит *pars destruens* этого анализа, то есть та, которая связана с идеей конца либерального капитализма. В самом деле, такой конец означает также прекращение действия тех тенденций к непрерывному экономическому росту, которые составляли предпосылку образования и укоренения крупных социал-демократических партий и соответствующих успехов реформизма. Процессы количественного усиления и роста однородности рабочего класса, а также тенденции ко все более выраженной двухполюсности социальной структуры общества во время кризиса уступали место (впрочем, отчасти это происходило и в рамках рационализации 20-х годов) обострению — в старых и новых формах — социально-политической сегментации рабочего класса и умножению новых средних слоев в лице НТР и служащих, в дополнение к традиционным средним слоям, устоявшим перед процессом пролетаризации¹⁰². По мнению Де Мана, с точки зрения выявления социальных субъектов, способных играть существенно важную роль в том блоке сил, которые социалисты намерены объединить вокруг своих планов, следует подчеркнуть две особенности. С одной стороны, прослеживается консолидация вокруг рабочего класса некоего «пятого сословия»; складываются, как отмечает Де Ман, «все более многочисленные точки социального и психологического контакта между нарождающимся «пятым сословием», состоящим из рабочих, утративших всякую «квалификацию» и хронически находящихся под угрозой безработицы, и другой частью пролетариата, образованной теми, кто уже стал постоянным безработным»¹⁰³.

С другой стороны, в работах, написанных в ходе агонии Веймарской республики, то есть в 1930—1933 годах, все большее место отводится рассмотрению вопроса об отношениях со средними классами и об интерпретации расплывчатых антикапиталистических устремлений тех коллективных движений, которые знаменуют политическую динамизацию этих классов в фазе кризиса. В демановской критике пагубной политики СДПГ особенно подчеркивается неспособность уловить то новое обстоятельство, каким выступали специфические требования плановой политики, выдвигавшиеся сред-

¹⁰¹ Таковы выводы, к которым подводят работы: *De Man H. Réflexions sur l'économie dirigée*, cit.: *G. Cole. Principles of Economic Planning*, cit.: *L. Laurat. Economic planée*, cit.

¹⁰² Помимо статей, перечисленных в прим. 99, см.: *De Man H. Le socialisme constructif*, cit., а также статью: *De Man H. Les causes universelles du fascisme*. -- In: „Le Peuple“, 4 octobre 1933, позже изданную вместе с другими в брошюре: *De Man H. Pour un plan d'action*. Bruxelles, 1933.

¹⁰³ *De Man H. L'idée socialiste*, cit., p. 475—476.

ними слоями, а также коллективное сопротивление «традиционных средних слоев» тенденциям к пролетаризации. Рассмотрение прогрессивного содержания противоречия, противопоставляющего эти новые классы интересам монополистического и финансового капитала, претворяется у Де Мана в выявление возможностей их союза с рабочим классом на почве борьбы с финансовым капиталом. В отличие от того, что утверждали в те годы критики Де Мана из числа социалистов и коммунистов, он имел в виду несогласие с текущими требованиями этих слоев в рамках националистической идеологии (как то отстаивала, напротив, французская неосоциалистическая партия Деа и Монтаньона, возникшая в 1933 году в результате откола от социалистической партии ее правого крыла)¹⁰⁴, но вынашивал идею о том, что «воссоздание единства возможно только на основе проекта широкого масштаба, а не текущих требований». Для него речь шла, следовательно, не об оппортунистическом или тактическом маневре, но о радикальной программе «структурных реформ»¹⁰⁵, способной объединить «экономическое большинство» с политическим, рабочий класс и безработных, мобилизовать «дух производителей, присущий индустриальной интеллигенции», и собрать воедино недовольство разных участников мелко-товарного производства¹⁰⁶.

Стержнем подобной постановки вопроса служило выявление непосредственной заинтересованности рабочего класса в переходе от экономической борьбы или борьбы за перераспределительные реформы к плану структурных реформ. Не случайно именно это фундаментальное понятие составляло

¹⁰⁴ Чужеродность французской неосоциалистической группы по отношению к темам и перспективам международного движения социалистов-планистов с четкостью явствует из писаний ее собственных лидеров; см.: *Montagnon, Bernard, Marquet, Déal. Néo-Socialisme*. Paris, 1933. В этой книге повторяются мотивы, по которым был предпринят раскол социалистической партии; инициатива такого рода была проявлена на съезде в Южане в 1932 году, а затем стала свершившимся фактом на съезде в Париже 1933 года и на митинге в Ангулеме в том же году. Попытка «неосоциалистов» связаться с бельгийской социалистической партией породила недоразумения в истолковании этих фактов историками, примером чего может служить статья итальянских социалистов; см.: *L. Luzzato, B. Maffi. La politica delle classi medie e il planismo*. — In: „Fronte antifascista e politica di classe. Socialisti e comunisti in Italia 1923—1939“. A cura di S. Merli. Bari, 1975. Об оппозиции планистского движения правому течению французского национального социализма с особой обстоятельностью говорится в: *G. Lefranc. La courant planiste dans le mouvement ouvrier français de 1933 à 1936*. — In: „Le mouvement social“, 1966, № 54; *J. Amoyal. Les origines syndicalistes et socialistes de la planification en France*. — Ibid., 1974, № 87. См., кроме того, очерк: *M. Fine. Toward Corporatism: The Movement for Capital—Labor Collaboration in France 1914—1936*. Madison, 1971 (mimeograph.).

¹⁰⁵ Понятие «структурные реформы» вводится Де Маном в работах: *De Man H. L'Idée socialiste*, cit.; *Id. Wende des Sozialismus*, cit.

¹⁰⁶ См. выше прим. 99 и 100.

главный полемический объект той критики, с помощью которой Леон Блюм пытался с 1934 года противостоять растущей гегемонии планизма в рядах французского профсоюзного движения и в организациях самой СФИО¹⁰⁷.

Понятие структурных реформ составляет самый новаторский результат всей работы по социально-экономическому анализу и вообще комплексному осмыслению стратегического кризиса европейского социалистического движения. Успех идеи плана структурных реформ в профсоюзном движении Бельгии, Франции и других стран нетрудно объяснить, если учесть, что традиционный разрыв между «движением» и «конечной целью» в 20-е годы обострился в форме противопоставления пропагандистских лозунгов социализации реальной практике, сводившейся к социальной политике и экономической борьбе, которую кризис начисто лишал перспектив успеха¹⁰⁸. Метафора Де Мана о переходе от требования «большей доли пирога» к «борьбе за создание нового пирога» обрела свою аналитическую базу как в исчерпании пределов реформизма (а к этому он сводит в конечном счете и саму реальную практику коммунистического движения), так и в признании нового обстоятельства, заключающегося в том, что маневры ценами и вообще меры экономической политики стали куда более мощным, чем прежде, орудием аннулирования прибавок к зарплате, добываемых ценой все больших усилий¹⁰⁹. Таким образом, новая конъюнктурная политика, направленная на увеличение производства и расширение внутреннего рынка как путь к рассасыванию безработицы и выходу из кризиса органически связывалась Де Маном с планом реформаторских мер, предназначенных воздействовать на фундаментальную структуру экономической и политической власти.

Речь идет, следовательно, не только о требовании политики расширения занятости и повышения «покупательной способности» масс, — требовании, на базе которого постепенно объединяется большинство в рядах социалистических партий¹¹⁰. Более того, следует уточнить, что симпатии Де Мана

¹⁰⁷ L. Blum. *Au delà du réformisme*; Id. *Appel à une bataille de classe*; Id. *Le Plan du travail et le parti français*; Id. „Plan“ et programme; Id. *Les grandes lignes du Plan du travail*; Id. *La résorption du chômage*; Id. *Le sens véritable du Plan du travail*; Id. *Le secteur privé*; Id. *Socialisation et socialisme*; Id. *Socialisation par étapes*. — In: „Le populaire“, 1, 4, 5, 17, 18, 19, 21, 25, 26 janvier, 15 février 1934.

¹⁰⁸ См.: *De Man H. L'idée du socialisme*, cit., p. 480—493.

¹⁰⁹ См. выступление Де Мана на съезде Бельгийской рабочей партии в декабре 1933 года, опубликованное в приложении к цит.: *De Man H. L'idée du socialisme*.

¹¹⁰ Согласно с этим требованием выразил в 1935—1936 годах и Л. Блюм, причем он даже добился включения его в общую программу Народного фронта, правда, в форме урезанного лозунга «восстановления покупательной способности, сниженной или сокращенной кризисом» (см.: „Le populaire“, 11 février 1936).

к антикризисной инициативе немецких профсоюзных деятелей сопровождаются отнюдь не второстепенными критическими замечаниями. В пережитках иллюзий о «гармоническом» перерастании капитализма в социализм, сохранившихся как в «теории роста покупательной способности масс», так и в тарновском образе рабочего движения, склоняющегося в роли врача у изголовья капитализма, содержится, на взгляд Де Мана, опасность недооценки масштабов кризиса и сужение фронта тех социальных сил, которые могли бы поддержать проект антикапиталистического программирования¹¹¹. Движущие мотивы развития экономики и перераспределения доходов не могут быть совмещены в сколько-нибудь реалистической перспективе, если сама эта перспектива не подчинена цели структурных преобразований, в рамки которых и вписывается конъюнктурная политика.

Так обрисовывается радикализация тематики программирования в сравнении с проектами, оформившимися в кульминационной фазе кризиса Веймарской республики. Управляемая экономика — промежуточная цель бельгийского Плана труда и соответствующего плана французской ВКТ — призвана увязать меры по оздоровлению экономики с общей перестройкой соотношения сил и взаимосвязей между экономикой и политикой. «Если мы предложили эти реформы, влекущие за собой глубокие структурные изменения, — писала в 1934 году группа бельгийских планистов из руководимого Де Маном Бюро социальных исследований, — то сделали это не ради «удовольствия» реализовать некоторые пункты программы социалистов. Мы сделали это потому, что иначе экономическое оздоровление страны продолжало бы затрудняться теми же обстоятельствами, которые делали его невозможным до сегодняшнего дня: слишком дорогим и плохо управляемым кредитом, что объясняется частной монополией крупных банков; плутократическим характером дефляционистской политики, проводимой правительством, которое находится в вассальной зависимости от крупного финансового

¹¹¹ *De Man H. L'idée socialiste, cit., p. 502*: «Лишь лозунги, радикально направленные не только против симптомов кризиса, но и против системы производства и классового господства капитализма как таковых, еще могут при нынешнем положении привести в движение массовые силы, требуемые для хотя бы частичного их осуществления. Упорствовать в стремлении лечить большой капитализм, в то время как сомнения относительно будущего капитализма и отчаяние распространяются все больше и за пределы рабочего класса, означает отречься от этих сил в пользу иллюзий. Вместо этого следовало бы признать и откровенно сказать рабочему классу, что все паллиативы, с помощью которых пытаются «вылечить» экономику без ниспровержения системы собственности и способа производства (достаточно вспомнить, например, программы, авторы которых намерены обеспечить расширение занятости без обеспечения рынков сбыта для продукта, произведенного этим дополнительным трудом), представляют собой попытки, наверняка обреченные на провал».

капитала; отсутствием экономического руководства, обусловленным дуализмом экономической и политической власти и мощным влиянием могущественных финансовых группировок на государственную власть»¹¹².

Главные трудности, на которые в фазе подготовки Народного фронта натолкнулись профсоюзные и интеллигентские течения французской социал-демократии в своих попытках превратить план ВКТ в партийную программу, возникли прежде всего в силу того обстоятельства, что «структурные реформы» предопределяли такую правительственную политику, которая сознательно нацеливалась на некую промежуточную стадию между капитализмом и социализмом. В силу этого контакт между специфической традицией французского профсоюзного движения разрабатывать в критических конъюнктурных ситуациях конкретные экономические планы (как, например, план реконструкции ВКТ 1919 года)¹¹³ и наиболее новаторскими течениями социалистической партии, в которых порой — как, скажем, в течении «*Révolution constructive*» («Конструктивной революции») — первоначально бытовали всеохватывающе мифические концепции «планизма», был установлен на почве, чуждой традициям большинства СФИО. План структурных реформ был близок к тому, чтобы завоевать на свою сторону большинство партии на Тулузском съезде в 1934 году, но произошло это благодаря блокированию на позициях профсоюза совершенно разнородных компонентов: уже упоминавшейся группы Ж. Лефрана — главного единомышленника Де Мана во Франции, марксистского течения Л. Лорá («Комба марксист»), объединения революционно-синдикалистского толка «Ом реель» под руководством А. Дофен-Менье, некоторых троцкистских кружков, а также ряда представителей интеллигенции христианской формации, вроде А. Филипа, уже с 20-х годов ориентировавшихся на позиции Де Мана¹¹⁴. Если возможно было в этом

¹¹² „Bureau d'études sociales. L'exécution du Plan du travail“. Paris, 1935, p. 41—42.

¹¹³ На этот прецедент открыто ссылается секретарь ВКТ Л. Жуо в своем докладе на съезде французской профсоюзной конфедерации в сентябре 1935 года, окончательно одобдившем план. См.: „Ce qu'est le Plan“. Paris, 1935; A. Philip. *Traedunionisme et syndicalisme*. Paris, 1936.

¹¹⁴ См.: P. Boivin, G. Lefranc, M. Deixonne. *Révolution constructive*. Paris, 1932. Эта публикация представляет собой своего рода учредительный манифест идейного течения в социалистической партии и профсоюзе, которое в дальнейшем, в частности, путем опубликования бельгийского Плана труда и других документов международного планистского движения в своем журнале «*Кайе де революсьон конструктив*», завоеует решающее влияние в рядах французского планизма. Об истории выработки и принятия профсоюзного плана во Франции, а также о сложностях внутрипартийной политической борьбы, приведшей к объединению различных «планистских» течений на Тулузском съезде 1934 года, см.: G. Lefranc. *La courante planiste*, cit; J. Amoyal. *Les origines syndicalistes*, cit. Что касается А. Филипа, то здесь необходимо напомнить о непростом пу-

случае вывести общий знаменатель, то он заключался лишь в «отрицательной» величине — антигедистской и антиэтатистской традиции определенной части французского социалистического движения. Что касается левого крыла СФИО, возглавлявшегося М. Пивером и Жиромским, то его враждебное или прохладное отношение к планистам, без сомнения, было обусловлено первоочередностью выдвигавшегося им требования единства с коммунистической партией, которая цепко держалась за свою принципиальную критику программы структурных реформ и ориентировалась на ограничение назревшей уже необходимости в единой платформе левых сил исключительно экономическими требованиями и лозунгами защиты демократии¹¹⁵. Позиция Блюма приобретала в этих условиях определяющее значение.

Привходящие политические обстоятельства (в 1933—1934 годах это были раскольнические действия правого крыла социалистов-националистов, а в последующий период — сложные отношения с радикалами и коммунистами), бесспорно, воздействовали на изменения позиции большинства французской социалистической партии и ее руководства. Но в критике Леона Блюма в адрес планизма наряду с отражением этих изменений курса можно различить и основополагающие идеи, которые остаются неизменными во всех его выступлениях: от первых комментариев на страницах «Попюлер» в 1934 году и речи на Тулузском съезде в том же году до статей 1935 года, выражающих пусть неуверенное и противоречивое, но все же согласие с курсом экономической политики, направленным на оживление народного хозяйства даже ценой определенного возрождения инфляции¹¹⁶. В первой фазе Блюм всецело разделяет классический тезис о невозможности политической программы проведения социализаций до завоевания государства: структурные реформы, следовательно, возможны только после взятия власти и не могут заменить собой борьбы за политику перераспределения

ти, пройденном им от широко известной книги о рабочей проблеме в США (A. Philip. *Le problème ouvrier aux Etats Unis*. Paris, 1927) к очерку о Де Мане (Id. H. De Man et la crise doctrinale du socialisme. Paris, 1928), а затем к слиянию с течением Лефрана и завоеванию главенствующей роли в международном планистском движении (на Международной конференции о планах труда в 1936 году Филип был докладчиком на тему «Национализация кредита»).

¹¹⁵ См. целиком посвященный Народному фронту выпуск: „Le mouvement social“, 1966, № 54. Dir. par A. Kriegel; J. Lefranc. *Histoire du Front populaire 1934—1938*. Paris, 1965.

¹¹⁶ L. Blum. *Le problème du pouvoir et le fascisme*; Id. *Conquête, exercice et occupation du pouvoir*; Id. *Occupation du pouvoir et Front populaire*; Id. *Le Front populaire et la déflation*; Id. *Le Front populaire et la lutte contre la crise*; Id. *La socialisation et les socialisations*; Id. *Socialisation et nationalisation*; Id. *Les nationalisations et le programme du Front populaire*; Id. *La nationalisation et la souveraineté populaire*. — In: „Le populaire“, 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12 juillet, 4 août 1935.

доходов и смятение последствий кризиса — единственные реально достижимые цели при капиталистическом строе¹¹⁷. Затем, под напором планистских настроений ВКТ, которой в 1935 году под руководством Л. Жуо и в рамках унитарного процесса удалось добиться одобрения Плана труда также коммунистическим течением в профсоюзе, Блюм вводит элемент разграничения между социализацией и национализацией отдельных отраслей; эта последняя характеризуется как мера, осуществимая в русле экономической политики правительства левых сил¹¹⁸. Но и в этом случае указанные меры трактовались как средства рационализации форм управления капиталистической экономикой; меры временного и оборонительного характера, но не как «командные рычаги» для направления экономики в сторону промежуточной фазы между капитализмом и социализмом: такая фаза, по мысли Блюма, могла бы разрешиться лишь установлением авторитарной формы отношений между политикой и экономикой. Общим достоянием исторической науки давно уже стал вывод о том, что теоретическая ортодоксия и принципы экономического либерализма, которые, по сути дела, вместе с Блюмом разделяли и другие участники Народного фронта, явились отнюдь не второстепенными причинами роковых колебаний экономической политики правительств в 1936—1938 годах и что отсутствие политики программирования капиталовложений сыграло важную роль в устойчиво сохранявшемся разрыве между доводами хозяйствования и доводами социальной справедливости¹¹⁹.

Иной смысл в лозунг национализации кредитных учреждений, транспорта, энергетических предприятий и основных отраслей промышленности вкладывали социалисты-планисты. Это с очевидностью явствует не только из той настойчивости, с какой французские планисты, и в частности Лефран, автор Плана труда ВКТ 1935 года, проводили различие между огосударствлением и национализацией (предполагающей контроль над управлением со стороны трудящихся, потребителей и представителей государства)¹²⁰, но в особенности из другого обстоятельства. Оно становится понятным, если принять во

¹¹⁷ См. статьи Л. Блюма в «Попюлер» за январь 1934 года, указанные в прим. 107.

¹¹⁸ См.: *L. Blum. La socialisation et les socialisations*, cit.; *Id. Socialisation et nationalisation*, cit.; *Id. Les nationalisations et le programme du Front populaire*, cit.

¹¹⁹ По поводу этой оценки опыта правительств Блюма см.: *H. W. Arndt. Gli insegnamenti economici*, cit., p. 225 sgg.; *M. Kalecki. Sul capitalismo contemporaneo*, cit.

¹²⁰ По вопросу об этих институциональных изменениях, а также по другим проблемам, поставленным в повестку дня перспективной осуществления Плана труда, в 1935 году по инициативе ВКТ был издан сборник работ, включающих, в частности: *G. Lefranc. Le mouvement ouvrier devant le corporatisme*; *R. Lacoste. La réforme de l'Etat*. — In: *Institut supérieur ouvrier. Crise et plan*. Paris, 1935.

внимание концепцию отношений между собственностью и контролем над ней, лежащую в основе Плана труда Де Мана и выраженную в нем более отчетливо, нежели в формулировках того же времени, принадлежащих Лорá и самому Коулу. «Суть национализации, — заявлял Де Ман, — состоит не столько в передаче собственности, сколько в передаче властвования, или, точнее, проблема управления предшествует проблеме собственности и изменения режима собственности зависят от изменений режима управленческих полномочий, продиктованного управляемой экономикой»¹²¹.

Вместе с тем речь шла не о формах контроля вообще, как это явствует из политической полемики Де Мана против мер консервативного бельгийского правительства Тениса, которое решило — по образцу рузвельтовского закона о банках — ввести различия между депозитными и кредитными банками¹²². Все содержание книги «Исполнение Плана труда» подчинено поискам путей и способов направлять потоки кредитования и инвестиций в соответствии с непосредственными и стратегическими целями плана¹²³.

С суровой критикой планизма выступил Политцер на страницах «Кайе дю коммунизм» и ведущий экономист Коминтерна Е. Варга¹²⁴. Эта критика, отчасти совпадающая с сутью возражений Блюма, отражала фазу политического паралича Коминтерна, на протяжении которой, как критически отметил сам Тольятти в 1934 году¹²⁵, преобладала тенденция

¹²¹ *De Man H. Les thèses de Pontigny.* — In: Id. *L'idée socialiste*, cit., p. 532—533.

¹²² *De Man H. Après l'échec du Plan du capital viendra la victoire du Plan du travail.* — In: „Le peuple“, 12 septembre 1934.

¹²³ „Bureau d'études sociales. L'exécution du Plan du travail“, cit., p. 41 sgg.

¹²⁴ *E. Varga. H. De Man et son Plan.* Paris, 1934. На тезис Варги о практической невозможности использовать почву программирования и контроля до завоевания всей полноты политической власти Де Ман отвечает серией статей в «Пёпль» в ноябре 1934 года; см.: *De Man H. Marx et Lénine contre Varga*; Id. *Un défenseur communiste de réformisme*; Id. *La portée de la nationalisation*; Id. *Révolte destructive ou révolution constructive?* — In: „Le peuple“, novembre 1934. Значение, придававшееся Де Маном этим выступлениям, вряд ли может быть объяснено влиянием малочисленной Коммунистической партии Бельгии; его следует интерпретировать в перспективе возврата к постановке вопроса о восстановлении единства международного рабочего движения.

¹²⁵ Высказанное П. Тольятти в связи с планом Де Мана критическое замечание по поводу «абстрактности нашей правительственной программы» содержится в его письме Мануильскому, о котором упоминает Э. Раджоньери во Введении к тому 3 Сочинений Тольятти (см.: *P. Togliatti. Opere. 1929—1935*, vol. III). Однако к этой же теме он возвращается также в «Выступлении по тезисам к VII конгрессу КИ» и в «Выступлении на заседании политической комиссии Исполкома КИ. Проблемы единого фронта», которые опубликованы в том же томе. Об изменении коминтерновской оценки плана Де Мана по сравнению с первой оценкой Варги см. доклад Г. Димитрова на VII конгрессе Коминтерна. *F. De Felice. Fascismo, democrazia, fronte popolare.* Bari, 1973, p. 139—140.

«обходить с помощью простой пропаганды» проблему выработки правительственной политики, к чему подталкивала социалистические партии их собственная сила. Тем самым упускались шансы, использование которых могло — и не только в намерениях Де Мана — приблизить конец раскола рабочего движения на две ветви, как то было характерно для 20-х годов; более того — сулило преодоление этого раскола на более передовых рубежах, нежели те, которые будут обозначены опытом Народных фронтов. Впрочем, эта рано обозначившаяся унитарная характеристика движения социалистов-планистов нашла свое выражение и в другом: его представители, и в первую очередь Коул, активно взялись за пробуждение нового интереса левых сил на Западе — в контексте обсуждения, лишенного религиозного трепета перед святыней, — к опыту планирования, разворачивавшегося в тот момент в СССР¹²⁶.

Если оставить в стороне предлагавшиеся Вартой решения, то рациональное зерно его полемики сводилось к критике несоответствия между значением, которое в бельгийском плане придавалось политическому контролю над экономикой, и удельным весом той части этого плана, которая посвящалась переработке тематики институциональных преобразований. Отчетливо трезвое понимание главными представителями движения планизма — от Де Мана до Коула, Лефрана и других — вырождения либеральной демократии, бессилия, продемонстрированного ею перед лицом нарастающего сращивания экономических и социальных интересов в хозяйственной сфере и гражданском обществе, повлекло за собой сложные и противоречивые поиски. В ходе этих изысканий обычно удавалось преодолевать застывшие истины каутскианской ортодоксии и этатизм французских социалистов, но не удалось прийти к выработке курса институциональных реформ, который был бы на высоте новых проблем, порожденных самим утверждением планов.

Важно подчеркнуть, что и в Бельгии и во Франции, особенно по мере того, как конкретной становилась перспектива участия социалистов в правительстве, вызревало сознание решающего значения вопроса о формах управляемой экономики и в особенности об институциональных структурах, в которых закреплялась бы роль трудящихся масс по определению целей и контролю над исполнением плана. Самоуправленческие и гильдейские традиции 10-х и 20-х годов могли подсказать мало что полезного, кроме разве их общей антибюрократической направленности, идеи о принципиальной возможности связать тематику индустриальной демократии с

¹²⁶ См., например, выводы Коула в: *G. Cole. Principles of Economic Planning*, cit.

реформой государства¹²⁷. Однако же перспектива низведения парламента до уровня инстанции, контролирующей новые органы «экономического государства» (советы экономики и т. п.), влекла за собой новые проблемы, связанные прежде всего с опасностью усиления бюрократических и технократических тенденций, коренящихся в самом расширении управленческих задач экономической политики, в осуществлении национализаций¹²⁸. Именно из этого ряда вопросов вырастают размышления о социалистическом корпоративизме¹²⁹.

Де Ман четко дифференцировал свою постановку вопроса от корпоративных теорий католического или фашистского происхождения¹³⁰. Это отмежевание, однако, выглядело не настолько убедительно, чтобы нейтрализовать разногласия (возникшие, кстати, уже на 1-й Международной конференции планистов в Понтины) в тех самых группах французских планистов, которые находились на позициях, наиболее близких к позициям бельгийского социалистического лидера. Даже признавая верность посылок и направлений развития исследований Де Мана, эти группы предпочитали сосредоточивать свои изыскания на теме рабочего контроля на предприятии¹³¹.

В тезисах, представленных в Понтины в сентябре 1934 года, Де Ман набрасывает новую схему институтов «экономического государства»: «Для того чтобы расширение и усиление власти государства, вытекающее из его новой экономической роли, не привело к бюрократическому огосударствлению во внутренней и империализму во внешней политике, необходимо, чтобы новое экономическое государство обзавелось рядом структур, отличающихся от структур старого политического государства. Речь идет о создании корпоративной организации, независимой от национализированных или контролируемых государством предприятий; депарламентариза-

¹²⁷ Наиболее частыми традиционно были отсылки к гильдейскому социализму и фабианскому социализму; об этой главе в истории английского социалистического движения см. в: *E. Grendi. Il socialismo gildista nella storia del laburismo*. — In: „*Rivista storica del socialismo*“, 1961, № 12. Частыми были также отсылки к Э. Вандервельде и особенно его книге (см.: *E. Vandervelde. Le socialisme contre l'Etat*. Bruxelles, 1918), а в некоторых случаях — к французским планистам, Сорелю и Прудону.

¹²⁸ *De Man H. La limite de la nationalisation*. — In: „*Le peuple*“, 15 novembre 1933.

¹²⁹ Серия статей Де Мана об институциональной проблематике была издана в виде сборника: *De Man H. Corporatisme et socialisme*. Bruxelles, 1934.

¹³⁰ Возражения Спирито на этот счет вращаются в особенности вокруг тезиса о невозможности примирить между собой профсоюзную свободу, политическую демократию и корпоративизм. См.: *U. Spirito. Il piano De Man e l'economia mista*, cit.

¹³¹ Помимо доклада Лефрана, опубликованного в: *AA. VV. Crisi e piano*, cit., следует упомянуть его доклад о рабочем контроле на Международной конференции в Понтины в 1937 году.

ции процедур контроля, пересмотре доктрины о властях и т. д.»¹³².

Социалистический корпоративизм определяется, таким образом, как новое опосредование между государственным вмешательством в экономику и правлением масс, причем с помощью таких решений, которые — учитывая характерные черты выдвигающего эти решения движения — призваны гарантировать условия активной народной поддержки. Изысканию такой возможности служит проект «преобразования государства путем включения в него новых институций, выступающих как бы продолжением организаций профсоюзного и кооперативного движений»¹³³. С одной стороны, у гильдейского социализма заимствуется антицентралистская идея максимального соответствия организации трудящихся растущему разнообразию их интересов и множественности их профессиональных статусов и ролей; с другой — рассматривается возможность присвоения роли «институтов публичного права» подобным корпоративным организациям и другим представительством интересов, которым исполнительной властью делегируется «осуществление права на управление»¹³⁴.

Однако переход от успехов антикризисной и антифашистской политики бельгийских коалиционных правительств к проектировавшимся структурным реформам так и не состоялся. Этот несовершенный шаг (объяснявшийся также сложившимся соотношением сил на внутривнутриполитической сцене и усиливавшейся международной изоляцией Бельгии) вызвал прогрессирующий развал социального блока, поддерживавшего план. Примечательно, что наряду с угрозой нового усиления движения фашистов-рексистов в 1936 году вновь поднялась волна экономических забастовок рабочего класса, которой суждено было придать корпоративистской тематике отпечаток авторитарной жесткости. Но уловить весь смысл проблематики, вызванной сомнительными тезисами социалистического корпоративизма, невозможно, если упустить из виду общую картину происходившего в это время переосмысления функций промежуточных институтов, или инстанций, в современном государстве, и в особенности если не учитывать формы опосредования между новой экономической политикой и институциональным компромиссом, созданные в те же годы скандинавской социал-демократией.

5. Политика программирования в Швеции

Только в Скандинавских странах социалистическое движение продемонстрировало свою способность претворить в

¹³² *De Man H.* Les thèses de Pontigny, cit., p. 533.

¹³³ *De Man H.* Le corporatisme socialiste contre l'étatisme. — In: „Le Peuple“, 19 septembre 1934.

¹³⁴ См.: *Ibid.*; „Les thèses de Pontigny“, cit.

правительственную политику программу борьбы с кризисом и безработицей и в то же самое время найти самостоятельное и долгосрочное решение проблемы взаимоотношений между экономическим развитием и институциональной системой. Масштабы новаторства в отношениях между политикой и экономикой в этих странах стали предметом обширной дискуссии историко-критического характера, участники которой имели возможность расширить свой анализ за счет многочисленных проблем и сомнений, возникавших за более чем сорокалетний срок правления социал-демократов. Тем самым предотвращалось обращение к апологетическим критериям или к анализу, подчиненному исключительно выяснению соответствия или несоответствия данного опыта «конечной цели» социалистов¹³⁵. Так или иначе, широким кругом исследователей признано, что в 30-е годы в этих странах был выработан сознательный и исторически действенный ответ на кризис экономики «свободного рынка» и политического либерализма, которые и в Скандинавии на протяжении предшествующих десятилетий служили непреодолимым рубежом для социал-демократической традиции, а также пределом, дальше которого не шел опыт эпизодического участия социалистов в правительствах после первой мировой войны.

Волна политического новаторства охватывает все три Скандинавские страны: присутствие социал-демократов в правительстве приобретает определяющий характер сначала в Дании (1929), потом в Швеции (1932) и, наконец, в Норвегии (1935). В Швеции в большей мере, чем в других странах, этот поворот не исчерпывается одними лишь прагматическими соображениями. Его питают также результаты напряженного поиска, осуществляемого социалистической и марксистской теоретической мыслью, которая не отказывается от творческих контактов с таким оригинальным и самостоятельным направлением пересмотра классической экономической теории, какое воплотила в себе Стокгольмская школа¹³⁶. Политико-теоретические произведения Эрнста Виг-

¹³⁵ См.: *H. Tingsten. The Swedish Socialdemocrats: their Ideological Development. Totawa, (New York), 1973*, а также материалы конференции историков в Упсале в 1974 году, опубликованные в книге: „*Krisen och Krispolitik i Norden under Mellankrigstiden*“ («Кризис и антикризисная политика в Северных странах между двумя войнами»). Uppsala, 1974. Особого внимания заслуживают тексты С. Бекмана, Бу Густафсона, Й. Бьоргрума, К. Богefeldта, Й. Калелы. См. также появившиеся в последние годы мемуары непосредственных участников поворота 1932 года: *E. Wigforss. Minnen. Stockholm, 1954*; *G. Myrdal. Controcorrente. Realtà di oggi e teorie di ieri. Bari, 1975*.

¹³⁶ В рассматриваемое нами десятилетие Стокгольмскую экономическую школу, которая родилась из критики экономических учений классиков и неоклассиков, развернутой на рубеже нового столетия Кнутом Викселем, представляли прежде всего Г. Мюрдаль, Б. Улин и Э. Линдаль. Об истории оформления теоретического облика школы и развитии

форса, Гуннара Мюрдаля, Густава Мёллера в годы между великим кризисом и второй мировой войной служила не только становым хребтом новой конъюнктурной политики, обладавшей неповторимыми чертами в сравнении с аналогичными экспериментами того же времени в других странах (включая рузвельтовский «новый курс»): она приобретала значение долгосрочного ответа на вопрос, так и не разрешенный социалистической мыслью, относительно форм и этапов социализации в национальных рамках. Если оставить в стороне формулы, вроде «Middle Way», или «третий путь», кстати не случайно присваиваемые «скандинавской модели» с 30-х годов¹³⁷, то можно сказать, что деятельность шведских социалистов выступает как процесс проверки практикой укоренившихся в истории европейского социалистического движения убеждений и критической оценки отнюдь не второстепенных компонентов идеологии марксизма II Интернационала. Однако, вместо того чтобы телеологически рассматривать этот опыт в свете поисков пути к социализму на Западе, полезным может оказаться аналитический подход к нему как к лаборатории политико-правительственной «эффективности» определенной части социалистической теоретической мысли в период между двумя войнами.

Хотя поворот 1932 года в Швеции и был облегчен благоприятными обстоятельствами разного рода, по своему значению он не может, разумеется, измеряться при помощи конъюнктурных критериев. До сих пор историки ведут спор о том, до какой степени успех социал-демократического кабинета Ханссона был обусловлен такими факторами, как удачное положение Швеции на международном рынке и крупное расширение экспорта в результате девальвации кроны в 1931 году, вскоре же после отказа Великобритании от золотого стандарта. Кроме того, в политическом плане в качестве фактора стабильности выступила готовность Крестьянского союза (Bondeförbundet) поддержать партийную коалицию с участием социал-демократов, следствием чего явилось также введение сильного фактора размежевания в блок умеренных¹³⁸. К тому же исторический анализ в должной степени выявил

ю основных установок новой экономической политики см.: *O. Steiger. Studien zur Entstehung der neuen Wirtschaftslehre in Schweden. Eine Anti-Kritik.* Berlin, 1971.

¹³⁷ См. монографический выпуск анналов Американской академии политических и социальных наук 1938 года под редакцией Б. Улина, специально посвященный Швеции и содержащий статьи всех главных представителей «нового курса» *B. Ohlin.* (ed.). *Annals of American Academy of Political and Social Science.* 1938, May, № 197.

¹³⁸ Об этих благоприятных обстоятельствах, кстати, отмеченных самим Мюрдалем (см.: *G. Myrdal. Controcorrente*, cit., p. 7—11), см. указанные материалы конференции 1974 года в Упсале, а также: *A. Montgomery. How Sweden Overcame the Depression? (1930—1933).* Stockholm, 1933.

границы прогрессизма социальной и фискальной политики нового правительства. И наконец, было установлено, что действительно резкое сокращение среднегодового числа безработных (в 1937 году оно сократилось почти до одной десятой уровня 1932 года) привело к решению задачи обеспечения полной занятости лишь в годы второй мировой войны¹³⁹.

Как бы то ни было, проводившаяся конъюнктурная политика оказалась достаточно эффективной, чтобы обеспечить в 1936 году дальнейшее усиление позиций партии на выборах и заложить тем самым основы для общей реформы социальной политики и соответствующего институционального уклада. Обрисовалось, таким образом, новое совокупное равновесие системы, которое вряд ли можно было определить с помощью узкоограничительной формулы «социального либерализма», предложенной и настойчиво употреблявшейся частью идейно-политических лидеров партии¹⁴⁰.

Это правда, что Ялмар Брантинг представляет собой в истории шведского социалистического движения первую фазу — превращение социал-демократов в массовую партию, куда более способную, чем ее постоянный союзник, либеральная партия, играть роль главной силы в борьбе за полную политическую демократию и всеобщее избирательное право и пожинать ее плоды в виде роста голосов избирателей (поддержка которых сделалась беспримерно широкой со второго десятилетия XX века). Вместе с тем в основном именно благодаря последующему росту влияния Эрнста Вигфорса¹⁴¹

¹³⁹ Помимо данных, приведенных в приложении к: "Krisen och Krispolitik", cit., см. важный очерк: *Bo Gustafsson. A Perennial of Doctrinal History: Keynes and "the Stockholm School"*. — In: „Economy and History”, 1973, XVI, p. 114—128. Иного мнения о результатах, достигнутых в 30-е годы, и о решающей роли, которую целенаправленные меры экономической политики социал-демократов сыграли по сравнению со стихийным воздействием мирового рынка, придерживается в своем очерке министр по социальным вопросам Г. Мёллер (см. *G. Möller. The Unemployment Policy*. — In: "Annals of American Academy of Political and Social Science", 1938, № 197).

¹⁴⁰ Такой взгляд на шведский опыт представляет главным образом Б. Ули, что не в последнюю очередь объясняется большим родством его воззрений со взглядами Дж. М. Кейнса. См.: *B. Ohlin. Economic Planning in Sweden*. — In: "Annals of American Academy of Political and Social Science", cit., а также его важный очерк 1933 года: *B. Ohlin. Till Frågan om Penningsteoriens upplägning*.

¹⁴¹ Об историческом пути шведской социал-демократии в первые десятилетия ее существования см. очерк: *H. Tingsten. The Swedish Social-democrats*, cit.: *A. Cottino. Socialdemocrazia scandinava*. — In: "Storia d'Europa", Firenze, 1980, vol. III, p. 1080—1116; *J. Lindhagen Socialdemokratiens Program e Bolsevikstriden*. Stockholm, 1972, vol. 2. Главные работы Вигфорса, опубликованные в период укрепления его гегемонии в партии, см. в: *E. Wigforss Den Ekonomiska Krisen*. Stockholm, 1931; см. также его статьи в партийной печати, позже собранные в: *E. Wigforss. Fran Klasskamp till Samverkan*. Stockholm, 1941 («От классовой борьбы к сотрудничеству»). Идейную биографию Вигфорса

была поставлена ключевая проблема отношения между организованным рабочим движением и управлением экономической и государством.

Поворот 1932 года — это не только итог сдвига в соотношении политических сил. В числе условий, вызвавших его к жизни, были также ревизия марксизма II Интернационалом и разработка программного проекта, способного связать рабочее движение с наиболее передовыми исследованиями в области экономической политики¹⁴².

Было бы ошибкой рассматривать развитие социалистической мысли в Швеции от начала столетия до межвоенного периода просто как процесс вытеснения марксизма во имя голого эмпиризма. Новая позиция шведской социал-демократической партии вырастает из принципиального выбора в пользу приближения к социализму через промежуточные этапы, объем и границы которых сознательно определяются заранее.

У истоков этого выбора лежит, таким образом, критика предшествующих трактовок о соотношении между капиталистическим развитием и строительством социализма. Разрыв исторического союза с либеральной партией является в этом смысле одновременно освобождением от прошлого подчинения экономической ортодоксии — ставка на дефляционистские меры и обеспечение полной свободы рынка, — совместимой в глазах большинства остальных рабочих партий Европы с эволюционистским вариантом марксизма. Именно такое истолкование марксизма находится в центре критических выступлений Э. Вигфорса: от работы 1908 года о материалистическом понимании истории до политэкономических работ 30—40-х годов¹⁴³ и послевоенных публикаций, в которых идейно-теоретические размышления сочетаются с воспоминаниями.

Вигфорс прошел длительный путь идейно-теоретического созревания, одним из основополагающих (хотя и не исчерпывающих всего) моментов в котором были *Bernstein-Debate*. Результатом этой эволюции явился радикальный разрыв с понятием «экономической необходимости» и опровержение

см. в очерке: *T. Tilton. A Swedish Road to Socialism*. — In: "American Political Science Review", June 1979, № 73.

¹⁴² Особенно важными в этом отношении являются как предвыборная программа шведской социал-демократии 1932 года, составленная Э. Вигфорсом, так и работы по вопросам экономики. См.: "Ha vi Råd att arbeta?" («В состоянии ли мы обеспечить людей работой?»). Stockholm, 1932; "Sparsamhet och hushållning" («Сбережения и экономика»). Stockholm, 1933; Mac-Millan Rapporten. Stockholm, 1931.

¹⁴³ *E. Wigforss. Materialistik Historieuppfattning. Industriell Demokrati*. Stockholm, 1970. В этот том вошли работа 1908 года и очерк об индустриальной демократии 1922 года, несущий на себе отпечаток влияния английского гильдейского социализма.

теории кризисов и связанной с ней теории общественных классов. Аналогично Де Ману, Вигфорс считает, что социализм не может рассматриваться как внутренне предопределенный законами капитализма: этот последний создает лишь предварительные условия для перехода к социализму, лишь его историческую возможность. «Нам не следует дожидаться экономической катастрофы или полной концентрации и социализации средств производства, чтобы взять власть и начать работу по реорганизации общества»¹⁴⁴, — заявляет он, явно отстраняясь от обоих полюсов классического противопоставления ортодоксии и ревизионизма, то есть теории краха и эволюционистской интерпретации организованного капитализма. Другие его высказывания еще больше подтверждают, что у истоков политического развития шведского социализма лежит не столько отказ от марксизма как инструмента критического анализа существующего общественного строя, сколько ревизия механистического фидеизма, составлявшего содержание набора расхожих истин марксизма II Интернационала и теперь, после первой мировой войны, воспроизводившегося в новых формах: теории катастрофы и неозволюционизма.

Вигфорс вводит в этот контекст собственную трактовку вопроса о соотношении между реформами и качественными характеристиками преобразования. В одной из работ, предвосхищающих некоторые направления предпринятой им ревизии марксизма, он пишет: «Ревизионизм, который мне может быть приписан, отчасти является критикой того, что может быть названо экономическим детерминизмом, а отчасти — убеждением, что более высокий материальный и культурный уровень рабочего класса может стать не препятствием, а, наоборот, стимулом к социалистическому преобразованию общества. Если во всем этом уделено мало внимания такому роду развития к будущему обществу, которое может произойти без радикальной перемены капиталистического основания права собственности, то это сделано потому, что подобная идея открыто отвергается»¹⁴⁵.

Даже при очевидной ограниченности этого не до конца сформулированного теоретического положения здесь важно подчеркнуть презвие понимание того, что практическим экзаменом для теоретической мысли социалистов все больше становилась способность реализовать обновление целей социалистического движения (чему в большей мере способствует ссылка на эгалитаризм Тауни)¹⁴⁶ в конкретном проекте социализации. Таким образом, выдвинутое в 1926 году понятие «временной утопии» заключается в подготовке рабочей

¹⁴⁴ Ibid., p. 92, 173.

¹⁴⁵ Ibid., p. 8.

¹⁴⁶ R. H. Tawney. Equality. London, 1931.

гипотезы, способной сплавить идеологию и политику в единую концепцию, с открытым забралом вступающую в полемику с голым прагматизмом.

Концептуальная схема политики рабочего движения, ставящей целью разрешение проблем цикла развития и кризиса капитализма, намечена даже не в Гётеборгской партийной программе 1919 года, важной, но традиционно реформистской по своим установкам. В значительно большей мере она определяется в 30-е годы, когда в отличие от установок реформизма и социальной политики предшествующего десятилетия вырисовывается социал-демократическая правительственная политика, которая стремится не столько к исправлению капитализма — путем утверждения чаяний идеала справедливости и равенства, но в рамках экономического механизма, в основе своей остающегося нетронутым, — сколько к сдвигу в соотношении сил между капитализмом и социализмом, рассчитанному на продолжительную фазу развития. Вырабатывается идея политического соглашения (для характеристики которого использовалось, в частности, и выражение «исторический компромисс»¹⁴⁷) между рабочим движением и национальным капитализмом, по которому первое, используя затруднительное конъюнктурное положение второго, вводит изменения в отношения между политикой и экономикой, выражающие вес и влияние объединенной и организованной массы трудящихся. Политико-организационная мощь левых сил Швеции образует основную предпосылку поворота и в свою очередь черпает дополнительную силу из целей правительственной политики.

Преодоление ограниченной политики пособий по безработице, которое представило чрезвычайные трудности для социал-демократического движения Веймарской республики и вообще Европы, в Швеции обернулось мощным фактором социально-политического сплочения трудящихся и устранения назревших было разногласий между профсоюзом (ЦОПШ) и социал-демократической партией¹⁴⁸. Но замысел политики общественных работ, отличающихся большим количественным размахом, децентрализованным инвестированием и наймом, финансированием с помощью дефицита государственного бюджета, отчасти восполняемого путем подчеркнуто прогрессивного налогообложения, включает в себя также другой элемент, которому — в силу его органичности и определенности — суждено будет длительное время служить основой самостоятельности шведского опыта, в частности, и на международной арене. Этот элемент состоит в сотрудничестве

¹⁴⁷ W. Korpi. The Working Class in Welfare Capitalism. London, 1978.

¹⁴⁸ Об этом см. в: N. Unga. Socialdemokratin och arbetslöshetsfrågan 1912—1913. Kristianstad, 1976 («Социал-демократия и проблема безработицы в 1912—1913 годах»).

ве с самыми молодыми из деятелей Стокгольмской школы, как уже в те времена именовали центр теоретических исследований и выработки экономической политики, сложившийся вокруг К. Викселя и его идей ¹⁴⁹.

Закон о бюджете 1933 года и заложенный в нем проект антициклической политики с очевидностью свидетельствовали о сочетании различных политических и вместе с тем теоретических направлений ¹⁵⁰. Вигфорсу и парламентской фракции социал-демократов удалось заручиться сотрудничеством таких экономистов, как Э. Линдаль, Б. Улин и в особенности Г. Мюрдаль. Уже на протяжении нескольких десятилетий шло вызревание опережавшей свое время критики классической экономической теории, той критики, которая образовала прочную основу новых концепций конъюнктурной политики. Свой вклад в этот процесс внесли Йохансон и другие, но, конечно же, именно Г. Мюрдаль сумел перевести теоретические основания, заложенные в начале столетия Вихселем, на язык антикризисной политики социал-демократов ¹⁵¹. В самом деле, радикальная критика закона Сэя о гармонии между производством и спросом на макроэкономическом уровне наряду с динамичным переосмыслением теории равновесия вновь обретают актуальность и яркое подтверждение именно в проблемах, поставленных великим кризисом, в продемонстрированном кризисом банкротстве рыночных автоматизмов и ухищрений дефляционной политики. Оспаривание ортодоксии фритредерской политэкономии, все еще преобладавшей в Швеции (Г. Кассель), смыкается с обсуждением проблем, обозначенных в социалистической программе 1928 года и в особенности с идеологической разработкой Вигфорса. Из сотрудничества рождается гипотеза политики стимулирования экономического роста, которая, пользуясь рычагом государственных расходов и их воздействия — через механизм мультипликатора — на частные капиталовложения и всю экономическую активность в целом, приведет к рассасыванию безработицы и выходу из кризиса даже ценой дефицита государственного бюджета. Мюрдаль полагал, что переход от социальной политики иждивенческого толка 20-х годов к

¹⁴⁹ См.: *O. Steiger. Studien zur Entstehung, cit., S. 63—73.*

¹⁵⁰ Интенсивный обмен мнениями между политическим руководством Вигфорса и экономистами Стокгольмской школы приводит к составлению первого бюджета нового правительства. В специальном приложении к бюджету Мюрдаль опубликовал работу, дающую проекту финансового закона теоретическое обоснование. См.: "Konjunktur och offentlig hushållning. En utredning". Stockholm, 1933.

¹⁵¹ Из работ К. Вихселя (1851—1926) следует упомянуть: *K. Wicksell. Geldzins und Güterpreise. Jena, 1898; Id. Vorlesungen über Nationalökonomie auf Grundlage des Marginalprinzips. Jena, 1913. vol. 2.* Не следует забывать о влиянии его политического радикализма на молодых экономистов.

новой социально-экономической политике может и должен основываться на заинтересованности рабочих в полном использовании национальных производительных сил и контроле над их развитием. Известно, кроме того, что именно в эти годы получает развитие его анализ проблемы взаимовлияния технических способов и ценностей, его критика безоценочных концепций как в теоретическом исследовании, так и в прогнозировании¹⁵². Подобная позиция вовсе не приводит его к марксизму прежде всего потому, что в расхожих утверждениях детерминизма он видит ту же телеологическую схему, что и в «гармонии» ревнителей свободы рынка — хорошо известную мишень его научной полемики¹⁵³.

Таким образом, если рассматривать позиции Э. Вигфорса и Г. Мюрдаля в рамках более широкой картины поисков неинфляционной экономической политики, которые велись в те годы в левом лагере Европы, то станет ясно, что как один, так и другой основываются на анализе кризиса как кризиса от недопотребления (а не от диспропорций, как у Гильфердинга). Но исходя из этого, они не приходят просто к принятию «теории покупательной способности», подчеркивающей экономическую заинтересованность капиталистов в восстановлении гармонической пропорции между производством и потреблением посредством увеличения массы заработной платы и возобновления роста платежеспособного спроса¹⁵⁴. Сознательное вмешательство социал-демократического правительства в господство экономики замышляется на иной основе: с помощью ряда государственных предпринимательских начинаний, главной целью которых — по крайней мере в первой фазе — является изменение общей структуры инвестиций и качественное изменение распределения доходов¹⁵⁵.

В заключение тщательного разбора характерных черт кризиса в книге «Экономический кризис» (1931) Э. Вигфорс делает упор прежде всего на принципиальной предпосылке, отличающей государственное предпринимательство, причем упор настолько настоятельный, что в конечном счете практически приходит к выдвигению иного критерия производительности системы: «Эта дополняющая предпринимательская деятельность государства уже сама по себе содержит критику экономической организации, основанной на частной инициативе, которая демонстрирует собственную неспособность

¹⁵² См.: G. Myrdal. L'elemento politico nello sviluppo della teoria economica. 2a ed. Firenze, 1981 (1-е шведское издание вышло в 1930 году). См. также очерки начала 30-х годов, объединенные в сборнике: G. Myrdal. Il valore nella teoria sociale. Torino, 1966.

¹⁵³ G. Myrdal. Socialpolitikens dilemma I e II. — In: "Spectrum", 1932, 1933.

¹⁵⁴ См. выше § 3, прим. 55 (с. 443).

¹⁵⁵ См.: G. Myrdal. Konjunktur..., cit.; G. e A. Myrdal. Kris i befolkningsfrågan. Stockholm, 1934.

использовать имеющиеся производительные силы. Эта критика поражает самую сердцевину капиталистической системы, когда отвергает подсчет прибылей и потерь частных предпринимателей в качестве критерия для определения того, что следует считать рентабельным с точки зрения всего общества»¹⁵⁶.

Вигфорс тем самым придает новому курсу идеологическую структуру и политическую основу. Сдвиг на выборах 1932 года имел своим главным стержнем идею-лозунг о возможности в краткий срок покончить с безработицей с помощью вмешательства государства¹⁵⁷. В своих идеологически наиболее заостренных работах Вигфорс пытается интерпретировать сложившуюся ситуацию как исторический шанс на воссоединение реального движения трудящихся с теоретической программой. В момент, когда шведская социал-демократическая партия оказывается в преддверии своего сорокалетнего управления страной, он утверждает «принципиальное» различие между капитализмом и социализмом. Великие темы полной занятости, обеспечиваемой с помощью общественных работ, которые распространяются на все отрасли экономики и оплачиваются по рыночным ценам, и программирования развития производства трактуются им как историческое воплощение социалистического выбора, как почва «универсальной гегемонии» шведской социал-демократии.

На долю Мюрдаля выпало теоретически обосновать — в тексте приложения к государственному бюджету 1933 года — эффективность принятых решений или по крайней мере выгоды конъюнктурной политики стимулирования экономической активности «с самой финансовой точки зрения», то есть в такой области, которая, как было сказано, не рассматривалась как безоценочная. Речь шла о том, чтобы убедить публику, что новая политика способна обеспечить накопления вместо предшествующих расширенных расходов на пособия по безработице как форму иждивенческих выплат, стимулирующее воздействие на предпринимательскую деятельность вообще и соответствующую возможность увеличения объема налоговых поступлений¹⁵⁸. Тем самым обрисовывалась возможность примирения социальной справедливости и экономического развития. Закладывались основы политики гармонизации и обоюдной функционализации этих двух категорий, прежде рассматривавшихся как чуждые, если не взаимно исключающие друг друга. И социалистическое движение, пришедшее к власти, выступало гарантом и инициатором такой совместимости. Но на базе каких производственных отноше-

¹⁵⁶ E. Wigforss. Den ekonomiska Krisen, cit., p. 120.

¹⁵⁷ Id. Ha vi råd att arbeta?, cit.

¹⁵⁸ G. Myrdal. Konjunktur... cit., особенно главы IV и V.

ний, отношений собственности устанавливалось указанное согласие?

Не только в работах Вигфорса, но и в работах Мюрдаля часто фигурирует термин «планирование» (*planushälling*), под которым подразумевается, что государство само расширяет деятельность обобщественного сектора экономики и вмешивается в принятие решений по хозяйственным вопросам, что ранее возлагалось на автоматические механизмы рыночного регулирования. Но общепризнано, что при этом не намечается никакой формы централизованного планирования либо какого-то вида индикативного планирования капиталистических секторов экономики¹⁵⁹. Отодвигание на задний план — на протяжении определенной фазы — цели социально-политического контроля над производственным развитием составляет важную (и оставшуюся на длительный срок неизменной) черту шведского исторического компромисса между рабочим движением и капитализмом. В отличие от того, что предусматривалось Планом труда Бельгийской рабочей партии, достижение политического соглашения относительно программы оживления экономики даже ценой некоторой инфляции отделялось от проведения структурных реформ.

Проблема тем самым не снимается. Более того — намечается своего рода членение целей в ходе сменяющих друг друга фаз. Так, Мюрдаль определяет поворот, осуществленный в 30-е годы, как «эгалитарную социализацию распределения». Проектируется и с немалым успехом осуществляется огромный рост социального потребления и ликвидация безработицы. Внушительный эффект перераспределения дохода был и в самом деле связан не только с политической общественной работ, но и с последующими мерами фискальной политики, с крупными социальными реформами. После выхода в 1934 году знаменитой работы Гуннара и Алвы Мюрдаля «Кризис и проблема народонаселения» эти реформы рассматривались как определяющая цель того, что их последователи назовут «функциональным социализмом»¹⁶⁰.

Следовательно, фактом является то, что единственный опыт социализации, с успехом проведенный в 30-е годы партией марксистской формации, на протяжении определенной фазы радикально дистанцировался от одного из кардинальных аспектов учения Маркса — критики капиталистического способа производства — и сопровождался отодвиганием на задний план вопроса о собственности на средства производ-

¹⁵⁹ См. об этом в: *O. Steiger. Studien zur Entstehung*, cit., S. 153; *A. Lindbeck. La politica economica svedese*. Napoli, 1976; *Buci Glucksmann—Therborn. Le défi socialdemocrate*, cit.

¹⁶⁰ См.: *G. Adler-Karlsson. Funktionaler Sozialismus*. Einlgt. G. Myrdal. Düsseldorf, 1973; Malmö, 1972.

ства и контроля над ними. Но это побуждает поставить вопрос о различии между шведской моделью социализма и получающими в дальнейшем развитие различными вариантами кейнсианской политики.

В самом деле, можно считать установленным, что за шведскими социалистами и экономистами Стокгольмской школы повсеместно признается роль наиболее проницательных предвосхитителей тех теоретических тезисов и практических рекомендаций, которые в 1936 году предстали в полностью рационализированном и систематизированном виде в «Общей теории занятости, процента и денег» Дж. Кейнса. Очевидным, кроме того, выглядит их отличие от других, некейнсианских или докейнсианских течений, выступивших на европейской и вообще западной сцене в указанное десятилетие: к уже упомянутой «теории покупательной способности» здесь можно добавить расплывчато антимонополистическую тематику Пигу, против которого Мюрдаль выдвинул принципиально важные критические доводы¹⁶¹. Выше уже приводились некоторые свидетельства, позволяющие судить о самобытном пути поисков, который привел шведских социалистов к их решениям 30-х годов, даже при том, что, как можно проследить по документам, очевидное влияние на их дискуссии оказали работы Кейнса до 1936 года: от «Конца laissez faire», «Трактата о деньгах» и других, менее значительных публикаций до знаменитого «Внимания к процветанию» 1933 года¹⁶².

Вопрос между тем заключается в другом. Можно ли утверждать, что в шведском опыте в рамках общей тенденции к проведению кейнсианской политики демократического типа (до и особенно после второй мировой войны) возможно различить принципиальные признаки, отчетливо характеризующие проведение социалистической партией самостоятельного курса в экономической политике? Или же различительные моменты относятся исключительно к историческому генезису и не связаны, следовательно, с введением структурных изменений и субъективных факторов, обуславливающих перспективу общественного развития как таковую?

Можно утверждать, что масштабное манипулирование совокупным спросом, характеризующее с 30-х годов швед-

¹⁶¹ G. Myrdal. Controcorrente, cit., p. 7; Id. Il valore nella teoria sociale, cit., p. 252.

¹⁶² О различных толкованиях этого вопроса см. в: Gustafsson. A Perennial of Doctrinal History, cit. В отличие от О. Штайгера (O. Steiger, op. cit.) Густафссон соглашается с К. Лаудгреном, который в своей книге «„Новая экономика“ в Швеции» выдвигает тезис о влиянии идей Кейнса на антикризисную программу шведских социал-демократов, в особенности через «Желтую книгу» — плод труда группы либеральных английских экономистов, увидевшую свет в 1928 году (см.: K. G. Laudgren. Den "nya ekonomin" i Sverige).

скую модель, совпадает в конечном счете с теми добавлениями и поправками, которые левое крыло кейнсианцев вносит в основную теоретическую модель Кейнса, первоначально рассчитанную лишь на количественное определение внутреннего спроса. Вместе с тем, по-видимому, тип институционального компромисса, составляющего дополнение к повороту в экономической политике, совершенному социал-демократическим правительством, представляет собой нечто куда большее, чем просто вариант, даже при том, что инициаторы этого поворота долгое время не придавали ему того характера промежуточной фазы на пути к более передовым рубежам, какой приписывала ему идеология их партии¹⁶³.

Сальтшёбаденское соглашение 1938 года между профсоюзами и Союзом предпринимателей на многие десятилетия вперед определило условия договора между социалистическим движением и шведским капитализмом¹⁶⁴. Профсоюз, по этим условиям, признает главенство капиталистических полномочий на предприятии — в соответствии с решением партии не вмешиваться в принятие предпринимателем решений, связанных с процессом накопления. С другой стороны, за главной профсоюзной конфедерацией институционально признается монополия на представительство трудящихся масс и централизацию коллективно-договорной деятельности — предпосылки к дальнейшему усилению ЦОПШ, тем более поразительному в сравнении с уровнями синдикализации других стран. Важно подчеркнуть, что государство не фигурирует в качестве одного из прямых участников соглашения, но ограничивается тем, что санкционирует этот корпоративный компромисс между двумя социальными сторонами. В этом смысле можно утверждать, что речь идет о некой социальной форме корпоративизма¹⁶⁵. Социал-демократический характер подобных актов содержится главным образом в том импульсе, который может быть придан консолидацией рабочих организаций, укреплению их единства и усилением их влияния на общественную жизнь и государственные институты, осуществлению «эгалитарной социализации потребления», социальным реформам и программированию рынка труда.

Но подобное социал-демократическое преломление «политических результатов полной занятости» может продол-

¹⁶³ Помимо цитированной книги В. Корпи (см.: *W. Korpi. The Working Class*, cit.), см. журнал: "Acta Sociologica", 1978, № 21, в котором опубликованы материалы конгресса на тему о «Северном государстве благоденствия»; см. в особенности выступления С. Кунле и Г. Терборна.

¹⁶⁴ Сальтшёбаденское соглашение см. в: "Berättelse över Lo i Seenge". Stockholm, 1938, p. 324—331.

¹⁶⁵ По поводу этой оценки см.: *P. C. Schmitter. Still the Century of Corporatism?* — In: "Trends toward Corporatist Intermediation" [P. C. Schmitter, G. Lehmbruch (Edts.)]. London—Beverly Hills, 1979.

жаться лишь при двух условиях: чтобы капиталистическое развитие в рамках новых институциональных условий шло в таких формах, которые бы не противоречили чересчур явным образом новой социальной политике, превращая ее в традиционный сизифов труд, и чтобы контроль партии над профсоюзами, а профсоюзов над рабочим классом мог опираться на смягчение с помощью перераспределительных выгод тех противоречий, которые вновь и вновь возникают при капиталистическом способе производства, — противоречий, самостоятельное проявление которых длительное время находится под законодательным запретом.

Эрик Хобсбом

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И АНТИФАШИЗМ

1. Проникновение марксизма в среду интеллигенции

Между 1930-м и 1940-м годами марксизм приобрел заметное влияние среди интеллигенции Западной Европы и англосаксонских стран. Он уже давно пользовался значительным авторитетом в Восточной Европе и некоторых районах Центральной Европы¹; к тому же, само собой разумеется, русская революция оказала притягательное воздействие на многочисленных социалистов или приверженцев иных бунтарских и революционных течений на Западе. Тем не менее вопреки расхожему мнению тот тип марксизма, который взял верх после спада революционной волны 1917—1920 годов, то есть марксизм Коммунистического Интернационала, не обладал большим притяжением для западной интеллигенции, особенно буржуазного происхождения. Более привлекательными в ее глазах выглядели некоторые диссидентские марксистские группы, в частности троцкисты, настолько, впрочем, малочисленные в сравнении с крупными коммунистическими партиями, что практически они представляли собой величину, которой можно было пренебречь. Многие компартии на Западе носили преимущественно пролетарский характер, и «буржуазная» интеллигенция в их рядах зачастую оказывалась на неполноправном положении, что было для нее не всегда приятным². Кроме того, эти партии, особенно после «большевизации»³, намеренно подчеркивали руководящую роль рабочих. В отличие от партий II Интернационала в коммунистических партиях — если исключить партии некоторых слаборазвитых или колониальных стран — лишь очень немногие из главных руководителей принадлежали к

¹ См.: *E. J. Hobsbawm. La cultura europea e il marxismo fra Otto Novecento.* — In: *Storia del marxismo*, vol. 2, p. 59—106.

² Например, 95% членов Коммунистической партии Германии имели только начальное образование и только 1% — высшее (*H. Weber. Die Wandlung der deutschen Kommunismus. Frankfurt am Main, 1969, vol. II, S. 29*). О положении интеллигенции в явно пролетарской по составу и к тому же подпольной партии см.: *G. Amendola. Un'isola. Milane, 1980.* (русский перевод: Дж. Анендола. Выбор на всю жизнь. Воспоминания. М., Политиздат, 1983).

³ См.: *M. Hájek. La bolscevizzazione dei partiti comunisti.* — In: *Storia del marxismo*, vol. 3/1, p. 439—486.

интеллигенции: обычно эти партии избегали наделять интеллигентов руководящими должностями; и хотя они высоко ценили принадлежность к партии наиболее знаменитых из них, но отводили им функции иного рода. Таким образом, приток интеллигенции в ряды этих партий в 30-е годы был новым явлением. Так, на съезде Коммунистической партии Великобритании в 1938 году почти 15% делегатов составляли студенты или лица свободных профессий⁴.

Проникновение марксизма в среду интеллигенции в этих странах было новшеством также в силу автохтонного характера этого явления. Значение политической эмиграции для распространения идей социализма, и в особенности марксизма, в эпоху II Интернационала уже изучено исследователями⁵, а 30-е годы, к сожалению, стали временем новой массовой эмиграции по политическим причинам. Воздействие этих эмигрантов на интеллектуальную жизнь стран, оказавших им приют, было, несомненно, глубоким в Англии и особенно в Соединенных Штатах и, вероятно, несколько меньшим во Франции, но на обращение молодого поколения интеллигенции к марксизму (а она поворачивалась в этом направлении повсюду на Западе) это обстоятельство повлияло лишь в ограниченной степени. Возможно, это объяснялось тем, что вариант марксизма, к которому потянулось подавляющее большинство из них, связывался с ростом коммунистических партий и развитием СССР; он получил распространение совсем незадолго до этого благодаря переводу «классиков» (теперь в их число входили также Ленин и Сталин, не говоря уже о Плеханове) на иностранные языки. Иначе говоря, возник стандартизированный международный вариант марксизма, наиболее систематизированным изложением которого явился параграф «О диалектическом и историческом материализме» в «Кратком курсе истории ВКП(б)», опубликованном в 1938 году. Ясно, что коммунисты, вынужденно покинувшие свои страны, не несли с собой и, разумеется, не пропагандировали публично идеи, которые, как они знали, могли бы противоречить этой официальной трактовке. Неортодоксальные марксисты или сочувствующие марксизму могли образовывать лишь сравнительно изолированные группы в той мере, в какой проявлялась их неортодоксальность, но наиболее правоправным коммунистам открыто не возбранялось вступать с ними в контакт, хотя в отношении последователей Троцкого это, напротив, было запрещено.

Имелись еще два фактора, способствовавшие сокращению

⁴ Можно полагать, что состав делегатов съездов не отличался от состава партии в целом (см.: *K. Newton. The Sociology of British Communism. London, 1969, p. 6—7*).

⁵ См.: *G. Haupt. Emigration et diffusion des idées socialistes: l'exemple d'Anna Kuliscioff ("Plurie", 1978, № 14, p. 2—12)*.

влияния диаспоры марксизма в плане привлечения к нему интеллигенции. Первым была языковая проблема. Оба главных языка, на которых велись первые дискуссии марксистов — немецкий и русский, — были плохо известны или вообще незнакомы Западу⁶. За исключением Соединенных Штатов, ни в одной из западных стран не было сколько-нибудь обширной пубрики, читающей на русском или немецком языках и одновременно проявляющей интерес к литературе левого толка. Поэтому даже авторы, приемлемые для ортодоксальных коммунистов, были доступны западному читателю только в переводах. Но переводов было мало. Первый сборник очерков Лукача вышел на английском языке в 1950 году; даже такие основополагающие труды, как работы молодого Маркса, вышедшие в свет в 1932 году, стали известны во Франции лишь благодаря двум или трем лицам, которые смогли прочесть их по-немецки, да и то с большим опозданием. И тем не менее переводы приобретали огромное значение, как о том свидетельствует сенсация, вызванная среди английских ученых статьей Б. Гессена о Ньютоне⁷.

Вторым фактором явилось все большее замыкание национальных обществ в обстановке притока изгнанников. Эмигранты, по политическим или иным мотивам бежавшие из гитлеровской Германии, конечно, находили приют на Западе, но приют этот предоставлялся неохотно, если не считать более гостеприимного отношения к ним в Соединенных Штатах. И эмигранты, за исключением отдельных случаев, так и не смогли интегрироваться в местное общество, оставаясь на положении маргинальных и зачастую безвестных фигур⁸. Эволюция западного марксизма происходила, таким образом, независимо от марксистской традиции или марксистских традиций. Вероятно, не случайно первая и во многих отношениях лучшая по сей день работа на английском языке по марксистской экономической теории, охватывающая дискуссии и новые положения периода II Интернационала, была опубликована в Соединенных Штатах, где разграничение между марксизмом (или знанием марксизма) эмигрантов и «новой левой», уже сформировавшейся в стране, было не столь четким⁹.

⁶ Работая над своей первой большой книгой о советской экономике, Морис Дobb вынужден был пользоваться услугами переводчика (см.: *M. Dobb. Russian Economic Development since the Revolution. London, 1928*).

⁷ См.: *M. Ceruti. Il materialismo dialettico e la scienza negli anni '30. — In: Storia del marxismo, vol. 3/II, p. 491—548.*

⁸ Достаточно напомнить, что подобная участь выпала на долю таких авторов, как Карл Корш, Вальтер Бенямин, Карл Полани, Норберт Элиас и другие марксисты и немарксисты.

⁹ *P. M. Sweezy. The Theory of Capitalist Development. New York, 1942 (trad. it.: Torino, 1951).*

Проникновение марксизма представляло собой, таким образом, парадоксальное явление: в той мере, в какой в каждой стране оно происходило автономно от внешних воздействий (не считая влияния официального коммунизма), марксизм выступал в качестве национального, а не импортированного продукта. Но именно по этой причине распространение марксизма в то время носило в подавляющем большинстве случаев единообразный и стандартизированный характер. Вместе с тем такое единообразие не могло скрыть явственной тенденции к изоляции интеллигенции в рядах местных коммунистических партий — в противоположность как периоду II Интернационала, так и эпохе после 1960 года, когда интеллектуальный марксизм стал международным явлением. Объяснялось это отчасти централизованной структурой и дисциплиной Коммунистического Интернационала, а отчасти все более «официальным» характером публикаций, исходивших от Коминтерна и СССР, что, впрочем, оказывало свое действие — по крайней мере до 1948 года — довольно избирательным образом. Международные коммунистические журналы, издававшиеся на многих языках и несколько различавшиеся между собой по содержанию в зависимости от региона, для которого они предназначались (такие, например, как «Интернационале прессе-корреспондент»), занимались почти исключительно актуальными политическими проблемами и помещали статьи, написанные главным образом политическими руководителями или теми, кого можно было бы квалифицировать как штатных публицистов-международников коммунистического движения. В 30-е годы ни на одном языке не было журнала, который мог бы сравниться с «Нойе цайт»¹⁰. Вследствие этого журналы идейно-теоретического и общекультурного плана — как марксистские, так и промарксистские, — которые в разных западных странах начали издаваться в конце 30-х годов, возглавлялись главным образом интеллигентами, не обладавшими политическим авторитетом, и не вызывали сколько-нибудь заметного международного резонанса за пределами тех стран, где говорили на языке данного журнала, несмотря даже на то, что некоторые из этих изданий имели международные контакты. Тем самым в областях, где не существовало единой международной «линии» по каким-то особым вопросам или где обязательность «линии» не получала соответствующей

¹⁰ См. *Storia del marxismo*, vol. 3, t. 1/II, p. 411—419. Единственное издание, обладавшее кое-какими чертами международного дискуссионно-теоретического органа — журнал «Unter dem Banner des Marxismus» («Под знаменем марксизма»), перестал выходить в середине 30-х годов и к тому же к концу своей деятельности все больше стал ассимилироваться советской ортодоксией. Кроме того, он выпускался только на немецком и русском языках.

огласки, парадоксальным образом открывался простор для дискуссий о местных особенностях и национальных вариантах развития. Интенсивно шло, как мы увидим, такое независимое марксистское теоретизирование (например, в Англии — по вопросам естествознания или литературы), которое в дальнейшем, в ждановский период, было отчасти принесено в жертву навязанной и всеохватывающей ортодоксии. Во всяком случае, практически в каждой стране (или в области культуры), где марксизм официально не был под запретом, происходило приспособление установившейся интернациональной модели к местным условиям, причем подобный ход дел был облегчен изменением международной линии Коминтерна после 1934 года.

Лишь применительно к одной области можно говорить об истинном интернационализме левой интеллигенции, и показательно, что речь идет о литературе и искусстве. Связь этой интеллигенции с политикой левых сил объяснялась не столько теоретическим осмыслением, сколько страстной ангажированностью тех, кто непосредственно участвовал в политических битвах тех лет или их пропагандировал. Прочный союз между искусством и левым лагерем установился в период первой мировой войны¹¹, однако в его основе лежала неортодоксальная марксистская теория. Напротив, лишь в области культуры мы встречаем подлинное сопротивление навязываемой ортодоксии, причем в него включаются и интеллигентно-коммунисты. Не многие коммунисты решились открыто оспаривать «социалистический реализм», сделавшийся с 1934 года официальной советской линией в литературе и искусстве, хотя немаловажно то обстоятельство, что споры о так называемом модернизме так никогда и не прекращались полностью, а неортодоксальные участники этих споров открыто не капитулировали. Брехт, например, не сдался Лукачу. Предпринимались, однако, и искренние попытки положительно оценить советские произведения 30-х годов с умалчиванием о том, что никак не могло вызывать восхищения (особенно в области живописи и скульптуры); при этом по-настоящему глубокое восхищение вызывало большей частью то, что еще оставалось в советском искусстве и советской литературе от эпохи 20-х годов. Очень мало кто был готов открыто выступить против официальной критики, нацеленной на наиболее именитых лидеров «модернистского» художественного движения, но еще меньше было таких, кто (по крайней мере в частном порядке) согласился бы перестать ценить Джойса, Матисса или Пикассо, даже искренне ратуя за стили, близкие «социа-

¹¹ См.: *J. Willet. Arte e rivoluzione.* — In: *Storia del marxismo*, vol. 3/1, p. 789—818.

листическому реализму»¹². Джаз не встречал одобрения со стороны официальной ортодоксии, но в англосаксонском мире его самые страстные и активные поклонники, его поборники и защитники насчитывали в своих рядах непропорционально большое число членов коммунистических партий или сочувствующих им.

Таким образом, независимо от страны происхождения, интеллектуалы-марксисты, не обособившиеся от общества, стремились участвовать в жизни левой интернациональной культуры, которая привлекла к себе многочисленных писателей и художников, отождествлявших себя с коммунистическим движением или по меньшей мере ощущавших нравственную обязанность участвовать в антифашистской борьбе: Мальро, Силоне, Брехта (хотя в те годы он был еще не очень знаменит), Гарсиа Лорку, Дос Пассоса, Эйзенштейна, Пикассо и др.¹³ Коммунистические партии могли включить в этот круг также группу писателей, более или менее официально числившихся коммунистами или «прогрессистами»: Барбюса, Роллана, Горького, Андерсена Нексе, Драйзера и др. Они почти наверняка могли также рассчитывать на имена некоторых крупнейших представителей наиболее рафинированной международной культуры (если только речь не шла о тех из них, кто тяготел к реакции и фашизму), а именно таких писателей, как Джойс и Пруст, крупнейших живописцев (особенно французских) начала XX века, выдающихся архитекторов «модернистского» направления, знаменитых русских режиссеров и Чарли Чаплина. Новизна обстановки в 30-е годы заключалась не столько в существовании подобной международной культуры, которая, с безразличием относясь к национальному происхождению своих носителей, вербовала их в самых различных странах (в действительности же главным образом во Франции, Америке, на Британских островах, в России, Германии и Испании), сколько в ее тесных связях с левой политической ориентацией¹⁴. Конечно, речь идет не о какой-то специфически марксистской культуре, но роль, которую сыграло в ней активное марксистское меньшинство, практически говоря коммунисты, с точки зрения придания

¹² См. казуистическое рассуждение Радека: «Необходимо ли учиться у крупных художников вроде Пруста умению набрасывать, зарисовывать самые мелкие эмоции человека? Проблема не в этом. Проблема в том, чтобы установить, должны ли мы идти своим собственным путем и должны ли указывать нам этот путь иностранные эксперименты» (*Problems of Soviet Literature*. Moscow, 1935, p. 151).

¹³ Своеобразный анализ литературы этого типа дан в книге: *J. Lehmann. New Writing in Europe*. Harmondsworth, 1940.

¹⁴ Убедительный набросок этой культурно-политической атмосферы содержится в книге: *J. M. Richards. Autobiography of an Unjust Fella*. London, 1980, p. 119—120 (ее автор в те годы руководил в Англии журналом «Архитекчурал ревью»).

ей совершенно определенного направления была, без сомнения, основополагающей¹⁵.

2. Угроза фашизма и защита мира

Радикализация интеллигенции в 30-е годы явилась, в сущности, ответом на кризис, потрясший капитализм в начале десятилетия. Непосредственные истоки этой радикализации, по крайней мере применительно к самому молодому поколению интеллигенции тех лет, следует искать в Великой депрессии 1929—1933 годов. В Англии, например, первые конкретные признаки возросшего интереса интеллигенции к марксизму и коммунистической партии были отмечены в 1931 году, когда исторический и диалектический материализм сделался предметом обсуждения в университетских кругах и в группах студентов-коммунистов, образовавшихся кое-где (например, в Кембриджском университете) после долгих лет спячки. То, что волновало не только немногочисленную коммунистическую или потенциально коммунистическую интеллигенцию, но и значительно более широкие слои населения, заключалось не в одной лишь глобальной катастрофе капиталистической экономики, трагически проявившейся в виде массовой безработицы и уничтожения излишков пшеницы и кофе в то время, как люди страдали от голода, но и в том, что Советский Союз, по всей видимости, оказался недостижим для кризиса. Одним из наиболее концентрированных примеров, в которых выразилась эта фаза процесса, явилось сенсационное обращение в новую веру старейших поборников социал-демократического градуализма, основателей фабианского движения Сиднея и Беатрисы Вебб. Они объявили, что разделяют «Марксову теорию исторического развития капитализма, основывающегося на прибыли», и, даже продолжая сохранять дистанцию по отношению к английской компартии, потратили немало сил в последние годы жизни на восторженное освещение советской действительности¹⁶.

¹⁵ Например, Международная ассоциация художников в Британии, во главе которой стояли коммунисты (1933—1939), организовала немало выставок — обычно они назывались «Художники против фашизма и войны» или наподобие этого — художников академического направления, конструктивистов, кубистов, сюрреалистов, социальных реалистов и постимпрессионистов, а также новейшего немецкого искусства, французских мастеров (Громер, Леже, Лот, Цадкин и др.). В то же время сами члены этой ассоциации относились преимущественно к числу реалистов, но находившихся под влиянием мексиканского искусства (Риверы, Ороско) и американского (Гроппера, Бена Шана) в значительно большей мере, нежели советского. См.: *T. Rickaby. The Artists' International*. — In: "History Workshop", 1978, autumn, № 6, p. 154—168.

¹⁶ См.: *S. Webb, B. Webb. Soviet Communism: a New Civilisation*. London, 1935; *B. Webb. Our Partnership*. London, 1948, p. 489—491.

Если контраст между кризисом капитализма и плановой индустриализацией в стране социализма подтолкнул некоторых представителей западной интеллигенции к марксизму, то триумф Гитлера — очевидное политическое следствие кризиса — привел еще большее их число к антифашизму. После установления национал-социалистского режима в Германии антифашизм сделался центральным узлом политики по трем причинам. Во-первых, сам по себе фашизм, прежде рассматривавшийся главным образом как движение, связанное с итальянской действительностью, превратился в главное международное направление деятельности правых сил. Во многих странах возникли и расплодились политические движения фашистского толка, решившие воспользоваться престижем и могуществом двух крупных европейских государств, оказавшихся теперь под властью фашистского режима. Другие движения воинствующей реакции примыкали к внутреннему фашизму, искали поддержку у закордонных фашистов, а в успехах международного фашизма, особенно германского, видели по меньшей мере оплот в борьбе с левым лагерем в собственных странах. В ходу у них была поговорка: «Лучше Гитлер, чем Леон Блюм». Естественно, у левых возникла тенденция отождествлять все эти движения с фашизмом или профашистскими течениями и подчеркивать их связи с Берлином или Римом. Подобно коммунизму для правых, фашизм для левых в каждой стране стал уже не просто проблемой отношений с иностранными государствами, но собственной внутриполитической опасностью. В силу международного характера и связей фашизма эта угроза оказывалась тем большей и, по-видимому, тем более конкретной, чем большую поддержку он получал от двух крупных европейских держав. Невозможно понять волну международной солидарности, поднявшуюся в 1936 году в поддержку республиканской Испании, если не учитывать распространенного тогда убеждения, что сражения, разыгрывавшиеся в этой расположенной на окраине Европы и малоизвестной тогда стране, представляли собой в самом прямом смысле слова сражения за будущее Франции, Англии, Соединенных Штатов, Италии.

Во-вторых, угроза фашизма вовсе не ограничивалась сферой политики. На карту было поставлено — и никто не отдавал себе в этом отчет лучше, чем интеллигенция, — будущее всей цивилизации. Фашизм растаптывал Маркса, но равным образом он растаптывал и Вольтера, и Джона Стюарта Милля. Он отбрасывал либерализм во всех его формах с той же беспощадностью, с какой расправлялся с социализмом и коммунизмом. Он отвергал целиком наследие эпохи Просвещения, а вместе с ним и все типы общественного строя, родившиеся из американской и французской революций, в той же степени, как и строй, созданный революцией в Рос-

сии. Поставленные перед лицом одного и того же врага и одной и той же угрозы уничтожения, коммунисты и либералы неотвратимо подталкивались к встрече в одном лагере. Невозможно понять нежелание людей из левого лагеря критиковать, а зачастую даже признавать в душе то, что происходило в те годы в СССР, как нельзя понять и изоляцию, в которой оказывались те, кто критиковал СССР с левых позиций, если не учитывать царившего тогдашнего убеждения, что в борьбе с фашизмом коммунизм и либерализм сражаются в самом прямом смысле за общее дело. Излишне добавлять — это разумелось само собой, — что и коммунисты и либералы нуждались друг в друге, и к тому же в условиях 30-х годов то, что творил Сталин, как бы чудовищно это ни выглядело, оставалось делом самих русских, между тем как акции Гитлера создавали угрозу для всех. Угроза эта сразу же проявилась в драматическом упразднении конституционного демократического строя в Германии, в создании концлагерей, в сожжении книг, в массовом изгнании или эмиграции политических противников и евреев, включая весь цвет немецкой интеллигенции. Все то, что ранее просматривалось в истории итальянского фашизма лишь как намек, теперь обретало видимость и отчетливость даже в глазах наиболее близоруких.

О важности этого аспекта фашистской угрозы свидетельствовала неспособность нацистской Германии извлечь сколько-нибудь существенную политическую выгоду из своих быстрых и несомненных успехов в области экономики. Устранение безработицы помогло гитлеровской пропаганде в 30-е годы куда меньше, чем это сделала для муссолиниевской пропаганды в 20-е годы фраза о «поездах, которые наконец-то ходят по расписанию». Нацистская Германия со всей очевидностью представляла собой такой режим, для оценки которого были нужны другие критерии, нежели успех в преодолении экономической депрессии.

В-третьих (а это важнейший аргумент), «фашизм означал войну». После 1933 года каждый год происходили события, которые драматически подтверждали этот вывод: нацистский путч в Австрии (1934), война в Эфиопии (1935), оккупация гитлеровскими войсками Рейнской области и война в Испании (1936), вторжение японцев в Китай (1937), аншлюс Австрии и, наконец, Мюнхен (1938). Кошмар повторения мировой войны постоянно преследовал поколения, выросшие после 1918 года. Начиная с 1933 года мало кто считал, что еще долго удастся избегать, однако никто, за исключением самих фашистов и их правительств, не мог без ужаса думать об этой перспективе. Как никогда четкой была в тот период демаркационная линия между агрессорами и обороняющимися; но эта линия была и установилась все более чет-

кой также между теми, кто в нефашистских странах был полон решимости сопротивляться, если необходимо — с оружием в руках, и теми, кто по той или иной причине такой решимостью не обладал. Эта линия не просто отграничивала правых от левых: сторонники сопротивления имелись и среди консерваторов и традиционалистов-патриотов, тогда как пацифистов, людей, готовых идти на компромисс, можно было найти и среди некоммунистических организаций левого лагеря, особенно во Франции и Англии. К тому же поборники сопротивления не требовали войны, а скорее полагали (причем даже после Мюнхена такая идея не выглядела совершенно бессмысленной), что есть достаточная возможность предотвратить катастрофу: для этого следовало создать широкий и мощный фронт государств и народов, исполненных решимости сопротивляться агрессору и способных внушить ему страх перед тем, что в случае необходимости они сумеют нанести ему поражение. Как бы то ни было, по мере того как каждая новая агрессия завершалась успехом, необходимость сопротивления становилась все более очевидной, привлекая в лагерь антифашизма наиболее сознательные силы общества; в дальнейшем война и движение Сопротивления окончательно и бесповоротно внесли ясность в эти вопросы. Пока же, с их постепенным прояснением, антифашизм все теснее сближался с коммунистическим движением, представители которого были не только в теории пионерами сплочения широкого антифашистского фронта для сопротивления агрессору, но и зримо для всех выступали в роли руководителей в конкретной борьбе. И до тех пор пока фашистская опасность, выразившаяся к тому же открыто в мае 1940 года в оккупации обширных районов Европы, сохраняла свою остроту, ничто — даже абсурд¹⁷ внезапной перемены фронта в политике международного коммунистического движения в 1939 году — не могло остановить этой тенденции.

Несмотря на это, однако, процесс смещения интеллигенции и других слоев в сторону антифашизма, а затем на левые и зачастую даже на марксистские позиции был не прямолинейен и не лишен своих проблем, как могло бы показаться на первый взгляд. Выше уже говорилось о поворотах и зигзагах в политике Коминтерна и Советского Союза; здесь же достаточно будет напомнить о запоздалом преодо-

¹⁷ С точки зрения государственных интересов СССР это отнюдь не обязательно представлялось абсурдом; нелепым было другое, а именно предположение, будто интересы мирового коммунистического движения и даже интересы СССР смогут быть полнее удовлетворены, если новая политика будет единообразно навязана всем коммунистическим партиям. Об этом см.: P. Spriano, *Marxismo e storicismo in Togliatti*. — In: *Storia del marxismo*, vol. 3/II, p. 767—812.

лении сектантской стратегии «третьей фазы» и о смене курса на прямо противоположный в 1939—1941 годах. Вместе с тем нужно кратко остановиться и на некоторых других факторах, осложнявших развитие вышеуказанной общей тенденции.

Самый важный из них с глобальной точки зрения обнаружился в зависимых и колониальных странах, где антифашизм вовсе не был таким мотивом, который перекрывал бы любые другие соображения. Это объяснялось тем, что европейский фашизм выглядел там как весьма отдаленный феномен, почти не влиявший на внутривнутриполитическую обстановку (по крайней мере в обширных зонах Латинской Америки), а также тем, что было бы нереалистично отождествлять здесь главного противника или главную опасность с фашизмом. Обе эти причины можно было рассматривать как вместе, так и по отдельности. Тем не менее следует признать, что традиционные правые силы в Латинской Америке (особенно там, где они опирались на поддержку церкви) с готовностью симпатизировали европейским правым, все более склонявшимся к союзу с фашизмом, как это стало особенно заметно во время войны в Испании. Кое-где даже зародились по фашистскому образцу правозэкстремистские течения, вроде синархистов в Мексике и интегралистов Плиниу Салгаду в Бразилии. В этом случае позиции левых сил могли отождествляться и с антифашизмом, если только попытки такого отождествления не предпринимались еще раньше по другим мотивам, например из симпатии к марксистскому антиимпериализму или по причине мощного влияния европейской культуры, а то и в силу непосредственного личного опыта некоторых представителей латиноамериканской интеллигенции. Естественно, фундаментальную роль во всем этом сыграла гражданская война в Испании, особенно повлиявшая на Мексику, Чили и Кубу. В то же время готовность, с какой во многих регионах Латинской Америки в 30-е годы подхватывались идеи и фразеология фашизма — движения, впечатляюще победоносного и весьма популярного на том континенте, откуда Латинская Америка извечно заимствовала свои идеологические моды, — не обязательно характеризовалась теми же чертами, что и в Европе. Увлекаясь подобными внешне привлекательными идеями, местные политики или полные амбиций молодые офицеры тем не менее не могли даже помыслить о том, чтобы вмешаться в жизнь нации путем мобилизации сил рабочего класса на электоральной и профсоюзной основе (как в Аргентине) или вступления в блок с профсоюзами под лозунгами социальной революции (как в Боливии). Возможно, для интеллигенции Латиноамериканского континента это не играло большой роли, но по крайней мере должно было предостерегать от чересчур упро-

щенного переноса европейской схемы расстановки политических сил на Латинскую Америку, тем более что этот континент не был активно вовлечен во вторую мировую войну.

Более сложным было положение в Азии и Африке (в той мере, в какой эта последняя была политически ангажирована). Здесь не было своего фашизма, хотя такая активно антикоммунистическая держава, как Япония, была союзником Германии и Италии, а в Южной Африке симпатии к нацизму выражались влиятельными группами бурской общности. Главным противником борцов с империализмом здесь, самоочевидно, выступали Англия, Франция и Голландия. Разумеется, большая часть светски ориентированной интеллигенции была против европейского фашизма, учитывая его расистское отношение к народам с черной, коричневой или желтой кожей. К тому же в этих странах освободительные движения зачастую находились под влиянием соответствующих движений в метрополиях, то есть под влиянием либеральных и демократических традиций Западной Европы, как это особенно наглядно прослеживается на примере Индийского национального конгресса. Тем не менее для антиимпериалистов логично было принимать на вооружение точку зрения, с давних пор распространенную среди ирландских повстанцев, то есть принцип, по которому «трудности Англии — это надежды Ирландии». Более того, искать помощи у врагов местных колониалистов здесь стало традицией, которая восходила к эпохе до первой мировой войны, когда и ирландские и индийские революционеры (среди этих последних были и такие, кто позже пришел к марксизму) обращались к Германии ради борьбы с Англией. Таким образом, антифашизм, который на первое место выдвигал задачу нанесения поражения Германии, Италии и Японии, а не быстрого освобождения колониальных народов, оказывался в противоречии с инстинктом и политическими расчетами местных антиимпериалистов, за исключением таких особых случаев, как Эфиопия или Китай. Когда война разразилась, вопрос этот перестал быть академическим, хотя он еще за несколько лет до этого начал осложнять местную политическую жизнь (например, в Индокитае). По мере приближения войны ортодоксальные коммунисты¹⁸, ставившие проповедь глобального антифашизма впереди всех других задач, рисковали оказаться (и большей частью оказывались) в политической изоляции, как это случилось на Ближнем Востоке после 1940 года и в Южной и Юго-Восточной Азии в 1942 году. Порой случалось и так, что левая интеллигенция,

¹⁸ Между прочим, Южная и Юго-Восточная Азия были единственными регионами, где неортодоксальный коммунизм сумел добиться широкой опоры в массах, особенно на Цейлоне.

вдохновлявшаяся теориями антифашизма или даже в какой-то мере марксизмом, вступала непосредственно в противоборство с английским империализмом; так было с Джавахарлалом Неру и с большей частью Индийского национального конгресса, а бенгальский деятель Субха Чандра Бос организовал настоящую индийскую освободительную армию под покровительством японцев. Таким же образом подавляющее большинство антиимпериалистов мусульманского Ближнего Востока независимо от их идеологии, без сомнения, придерживалось пронемецкой ориентации. Одним словом, за пределами Европы отношение между интеллигенцией и антифашизмом не согласовывалось и не могло согласоваться с европейской моделью.

Да и у европейского антифашизма были свои сложные аспекты. Прежде всего с началом 30-х годов все яснее становилось, что антифашистский блок должен охватывать не только левых и центр, но и любое лицо, группу, организацию или государство, которые по какой-либо причине готовы были сопротивляться фашизму и фашистским державам. Народные фронты приобрели тенденцию к превращению в «национальные фронты». Признание подобного положения вещей коммунистами усиливало традиционную щепетильность левых, включая и многих представителей левой интеллигенции, которая болезненно воспринимала такие акты, как выступления Тореца с предложением протянуть руку католикам, обращение Французской компартии к образу Жанны д'Арк (неизменному символу крайне правых), инициатива английской компартии в пользу союза с Уинстоном Черчиллем — не менее представительным символом всего реакционного и враждебного рабочему движению. Тем не менее это не создавало чрезмерных трудностей, по меньшей мере до дня освобождения или победы: опасность, исходившая от нацистской Германии, была настолько велика, что оправдывала коалицию вчерашних и завтрашних врагов против угрозы куда более серьезной, нежели их разногласия, особенно когда подобная коалиция не требовала никакого идеологического сближения. Крайне левые, которые были против поддержки Эфиопии в войне с Италией, приводя, и не совсем обосновательно, тот довод, что Хайле Селассие — феодальный император, собирали вокруг себя лишь очень немногих сторонников. В то же время вопрос о том, следует ли проводить стратегию широкого антифашистского единства, в том числе и в ущерб — по крайней мере временно — социалистической революции, вызывал у левого, революционного крыла социалистов, для которых такая революция оставалась реальной целью, весьма глубокие сомнения. Ради необходимой борьбы с фашизмом революционеры должны идти на жертвы; но каковы должны быть эти жертвы? И разве не ло-

гично было предположить, что победа в этой борьбе будет одержана ценой отсрочки революции или даже ценой укрепления нефашистского капитализма? В той мере, в какой революционеры обнаруживали чувствительность к подобной постановке вопроса, они оказывались на позициях, не слишком отличавшихся от позиций антифашистов в колониальных и полуколониальных странах.

Однако большую часть интеллигенции, острее воспринимавшую такую альтернативу, чем масса сторонников левого лагеря в целом, это не очень волновало: разгром фашизма был вопросом жизни или смерти даже для самых пламенных революционеров. Ни марксисты-коммунисты, ни марксисты-диссиденты не считали антифашизм и революцию несовместимыми друг с другом. В кругах коминтерновцев утверждалось — пусть даже с осторожностью, умолчаниями и без большой огласки, — что широкий антифашистский фронт представляет собой возможное стратегическое орудие перехода к социализму. Разумеется, публично подчеркивались главным образом более ограниченные — демократические и оборонительные — аспекты антифашизма, чтобы не напугать антифашистов из числа несоциалистов и, в частности, некоторые буржуазные правительства. Ниже мы увидим, какие недоразумения это вызвало. Радикальные элементы, наоборот, становились на утопическую точку зрения, отрицая существование каких бы то ни было противоречий между антифашизмом и немедленной пролетарской революцией. Даже те из них, кто в отличие от Троцкого, ослепленного враждой к сталинскому Коминтерну, не отвергал с порога антифашистский фронт как бессмысленную измену делу революции, требовали немедленного перехода к восстанию, как только для этого представится удобный момент: в 1936 году — во Франции, в 1944—1945 годах — во Франции и Италии, в 1936 году, разумеется, — в Испании. В тот период, как мы увидим, подобные утопические тезисы не пользовались большой популярностью; можно даже предположить, что именно в этом заключалась причина изоляции и слабого влияния тех, кто, подобно троцкистам или другим группам марксистов-диссидентов, отстаивал эти позиции. Те, кто вел отчаянную борьбу с превосходящими силами фашизма, ставили на первое место потребности текущей борьбы. Если бы фашизм одержал в ней верх, шансы на завтрашнюю — а в Испании и на сегодняшнюю — революцию исчезли бы совершенно.

Логика борьбы способна помочь также в прояснении другой проблемы левого крыла антифашистского движения — пацифизма. В качестве специфической идеологии пацифизм был в значительной мере ограничен рамками англосаксонского мира, где он получил распространение как в рабочем дви-

жении¹⁹, так и — по крайней мере на протяжении определенного периода в 30-х годах — в кругу многочисленных групп либеральной интеллигенции и в рядах куда более широкого движения за всеобщее разоружение, международное взаимопонимание и в поддержку Лиги Наций. Пацифизм в форме прочно укоренившегося эмоционального неприятия войны, страха перед повторением еще одного массового побоища, наподобие первой мировой войны, или (если речь идет о Соединенных Штатах) нежелания быть втянутыми в европейские войны, был очень широко распространен. Ненависть к войне и милитаризму была чертой, свойственной прежде всего тем, кто придерживался левых политических взглядов. Однако фашизм ставил сторонников пацифистских воззрений перед дилеммой, решить которую, не отрекаясь от своих убеждений, могли лишь те, кто искренне верил, что остановить Гитлера способно только пассивное несотрудничество (в поддержку этой позиции обычно приводились в пример Ганди и практика ненасильственного сопротивления в Индии). Но даже среди интеллигенции мало кто верил в это по-настоящему. Отказ сражаться следовательно, косвенно предполагал согласие с дальнейшим существованием фашизма; и в самом деле, многие из наиболее активных пацифистов во Франции кончили тем, что стали коллаборационистами²⁰. Альтернатива же состояла в отречении от пацифизма в пользу решения о том, что сопротивление фашизму оправдывает обращение к оружию. Именно такова была линия, которой следовало большинство антифашистов — сторонников мира, за исключением, разумеется, тех, кто подобно квакерам был связан с пацифизмом религиозными мотивами. В Англии многие молодые интеллигенты, которые в момент начала войны зарегистрировались на призывных пунктах в качестве «противников военной службы по мотивам совести», после июня 1940 года надели военную форму. Движение за отказ от вступления в войну — даже в войну с фашизмом — сохранялось в виде достойной внимания политической силы только там, где оно выступало как «изоляция», то есть в странах вроде Соединенных Штатов, достаточно отдаленных от нацистской Германии, чтобы не воспринимать серьезно угрозу гитлеровского вторжения.

Одним словом, антифашизм в левых европейских кругах возобладал над любыми другими соображениями. И точно так же, как стремление к пролетарскому восстанию нашло немедленное практическое выражение в вербовке добровольцев для защиты республиканской Испании от Франко и фор-

¹⁹ В 1931—1935 годах во главе лейбористской партии Англии стоял пламенный пацифист. (Имеется в виду Дж. Макдональд. — *Прим. ред.*)

²⁰ *P. Org. Les collaborateurs, 1940—1945. Paris, 1976, p. 135—136.*

мировании партизанских отрядов для сопротивления Гитлеру и Муссолини, борьба против войны парадоксальным образом привела к мобилизации интеллигенции на войну с фашизмом. Английские научные работники, многие из которых занимали радикальные позиции в качестве членов и сторонников антивоенной группы, возникшей в Кембриджском кружке ученых, и которые на протяжении большей части 30-х годов активно предупреждали о невозможности действенной защиты от воздушных бомбардировок и отравляющих газов — этого ужасного кошмара, неотвязно преследовавшего поколение, вступившие в жизнь после 1918 года, — превратились в активных научных поборников политики войны. Некоторые из наиболее видных левых радикалов и коммунистов. — Бернал, Холдейн, Блэккетт — поставили на службу войне свои научные исследования, подчинив их целям защиты населения от воздушных бомбардировок. Именно на этой почве установился первый контакт между ними и государственными планирующими органами²¹.

3. Социальное положение левой интеллигенции

До сих пор мы говорили об интеллигенции в целом, и нужно сказать, что среди «общественно активной» ее части мобилизация против фашизма носила впечатляющий характер. В большинстве нефашистских стран лишь немногие из крупных представителей творческой интеллигенции (главным образом литераторы) дали увлечь себя правым политическим организациям и даже фашистам. Но в области изобразительных искусств такие случаи наблюдались крайне редко²², а в сфере науки практически отсутствовали. Так или иначе, речь шла о количественно ничтожном и нетипичном меньшинстве. Более того, в тот период даже некоторые деятели, традиционалистское мировоззрение которых, строго говоря, должно было бы склонять их вправо, не только оказались в окружении ученых-антифашистов (а в иных случаях и марксистов, как это было, скажем, с самым влиятельным из английских литературоведов, Ф. Р. Ливисом), но и сами до своего ухода

²¹ О политических позициях этих ученых и о том пути, который привел их к марксизму, см.: *M. Ceruti. Il materialismo dialettico e la scienza negli anni '30.* — In: *Storia del marxismo*, vol. 3/I, p. 491—548. См. также: *G. Werskey. The Visible College.* London, 1978; *S. Zuckerman. From Apes to Warlords.* London, 1978; *M. Goldsmith. Sage: a Life of J. D. Bernal.* London, 1980.

²² Однако в годы немецкой оккупации европейская литература в целом продемонстрировала большую стойкость перед лицом заигрываний оккупантов, чем изобразительное искусство и театральная мнр. См.: *H. Michel. The Shadow War: Resistance in Europe (1939—1945).* London, 1972, p. 141.

с политической сцены выражали — пусть нерешительно и с большими оговорками — определенное сочувствие к их делу²³.

Во Франции, Англии и Соединенных Штатах мобилизация сил в поддержку Испанской Республики и против фашизма в целом была положительно встречена большинством наиболее видных и талантливых представителей творческой интеллигенции. Среди американских писателей, выступивших в пользу испанских республиканцев, фигурировали (если ограничиться самыми известными именами) Шервуд Андерсон, Стивен Винсент Бенет, Дос Пассос, Драйзер, Фолкнер, Хемингуэй, Арчибальд Маклиш, Эптон Синклер, Джон Стейнбек и Торнтон Уайлдер. В испаноязычном мире республику поддерживали почти все поэты без исключения. Поскольку пропагандистская ценность столь известных имен была очевидна и они усиленно эксплуатировались для организации разного рода собраний, публичных заявлений и манифестаций, эта сторона антифашистской деятельности интеллигенции изучена историками весьма основательно. Некоторые работы на эту тему, по существу, ограничиваются вообще анализом лишь того, что происходило в литературных кругах²⁴.

Антифашизм представителей интеллигенции, уже добившихся солидного положения в обществе или близких к этому, имел большое историческое значение; то же самое можно сказать о притягательном действии, оказанном на них в этот период марксизмом, особенно если речь идет о поколениях, достигших интеллектуальной зрелости в 30—40-е годы. Это проявилось с особой четкостью в тех странах, где, подобно Англии или Соединенным Штатам, марксизм не имел прочных традиций среди интеллигенции (и где диссидентский — преимущественно троцкистский — марксизм привлекал к себе больше интеллигентов, чем в других странах). При нынешнем состоянии исследований нелегко объяснить подобное усиление влияния марксизма на интеллигенцию в какие-то особые периоды, но сам этот факт не вызывает сомнений. Во всяком случае, этим проблема «антифашизм и интеллигенция» отнюдь не исчерпывается, а с некоторых точек зрения, наоборот, даже затрудняется для анализа, поскольку вопрос о социальном облике интеллигентов-антифашистов отодвигается на второй план.

С социальной точки зрения (мы отвлечемся пока от национальных особенностей) западная интеллигенция 30-х годов в целом принадлежала к верхним и средним слоям буржуазии, в которые мог входить и слой «просвещенной буржуазии» (*Bildungsbürgertum*), обязанный своим положением

²³ О политическом направлении его журнала «Скрудитини» см.: F. Mulherne. *The Moment of "Scrutiny"*. London, 1979, II part, chap. II.

²⁴ См., например: A. Garosci. *Gli intellettuali e la guerra di Spagne*. Torino, 1959.

традиции высшего образования, или же представляла собой восходящую группу, составленную выходцами из бедных классов. Максимально упрощая можно сказать, что интеллигенция принадлежала и к тем социальным группам, в которых получение детьми высшего образования — независимо от призвания — рассматривалось как само собой разумеющееся, и к тем, в которых ситуация была совсем иной. Поскольку старые учебные заведения, где можно было продолжить образование после достижения 15—16-летнего возраста, все еще оставались в основном привилегией детей из высших классов, во многих случаях указанные две группы интеллигенции различались не только по социальной принадлежности, но и по своему культурному уровню. Менее четкими были различия в выборе профессии, хотя весьма вероятно, что кадры для наиболее старых и престижных профессий «традиционной интеллигенции» и для наиболее ответственных технических функций «органической интеллигенции» буржуазии рекрутировались из средних и верхних слоев буржуазии, представители которых в предыдущих поколениях, по-видимому, безраздельно господствовали в этих профессиях. В то же время, однако, большая часть интеллигентов — выходцев из менее имущих классов уже не могла по чисто практическим причинам замыкаться во второстепенных сферах просвещения, чиновной бюрократии или религиозного культа, хотя, по всей вероятности, первые две сферы все еще представляли для них самую важную сферу приложения сил на светском поприще. Теперь к тому же все более многочисленными становились другие виды нефизического труда, где могли найти свое призвание интеллигенты в первом поколении, например в области быстро развивающихся средств массовой коммуникации, в сфере услуг, в инженерно-технической и проектировочной работе по найму.

Большая или меньшая четкость разграничительной линии между двумя группами интеллигенции зависела от национальных условий, которые в свою очередь в значительной степени обуславливали политические настроения как всей интеллигенции, так и ее отдельных профессиональных категорий. Например, во Франции преподаватели лицеев и вузов большей частью принадлежали к левому лагерю, между тем как их немецкие коллеги решительно тяготели к правому. Можно заметить к тому же, что почти во всех странах существовало различие между научно-технической интеллигенцией, с одной стороны, и деятелями литературы и искусства, с другой. Их политическая ориентация была, без сомнения, неодинаковой²⁵. Следует, наконец, учитывать особен-

²⁵ См.: "Storia del marxismo", vol. 2, p. 94 sgg.

ности возраста, пола, исторического и национального происхождения. При прочих равных условиях молодежь, вероятно, была настроена более радикально, нежели интеллигенция старших возрастов, хотя этот радикализм совсем не обязательно носил левый характер. Женщины-интеллигентки, как правило, придерживались левых позиций, причем не только потому, что правые по обыкновению враждебно относились к эмансипации женщин, но и потому, что семьи, решавшие дать дочерям высшее образование, принадлежали к либеральному или «прогрессистскому» крылу буржуазии. Что касается национального происхождения, то оно, возможно, было определяющим в тех случаях, когда отдельные этнические группы имели большое число интеллигентов вообще и левых интеллигентов в особенности, как это было, например, среди евреев (их отмечали традиционно сильная тяга к учебе и опыт прямого столкновения с дискриминацией) или валлийцев в Великобритании (народа, практически не имеющего собственной интеллигенции, но сохраняющего систему представлений, в которой наибольшая ценность придается интеллектуально-просветительской работе в области литературы, просвещения и проповедничества). Напротив, ниже среднего, вероятно, была доля интеллигенции в других этнических группах — таких, как эмигранты из Италии и славянских стран в Соединенных Штатах (большей частью выходцы из отсталых социальных слоев, исключительным уделом которых был ручной труд) или негры в той же Северной Америке.

Решающее значение могло, наконец, принадлежать национальной или региональной политической ситуации и традиции. Так, студенчество в Западной и Центральной Европе оставалось в значительной мере чуждым антифашизму и, более того, в большинстве случаев, по-видимому, тяготело к правым — например, в Германии, Австрии или Франции; напротив, в некоторых Балканских странах (особенно в Югославии) восторженное отношение студенчества к коммунизму стало притчей во языцех. Большинство английских и американских студентов были в принципе аполитичны; организованные правые силы не пользовались среди них большим влиянием, между тем как организованные левые почти неизменно брали верх в некоторых университетах и оказывались в ту пору сильнее, чем когда бы то ни было до или после. Студенты-индийцы, без сомнения, в большинстве своем были антиимпериалистами, а бенгальские интеллигенты-националисты отличались, вероятно, наибольшей близостью к левому революционному крылу (то есть — в условиях 30-х годов — к марксизму). Таким образом, никакие недифференцированные обобщения по вопросу об отношении интеллигенции к антифашизму не представляются возможными.

Проблема выбора политической ориентации интеллигентов — выходцев из буржуазии привлекала к себе пристальное внимание, особенно в тех странах, где доступ к интеллектуальным профессиям был открыт преимущественно для лиц из этого социального слоя, а переход от физического труда к умственному был весьма затруднен. Естественно, что, когда Итальянская коммунистическая партия начала привлекать к себе молодое поколение интеллигенции, пополнение шло именно из этой среды. Амендола, Серени и Росси Дориа, пришедшие в ИКП в конце 20-х годов через Неаполитанский университет, принадлежали, возможно, к особо престижному кругу, однако не подлежит сомнению, что сочувствующие коммунистам имелись также среди молсдежи из семейств крупной буржуазии Милана и среди студенчества (в подавляющем большинстве буржуазного) других городов ²⁶.

В Англии молодое поколение крупной буржуазии — выпускники так называемых *public schools* ²⁷ и старых университетов — также вызывало непомерно большое внимание со стороны общественности отчасти в силу своего исключительно высокого культурного уровня (например, группа левых поэтов, включавшая У. Одена, Стивена Спендера, Сесилия Дей-Льюиса и др.), отчасти потому, что в 30-е годы некоторые молодые интеллектуалы-коммунисты оказались настолько преданными своему делу, что сделали тайными советскими агентами (Бёрджес, Маклин, Филби, Блант). Здесь нет смысла подробно разбираться в тех причинах, которые побудили численно незначительное, но весомое меньшинство отпрысков такого прочного и уверенного в себе правящего класса, как правящий класс Англии, обратиться в коммунистическую веру. Вместе с тем нельзя сказать, чтобы вопрос об этом был систематически исследован, если исключить то, что писалось в довольно нехарактерном для данного случая контексте охоты за советскими агентами ²⁸. Вероятно, бо́льшая часть молодых бунтарей пришла к этому, продвинувшись «дальше либерализма» (как гласит заголовок книги, написанной одним из них) ²⁹. Имеется немало примеров традиционно либеральных или «прогрессистских» семей, в которых люди поколений 20—30-х годов становились коммунис-

²⁶ Свидетельства фашистской полиции об этом см.: *G. Amendola. Un'isola*, op. cit., p. 96—97 (см. также: *G. Amendola. Una scelta di vita*. Milano, 1976); *P. Spriano. Storia del Partito comunista italiano*. Torino, 1970, vol. III, p. 194—201.

²⁷ Привилегированные частные средние школы, чаще всего интернаты для детей из состоятельных семей. — *Прим. ред.*

²⁸ См.: *A. Boyle. The Chimate of Treason*. London, 1980, chs. I—IV. О «бунте в школах-интернатах» см.: *E. Romilly, G. Romilly. Out of Bounds*. London, 1935; *P. Toynbee. Friends Apart*. London, 1954.

²⁹ *S. Spender. Forward from Liberalism*. London, 1937.

тами на более или менее длительный срок³⁰; переходы подобного рода встречаются также и в традиционно консервативных семьях с империалистическим мировоззрением (Филби)³¹. Симптомы политической поляризации наблюдались даже среди части традиционалистской аристократии: в семье лорда Ридсдейла две дочери и, кажется, один из сыновей стали фашистами, а третья дочь — коммунисткой, она вышла замуж за племянника Уинстона Черчилля, отправившись воевать в Испанию.

В Соединенных Штатах некоторые молодые отпрыски таких знатных семейств миллионеров Восточного побережья, как Ламонты, Уитни, Стрейты, тоже почувствовали — хотя, несомненно, в меньшей степени — притягательность коммунизма. Возможно, исследование этого аспекта социальной истории других европейских стран выявит — и поможет объяснить — аналогичные процессы, происходившие в иных местах. За пределами Европы, где западное образование было в значительной мере привилегией узкого слоя элиты, пожалуй, менее поразительным выглядел тот факт, что в 30-е годы распространение коммунизма, как, впрочем, и западного либерализма, а также движений, стремившихся к модернизации местной культуры, не выходило за границы социальных слоев и даже отдельных семейств, которые одновременно выполняли и руководящие функции в правительстве, главенствуя в высших кругах данной страны в качестве чиновников колониального строя или в силу иных причин. Именно в этих узких рамках легче всего было рекрутировать самые различные кадры. Из четырех сыновей одного такого семейства в Индии (они все получили образование в Англии, и не где-нибудь, а в Итоне) трое стали коммунистами, причем один — министром, другой — крупным предпринимателем, а третий был назначен верховным главнокомандующим индийской армии.

Как бы то ни было, пример этих элитарных неофитов коммунизма не должен заслонять от нас тот факт, что весьма значительное число студентов — антифашистов и коммунистов (в Англии и Соединенных Штатах их было большинство) — были выпускниками отнюдь не английских привилегированных школ-интернатов или элитарных пригото-

³⁰ Назовем для примера лишь нескольких глав семей, в которых дети избирали этот путь: Эдвард Томпсон (известный поборник свободы Индии), Э. Ф. Кэррит (специалист по философской этике из Оксфорда), Сен-Лоу Стрэчи (главный редактор влиятельного журнала «Спектейтор»), Э. Д. Саймон (реформатор из Манчестера).

³¹ Автор этих строк лично знал студентов-коммунистов, находившихся в близком родстве с влиятельными консервативными политиками и высокопоставленными чиновниками.

тельных школ и университетов «Плющевой лиги» в США³², не говоря уже об интеллигенции, вообще стоявшей в стороне от университетского мира. Учебные и научные заведения вроде Лондонской школы экономических и политических наук или Нью-Йоркского городского колледжа сыграли в истории марксизма в 30-е годы не менее важную роль, чем Йельский или Оксфордский университеты. Среди английских историков-марксистов поколения 30—40-х годов большинство тех, кто в дальнейшем приобрел известность, кончали обычные государственные школы и зачастую были выходцами из провинциальной среды либералов-неконформистов или рабочих (правда, позже многие влились в группы интеллигенции, сформировавшейся в старых университетах Оксфорда и Кембриджа). Во Франции жесткая меритократическая система критериев продвижения по службе привела к тому, что высший слой левой интеллигенции образовали как дети мелких чиновников и учителей начальных школ, так и выходцы из семей с куда более старыми традициями университетского образования и занятия свободными профессиями³³. Одним словом, в странах с прочными устоями либеральной демократии, где фашизм оказывал незначительное влияние на массу средних и средне-низших классов, переход интеллигенции в лагерь антифашизма совершался на относительно широкой основе.

С особой очевидностью это проступает в случае с интеллигенцией, не имевшей университетских дипломов. Известно, что 75 процентов членов английского «Клуба левой книги» («Left Book Club»), который в момент своего расцвета насчитывал 57 тыс. членов и читательскую аудиторию в 250 тыс. человек, были служащие, лица свободных профессий низших категорий и другие работники умственного труда, не связанные с университетским миром³⁴. Эта публика как раз и составила ту массу покупателей дешевых, но высококачественных в интеллектуальном отношении книг, которую привлекло к себе в 30-е годы в Англии издательство «Пенгуин-букс», где главную серию редактировали ученые левых убеждений. Страстные пропагандисты популярной музыки и джаза — а в их числе и в Соединенных Штатах, и в Англии было очень много молодых коммунистов — также являлись выходцами в основном из среды высококвалифицированных ра-

³² The Ivy League (англ.) — четыре старейших привилегированных университета восточных штатов США, где учатся дети высших слоев буржуазии. — *Прим. ред.*

³³ Среди этих *agrégés* (кандидатов наук), которым удалось выдвигаться, можно упомянуть и первого главного редактора журнала «Пансе» Ж. Коньо, и ответственного секретаря редакции этого журнала А. Парро, и историка французской революции А. Собуля.

³⁴ См.: S. Samuels. The Left Book Club. — In: "Journal of Contemporary History"; J. Lewis. The Left Book Club. London, 1970.

бочих, низших слоев инженерно-технических работников и служащих, из средних классов и, разумеется, студенчества³⁵. Быстро развивавшиеся области журналистики, рекламного дела, зрелищных предприятий открывали новые сферы приложения сил как для интеллигенции без университетского образования, так и для представителей университетских кругов, решивших порвать с традицией «делания карьеры» в одной из тех профессиональных областей — на государственной службе или в частном предпринимательстве, — для которых их готовили. Особенно явственно это прослеживалось в таких странах, как Англия и Соединенные Штаты, где доступ в новые сферы деятельности был относительно легким. Так, новые очаги антифашистской активности и левых взглядов формировались в крупных центрах кинопромышленности (в то время кинематограф был главным средством массовой коммуникации) — таких, как Голливуд, — а также в редакциях массовых газет и журналов аполитичного или по крайней мере не открыто реакционного характера³⁶.

Распространение антифашизма не ограничивалось, следовательно, интеллектуальной элитой. В Соединенных Штатах, например, наряду с книготорговцами и работниками разного рода социальных служб, особенно чуткими к влиянию коммунистических идей, антифашизм привлекал к себе и категории, наиболее презируемые элитой — «брюзжащего публициста, терзаемого угрызениями совести голливудского сценариста, плохо оплачиваемого преподавателя колледжа, не имеющего политического опыта ученого, литератора «себе на уме», дантиста с культурными запросами»³⁷. Вот в таких формах и выражался процесс демократизации интеллигенции.

4. «Прогресс» и «революция»

Поскольку антифашизм был куда более широким движением, чем коммунизм, коммунистические партии даже не пытались добиться массового обращения участвовавшей в нем интеллигенции в марксистскую веру, хотя, естественно, черпали потенциальное или реальное интеллектуальное пополнение для своих рядов во все расширяющемся лагере политически ангажированного антифашизма. Глав-

³⁵ См.: *F. Newton. The Jazz Scene. Harmondsworth, 1961, chs. XIII, XIV, append. I.*

³⁶ См.: *J. Starbin. American Communism in Crisis, 1943—1957. Boston, 1972, p. 31.*

³⁷ Автор этого пренебрежительного перечня является Артур Шлезингер-младший, который подвизался сначала в Гарварде, потом в Кембридже и наконец в окружении Дж. Ф. Кеннеди; см.: *A. Schlesinger (jr.) The Age of Roosevelt: The Politics of Upheaval. Boston, 1960, p. 165.*

ная задача состояла в том, чтобы приблизить к себе возможно большее число интеллигентов, особенно тех, кто пользовался значительным авторитетом, вовлечь их в дело антифашизма и борьбы за мир. Разумеется, в обращениях, которые после гитлеровской оккупации Праги подписывали деятели столь разных убеждений (Аратон, Бернанос, Шамсон, Колетт, Геено, Мальро, Маритен, Монтерлан, Жюль Ромен и Шлюмберже), нельзя было допускать чрезмерного упора на идеологические принципы³⁸. В странах с сильными традициями участия интеллигенции в борьбе левых сил от тех, кто вступал в коммунистическую партию, обычно не требовали радикальной перемены идеологических позиций, особенно когда речь шла о достаточно внушительном имени, способном придать партии дополнительный вес. Это было характерно для компартии во Франции, где революционные традиции были сильны, а марксизм весьма слаб. «Лишь в годы Народного фронта, Сопротивления и Освобождения» многие представители левой французской интеллигенции университетского склада (чаще всего это были социалисты), веря в идеалы «добра, прогресса, справедливости, труда, истины... исподволь и постепенно пришли к кровному союзу [с коммунизмом], причем сделали это не потому, что переменили свои давние рационалистские, позитивистские воззрения, а, напротив, именно потому, что остались верны самим себе»³⁹. Еще в конце 40-х годов встречались профессора-коммунисты, которые отказывались признавать себя марксистами, заявляя, что вступили в коммунистическую партию, руководствуясь ее антифашистским прошлым и участием в движении Сопротивления. Следует проводить различие между этим типом интеллигенции и тем (как правило, более молодым) поколением, которое было привлечено к коммунизму марксистской теорией; эти группы интеллигенции получали систематическую марксистскую подготовку в рядах партии или в околопартийных организациях. Не следует забывать, что в 30-е годы предпринимались невиданные прежде систематические усилия на международном уровне для публикации, распространения и изучения трудов «классиков» марксизма. Все это делали коммунисты⁴⁰.

Невозможно тем не менее провести четкую грань между «старой» и «новой» левой интеллигенцией. Если начиная с 1932 года (официально с 1934 года) коммунисты научились выдвигать на первый план то, что у них было общего с либералами и социалистами в борьбе против фашизма, и наследо-

³⁸ См.: *J. Fauvet. Histoire du parti communiste français. Paris, 1964, p. 267—268.*

³⁹ *A. Kriegel. The French Communists. Chicago—London, 1972, p. 175—176.*

⁴⁰ См.: *Storia del marxismo, vol. 1, p. 363 sgg.*

вали прогрессистские традиции буржуазных революций, от которых буржуазия отсеклась, то в свою очередь и «старая» левая интеллигенция устремилась на это общее поприще. Кто был самым пламенным защитником старых истин рационализма, науки и веры в прогресс? Доводы на этот счет, изложенные Жоржем Фридманом в его книге «Кризис прогресса», изданной под эгидой влиятельного журнала «Нувель ревю франсез» в 1936 году, звучали убедительно: «Мы начинаем понимать, что марксизм — это не стихийно порожденное явление, но что он представляет собой конечный итог целой цепи усилий и ценностей, в пользу которых он совершает свой выбор и чье наследие принимает... То, что марксизм есть сознательное продолжение всех этих усилий, — это факт, который и самые ожесточенные хулителы диалектического материализма (которым столь долго удавалось спекулировать на слове «материализм» с целью его противопоставления всем наиболее благородным чаяниям человечества) уже не смогут долго скрывать»⁴¹.

И в качестве примера воплощения всех этих чаяний и традиций Фридман указывал на СССР. Это была действенная аргументация: она не только облегчила вовлечение антифашистской интеллигенции в сферу марксизма, но и существенно повлияла на эволюцию самого марксизма, усиливая в нем элементы, наиболее тесно связанные с рационалистской, позитивистской, сциентистской традицией Просвещения и с его верой в безграничные возможности развития человечества. Сознавалось ли это марксистами или не сознавалось, но в процессе сближения с немарксистами они стремились изменить свою теорию гораздо больше, чем это делали последние. Однако происходило это, естественно, не только и даже не столько потому, что они хотели образовать единый антифашистский фронт с немарксистской интеллигенцией. Преодоление того, что Димитров назвал «изолирующей революционного авангарда», требовало «перестройки политики и тактики в зависимости от изменившейся ситуации», но не изменений в марксистской теории и идеологии. Как это ни парадоксально, внутренние тенденции марксизма к сближению со старой идеологией прогресса XIX века усилились в меньшей степени решением сопротивляться Гитлеру, нежели внутренним развитием в СССР. Более того, в историческом опыте антифашизма трудно провести четкую грань между тем, что было вызвано действиями Гитлера, а что — влиянием СССР.

Так, преобладавшее в тот период толкование «исторического и диалектического материализма», сделавшееся каноническим для коммунистов благодаря авторитету Сталина, ни

⁴¹ G. Friedmann. La crise du progrès. Paris, 1936, p. 215.

в коей мере не обусловливалось необходимостью создания единого антифашистского фронта, хотя почти наверняка облегчило этот процесс. Оно вытекало из марксистской ортодоксии эпохи II Интернационала, глашатаем которой был Карл Каутский и которая опиралась в свою очередь на продоланную Энгельсом в конце жизни кодификацию своих и Марксовых теоретических положений. Результатом явилась такая версия марксизма, которая превращала его одновременно в авторитетную науку, в надежный метод исследования и научного предвидения и в способ толкования всех явлений Вселенной с помощью диалектического материализма; при этом, если диалектика была по своему происхождению гегелевской, то материализм в сущности восходил к французской философии XVIII века. То была интерпретация, согласно которой (подобно тому, как об этом говорится в Энгельсовом «Фейербахе») торжествующее естествознание XIX века соединялось с марксизмом, предварительно отказавшись от поверхностного, статичного и механистического материализма XVIII века. По словам Энгельса, этот отказ был продиктован самим прогрессом наук после трех важнейших открытий — открытия клетки, учения о превращении энергии и теории эволюции, названной по имени Дарвина⁴².

Эта интерпретация подвергалась критике — по крайней мере в идеологическом плане — как справа, со стороны ревизионистского крыла, тяготеющего к неокантианству, так и позже со стороны левого революционного крыла, вновь поднимавшего на щит Гегеля. Более того, в годы после Октябрьской революции так называемый «западный марксизм» гегельянской окраски (в эпоху десталинизации он снова окажется в центре марксистских философских дебатов) испытывал особую тягу к большевизму и большая часть его наиболее видных представителей, за одним, но крупным исключением (это был Корш, которого в середине 20-х годов изгнали из рядов Компартии Германии как «левого оппозиционера»), остались коммунистами либо сочувствующими коммунистам. И все же фундаментальной философией большевизма и философией самого Ленина (вдохновленной Плехановым, чьей теоретической интуицией Ленин всегда восхищался), являлась, по существу, философия Энгельса.

В этом не было ничего удивительного: идеологический союз между «прогрессом» и «революцией», материализмом XVIII века и марксизмом, сводящий воедино непреложность законов естествознания и неотвратимость движения истории, с давних пор оказывал глубокое воздействие на рабочее движение разных стран. Российское рабочее движение в этом отношении не составляло исключения. Более того, в после-

⁴² См.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 21, с. 288.

революционной России обозначилась тенденция, способствовавшая еще большему акцентированию марксистского сциентизма. Когда стало ясно, что революция не достигнет той цели, которую и Маркс и Ленин считали первоочередной, то есть не «послужит сигналом пролетарской революции на Западе, так что обе они дополняют друг друга»⁴³, главной, преобладающей надо всеми другими задачей большевиков сделалось — и должно было сделаться — экономическое и культурное развитие отсталой и обнищавшей страны, с тем чтобы создать одновременно условия, необходимые для ее выживания перед угрозой нападения извне и для построения социализма в этой отдельно взятой гигантской, хотя и изолированной стране. В материальном отношении первенство следовало отдать производству и технике (ленинская «электрификация»); в культурном отношении приоритет был за духовным воспитанием масс, рассматривавшимся как решение проблемы всеобщего образования и как борьба с религией и суевериями. Эта битва против отсталости, в пользу «развития», без сомнения, велась иначе, чем аналогичные сражения XIX века. Тем не менее главные темы науки, разума и прогресса, считавшихся факторами освобождения, оставались, очевидно, в значительной мере прежними. В обществе такого типа «диалектический материализм» черпал силу не просто в традиции и своей авторитарности, но и в сознании собственной полезности в качестве оружия в этой битве, в том неотразимом воздействии, какое он оказывал на членов партии да и на сами будущие рабоче-крестьянские кадры, которым он давал твердую уверенность в себе и информацию о том, что считать научно истинным и в то же время позволяющим одержать победу.

Как мы видели, именно «кризис прогресса» в буржуазном обществе на фоне возрождения традиционных ценностей прогресса в СССР привлек столь значительную часть интеллигенции на сторону марксизма. Она обращала к нему свои взоры как к знамени разума и науки, отвергнутому буржуазией, как к защитнику ценностей Просвещения против намеревающегося уничтожить эти ценности фашизма. При таком отношении она не только приняла, но и с энтузиазмом подхватила и принялась развивать «диалектический материализм» в том виде, как он теперь формулировался советской и международной ортодоксией; особенно сильно этим занимались новообращенные марксисты. Между тем огромное большинство интеллигентов-марксистов в тот период были как раз неофитами, для которых марксизм представлял собой такую же новинку, какой могли быть, например, джаз, звуковое кино или детективные романы.

⁴³ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 19, с. 305.

5. Знакомство с марксизмом

Состояние марксизма на последнем отрезке XX столетия, а следовательно, и опыт большей части читателей данной книги настолько отличаются от опыта рассматриваемого нами периода, что во избежание устаревших и ошибочных интерпретаций целесообразно охарактеризовать специфические исторические черты марксизма в годы антифашистской борьбы. С начала 60-х годов интеллигенты-марксисты захлебываются в море марксистских публикаций и дискуссий; перед ними открывается некий гигантский рынок марксистских теорий и авторов-марксистов, а тот факт, что выбор пути большинством в той или иной стране в каждый данный момент диктуется историей, политической ситуацией и модой, не мешает марксистам сознательно воспринимать широкую гамму возможных теоретических направлений. Эта гамма оказывается тем обширнее в условиях, когда марксизм — тоже главным образом с начала 60-х годов — начинает широко включаться в учебные пособия для студентов высших учебных заведений (по крайней мере в программы гуманитарных и социальных наук). Между тем интеллигенты, пришедшие к марксизму в 30-е годы, располагали в большинстве западных стран лишь относительно скудной литературой, почти полностью игнорировавшейся официальной культурой и официальными органами просвещения, если, конечно, речь не шла о марксизме как мишени для злобной критики. Довольно скудным в то время был и собственный вклад интеллигентов-марксистов в развитие марксистской литературы. Так, общее число изданных на английском языке исторических работ, которые можно определить как «марксистские или почти марксистские» (не считая произведений «классиков»), едва достигало трех десятков книг да пары дюжины статей⁴⁴.

У марксизма в этих странах имелись и более давние традиции, но новообращенные марксисты по большей части были отрезаны от них, что объяснялось следующими четырьмя причинами. Прежде всего, раскол между социал-демократией и коммунистами побуждал их с недоверием относиться к марксизму периода до 1914 года (социал-демократического периода) и его более поздним ответвлениям. Далее, формирование ленинизма как официальной коммунистической версии марксизма похоронило большую часть местных традиций революционного марксизма, еще существовавших в первые годы коммунистического движения (в Англии, например, это

⁴⁴ Подсчет основывается на библиографии, составленной в 1955 году группой историков — членов Коммунистической партии Великобритании и включавшей также работы американских авторов и переводы, выполненные в США.

были традиции, связанные с «Плебейской лигой» — «Plebs League»)⁴⁵. Кроме того, остракизму подвергались — даже при отсутствии открытого осуждения — некоторые тенденции внутри коммунистического марксизма. Так, устранение оппозиционных Сталину деятелей и других «уклонистов» повлекло за собой изъятие из обращения целой группы произведений марксистов-большевиков (например, Богданова, потом Бухарина, не говоря уже о Троцком). В этом смысле «большевизация» конца 20-х годов была мероприятием не только политико-организационным, но и идейно-теоретическим. Добавим, что существовали еще, как уже упоминалось, причины технического порядка — как языковые, так и политические (например, приход к власти Гитлера), которые сделали недоступными большую часть существовавших марксистских работ. Так, фундаментальная биография Энгельса, написанная Густавом Мейером и опубликованная им в изгнании в Нидерландах в 1934 году, оставалась практически неизвестной в Германии даже многие годы спустя после окончания войны, а на английском оказалась доступной читателю только с 1936 года, да и то лишь в чудовищно урезанном переводе.

Как было отмечено, неведение (в частности, по причине незнания языка) не обязательно вело к сужению теоретического кругозора тогдашних марксистов: в условиях прогрессирующего навязывания марксистской ортодоксией своей монополии в области теории всему коммунистическому движению незнание языка могло приводить к совершенно противоположным результатам. Большинство западных марксистов во многом игнорировало советскую ортодоксию, которая с начала 30-х годов приняла обличье открыто объявленных, детализированных и обязательных к исполнению установок по целому ряду вопросов в самых различных областях — литературы и искусства, экономической теории и истории, философии и т. д. Эта ортодоксия и воплощалась в созданном ею же «диалектическом материализме», который вел — как это очевидно теперь — к ревизии важных положений самого Маркса⁴⁶. Вместе с тем, как уже говорилось, эта ортодоксия еще не была формально принята коммунистами за пределами СССР. Во всяком случае, если каждый коммунист в целом сознавал свой долг прямо обличать взгляды, заклеянные в качестве политической ереси (прежде всего «троцкизм»), то распространение новой ортодоксии

⁴⁵ См.: S. Mackintyre. A Proletarian Science. Cambridge, 1980; R. Samuel. British Marxist Historians. — "New Left Review", 1980, № 120, p. 21—96.

⁴⁶ В первую очередь речь идет о преднамеренной недооценке элементов гегельянства у Маркса и устранении существующего в его анализе понятия «азиатский способ производства».

на вопросы, более далекие от политической практики, особо не поддерживалось за пределами Советского Союза, а материалы наиболее важных дискуссий (за исключением дискуссий по проблемам литературы и искусства) не переводились и оставались, следовательно, фактически неизвестными, весьма мало влияя поэтому на западных коммунистов. Например, англичане, американцы, китайцы и некоторые другие продолжали и в 30-е годы — а в англосаксонских странах еще дольше — пользоваться понятием «азиатский способ производства», в то время как русские внимательно следили за тем, чтобы избегать его⁴⁷. Советский учебник философии, адаптированный для английской публики (он был выпущен в свет в 1937 году издателем-некоммунистом), уже содержал официальное осуждение взглядов Деборина и Луппола, но даже в 1936 году официальное издательство Французской коммунистической партии спокойно опубликовало одну из работ Луппола⁴⁸. Марксисты, владевшие немецким языком и имевшие возможность познакомиться с работами молодого Маркса в подлинниках, с энтузиазмом включали в свои исследования парижские «Рукописи 1844 года», очевидно, не зная о советских оговорках по поводу этих работ. Более того, знаменитый параграф четвертой главы «Краткого курса истории ВКП(б)», где были собраны новые догмы исторического и диалектического материализма, на Западе читался не как призыв к критике каждого, кто выскажется против, но почти всегда как ясное и впечатляющее изложение основополагающих идей марксизма. Нет сомнения, что западные коммунисты, если бы от них этого потребовали, заклеили бы тех, чьи мнения прямо или косвенно осуждались в ходе советских дискуссий, с не меньшей лояльностью и убежденностью, с какими обличали троцкизм, но в то время к этому их еще не обязывали и очень мало кто из них знал о том, что это уже вменено в обязанность русским коммунистам.

В этом смысле новые марксисты 30-х годов по большей части пребывали в неведении относительно каких-либо альтернативных толкований марксистской теории, в том числе и тех тождественных или родственных большевизму, которые вытекали из того, что уже тогда называли «западным марксизмом»⁴⁹. Кроме того, они в отличие от сегодняшних марксистов были не очень заинтересованы в изучении теоретических разногласий между марксистами (исключение делалось разве что для тех случаев, которые находили отражение во внушительных собраниях сочинений Ленина и Сталина, или для тех, изучение которых предписывалось в обязательном

⁴⁷ См.: K. Wittfogel. *Oriental Despotism*. New Haven, 1957, p. 401.

⁴⁸ M. Shirokov, J. Lewis. *A Textbook of Marxist Philosophy*. London, s. a.; I. Luppöl. Diderot. Paris, 1936.

⁴⁹ P. Anderson. *Considerations on Western Marxism*. London, 1976.

порядке решениями советских инстанций либо Коминтерна). Речь шла о дискуссиях, которые обычно разворачивались в моменты неуверенности в том, был ли марксистский анализ предшествующего периода правильным, как это случилось в конце XIX века во время «кризиса» ревизионизма. Между тем у новых марксистов 30-х годов не было никаких оснований ставить под сомнение марксистский прогноз в годы великого кризиса капитализма и просеивать тексты классиков в поисках каких-либо существенных альтернатив. В марксизме они видели скорее ключ к пониманию целого ряда явлений, остававшихся вплоть до этого момента удивительными и даже загадочными. Один молодой математик и воинствующий марксист сказал об этом так: «Посреди множества вещей, анализ которых пока не вышел за рамки частичных и пробных исследований, марксист не может не заметить, что перед ним лежат обширные области мысли, ждущие диалектического понимания»⁵⁰. Марксист воспринимал исследование этих обширных областей мысли как собственную задачу, и тексты классиков, а также марксистов предыдущих эпох выглядели в его глазах не столько загадкой, ожидающей своего теоретического раскрытия, сколько коллективной сокровищницей светоносных идей. При этом возможные проблемы и внутренние несообразности представлялись куда менее важными, чем те огромные успехи, которые оказались возможными благодаря этим идеям. Самым очевидным из такого рода успехов, в понимании интеллигентов, была успешная критика существовавших вокруг них немарксистских идей; на этой критике, естественно, они и сосредоточивали свое внимание в значительно большей мере, нежели на критике взглядов других марксистов (если только это не вытекало из их политических обязанностей). Можно предположить даже, что, будучи представлены самим себе, они скорее расценили бы как интересные, а не как дьявольские концепции тех марксистов, с которыми их собственные идеи вступали в противоречие. Так, Анри Лефевр в одной из своих интересных работ по национальному вопросу (1937) писал, что определение нации Отто Бауэром отличается от сталинского просто меньшей точностью, а вовсе не тем, что заключает в себе опасное заблуждение⁵¹.

Следует, однако, заметить, что новые марксисты принимали ортодоксальную трактовку не только потому, что не зна-

⁵⁰ *David Guest. A Scientist Fight for Freedom. A Memoir. London, 1939, p. 256.*

⁵¹ *H. Lefebvre. Le nationalisme contre les nations. Paris, 1937, p. 128.* Правда, чуть дальше автор, конечно же, критикует Бауэра в более ортодоксальных выражениях, но при этом специально оговаривается, что фразы эти «непосредственно вдохновлены» работой Сталина «Марксизм и национальный вопрос» (*ibid.*, p. 225).

ли других и не испытывали особого интереса к тонким доктринальным различиям внутри марксизма, но и потому, что она хорошо согласовывалась с их подходом к марксизму. Работа Карла Корша «Карл Маркс» (она вышла в свет на английском языке в 1938 году) не имела успеха не столько потому, что автор был зачислен в диссиденты (за исключением немногих немецких эмигрантов, очень мало кто знал, кто он такой), сколько из-за того, что она производила впечатление работы, так или иначе уводящей в сторону от этого общего подхода. Официальная оценка философских сочинений молодого Маркса гласила, что они содержат «юношеские работы Маркса, отражающие его эволюцию от гегельянского идеализма к последовательному марксизму». Разумеется, во Французской коммунистической партии было достаточно лицейских и университетских преподавателей философии, способных понять, как отметил Анри Лефевр⁵², что этим вовсе не исчерпывается проблема отношения Маркса к Гегелю. Между тем тщетно было бы искать какие-то следы Маркса-гегельянца в книге Жоржа Политцера «Основные проблемы философии», представляющей собой курс лекций, прочитанных им в 1935—1936 годах, равно как и в опубликованном тогда же «Учебнике диалектического материализма»⁵³, составленном англичанином Дэвидом Гестом. Талантливые и независимые, эти два философа не могут быть приравнены к простым популяризаторам.

Возможно, наиболее красноречивым свидетельством специфичности западного марксизма в эти годы мобилизации антифашистских сил служил тот факт, что это был первый и до сего дня, вероятно, единственный период, когда значительное число ученых и научных работников (особенно естествоиспытателей) наряду с активизацией своих усилий ради решения самых широких задач борьбы с фашизмом серьезно увлекались марксизмом. В 60—70-е годы преобладание в конечном счете получила тенденция, вдохновлявшаяся критическими идеями, которые были выдвинуты намного раньше Коршем и другими, и побуждавшая отказаться от убеждения, будто марксизм дает комплексное истолкование мира, объясняющее не только историю людей, но и эволюцию природы. Однако в 30-е годы именно это представление о всеобъемлющем характере марксизма и привлекало к нему новых марксистов; точно так же многие или менее молодые ученые испытывали влечение к марксистской теории в том виде, как она была изложена Энгельсом⁵⁴.

⁵² H. Lefebvre. Le matérialisme dialectique. Paris, 1939, p. 62—64.

⁵³ Оба эти издания вышли после смерти их авторов, соответственно в 1946 году в Париже и в 1939 году в Лондоне.

⁵⁴ «Марксистская «философия» стала к тому же удивительно модной. Когда Энгельс писал «Анти-Дюринга», он старательно выискивал в

Особенно ярко это проявилось в Англии, Соединенных Штатах и Франции, ставших после катастрофы в Германии крупнейшими на Западе центрами исследований в области точных и естественных наук. На высших уровнях научного мира в этих странах обретались многочисленные ученые, уже завоевавшие или собиравшиеся завоевать громкую славу, которые были коммунистами, сочувствующими коммунистам или тесно связанными с леворадикальными течениями. В одной только Англии из их среды вышло пять нобелевских лауреатов. Если же взять чуть менее высокий уровень, то, например, радикализм ученых Кембриджа, бесспорно самого важного научного центра Англии, воспринимался уже как нечто само собой разумеющееся. Антивоенная группа кембриджских ученых — а в те времена они составляли чрезвычайно узкую категорию научно-исследовательских работников — насчитывала 80 активных членов⁵⁵. И если партийные функционеры составляли в этой среде меньшинство, то большинство, пусть и пассивно, сочувствовало левым. Подсчитано, что в 1936 году из 200 самых крупных английских ученых в возрасте до 40 лет 15 состояли в рядах коммунистической партии или являлись попутчиками коммунистов, около 50 — вели активную деятельность в пользу левых, до 100 — сочувствовали левым, а остальные сохраняли нейтралитет, за исключением, может быть, пяти или шести, принадлежавших к эксцентричным группам правого крыла⁵⁶. Для научных работников после изгнания и массовой эмиграции их коллег из фашистских стран естественным был переход на позиции антифашизма; в отличие от этого менее логичной представлялась их тяга к марксизму, учитывая трудность примирения большей части положений науки нашего столетия с теми примерами из XIX века, на которых Энгельс основывал свои рассуждения и в защиту которых Ленин вел свои философские битвы⁵⁷. Разумеется, знакомство как с

естествознанием, в новых открытиях физики и химии все то, что, по-видимому, свидетельствовало о наличии в явлениях природы той же «диалектики», какую Маркс и он применили к истории и общественному развитию. Теперь же ученые, и даже крупные ученые, платили ему той же монетой, открывая в этой теории «философию» их конкретных научных дисциплин» (*A. Rossi. Physiologie du Parti communiste français. Paris, 1948, p. 335; книга была написана в 1942 году.*)

⁵⁵ См. очерк Э. Бурона в сборнике: *M. Goldsmith, A. Mackay (eds.). The Science of Science. London, 1964; см. также: M. Goldsmith. Sage...*, p. 90—92.

⁵⁶ См. очерк Ч. Сноу в сборнике: *J. Raymond (ed.). The Baldwin Age. London, 1960, p. 248.*

⁵⁷ Талантливый биолог-коммунист Дж. Холдейн признавал, что способ рассмотрения Лениным категорий времени и пространства несовместим с теорией относительности, но успокоился, узнав, что в одной статье 1922 года («перевода которой я не смог найти») Ленин принял принципы теории относительности, отвергнув, правда, ее идеалистические интерпретации. Холдейн сравнивал эту позицию с принятием Лениным нэпа

«Диалектикой природы» Энгельса, так и с «Материализмом и эмпириокритицизмом» Ленина было доступно каждому. Рукопись Энгельса, как с научной точностью отмечал Рязанов в предисловии к «Диалектике природы», была показана в 1924 году Эйнштейну с просьбой дать ей научную оценку. Великий физик заявил, что ее «содержание не представляет особого интереса ни с точки зрения современной физики, ни с точки зрения истории физики»; однако ее, возможно, стоит опубликовать, добавил он, «в той мере, в какой она представляет собой интересный вклад в понимание идейно-теоретического значения трудов Энгельса»⁵⁸. И все же эта работа читалась не как дополнение к интеллектуальной биографии Энгельса, а воспринималась — по крайней мере некоторыми молодыми учеными, сверстниками автора этих строк в годы работы в Кембридже, — в качестве стимула к формированию их представлений о науке⁵⁹. Во всяком случае, можно напомнить, что и тогда были ученые-коммунисты, которые в частных беседах допускали, что диалектический материализм, похоже, не имеет никакого прямого отношения к их исследовательской работе. Мы не станем разбирать здесь историю марксистских интерпретаций естествознания и лишь мимоходом упомянем о нескольких попытках применения диалектики к естествознанию в те годы⁶⁰.

Прежде всего следует иметь в виду, что воздействие, оказанное марксизмом на ученых, свидетельствовало об их неудовлетворенности механистическим, детерминистским материализмом XIX века, породившим результаты, решительно не согласовавшиеся с материалистическим принципом объяснения действительности. Это вызывало не только значительные трудности в каждой науке, но и общую фрагментацию научного знания как такового, а также все более серьезное противоречие между революционными успехами научного исследования и все более хаотическим и непоследовательным

(см.: *J. Haldane. The Marxist Philosophy and the Science. London, 1938, p. 60*).

⁵⁸ Marx-Engels Archiv. Erlangen, 1971, vol. II, S. 140—141. Как объясняет Рязанов, Социал-демократическая партия Германии не стала публиковать рукопись по совету одного ученого-социал-демократа (тогда это была большая редкость в партии), который ознакомился с нею вскоре после смерти Энгельса; однако сам этот ученый считался «убежденным сторонником эмпиризма, враждебно относящимся к диалектике». Между тем сама защита Рязановым этой книги от обвинений в устарелости носит довольно осторожный характер, и рукопись в самом деле впервые была опубликована не в Полном собрании сочинений Маркса и Энгельса (MEGA), а в альманахе «Marx-Engels Archiv», куда помещались скорее мелкие, второстепенные статьи, нежели серьезные труды основателей марксизма.

⁵⁹ Личные сведения автора.

⁶⁰ См., например: *J. Haldane. The Marxist Philosophy and the Science, cit.*; а также сборник: *A la lumière du marxisme. Paris, 1936*.

представлением о той глобальной действительности, которую требовалось объяснить. Один блестящий молодой ученый-марксист, которому суждено было вскоре погибнуть в Испании, писал по этому поводу: «Мы дошли до того, что в каждой отдельной отрасли знания практика и ее специализированная теория до такой степени противоречат молчаливо признаваемой общей теории науки как таковой, что фактически взрывают весь философский механизм научного познания. В биологии, физике, психологии, антропологии и химии исследователи обнаруживают, что их эмпирические открытия оказывают чрезмерное давление на бессознательно воспринимаемую общую теорию науки и что наука распадается на куски. Ученые утрачивают веру в возможность создания общей теории науки и ищут прибежища либо в эмпиризме, отказываясь от любых попыток добиться объяснения мира в целом, либо в эклектике, сваливая в одну грудку все специализированные теории с целью сооружения лоскутного мировоззрения без попыток как-либо интегрировать их, либо, наконец, в специализации, сводя все разнообразие мира к частной, специализированной теории той науки, которой они практически занимаются. В каждом из этих случаев наука оказывается во власти анархии, и человек прежде всего теряет надежду добиться с ее помощью позитивного познания действительности»⁶¹.

На тех, кто считал, что научное понимание мира переживает кризис именно из-за революционных успехов науки последних десятилетий — «кризиса физики», о котором писал Кодуэлл, или выявленных и проанализированных Дж. Холдейном проблем генетики, противоречащих эволюционной теории Дарвина⁶², или других еще более обширных аспектов того же явления, — диалектический материализм оказывал свое влияние на трех уровнях. Во-первых, он делал заявку на объединение и взаимодополнение всех областей знания, препятствуя тем самым его фрагментации. На ум приходит, что не случайно наиболее авторитетные ученые-марксисты, такие, как Холдейн, Дж. Бернал или Джозеф Нидхем, отличались поистине энциклопедической широтой знаний и интересов. Диалектический материализм, кроме того, твердо отстаивал идею единого, объективно существующего и рационально познаваемого мира в противоположность идее недетерминированного и непознаваемого мира, философскому агностицизму, позитивизму и математическим играм эмпириков. Марксисты в этом смысле были на стороне «материализма», против «идеализма», и ради этого они гото-

⁶¹ C. Caudwell. *The Crisis in Physics*. London, 1936, p. 60.

⁶² J. Haldane. *A Dialectical Account of Evolution*. — In: "Science and Society", I, 1937, № 4, p. 473—486.

вы были перешагнуть через философские или иного рода слабости произведений, написанных в его поддержку, вроде «Материализма и эмпириокритицизма» Ленина.

Марксизм, во-вторых, всегда критически относился к механистическому и детерминистскому материализму, лежавшему в основе науки XIX века, и выступал, таким образом, в качестве его альтернативы. Более того, научные основания марксизма не были ни галилеевскими, ни ньютоновскими, и сам Энгельс на всю жизнь сохранил привязанность к немецкой натурфилософии, в духе которой, как правило, воспитывались все студенты в Германии во времена его молодости. Его симпатии всегда были на стороне скорее Кеплера, чем Галилея. Возможно, этот аспект марксистской традиции привлекал тех ученых, которые в силу принадлежности к определенной сфере науки (например, биологии) или в силу своей интеллектуальной формации склонны были считать совершенно неудовлетворительными как механицистско-редукционистские модели науки (свое триумфальное завершение они находили в физике), так и аналитический метод, вырывавший объект эксперимента из его контекста. Таких ученых, как Дж. Нидхем или К. Уоддингтон, интересовали целостности, совокупности, а не их части; они искали общую теорию систем (тогда это выражение еще не было распространено), способную интегрировать в живую действительность те явления, которые обычный научный метод расчленил. Это можно сравнить с введенным в обиход Нидхемом и весьма уместным в годы войны с фашизмом образом «подвергающихся бомбежке и тем не менее продолжающих функционировать городов»⁶³.

В-третьих, диалектический материализм, казалось, избавляет науку от непоследовательности, поскольку указывает ей такой подход, который изначально включает в себе понятие противоречия. («Открытия разных исследователей выглядят как прямо противоречащие друг другу — здесь как раз и является жизненно важным диалектический подход», — утверждал Дж. Холдейн.)

В марксизме, таким образом, ученые находили не лучший способ постановки гипотез в верифицируемых терминах и даже не эвристически плодотворный подход к исследованию в своей специальной области; к тому же их, вероятно, совсем

⁶³ J. Needham. On Science and Social Change. — In: "Science and Society", X, 1946, № 3, p. 225—251 (этот очерк был написан в Китае в 1944 году). Христианин, марксист, эмбриолог и историк (работы по истории эмбриологии, истории английской революции и истории науки и цивилизации в Китае), неустанный искатель такого мировоззрения, которое, будучи научным, не было бы вместе с тем галилеевским, Дж. Нидхем представляет собой особенно интересный пример такого типа неудовлетворенности моделями XIX века. Желательно было бы, чтобы кто-нибудь написал аналитическую биографию этого крупного исследователя.

не шокировали ошибки и устаревшие положения «Диалектики природы» Энгельса. В марксизме они обнаруживали широкий и целостный взгляд на Вселенную со всем, что в ней есть, причем делали это в тот момент, когда, казалось, все распадается, а ничего взамен этому еще не возникло. Наглядное представление о научном мире в начале 30-х годов дает физика, где существовал раскол на молодое поколение (Гейзенберг, Шрёдингер, Дирак), раввавшееся к завоеванию новых плацдармов знания и не заботившееся об их последовательности, и на стариков — «Эйнштейна и Планка... последних представителей «старой гвардии» ньютоновской физики», которые упорствовали в обороне своих «редутов... не имея сил для контратаки на позиции противника»⁶⁴. Без учета такого кризисного состояния науки невозможно понять этот поиск новых путей с помощью диалектического материализма.

Марксизм, кроме того, предлагал еще один важный вклад в науку. Его применение к истории науки явилось для многих ученых самым настоящим откровением. Этим объяснялось огромное значение статьи Б. Гессена (о социально-экономических корнях «Начал» Ньютона), впервые представленной в Англии на одной из научных конференций 1931 года⁶⁵, для распространения марксизма среди ученых. Научный прогресс рассматривался в статье в контексте общественного развития, и таким образом доказывалось, что «парадигмы» научного объяснения (если воспользоваться термином, изобретенным намного позже) обязаны своим возникновением не одной лишь внутренней логике теоретического поиска. Наиболее важным и в этом случае была не действительная истинность конкретных результатов марксистского анализа: сама статья Гессена немедленно сделалась предметом более чем оправданной критики. Поражали в первую очередь новизна и плодотворность подхода.

Это объяснялось в известной степени и связью с третьим крупным вкладом в науку, который сделал не столько сам марксизм, сколько ученые-марксисты и СССР, а именно подчеркиванием социальной функции науки и необходимости программировать ее развитие, а также повышением той роли, которая во всем этом должна принадлежать ученому. Не случайно статья математика-марксиста Леви (его тезисы были поддержаны Холдейном, Хогбенем и Берналом) о необходимости программировать науку «в соответствии с тенденциями общественного развития»⁶⁶ сделала в начале 1932 года марксизм предметом дискуссии кружка английс-

⁶⁴ C. Caudwell. *The Crisis in Physics*, cit., p. 21, 23,

⁶⁵ B. Hessen. *The Social and Economic Roots of Newton's "Principia"*. — In: Id. *Science at the Crossroads*. London, 1931.

⁶⁶ S. Zuckerman. *From Apes to Warlords*, cit., p. 394. Сведения о «Тотс энд кютс» см. в приложении I.

ких ученых «Тотс энд куотс» и вообще всей интеллигенции. Не случайным было и то, что во Франции, где научно-исследовательская деятельность всегда страдала из-за отсутствия систематической поддержки, именно левые ученые выступили за исправление этого положения, а правительство Народного фронта согласилось с их доводами; социалист Жан Перрен и сочувствующий коммунистам Поль Ланжевен (позднее он вступил в ряды компартии) были главными инициаторами создания Национального фонда научных исследований (впоследствии он был преобразован в Национальный центр научных исследований), а Ирен Жолио-Кюри стала помощником статс-секретаря по делам научных исследований. В этом смысле, пожалуй, самой значительной — и, бесспорно, самой влиятельной — работой о марксистской науке явилась книга Дж. Бернала «Социальная функция науки», вышедшая в Лондоне в 1939 году. Ее воздействие объяснялось уже тем простым обстоятельством, что в ней ученый-марксист формулировал мнения, разделявшиеся широким кругом ученых, не питавших никаких особых симпатий к марксизму. Здесь прозвучало осуждение учеными того, что с ними обращаются как с низшим «сословием», и критика в адрес всех государств и режимов, не признающих фундаментально важной роли науки для производства (и войны) и отказывающихся планировать с ее помощью использование общественных ресурсов. Призыв этот встретил в то время широкую поддержку, потому что ученые считали себя единственно способными увидеть теоретические и практические последствия новой научной революции (например, ядерной физики). По иронии судьбы, первый и крупнейший успех в попытках ученых убедить правительства в общественной необходимости современной научной теории был достигнут в ходе войны с фашизмом. Но еще большая — и более трагическая — ирония заключалась в том, что именно ученые-антифашисты доказали американскому правительству необходимость и возможность создания ядерного оружия, которое и было затем изготовлено международным коллективом ученых, в большинстве своем тоже антифашистов.

Однако в отношении определенной части ученых влияние марксизма в конечном счете оказалось эфемерным и преходящим. Вероятно, оно и не смогло бы быть длительным, даже если бы внутренняя эволюция СССР (и главным образом дело Лысенко) не вызвала общего отхода ученых от марксизма и не сделала позицию ученых-коммунистов после 1948 года практически обреченной. Все это почти забылось историографией и участниками марксистских дебатов, особенно в тот период, когда стало модным утверждать, будто Марксу нечего было сказать (или даже будто он и не собирался ничего говорить) по поводу естествознания, а работы

Энгельса по этим вопросам пренебрежительно отметались как писания одного из множества эволюционистов XIX века, дилетанта в области естественных наук и философии. И все же нельзя недооценивать связей между марксизмом и естествознанием, принимая во внимание, что они послужили существенно важным компонентом мировоззрения интеллигенции в годы борьбы с фашизмом. В этом интеллигентском марксизме отразились не только преемственность с домарксистскими традициями рационализма и прогресса, но и признание того, что эти традиции могут быть сохранены лишь путем революции в теории и практике. Отсюда можно понять и то, почему интеллигенты-марксисты того времени с искренним энтузиазмом приветствовали исторический и диалектический материализм в их ортодоксальном советском варианте, причем совсем не потому только, что они получали его из СССР. Марксизм для этих марксистов означал как преемственность по отношению к старой буржуазной (а в действительности — пролетарской) традиции разума, науки и прогресса, так и ее революционное преобразование на практике и в теории. Что же касается немарксистской интеллигенции, которая шла вместе с коммунистами, потому что бок о бок с ними сражалась с общим врагом, то на нее, естественно, не действовал ни один из этих принципиальных теоретических выводов. Просто она очутилась в одном лагере с марксистами и воспринимала (или считала, что воспринимает) как родственные себе их поведение и стремления, даже когда находила их доводы странными; у нее также вызвали по меньшей мере восхищение и уважение те надежда, вера, порыв, моральная стойкость и очень часто героизм и самоотверженность, которые демонстрировали молодые марксисты в служении своему делу. Одним из людей, столь уважительно относившихся к коммунистам, был Дж. Кейнс, которого, разумеется, нельзя заподозрить в сочувствии марксизму или какому бы то ни было типу социализма⁶⁷.

Разные интеллигенты-«попутчики», история которых писалась задним числом со скептицизмом и издевкой, характерными для более позднего времени⁶⁸, принадлежали глав-

⁶⁷ «Вне рядов либералов ныне в политике нет никого, за кого я дал бы хоть пенини, за исключением послевоенного поколения интеллигентов-коммунистов до тридцати пяти лет. Они тоже нравятся мне, и я их уважаю. Возможно, среди всего, что нас окружает сегодня, их чувства и побуждения ставят их ближе всего к тем типичным английским джентльменам-неконформистам, которые участвовали в крестовых походах, совершали Реформацию, сражались в рядах участников «великого мятежа» или завоевывали наши гражданские и религиозные свободы, а на протяжении прошлого столетия способствовали прогрессу трудящихся классов» (из интервью Дж. Кейнса журналу «Нью стейтсмен» от 28 января 1939 года).

⁶⁸ См.: D. Cauter. The Fellow-Travellers. London, 1973.

ным образом к этим кругам. Сам термин отмечен двусмысленностью, потому что использовался антикоммунистической пропагандой уже во времена «холодной войны» с целью наклеить общий ярлык без разбора и на широкие круги либеральной и коммунистической интеллигенции, поддерживавшей антифашистскую политику и конкретные действия, продиктованные практической необходимостью антифашистской борьбы, и на более узкую группу тех, кто неизменно украшал своей подписью «расширенные» платформы и обращения конгрессов, организуемых коммунистами, и на несколько менее многочисленных защитников и апологетов советской политики. Демаркационная линия между этими группами была нечеткой и изменчивой, но, несмотря на это, ее необходимо выявить. Властные требования антифашистского движения заставляли молчать любую критику в адрес наиболее активной и действенной его силы, а позже сами задачи войны препятствовали всему, что могло бы ослабить единство сил, сражавшихся против Гитлера и держав «оси».

Хорошо иллюстрирует эту ситуацию литературная судьба Джорджа Оруэлла в Англии. Трудности, с которыми столкнулся этот писатель — критик сталинизма, политики коммунистов во время испанской войны и различных течений левого лагеря в Англии, — были не столько делом рук коммунистов (с которыми у него почти не было связей) или сочувствующих им, сколько издателей и редакторов отнюдь не коммунистических газет и журналов, которые искренне сомневались в целесообразности публикации произведений, способных оказать помощь и моральную поддержку врагу⁶⁹. Вот почему Оруэлл обрел массовую аудиторию только после войны, между тем как до того читателям вовсе не нравилась его проза; книга «В память о Каталонии» (1938) разошлась в количестве всего лишь нескольких сотен экземпляров.

Интеллигенты, достойные (со всеми необходимыми оговорками) так называться, которые в то время сделали «попутчиками», составляли группу, весьма неоднородную по со-

⁶⁹ Так пишет биограф Оруэлла по поводу затруднений, которые встретило издание его «Фермы животных» (см.: *B. Crick. George Orwell. A Life*. London, 1980, p. 310—319). См. также формулировку отказа Кинсли Мартина, главного редактора журнала «Нью стейтсмен энд нейшн», печатать статьи Оруэлла в защиту трокистской ПОУМ («Марксистской единой рабочей партии»): «Ничто так не заботило меня на протяжении всей жизни, как стремление не допустить проигрыша войны в Испании... Обе стороны в ней действовали с отвратительной жестокостью, но я должен был принять собственное решение и, адресуясь к публике, поступать так, чтобы она предпочитала победу этой, а не той стороны» (цит. П. Джонсоном в «Нью стейтсмен» за 5 декабря 1980 г.; см.: «New Statesman», 1980, December 5, p. 16).

циальному положению и культурной ориентации; решающим моментом для их выбора был травмировавший их опыт ненавистной первой мировой войны. Они редко испытывали тягу к марксизму или коммунистическим партиям; само представление — обычно очень возвышенное — о роли интеллигента мешало им выполнять постоянную партийную работу и подчиняться партийной дисциплине. Люди, подобные Ромену Роллану, Генриху Манну и Лиону Фейхтвангеру, даже если и соглашались порой вмешиваться (по примеру Золя) в общественную жизнь, ожидая, что их будут внимательно слушать, рассматривали свою позицию как положение, говоря словами Роллана, «над схваткой».

Драма революции в России или других странах также не вызвала у них симпатий; более того, деятели, вроде Роллана, Манна и Арнольда Цвейга, отмежевались от нее из-за террора и репрессий во внутренней советской политике, против чего они — до прихода к власти Гитлера — даже поднимали протест⁷⁰. Лишь антифашистское движение в начале 30-х годов побудило их перейти к поддержке и защите СССР. В этой связи Томас Манн в 1951 году сказал: «Даже если бы ничто другое не заставляло меня уважать русскую революцию, то и тогда я уважал бы ее за неизменное противодействие фашизму»⁷¹. И все же они в основном верили, что СССР является наследником дела Просвещения, рационализма и прогресса.

Может показаться парадоксальным, что все это происходило как раз в тот момент, когда советская действительность должна была бы производить отталкивающее впечатление на либеральную интеллигенцию Запада. То были годы сталинского террора, когда по России уже шел процесс культурного оледенения. Но то была и эпоха глубоких потрясений западного буржуазного общества, эпоха тройной травмы: великой депрессии, фашизма и надвигающейся мировой войны. Извечно приписываемые России отсталость и варварство казались менее важными, чем публично провозглашенное ею страстное обязательство защищать ценности и чаяния Просвещения, в то время как западный либерализм явно клонился к закату. Программируемая индустриализация России весьма выгодно контрастировала с переживающей кризис либеральной экономикой. И уж конечно, очевидной была ее антифашистская ориентация. «СССР на стройке» (эта фраза стала названием богато иллюстрированного журнала для пропаганды на границу) действительно создавал впечатление общества, создаваемого в соответствии с идеала-

⁷⁰ Так, Арнольд Цвейг разоблачил один из первых процессов-фарсов, состоявшихся еще до 1930 года (*D. Cautel. The Fellow-Travellers, cit., p. 279*).

⁷¹ Цит. по: *J. Rühle. Literatur und Revolution. München, 1963, S. 136.*

ми разума, науки и прогресса, прямого наследника Просвещения и Великой французской революции. Именно эта фаза советской истории очаровала писателей, которые раньше оставались безучастными к утопическим надеждам, к революционным взрывам, к переплетению нищеты и великих ожиданий, идеалов и нелепостей, к культурному брожению 20-х годов.

Кроме того, если Советская Россия в своей революционной фазе и коммунистические партии в первые годы существования отвергали либеральный гуманизм этой интеллигенции, то теперь, напротив, все это подчеркивалось как общее достояние. Полемизируя с авангардистами, Лукач утверждал, что именно великие буржуазные классики и их наследники — Горький, Генрих и Томас Манн — были творцами не просто лучшей, но и политически более позитивной литературы. Подобная оценка соответствовала не только собственным вкусам и критическим принципам Лукача (не говоря уже о его политических наклонностях, которые он после «Тезисов Блюма», опубликованных в 1928—1929 годах, уже не мог исповедовать открыто), но и принципам широкого антифашистского фронта, вошедшим в фундамент официальной политики коммунистов. Советская конституция 1936 года выглядела в глазах «буржуазных демократов» Запада куда более приемлемой, чем те, что ее предваряли. Даже если она и осталась целиком на бумаге, то эта бумага по крайней мере воплощала те стремления, с которыми они искренне могли согласиться.

Таким образом, марксистов и немарксистов объединяло нечто большее, чем практическая необходимость противостоять общему врагу. Речь шла о глубинном сознании, которое разбудили и одновременно катализировали кризис и победа Гитлера, а также их приверженность одной и той же традиции французской революции, ценностям разума, науки, прогресса и гуманизма. Для обеих сторон осознание этой общности было облегчено тем вариантом марксистской философии, который стал в это время официальным, равно как и переносом центров западного марксизма во Францию и англосаксонские страны, где и марксистская и немарксистская интеллигенция формировалась в лоне одной культуры, проникнутой этой традицией.

6. Гражданская функция антифашизма

Но антифашизм, разумеется, отнюдь не был вратами в академическую теорию. Он прежде всего представлял собой политическую проблему, — проблему выбора, действия, стратегии. И в этом качестве он ставил перед марксистами —

интеллигентами и неинтеллигентами, перед теми, кто пришел в политику в годы антифашистской борьбы, и теми, чей политический опыт измерялся большим сроком, — задачи анализа и принятия политических решений, о которых здесь нельзя умолчать.

При нынешнем состоянии исследований невозможно количественно определить масштабы мобилизации интеллигенции на борьбу с фашизмом, но можно с уверенностью утверждать, что — как и во времена «дела Дрейфуса» — антифашистский призыв встретил особо сильный отклик в рядах интеллигенции как социальной группы, широко мобилизовал ее на политические действия и, главное, предоставил ей больше, чем в прошлом, возможностей служить интересам общества именно в качестве интеллигенции. Неудивительно поэтому, что некоторые ее представители отправились сражаться в Испанию, хотя не было предпринято никаких особых усилий, чтобы побудить их к этому; напротив, в Англии, например, студентам молчаливо давали понять, что их запись добровольцами нежелательна⁷². Интеллигенты, однако, вступали в Интернациональные бригады не как интеллектуалы, а как солдаты. Неудивительно и то, что и во время мировой войны они приходили в ряды бойцов Сопротивления и выступали в качестве участников (в некоторых случаях в роли руководителей) вооруженной партизанской борьбы. Ни один из этих видов деятельности, разумеется, не ограничивался участием только интеллигенции. Новшеством того периода — коммунисты, вероятно, распознали его раньше всех других — был специфически интеллигентский вклад в антифашистское движение. Речь шла не только о тех, кто служил пропагандистским символом (к таким относились прежде всего влиятельные деятели культуры), но и о тех, кто вел практическую работу в средствах массовой информации (издательском деле, прессе, кино, театре и др.), где требовались люди науки или, во всяком случае, лица, обладающие большими знаниями. Беспрецедентно широкой, например, была стихийная и добровольная мобилизация ученых как таковых сначала против войны, а затем — в пользу войны.

Так, карьера Роберта Опленгеймера, главного ответственного ученого за создание первых атомных бомб, становится понятной исключительно в контексте тех специфических исторических обстоятельств, которые ее обусловили. Для интеллектуала его типа в 30-е годы было естественно оделаться антифашистом и почувствовать притягательность

⁷² В составе Интернациональных бригад, по-видимому, было не много представителей интеллигенции (если не считать профессиональных революционеров), хотя, судя по всему, среди американцев и чехословаков их доля была весьма значительной (см.: A. Castells. Las Brigadas Internacionales de la guerra de España. Barcelona, 1974, p. 68—69).

коммунизма. Но ученые-антифашисты были к тому же единственными, кто мог привлечь внимание своих правительств к проблеме изготовления ядерного оружия, ибо только ученые были способны правильно оценить его возможности, а политически сознательные среди них — проникнуться чувством необходимости приобретения такого оружия, прежде чем это сделают фашисты, подгоняемые той же потребностью. Люди эти неизбежно оказывались крайне важными для своих правительств, их допускали к высшим государственным тайнам, ибо никто другой не смог бы лучше их освоить и технически реализовать то, что по необходимости превращалось в секрет. И столь же неизбежно многие из этих людей попадали в крайне сложную ситуацию, когда им все трудней было отстаивать свои взгляды. И дело не только в том, что их моральные и политические установки не совпадали с позицией государственного аппарата, который их использовал (эти разногласия касались в первую очередь проблемы свободного обмена научной информацией), но и в том, что с течением времени государственный аппарат все более утрачивал доверие к ним как к интеллигентам, а затем, когда после войны Россия стала главным врагом, и как лицам с антифашистским и прокоммунистическим прошлым. Неизбежно получалось так, что их мнения по военно-техническим вопросам и суждения по этическим и политическим проблемам оказывались столь туго сплетенными, что четко разграничить их было невозможно. Если в тот период, когда задача борьбы с фашизмом доминировала во всеобщем сознании, подобные проблемы не вызывали слишком больших трудностей, то возникшие после войны вопросы ядерной политики (например, следует ли создавать водородную бомбу) давали простор для куда больших морально-политических разногласий.

Наиболее сенсационной жертвой «холодной войны» стал Оппенгеймер; этот самый авторитетный и влиятельный из официальных научных советников правительства Соединенных Штатов был бездоказательно обвинен в шпионаже в пользу России и лишен допуска к информации как человек, «подрывающий национальную безопасность». Ни одна из предыдущих войн не могла создать ситуацию, подобную той, в которой очутились такие люди и их правительства, потому что никогда прежде не существовало оружия, в такой огромной степени зависящего от научной инициативы и компетентности ученых чисто университетского профиля. Равным образом маловероятно было, что аналогичная проблема встанет перед учеными последующих поколений, поскольку у них не будет того политически двусмысленного прошлого, которое тяготело над их предшественниками (не говоря уже о принадлежности многих из них ко все более многочисленному отряду чиновников от науки, либо аполитичных экспер-

тов, профессионально занимающихся созданием оружия уничтожения). Таким образом, это была ситуация, типичная только для интеллигенции периода антифашизма и для правительств, которые имели с ней дело⁷³.

Антифашизм, следовательно, не только ставил перед интеллигенцией новые профессиональные задачи и открывал новые возможности, но и предлагал ей новые общественно-политические проблемы, оказывавшиеся особенно трудными для коммунистов и сочувствующих им. В нашу задачу не входит рассматривать здесь их реакцию на развитие обстановки после падения фашистских режимов. Нет смысла, на наш взгляд, задерживаться и на результатах отдельных изменений политического курса в рядах международного коммунистического движения в годы антифашистской борьбы, хотя некоторые из этих колебаний — в особенности поворот на 180° советской политики в 1939—1941 годах и временный роспуск некоторых компартий Американского континента («браудеризм») — оказались серьезной встряской для коммунистов. В целом курс международного коммунистического движения оставался неизменным с 1934 по 1947 год, всякий раз возвращаясь после временных отклонений к своему основному азимуту. И нет необходимости специально останавливаться на специфических трениях между руководством и интеллигенцией внутри коммунистических партий, хотя, как уже говорилось, они имели место. В период антифашистской борьбы такие явления более чем компенсировались притоком интеллигенции в ряды движения, высокой партийной оценкой ее политического вклада (об этом свидетельствовал рост числа более или менее «расширенных» ассоциаций и журналов, не отождествлявшихся всецело с компартией)⁷⁴ и относительно большим простором, который предоставлялся интеллигенции для проявления своей инициативы. Без сомнения, бывали индивидуальные случаи, когда члены партии выходили или исключались из ее рядов по разным причинам, и столь же несомненно, что самые непримиримые критики политики коммунистов и СССР обнаруживались именно среди интеллигенции; но, поскольку в тот период в общем не было ни крупных расколов коммунистического движения, ни откола от него сколько-нибудь крупных групп интеллигенции (за

⁷³ Об Оппенгеймере см.: *P. Goodchild. J. Robert Oppenheimer. London. 1980.*

⁷⁴ В числе подобных ассоциаций и журналов следует назвать: во Франции — «Коммюн» (литературный журнал в защиту культуры), «Эроп», «Пансе» и — на еще более широкой базе Народного фронта — еженедельник «Вандреди»; в Англии — «Лефт бук клуб» и «Лефт ревью» (1934—1938), «Модерн куотерли» (1934—1939 и 1945—1953), а также во время и после войны «Ауэр тайм»; в США — «Нью массиз», «Сайенс энд сосайети» (1936) и в течение некоторого времени «Партизан ревью» (1934).

исключением разве что некоторых эпизодов в Соединенных Штатах) и поскольку группы марксистов-диссидентов в то время были численно незначительными, то напряженность в отношениях между партиями, представлявшими, как они сами считали, главным образом «лояльных» пролетариев, и теми, где было много интеллигентов, рассматривавшихся в принципе как «мелкобуржуазный» и «ненадежный» элемент, так или иначе удавалось держать под контролем.

Наибольшие трудности возникли после того, как международное коммунистическое движение восприняло антифашистскую политику. В других разделах настоящего издания рассматриваются последствия перехода от курса «класс против класса» к курсу на поддержку антифашизма и народных фронтов, однако здесь целесообразно подчеркнуть ту драматическую перемену, которую этот переход ознаменовал в укоренившихся представлениях и убеждениях большинства коммунистов о задачах политики. Их кредо всегда формулировалось именно в противопоставлении либерализму и социал-демократии с целью уберечь большевизм, предназначенный для свершения мировой революции, от какого бы то ни было заражения реформизмом или примиренчеством с буржуазной действительностью.

Возникшие в результате этого трудности были скорее психологического, чем теоретического свойства. В марксизме нетрудно было найти прецеденты, оправдывающие линию VII конгресса Коминтерна, причем тем более убедительные, что они со всей очевидностью совпадали с требованиями здравого смысла. Коммунистам, сформировавшимся в период «большевизации» и курса «класс против класса», было нелегко воспринять эту новую линию ни как чисто тактическую, ни как временную уступку преходящим обстоятельствам (после устранения которых возобновится прежняя борьба), ни как простую маскировку. В ходе самих заседаний на VII конгрессе утверждение этого новшества (для коммунистов) сопровождалось усиленным подчеркиванием того, что речь идет не о разрыве с прошлым, а приспособлении к специфической политической конъюнктуре, а также, естественно, об исправлении ошибок, которых можно было избежать в предшествующий период⁷⁵. Новизна подобной перспекти-

⁷⁵ «Находятся мудрецы, которым чудится во всем этом отступление от наших принципиальных позиций, какой-то поворот вправо от линии большевизма... Мы не были бы революционными марксистами, ленинцами, достойными учениками Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина, если бы мы в зависимости от изменившейся ситуации и происходящих сдвигов в мировом рабочем движении *не перестраивали* соответствующим образом нашу политику и нашу тактику... Мы — *враги всякой схематичности*. Мы хотим учитывать конкретную обстановку в каждый момент и в каждом данном месте, а не действовать по определенному шаблону везде и всюду... (Г. Димитров. Наступление фашизма и задачи Коммуни-

вы, однако, затушевывалась соображениями тактического плана, в частности — нежеланием свободно и непредвзято обсуждать ее, а не только, как можно было бы предположить, стремлением не ограничивать возможности маневра для государственной политики СССР. Не ясно даже, до какой степени обусловленные этим последствия были действительно признаны и одобрены коммунистами, как новыми, так и старыми, официально все еще хранившими верность советской власти как единственному решающему способу свергнуть «господство эксплуататорских классов»⁷⁶.

Тем не менее при всех предосторожностях и многочисленных оговорках, с которыми формулировалась новая линия, было очевидно, что она означает не просто некое тактическое интермеццо. Предполагалась модель перехода к социализму, отличная от взятия власти путем восстания, а в докладе Эрколи (Тольятти) даже высказывалась гипотеза о возможности мирного перехода. В таких понятиях, как «новая демократия» или «народная демократия», было заложено предположение о формах переходного строя, не тождественных «диктатуре пролетариата». Кроме того, во всем этом подразумевалась такая политика коммунистов, которая, по сути дела, не была бы расширением классовой борьбы между пролетариями и капиталистами (с возможными и необходимыми классовыми союзами), непосредственно выводимой из экономической структуры капитализма; скорее эта политика должна была стать одновременно автономной и нацеленной на установление рабочего контроля, или рабочей гегемонии, над всей нацией. Разумеется, фашизм изображался как крайняя и логичная версия капитализма, хотя при этом и не утверждалось, что все капиталисты являются фашистами. Профашистское меньшинство среди них составляло, как указывалось, капиталисты-монополисты (вроде «двухсот семейств» во Франции), которых изображали как эксплуататоров не только рабочих, но также крестьян, ремесленников и даже мелкобуржуазных масс. За критерий же антифашизма, как бы то ни было, бралось не классовое положение или классовая идеология, а всего лишь готовность примкнуть к антифашистскому фронту, или, точнее, примкнуть к оппозиции германскому фашизму — главному поджигателю войны. После победы капиталисты подлежали экспроприации не как эксплуататоры, а как фашисты и предатели.

стического Интернационала в борьбе за единство рабочего класса против фашизма. Доклад на VII Всемирном конгрессе Коммунистического Интернационала. — В: Г. Димитров. Избранные произведения. М., 1983, т. 2, с. 135).

⁷⁶ «...Окончательного спасения это правительство (объединенного антифашистского фронта. — Э. Х.) не может принести... Следовательно, необходимо готовиться к социалистической революции! Спасение принесет только советская власть!» (там же, с. 122).

Ретроспективно последствия новой линии видятся с большей ясностью, чем в то время, когда она утверждалась. Тем не менее сомневаться в истинном ее значении не приходится, если перечитать, например, официальный коммунистический анализ гражданской войны в Испании, проделанный Тольятти в самом ее начале, в октябре 1936 года, и опубликованный под заглавием «Об особенностях испанской революции»⁷⁷. «После Октябрьской социалистической революции 1917 года» война испанского народа «представляет собой самое крупное событие в истории борьбы за освобождение народных масс в капиталистических странах», — говорилось там. Это — решающее событие международного значения, потому что оно является «составной частью антифашистской борьбы, которая разворачивается в общемировом масштабе; это — революция, обладающая самой широкой социальной опорой. Это — народная революция. Это — национальная революция. Это — антифашистская революция». Речь идет, иными словами, не просто о буржуазно-демократической революции (Тольятти не раз обращается к этой мысли, заявляя о невозможности «установить полную идентичность» этой революции ни с революцией 1905 года, ни с революцией 1917 года), поскольку эта буржуазно-демократическая революция происходит в особых условиях — в условиях вооруженной борьбы, развязанной военным мятежом. Эта революция вынуждена была конфисковать собственность крупных землевладельцев и промышленников, «которые подняли знамя мятежа; она может опереться на исторический опыт русской революции и, наконец, «рабочий класс Испании старается выполнить собственную функцию руководящей силы революции тем, что своими формами и методами борьбы налагает на нее собственный пролетарский отпечаток».

В то же время, однако, речь шла не о классическом случае борьбы, которую ведут только рабочие и крестьяне: у испанского Народного фронта была куда более широкая база. Стало быть, его истинная природа не могла быть объяснена «просто путем определения его как „демократической диктатуры рабочих и крестьян“», что предусматривалось Лениным в 1905 году, потому что этот фронт «под воздействием самой гражданской войны принимает ряд мер, выходящих за рамки программы правительства революционно-демократической диктатуры». В самом деле, «в связи с военной обстановкой испанское правительство вынуждено вводить контроль над экономическим аппаратом в интересах защиты Республики, и чем более мятежники будут упорствовать в военных действиях против законного правительства, тем бо-

⁷⁷ Полный текст этой статьи см.: *P. Togliatti. Opere, vol. IV, t. I*, p. 139—154.

лее это последнее должно будет продвигаться по пути установления дисциплины во всей хозяйственной жизни страны». Следовательно, «эта демократия нового типа в случае победы народа не сможет не быть врагом каких бы то ни было проявлений консервативного духа. У нее есть все условия, позволяющие ей развиваться дальше. Она обеспечивает гарантии всех последующих экономических и политических завоеваний трудящихся Испании».

Вот такую стратегию перехода к социализму, получившую развитие в специфических условиях антифашистской борьбы, которая в данном случае приняла форму гражданской войны и совершенно отличалась от революционного процесса в России 1905—1917 годов, предлагал Тольятти в роли официального представителя Коминтерна. Можно было спорить о формах борьбы, то есть о политических решениях республиканского правительства и о лучших способах добиться победы в этой войне (споры эти действительно велись и продолжаются по сей день). Но никакие дискуссии не были уместны по вопросу о революционных перспективах, указанных в данном анализе, хотя и следовало бы напомнить, что в дальнейшем в заявлениях коммунистов о войне в Испании ее революционный характер обычно получал не столь высокую оценку. Тем не менее тщательно продуманная неопределенность формулировок Тольятти и заключенные в них намеки («задачи буржуазно-демократической революции, отвечающие наиболее глубинным интересам самых широких народных масс», «меры, выходящие за рамки программы правительства революционно-демократической диктатуры», «все условия, позволяющие ей развиваться дальше»), как бы ни был ясен их общий смысл для старых большевиков, содержа-ли в себе элемент намеренной двусмысленности. Разумеется, далеко не лучшей политикой было бы напоминать антифашистам-несоциалистам, что, по мысли коммунистов, «окончательная победа Народного фронта над фашизмом» будет и предпосылкой для победы пролетариата. Но и объяснять чересчур откровенно коммунистам, что новая линия несет в себе принципиальный разрыв с давними аксиомами революционной стратегии, тоже было неудобно. И в том и в другом случае лучше было сосредоточиться на непосредственных задачах антифашистской борьбы.

Все это не повлияло на широкие массы тех, кто в 1936—1939 годах со всем жаром души выступал в поддержку Испанской Республики. Война в Испании спонтанно породила самую массовую международную мобилизацию антифашистов особенно среди интеллигенции, причем даже более обширную, чем движение Сопротивления во время войны, поскольку она проводилась независимо от правительств, не была вызвана реакцией на оккупацию собственной страны и

не подрывалась сомнениями о природе истинного врага. В результате этой мобилизации международный лагерь правых оказался разобщенным, а некоторые его группировки — даже в среде католиков — с симпатией взирали на Республику или по меньшей мере враждебно относились к ее противникам. Война в Испании объединила левый лагерь — от либеральных демократов до анархистов, — несмотря на взаимную неприязнь составлявших его групп. Левые были несогласны между собой по многим пунктам, в том числе и по поводу наиболее действенных способов достижения победы над Франко, но не по вопросу о необходимости сражаться с ним. И можно с уверенностью сказать, что для большинства сочувствовавших Республике за ее пределами главным было прежде всего одержать победу над Франко, а не характер общественного строя, который будет установлен потом. Мало того, можно предположить, что большая часть сочувствовавших Республике помышляла о таких послефашистских режимах, которые в некотором — более или менее расплывчатом — смысле должны были стать «новыми» или даже «революционными», более свободными и справедливыми и, во всяком случае, не свели бы дело к простому восстановлению прежнего положения.

Для марксистов же проблема соотношения между антифашизмом и социализмом стояла куда конкретнее и острее, причем для тех из них, кто состоял в коммунистических партиях, туман, окружавший споры на этот счет, так никогда и не рассеялся. Как коммунисты, они с доверием относились к тому, что курс на формирование широкого антифашистского фронта приблизит их к взятию власти. Благодаря этому курсу коммунистические партии значительно усилились, а движение Соппротивления — логическое следствие антифашистской линии — превратило политическое соперничество в открытую вооруженную борьбу. В результате второй мировой войны коммунистические партии (за исключением Испании и западной части Германии) не только усилились за счет антифашистской борьбы, а в ряде случаев даже вошли в правительства антифашистского единства, но и во многих странах добились самого настоящего взятия власти.

Поэтому лишь очень немногие коммунисты испытывали серьезные сомнения вследствие критики со стороны марксистов-диссидентов или тех, кто утверждал, что, укрепляя антифашистское единство, компартии изменяют классовой борьбе и революции и что СССР потерял интерес к победе революции в других странах (за исключением, вероятно, только тех, где она могла быть навязана Красной Армией). Нет сомнения, что некоторые крайние практические аспекты политики национального и интернационального единства в борьбе против общего врага шокировали членов партии, потому

что шли вразрез с их чувствами, традициями и даже с их опытом. Тем не менее в общем виде линия коммунистического движения выглядела убедительной и реалистичной, поскольку воплощала самую логику антифашизма. Какая альтернатива политике коммунистов могла быть предложена в ходе войны в Испании? Тогда, как и сейчас, ответ может быть только один: никакая⁷⁸. И можно ли утверждать, что Торез был не прав, когда в 1936 году, отвечая Марсо Пиверу, заявил: «Быть может, Народный фронт — это совсем не революция?» Историки и деятели левого лагеря много спорили по этому поводу, но в то время эта реплика звучала не скандально, а скорее разумно. Итальянская и Французская компартии подвергались острой критике за то, что в 1943—1945 годах не проводили более радикальной политики, и даже за то, что не пытались взять власть, но масса членов партии и сочувствующих им, пришедших большей частью в период Сопротивления и Освобождения, по-видимому, без серьезных осложнений принимала курс этих партий. Что же касается СССР, то сама мысль о том, что он может выступать не в пользу социализма в других странах, казалась коммунистам абсурдной, так как в своем политическом анализе они опирались на ту предпосылку, что независимо от колебаний советской внешней политики интересы первого и единственного в мире социалистического государства и интересы тех, кто хотел построить социализм в других странах по той же модели, не могли не быть в своей основе идентичными.

В самом деле, в те годы дискуссия о правильности линии коммунистов на этапе антифашистской борьбы не имела большого значения, а если и велась, то лишь мелкими группками марксистов-диссидентов, которые пребывали тогда в полной изоляции. Более широкую аудиторию эти группы завоевали не столько в результате распада — после смерти Сталина — монолитного коммунистического движения с центром в Москве, сколько в силу признания того факта, что антифашистская стратегия, несмотря на свои необыкновенные победы, фактически так и не разрешила проблем дальнейшего продвижения к социализму (за исключением тех стран, где война по тем или иным причинам привела к власти коммунистические партии)⁷⁹.

⁷⁸ Сошлемся на высказывания одного известного исследователя античности, давно уже забывшего о той поре, когда он сражался в рядах Интернациональных бригад: «Может быть (кое для кого), социальная революция означала немедленный вход в рай, но то был рай для глупцов: без боепособной армии дни его сочтены. Те, кто стремился к этому, обнаружили свою неспособность вести войну того типа, какую и вел Франко» (B. Knox. Remembering Madrid. — In: "New York Book Review", 1980, November 6, p. 34).

⁷⁹ Мы не считаем своей обязанностью давать здесь разбор возможных критических оценок в отношении новых социалистических режимов.

Как бы то ни было, не подлежит сомнению, что намеренная двусмысленность целей антифашистского курса задержала (более того — сорвала) подлинный анализ этой проблемы. Потому-то как раз и очень трудно, а может быть, и невозможно понять ту позицию, которую заняли интеллигентно-марксисты (или марксисты-коммунисты) по отношению к антифашизму. Вопрос об этом не вставал — или почти не вставал — до тех пор, пока победа над фашизмом не обрела видимые очертания, то есть до 1943 года, хотя, как мы уже видели, гипотетически он уже поднимался в контексте испанской революции. Пока фашизм не был поставлен перед лицом очевидного поражения, вопрос о строе, который должен был прийти ему на смену, казался, да и был на самом деле, чисто академическим. Когда же выяснилось, что победа не за горами, коммунисты наметили новую перспективу в форме «народной демократии» или «новой демократии». Однако с роспуском Коминтерна и в условиях, навязанных войной, эти формулировки не были ни официально провозглашены (как это было в случае с антифашизмом на VII конгрессе Коминтерна), ни подвергнуты систематическому обсуждению и распространению в рядах компартий. Они появились, скорее, в виде положений, фигурировавших в ряде документов, либо исходивших от разных советских или каких-то других коммунистических источников, либо представлявших собой решения по текущим вопросам, принимавшиеся отдельными партиями (и в дальнейшем порой отменявшиеся)⁸⁰.

Тот не совсем прямой путь, которым «народная демократия» пришла на политическую сцену, конечно же, не помогал рассеять двусмысленность этого понятия. Его можно было толковать в чисто тактическом смысле, как необходимую уступку в интересах возможно большего единства — международного и в рамках каждой отдельной страны — тех сил, которые сражались с целью разгрома держав «оси». Милейшее упоминание о том, что коммунисты готовятся возобновить борьбу против своих союзников — внутренних или международных, — могло бы побудить последних в свою очередь начать готовиться к битве со своими будущими врагами, вместо того чтобы без остатка сосредоточиться на борьбе с врагами нынешними. Это — и, возможно, только это — подразумевалось с ясностью в «новой линии», принятой Коминтерном в октябре 1942 года⁸¹. Строй, который предстояло установить в освобожденных странах, должен был

⁸⁰ Опубликованная в апреле 1945 года в журнале «Кайе дю коммунизм» статья Жака Дюкло, в которой критиковался роспуск Коммунистической партии США в 1944 году, была воспринята как официальное указание, и действительно вскоре после этого Компартия США была восстановлена.

⁸¹ См.: *W. Leonhard. Child of the Revolution. London, 1979, p. 208.*

иметь форму «демократии». Разумеется, это должна была быть «новая» демократия народного толка, но проект ее осуществления вовсе не был социалистической программой, как справедливо отмечали австрийские коммунисты, и не содержал в числе ближайших задач «ни построения социализма, ни введения советской системы», как подчеркивал Димитров⁸², а ставил целью лишь «упрочение демократического и парламентского строя». Таким образом, различие между формально сходными правительствами антифашистского единства с участием коммунистов в Восточной и Западной Европе было определено по-прежнему в крайне туманных выражениях.

И все же это могло рассматриваться как логическое продолжение установки на такой тип развития, который был намечен VII конгрессом Коминтерна. Гипотетически можно было предположить превращение «правительств единого антифашистского фронта», расширенного до национального антифашистского фронта, в органы, нацеленные на осуществление постепенного и мирного перехода к социализму путем завоевания рабочим классом гегемонии в коалиции антифашистских сил, гегемонии, которая в свою очередь была бы обусловлена признанием руководящей роли рабочего класса в борьбе с фашизмом и соответствующими позициями коммунистических партий. В этом смысле это был путь к социализму, правда, альтернативный тому, которым пошла Россия в 1917 году, и альтернативный «диктатуре пролетариата», как о том заявляли Димитров и его тогдашний рупор Червенков еще на первом пленарном заседании Коминформа в сентябре 1947 года⁸³. Но поскольку публично эта тема обсуждалась крайне мало, политические условия, которые сделали бы практически возможным такой путь, тоже остались невыясненными; это же самое можно сказать и об беспрецедентных проблемах, которые возникли бы в результате сохранения многопартийности на протяжении всего переходного периода. В рамках коммунистического движения вопрос об этом был поставлен только тогда, когда указанная перспектива фактически была официально отброшена как на Востоке, так и на Западе.

Далее, новая линия могла быть истолкована и как производная послевоенных международных отношений. Гипотетически из них вытекало продолжение союзнических отношений военного времени наряду с долговременным мирным

⁸² E. Lustmann. *Weg und Ziel: die Politik der österreichischen Kommunisten*. London, 1943, S. 36. Высказывания Димитрова в 1946 году цит. по работе: F. Fejtő. *Histoires des démocraties populaires*. Paris, 1969, vol. I, p. 126.

⁸³ F. Claudin. *La crise du mouvement communiste: du Komintern au Kominform*. Paris, 1972, p. 533; E. Reale. *Avec Jacques Duclos au banc des accusés*. Paris, 1958, p. 75—76.

сосуществованием между нефашистскими капиталистическими государствами и государствами социалистическими. Более того, там, где коммунисты имели возможность вести систематическое публичное обсуждение послевоенного устройства, разговор велся главным образом в этих терминах с особым упором на Тегеранскую конференцию, проведенную в конце 1943 года Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем. Ее решения вызвали известное недовольство, по крайней мере среди некоторых интеллигентов-коммунистов. Ведь так или иначе перспектива, намеченная в Тегеране если и не исключала варианта «народной демократии» и перехода к социализму⁸⁴, то предполагала также, что в некоторых странах борьба за социализм будет намеренно подчинена высшим требованиям мирного сосуществования и возможностям развития социализма в других странах. Проще говоря, «необходимо было убедить английские и американские правящие круги в том, что их участие в войне совместно с Советским Союзом... не повлечет за собой распространения советской социалистической системы — под ударами победоносной Красной Армии — на всю Западную Европу»⁸⁵. Разумно было предположить, что поскольку в Соединенных Штатах нет реальных шансов на построение социализма, то в основу политики коммунистов там ляжет сохранение капитализма (причем такого, который согласится сотрудничать с СССР). Однако довольно трудно было предположить, чтобы исключение левой альтернативы в других странах было с удовлетворением встречено массами. Возможно, именно поэтому французы в 1945 году обличали «браудеризм». Тем не менее «тегеранская перспектива» требовала, чтобы некоторые коммунистические партии, оставшиеся вне предусмотренной сферы влияния СССР, согласились с длительным капиталистическим будущим своих стран. Правда, при этом не указывалось достаточно четко, ни о каких странах идет речь, ни какова будет продолжительность периода, на протяжении которого борьба за социалистическое преобразование отойдет на задний план, ни каковы перспективы соответствующих коммунистических партий в этих условиях. Ответа на эти вопросы не было дано, потому что, если исключить эфемерный эпизод с «браудеризмом» в Соединенных Штатах, никто этих вопросов и не ставил.

Таковы были колебания и темные места того специфического и относительно краткого периода, каким явился закат эпохи антифашизма. И все же они послужили симптомами

⁸⁴ «Она сохраняет за каждой нацией — в рамках данной схемы — право на определение формы правления и общественной организации в соответствии с собственным желанием» (E. Browder. *Teheran and America. Perspectives and Tasks*. New York. 1944, p. 14).

⁸⁵ *Ibid.*, p. 13—14.

двузначности, с самого начала заложенной в антифашистской стратегии. Эта стратегия предполагала, как справедливо отмечали троцкисты и другие фракции крайних левых, такой подход к борьбе за социализм, который трудно примирить с методом «пролетарской революции» в том виде, как он понимался вплоть до этого момента большевиками и другими революционерами. В этом они были правы, хотя и осудили себя на изоляцию прежде всего своим отказом от политических решений, которые рассматривались многими интеллигентами — как марксистами, так и немарксистами — в качестве необходимых для разрома фашизма, а также тем, что в свою очередь оказались неспособными выдвинуть какую-либо приемлемую альтернативу. Вместе с тем эта стратегия никогда не провозглашала открыто своих целей, никогда откровенно не формулировалась, и, более того, на протяжении большей части указанного периода любые дискуссии о послефашистском будущем — за исключением самых общих рассуждений — по возможности не допускались или глушились. Возможно, поэтому два таких в равной мере убежденных коммуниста, как Тольятти и Тито, и усмотрели в антифашистской линии весьма различные практические указания о политических действиях (в том случае, понятно, когда возможность выбора не устранялась решением более высокого авторитета).

Теоретический туман, застилавший будущее, вызывал у интеллигентов-коммунистов меньше недовольства, чем мог бы и должен был бы вызвать, прежде всего потому, что их сиюминутный долг становится для них предельно ясным, а также потому, что, до тех пор пока победа над фашизмом не стала вырисовываться со всей определенностью, коммунистическая стратегия (если отвлечься от временных эпизодов, вроде имевших место в 1939—1941 годах) указывала совершенно четкие и убедительные задачи по части того, что следовало делать «сейчас». В конечном счете для большинства из них борьба против фашизма была превыше всего остального, и, если бы они проиграли эту схватку, все диспуты с будущим сделались бы чисто академическими упражнениями. Разумеется, для интеллигентов-марксистов — старых и молодых — антифашизм не был самоцелью. Оправданием ему служил его вклад в окончательное ниспровержение всемирного капитализма или по меньшей мере капитализма на большей части земного шара. Практически же он не нуждался ни в каких оправданиях. Что бы ни несло с собой будущее, фашизм был злом, которому необходимо оказать сопротивление. Целое поколение интеллигенции пришло к марксизму через кризис и антифашистскую борьбу в те времена, когда мрачные тучи уже нависли над человечеством. Многие из выживших оказались разочарованными. Они погрузились

в собственное прошлое, чтобы выяснить, где и какие ошибки, возможно, были ими допущены и что оказалось неверным в их великих надеждах. Многие из них уже не марксисты. Однако можно с уверенностью сказать, что лишь очень немногие — если таковые вообще есть — отрекаются от своего участия в борьбе с фашизмом и в его разгроме. Трудно найти среди них и того, кто раскаивался бы в своей поддержке Испанской Республики или отрекивался от своего участия — каким бы незначительным оно ни было — в войне против фашизма в качестве пражданского лица, солдата или партизана. Это такая часть их прошлого, о которой они вспоминают со скромной гордостью. Для некоторых это единственная часть их политического прошлого, на которую они могут оглядываться — после полувековых размышлений — с безоговорочным удовлетворением.

ИСТОРИЯ МАРКСИЗМА

Том третий

МАРКСИЗМ В ЭПОХУ III ИНТЕРНАЦИОНАЛА

Часть вторая

Выпуск первый

Технический редактор *Л. Н. Шулейко*

Корректор *Н. И. Шарганова*

Сдано в набор 26.10. 1984 г.

Подписано в печать 20.11. 1984 г.

Формат 60×90^{1/16}. Бумага типографская

Гарнитура литературная. Печать высокая

Условн. печ. л. 33,75. Уч.-изд. л. 37,41.

Изд. № 24/39499. Заказ № 50.

Ордена Трудового Красного Знамени

Издательство «ПРОГРЕСС»

Государственного комитета СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли

Москва 119847, Зубовский бульвар, 17
